

Марсель

Пруст

Содом и Гоморра

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

Содом и Гоморра

Марсель Пруст

Аннотация
Марсель Пруст. Содом и Гоморра
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
ПРИМЕЧАНИЯ

Аннотация

Роман «Содом и Гоморра» – четвертая книга семитомного цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

В ней получают развитие намеченные в предыдущих томах сюжетные линии, в особенности начатая в предыдущей книге «У Германтов» мучительная и противоречивая история любви Марселя к Альбертине, а для восприятия и понимания двух последующих томов эпопеи «Содому и Гоморре» принадлежит во многом ключевое место.

Вместе с тем роман читается как самостоятельное произведение.

Марсель Пруст
Содом и Гоморра[1]

[1] Примечания: 1

Содом и Гоморра — в ветхозаветном предании два города, жители которых погрязли в распутстве и были за это сожжены ниспосланным с неба огнем: «…И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба» (Быт. 19, 24–28). Согласно преданию, «жители Содомские были нечестивы и весьма грешны перед Господом» (Быт. 13, 13). Содомскому греху были подвержены также жители Гоморры, «подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью» (Иуд. 7). В последующей библейской традиции Содом и Гоморра — символ крайней степени греховности. «Содомский грех» трактуется позитивистской критикой как отражение древнеханаанских обрядов в честь местных богов плодородия.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

У женщин будет Гоморра,
а у мужчин – Содом[2].

Альфред де Виньи

Я уже упоминал, что в тот день (день приема у принцессы Германтской), задолго до моего посещения герцога и герцогини, о котором только что шла речь, я подкарауливал их и, стоя на страже, сделал открытие; касалось оно, собственно, де Шарлю, но оно было настолько важно само по себе, что до тех пор, пока у меня не появилась возможность рассказать о нем подробно и обстоятельно, я предпочитал не сообщать ничего. Я ушел, как уже было сказано, с чудного наблюдательного пункта, так удобно устроенного под самой крышей, откуда взгляд обнимал пологую возвышенность, по которой можно было под-

---

[2] Примечания: 2

Эпиграф заимствован из стихотворения Альфреда де Виньи (1797–1863) «Гнев Самсона», вошедшего в посмертно изданный сборник «Судьбы»:

И, уединившись в гнусное царство,
Женщина обретет Гоморру, а Мужчина – Содом,
И, бросая друг на друга издали ненавистные взгляды,
Оба пола умрут каждый сам по себе.

няться до дома Брекиньи и которой, как это часто бывает в Италии, служила украшением веселая башенка сарая, принадлежавшего маркизу де Фрекуру. Так как герцог с герцогиней должны были вернуться с минуты на минуту, то я подумал, что мне выгоднее стать на лестнице. Мне было жалковато моей вышки. Но в послеполуденное время особенно жалеть о ней не стоило, потому что теперь я уже не увидел бы с нее нарисованных человечков, в которых превращались на расстоянии лакеи из дома Брекиньи, с метелками в руках медленно взбиравшиеся на гору между широкими листами прозрачной слюды, причудливо выделявшимися на фоне красных отрогов. Не имея возможности производить геологическую разведку, я занялся ботаникой: на площадках лестницы я смотрел в окна на кустик и редкое растение, которые по распоряжению герцогини выносились во двор так же упорно, как упорно вывозят в свет женихов и невест, и спрашивал себя: не залетит ли по воле предустановленного случая нежданное насекомое и не навестит ли оно обездоленный, готовый отдаться пестик? Любопытство придавало мне храбрости, и я постепенно добрался до окна на нижнем этаже, тоже распахнутого, но не вплотную при-

крытого ставнями. Я слышал явственно голос собиравшегося уходить Жюпьена, который не мог меня видеть, потому что я притаился за ставнями, и вдруг я метнулся от окна в сторону, чтобы, медленно шедший по двору к маркизе де Вильпаризи, меня не заметил де Шарлю, располневший, седеющий, постаревший при дневном свете. Только по случаю того, что маркиза де Вильпаризи занемогла (ее доконала болезнь маркиза де Фьербуа, с которым он рассорился окончательно), де Шарлю — быть может, первый раз в жизни — пришел навестить ее, да еще в такой ранний час. Особенность Германтов заключалась в том, что они не приноравливались к светскому образу жизни — они изменяли его соответственно своим привычкам (с их точки зрения, не светским, а следовательно, заслуживающим того, чтобы ради них пожертвовать светскостью): так, у виконтессы де Марсант не было определенного дня — она принимала своих приятельниц каждое утро, с десяти до двенадцати, а барон в это время читал, разыскивал старинные вещицы и т. д., а с визитами ходил между четырьмя и шестью. В шесть он ехал в Джокей-клоб или катался в Булонском лесу. Потом я отпрянул, чтобы меня не увидел Жюпьен; в это время он уходил на службу, а воз-

вращался домой к вечеру, и то не всегда с тех пор, как его племянница вместе со своими ученицами уехала в деревню дошивать заказчице платье. После ухода Жюпьена я, полагая, что больше мне бояться некою, решил не двигаться с места, чтобы не пропустить, если бы это чудо все-таки совершилось, прилета, на который почти не было надежды (так много надлежало преодолеть препятствий, связанных с дальностью расстояния, столько тут было риска, опасностей), — прилета насекомого, посланного издалека к девственному цветку,[3] истомившемуся от долгого ожидания. Я знал, что это ожидание было такое же деятельное, как у мужского цветка, тычинки которого самопроизвольным движением поворачивались так, чтобы насекомому было легче забраться в цветок; равным образом женский цветок, если

[3] Примечания: 3

…прилета насекомого… к девственному цветку… — Ботаническая тема романа, являющаяся своего рода прелюдией к теме гомосексуализма, была обозначена в романе «У Германтов». В описании половой жизни цветов Пруст пользуется книгой Мориса Метерлинка (1862–1949) «Разум цветов» (1907). Кроме этого, писатель обращался к французскому переводу работы Чарлза Дарвина (1809–1882) «Различные формы цветов у растений одного вида» (1878) и главным образом к предисловию к этой работе, написанному французским ботаником Амадеем Кутансом, которое вполне могло навести Пруста на мысль о сходстве сексуального поведения цветов и людей: «Странные противоречия, странные законы, которые в мире свободных существ имели бы пагубные последствия».

бы насекомое прилетело, кокетливо изогнуло бы свои столбики и, чтобы насекомое глубже в него проникло, проделало бы, подобно напускающей на себя святость, а на самом деле сладострастной девице, полпути навстречу ему. Законы растительного мира подчиняются высшим законам. Для оплодотворения цветка необходим прилет насекомого, иными словами — занос семени с другого цветка необходим потому, что самооплодотворение, оплодотворение цветка самим собой, — подобно тому, как если бы в пределах одной семьи родственники женились бы только на родственницах, — привело бы к вырождению и к бесплодию, а от скрещивания, производимого насекомыми, новые поколения этого вида обретают такую силу жизни, какой не отличались старшие в их роде. Однако рост может оказаться слишком бурным, вид может слишком широко распространиться; тогда, подобно тому как антитоксин предохраняет от заболевания, подобно тому как щитовидная железа не дает нам растолстеть, подобно тому как неудача карает нас за спесивость, усталость — за наслаждение и подобно тому как сон, во время которого мы отдыхаем, восстанавливает наши силы, совершающийся в исключительных случаях акт самооплодотворе-

ния в определенное время делает поворот винта, тормозит, вводит цветок в норму, от которой он слишком далеко отступил. Мысли мои, которые я изложу потом, приняли особое направление, и я уже из очевидного хитроумия цветов выводил заключение, касавшееся той огромной роли, какую играет подсознание в художественном творчестве, но тут я увидел, что от маркизы выходит де Шарлю. Он пробыл у нее несколько минут. Быть может, он узнал от нее самой или от слуг, что маркизе де Вильпаризи гораздо лучше или даже что она совсем оправилась от своего легкого недомогания. Полагая, вероятно, что его никто не видит, де Шарлю полузакрыл от солнца глаза и ослабил напряжение лицевых мускулов, поборол возбуждение, которое поддерживалось у него оживленной беседой и силой воли. Мраморная белизна заливала его лицо; у него только нос был большой, а другие черты — тонкие, и все его черты были сейчас свободны от несвойственного им выражения, которое им придавал обычно властный его взгляд и от которого их лепка дурнела; теперь это был — в чистом виде — один из Германтов, это была статуя Паламеда XV в усыпальнице комбрейской церкви. И все же черты рода у де Шарлю были более одухотворенными,

а главное — более мягкими. Мне было жаль, что за частыми его вспышками, за безобразными его выходками, за его злоязычием, за его суровостью, обидчивостью и заносчивостью, за напускной грубостью не видны его благожелательность и доброта, которые так простодушно расцвели на его лице сейчас, когда он вышел от маркизы де Вильпаризи. Он щурился от солнца, и от этого казалось, что он улыбается; я обнаружил в его лице, которое показалось мне сейчас в спокойном и как бы в естественном своем состоянии, что-то ласковое, беззащитное, и я невольно подумал, что де Шарлю очень рассердился бы, если бы заметил, что за ним наблюдают; глядя на этого человека, которому так хотелось слыть мужественным, который так кичился своей мужественностью, которому все люди казались до отвращения женоподобными, я подумал — столько женственного промелькнуло сейчас в его чертах, в выражении его лица, в его улыбке — о женщине.

Я хотел опять от него спрятаться, но не успел, да в этом и не было необходимости. Что же я увидел! В этом самом дворе, где они, конечно, до сих пор ни разу не встретились (де Шарлю приходил к Германтам во второй половине дня, когда Жюпьен был еще на службе), барон, вдруг широко

раскрыв глаза, которые он только что жмурил, устремил до странности пристальный взгляд на бывшего жилетника, стоявшего в дверях своего заведения, а тот, пригвожденный взглядом де Шарлю, пустивший корни в порог, как растение, любовался полнотой стареющего барона. Но еще удивительнее было вот что: как только де Шарлю изменил позу, Жюпьен, словно повинуясь закону какого-то неведомого искусства, точно так же изменил свою. Барон попытался сделать вид, будто эта встреча не произвела на него никакого впечатления, но сквозь притворное его равнодушие было заметно, что ему не хочется уходить: с фатоватым, небрежным и смешным видом он разгуливал по двору и смотрел в пространство, стараясь обратить внимание Жюпьена на то, какие красивые у пего глаза. А лицо Жюпьена утратило скромное и доброе выражение, которое я так хорошо знал; он — в полном соответствии с повадкой барона — задрал нос, приосанился, с уморительной молодцеватостью подбоченился, выставил зад, кокетничал, как орхидея с ниспосланным ей самой судьбою шмелем. Я никогда не думал, что он может быть таким отталкивающим. И уж никак не могло мне прийти в голову, что он способен экспромтом принять участие в

немой сцене и при этом (хотя он первый раз в жизни видел де Шарлю) исполнять свою роль так, как будто он долго ее учил, — мы неожиданно для самих себя достигаем подобного совершенства, только когда встречаем за границей соотечественника: тут взаимопонимание возникает само собой — хотя бы мы никогда прежде не виделись, — потому что язык у нас общий и все разыгрывается как по нотам.

Нельзя сказать, чтобы эта сцена была просто смешной; в ее необычайности и, если хотите, естественности была своя красота, и красоты становилось все больше. Де Шарлю принимал отрешенный вид, как бы в рассеянности опускал глаза, потом опять поднимал и внимательно смотрел на Жюпьена. Но (де Шарлю, конечно, отдавал себе отчет, что эта сцена не может длиться здесь до бесконечности, а быть может, по причинам, которые станут ясны потом, наконец, может быть, в нем говорило сознание, что все в жизни мимолетно, — вот почему мы так стремимся к тому, чтобы ни одно наше усилие не пропадало зря, и вот почему нас так волнует зрелище всякой любви) каждый раз, когда де Шарлю смотрел на Жюпьена, ему хотелось что-нибудь сказать, и это резко отлетало его взгляды от тех, что устремляем

мы на знакомых и незнакомых людей; так пристально, как он смотрел на Жюпьена, смотрит тот, кто сейчас вам скажет: «Простите, но у вас на спине длинная белая нитка» — или: «Если не ошибаюсь, вы тоже из Цюриха? По-моему, мы там часто с вами встречались у антиквара». Вот так через каждые две минуты один и тот же вопрос, казалось, упорно возникал в тех беглых взглядах, какие де Шарлю бросал на Жюпьена, и напоминало это вопросительные музыкальные фразы Бетховена, без конца повторяющиеся через одинаковые промежутки и служащие для того, чтобы — после чересчур пышных приготовлений — ввести новый мотив, подготовить переход из одной тональности в другую, возврат к основной теме. Но только взглядам де Шарлю и Жюпьена придавало особую красоту то, что они — по крайней мере в данное время, — казалось, не стремились к чему-либо привести. Такого рода красоту я впервые уловил именно в том, как смотрели друг на друга де Шарлю и Жюпьен. В их глазах отражалось небо, но только не Цюриха, а какого-то восточного города, название которого я пока еще не мог вспомнить. Как ни сдерживали себя де Шарлю и жилетник, соглашение между ними, казалось, было уже достигнуто, а

бесцельные их взгляды были только обрядовой прелюдией, чем-то вроде вечеринки перед свадьбой. Если поискать сравнения в природе, — в многообразии таких сравнений нет ничего надуманного, потому что один и тот же человек, за которым вы понаблюдаете всего лишь несколько минут, может быть и человеком, и человеком-птицей, и человеком-насекомым, и т. д., — то можно было бы сказать, что это две птицы, самец и самка, и что самцу хочется подойти поближе, а что самка — Жюпьен — хотя и никак не отвечает на его заигрыванья, однако смотрит на своего нового друга без всякого удивления, невидяще пристальным взглядом, так как ей представляется, что это должно действовать на него сильнее и что после первых шагов с его стороны только это одно способно приманить его, и чистит перышки. Но игра в равнодушие в конце концов, видимо, надоела Жюпьену; от уверенности в том, что самец пленен, до возбуждения в нем охоты к преследованию и до возбуждения желания всего один шаг, и Жюпьен, которому надо было идти на службу, вышел за ворота. И все-таки он несколько раз обернулся, прежде чем завернуть за угол, а барон, боясь потерять его след (он самодовольно напевал и даже крикнул: «До свиданья!» — по-

лупьяному привратнику, но тот, принимая в соседней комнате гостей, этого не услышал), бросился за ним вдогонку. Как раз когда де Шарлю, гудя, как огромный шмель, вышел за ворота, во двор влетел настоящий шмель. Кто знает: не его ли столько времени дожидалась орхидея и не принес ли он ей драгоценную пыльцу, без которой она так и осталась бы девственницей? Но мне некогда было следить за резвостями насекомого, так как несколько минут спустя, вновь привлекая к себе мое внимание, вернулся Жюпьен (может быть, за пакетом, который он потом взял, а сначала забыл — так его взволновала встреча с де Шарлю, а может быть, по еще более простой причине), — вернулся Жюпьен вместе с бароном. Де Шарлю, решив ускорить ход событий, попросил у жилетника спичек, но тут же спохватился: «Я прошу у вас спичек, а сам забыл дома сигары». Законы гостеприимства восторжествовали над правилами кокетства. «Войдите! Здесь вам дадут все, что угодно», — сказал жилетник, и сейчас его лицо выражало уже не пренебрежение, а радость. Дверь мастерской за ними затворилась, и больше мне уже ничего не было слышно. Я потерял из виду шмеля; я не знал, он ли то насекомое, которого ждала орхидея, по я перестал

сомневаться в том, что может произойти чудо бракосочетания редкого насекомого и пленного цветка, перестал после того, как де Шарлю (это всего лишь сравнение первых попавшихся предопределенных случайностей, без малейшего желания научно обосновать сходство некоторых явлений в ботанике с тем, что некоторые очень неудачно называют гомосексуализмом), на протяжении многих лет приходивший в этот дом, когда Жюпьен был на службе, благодаря случайному недомоганию маркизы де Вильпаризи встретился наконец с жилетником, а в нем нашел свое счастье, хранимое судьбою для таких людей, как барон, в лице подобных Жюпьену существ, которые могут быть, как это будет видно из дальнейшего, гораздо моложе и гораздо красивее Жюпьена, — после того, как де Шарлю встретил человека, который был предназначен для того, чтобы и такие, как де Шарлю, получили свою долю наслаждения на земле, и которому нравятся только пожилые господа.

Все это я понял не сразу, а только через несколько минут из-за неотъемлемого свойства действительности оставаться незримой до тех пор, пока случайное обстоятельство не снимет с нее покрова. Во всяком случае, в тот момент мне

было смерть как досадно, что я не слышу разговора между бывшим жилетником и бароном. Тут я обратил внимание, что рядом с мастерской Жюпьена, отделенная от нее тоненькой перегородкой, отдается внаймы еще одна мастерская. Чтобы туда проникнуть, мне надо было подняться к нам на кухню, спуститься по черной лестнице в подвальный этаж, пройти через подвал вдоль всего двора до того места, где еще несколько месяцев назад столяр хранил свои изделия и где Жюпьен собирался складывать уголь, и оттуда подняться на несколько ступенек. Так я под прикрытием, невидимо проделал бы весь путь. Это было бы самое благоразумное. Но я избрал другой путь: чтобы меня не увидели, я жался к стенам и в конце концов обогнул двор снаружи. Если меня в самом деле никто не увидел, то, думается, я обязан этим не столько моей осторожности, сколько простой случайности. Теперь мне представляется, что меня толкнули на этот опасный путь, в то время как переход через подвал ничем мне не грозил, три причины, если только тут может идти речь о причинах. Во-первых, нетерпение. Во-вторых, быть может, смутное воспоминание о том, как я, спрятавшись под окном, подсматривал за происходившим в комнате у дочери Вентейля.

Надо заметить, что участники подобного рода сцен, которые мне приходилось видеть, никогда не соблюдали осторожности, и происходили эти сцены в обстановке совершенно неправдоподобной, так что человек невольно приходил к убеждению, что каждое такое открытие — это награда за в высшей степени рискованный, хотя и незаметный поступок. Наконец, — мне стыдно в этом признаться, столько тут ребяческого, — могла быть и третья причина, и мне сдается, что она-то и была, неведомо для меня самого, решающей. Чтобы сопоставить с действительностью — и убедиться, что их опровергают факты, — военные теории Сен-Лу, я досконально изучил бурскую войну,[4] а кроме того, перечел описания экспедиций, путешествия. Я увлекся всем этим и старался для закалки действовать в жизни так, как действовали герои книг. Когда болезнь приковывала меня к постели и я несколько суток не только не смыкал глаз, но не мог вытянуться, не мог ни есть, ни пить и уже не надеялся, что изнеможение и боль когда-нибудь пройдут, я ду-

[4] Примечания: 4

Бурская война (1899–1902) — захватническая кампания Великобритании, направленная против южноафриканских бурских республик — Оранжевой и Трансвааля. Буры — потомки голландских колонистов в Южной Африке.

мал о путешественнике, выброшенном на берег, отравленном ядовитыми травами, дрожавшем от холода, промокшем в море насквозь, а через два дня набравшемся сил и пошедшем наугад искать туземцев, хотя они, может быть, людоеды. Пример такого путешественника придавал мне бодрости, вселял в меня надежду, и я уже стыдился своей минутной слабости. Думая о бурах, которые не боялись на виду у английских войск совершать переходы в открытом месте, чтобы добраться до зарослей, я говорил себе: «Хорош же я буду, если струшу здесь, где театром военных действий является всего-навсего наш двор и где мне — а ведь во время дела Дрейфуса я несколько раз бесстрашно выходил на дуэль[5] — грозит только одно оружие: взгляды соседей, но соседи — народ занятой, им не до происшествий во дворе».

В мастерской я встал на цыпочки, чтобы не скрипнула половица, потому что до меня доносился малейший скрип из мастерской Жюпьена, и тут я понял, как неосторожны Жюпьен и де Шарлю и как им помог случаи.

---

[5] Примечания: 5

...я несколько раз бесстрашно выходил на дуэль... — Пруст дрался на дуэли 6 февраля 1897 г. с салонным поэтом Жаном Лорреном, правда, не в связи с делом Дрейфуса, а из-за того, что Лоррен в рецензии на первую книгу Пруста «Утехи и дни» (1896) позволил себе нескромные намеки на интимную связь писателя с Люсьеном Доде.

Я боялся пошевелиться. Конюх Германтов, как видно воспользовавшись их отсутствием, перенес лестницу из сарая в ту мастерскую, куда я зашел. Если б я поднялся по лестнице, то мог бы отворить окошко, и тогда мне было бы слышно все — будто я находился у Жюпьена. Но я боялся, как бы чем-нибудь не стукнуть. Притом пока что в этом не было необходимости. Я не жалел даже, что потратил время на то, чтобы добраться до мастерской. Судя по тем нечленораздельным звукам, которые первое время долетали до меня из соседней мастерской, я имел основания полагать, что вряд ли де Шарлю и Жюпьен успели многое сказать друг другу. Это были дикие вопли, и я мог бы подумать, что за стеной кто-то кого-то режет, если бы кричал один, но кричали двое, и другой в своих стенаниях все время брал октавой выше, а потом могло бы показаться, что убийца и его воскресшая жертва, чтобы скрыть следы преступления, отмываются. Я лишь впоследствии удостоверился, что наслаждение так же шумно, как боль, особенно если к нему примешиваются — при отсутствии боязни забеременеть, что в данном случае не могло иметь места: пример из «Золотой легенды» неубедителен, — требования, предъявляемые чистоплотностью. Разговор у них

начался примерно через полчаса (за это время я успел тихонько подняться на лестницу и мог теперь смотреть в окошко, которое я, правда, так и не осмелился отворить). Де Шарлю давал Жюпьену деньги — тот решительно отказывался.

Затем де Шарлю направился к выходу. «Зачем вы бреетесь? — сказал Жюпьен сладеньким голосом. — Красивая борода так украшает!» «Фу, какая гадость!» — воскликнул барон. В дверях он остановился и начал расспрашивать Жюпьена о жителях этого квартала: «Вы знаете того, кто торгует на углу каштанами, но только не с левой стороны — там торгует какое-то страшилище, а с правой — рослого, смуглого детину? А что собой представляет провизор из аптеки напротив? Его лекарства развозит какой-то милый велосипедист». Должно быть, эти вопросы задели Жюпьена за живое, — выпрямившись с гордым видом обманутой кокетки, он ответил: «А вы, как я гляжу, волокита!» Этот горестный, холодный и жеманный упрек, должно быть, подействовал на де Шарлю: чтобы загладить неприятное впечатление, которое могло произвести его любопытство, он обратился к Жюпьену, но так тихо, что я ничего не услышал, с какой-то просьбой, для исполнения которой, видимо, требовалось,

чтобы они еще побыли в мастерской, и которая, должно быть, растрогала жилетника до такой степени, что он все простил барону: окинув взглядом его седые волосы, его полное, румяное лицо, выражавшее глубокое удовлетворение, Жюпьен, как человек, чье самолюбие польщено, не отказал ему в его просьбе и, отпустив несколько не весьма пристойных шуточек вроде: «А уж пердельник-то какой!», радостно взволнованный, преисполненный благодарности, с видом превосходства сказал: «Ну, так и быть, старый повеса!»

«Я возвращаюсь к разговору о трамвайном кондукторе потому, — опять взялся за свое де Шарлю, — что, помимо всего остального, это может мне пригодиться на обратном пути. В самом деле, я иной раз, как халиф, обходивший Багдад под видом простого торговца, иду следом за любопытной молодой особой, силуэт которой пленил мое воображение». Тут я обратил внимание на одну черту де Шарлю, которую я раньше подметил у Бергота. Если бы Берготу пришлось предстать перед судом, то он заговорил бы не на языке, который мог бы убедить судей, — он начал бы употреблять подсказанные ему его творческой индивидуальностью чисто берготовские обороты, потому что это доставляло бы

ему удовольствие. Вот так и де Шарлю говорил с жилетником тем же языком, каким говорил бы с людьми одной марки, даже переигрывая — то ли потому, что от робости, которую он силился побороть, он был сейчас особенно высокомерен, то ли потому, что, не давая ему взять себя в руки (ведь мы больше конфузимся, когда имеем дело с человеком не нашего круга), робость заставляла его проявлять, обнажать свой нрав, действительно гордый и «слегка сумасшедший», как говорила герцогиня Германтская. «Чтобы не потерять ее из виду, — продолжал он, — я вскакиваю, как учитель, как молодой и красивый врач, за ней в трамвай (я говорю в женском роде только по привычке — так говорят о принцах: „Как ваша светлость себя чувствует?“). Если она пересаживается в другой трамвай, я беру — может быть, вместе с чумными микробами — нечто совершенно непонятное, именуемое „пересадочным билетом“, номер которого, хотя его вручают мне, не всегда бывает первым! Так я меняю „средства передвижения“ до трех, до четырех раз. Иногда я в одиннадцать часов вечера доезжаю до Орлеанского вокзала — извольте добираться оттуда домой! Хорошо еще, если только до Орлеанского вокзала. Как-то раз мне все не удавалось начать

разговор, и я доехал до самого Орлеана в одном из тех ужасных вагонов, где у вас все время перед глазами, между треугольниками так называемых „сеток“, снимки главных архитектурных достопримечательностей той области, по которой проходит эта железная дорога. Было только одно свободное место, и мне ничего иного не оставалось, как любоваться „видом“ Орлеанского собора,[6] который считается историческим памятником, хотя безобразнее его нет во всей Франции, а, хочешь не хочешь, смотреть на него — это так же утомительно, как разглядывать его башни в стеклянных шариках оптических ручек, отчего бывает воспаление глаз. Я вышел в Обре вместе с молодой особой, но — увы! — ее встречали на перроне родные, а между тем я предполагал у нее всякие пороки, только не родственников! В ожидании поезда на Париж я вознаградил себя тем, что осмотрел дом Дианы де Пуатье.[7] Хотя

[6] Примечания: 6

Орлеанский собор — собор Святого Креста в Орлеане. Его строительство, начатое в XIII веке, было завершено лишь в 1858 г. Собор, таким образом, вобрал в себя как элементы классической готики, так и псевдоготику XIX века.

[7] Примечания: 7

Диана де Пуатье (1499–1566) — фаворитка французского короля Генриха II, отличавшаяся необыкновенной красотой и незаурядным умом. В Орлеане домом Дианы де Пуатье называли особняк эпохи Ренессанса, в котором располагался отель.

эта дама обольстила одного из моих царственных предков, я все-таки предпочел бы ей живую красотку. И, чтобы не так скучно было ехать одному, мне хотелось познакомиться с проводником спального вагона, с кондуктором омнибуса. Но это не должно вас коробить, — пояснил барон, — это интерес к „жанру“. Что касается светских молодых людей, то я не успокаиваюсь до тех пор, пока я их не затрону, — я употребляю это слово не в прямом смысле, — пока я не затрону их слабой струнки. Юноша должен был бы не отвечать мне на письма, а он сам шлет мне письмо за письмом, душевно он мой, и вот тогда сердце у меня на месте, во всяком случае, было бы на месте, если бы я не был увлечен другим. Любопытно, не правда ли? Кстати. о светских людях, о тех, что бывают здесь, — вы никоего из них не знаете?» — «Не знаю, цыпочка. А, нет, одного знаю: брюнета, очень высокого, с моноклем, он все смеется и оглядывается». — «Не понимаю, кого вы имеете в виду». Жюпьен дорисовал портрет, но де Шарлю так и не догадался, о ком идет речь: ему было неизвестно, что бывший жилетник принадлежал к числу людей — более многочисленных, чем принято думать, — которые не запоминают, какого цвета волосы у тех, с кем они почти не знакомы.

Но я знал, что у Жюпьена есть этот недостаток, и, как только я на место брюнета подставил блондина, у меня получился вылитый портрет герцога де Шательро. «Но вернемся к молодым людям не из простонародья, — снова заговорил барон, — недавно меня заинтересовал странный мальчик из интеллигентной мелкобуржуазной семьи — он неучтив со мной донельзя. У него нет ни малейшего понятия о расстоянии, которое отделяет такого необыкновенного человека, каков я, от микроскопического вибриона, какого представляет собой он. А, да пусть себе этот ослепок ревет, сколько ему угодно, перед лицом моей епископской мантии!» — «Епископской? — переспросил Жюпьен: он не понимал, о чем говорит де Шарлю, но его поразило слово „епископский“. — Как же это у вас уживается с религией?» — «В моем роду было трое пап, — возразил де Шарлю, — а на красную мантию мне дает право кардинальский сан моего двоюродного деда, племянница которого передала моему родному деду титул герцога, и этот титул переходит по наследству. Но я вижу, что метафор вы не понимаете и что история Франции вас не интересует. Впрочем, — продолжал барон, пожалуй, не столько для того, чтобы подытожить сказанное им, сколько для того,

чтобы поставить Жюпьена в известность, — молодые люди, которые меня избегают, — конечно, от страха, потому что только из почтения к моей особе они не изливают мне своих чувств, — могут заинтересовать меня при условии, если они занимают в обществе блестящее положение. Но и тогда их деланное равнодушие способно оттолкнуть меня. Если они так глупы, что не умеют вовремя прекратить эту игру, то меня от нее начинает тошнить. Для примера возьму случай, который произошел у меня с человеком, принадлежащим к более близкому вам классу: чтобы не возбуждать ревности у всех этих герцогинь, которые начали бы бороться за честь приютить меня, я, пока отделывали мой особняк, несколько дней прожил в так называемом „отеле“. Там у меня был знакомый коридорный, и я указал ему на любопытного мальчугана „посыльного“, в обязанности которого входило закрывать дверцы экипажей, — все мои предложения он решительно отвергал. В конце концов я рассердился и, чтобы доказать ему, что никаких грязных мыслей у меня нет, пообещал ему до смешного крупную сумму только за то, чтобы он на пять минут зашел поговорить ко мне в номер. Он так и не явился. После этого он мне до того опротивел,

что я спускался по черной лестнице, лишь бы не видеть рожицы этого глупенького паршивца. Потом я узнал, что он не получил ни одного моего письма — их перехватывали: одно перехватил коридорный, от зависти, другое — дневной швейцар, из соображений высокой нравственности, а третье — ночной швейцар: этот сам был влюблен в молодого посыльного и проводил с ним тот час, когда всходит Диана. Но мальчишка по-прежнему был мне противен, и, хотя бы мне эту самую обыкновенную дичь подали на серебряном блюде, я бы с омерзением его оттолкнул. Но вот беда: у нас с вами был серьезный разговор, из которого выяснилось, что мои надежды напрасны. И все-таки вы можете оказывать мне большие услуги в качестве посредника; впрочем, уже это одно придает мне смелости; нет, нет, между нами не все еще кончено».

В самом начале этой сцены на моих только сейчас открывшихся глазах де Шарлю внезапно весь преобразился, словно к нему прикоснулась чья-то волшебная палочка. До сих пор я ничего не понимал и потому ничего не видел. Порок (впрочем, это понятие условное) всюду сопровождает человека, подобно гению, которого люди не видят только потому, что не догадываются о его суще-

ствовании. Доброта, плутовство, имя, светские отношения не выступают наружу — мы носим их в себе. Даже Одиссей сперва не узнал Афину.[8] Но боги мгновенно различают богов, подобное тотчас же распознает себе подобное, Жюпьен сразу распознал де Шарлю. До этого дня я вел себя по отношению к де Шарлю как рассеянный человек, который, не замечая округлившегося живота у беременной женщины, несколько раз с улыбкой повторившей: «Да, я что-то устала», — пристает к ней с нескромным вопросом: «Да что с вами?» Но стоит кому-нибудь сказать: «Она в таком положении», — и ему тут же бросается в глаза ее большой живот, и, кроме ее живота, он уже больше ничего не видит. Открывает нам глаза разум; рассеявшееся заблуждение наделяет нас новым чувством.

Не любящим ссылаться в подтверждение того, что такой закон существует, на пример своих знакомых — например де Шарлю и ему подобных, которых они долго ни в чем не подозревали, вплоть до дня, когда на одноцветной поверхности индивидуума, похожего на всех остальных, про-

[8] Примечания: 8

Даже Одиссей сперва не узнал Афину. — Имеется в виду эпизод из «Одиссеи», в котором Афина, покровительствующая Одиссею, является ему в облике юноши, чтобы научить, как поступить с женихами Пенелопы.

ступают начертанные до тех пор невидимыми чернилами письмена, образующие драгоценное для древних греков слово, стоит лишь, чтобы убедиться, что окружающий мир вначале предстает их взору нагим, лишенным множества украшений, которые видны людям просвещенным, вспомнить, сколько раз они едва не попадали впросак. Ничто на лишенном письмен лице того или иного человека не свидетельствовало о том, что он брат, жених или возлюбленный женщины, о которой они чуть было не сказали: «Какая уродина!» К счастью, вам шепчет одно только слово сосед — и роковое восклицание замирает у вас на устах. Мгновенно проступают как мане, текел, фарес,[9] слова: это жених, или это брат или это возлюбленный женщины, которую при нем не следует называть «уродиной». И

[9] Примечания: 9

…мане, текел, фарес… — В Библии: «мане, текел, упарсин» (Дан. 5, 25). По преданию, отразившемуся как в Библии, так и у древнегреческих авторов (Геродота, Ксенофонта), Валтасар, последний царь Вавилона, устроил в ночь взятия города персами роскошный пир, в разгар которого таинственная рука начертала на стене непонятные слова. Вавилонские мудрецы не сумели прочесть и истолковать их. Призванный по совету царицы иудейский мудрец Даниил прочитал надпись и объяснил значение этих слов, предсказав гибель Вавилона и его раздел между персами и мидянами: «Вот — и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Дан. 5,26–28).

это новое представление влечет за собой целую перегруппировку, изменение и расширение в ряду наших прежних, неполных представлений о других членах этой семьи. В де Шарлю жило другое существо, и этим он отличался от других людей — так кентавр соединяет в себе человека и лошадь, — другое существо составляло с де Шарлю единое целое, а я этого не замечал. Теперь отвлеченное воплотилось, постигнутое мной существо наконец утратило способность оставаться невидимым, превращение де Шарлю в новую личность достигло такой полноты, что не только быстрая смена выражений его лица, изменения его голоса, но и все высокое и низкое, что проявилось в его отношении ко мне, все, что до сих пор казалось мне в нем непоследовательным, вдруг стало понятно, вдруг прояснилось, — так фраза, лишенная всякого смысла, потому что слова в ней расставлены как попало, выразит, если расставить слова как нужно, мысль, которую уже не забудешь.

И еще я понял теперь, почему, когда де Шарлю выходил от маркизы де Вильпаризи, я обнаружил в нем сходство с женщиной: он в самом деле был

женщиной!.[10] Он представлял собой натуру, менее противоречивую, чем это могло показаться: идеалом таких людей является мужество именно потому, что темперамент у них женский и на мужчин они похожи только внешне; в глазах у каждого из нас, которые служат нам для того, чтобы видеть все, что есть во вселенной, на гранях зрачков запечатлен некий силуэт, так вот у них это силуэт не нимфы, а эфеба[11] Над людьми этой породы тяготеет проклятие; их жизнь — сплошная ложь и клятвопреступление, ибо они знают, что их желания, представляющие собой для всех созданий величайшую радость жизни, наказуемы и позорны, что сознаваться в них стыдно; эти люди — безбожники, ибо если они христиане, то, когда их привлекают к суду и обвиняют в том,

---

[10] Примечания: 10

...он в самом деле был женщиной! — Прустовская теория «мужчины-женщины» вызвала резкую критику со стороны Андре Жида, который в своей книге «Коридон», трактующей проблемы гомосексуализма, замечал на этот счет: «Некоторые книги — в частности, книги Пруста — приучили публику не бояться и осмелиться на то, чтобы хладнокровно относиться к тому, в отношении чего эта публика делала вид, что пребывает в неведении или предпочитала поначалу неведение. Немало умов охотно верят в то, что того, чего они не знают, и не существует... Как весьма может быть, теория мужчины-женщины, sexuelle Zwischenstufen (переходных ступеней сексуальности), которая была выдвинута в Германии доктором Гиршфельдом задолго до войны и которую, как может показаться, разделяет Марсель Пруст, не является ложной; однако она объясняет и затрагивает лишь отдельные разновидности гомосексуализма — те, как раз которыми я не занимаюсь в этой книге, — извращения, женоуподобление, содомия» *(GideA.*

Corydon // Nouvelle Revue Francaise. 1924. № 1. P. 11).

[11] Примечания: 11

Эфеб — в Древней Греции свободнорожденный юноша 18–20 лет, посещавший школы грамматиков, риторов и философов.

что составляет самую суть их жизни, они, перед ликом Христа и клянясь его именем, заявляют, что на них клевещут; это сыновья, у которых нет матерей, ибо они всю жизнь лгут своим матерям, даже закрывая им после их смерти глаза; это друзья, не знающие, что такое истинная дружба, хотя благодаря своему обаянию они часто внушают к себе дружеские чувства, а так как у многих из них доброе сердце, то они и сами питают эти чувства к другим; но можно ли назвать дружбой чувства, которые произрастают под покровом лжи и которые погубит первый порыв доверчивости и откровенности, ибо он ничего, кроме отвращения, не вызовет, если только на их пути не встретится человек беспристрастный, способный понять их, но даже и в таком человеке могут взять верх условности, и, выслушав признание своего знакомого в том, что он страдает таким пороком, этот человек подумает, что, значит, и дружеское расположение его знакомого порождено пороком, а подобное расположение этому беспристрастному человеку глубоко чуждо — так иные судьи легче всего допускают, что убийство совершил подсудимый, в половом отношении ненормальный, а что предательство совершил еврей, и охотно оправдывают и того и другого,

объясняя убийство первородным грехом, а предательство — роком, тяготеющим над этой нацией. Наконец (во всяком случае, по первоначальной теории, которая у меня сложилась тогда и в которую, как увидят читатели, в дальнейшем будут внесены поправки), — и это их особенно огорчало бы, если бы обнаруженное мной противоречие не скрывала от них иллюзия, управляющая их зрением и всей их жизнью, — для такого рода любовников почти недоступна та любовь, в чаянии которой они идут на огромный риск и столько времени проводят в одиночестве: ведь они влюбляются в таких мужчин, у которых как раз ничего женского нет, в мужчин не извращенных, а следовательно, не способных отвечать им взаимностью; таким образом, их страсть никогда бы не утолялась, если бы они не покупали настоящих мужчин за деньги или если бы воображение не выдавало им за настоящих мужчин, которым они отдавались, таких же извращенных, как они сами. Это люди порядочные до первого случая; они на свободе до тех пор, пока не раскрылось их преступление; в обществе их положение шатко,

как у того поэта,[12] перед которым еще накануне были открыты двери всех салонов, которому рукоплескали во всех лондонских театрах и которого на другой день не пустили ни в одни меблированные комнаты, так что ему негде было приклонить голову, и, подобно Самсону, он вынужден был вращать мельничный жернов;[13] «Оба пола умрут в свой черед»,[14] — сказал поэт; они лишены даже, за исключением тех дней, когда случается большое несчастье и когда вокруг жертвы собирается толпа, как собрались вокруг Дрейфуса евреи, сочувствия — а то и общества — им подобных, потому что тем противно видеть в них свое отражение, точно в зеркале, их не щадящем, показывающем все изъяны, которые они старались не замечать в себе, и доводящем

---

[12] Примечания: 12

…как у того поэта… — Речь идет об Оскаре Уайльде (1856–1900), который в 1895 г. был приговорен к двум годам исправительных работ по обвинению в безнравственном поведении. Выйдя на свободу в 1897 г., Уайльд поселился в Париже, где и умер.

[13] Примечания: 13

…подобно Самсону… вращать мельничный жернов… — По ветхозаветному преданию, Самсон, наделенный невиданной силой богатырь, был подготовлен к обету назорейства (соблюдения чистоты и воздержания от вина ради служения Богу). По неосторожности и самоуверенности Самсон открывает филистимлянке Далиде тайну своей силы, заключавшуюся в длинных, ни разу не стриженных волосах. Далида приказывает остричь «семь кос головы» спящего Самсона. Филистимляне одолевают обессиленного Самсона, заковывают в цепи, ослепляют и заставляют вращать мельничные жернова в темнице. (Суд. 14–16).

[14] Примечания: 14

«Оба пола умрут в свой черед» (точнее, «Оба пола умрут каждый сам по себе») — цитата из стихотворения А. де Виньи «Гнев Самсона».

до их сознания, что то, что они называют любовью (толкуя это понятие расширительно, они из чувства самосохранения вложили в него все, чем обогатили любовь поэзия, живопись, музыка, рыцарство, аскетизм), порождено не идеалом красоты, который они себе создали, а их неизлечимой болезнью; опять-таки подобно евреям (но не тем, которые бывают только у своих соплеменников и у которых всегда на языке выражения, связанные с их обрядами, и освященные традицией шутки), они избегают друг друга, ищут общества людей, которые были бы им во всем противоположны и которые не желают с ними общаться; они прощают им их грубости и безмерно радуются их благосклонности; вместе с тем они окружают себя такими же, как они, потому что их преследуют, потому что их срамят, и в конце концов у них вырабатываются, как у евреев и тоже как следствие гонений, физические и душевные расовые особенности, причем некоторые из них прекрасны, но чаще всего это черты отвратительные; они (несмотря на насмешки, которыми те, кто ближе сошелся, ассимилировался с другой породой и на вид представляется менее извращенным, донимают тех, в ком ярче выражены черты их породы) отдыхают

в обществе им подобных, им легче становится жить от мысли, что те существуют, и все же они отрицают свою принадлежность к этой породе (самое ее название является для них величайшим оскорблением), им нравится разоблачать тех, кто эту свою принадлежность скрывает, нравится не потому, чтобы им уж так хотелось сделать тем людям гадость, хотя они и этим не брезгуют, а для того, чтобы снять обвинение с себя; они прощупывают извращение, как врач — аппендицит, даже в истории, им доставляет удовольствие напомнить, что и Сократ был такой же, в чем они опять-таки уподобляются евреям, которые говорят то же самое про Христа, забывая о том, что понятие ненормальности не существовало в те времена, когда гомосексуализм являлся нормой, так же как до Христа не могло быть врагов христианства, забывая о том, что только позор рождает преступление, ибо благодаря ему выживают только те, в ком никакая проповедь, никакие примеры, никакие кары не могли побороть врожденной наклонности, которая из-за своей необычности сильнее отталкивает других людей (хотя она может уживаться с высоким душевным строем), чем не менее отвратительные пороки, как, например, наклонность к воровству,

жестокость, коварство, пороки более понятные, а значит, и более простительные с точки зрения обыкновенного человека; эти люди образуют своего рода масонскую ложу, но только гораздо более обширную, более деятельную и менее заметную, ибо она создается на основе единства пристрастий, потребностей, привычек, на основе однородности опасностей, на основе того, что все ее члены проходят одну и ту же школу, получают одни и те же знания, на основе того, что у них один и тот же образ действий и свой особый язык, — ложу, где даже те ее члены, которые не хотят поддерживать друг с другом знакомство, моментально узнают друг друга по естественным или условным знакам, невольным или предумышленным, по таким же, по каким нищий угадывает, что вот этот важный барин — такой же нищий, как и он, хотя он закрывает дверцу его кареты, по таким же, по каким отец узнает себя в женихе своей дочери, больной — во враче, исповедник — в священнике, подследственный — в адвокате; они вынуждены хранить свою тайну, но посвящены в чужую, о которой другие не подозревают и которая так на них действует, что самые неправдоподобные авантюрные романы кажутся им правдивыми, оттого что их жизнь

полна отошедшей в прошлое романтики, да и как им не поверить в правдивость авантюрных романов после того, как им становится известно, что посол — приятель каторжанина, а что принц, отличающийся той непринужденностью в обхождении, какую вырабатывает аристократическое воспитание и которой не может быть у запуганных мелких буржуа, выйдя из салона герцогини, отправляется на свидание с апашем; это изгои, составляющие, однако, мощную силу, присутствие которой подозревают там, где ее нет, но которая нахально и безнаказанно действует у всех на виду там, где о ее присутствии никто не догадывается; они находят себе единомышленников всюду: среди простонародья, в армии, в храмах, на каторге, на троне; они живут (по крайней мере громадное их большинство) в обвораживающем и опасном соседстве с людьми другой породы, заигрывают с ними, в шутливом тоне заговаривают с ними о своем пороке, как будто сами они им не страдают, и эту игру им облегчают ослепление или криводушие других, и длиться она может долго, вплоть до дня, когда поднимется возмущение и укротителей растерзают; до этого дня они вынуждены таиться, отворачиваться от того, что им хотелось бы рас-

смотреть получше, рассматривать то, от чего им хотелось бы отвернуться, менять в своем языке род многих прилагательных, и все же этот внешний гнет неизмеримо легче гнета душевного, которым их придавливает порок или то, чему дали неверное название порока, придавливает не ради других, а ради них же, чтобы порок не казался им пороком. Но некоторые из них, более практичные, более занятые, те, кому некогда ходить на рынок, придерживаются, для того чтобы упростить себе жизнь и не тратить времени зря, принципа совместимости и создают себе два общества, причем второе составляется исключительно из существ им подобных.

Это бросается в глаза у приехавших из провинции бедняков, у которых нет связей, у которых нет ничего, кроме мечты стать знаменитым врачом или адвокатом, у которых ни о чем нет еще своего мнения, которые еще не выработали манеру держать себя в обществе, каковой они, однако, надеются вскоре обзавестись, так же как они надеются приобрести обстановку для своей комнатушки в Латинском квартале, точь-в-точь такую, какую они видели и во всех подробностях рассмотрели у людей, уже «выдвинувшихся» на том полезном и почтенном поприще, на котором

они сами желают подвизаться и прославиться; пристрастия этих людей, такие же врожденные, как способности к рисованию, к музыке или как предрасположение к слепоте, пристрастия живучие, деспотичные, — это, быть может, единственное, что в них есть оригинального, и эти именно пристрастия заставляют их в иные вечера жертвовать полезной для их карьеры встречей с людьми, которым они подражают во всем: в манере говорить, в образе мыслей, в одежде, в прическе. В том квартале, где они поселяются и где они бывают только у не разделяющих их пристрастий товарищей по школе, преподавателей, у кого-нибудь из своих земляков, преуспевшего и покровительствующего им, они вскоре встречают других молодых людей, и сближает их с ними все то же особое пристрастие — так в маленьком городишке сходятся учитель и нотариус, оба — любители камерной музыки и средневековых изделий из слоновой кости; привнося и в свои развлечения практический интерес, деловой дух, который руководит их усилиями сделать себе карьеру, они встречаются с ними там, куда непосвященным доступа нет, так же как на собрании любителей старинных табакерок, японских гравюр или редких цветов, и где благодаря

удовольствию взаимоосведомления, полезности обмена и боязни конкуренции царят одновременно, как на бирже почтовых марок, тесный союз специалистов и ожесточенное соперничество коллекционеров. В кафе, где у них свой столик, никто не знает, что это за собрание: общества рыболовов, секретарей редакции или уроженцев Эндра — так безукоризненны их манеры, так спокойны и холодны их лица, до того робко, украдкой поглядывают они на модных молодых людей, которые в нескольких шагах от их столика кричат во все горло о своих возлюбленных, и те, что сейчас ими любуются, не смея поднять на них глаза, только двадцать лет спустя, когда одни из них будут без пяти минут академики, а другие — старыми завсегдатаями клубов, узнают, что самый обольстительный из тогдашних юных «львов», а теперь растолстевший и седеющий Шарлю был на самом деле такой же, как и они, но только принадлежал к другому миру, с иными внешними символами, с особыми опознавательными знаками, которые и ввели их тогда в заблуждение. Эти группировки могут быть более передовыми и менее передовыми; Союз левых и Социалистическая федерация, Мендельсонов-

ское музыкальное общество и Schola cantorum[15] — это совершенно разные объединения; вот так в один из вечеров за соседний столик усаживаются экстремисты, и они позволяют, чтобы им надевали под манжету браслет или вешали в вырез рубашки колье; их упорные взгляды, кудахтанье, смех, то, как они друг с другом нежничают, — все это спугивает стайку школьников, и те разбегаются врассыпную, а скрывающего, как и в те вечера, когда он подает дрейфусарам, под учтивостью официанта возмущение подмывает позвать полицию, и, если б не надежда на чаевые, он бы ее непременно позвал.

Таким профессиональным организациям разум противопоставляет отшельников, противопоставляет без особой натяжки: он становится на точку зрения самих отшельников, которые считают, что ничто так резко не отличается от организованного порока, как то, что им представляется непонятой любовью, и все-таки не без

[15] Примечания: 15

ScholaCantorum — музыкальная школа, основанная в Париже в 1894 г. и предназначенная поначалу для обучения церковному пению и музыке. Вскоре была преобразована в высшее музыкальное училище. В 1909–1931 гг. его директором был выдающийся французский музыкант Венсан д'Энди (1851–1931), который отличался яростным антисемитизмом и был поклонником Рихарда Вагнера. Немецкого композитора Феликса Мендельсона-Бартольди (1809–1847), еврея по происхождению, Вагнер считал своим заклятым врагом.

натяжки, ибо эти разные классы соответствуют не только различным физиологическим типам, но и следующим один за другим моментам патологической или только социальной эволюции. И в самом деле: редко кто из отшельников рано или поздно не примкнет к одной из таких организаций — иногда просто от скуки, иногда из соображений удобства (так самые ярые противники телефона, принцев Иенских и Потена в конце концов все-таки ставят у себя телефон, начинают принимать Иенских и покупать у Потена). Надо сказать, что в большинстве случаев их принимают в такие организации неохотно, оттого что их относительно скромное поведение в сочетании с неопытностью и болезненной мечтательностью, какую порождает одиночество, наложили на них более заметный отпечаток женственности — отпечаток, от которого профессионалы постарались избавиться. Скажем прямо, что у некоторых новичков женское начало объединяется с мужским не только внутри — его омерзительное обличье выставляет себя напоказ, например, когда они смеются истерически визгливым смехом, от которого у них трясутся колени и руки: в такие минуты они похожи не на мужчин, а на обезьян с грустным взглядом, с

синевой под глазами, с цепкими ногами — разница та, что на них смокинги и черные галстуки; короче говоря, менее целомудренные ветераны считают, что общение с этими новобранцами компрометирует, и допускают они их до себя скрепя сердце; и все-таки общество терпит их, и они пользуются всеми возможностями, с помощью коих коммерция и крупные предприятия преобразили жизнь извращенных индивидуумов и достигли того, что нужные им удовольствия, прежде с большим трудом приобретавшиеся и даже почти не появлявшиеся на рынке их любви, стали им доступны; то, чего прежде, когда они действовали без посредников, им не удавалось промыслить даже там, где собиралось много народу, теперь у них имеется в изобилии.

Но и при наличии бесчисленных предохранительных клапанов внешний гнет для иных еще непосилен — непосилен для тех, что вербуются главным образом среди людей, которые привыкли к внутренней свободе и которые все еще убеждены, что их пристрастие встречается редко, хотя на самом деле это не так. Оставим пока тех, которые необычность их наклонности считают достаточным основанием, чтобы мнить себя высшими существами, тех, что презирают

женщин, тех, что смотрят на гомосексуализм как на свойство гениев и как на явление, характерное для великих исторических эпох; когда они ищут, с кем бы слюбиться, их тянет не столько к тем, у кого они находят к этому предрасположение, как морфиниста тянет к морфию, сколько к тем, кого они считают достойным своей благосклонности, они с таким же апостольским рвением пытаются распространить свои убеждения, с каким другие проповедуют сионизм, сенсимонизм, вегетарианство, анархизм или уговаривают отказываться от военной службы. Если вы утром застанете иного еще в постели, вас поразит, какая у него дивная женская голова, какое у этого лица общее для всех женщин выражение, какой это символ женского пола; даже волосы у него вьются, как у женщины; они рассыпаются по плечам, на лицо так естественно падают локоны, и вы невольно дивитесь, как эта молодая женщина, эта девушка, эта Галатея,[16] только-только еще пробуждающаяся в подсознании мужчины, где

[16] Примечания: 16

Галатея — в греческой мифологии морская нимфа, нереида. В нее был влюблен циклоп Полифем, а она, отвергнув его, полюбила сына лесного бога Пана Акида. Полифем раздавил Акида скалой, после чего Галатея превратила своего несчастного возлюбленного в прозрачную речку. Образ мог быть навеян Прусту картиной Гюстава Моро «Спящая Галатея» (1880).

она заточена, — как она сумела самостоятельно, без подсказки отыскать все еле заметные лазейки из своей темницы, найти все жизненно важное для нее. Понятно, молодой человек, у которого такая прелестная головка, не говорит: «Я — женщина». Если даже — по многим причинам — он живет с женщиной, он может в разговоре с ней отрицать, что и он женщина, может поклясться, что у него никогда не было сношений с мужчинами. Пусть только она увидит его таким, каким мы только что его показали: на кровати, в пижаме, с голыми руками, с голой шеей в обрамлении черных кудрей. Пижама превратится в женскую кофту, голова — в головку хорошенькой испаночки. Любовница придет в ужас от этих признаний в ответ на ее вопросительный взгляд, ибо они правдивее всяких слов и даже действий, хотя действия, если они еще ни о чем не сказали, скажут непременно потом, ибо каждое существо стремится к наслаждению и не совсем испорченное находит наслаждение в сношениях с полом противоположным. Мужчина с извращенными наклонностями порочен не тогда, когда он вступает в связь с женщинами (на это его может толкнуть многое), а когда это доставляет ему наслаждение. Молодой человек, которого мы попытались

нарисовать, — до того явная женщина, что женщин, которые смотрели на него с вожделением, постигает (если только сами они нормальны) разочарование, какое испытывают героини комедий Шекспира, обманутые переряженной девушкой, которая выдает себя за юношу. И тут и там обман; извращенный мужчина это знает, он предвидит, какое разочарование постигнет женщину, когда маскарадный костюм будет сброшен, и понимает, что такого рода ошибка служит источником для поэтической фантазии. Сколько бы ни убеждал он настойчивую свою любовницу (если только она не из Гоморры): «Я — женщина», как хитро, как ловко, с каким упорством — упорством ползучего растения — женщина бездумная, настоящая подбирается к его органу! Нам достаточно окинуть взглядом локоны на белой подушке, чтобы поручиться, что если этот молодой человек вечером ускользнет от своих родителей, против их воли, против собственной воли, то не для того, чтобы пойти к женщинам. Любовница может наказывать его, запирать на замок — на другой день мужеженщина найдет способ проникнуть к мужчине — так вьюнок выпускает усики при приближении заступа или грабель. Почему же нам, любовавшимся трога-

тельно нежными чертами лица этого мужчины, любовавшимся его несвойственными мужчинам изяществом и неподдельной приветливостью, бывает так больно, когда мы узнаём, что этот молодой человек ищет знакомства с боксерами? Ведь это два разных аспекта одного явления. И тот аспект, что внушает нам отвращение, даже более трогателен, трогательнее всяческих ухищрений, ибо он представляет собой изумительное, неосознанное усилие природы: пол сам себя узнает; вопреки всем плутням, на какие пускается пол, он бессознательно исправляет изначальную ошибку, допущенную обществом: он устремляется к тому, что общество от него отдалило. Одни из них, без сомнения, с детства очень застенчивые, равнодушны к чувственной стороне наслаждения: им важно соотнести получаемое ими наслаждение с лицом мужчины. Другим — людям, без сомнения, больших страстей — непременно требуется локализация чувственного наслаждения. От их признаний обыкновенным людям, наверное, стало бы не по себе. Наверно, они не живут всецело под спутни-

ком Сатурна,[17] так как женщины им все-таки нужны — в отличие от первых, для которых женщины вообще не существовали бы, если бы не уменье женщин вести беседу, если бы не женское кокетство, если бы не головное чувство. Но вторые ищут женщин, которые любят женщин, женщины могут свести их с молодыми людьми и усилить наслаждение, которое им доставляет общество молодых людей; более того: женщины могут доставить им такое же наслаждение, как мужчины. Ревность может пробудить у тех, кто любит первых, только наслаждение, которое доставил бы им мужчина, только это наслаждение воспринимают они как измену, потому что они не способны любить женщин, а если они и вступали в сношения с женщинами, то лишь по привычке и чтобы не отрезать себе пути к браку; радости супружеской жизни им непонятны, потому они и не страдают от того, что любимый ими мужчина счастлив в супружеской жизни; между тем вторых часто ревнуют к женщинам. Дело в

[17] Примечания: 17

…под спутником Сатурна… — По всей видимости, Пруст имеет в виду спутник Сатурна Титан (открыт в 1655 г.); однако, согласно древнейшей мифологической традиции, сам Сатурн покровительствовал противоестественной любви и извращениям вообще. Образ Сатурна — покровителя гомосексуализма мог сложиться в сознании Пруста под впечатлением «Сатурнических поэм» Поля Верлена. В переписке писателя слово «сатурнизм» является синонимом гомосексуализма.

том, что в отношениях с женщинами они играют для женщины, любящей женщин, роль другой женщины, а женщина доставляет им почти такое же наслаждение, как мужчина; и вот ревнивый друг страдает, воображая, как его любимый прилип к той, что представляется ему почти мужчиной, и ему уже кажется, что он вряд ли к нему вернется, так как для подобного рода женщин он представляет собой нечто незнакомое: разновидность женщины. Не будем говорить и о тех юных безумцах, которые, ребячась, чтобы подразнить своих друзей и привести в ужас родителей, из чистого упрямства щеголяют в костюмах, похожих на женские платья, красят губы и подводят глаза; оставим их в покое: жестоко поплатившись за свое позерство, они потом всю жизнь напрасно будут пытаться строгим, протестантским поведением уничтожить последствия вреда, какой они себе причинили, будучи одержимы тем же демоном, который наущает молодых женщин из Сен-Жерменского предместья вести скандальный образ жизни, нарушать все правила приличия, глумиться над своими родными до тех пор, когда они вдруг с железным упорством, но безуспешно начнут подниматься на гору, скатиться с которой им когда-то представлялось таким за-

манчивым или, вернее, на верху которой они не могли удержаться. Оставим, наконец, временно тех, что заключили соглашение с Гоморрой. Мы скажем о них, когда с ними познакомится де Шарлю. Оставим все разновидности этой породы — впоследствии они еще появятся, — а чтобы покончить с первоначальным этим наброском, скажем лишь еще несколько слов о тех, кого мы только что затронули, — об отшельниках. Ошибочно думая, что их порок — явление редкое, они начинают жить в одиночестве, как только его в себе обнаружат, после того как долго носили его в себе, ничего не подозревая, во всяком случае, дольше других. Ведь вначале никто не знает, кто он: извращенный, или поэт, или сноб, или злодей. Иной школьник, начитавшийся стихов о любви или насмотревшийся непристойных картинок, ластится к товарищу, думая, что его объединяет с ним только желание женщины. Придет ли ему в голову, что он не такой, как другие, если о том, что он испытывает, пишут г-жа де Лафайет, Расин, Бодлер, Вальтер Скотт, а между тем по части самонаблюдения он еще очень слаб и не способен разобраться в том, сколько он привносит в них своего, ему еще не дано постичь, что чувство одинаково, а предметы различны, что он желает

того же, чего и Роб Рой, а не того же, чего желает Диана Вернон?[18] У многих из них инстинкт самосохранения в своем развитии опережает ум, и в их комнатах не видно ни зеркала, ни стен, потому что они сплошь увешаны карточками артисток; они сочиняют стишки:

Я люблю златокудрую Хлою,[19]
Мои песни звучат ей хвалою,
Весь я полон лишь ею одною.

Можно ли отсюда заключить, что в начале жизни они питали особого рода пристрастие, если в дальнейшем никаких его признаков не обнаруживали? Разве дети с белокурыми локонами не становятся часто брюнетами?

Кто знает, быть может, в этих фотографиях таится зародыш лицемерия, а может быть, и зародыш отвращения к извращенным мужчинам? Но для отшельников лицемерие мучительно. Пожалуй, даже пример евреев, общины совсем

---

[18] Примечания: 18

Роб Рой, Диана Верной — персонажи романа Вальтера Скотта «Роб Рой» (1817).

[19] Примечания: 19

Хлоя — персонаж пасторального романа «Дафнис и Хлоя», автором которого считается греческий писатель Лонг (III в.). Сюжет романа был положен в основу одноименной хореографической симфонии Мориса Равеля (1875–1937).

особой, недостаточно нагляден для того, чтобы объяснить, как мало значит для них воспитание и к каким ухищрениям они прибегают, чтобы снова для них началась (хотя это, может быть, и не так ужасно, как самоубийство, на которое, несмотря ни на какие меры предосторожности, вновь и вновь покушаются сумасшедшие: их вытаскивают из реки, а они травятся, добывают себе револьвер и т. д.) жизнь с ее радостями, которые людям другой породы кажутся непонятными, непостижимыми, гадкими, с ее постоянными опасностями и вечным чувством стыда. Пожалуй, чтобы их обрисовать, вернее будет сравнить их не с животными, которых нельзя приручить, не со львятами, которых пытаются одомашнить, но которые, когда вырастут, становятся самыми настоящими львами, а с чернокожими, на которых наводят уныние удобства, коими пользуются белые, и которые предпочитают опасности, коими полна жизнь дикарей, и ее непонятные нам радости. Когда отшельники доходят наконец до сознания, что они не могут лгать одновременно и другим, и самим себе, они переезжают в деревню, и там они избегают им подобных (они полагают, что их немного) потому, что им внушает гадливое чувство их противоестественность, или от

страха поддаться искушению, а других людей они избегают от стыда. Они так и не достигают настоящей зрелости, они вечно тоскуют; время от времени воскресным вечером, если не светит луна, они отправляются на прогулку и доходят до поворота, а там их молча ждет друг детства, сосед по имению. И они — все так же молча — опять начинают возиться впотьмах на траве. В будни они заходят друг к другу, говорят о том о сем, но никто из них не намекает на то, что между ними произошло, как будто ничего не было и не будет, заметен лишь холодок, проскальзывает насмешка, чувствуется раздражение, злоба, иной раз даже ненависть. Потом сосед отправляется в нелегкое путешествие, верхом на муле едет в горы, спит на снегу; его друг, для которого порок неразрывно связан со слабохарактерностью, с домоседством, с трусливостью, понимает, что пороку не выжить в душе его вырвавшегося на свободу друга, который сейчас находится в стольких тысячах метров над уровнем моря. И в самом деле: тот женится. Но покинутый не излечился (хотя, как это будет видно из дальнейшего, извращенность в иных случаях излечима). Он получает теперь по утрам свежие сливки прямо из рук молочника, а по вечерам, когда его особенно томят

желания, доходит до того, что показывает дорогу пьяному, поправляет рубашку слепому. Правда, некоторые извращенные становятся как будто другими, так называемый порок уже не виден в их привычках, но ничто не исчезает бесследно: куда-то засунутая драгоценная вещь отыскивается; если больной меньше мочится, это значит, что он сильнее потеет, но количество выделений все равно остается прежним. У этого гомосексуалиста умирает молодой родственник, и по тому, как он горюет, вы догадываетесь, что он перенес свои желания на любовь к этому родственнику, любовь, быть может, невинную, любовь, в которой уважение брало верх над стремлением к обладанию, — так, в основном не меняя бюджета, иные расходы переносятся на другой год. Подобно тому как крапивная лихорадка на время заставляет больных забывать об их всегдашних недугах, так чистое чувство извращенного к его молодому родственнику, быть может временно, путем метастаза, вытеснило его склонности, но рано или поздно они займут место заменявшей их и уже вылеченной болезни. Между тем женатый сосед отшельника возвращается; красота молодой жены и ласковое обращение с ней мужа в тот день, когда отшельнику пришлось пригласить их

к обеду, вызывают в нем чувство стыда: он стыдится своего прошлого. Жена уже в интересном положении, ей надо вернуться домой пораньше, и она уходит одна; муж, прощаясь, просит своего друга проводить его; друг, ничего не подозревая, идет, но как только они доходят до поворота, альпинист, который станет отцом, молча валит его на траву. И встречи их возобновляются и продолжаются до тех пор, пока поблизости не поселяется родственник молодой женщины, и теперь уже супруг всегда гуляет с ним. И когда покинутый вечером подходит к нему, муж злобно отталкивает его — он возмущен, что у того не хватило такта, чтобы почувствовать, что теперь он ему отвратителен. Но однажды к покинутому приходит незнакомец, присланный соседом-изменником; покинутый очень занят, не может его принять и только потом догадывается, с какой целью являлся к нему незнакомец.

Покинутый изнывает в одиночестве. Единственное его развлечение — ходить на ближайшую станцию около купален и разговаривать с железнодорожным служащим. Но служащий получает повышение, его переводят за тридевять земель; отшельнику не у кого теперь узнать, когда отходят поезда, сколько стоит билет пер-

вого класса, и все же он не сразу возвращается домой, чтобы мечтать, как Гризельда,[20] у себя на башне, — он долго не может отойти от моря, и его можно принять за некое подобие Андромеды, — но только эту Андромеду аргонавт не освободит,[21] — или за бесплодную медузу, которой суждено погибнуть на песке; или же он лениво прохаживается перед отходом поезда по платформе, охватывая пассажиров взглядом, и этот его взгляд людям другой породы покажется безучастным, презрительным и рассеянным, но подобно тому, как иные насекомые светятся, чтобы приманивать насекомых того же вида, или подобно тому, как иные цветы источают нектар, чтобы приманивать насекомых, которые оплодотворят их, на самом деле он смотрит таким взглядом, который не обманет чрезвычайно редко встречающихся любителей предлагаемого им столь необычного и столь редкого наслаждения,

---

[20] Примечания: 20

Гризельда — героиня средневековой легенды; символ супружеской верности, подвергаемой дьявольским искушениям. Ее образ использовали в своем творчестве Петрарка, Боккаччо, Перро.

[21] Примечания: 21

...но только эту Андромеду аргонавт не освободит... — В греческой мифологии Андромеда — дочь эфиопского царя Кефея и Кассиопеи. Была принесена в жертву морскому чудовищу, которого вместе с наводнением наслал на Эфиопию Посейдон. От гибели Андромеду спас не один из аргонавтов, а Персей.

взглядом, не обманывающим собрата, с которым наш специалист мог бы поговорить на им одним понятном языке; однако на платформе разве какой-нибудь оборванец сделает вид, что его покорил этот взгляд, но руководят оборванцем соображения материальные — так люди приходят в пустую аудиторию Коллеж де Франс[22] где профессор читает лекции о санскрите, приходят с единственной целью — погреться. Медуза! Орхидея! В Бальбеке во мне говорил только инстинкт, и тогда медузы были мне противны; по если бы я умел смотреть на них, как Мишле,[23] — взглядом естествоиспытателя и эстета, — я бы увидел дивные голубые канделябры. Разве медузы с их прозрачными бархатными лепестками — не лиловые орхидеи моря? Подобно стольким существам животного и растительного мира, подобно растению, из которого можно было бы добывать ваниль, но которое вследствие того, что мужской половой орган отделен у пего пе-

[22] Примечания: 22

Коллеж де Франс — престижное учебное заведение, основанное в Париже в 1529 г. Франциском I по совету выдающегося французского гуманиста Гийома Бюде (1467–1540).

[23] Примечания: 23

Мишле, Жюль (1798–1874) — французский историк и писатель, профессор Коллеж де Франс (1838), проповедовавший либерализм и антиклерикализм. Пруст имеет в виду его книгу «Море» (1861), где имеется замечательное описание медузы.

регородкой от женского, остается бесплодным, если только колибри или какие-то пчелки не перенесут пыльцу с одного органа на другой или если его искусственно не оплодотворит человек,[24] де Шарлю (в применении к нему слово «оплодотворение» надо понимать в духовном смысле, потому что в смысле физическом совокупление мужчины с мужчиной бесплодно, но для индивидуума не безразлична возможность получить единственно существующее для него наслаждение, не безразлично сознание, что «все живое» может кому-нибудь принести в дар «свой пламень, спой напев, свое благоуханье»,[25]), — де Шарлю относился к числу тех людей, которых можно назвать исключениями, потому что, хотя их и много, удовлетворение их половой потребности, столь легко достижимое для других, зависит от совокупности множества условий, совокупности крайне редкой. У таких людей, как

---

[24] Примечания: 24

…если его искусственно не оплодотворит человек… — Разрабатывая ботаническую тему как прелюдию досконального рассмотрения гомосексуализма, писатель, помимо уже упоминавшейся книги М. Метерлинка «Разум цветов», опирается на работы русского биолога И. И. Мечникова (1845–1916), который во времена Пруста заведовал отделением Пастеровского института в Париже.

[25] Примечания: 25

…«свой пламень, свой напев, свое благоуханье»… — Цитата из поэмы Виктора Гюго «Внутренние голоса».

де Шарлю (при необходимости приноравливаться, которую он будет осознавать постепенно, но которую можно предугадать с самого начала, — приноравливаться ради того, чтобы получать наслаждение, довольствующееся и полусогласием), стремление к взаимной любви, помимо больших, подчас непреодолимых препятствий, возникающих у людей нормальных, наталкивается на препятствия совершенно особые, и то, что вообще представляет собой редчайшую находку, для них почти неосуществимо, так что если в их жизни и бывают по-настоящему счастливые встречи или же такие, которые природа выдает за счастливые, счастье кажется им неизмеримо более чудесным, предназначенным только для избранных, кажется им жизненно куда более важным, чем обыкновенным влюбленным. Что вражда Капулетти и Монтеккн в сравнении со всевозможными препонами, с особыми преградами, каких наставила природа вокруг и без того не частых случайностей, порождающих такого рода любовь! Эти Ромео и Джульетта с полным основанием могут думать, что их любовь — не минутный каприз, а самое настоящее предопределение, заложенное в гармонии их темпераментов, и не только их, но и темпераментов их далеких

предков, заложенное в наследственности, при каковом условии существо, соединяющееся с другим, принадлежит ему еще до своего рождения; они могут думать, что их притягивает друг к другу сила, которую можно сравнить с той, что правит мирами, где протекла наша пред-земная жизнь. Де Шарлю отвлек мое внимание от шмеля, и я так и не узнал, принес ли он орхидее пыльцу, которую орхидея давно ждала и которую она могла получить лишь благодаря одному из редких случаев, воспринимавшихся как чудо. Но ведь я присутствовал тоже при чуде, не менее дивном. И когда я посмотрел на эту встречу с такой точки зрения, все в ней показалось мне красивым. Самые необычайные хитрости, на какие пускается природа, чтобы заставить насекомых оплодотворить цветы, которые иначе не могли бы оплодотвориться, потому что мужской цветок находится у них далеко от женского, а если занос пыльцы должен осуществить ветер, то чтобы пыльца легче отделялась от мужского цветка и чтобы ее легче было поймать на лету цветку женскому, чтобы прекратить выделение нектара, теперь уже бесполезного, потому что необходимость приманивать насекомых отпала, чтобы стереть даже яркую окраску венчиков,

которая тоже приманивает их; хитрости, на какие пускается природа, чтобы цветок опылялся такой пыльцой, которая только и может оплодотворить его, для чего она заставляет цветок выделять жидкость, которая лишает его восприимчивости ко всем прочим видам пыльцы, — все эти хитрости изумляли меня не больше, чем существование разновидности извращенных, предназначенной для того, чтобы доставлять любовные утехи извращенным стареющим; мужчин этой разновидности привлекает тоже не всякий мужчина, а — в силу соответствия и гармонии вроде тех, что регулируют оплодотворение гетеростильных триморфных цветов, как, например, lytrum salicaria[26] — такой, который намного старше их. Жюпьен представлялся мне не самым ярким примером этой разновидности, которую, несмотря на ее редкость, каждый собиратель человекорастений, каждый ботаник человеческих душ может наблюдать на примере хлипкого юнца, ждущего авансов от здоровенного, раздобревшего пятидесятилетнего мужчины и не обращающего никакого внимания на авансы своих ровесников, — так остаются бесплодными

[26] Примечания: 26
Подбережник, дербенник (лат.)

цветы primula veris,[27] двуполые, с короткими пестиками, если их опыляют цветы других primula veris, тоже с короткими пестиками, а между тем пыльцу, которой их одаряет primula veris с длинными пестиками, они принимают с восторгом. Что же касается де Шарлю, то впоследствии я убедился, что для него были возможны различные формы соития, и некоторые из этих форм своею частотою, своей едва уловимой минутностью, а главное — отсутствием контакта между двумя действующими лицами невольно приводили на память те цветы, что оплодотворяются в саду пыльцой соседних цветов, с которыми они никогда не соприкоснутся. И в самом деле: некоторых ему достаточно было пригласить к себе, несколько часов властвовать над ними с помощью слова — и желание, загоревшееся в нем во время предыдущей встречи, утолялось. Соитие с помощью одних только слов осуществлялось так же просто, как оно осуществляется у инфузорий. В иных случаях, как это, скорее всего, произошло при свидании со мной в тот вечер, когда я по его приглашению приехал к нему после ужина у Германтов, его страсть находила

---

[27] Примечания: 27
Первоцвет (лат.)

удовлетворение в тех оскорблениях, какие он бросал в лицо гостю, — так иные цветы с помощью особого приспособления издали обрызгивают обомлевшее насекомое, неведомо для него самого становящееся их сообщником. Превратившись из порабощенного в поработителя, почувствовав облегчение, успокоившись, де Шарлю спроваживал гостя, уже не возбуждавшего в нем желании. Наконец, — так как корни извращения — в том, что извращенный чересчур женоподобен и потому его сношения с женщиной не могут удовлетворить их обоих, — извращение подчиняется более общему закону, в силу которого множество двуполых цветов остается бесплодным, то есть закону бесплодности самооплодотворения. Правда, извращенные в поисках мужчины часто довольствуются не менее женственным существом, чем они сами. Им достаточно, чтобы это существо не было существом женского пола, эмбрион которого они носят в себе, но которым они лишены возможности пользоваться, — то же самое происходит у многих двуполых цветов и даже у иных двуполых животных, вроде улитки: они не способны оплодотворить себя сами, но их могут оплодотворить другие гермафродиты. Вот почему происхождение извращенных, которым

нравится вести его от времен Древнего Востока или от греческого золотого века, следует отнести еще дальше, к тем испытательным временам, когда не было ни двудомных цветов, ни однополых животных, к изначальному гермафродитизму, следы которого, по-видимому, сохранились в рудиментах мужских органов у женщины и в рудиментах женских органов у мужчины. Сперва непонятная для меня мимика Жюпьена и де Шарлю подстрекнула мое любопытство, как могли бы его подстрекнуть приманивающие движения, которыми, по Дарвину, привлекают насекомых не только так называемые сложноцветные растения, поднимающие цветочки своих головок, чтобы их было видно издали, но и те ге-теростильные, которые выворачивают свои тычинки и выгибают их, чтобы освободить дорогу насекомым, те, что предлагают им омовение или просто-напросто привлекают их запахом нектара или окраской венчиков, вроде того растения, что приманивало тогда во дворе насекомых. После того дня де Шарлю уже в другое время приходил к маркизе де Вильпаризи — не потому, чтобы он не мог встречаться с Жюпьеном где-нибудь еще и в более спокойной обстановке, а, вернее всего, потому, что для него, как и для меня, эта первая

их встреча связывалась с солнцем полудня и с цветущим растением. Де Шарлю рекомендовал Жюпьенов маркизе де Вильпаризи, герцогине Германтской и множеству именитых заказчиц, и те поспешили завалить заказами молодую вышивальщицу, потому что на дам, которые не пожелали иметь с ней дело или хотя бы не поторопились прийти к ней, барон обрушил всю свою ярость — то ли чтобы это послужило уроком другим, то ли потому, что они посмели его ослушаться; этого мало: для самого Жюпьена он находил все более и более выгодные должности и наконец взял его к себе в секретари на условиях, о которых будет сказано в своем месте. «Жюпьену-то как повезло! — говорила Франсуаза; она отличалась свойством преуменьшать или преувеличивать благодеяния в зависимости от того, кому их оказывали — ей или другим. Но к Жюпьену она была искренне расположена и потому не испытывала желания преувеличивать и не завидовала ему. — Какой барон добрый человек! — добавляла она. — Какой милый, набожный, порядочный! Кабы мне надо было выдавать дочку замуж и кабы я была богатая, я бы не задумываясь отдала ее за барона». — «Франсуаза! — мягко возражала моя мать. — Ведь тогда у

вашей дочери было бы два мужа: вы же обещали Жюпьену, что отдадите ее за него». — «А что вы думаете? — говорила Франсуаза. — За этим тоже не пропадешь. Богатый ли мерзавец, бедный ли — и с тем и с другим наплачешься. А барон и Жюпьен — люди хорошие».

Должен заметить, что после того, как мне впервые открылось столь редкостное соединение, я преувеличивал его необычность. Разумеется, такие мужчины, как де Шарлю, представляют собой явление из ряда вон выходящее, так как, если только они не идут на сделку с условиями жизни, они преимущественно ищут любви мужчин другой породы, то есть мужчин, любящих женщин (которые, следовательно, не могут полюбить их); но, вопреки тому, что я думал во дворе, где на моих глазах Жюпьен вертелся вокруг де Шарлю, заигрывая с ним, как орхидея со шмелем, этих необыкновенных существ, возбуждающих к себе жалость, тьма — что будет видно из дальнейшего повествования — по причине, которая откроется только к его концу, да они и сами сетуют скорее на то, что их много, чем на то, что их мало. Двух ангелов, поставленных у врат Содома, чтобы узнать, как сказано в Книге

Бытия,[28] точно ли содомляне поступают так, каков вопль на них, восходящий к Предвечному, Господь — чему, впрочем, можно только порадоваться — выбрал опрометчиво, лучше бы он поручил это кому-нибудь из содомлян. Такого рода оправдания: «Я отец шестерых детей, у меня две наложницы» и т. д. — не смягчили бы его и не заставили бы опустить пламенный меч; он бы ответил: «Да, и жену твою мучает ревность. Но даже когда ты и не ищешь для себя женщин в Гоморре, ты проводишь ночи с пастырем стад Хевронских». И он тотчас же вернул бы его в город, обреченный на истребление огненным и серным дождем. А вышло не так: всем не утратившим стыда содомлянам дозволено было бежать, и даже если они, увидев юношу, оглядывались, подобно жене Лота, то не были за это обращены, как она, в соляные столпы. И произошло от них многочисленное потомство, у которого это движение вошло в привычку, подобно движению распутных женщин, которые делают вид, будто рассматривают на витрине обувь, а сами заглядываются на студентов. Эти потомки содомлян, столь многочисленные, что к ним приложим стих

[28] Примечания: 28

…как сказано в Книге Бытия… — Здесь и далее Пруст вольно пересказывает ветхозаветное предание о Содоме и Гоморре (Быт. 18–19).

тоже из Бытия: «Если кто может сосчитать песок морской, то и потомство твое сочтено будет», распространились по всей земле, занимаются чем угодно, необычайно легко становятся членами клубов, доступ в которые вообще крайне ограничен, и, если кто-нибудь из содомлян туда все-таки не попадает, это значит, что черных шаров наложили ему главным образом такие же содомляне, мечущие на содомию громы и молнии, ибо они унаследовали от предков лживость, благодаря которой тем удалось покинуть Богом проклятый город. Быть может, они когда-нибудь туда вернутся. Во всех странах они образуют особую восточную колонию, просвещенную, музыкальную, злопыхательствующую, отличающуюся обворожительными достоинствами и несносными недостатками. Далее читатель получит об этих людях более точное представление; но нам хотелось уже теперь сказать о том, что не менее пагубно, чем поощрение сионистского движения, намерение создать движение содомистское, заново отстроить Содом. Содомисты не успеют приехать в этот город, как сейчас же выедут оттуда, чтобы их не принимали за постоянных его жителей, в другие места, где они найдут себе жен и станут содержать любовниц и где к их услугам

будут все прочие заманчивые для них виды развлечений. Они будут наезжать в Содом только в случае крайней нужды, когда их города опустеют, в такие времена, когда голод гонит волка из лесу вон, — словом, все будет, в общем, обстоять так же, как обстоит и теперь в Лондоне, в Берлине, в Риме, в Петербурге, в Париже.

Но в тот день, перед заходом к герцогине, я не проявил дальновидности и подосадовал на то, что внимание мое приковал к себе союз Жюпьен — Шарлю и что из-за этого я, быть может, пропустил оплодотворение цветка шмелем.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Я не спешил на вечер к Германтам, так как не был уверен, что приглашен, и бродил без цели по улицам; но и летний день словно тоже не торопился. Был уже десятый час, а он все еще придавал сходство Луксорскому обелиску[29] на площади Согласия с розовой нугой. Потом изменил его окраску и превратил в нечто металлическое, отчего обелиск стал не только драгоценнее, но и как будто более тонким, почти что гибким. Воображению представлялось, что драгоценность эту можно погнуть, что, пожалуй, даже ее слегка покривили. Луна была сейчас как ломтик апельсина, аккуратно отрезанный, по уже надкушенный. Еще немного — и она покажется отлитой из прочнейшего золота. К одинокой луне льнула единственная ее спутница-звездочка, но только луна, охранявшая свою подружку, смелее, чем она, двигалась вперед и уже собиралась поднять, как непобедимое оружие, как некий восточный символ, свой широкий, чудный зо-

[29] Примечания: 29

Луксорский обелиск — памятник древнеегипетской архитектуры эпохи Рамзеса II; с 1836 г. украшает площадь Согласия в Париже.

лотой серп.

Около дома принцессы Германтской я встретился с герцогом де Шательро; я успел забыть, что всего лишь полчаса назад меня мучила мысль — впрочем, скоро она опять со мне зашевелится, — что я иду без приглашения. Порой нас охватывает тревога, но вдруг нас что-то отвлечет, и мы забываем про нее, а потом опять вспоминаем, хотя и далеко не сразу, после того как опасность минует. Я поздоровался с молодым герцогом и вошел в дом. Тут я должен указать на одно обстоятельство, само по себе маловажное, но благодаря которому легче будет понять то, о чем речь пойдет дальше.

Был один человек, который в этот вечер, так же как и в предыдущие, много думал о герцоге де Шательро, хотя и не имел представления, кто он такой; человек этот был швейцар (в те времена у швейцаров было прозвище «горлодеры») принцессы Германтской. Герцог де Шательро отнюдь не принадлежал к числу друзей — он был всего лишь дальним родственником — принцессы, и сегодня он впервые получил приглашение в ее салоп. Его родители десять лет были с ней в ссоре и только две недели тому назад помирились, но как раз в этот вечер они должны были уехать за

город и в качестве своего представителя послали к ней сына. Так вот, за несколько дней до этого швейцар принцессы встретил на Елисейских полях молодого человека; он был очарован им, но так и не узнал, кто это. И не потому, чтобы молодой человек был щедр, но нелюбезен. Напротив, все те услуги, какие швейцар считал необходимым оказать молодому барину, барин оказал ему. Но герцог де Шательро, при всей своей неосторожности, был трусишка; он не хотел открывать свое инкогнито, главным образом потому, что не знал, с кем имеет дело; он струсил бы еще больше — хотя и без особых оснований, — если бы это стало ему известно. Герцог выдал себя за англичанина, и, как ни любопытствовал швейцар, которому страх как хотелось еще раз встретить человека, доставившего ему такое удовольствие и так щедро его вознаградившего, он, пока они шли по авеню Габриэль, на все его вопросы отвечал: «I do not speak French».[30]

Против очевидности, — помня лишь о том, от кого по материнской линии происходит его родственник, — герцог Германтский утверждал, будто в салопе принцессы Германт-Баварской

---

[30] Примечания: 30
Я не говорю по французски (англ.)

есть нечто от Курвуазье, тогда как другие судили об изобретательности и умственном превосходстве этой дамы по одному нововведению, которого в этом кругу нигде больше не было. Как бы ни был торжествен званый вечер у принцессы Германтской, после ужина, пройдя в салон, вы обнаруживали, что стулья расставлены здесь небольшими группами так, что в случае надобности гости могут повернуться друг к другу спиной. Принцесса присоединялась к одному из этих кружков — в том, что она как бы оказывала ему предпочтение, проявлялись ее общественные взгляды. Впрочем, она безбоязненно останавливала свой выбор на ком-либо из другого кружка и вовлекала его в разговор. Если, допустим, она обращала внимание Детая,[31] который, конечно, с ней соглашался, какая у г-жи де Вильмюр, сидевшей в другом кружке спиной к ней, красивая шея, принцесса тотчас окликала ее: «Госпожа де Вильмюр! Такой великий художник, как господин Детай, залюбовался вашей шеей». Г-жа де Вильмюр воспринимала эти слова как непосредственное приглашение принять участие

[31] Примечания: 31

Детай (Детайль), Эдуар (1848–1912) — французский художник-баталист. «Сон» — аллегорическая картина Детая, которая принесла художнику медаль Салона 1888 г.

в беседе; с ловкостью, которую вырабатывает привычка к верховой езде, она, так, чтобы ничуть не побеспокоить соседей, поворачивала свой стул, делала три четверти полного оборота и оказывалась почти прямо против принцессы. «Вы не знакомы с господином Детаем?» — спрашивала хозяйка дома — искусного и деликатного оборота, какой проделала гостья, ей было мало. «С ним самим я не знакома — я знаю его картины», — почтительным, обвораживающим тоном отвечала г-жа де Вильмюр, и тогда принцесса, так как ее обращения к знаменитому художнику было недостаточно, чтобы положить начало официальному знакомству, со свойственной ей непринужденностью, которой многие завидовали, говорила ему, едва заметно наклонив голову: «Пойдемте, господин Детай! Я вас представлю госпоже де Вильмюр». Г-жа де Вильмюр проявляла такую же изобретательность, чтобы найти место для художника, написавшего «Сон», какую только что проявила, чтобы повернуться к нему. А принцесса придвигала стул для себя: ведь она заговорила с г-жой де Вильмюр потому, что это был для нее повод отсесть от того круга, где она уже просидела, согласно правилам этикета, десять минут, и ровно столько же пробыть

в другом. За сорок пять минут она обходила все кружки, и гости думали, что каждый переход она совершает по вдохновению или же из особого расположения к кому-либо, а между тем главной ее целью было показать, как естественно «важная дама принимает гостей». Но сейчас гости только-только начинали съезжаться, и хозяйка дома, занимавшая разговором двух невзрачных высочеств и жену испанского посла, сидела близко от входа, статная, горделивая, почти царственно величественная, сверкая блестящими от природы глазами.

Я стал в очередь за гостями, приехавшими раньше меня. Прямо перед собой я видел принцессу, и, конечно, не только благодаря ее красоте этот званый вечер, на который съехалось столько красавиц, сохранился в моей памяти. Но красота хозяйки дома была до того безупречна, до того чеканна, что ее лицо не могло не запомниться. Принцесса имела обыкновение при встрече с приглашенными за несколько до вечера спрашивать их: «Вы непременно приедете?» — так что можно было подумать, будто она жаждет с ними поговорить. Но говорить с ними ей было решительно не о чем, и, когда они к ней приезжали, она, не вставая с места, на секунду прерывала пустую

болтовню с его и ее высочеством и женой посла и произносила: «Как я рада, что вы приехали!» — произносила не потому, чтобы она считала это особой любезностью со стороны гостя, а чтобы показать ему, как исключительно любезна с ним она; затем, чтобы как можно скорее от него отвязаться, добавляла: «Принц Германтский у выхода в сад», и гость шел здороваться с принцем и оставлял ее в покое. Некоторым она даже и этого не говорила — она только показывала им свои чудные ониксовые глаза, словно они приехали на выставку драгоценных камней.

Непосредственно передо мной должен был войти герцог де Шательро.

Ему пришлось отвечать улыбкой на улыбки, приветственно махать рукой в ответ на приветствия тех, кто махал ему рукой из гостиной, и швейцара он не заметил. А швейцар узнал его с первого взгляда. Еще мгновение — и он с радостью убедится, что не ошибся.

Когда он обратился с вопросом к позавчерашнему «англичанину», как его зовут, он был не просто взволнован — он считал, что поступает нескромно, неделикатно. Ему казалось, что он нечестным путем выпытывает тайну и обнаруживает ее перед всеми, хотя никто ничего не

подозревал. Услышав ответ гостя: «Герцог де Шательро», он на секунду онемел от гордости. Герцог взглянул на него, узнал — и решил, что погиб, а швейцар между тем опомнился: понаторевший в науке титулования, он, вознамерившись дополнить слишком скромное имя, профессионально громким голосом, зычность которого умерялась интимной нежностью тона, провозгласил: «Его светлость герцог де Шательро!» А теперь ему надо было доложить обо мне. Все мое внимание было поглощено хозяйкой дома, пока еще не заметившей меня, и я не подумал о страшных для меня — хотя страшных по-иному, чем для герцога де Шатель-ро, — обязанностях швейцара, одетого в черное, как палач, окруженного отрядом слуг в ливреях самых веселых цветов, здоровенных ребят, готовых схватить незваного гостя и выставить его за дверь. Швейцар спросил, как моя фамилия; я назвал себя так же машинально, как машинально приговоренный к смертной казни дает привязать себя к плахе. Швейцар величественно поднял голову, и, не успел я попросить его доложить обо мне вполголоса, чтобы пощадить мое самолюбие в том случае, если меня не звали, и самолюбие принцессы Германтской в том случае, если меня звали, он выкрикнул мучи-

тельное для меня сочетание слогов с такой силой, что едва не рухнул потолок.

Знаменитый Гексли[32] (племянник которого занимает сейчас первое место в английской литературе) рассказывает, что одна из его пациенток перестала выезжать в свет, так как часто случалось, что в кресле, в которое ей любезно предлагали сесть, уже сидел какой-то старик. Она была убеждена, что галлюцинацией был то ли жест, указывавший на кресло, то ли старик — ведь не могли же ей указывать на кем-то занятое место! И когда Гексли, чтобы вылечить пациентку, все-таки заставил ее бывать на вечерах, первое время ее охватывало тягостное сомнение: в самом ли деле ей любезно указывают на кресло, или по знаку, который ей почудился, она сейчас при всех сядет на колени к живому мужчине? Это секундное замешательство было для нее пыткой. Пожалуй, все-таки не такой страшной, как для меня то замешательство, какое испытывал я.

---

[32] Примечания: 32

Гексли (Хаксли), Томас (1825–1895) — английский естествоиспытатель, врач и путешественник, профессор сравнительной анатомии и биологии, автор многочисленных научно-популярных трудов. Английский писатель, Олдос Хаксли (1894–1963) был на самом деле не племянником, а внуком Томаса Гексли. Можно подумать, что Пруст ставит Хаксли на первое место в английской литературе лишь потому, что в 1919 г. тот откликнулся на появление «По направлению к Свану» доброжелательной рецензией.

Едва лишь громовым ударом, предвещающим катаклизм, прозвучало мое имя, мне ничего иного не оставалось, как, в доказательство своей благонамеренности и в доказательство того, что я отнюдь не обуреваем сомнениями, с решительным видом подойти к принцессе.

Она обратила на меня внимание, когда я был от нее всего в нескольких шагах, и, тотчас рассеяв мои сомнения: уж не жертва ли я чьих-то козней? — она не осталась сидеть на месте, как оставалась, здороваясь с другими гостями, а встала и пошла мне навстречу. Спустя мгновение я мог облегченно вздохнуть, как пациентка Гексли, когда она, решившись сесть в кресло, убедилась, что оно не занято, и поняла, что старик ей привиделся. Принцесса, улыбаясь, протянула мне руку. Некоторое время она продолжала стоять с той особой грацией, какой отличается строфа Малерба,[33] заканчивающаяся стихом:

Чтоб их почтить, и ангелы встают.

Словно боясь, что мне будет скучно без герцогини, она извинилась за то, что ее еще нет. Чтобы поздороваться со мной, принцесса, держа меня за

---

[33] Примечания: 33

…строфа Малерба… — Далее следует цитата из поэмы французского поэта Франсуа де Малерба (1555–1628) «Слезы св. Петра» (1587), посвященной Генриху III.

руку, сделала в высшей степени изящное круговое движение, и я почувствовал, что вовлечен в его вихрь. Я бы не удивился, если бы принцесса, как распорядительница котильона, вручила мне трость с набалдашником из слоновой кости или ручные часы. По правде сказать, она ничего мне не подарила, более того: с таким видом, точно она отказалась танцевать бостон ради того, чтобы послушать дивные звуки божественного квартета Бетховена, она прервала разговор, вернее — не возобновила его; она лишь все с той же радостной улыбкой, вызванной моим приходом, сказала мне, где принц.

Я отошел и больше уже не решался приблизиться к ней: я сознавал, что ей положительно не о чем со мной разговаривать и что, при всей своей безграничной доброжелательности, эта на диво статная, красивая женщина, исполненная того благородства, каким отличалось столько знатных дам, гордо поднимавшихся на эшафот, могла бы только — коль скоро она считала неудобным предложить мне лимонаду — еще раз повторить то, что она мне уже дважды успела сказать: «Принц у выхода в сад». Но если б я пошел к принцу, мной овладели бы другие сомнения.

Как бы то ни было, мне надлежало найти ко-

го-нибудь, кто бы меня представил ему. Всех заглушали неумолчной своей болтовней только что познакомившиеся друг с другом де Шарлю и его светлость герцог Сидониа. Люди скоро догадываются, что они — одной профессии, и о том, что они страдают одним пороком, тоже. Де Шарлю и герцог Сидониа сразу учуяли, что порок у них общий, заключавшийся в том, что в обществе говорили только они, и притом — без перерыва. Сразу поняв, что зло неисправимо, как сказано в известном сонете,[34] они решили не молчать, а говорить, не слушая друг друга. От этого в гостиной стоял гул, какой производят в комедиях Мольера действующие лица, толкующие одновременно о разных вещах. Впрочем, барон, обладатель громоподобного голоса, был уверен, что одолеет, что заглушит слабый голос герцога Сидониа, не обескураживая его, однако ж, и точно: когда де Шарлю переводил дух, пауза заполнялась лепетом испанского гранда, невозмутимо продолжавшего свой монолог. Я мог бы попросить представить меня принцу Германт-

[34] Примечания: 34

…как сказано в известном сонете… — Имеется в виду стихотворение французского драматурга Алексиса Феликса Арвера (1806–1850) «Сонет в подражание итальянскому», вошедшее в книгу «Мои упущенные часы» (1833). Арвер был автором многочисленных пьес, пользовавшихся большим успехом у французской публики.

скому барона де Шарлю, но боялся (для чего у меня были все основания), что он на меня сердит. Я проявил по отношению к нему черную неблагодарность: вторично отверг его предложение и не подавал признаков жизни с того самого вечера, когда он так любезно проводил меня до дому. А между тем мне никак не могло служить оправданием то, что я будто бы предвидел сцену, которая не далее как сегодня разыгралась на моих глазах между ним и Жюпьеном. У меня и мыслей таких не было. Правда, незадолго до этого, когда мои родители выговаривали мне за то, что я, лентяй, до сих пор не удосужился написать де Шарлю несколько слов, я разозлился и сказал, что они толкают меня на то, чтобы я принял гнусные предложения. Бросил я это обвинение по злобе, желая как можно больней уколоть родителей. На самом деле в предложениях барона я не усмотрел ничего не только сластолюбивого, но даже просто сентиментального. Я сочинил эту, как я тогда считал, дикую чушь нарочно для моих родителей. Но иногда будущее живет в нас, хотя мы этого и не подозреваем, а наши слова, казалось бы — лживые, вырисовывают надвигающееся истинное происшествие.

Мою неблагодарность де Шарлю, конечно, про-

стил бы мне. Его приводило в бешенство другое: теперь, после того, как я появился у принцессы Германтской и с некоторых пор начал бывать у его невестки, грош цена была его самоуверенному заявлению: «В такие салоны без моей рекомендации никому не удастся проникнуть». Я нарушил иерархический чин — это была большая ошибка, а может, и еще того хуже: неискупимое преступление. Де Шарлю знал, что громы и молнии, которые он метал против тех, кто не подчинялся его приказаниям, или против тех, кого он возненавидел, многие, несмотря на всю ярость, какую это в нем вызывало, воспринимали как пиротехнику, бессильную кого бы то ни было откуда бы то ни было изгнать. Возможно, однако, де Шарлю рассчитывал на то, что он не утратил своего хотя и уменьшившегося, но все же значительного влияния на таких новичков, как я. Вот почему мне показалось неудобным просить его об услуге на званом вечере в доме, где одно лишь мое присутствие он мог принять за насмешку над мнимым своим всемогуществом.

Тут меня остановил профессор Э., человек довольно-таки пошловатый. Его удивило, что он встретил меня у Германтов. А меня в равной степени удивило, каким образом оказался здесь

он, потому что у принцессы такого сорта людей до этого вечера никогда не принимали, и, кстати сказать, не принимали потом. Недавно профессор вылечил принца, которого уже соборовали, от гнойного воспаления легких, и принцесса Германтская была ему бесконечно благодарна — вот почему в нарушение обычая на сей раз его пригласили. В гостиных у него не было ни одного знакомого, ему наскучило бродить вестником смерти в одиночестве, и, как только он меня узнал, ему впервые в жизни захотелось об очень многом со мной поговорить, он сразу почувствовал себя увереннее, и отчасти поэтому он и подошел ко мне. Была тут еще одна причина. Он всегда очень боялся неправильно поставить диагноз. Но у него была такая большая практика, что если он видел больного один раз, то не всегда имел возможность проследить, сбылись ли потом его предсказания. Быть может, читателям памятно, что, когда с моей бабушкой случился удар, я завез ее к профессору Э. в тот день, когда ему навешивали уйму орденов. За это время он успел забыть, что его известили о ее кончине письмом. «Ведь ваша бабушка скончалась? — спросил он, и в тоне его слышалась напускная самоуверенность, силившаяся побороть небольшое

сомнение. — Ах да, верно, верно! Я же отлично помню: стоило мне на нее взглянуть — и я сразу понял, что надежды нет».

Вот каким образом профессор Э. узнал — или вспомнил — о смерти бабушки, и, к чести его и к чести медицинской корпорации в целом, я считаю своим долгом засвидетельствовать, что он не выразил — а может быть, и не почувствовал — удовлетворения. Ошибкам врачей нет числа. Обычно доктора бывают чересчур оптимистичны, когда предписывают режим, и чересчур пессимистичны, когда угадывают исход. «Вино? В небольшом количестве оно вам повредить не может; в сущности-то, оно укрепляет! Телесное сближение? Да ведь это тоже одна из функций организма! И то и другое я вам разрешаю, но не злоупотребляйте — вы меня поняли? Всякое излишество приносит вред». Какой соблазн для больного — отказаться от двух целебных средств зараз: от питьевой воды и от воздержания! А вот если что-нибудь с сердцем, если белок и т. п., тут у врачей сразу опускаются крылья. Они находят у больного несуществующий рак — так легче объяснить серьезные, но чисто функциональные расстройства. Зачем навещать больного, коль скоро болезнь неизлечима? Если же больной, бро-

шенный на произвол судьбы, сам себе назначит строжайший режим и в конце концов выздоравливает или по крайней мере выживает, то, когда врач, считавший, что останки его пациента давным-давно покоятся на кладбище Пер-Лашез, встретит его на улице Оперы, он примет поклон пациента за издевательство. Он придет в еще большую ярость, чем председатель суда, который вдруг увидел бы, что перед самым его носом преспокойно разгуливает зевака, два года назад приговоренный им к смертной казни. Вообще врачей (понятно, мы говорим не обо всех врачах и блестящих исключений не забываем) не так радует то, что их приговор оказался верен, как раздражает и бесит то, что он не подтвердился. Этим объясняется, что профессор Э., хотя и был, конечно, удовлетворен тем, что не ошибся, все же нашел в себе силы грустным тоном говорить со мной о пашем горе. Он не стремился прекратить беседу, потому что благодаря ей он свободней себя чувствовал у принцессы и потому что беседа служила ему предлогом еще некоторое время побыть здесь. Пожаловавшись на то, что настали очень жаркие дни, профессор Э., хотя он был человек образованный и мог бы изъясниться на чистом французском языке, задал мне вопрос:

«Вы плохо переносите гипертермию?» Надо заметить, что со времен Мольера медицина чуть-чуть продвинулась вперед в смысле познаний, но не в смысле языка. «В такую погоду самое опасное — это вспотеть, — заметил мой собеседник, — главное в гостиных, где бывает особенно жарко. Если, когда вы вернетесь домой, вам захочется пить, то тут лучше всего тепло» (по всей вероятности, он имел в виду горячие напитки).

Я вспомнил, отчего умерла моя бабушка, и разговор с профессором заинтересовал меня, тем более что я недавно вычитал в книге крупного ученого, что выделение пота вредно для почек, так как то, чему следует выходить в другом месте, выходит через кожу. Я с грустью подумал, что бабушка умерла в жаркую пору, и склонен был видеть именно в жаре причину ее смерти. Доктору Э. я не стал об этом говорить, но он мне сказал вот что: «Хорошая сторона сильной жары, когда чрезвычайно обильно выделяется пот, состоит в том, что от этого гораздо легче работать почкам». Медицина — наука не точная.

Вцепившись в меня, профессор Э. даже и не думал со мной расставаться. Но тут я обратил внимание на маркиза де Вогубера, — каждый раз отступая на шаг, он и справа и слева отвешивал

низкие поклоны принцессе Германтской. Маркиз де Норпуа недавно меня с ним познакомил, и я понадеялся, что де Вогубер сочтет возможным представить меня хозяину дома. Объем данного произведения не позволяет мне вдаваться в объяснения, благодаря каким событиям времен их молодости маркиз де Вогубер оказался одним из немногих светских людей (а может быть, даже единственным), находившихся с де Шарлю в отношениях, которые в Содоме называются «интимными». У нашего посла при дворе короля Феодосия были общие с бароном недостатки, но посол представлял собой в этом смысле всего лишь слабое отражение барона. Переходы от симпатии к ненависти, проистекавшие у барона сперва из стремления очаровать, а потом из — тоже необъяснимого — страха вызвать к себе презрение или, во всяком случае, выдать себя, проявлялись у посла в неизмеримо более мягкой, сентиментальной и простодушной форме. У де Вогубера они производили комическое впечатление вследствие его целомудрия, вследствие его «платонизма» (ради которых этот честолюбец еще в юном возрасте принес в жертву все наслаждения), главным же образом — вследствие сто скудоумия. Де Шарлю в своих неумеренных

восхвалениях был действительно блестящ, и приправлял он их тончайшими, язвительнейшими насмешками, которые раз навсегда приклеивались к человеку, между тем как де Вогубер в выражении симпатии обнаруживал пошлость, свойственную людям бездарным, людям из высшего света, чиновникам, а его обвинения (обычно, как и у барона, ни на чем не основанные), полные неиссякаемой и притом неумной злости, вызывали тем большее возмущение, что полгода назад посол высказывал нечто прямо противоположное, и никто бы не мог поручиться, что он не выскажется в том же духе и немного спустя, — эта закономерная изменчивость придавала различным фазам жизни де Вогубера почти астрономическую поэтичность, хотя, вообще говоря, кого — кого, а уж его-то светилом никак нельзя было назвать.

Он ответил на мой поклон совсем не так, как ответил бы де Шарлю. Всяческих ужимок, какие, по его мнению, приличествовали светскому человеку и дипломату, ему казалось мало — в его приветствии была какая-то особенная лихость, разудалость, веселость, нужная ему для того, чтобы все думали, во-первых, что живется ему отлично, — тогда как он беспрестанно возвращался

мыслью к своей неудачной карьере, без надежды на повышение, под угрозой отставки, — а во-вторых, что он молод, бодр, обаятелен, тогда как он видел в зеркале — и последнее время боялся даже в него смотреть, — что все лицо у него в морщинах, а ему так хотелось, чтобы оно было обворожительным! Он отнюдь не жаждал побед — его пугали пересуды, огласка, шантаж. Когда он начал подумывать об Орденской набережной, когда он, решив добиться высокого положения, перешел от почти мальчишеского разврата к полному воздержанию, он стал похож на зверя в клетке, кидавшего по сторонам трусливые, похотливые и глупые взгляды. Он был до того глуп, что не мог понять простой вещи: озорники, с которыми он знался в молодости, давно уже повзрослели, и, когда газетчик орал ему в ухо: «Ла Пресс!» [35] — он вздрагивал не столько от желания, сколько от испуга: ему чудилось, что его узнали и выследили.

Хотя де Вогубер и принес в жертву неблагодарной Орсейской набережной наслаждения, но сердечный жар у него по временам вспыхивал, именно поэтому де Вогуберу все еще и хотелось

[35] Примечания: 35

«Ла Пресс» — ежедневная парижская газета, основанная в 1836 г. Во времена Пруста отличалась националистической направленностью.

нравиться. Как докучал он министерству своими бесчисленными письмами, на какие только хитрости не пускался, действуя на свой страх и риск, как злоупотреблял влиянием своей жены, которую по причине ее дебелости, родовитости, мужеподобности, а главное — по причине заурядности ее мужа все наделяли блестящими способностями и полагали, что на самом деле послом является она, — чтобы в штат посольства был зачислен ни к чему не способный молодой человек! Правда, несколько месяцев или несколько лет спустя, если ему казалось, что ничего собой не представляющий, но не таивший против него ни малейшего зла атташе холоден с ним — со своим начальником, де Вогубер, решив, что тот пренебрегает им или даже подкапывается под него, с таким же лихорадочным пылом измышлял для него кары, с каким прежде осыпал его благодеяниями. Он нажимал на все пружины, чтобы молодого человека отозвали; начальник отдела политических сношений ежедневно получал от него письма следующего содержания: «Когда же Вы наконец избавите меня от этого прощелыги? Подержите его в черном теле — это пойдет ему только на пользу. Пусть немножко попостится». Вот почему должность атташе при

короле Феодосии была не из приятных. Но если не считать этой слабости де Вогубера, то благодаря никогда ему не изменявшему здравомыслию — здравомыслию светского человека — он был одним из лучших представителей французского правительства за границей. Когда его сменил человек, о котором сложилось мнение, что он выше де Вогубера, — сменил всеведущий якобинец, — между Францией и страной, где правил король, сейчас же началась война.

Де Вогубер, как и де Шарлю, не любил здороваться первым. И тот и другой предпочитали отвечать на поклоны — они боялись, что человек, которому они протянут руку, с тех пор, как они виделись с ним прошлый раз, наслышался о них сплетен. Де Вогубера я вывел из затруднения сразу — я первый поздоровался с ним: прежде всего, меня к этому обязывала разница в возрасте. Он поклонился мне с видом удивленным и радостным, а глаза у него по-прежнему бегали, точно справа и слева от него росла люцерна, которую ему воспрещено было щипать. Я решил, что, прежде чем просить представить меня принцу, мне следует попросить де Вогубера познакомить меня с его женой, а насчет принца заговорить с ним после. По-видимому, обрадовавшись и за

себя, и за жену, он решительным шагом пошел со мной к маркизе. Когда мы с ним подошли, он показал ей на меня взглядом и движением руки, выражавшими его глубокое уважение ко мне, но не произнес при этом ни слова и тут же поспешил удалиться, оставив меня наедине со своей женой. Она протянула мне руку, не зная, кому оказывает эту любезность: насколько я понял, де Вогубер забыл, как меня зовут, может быть, даже и вовсе не узнал меня, по, из вежливости не сознавшись в этом, превратил церемонию представления просто-напросто в пантомиму. Итак, я ничего не добился; в самом деле, как может представить меня хозяину дома женщина, не знающая даже, как меня зовут? А тут еще изволь сидеть и вести беседу с маркизой де Вогубер. Я был от этого не в восторге по двум причинам. Я вовсе не собирался торчать на этом вечере до бесконечности, так как уговорился с Альбертиной (я подарил ей ложу на «Федру»), что она приедет ко мне около полуночи. Конечно, я не был в нее влюблен; когда я просил ее приехать, во мне говорило чувственное желание, и только, хотя стояла такая жара, когда освобожденная чувственность охотнее устремляется к органам вкуса, — главное, испытывает потребность в прохладе. Сильнее, чем о поцелуе

девушки, она мечтает об оранжаде, о купанье, ее тянет смотреть на очищенную от кожуры, сочную луну, утоляющую жажду неба. И все же я надеялся в обществе Альбертины, рождавшей во мне ощущение прохлады волн, стряхнуть с себя тоску, которую непременно навевали бы на меня очаровательные женские лица (ведь на вечере у принцессы были не только дамы, но и девушки). А в лице величественной маркизы де Вогубер, бурбонистом и угрюмом, не было решительно ничего привлекательного.

В министерстве про де Вогуберов говорили — без тонкого намека, — что дома юбку надо бы носить мужу, а жене — штаны. В этих словах заключалась большая доля истины. Маркиза де Вогубер была мужчиной. Всегда ли она была такая или с течением времени превратилась в то, что я увидел, — это не важно, и в том и в другом случае мы имеем дело с одним из самых умилительных чудес природы, которые — особенно во втором случае — придают сходство человеческому царству с царством цветов. Если верно первое предположение, — то есть если будущая маркиза де Вогубер всегда была мужеподобно грузна, — значит, это дьявольская, но благодетельная хитрость природы, снабдившей девушку

обманчивым обликом мужчины. И юноша, не любящий женщин и стремящийся вылечиться, с удовольствием попадается на удочку: находит себе невесту, похожую на грузчика. В другом случае, если у женщины нет мужских черт, она постепенно, чтобы нравиться мужу, приобретает их, иногда даже бессознательно, в силу мимикрии, благодаря которой цветы придают себе сходство с насекомыми для того, чтобы приманить их. Она горюет о том, что она нелюбима, что она не мужчина, и горе наделяет ее мужскими свойствами. Но оставим эти два редких случая; сколько вполне нормальных супругов в конце концов становятся похожи друг на друга, а иные даже меняются душевными качествами! Бывший немецкий канцлер князь Бюлов,[36] женился на итальянке. Некоторое время спустя на Пинчо[37] стали замечать, как много появилось у мужа-немца итальянской чуткости и как много немецкой грубости появилось у итальянки. Теперь возь-

[36] Примечания: 36

Бюлов, Бернгард, князь (1849–1929) — государственный деятель Германии, имперский канцлер при Вильгельме II (1900–1909). В 1886 г. женился на Марии Бекаделли, последние годы жизни провел в Италии.

[37] Примечания: 37

Пинчо — знаменитый холм в Риме, по цветущим террасам которого любили гулять горожане.

мем случай совершенно исключительный: все знают видного французского дипломата[38] о происхождении которого напоминает только его имя — одно из самых известных на Востоке. Зрелея, старея, он превратился в восточного человека, хотя раньше никто не подозревал, что в нем этот человек сидит, и теперь при взгляде на него люди невольно думают, что ему не хватает только фески.

Если же воскресить в памяти нравы, о которых понятия не имел посол, чей силуэт с атавистически жирными чертами мы только что набросали, то нельзя не прийти к выводу, что маркиза де Вогубер принадлежала к типу женщин, благоприобретенному ею, а быть может, врожденному, бессмертным воплощением которого является

[38] Примечания: 38

...видного французского дипломата... — Имеется в виду Морис Палеолог (1859–1944), дипломат и литератор греческого происхождения, посол Франции в России (1914–1917), член Французской академии (1928). Современники считали, что он принадлежит к династии Палеологов, царствовавшей в Византии вплоть до завоевания империи турками (1453). Согласно некоторым историческим источникам, Морис Палеолог на самом деле был болгарином, его отец, переехав в Константинополь, поменял свою фамилию Поллак на Палеолог.

принцесса Палатинская,[39] всегда в амазонке, заимствовавшая у супруга не только мужские свойства, перенявшая недостатки мужчин, не любящих женщин, в своих письмах, письмах сплетницы, рассказавшая об отношениях, в каких находились между собой все вельможи при дворе Людовика XIV. Такие женщины, как маркиза де Вогубер, стыдятся того, что они у мужей в забросе, — вот что еще способствует их мужеподобности, вот что постепенно убивает в них все женское. В конце концов они приобретают достоинства и недостатки, которых у мужей нет. Муж становится все легкомысленнее, изнеженнее, нескромнее, а жена между тем превращается в нечто вроде непривлекательного сколка с тех добродетелей, какие должен был бы выказывать муж.

Уязвленное самолюбие, скука, негодование делали свое дело — правильные черты лица маркизы де Вогубер теряли прелесть. К моему огорчению, она рассматривала меня с интересом

---

[39] Примечания: 39

Принцесса Палатинская — герцогиня Орлеанская, Шарлотта-Елизавета Баварская, принцесса Палатинская (1652–1722) — вторая жена Филиппа I, герцога Орлеанского, брата короля Людовика XIV. Не отличаясь красотой, она славилась своими откровенными речами и обширной перепиской, которая не оставляет никаких сомнений в отношении гомосексуальных наклонностей ее мужа и ряда знатных вельмож французского двора.

и любопытством, как одного из тех молодых людей, какие нравились маркизу де Вогуберу, одного из тех молодых людей, каким ей так хотелось быть — именно теперь, когда ее стареющий муж начал оказывать предпочтение молодежи. Она глядела на меня с внимательностью провинциалки, снимающей из каталога модного магазина копию английского костюма, который так идет красивой девушке, нарисованной в каталоге (одной и той же на всех страницах, но благодаря различным позам и разнообразным туалетам превращенной в обманчивое многоразлнчие существ). Животное чувство, притягивавшее ко мне маркизу де Вогубер, было столь сильно, что она, намереваясь пойти выпить стакан оранжада, схватила меня за руку, чтобы я проводил ее. Но я высвободился, сославшись на то, что мне скоро надо будет уехать, а я еще не представился хозяину дома.

До выхода в сад, где он разговаривал с гостями, было недалеко. Но это расстояние пугало меня больше, чем если бы мне надо было пройти его под артиллерийским огнем.

Дамы, которые, как мне казалось, могли бы меня представить, находились в саду и всё превозносили до небес, хотя на самом деле им было

скучновато. О такого рода вечерах нельзя судить, пока они в разгаре. Им можно дать правильную оценку только на другой день, когда они пробуждают интерес у неприглашенных. Писателю настоящему, свободному от присущего многим литераторам глупого честолюбия, читающему статью критика, который всегда расхваливал его, а тут, называя имена посредственностей, его даже не упоминает, — такому писателю некогда удивляться; его ждет работа над новым произведением. А у светской женщины никаких дел нет, и, прочитав в «Фигаро»: «Вчера у принца и принцессы Германтских был большой званый вечер» и т. д., она восклицает: «То есть как? Ведь я же три дня назад целый час проговорила с Мари-Жильбер, и она ни слова мне про него не сказала!» — и строит предположения, чем она обидела Германтов. Надо заметить, что приглашенные на званые вечера к Германтам бывали удивлены не меньше, чем неприглашенные. Огонь этих вечеров вспыхивал, когда никто этого не ожидал, и призывал тех, о ком принцесса Германтская не вспоминала в течение нескольких лет. А ведь почти все люди из высшего общества до того ничтожны, что судят друг о друге по тому, насколько они любезны, приглашенных ласкают,

отвергнутых презирают. Кстати, об отвергнутых: принцесса часто не звала даже некоторых своих друзей из боязни рассердить «Паламеда», который отлучил их. Вот почему я мог быть уверен, что она не говорила обо мне с де Шарлю, иначе меня бы здесь не было. Сейчас он стоял спиной к саду, рядом с германским послом,[40] облокотившись на перила большой лестницы, которая вела в дом, — стоял так, что, хотя увивавшиеся вокруг барона поклонницы почти заслоняли его, гости волей-неволей должны были с ним здороваться. Он отвечал на приветствия, называл имена и фамилии. Только и слышалось: «Добрый вечер, господин дю Азе, добрый вечер, господин де Ла Тур дю Пен-Верклоз,[41] добрый вечер, господин де Ла Тур дю Пен-Гуверне, добрый вечер, Филибер, добрый вечер, дорогая посланница» и т. д. Это бесконечное тявканье прерывалось

---

[40] Примечания: 40

…рядом с германским послом… — Имеется в виду принц де Радолен (1841–1917), который был послом Германии в Париже с 1901 г. до начала Первой мировой войны.

[41] Примечания: 41

…господин де Ла Тур дю Пен-Верклоз… — По своему обыкновению, Пруст наряду с вымышленными персонажами включает в роман реальных представителей французской аристократии. В справочнике «Весь Париж» за 1908 г. фигурирует граф де Ла Тур дю Пен-Верклоз с супругой, урожденной Мари-Луизой де Шатобриан. Там же значится и маркиз де Ла Тур дю Пен-Верклоз (Гуверне?) и его супруга, урожденная Габриэль де Клермон-Тоннер.

благожелательными наставлениями или же вопросами, ответы на которые де Шарлю не слушал и которые он задавал сдержанно приветливым, деланно-равнодушным тоном: «Смотрите, как бы малышка не простудилась, — в саду всегда сыровато. Добрый вечер, господин де Брант![42] Добрый вечер, госпожа де Мекленбург![43] Барышня приехала? В своем чудесном розовом платье? Добрый вечер, Сен-Жеран!» Разумеется, в позе де Шарлю была горделивость; он знал, что он — один из Германтов и что на этом празднестве ему отведено исключительно почетное место. Но не одна горделивость — самое слово «празднество» вызывало у человека эстетически развитого ощущение пышности, дразнило любопытство, как будто это празднество устраивали не люди из высшего круга, а словно оно происходило на кар-

[42] Примечания: 42

Брант, Леон д'Альбер, герцог де Пине-Люксембург, умерший в 1630 г., упомянут в «Мемуарах» Сен-Симона. Г-жа де Брант, урожденная де Сессак, маркиз де Брант и его супруга, урожденная Маргерит Шнайдер, фигурируют в справочнике «Весь Париж» за 1908 г.

[43] Примечания: 43

...г-жа де Мекленбург. — Род Мекленбургов упоминается в «Мемуарах» Сен-Симона, в частности Елизавета де Монморанси-Бутвиль, герцогиня де Шатильон, впоследствии де Мекленбург. Великая княгиня Мария Павловна (1854–1920) до замужества носила титул герцогини Мекленбургской.

тине Карпаччо или Веронезе.[44] А еще вероятнее, германскому принцу, каковым был де Шарлю, представлялось празднество из «Тангейзера»,[45] сам же себе он казался маркграфом, который у входа в Вартбургскнй замок для каждого из гостей находит доброе слово, между тем как их поток, вливающийся в замок или в парк, приветствует долгая, то и дело начинающаяся сызнова фраза из знаменитого марша.

Пора было, однако, сделать решительный шаг. Я видел под деревьями женщин, с которыми меня связывало более или менее близкое знакомство, но сейчас они казались мне совсем другими, потому что они были у принцессы, а не у ее родственницы и потому, что мы сидели не перед тарелками саксонского фарфора, а под ветвями каштанов. Роскошь обстановки в данном случае

---

[44] Примечания: 44

Карпаччо, Витторе (1455–1525) — венецианский живописец. Среди самых известных его творений девять больших картин на сюжеты из жития св. Урсулы (в Венецианской академии).

Веронезе, Паоло Калиари, прозванный (1528–1588) — итальянский художник, один из крупнейших представителей венецианской школы.

Оба художника работали в монументальной манере, трактуя библейские сюжеты как жанровые сцены из современной им венецианской жизни.

[45] Примечания: 45

...празднество из «Тангейзера»... — Пруст намекает на сцену из второго акта оперы Вагнера, которая начинается знаменитым маршем, возвещающим начало состязания миннезингеров.

не имела значения. Если бы даже обстановка у принцессы была гораздо скромнее, чем у «Орианы», я бы все равно волновался. Когда в нашей гостиной гаснет электричество и его заменяют керосиновыми лампами, все для пас мгновенно преображается. Меня вывела из задумчивости маркиза де Сувре.[46] «Добрый вечер! — сказала она, подходя ко мне. — Вы давно не видели герцогиню Германтскую?» Она удивительно умела придавать такого рода фразам интонацию, удостоверявшую, что она произносит их не от явной глупости, подобно тем, кто, не зная, что сказать, каждый раз заговаривает об общих знакомых, хотя в большинстве случаев знакомство это очень беглое. Ее взгляд, тонкий, как проводниковая проволока, выражал: «Не думайте, что я вас не узнала. Вы — тот молодой человек, которого я видела у герцогини Германтской. Я отлично помню». К сожалению, покровительство, которое сулила мне эта фраза, только казавшаяся глупой, а на самом деле — хитроумная, оказалось в высшей степени хрупким: оно распалось в то самое мгновение, когда я решился к нему прибегнуть. Маркиза де Сувре обладала особым искусством:

---

[46] Примечания: 46

…маркиза де Сувре. — Согласно Сен-Симону, род де Сувре угас со смертью г-жи де Лувуа в 1715 г.

если надо было замолвить за кого-нибудь слово власть имущему, то проситель оставался в убеждении, что она за него похлопотала, а высокопоставленное лицо — в том, что она палец о палец не ударила за просителя, и благодаря такому двусмысленному ее поведению проситель испытывал к влиятельному лицу благодарность, а влиятельное лицо не считало нужным что-либо для него делать. Ободренный любезностью этой дамы, я попросил ее представить меня принцу Германтскому, она же, воспользовавшись тем, что хозяин дома на нас не смотрел, с материнской ласковостью взяла меня за плечи и, улыбаясь принцу, который как раз в эту минуту отвернулся и не мог ее видеть, будто бы покровительственным и преднамеренно бесцельным движением толкнула меня по направлению к нему, но я почти не сдвинулся с места. Такова подловатость светских людей.

Дама, которая поздоровалась со мной, назвав меня по имени, оказалась еще трусливей. Уже начав с ней разговор, я силился вспомнить,[47]

[47] Примечания: 47

...я силился вспомнить... — Данное отступление об особенностях человеческой памяти весьма близко к некоторым идеям А. Бергсона, высказанным, в частности, в докладе 1912 г. «Душа и тело», вошедшем в книгу «Духовная энергия» (1919), к которой, судя по всему, обращался Пруст в ходе работы над романом.

как ее зовут; я отлично помнил, что ужинал с ней, помнил, о чем она со мной говорила. Однако мое внимание, направленное в ту область моего внутреннего мира, где хранились воспоминания о ней, не находило там ее имени. И все-таки оно там жило. Моя мысль как бы затеяла с ним своеобразную игру: она пыталась сперва уловить его очертания, его начальную букву, а затем осветить его целиком. Усилия мои были напрасны; я приблизительно угадывал его объем, вес; что же касается очертаний, то я, сравнивая его с едва различимым узником, скорчившимся во мраке внутренней тюрьмы, говорил себе: «Не то». Конечно, я мог бы придумать самые трудные имена. К несчастью, тут надо было не творить, а воссоздавать. Всякая умственная деятельность легка, если только она не подчинена реальности. В данном случае я вынужден был ей подчиняться. И вдруг имя пришло ко мне все, до единой буковки: «Виконтесса д'Арпажон[48]». Нет, я не так выразился: мне представляется, что явилось оно не само. И я не склонен думать, чтобы

[48] Примечания: 48

Виконтесса д'Арпажон. — Некая маркиза д'Арпажон упоминается в переписке Пруста. Во второй части «Содома и Гоморры» г-жа д'Арпажон, бывшая любовница герцога Германтского, называется то виконтессой, то графиней.

множество относившихся к этой даме смутных воспоминаний, к которым я беспрестанно обращался за помощью (так, например, я взывал к ним: «Да ведь эта дама — подруга маркизы де Сувре, это же она относится к Виктору Гюго со смешанным чувством наивного восторга, ужаса и отвращения»), — я не думаю, чтобы все эти воспоминания, проносившиеся между мной и ее именем, в какой-то мере содействовали тому, что оно наконец вынырнуло. Когда память затевает грандиозную игру в прятки чтобы восстановить имя, то имя не приближается к нам постепенно. Мы ничего не видим — и вдруг возникает то самое имя, ничего общего не имеющее с именем, которое нам мерещилось. Пришло к нам не оно. Я склоняюсь к мысли, что с возрастом мы удаляемся от области, где имена проступают отчетливо; лишь усилием воли и внимания, обострившим мой мысленный взор, я прорезал полутьму и все ясно увидел. Во всяком случае, если и существуют переходы от забвения к воскрешению в памяти, то переходы эти бессознательны. Имена, попадающиеся нам на пути к настоящему имени, суть имена ложные, они ни на шаг не приближают нас к нему. Собственно, это даже не имена, а зачастую всего лишь согласные, которых нет

в найденном имени. Впрочем, работа мысли, переходящей от небытия к действительности, в высшей степени таинственна; в конце концов можно предположить, что обманчивые согласные представляют собой шесты, которые нам неумело, хотя и заблаговременно, протягивают, чтобы мы могли уцепиться за верное имя. «Все это, — заметит читатель, — не имеет прямого отношения к неуслужливости этой дамы; но раз уж вы разрешили себе такое длинное отступление, то позвольте и мне, господин автор, на минутку задержать вас и сказать: „Досадно, что у такого молодого человека, как вы (или как ваш герой, если это не вы), такая скверная память, что вы не могли припомнить, как зовут хорошо вам знакомую даму“. — „Да, правда, господин читатель, это очень досадно. Это даже еще печальнее, чем вам кажется: ведь это предвестие той поры, когда имена и слова уйдут из светлого поля сознания, той поры, когда ты уже не сможешь называть самому себе имена тех, кого ты близко знал. Да, правда, досадно, что уже в молодости приходится рыться в памяти, чтобы отыскивать хорошо знакомые тебе имена. Но если бы этот недостаток распространялся только на имена нам почти не известные, забывшиеся по вполне попятной

причине, имена, ради которых нам не хочется напрягать память, то этот недостаток был бы нам полезен“. — „Осмелюсь спросить — чем?“ — „Милостивый государь! Да ведь только болезнь предоставляет нам возможность и вынуждает замечать, изучать и разлагать на составные части механизмы, с которыми иначе нам бы не познакомиться. Разве человек, который ежевечерне ложится пластом на кровать и не живет до той минуты, когда надо просыпаться и вставать, способен вести хотя бы даже несущественные наблюдения над сном, не говоря уже о великих открытиях? Такой человек почти не сознает, что он спит. Только тот, кто в слабой степени подвержен бессоннице, может составить себе правильное представление о сне, может пролить на этот мрак немного света. Негаснущая память не дает мощного толчка к изучению памяти“. — „Так что же все-таки, виконтесса д'Арпажон представила вас принцу?“ — „Нет, но только вы не перебивайте меня, дайте мне досказать“».

Виконтесса д'Арпажон оказалась еще трусливее маркизы де Сувре, однако ее трусость была извинительной. Она знала, что ее влияние в обществе невелико. Былая ее связь с герцогом Германтским только ослабила это влияние; разрыв нанес

ему последний удар. Неудовольствие, которое вызвала у виконтессы моя просьба представить меня принцу, выразилось у нее в молчании, и в своей наивности она понадеялась, что я подумаю, будто она просто не слышала моих слов. Она даже не заметила, что насупилась с досады. А может быть, наоборот, заметила, но не смутилась тем, что выдала себя, и воспользовалась своим раздраженным выражением лица, чтобы осадить меня — хотя и не очень резко, — чтобы дать попять, что это с моей стороны нахальство, дать понять молча, но выразительно.

Впрочем, виконтессе д'Арпажон было от чего прийти в скверное расположение духа: многие в это самое мгновение устремили взоры к балкону в стиле Возрождения, к тому из его углов, где вместо громадных статуй которыми тогда часто украшали балконы, стояла, облокотившись на перила, не менее изящная, чем статуи ослепительная герцогиня де Сюржи-ле-Дюк — та, к кому перешло по наследству от виконтессы д'Арпажон сердце герцога Германтского. Под легким белым тюлем, защищавшим ее от ночной прохлады, было видно ее гибкое тело, подобно статуе Победы, как бы улетавшее в высоту.

Мне оставалось только обратиться к де Шар-

лю, сидевшему теперь в одной из нижних зал с выходом в сад. У меня было достаточно времени (он притворялся, будто весь поглощен партией в вист, в которой он принял участие не ради самого виста, а только для того, чтобы удобнее было делать вид, будто он никого не замечает), чтобы полюбоваться художественной простотой — простотой преднамеренной — его фрака, который благодаря мелочам, какие способен заметить только портной, напоминал уистлеровскую «Гармонию» в черных и белых тонах;[49] вернее — в черных, белых и красных, так как у де Шарлю на широкой ленте, прикрепленной к жабо, висел крест из белой, черной и красной эмали — крест рыцаря Мальтийского ордена. Но тут барона отвлекла от виста герцогиня де Галардон — она подвела к нему своего племянника, виконта де Курвуазье, у которого было смазливое и наглое лицо. «Позвольте вам представить моего племянника Адальбера, — обратилась к де Шарлю герцогиня де Галардон. — Адальбер! Вот это и есть

[49] Примечания: 49

.. уистлеровскую «Гармонию» в черных и белых тонах... — По рукописи романа очевидно, что Пруст имеет в виду картину Джеймса Уистлера «Мать», носящую подзаголовок «Сочетание в сером и черном № 1», выставлявшуюся в 1872 г. и с 1891 г. находящуюся в Лувре. Кроме того, литературный портрет де Шарлю мог быть навеян портретом графа Робера де Монтескью кисти того же Уистлера с подзаголовком «Сочетание в черном и золотом» (1891).

знаменитый дядя Паламед, о котором ты столько слышал». — «Добрый вечер, герцогиня! — сказал де Шарлю и, даже не глядя на Адальбера, процедил: — Добрый вечер, молодой человек!» — процедил с таким сердитым видом и таким грубым тоном, что все были изумлены. Быть может, де Шарлю, зная, что герцогиня де Галардон невысокого мнения об его нравственности и как-то раз не могла отказать себе в удовольствии намекнуть на его пристрастие, решил не давать ей ни малейшего повода истолковать по-своему его ласковое обхождение с ее племянником и в то же время у всех на виду выказать свое равнодушие к молодым людям; быть может, ему показалось, что у Адальбера был недостаточно почтительный вид, когда тетка толковала ему о нем; а быть может, вознамерившись поддерживать отношения с таким милым родственником, он начал с нападения для того, чтобы в дальнейшем обеспечить себе успех, — так монархи, прежде чем совершить дипломатический шаг, предпринимают военные действия.

Добиться от де Шарлю, чтобы он согласился представить меня принцу, было легче, чем я предполагал. В течение последних двадцати лет этот Дон Кихот сражался с таким количеством

ветряных мельниц (большей частью — с родственниками, которые, как ему казалось, плохо к нему относились), он так часто запрещал мужчинам и женщинам из рода Германтов приглашать «эту личность, которую нельзя пускать к себе на порог», что те уже начинали бояться, как бы не перессориться со всеми, кого они любили, навсегда лишиться новых интересных знакомств — и все для того, чтобы выдерживать громы и молнии, которые, не имея на то ни малейших оснований, метал против них обидчивый родственник, который считал, что ради него надо бросать жен, братьев, детей. Заметив, что его требования выполняются через раз, де Шарлю, самый дальновидный из всех Германтов, страшась за будущее, предвидя, что в один прекрасный день с ним могут порвать, решил быть уступчивее, чтобы, как говорится, не перетянуть струну. И вот еще что: на протяжении нескольких месяцев, даже нескольких лет он способен был твердить, что ненавистное ему существо ведет себя гнуснейшим образом, и в этот промежуток времени он бы не потерпел, чтобы этого человека пригласил кто-нибудь из Германтов, тут он мог бы уподобиться носильщику, полезшему в драку с самой королевой, — кто оказывал ему со-

противление, тот уже не имел для него никакой цены, — но вспышки были у него чересчур часты и потому кратковременны. «Болван! Негодяй! Ему еще покажут! Вышвырнут в выгребную яму! Вот только боюсь, как бы от этого не ухудшилось санитарное состояние города!» — даже наедине с самим собой вопил он, читая письмо, которое он считал недостаточно учтивым, или вспоминая кем-то переданные ему слова. Однако порыв ярости, который вызывал в нем какой-нибудь другой болван, укрощал первый порыв, и, если только первый болван был с ним почтителен, взрыв, происшедший из-за него, забывался: злоба на него длилась недолго и из нее ничего не успевало вырасти. Вот почему, пожалуй, — хоть он имел на меня зуб — просьбу представить меня принцу он все-таки исполнил бы, если бы только я из щепетильности и чтоб он не подумал, будто я настолько бесцеремонен, что вошел в этот дом, рассчитывая на счастливую случайность и надеясь, что благодаря его покровительству мне предложат остаться, на свою беду, не прибавил: «Вы же знаете, я с ними хорошо знаком, принцесса была со мной очень мила». — «Ну, раз вы с ними знакомы, так зачем же я буду вас представлять?» — с надменным видом сказал

барон и, повернувшись ко мне спиной, продолжал, притворяясь увлеченным, играть в вист с нунцием, германским послом и еще с кем-то, но этого третьего партнера я не знал.

Вдруг из настежь растворенных дверей в сад, где в былые времена по распоряжению герцога д'Эгильона[50] разводили редких животных, до меня донеслось сопение: кто-то старался вобрать в себя все это великолепие без остатка. Сопение приближалось; на всякий случай я пошел навстречу этому звуку, так что слова графа де Бреоте: «Добрый вечер!» — прозвучали у меня над ухом не как скрежет ржавого затупившегося ножа, который точат, и уж совсем не как хрюканье кабана, опустошающего возделанные поля, а как обнадеживающий голос спасителя. Поначалу мне было нелегко привлечь к себе внимание этого человека, менее влиятельного, чем маркиза де Сувре, но зато гораздо более отзывчивого, чем она, находившегося в гораздо более приятельских отношениях с принцем, чем виконтесса д'Арпажон, быть может, преувеличивавшего мою близость к кругу Германтов, а быть может,

[50] Примечания: 50

Герцог д'Эгильон, Эмманюэль-Арман де Виньро дю Плесси де Ришелье (1720–1788) — французский государственный деятель, военный министр и министр иностранных дел при Людовике XV.

осведомленного о степени моей близости лучше меня, — нелегко потому, что он, вертя головой, с любопытством направлял монокль в разные стороны, словно попал на выставку шедевров, и крылья носа у него при этом подрагивали, а ноздри раздувались. Но как только моя просьба дошла до его сознания, он выразил готовность исполнить ее, подвел меня к принцу и представил, и, когда он меня представлял, лицо его приняло церемонное, пошлое выражение и вместе с тем выражение сластены, точно он предлагал принцу тарелку с печеньем. Герцог Германтский при желании мог быть любезен, дружелюбен, радушен, прост в обращении, тогда как в приеме, который оказал мне принц, я почувствовал натянутость, неестественность, надменность. Он полуулыбнулся мне, назвал меня официально: «Сударь». Я часто слышал, как герцог издевался над его кичливостью. Но по первым же словам, с которыми обратился ко мне принц и которые своей холодностью и серьезностью составляли резчайший контраст с речью Ба-зена, я понял, что действительно высокомерен герцог, хотя во время первого вашего визита к нему он уже сходился с вами на короткую ногу, и что по-настоящему прост не он, а принц. В сдержанности принца

отчетливо проступало не желание быть с вами как равный с равным — у него не могло возникнуть даже намека на подобное желание, — но, во всяком случае, уважение к тому, кто ниже тебя, проявляющееся как раз там, где иерархический чин особенно строго соблюдается, как, например, в суде или в университете, — там верховный прокурор или декан, преисполненные сознания своего высокого назначения, под традиционным высокомерием таят, быть может, больше подлинной простоты, больше — открывающейся при более близком знакомстве — доброты, настоящей душевности, чем новые люди с их игрой в друзей-приятелей. «Вы не собираетесь пойти по стопам вашего батюшки?» — спросил меня принц с видом отчужденным, но не безучастным. Мне было ясно, что принц задал этот вопрос только из любезности, а потому я отделался общими фразами и, чтобы не мешать ему приветствовать прибывавших гостей, сейчас же отошел.

Я увидел Свана и хотел было заговорить с ним, но в эту минуту принц Германтским, вместо того чтобы поздороваться с мужем Одетты не сходя с места, с силой втяжного рукава насоса увлек его в глубину сада, словно хотел, как выразились потом некоторые, «выставить его за дверь».

Я был до того рассеян в обществе, что только через день узнал из газет, что у Германтов весь вечер играл чешский оркестр и поминутно зажигались бенгальские огни, — моего внимания достало лишь на знаменитый фонтан Гюбера Робера.[51]

На лужайке, осененной ветвями красивых деревьев, из которых иные были не моложе фонтана, он стоял в стороне и был виден издали, стройный, неподвижный, словно застывший, и ветер играл лишь с самой маленькой струйкой его бледного трепещущего султана. Восемнадцатый век облагородил изящество его линий, но, выбрав определенный стиль для водомета, он словно умертвил его; если вы находились от него на известном расстоянии, то он поражал вас своим искусством, но у вас не возникало ощущения, что это — живая вода. Даже влажное облако, беспрестанно сгущавшееся на его вершине, хранило отпечаток эпохи, подобно тем облакам, что собираются вокруг версальских дворцов. Однако вблизи можно было понять, что струи фонтана, подобно камням античного дворца, хотя и следу-

[51] Примечания: 51

Робер, Гюбер (1733–1808) — французский художник-пейзажист. Возможно, имеется в виду его картина «Фонтан» из коллекции маркизы де Монтескью-Фезензак.

ют чертежу, который был для них сделан заранее, а все-таки это вечно новые струи, — устремляясь в вышину, они беспрекословно подчинялись стародавним велениям зодчего, но проявить безукоризненную точность в их исполнении они могли благодаря кажущемуся их нарушению, потому что только множество распыленных взметов создавало у смотревших издали впечатление единого порыва. Фонтан на самом деле был таким же изменчивым, как брызжущие струи, тогда как издали он представлялся мне несгибаемым, плотным, цельным до предела. На более близком расстоянии было видно, что впечатление цельности, на вид только линейной, достигается во всех точках подъема одной струи, всюду, где она должна была бы разбиться, вступлением в строй бокового подкрепления, параллельной струи, которая поднималась выше первой, а на еще большей, но уже трудной для нее высоте сменялась третьей. Вблизи было видно, как бессильные капли, отделившись от водяного столба, встречаются на пути со своими поднимающимися сестрами, как иные, оторвавшись, подхваченные неутихающим вихрем брызг, прежде чем кануть в водоем, некоторое время парят в воздухе. Они нарушали своими коле-

баниями, своим движением вверх и вниз, они заволакивали медлительными своими испарениями прямизну и упругость этого ствола, образуя над собой продолговатое облако, состоявшее из множества капелек, казавшееся выкрашенным в золотисто-коричневый цвет, казавшееся неменяющимся, и все же это легкое, быстрое, неломкое, неподвижное облако возносилось к облакам небесным. К несчастью, стоило подуть ветру — и оно косо летело на землю; а то просто выбивалась непокорная струя, и если бы глазеющая толпа не держалась на почтительном расстоянии от фонтана, то зазевавшиеся промокли бы до костей.

Особенно неприятные происшествия, вроде того, о котором сейчас пойдет речь, случались, когда поднимался ветер. Виконтессу д'Арпажон уверили, что герцог Германтский — хотя на самом деле он еще не приезжал — находится сейчас с герцогиней де Сюржи в одной из галерей розового мрамора, куда можно было проникнуть, пройдя мимо двойного ряда колонн, возвышавшихся у водоема. И вот, когда виконтесса подходила к одной из колонн, сильный порыв теплого ветра изогнул струю, струя обдала прекрасную даму, вода затекла виконтессе за корсаж, и виконтесса промокла насквозь, как будто ее погрузили

в ванну. Вслед за тем невдалеке послышалось скандированное рычанье, до того громкое, что его могла бы услышать целая армия, но перемежавшееся короткими паузами, как будто оно относилось не сразу ко всему войску, а поочередно к каждому подразделению: это великий князь Владимир[52] от души смеялся над затоплением виконтессы д'Арпажон — потом он часто говорил, что это был один из самых смешных случаев в его жизни. Когда же кто-то из сердобольных гостей сказал московиту, что эта дама все-таки достойна сожаления, что выраженное им соболезнование было бы ей приятно и что, хотя ей наверняка перевалило за сорок, она все-таки ни к кому не обращается за помощью, вытирается шарфом и выжимает воду, которая предательски помочила край бассейна, великий князь, у которого сердце было доброе, почел за нужное послушаться совета, и едва утихли раскаты его по-военному зычного смеха, как вновь послышалось рычанье, но только еще более громкое. «Браво, старушка!» — рукоплеща, как в театре, воскликнул великий князь. Виконтессе д'Арпажон не понравилось, что

[52] Примечания: 52

…великий князь Владимир. — Владимир Александрович Романов (1847–1909), дядя Николая II, вместе со своей супругой Марией Павловной подолгу бывал в Париже.

ее сочли ловкой не по возрасту. И когда, силясь заглушить шум воды, который, однако, без труда покрывал громоподобный голос великого князя, ей сказали: «Кажется, это к вам только что обращался его высочество», то она возразила: «Нет, это он к маркизе де Суврe».

Я прошелся по саду, а затем поднялся во дворец, где из-за отсутствия принца, удалившегося со Сваном, гости сгрудились вокруг де Шарлю — так, когда в Версале не было Людовика XIV, гости более тесной толпой собирались у его брата. Когда я проходил мимо барона, он меня остановил; сзади меня шли две дамы и молодой человек — они направлялись к де Шарлю, чтобы с ним поздороваться.

«Это очень приятно, что вы здесь, — протягивая мне руку, сказал он. — Добрый вечер, госпожа де ла Тремуй, добрый вечер, дорогая Эрмини!» Наверное, де Шарлю вспомнил, что он мне говорил по поводу того, что он — первое лицо в доме Германтов, и, хотя ему так и не удалось подавить в себе раздражение, все-таки он изобразил на своем лице удовольствие, но только, в силу своей аристократической заносчивости и своей истеричности, поспешил облечь его в форму глубочайшей иронии. «Это очень приятно, — по-

вторил он, — но, главное, очень забавно». Тут он захохотал, и этот хохот долженствовал свидетельствовать о том, что он как будто бы доволен, и — в то же время — о бессилии человеческого слова выразить его удовольствие; между тем некоторые гости, зная, как он неприступен, что он способен на дикие выходки, с любопытством подходили и с почти неприличной поспешностью уносили ноги. «Полно, не сердитесь, — коснувшись моего плеча, сказал барон, — вы же знаете, как я вас люблю. Добрый вечер, Антиош, добрый вечер, Луи-Репе! Видели фонтан? — произнес он скорей утвердительным, чем вопросительным тоном. — Правда, красиво? Изумительно. Конечно, это могло быть еще совершеннее — стоило только кое-чем пожертвовать, — тогда ничего прекраснее этого не было бы во всей Франции. Но его и так можно причислить к лучшему из того, что у нас есть. Бреоте вам скажет, что зря его украсили фонариками, но это он говорит для того, чтобы все забыли, что он-то и подал эту нелепую мысль. В общем, ему почти не удалось изуродовать фонтан. Гораздо труднее обезобразить произведение искусства, чем создать его. Впрочем, мы давно уже смутно подозревали, что Бреоте уступает Гюберу Роберу».

Я опять присоединился к веренице гостей, входивших в дом. «Вы давно видели мою очаровательную Ориану? — обратилась ко мне с вопросом принцесса — она только что встала с кресла, стоявшего у входа, и теперь вместе со мной направлялась в гостиную. — Она вот-вот должна приехать, мы с ней виделись днем, — продолжала хозяйка дома. — Она мне обещала. А кроме того, вы, кажется, с ней и со мной ужинаете в четверг у королевы итальянской[53] в посольстве? Там будет полно всевозможных высочеств, я так боюсь!» Высочества не могли быть страшны принцессе Германтской: в ее гостиных они кишели кишмя, а она говорила: «Мои славные Кобурги» — таким тоном, каким могла бы сказать: «Мои славные собачки». Да и прибавила она: «Я так боюсь!» — просто по глупости, которая у светских людей берет верх даже над тщеславием. О своей родословной она знала меньше, чем любой учитель истории. Когда речь заходила о ее приятелях, она щеголяла знанием их прозвищ. Спросив, ужинаю ли я на следующей неделе у маркизы де ла Картош, которую часто называли

[53] Примечания: 53

…у королевы итальянской… — Принцесса Елена де Монтенегро (1872–1953) в 1896 г. стала супругой принца Неаполитанского, который в 1900 г. стал королем Италии.

«Картошка», и получив от меня отрицательный ответ, принцесса помолчала. Затем, только для того, чтобы блеснуть дешево доставшимися ей познаниями, чтобы показать, что она не выделяется из ряда, что она — как все, прибавила: «Картошка» — приятная дама.

Во время моей беседы с принцессой вошли герцог и герцогиня Германтские. Но мне не удалось подойти к ним, потому что в меня вцепилась жена турецкого посла,[54] — указав на хозяйку дома, от которой я только что отошел, она схватила меня за руку и заговорила: «Ах, до чего же обаятельна принцесса! Она лучше всех! Будь я мужчиной, — продолжала она с оттенком восточной льстивости и чувственности, — мне кажется, я посвятила бы всю жизнь этому небесному созданию». Я ответил, что и я того же мнения о принцессе, но что я лучше знаю герцогиню. «Между ними нет ничего общего, — возразила жена посла. — Ориана — прелестная светская дама, заимствующая остроумие у Меме и у Бабала, а Мари-Жильбер — это личность».

Я не очень люблю, когда мне говорят безапелляционным тоном, что я должен думать о моих

---

[54] Примечания: 54

…жена турецкого посла… — Согласно справочнику «Весь Париж» за 1908 г., послом Турции в Париже был Салих Мунир-паша.

знакомых. Кроме того, я с гораздо большим правом, чем жена турецкого посла, мог судить о достоинствах герцогини Германтской. А еще потому я был зол на жену посла, что недостатки нашего просто знакомого и даже нашего друга — это для нас сущая отрава, от которой у нас, к счастью, есть противоядие. Не прибегая к каким бы то ни было сравнениям с явлениями научно обоснованными и не принимая в расчет анафилаксию,[55] заметим, однако, что в глубине наших дружеских или чисто светских отношений гнездится неприязнь, от которой можно излечиться временно, приступы которой повторяются. Обычно мы почти не страдаем от этих ядов — до тех пор, пока люди с нами «естественны».

Из-за того, что жена турецкого посла называла незнакомых ей людей «Бабал», «Меме», действие противоядия, благодаря которому я ее терпел, прекратилось. Я на нее разозлился, разозлился совершенно напрасно: ведь она называла их так не для того, чтобы все думали, будто она близкая приятельница «Меме», а потому что знания у нее были поверхностные, вследствие чего она полагала, что именовать так людей родовитых

[55] Примечания: 55

Анафилаксия — патологический процесс, развивающийся у человека или животного при попадании в организм чужеродных веществ.

— это один из местных обычаев. Она проучилась в школе всего несколько месяцев, испытаниям не подвергалась.

Поразмыслив, я нашел еще одну причину, по которой общество жены посла было мне неприятно. Недавно у Орианы в разговоре со мной эта самая дипломатка твердо и убежденно объявила, что принцесса Германтская ей глубоко антипатична. Я решил не расспрашивать, чем вызвана перемена в ее отношении к принцессе, — мне и так было ясно, что все дело в приглашении на сегодняшний вечер. Жена посла не кривила душой, утверждая, что принцесса Германтская — существо необыкновенное. Она всегда держалась такого мнения. Но ее до сих пор ни разу не звали к принцессе, и ей хотелось, чтобы у других создалось впечатление, будто это не ее не зовут, а что она сама из принципа не хочет здесь бывать. Наконец ее пригласили; по всей вероятности, будут приглашать в дальнейшем, и теперь она могла открыто заявить о своем расположении к принцессе. Когда мы судим о ком-либо, то в большинстве случаев наши суждения объясняются не тем, что мы не пользуемся взаимностью, и не тем, что такой-то человек перестал быть у власти. Мнения колеблются в зависимости от

того, пригласили нас или не пригласили. Надо заметить, что, как выразилась баронесса Германтская, вместе со мной производившая смотр гостиным, жена турецкого посла явилась «весьма кстати». Она была здесь очень нужна. Настоящим звездам высшего света наскучило блистать в нем. Кому любопытно на них поглядеть, тот зачастую должен переселяться в другое полушарие, где они находятся в почти полном одиночестве. Но дамы вроде жены оттоманского посла, совсем недавно начавшие выезжать в свет, успевают блистать, как говорится, везде и всюду. Они бывают полезны на этих особого рода представлениях, именуемых вечерами, раутами, на которые они готовы тащиться в полумертвом состоянии, лишь бы ни одного из них не пропустить. Это статистки, на которых всегда можно рассчитывать, которые боятся пропустить хотя бы одно торжество. Юные глупцы, не понимающие, что это звезды поддельные, видят в них олицетворения высшего шика, и, чтобы втолковать им, почему в г-же

Стандиш,[56] о которой они понятия не имеют и которая вдали от света разрисовывает подушки, уж во всяком случае не меньше благородства, чем в герцогине де Дудовиль,[57] потребовалась бы целая лекция.

Обычно взгляд у герцогини Германтской был рассеянный и чуть-чуть печальный; пламенем мысли она зажигала свои глаза, только когда здоровалась с кем-нибудь из друзей, как будто это был не друг, а живая острота, прелестная шутка, изысканное блюдо, вызывающее на лице гурмана, который отведал его, выражение утонченного наслаждения. Но на многолюдных сборищах, где приходилось то и дело здороваться, каждый раз потом гасить в глазах огонь — это ей казалось чересчур утомительным. Знаток художественной литературы, только успев войти в театр, где сегодня идет пьеса известного драма-

---

[56] Примечания: 56

Г-жа Стандиш (1848–1933), урожденная Элен де Перус де Кар — французская аристократка, одна из самых видных красавиц конца века, была любовницей знаменитого генерала де Галифе и будущего английского короля Эдуарда VII. Пруст познакомился с ней в мае 1912 г. и, несмотря на преклонный возраст светской львицы, считал ее образцом вкуса и элегантности.

[57] Примечания: 57

Герцогиня де Дудовиль — по-видимому, имеется в виду Луиза Радзивилл, сестра одного из друзей Пруста князя Леона Радзивилла (1880–1927), которая стала герцогиней де Дудовиль после смерти своего свекра Состена де Ларошфуко, герцога де Дудовиль (1825–1908).

турга, уже выражает уверенность в том, что он недаром потратит вечер: сдавая гардеробщице верхнее платье, он складывает губы в многозначительную улыбку, а своим оживившимся глазам придает лукаво-одобрительное выражение; вот так и герцогиня тотчас по приезде зажигалась уже на весь вечер. Сняв свое вечернее манто дивного красного, как на картинах Тьеполо,[58] цвета, открыв для взоров целую цепь рубинов, стягивавшую ей шею, бросив на платье последний быстрый взгляд, цепкий и все замечающий, как у портнихи, — взгляд светской женщины, — Ориана убедилась, что глаза ее светятся не менее ярко, чем все остальные ее драгоценности. Напрасно «соболезнователи» вроде де Жанвиля загородили герцогу дорогу: «Вы знаете, что бедный Мама при смерти? Его уже соборовали». — «Знаю, знаю, — отвечал герцог Германтский, оттесняя надоедливого господина. — После причастия ему

[58] Примечания: 58

Тьеполо, Джамбаттиста (1696–1770) — выдающийся итальянский живописец венецианской школы, мастер эффектных декоративных росписей, органически связанных с архитектурой, и многочисленных виртуозных полотен, отличающихся необыкновенной гармонией колорита. В романе «Пленница» есть удивительные строки, посвященные описанию розы Тьеполо.

стало гораздо лучше[59]», — добавил он, улыбаясь от удовольствия при мысли о бале, на который он решил непременно поехать прямо от принца. «Мы приехали сюда втайне от всех», — сказала мне герцогиня. Она не подозревала, что принцесса выдала мне ее, сообщив, что мельком видела Ориану и что та обещала сегодня быть у нее. Герцог целых пять минут не отводил от жены докучного взгляда. «Я рассказал Ориане о ваших колебаниях», — наконец проговорил он. Теперь, удостоверившись, что мои сомнения были необоснованны и что ей ничего не нужно предпринимать, чтобы их рассеять, Ориана заметила, что глупо с моей стороны было колебаться, и долго подтрунивала надо мной: «Надо же было вбить себе в голову, что вас не пригласили! Сюда всегда всех приглашают. Ну, а я на что же? Неужели вы думаете, что принцесса отказала бы мне в моей просьбе и не пригласила бы вас?» Должен заметить, что впоследствии Ориана нередко оказывала мне более важные услуги, но сейчас я не решался придать ее словам тот смысл, что я

---

[59] Примечания: 59

После причастия ему стало гораздо лучше... — В этой сцене можно услышать отголоски реального происшествия из жизни французской аристократии рубежа веков: граф Эмри де Ларошфуко не захотел отменить светского приема в своем доме, несмотря на известие об агонии его кузена Гортрана де Монтескью.

был чересчур деликатен. Я уже более или менее точно знал истинную цену звучащему и немому языку аристократической любезности — любезности, которая бывает рада пролить бальзам на ощущение своей низкости, испытываемое тем, на кого эта любезность распространяется, но которая, однако, не ставит себе целью совершенно избавить человека от этого ощущения, потому что тогда она утратила бы свой смысл. «Вы нам ровня, вы даже выше нас», — казалось, говорили все поступки Германтов, говорили необыкновенно мило — так, чтобы вы полюбили Германтов, восхищались ими, но так, чтобы вы им не верили; различить поддельность этой любезности значило, с точки зрения Германтов, проявить благовоспитанность; верить в то, что это любезность искренняя, значило доказать, что ты дурно воспитан. Вдобавок немного погодя я получил урок, благодаря которому я потом уже безошибочно определял размеры и пределы некоторых форм проявления аристократической любезности. Это было на утреннем приеме, который герцогиня де Монморанси[60] устраивала в честь английской

[60] Примечания: 60

Герцогиня де Монморанси — мать Адальбера де Талейран-Перигора (1837–1915), герцога де Монморанси, который не раз упоминается в романе.

королевы; к буфету двигалось что-то вроде немноголюдного шествия во главе с королевой, которую вел под руку герцог Германтский. В это время вошел я. Свободной рукой герцог на расстоянии по крайней мере сорока метров начал делать мне знаки, выражавшие дружеское расположение, подзывавшие меня и как будто говорившие, что я смело могу подойти, что меня не съедят вместо сандвичей с честером. Но так как я уже начал оказывать успехи в изучении придворного языка, то не сделал ни шагу вперед — на расстоянии сорока метров я низко поклонился, даже не улыбнувшись, точно незнакомому человеку, а затем проследовал в противоположном направлении. Если бы я написал какое-нибудь замечательное произведение, Германта не так высоко оценили бы его, как этот мой поклон. Его запомнил не только герцог, которому в тот вечер пришлось, однако, ответить больше чем на пятьдесят поклонов, но и герцогиня, — встретив потом мою мать, она рассказала ей, как я поклонился, но не сочла нужным заметить, что напрасно — де я не подошел. Напротив: она сообщила, что ее муж в восторге от моего поклона, и добавила от себя, что этим поклоном было сказано все. В нем видели множество достоинств, кроме самого

важного — скромности; меня за него долго хвалили, но я воспринимал эти похвалы не столько как награду за прошлое, сколько как указание на будущее, вроде того, какое делают ученикам директора учебных заведений: «Помните, дети, что мы награждаем не столько вас, сколько ваших родителей, для того чтобы они послали вас в школу и на будущий год». Так виконтесса де Марсант, когда у нее появлялся человек не из ее круга, хвалила в его присутствии тактичных людей, которые «тут как тут, когда они нужны, а вообще держатся в тени» так слуге, от которого дурно пахнет, дают это понять, намекая, что ванны очень полезны для здоровья.

Я еще не кончил разговора с герцогиней Германтской, все еще стоявшей в вестибюле, как вдруг услышал один из тех голосов, которые впоследствии я различал без малейшего труда. В данном случае это был голос де Вогубера, беседовавшего с де Шарлю Врачу-клиницисту не нужно даже, чтобы больной, находящийся под его наблюдением, поднял рубашку, не нужно проверять, как он дышит, — ему важен голос больного. Сколько раз потом где-нибудь в гостиной меня поражали чьи-нибудь интонации или смех: так мог говорить и смеяться человек определенного

рода занятий, известного круга, напускавший на себя чопорность или, наоборот, разнузданность, но по фальшивому тону этого человека мой слух, чуткий, точно камертон настройщика, мгновенно угадывал: «Это один из Шарлю.[61]». Тут как раз в полном составе, раскланиваясь с де Шарлю, проследовало посольство. Хотя я только в тот самый день открыл для себя особую болезнь (понаблюдав за де Шарлю и Жюпьеном), однако для установления диагноза мне незачем было ни задавать вопросы, ни выслушивать. Но де Вогубер, беседовавший с де Шарлю, казалось, пребывал в нерешительности. А между тем период сомнений, через который проходит молодость, для него уже миновал, и он должен был бы знать, как себя вести. Извращенный сначала думает, что таких, как он, нет больше во всей вселенной, а потом ему представляется, — другая крайность, — что человек нормальный — это единственное исключение. Но де Вогубер, тщеславный и трусоватый, давно уже не предавался тому, от чего прежде получал удовольствие. Дипломатическая карьера

[61] Примечания: 61

«Это один из Шарлю». — Тема голоса, по которому легко догадаться о гомосексуальных наклонностях человека, неоднократно возникает в романе. В ее разработке Пруст мог руководствоваться книгой Рихарда фон Крафт-Эбинга (1840–1902) «Сексуальная психопатия» (1886).

имела на него такое же влияние, как монашеский обет. Двадцатилетний Вогубер уже сочетал в себе прилежание ученика Школы политических наук[62] с нравственностью христианина. А так как все органы чувств теряют свою силу и восприимчивость, атрофируются оттого, что ими перестают пользоваться, то и у де Вогубера — подобно тому как у человека цивилизованного уже не та сила и не та тонкость слуха, как у человека пещерного, — не стало той особенной проницательности, которая редко изменяла де Шарлю; на официальных обедах, как в Париже, так и за границей, полномочный посол был уже не способен установить, что люди в форменном платье, по существу, такие же, как он. Имена, которые называл де Шарлю, приходивший в негодование, когда о нем упоминали в связи с его пристрастием, но неизменно получавший удовольствие, когда ему предоставлялась возможность сообщить, что такое же точно пристрастие питает еще кто-нибудь, приводили де Вогубера в отрадное изумление. Не то чтобы ему после стольких лет

[62] Примечания: 62

Школа политических наук — высшее учебное заведение, основанное французским государственным деятелем Э. Бут-ми после завершения франко-прусской войны (1870). Предназначенная в основном для подготовки дипломатических кадров, Школа политических наук долгое время оставалась главным оплотом политического либерализма.

воздержания хотелось чем-нибудь поживиться. Но эти внезапные откровения, подобные тем, благодаря которым в трагедиях Расина Аталия и Абнер узнают, что Иоад — из племени Давидова, а что у Эсфири, восседающей в пурпуре, родители — жиды, меняли облик…ского посольства или такого-то департамента министерства иностранных дел, задним числом придавали им такую же таинственность, какой полны храм в Иерусалиме или тронный зал в Сузах[63] При виде посольства, молодые сотрудники которого, все до одного, пожимали де Шарлю руку, у де Вогубера появилось выражение восторга, с каким Элиза восклицает в «Эсфири»:

О, сколько юных дев! Благие небеса,
Как восхитительна их чистая краса!
Да не коснется их малейшая невзгода!
Благословен оплот избранного наро-

[63] Примечания: 63

Сузы — древняя столица персидского царства. В 646 г. до н. э. Сузы были разрушены ассирийским царем Ассурбанипалом. В конце VI в. до н. э. царь Дарий I превратил город в столицу ахеменидской империи. В 1884 г. французские археологи Марсель и Жанна Дьелафуа обнаружили развалины многочисленных строений города, в том числе дворца царя Дария.

да![64]

Затем де Вогубер, чтобы «привести дело в ясность», глупо-вопросительно и двусмысленно посмотрел на де Шарлю. «Ну конечно», — произнес де Шарлю с видом знатока, просвещающего невежду. После такого ответа де Вогубер (барона это очень раздражало) уже не спускал глаз с молодых чиновников, которых…скнй посол во Франции, старый воробей, подобрал не случайно.[65] Де Вогубер молчал; я ловил только его взгляды. Но, привыкнув с детства переводить даже речь бессловесную на язык классических произведений, я заставлял глаза де Вогубера читать стихи, в которых Эсфирь объясняет Элизе, что Мардохей крепко держится за свою веру, — вот почему он окружил царицу такими девушками, которые эту веру исповедуют:

> *К народу своему приверженный без меры,*

---

[64] Примечания: 64

О, *сколько юных дев!* — Здесь и далее Пруст цитирует, иногда с небольшими изменениями, стихи из трагедии Расина «Эсфирь» (1689).

[65] Примечания: 65

…старый воробей, подобрал не случайно. — Подобной репутацией в начале века пользовались многие дипломаты европейских стран. В одном из писем Пруст говорит о таком обыкновении норвежского посла в Париже.

Призвал он во дворец тех, кто одной с ним веры,

И эти юные созданья расцвели

Здесь, на чужой земле, от родины вдали;

А он (этот восхитительный посол) их пестует, благого полон рвенья,

Являя им пример, давая наставленья.

Наконец де Вогубер заговорил не только взглядами. «Кто знает, — сказал он печально, — может быть, и в той стране, где я нахожусь, такие же нравы». — «Вполне возможно, — подхватил де Шарлю, — начать с короля Феодосия, хотя ничего определенного я о нем сказать не могу». — «Да нет, что вы!» — «Тогда не надо делать такого вида. И эти его ужимочки! Он из той породы людей, которые обращаются к вам: „Дорогуша!“ — а я это терпеть не могу. Мне было бы стыдно показаться с ним на улице. Ну да ведь вам-то он должен быть ясен, его все знают как облупленного». — «Он совсем не такой, каким вы его себе рисуете. Да и потом, он человек совершенно очаровательный. В тот день, когда было подписано соглашение с Францией, он меня обнял. Как я был тронут!» — «Вот тут-то вы бы ему и сказали,

чего вам хочется». — «Ах, боже мой, если б он только заподозрил — какой это был бы ужас! Но у меня нет оснований опасаться». Под слиянием разговора, который я слышал, так как находился поблизости, я мысленно продекламировал:

Однако до сих пор не знает царь, кто я,
Не выдаст никогда язык мой тайны этой.

Этот диалог, наполовину безгласный, наполовину звучащий, был весьма краток. Мы с герцогиней Германтской прошли несколько шагов по гостиной, как вдруг ее остановила маленькая, необыкновенно красивая брюнетка:

— Я бы очень хотела у вас побывать. Д'Аннунцио,[66] видел вас из ложи; принцесса Т. получила от него письмо — он пишет, что никогда не видел такой красивой женщины. Он готов отдать жизнь за десятиминутный разговор с вами. Во всяком случае, даже если вы не можете или не хотите, письмо у меня. Назначьте мне встречу у вас дома. Здесь я всего сказать не могу. Вы меня, должно

[66] Примечания: 66

Д'Аннунцио, Габриеле (1863–1938) — итальянский писатель и политический деятель. В ряде произведений рубежа веков создает новый тип героя — эстета, аморалиста и «сверхчеловека» в духе Фридриха Ницше.

быть, не узнаёте? — обратилась она ко мне. — Я с вами познакомилась у принцессы Пармской (я у нее никогда не был). Русский император изъявил желание, чтобы вашего отца назначили послом в Петербург. Приезжайте во вторник — там как раз будет Извольский[67] он с вами поговорит. Дорогая! Я вам приготовила подарок, — снова заговорила она с герцогиней, — такого подарка я бы никому, кроме вас, не сделала. Ибсен[68] переслал мне через старика, который ухаживал за ним во время его болезни, рукописи трех своих пьес. Одну из них я оставлю себе, а две подарю вам.

Герцог Германтский был не в восторге от этих даров. Он не был уверен, умерли Ибсен и д'Аннунцио или еще живы, и ему уже чудились прозаики, драматурги, являющиеся с визитами к его жене и выводящие ее в своих произведениях. Светские люди представляют себе книгу

---

[67] Примечания: 67

Извольский, Александр Петрович (1865–1919) — русский государственный деятель, посол России в Париже (1910–1917).

[68] Примечания: 68

Ибсен, Генрик (1828–1906) — норвежский поэт и драматург, творчество которого отличалось стремлением показать развитие психологического характера через парадокс, когда человек вынужден посмотреть на привычные обстоятельства своего существования с новой позиции, осмыслить его заново, отказавшись от устаревших представлений о жизни. Последние пьесы Ибсена («Йун Габриэль Брокман», 1896; «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», 1899) посвящены теме искусства и судьбы художника в современном обществе.

в виде куба без одной стороны, куда автор спешит «ввести» людей, которые ему встретились. Конечно, это некрасиво, так могут поступать только дрянные людишки. Впрочем, встречаться с ними «на ходу» небесполезно: благодаря им читаешь книгу или статью — и знаешь «подоплеку», тебе видна «изнанка». А все-таки лучше иметь дело с покойниками. Из всей пишущей братии герцог Германтский считал «вполне приличным» человеком только того, кто писал некрологи для «Голуа».[69] Этот господин по крайней мере ограничивался тем, что называл имя герцога Германтского в числе лиц, достойных «особого упоминания», в отчетах о похоронах — в отчетах, на которых герцог расписывался. В тех случаях, когда герцог предпочитал, чтобы его имя не указывалось, он посылал семье умершего соболезнующее письмо с выражением самых грустных чувств. Если же по просьбе семьи в газете подчеркивалось: «Среди писем, полученных семьею покойного, считаем нужным отметить письмо герцога Германтского» и т. д., то это была вина не хроникера, а, к примеру, сына, брата

[69] Примечания: 69

«Голуа» — парижская ежедневная газета консервативно-монархического толка. Благодаря своей светской хронике пользовалась большим успехом в аристократических кругах во времена Третьей республики.

или отца умершей, и герцог обзывал их за это «подлипалами» и собирался с ними порвать (так как герцог не понимал смысла некоторых выражений, то в таких случаях он говорил, что намерен «быть с ними не в ладах»). Как бы то ни было, при имени Ибсена и при имени д'Аннунцио герцог, не уверенный в том, существуют ли они на свете, нахмурился, хотя находился близко от нас и не мог не слышать, как маркиза Тимолеон д'Амонкур осыпает его жену комплиментами. Это была прелестная женщина — за ум ее можно было любить не меньше, чем за красоту. Родилась она не в той среде, где вращалась теперь, мечтала сперва только о литературном салоне, была в приятельских отношениях — в приятельских, но не в близких, ее строгая нравственность не вызывала сомнений — со всеми большими писателями, а те дарили ей все рукописи, писали для нее, и теперь, когда она по воле судьбы оказалась в Сен-Жерменском предместье, причастность ее к литературе ей пригодилась. Теперь она могла кого угодно осчастливить одним своим присутствием. Но, пройдя в свое время школу светского обхождения с его изворотами, с необходимостью оказывать услуги, она упорно продолжает делать одолжения, хотя надобность в этом отпала. Она

всегда была готова открыть вам государственную тайну, познакомить вас с важной особой, подарить вам акварель известного художника. Конечно, во всех этих ненужных приманках заключалась некоторая доля фальши, но они превращали ее жизнь в искрящуюся комедию с хитросплетенной интригой; было точно известно, что от нее зависит назначение префектов и генералов.

Идя рядом со мной, герцогиня Германтская излучала голубой свет своих глаз в пространство, чтобы не смотреть на людей, с которыми ей не хотелось разговаривать и от встреч с которыми она старалась уклоняться заранее, как от столкновения с подводными камнями. Стоявшие в два ряда гости, между которыми мы проходили, знали, что им никогда не представится возможность познакомиться с Орианой, и пределом их мечтаний было показать ее своим женам как некую достопримечательность: «Урсула, скорей, скорей, вон герцогиня Германтская, та, что разговаривает с молодым человеком!» Казалось, чтобы им было лучше видно, они вот-вот вспрыгнут на стулья, как на параде 14 июля или на скачках. Проявляли они такое любопытство совсем не потому, чтобы салоп у герцогини Германтской был аристокра-

тичнее, чем у принцессы. Салон герцогини часто посещали люди, которых ни за что бы не позвала принцесса — главным образом из-за своего мужа. Она не пригласила бы к себе г-жу Альфонс де Ротшильд,[70] такую же близкую приятельницу г-жи де ла Тремуй,[71] и г-жи де Саган[72] как и Ориана, постоянно у Орианы бывавшую. Точно так же обстояло дело и с бароном Гиршем,[73] которого принц Уэльский ввел в дом к ней, но не к принцессе, потому что он бы ей не понравился, равно как и с весьма важными лицами из бонапартистских или даже республиканских кругов; герцогиню эти лица интересовали, а вот принц, убежденный роялист, их бы не принял из принципа. Его антисемитизм, тоже строго принципиальный, не делал исключений даже для

---

[70] Примечания: 70

Г-жа Альфонс де Ротшильд — супруга Альфонса де Ротшильда (1827–1905), члена генерального совета Французского банка, председателя административного совета Северной железной дороги, члена Академии изящных искусств.

[71] Примечания: 71

Г-жа де ла Тремуй, урожденная Маргарита Дюшатель — супруга Луи-Шарля, герцога де ла Тремуй (1838–1911), французского аристократа, члена Академии надписей.

[72] Примечания: 72

Г-жа де Саган — принцесса де Саган, урожденная Жанна-Маргерит Сейер (1839–1905) — французская аристократка, в доме которой устраивались балы, собиравшие весь Париж.

[73] Примечания: 73

Барон Гирш — Мориц де Гирш (1831–1896), баварский промышленник еврейского происхождения, сделавший многомиллионное состояние на эксплуатации железных дорог. Не имея прямых наследников, предназначил его на дела благотворительности, в частности на создание еврейских школ, ссудо-сберегательных товариществ и помощь преследуемым евреям.

людей прекрасно воспитанных, влиятельных, и если он принимал у себя старинного своего друга Свана, хотя из всех Германтов только он называл его «Сван», а не «Шарль», то на это у него были особые причины: он слыхал, будто бабушка Свана, протестантка, вышедшая замуж за еврея, была любовницей герцога Беррийского,[74] и время от времени заставлял себя верить легенде, превращавшей отца Свана в незаконного сына принца. Согласно этой гипотезе, кстати сказать — неверной, Сван, сын католика, внук одного из Бурбонов, был чистокровным христианином.

— Как, разве вы не видели всего этого великолепия? — спросила меня герцогиня, имея в виду дом, где мы с ней находились. Но, расхвалив дворец своей родственницы, она поспешила добавить, что ей в тысячу раз милее ее «убогая лачужка». — Здесь все чудно, пока *ты в гостях*. Но я умерла бы с тоски, если бы мне пришлось остаться ночевать в одной из комнат, где произошло столько исторических событий. У меня было бы такое чувство, будто обо мне забыли и нечаянно заперли в замке Блуа, в Фонтенбло или

[74] Примечания: 74

Герцог Беррийский, Шарль-Фердинанд (1778–1820) — французский аристократ, сын Карла X, наследник трона; был убит Пьером Луи Лувелем (1783–1820).

даже в Лувре и у меня одно утешение — твердить себе, что я нахожусь в той комнате, где был убит Мональдески.[75] Но это плохое успокоительное. А, вот и маркиза де Сент-Эверт! Мы у нее только что ужинали. Завтра у нее тьма-тьмущая гостей, которых она в этот день созывает ежегодно, и я думала, что она рано ляжет спать. Но чтобы она когда-нибудь пропустила хоть один званый вечер! Если б он был за городом, она добралась бы туда любым способом — хоть в фургоне для мебели.

На самом деле маркиза де Сент-Эверт приехала сегодня к Германтам не столько для того, чтобы получить удовольствие от их вечера, сколько для того, чтобы упрочить успех своего, чтобы завербовать еще кое-кого из своих присных и, так сказать, произвести in extremis[76] смотр войскам, которые завтра на ее garden party[77] покажут свое маневренное искусство. Надо заметить, что уже довольно давно общество, собиравшееся

---

[75] Примечания: 75

Мональдески, Джованни — фаворит королевы Христины Шведской; в 1657 г. был убит по ее приказанию в замке Фонтенбло.

[76] Примечания: 76

В последний момент (лат.)

[77] Примечания: 77

Прием гостей в саду (англ.)

у Сент-Эверт, сильно изменилось. Блестящие женщины из окружения Германтов, некогда появлявшиеся у Сент-Эверт в кон веки раз, постепенно — очарованные любезностью маркизы — ввели к ней в дом своих приятельниц. Одновременно, действуя наступательно, но только в противоположном направлении, маркиза де Сент-Эверт год от году сокращала число гостей, не пользовавшихся известностью в высшем свете. Переставала звать то того, то другого. Некоторое время у нее существовала система «для всех прочих», система вечеров, о которых маркиза не распространялась и на которые она приглашала ею отсеянных, — пусть себе варятся в своем соку — это избавляло ее от необходимости объединять их с людьми порядочными. Чего же еще им было надо? Разве им не предлагали (panen et circenses[78]) печенье и превосходные музыкальные номера? Потому-то среди высшего круга у маркизы в наши дни можно было различить всего две чужеродные ему особи, приглашавшиеся как бы для симметрии с двумя герцогинями-изгнанницами, которые в былое время, когда салон де Сент-Эверт только-только еще открывался,

[78] Примечания: 78
Хлеба и зрелищ (лат.)

поддерживали его ненадежные своды: старую маркизу де Говожо и архитекторшу с красивым голосом, которую часто просили спеть. Но у маркизы де Сент-Эверт они никого уже не знали, оплакивали утраченных своих подруг, чувствовали, что они здесь лишние, и вид у них был, как у вовремя не улетевших, замерзающих ласточек. А на следующий год их перестали приглашать. Г-жа де Франкто попросила за свою родственницу, страстно любившую музыку. Но так как ответ был уклончивый: «Отчего же нет? Музыку всегда можно прийти послушать», то маркиза де Говожо, найдя, что это не слишком любезное приглашение, не пошла.

Коль скоро маркизе де Сент-Эверт удалось совершить такое превращение: салон прокаженных преобразить в салон великосветских дам (такое он теперь производил впечатление — впечатление высшего шика) то, казалось бы, зачем особе, которая завтра устраивает самый роскошный званый вечер в сезоне приезжать накануне, чтобы обратиться с последним' призывом к своим войскам? Дело в том, что салон Сент-Эверт имел преимущество перед всеми только в глазах тех, кто составляет себе представление о светской жизни по отчетам об утренних приемах и

вечерах в «Голуа» или в «Фигаро»,[79] никогда на них не бывая. Для такого рода светских людей, видевших свет через газетный лист, перечисления имен супруги английского посла, супруги австрийского посла и т. д., герцогинь д'Юзе,[80] де ла Тремуй и т. д., и т. д. было достаточно, чтобы они не задумываясь поставили салон Сент-Эверт на первое место среди парижских салонов, тогда как на самом деле он был одним из последних. Отчеты не лгали. Большинство упомянутых лиц присутствовало на вечерах маркизы. Но каждую из этих особ удавалось туда заманить мольбами, любезностями, услугами, и являлись они к маркизе де Сент-Эверт с таким видом, как будто это для нее великая честь. Такого сорта салоны, скорее избегаемые, чем притягательные, куда ездят, так сказать, по обязанности, пленяли только читательниц «светской хроники». Взор этих

---

[79] Примечания: 79

«Фигаро» — сатирический еженедельник, основанный в 1854 г., преобразованный в 1866 г. в ежедневную газету, посвященную политике и литературе. В ее отделе светской хроники Пруст часто публиковал свои статьи.

[80] Примечания: 80

...герцогинь д'Юзе... — По всей видимости, имеется в виду Анна де Рошешуар-Мортемар (1847–1933), вдова тринадцатого герцога д'Юзе, светская романистка, поэтесса, скульптор, убежденная феминистка, любительница парусного спорта и охоты, и молодая герцогиня д'Юзе, супруга Людовика, пятнадцатого герцога д'Юзе.

читательниц скользит мимо вечеров, где собирается действительно изысканное общество: на такие вечера хозяйка дома могла бы созвать всех герцогинь, жаждущих быть «в числе избранных», а приглашает двух — трех и не называет имен своих гостей в газете. Она не придает гласности того значения, какое гласность приобрела в наше время, или же не считается с нею, и, несмотря на это, испанская королева видит в ней аристократку чистой воды, а толпа не признает ее, потому что королева имеет понятие, что та собой представляет, а толпа не имеет.

Маркиза де Сент-Эверт была другого пошиба: подобно трудолюбивой пчеле, она прилетела к Германтам, чтобы собрать на завтра мед подтверждений со всех приглашенных. Де Шарлю не был приглашен — он всегда отказывался. Но он со столькими перессорился, что маркиза де Сент-Эверт могла объяснить это его плохим характером.

Ради одной Орианы маркиза де Сент-Эверт могла бы не приезжать: маркиза пригласила ее лично, и приглашение было принято с той чарующей обманчивой благосклонностью, в искусстве которой так сильны иные академики, что кандидаты уходят от них растроганные,

твердо уверенные, что могут рассчитывать на их голос. Но дело было не только в ней. Приедет ли принц Агригентский? А г-жа де Дюрфор? И вот, чтобы не выпустить из рук своих жертв, маркиза де Сент-Эверт сочла наиболее целесообразным собственной персоной явиться к Германтам; вкрадчивая с одними, властная с другими, она всем намекала на то, что их ожидают неслыханные увеселения, которых в другой раз уже не увидишь, и каждому обещала, что он у нее встретится с тем, с кем ему хотелось или нужно было встретиться. И вот эта обязанность, которую она раз в год возлагала на себя, — так в древнем мире возлагали на себя обязанности судьи, — обязанность устроительницы самого пышного garden party в сезоне, на время прибавляла ей весу в обществе. Список был составлен окончательно; маркиза медленно обходила гостиные принцессы, чтобы шепнуть то тому, то другому на ухо: «Не забудьте обо мне завтра», и ее охватывало чувство гордости, когда она, продолжая улыбаться, внезапно отводила глаза, если замечала дурнушку, встречи с которой следовало избежать, или дворянчика из провинции, которого принимал Жильбер как своего старого товарища по коллежу, но чье присутствие не украсило бы

ее garden party. Она предпочитала не заговаривать с ними, чтобы потом иметь возможность сказать: «Я всех приглашала лично, а с вами мы, к сожалению, не встретились». Так, будучи всего-навсего Сент-Эверт, она рыщущими своими глазами производила в составе приглашенных на вечер к принцессе «разборку». И в это время она воображала себя самой настоящей герцогиней Германтской.

Надо заметить, что и герцогиня не так свободно как можно было предполагать, распоряжалась своими приветствиями и улыбками. Разумеется, в иных случаях она отказывала в них добровольно. «Она мне осточертела, — признавалась герцогиня, — стану я битый час толковать с ней о ее вечере!» Зачастую разборчивость герцогини объяснялась опасливостью, боязнью как бы муж, не желавший, чтобы она принимала артистов и т. п., не закатил ей скандала (Мари-Жильбер, напротив, благоволила к артистам, так что у нее надо было быть начеку, чтобы с вами не заговорила какая-нибудь знаменитая немецкая певица), а также страхом перед национализмом, который она, обладавшая, как и де Шарлю, умом Германтов, презирала с точки зрения светской (теперь раболепство перед генеральным штабом

доходило до того, что генерала-плебея пропускали вперед, а кое-кто из герцогов шел сзади), но которому, однако, зная, что ее считают вольнодумкой, она делала большие уступки — вплоть до того, что боялась в кругу антисемитов подать руку Свану. Сегодня она была на этот счет спокойна: она знала, что принц увел Свана и вступил с ним в «какие-то пререкания». Она боялась при всех заговаривать с «милым Шарлем» — она предпочитала быть с ним ласковой в домашнем кругу.

— А это кто такая? — воскликнула герцогиня Германтская, увидев, что дама небольшого роста и довольно странного вида, в черном совсем простеньком платьишке, внушавшем подозрение, что она — беднячка, вместе со своим мужем низко ей кланяется. Герцогиня не узнала ее, а так как нрав у нее был заносчивый, то она сейчас же приняла гордый вид, как будто ей нанесли оскорбление, и, не ответив на поклон, окинула даму недоуменным взглядом. «Кто это, Базен?» — с удивлением спросила она герцога, который, чтобы загладить неучтивость Орианы, поклонился даме и пожал руку ее мужу. «Да это госпожа де Шоспьер, вы были с ней очень невежливы». — «Не знаю я никаких Шоспьер». — «Ее муж-племянник старухи Шанливо». — «Я их

знать не обязана. Кто эта женщина, с какой стати она мне кланяется?» — «Заладили! Это дочь госпожи де Шарлеваль, Анриетта Монморанси». — «Ах вот что! Я прекрасно знала ее мать — это была прелестная, очень остроумная женщина. Почему же ее дочь породнилась со всеми этими, которых я в глаза не знаю? Вы говорите, ее фамилия — де Шоспьер?» — спросила герцогиня, произнося фамилию по слогам и неуверенно глядя на мужа, словно боялась ошибиться. Герцог сердито посмотрел на нее. «Носить фамилию Шоспьер — это совсем не так смешно, как вам, видимо, кажется! Старик Шоспьер — брат Шарлеваль, которую я уже упоминал, брат госпожи де Сен-кур и виконтессы дю Мерлеро. Все это люди почтенные». — «Ну, довольно, довольно! — воскликнула герцогиня, — подобно укротительнице, она всегда старалась не показать вида, что ее пугают кровожадные взгляды хищников. — Вы приводите меня в восторг, Базен. Не знаю, где вы откопали эти фамилии, но я не могу не отдать вам должное. Я понятия не имела о Шоспьере, но зато я читала Бальзака — не вы один его читали, — я

даже читала Лабиша.[81] Я с уважением отношусь к Шанливо, я ничего не имею против Шарлеваля, но верх совершенства — это, по-моему, дю Мерлеро. А впрочем, надо сознаться, что и Шоспьер — тоже недурно. Вы все это нарочно подобрали, в жизни так не бывает. Раз вы собираетесь писать книгу, — обратилась она ко мне, — вам не мешает запомнить Шарлеваля и дю Мерлеро. Лучше не придумаете». — «Против него возбудят судебное дело, только и всего, и он сядет в тюрьму; вы очень плохая советчица, Ориана». — «Я за него спокойна: если у него есть охота выслушивать дурные советы, а главное — следовать им, то он всегда найдет кого-нибудь помоложе меня. Книга — это еще далеко не самое страшное!» На некотором расстоянии от нас мягко выделялась фигура прелестной, горделивой молодой женщины в белом тюлевом, усыпанном брильянтами платье. Герцогиня Германтская обратила на нес внимание в то время когда она разговаривала с целой группой гостей поддавшихся ее обаянию.

— Ваша сестра всегда красивее всех; сегодня она просто очаровательна, — садясь на стул, ска-

---

[81] Примечания: 81

Лабиш, Эжен (1815–1888) — французский драматург, автор многочисленных комедий, в которых зачастую высмеивал пошлые вкусы разбогатевших буржуа.

зала герцогиня проходившему мимо нее принцу де Шиме[82] Полковник де Фробервиль (у него был дядя-генерал носивший ту же фамилию) сел рядом с нами, и граф де Бреоте тоже, а маркиз де Вогубер, изгибаясь (от чрезмерной учтивости, которую он проявлял даже во время игры в теннис: прежде чем отбить мяч, он всякий раз испрашивал на то соизволения у важных особ, за каковым соизволением неминуемо следовал промах), снова направлялся к де Шарлю (который почти весь был скрыт от взоров юбкой графини Моле — женщины, по его собственному признанию, производившей на него наиболее сильное впечатление) как раз в тот момент — это вышло совершенно случайно, — когда члены одной из новых дипломатических миссий в Париже здоровались с бароном. При виде молодого секретаря с на редкость умным лицом де Вогубер улыбнулся барону, и в этой его улыбке явственно обозначался только один вопрос. Сам де Шарлю, вероятно, с удовольствием скомпрометировал бы кого угодно, но что чья-то недвусмысленная улыбка компрометирует его — это было ему не по нраву. «У меня никаких сведений нет, ваше любо-

[82] Примечания: 82

Принц де Шиме — Жозеф де Рике, принц де Шиме и де Караман (1836–1892), бельгийский политический деятель, министр иностранных дел.

пытство в данном случае совершенно неуместно. Я его ни в малой мерс не разделяю. Тем более что тут вы дали маху. Я уверен, что этот молодой человек — совсем не то, что вы думаете». Де Шарлю, обозленный тем, что в его тайну проник болван, говорил неправду. Если б он говорил правду, то секретарь представлял бы собой исключение в этом посольстве. Там служили действительно очень разные люди, были среди них и жалкие ничтожества, так что если б кто-нибудь заинтересовался, почему приняли на службу именно их, то он убедился бы, что их брали только за извращенность. Те, кто назначил главою этого маленького дипломатического Содома посла, который, в противоположность подчиненным, обожал женщин, проявляя это свое обожание с комической преувеличенностью водевильного актера, и который следил за тем, чтобы его батальон ряженых не нарушал строя, по-видимому, действовали по закону контраста. Несмотря на всю очевидность того, что делалось у него под носом, он не верил в извращенность своих подопечных. Это он тут же и доказал, выдав родную сестру за поверенного в делах, которого он, глубоко ошибаясь, считал юбочником. С тех пор он стал помехой для всех, так что вскорости пришлось

заменить его новым «превосходительством», и вот оно-то и обеспечило однородность личного состава. Другие посольства пытались соперничать с этим, но взять над ним верх не смогли (так на конкурсе какое-нибудь одно училище всегда выходит на первое место); потребовалось более десяти лет, чтобы в это единое целое могли попасть чужеродные атташе, и другое посольство отняло наконец у него тлетворную пальму первенства и вырвалось вперед.

Герцогиня Германтская была спокойна: разговор со Сваном ей не грозил, и теперь ее занимало одно: о чем он говорит с хозяином дома. «Вы не знаете, о чем у них идет беседа?» — спросил графа де Бреоте герцог. «Я слышал, что о пьеске, которую поставил у Сванов писатель Бергот. Должно быть, премилая пьеска. Но, кажется, актер загримировался под Жильбера, а господин Бергот действительно хотел его изобразить». — «Ах вот что! Я бы дорого дала, чтобы посмотреть, как передразнивают Жильбера», — с мечтательной улыбкой произнесла герцогиня. «Вот по поводу этого домашнего спектакля, — выпятив нижнюю челюсть — челюсть грызуна, снова заговорил граф де Бреоте, — Жильбер и потребовал объяснений от Свана, а тот, по общему мнению, очень

остроумно ему ответил: „Да нет, что вы, он совсем не был на вас похож, вы же гораздо смешнее“. Как бы то ни было, — продолжал граф де Бреоте, — пьеска, по слухам, прелестная. На спектакле была графиня Моле, она смеялась до упаду». — «Как, графиня Моле бывает у Сванов? — с изумлением спросила герцогиня. — А это наверно, дело рук Меме! С домами вроде дома Сванов так всегда и кончается. Все в один прекрасный день оказываются там, а я из принципа решила не появляться в этом доме, и вот теперь я осталась в одиночестве и вынуждена скучать по вечерам у себя дома». После того, что сейчас рассказал граф де Бреоте, герцогиня Германтская изменила свое отношение (если не к салону Свана, то, во всяком случае, к встрече с ним самим, которая могла произойти в любую минуту). «Все это — плод вашего воображения, и только, — обращаясь к графу де Бреоте, заметил полковник де Фробервиль. — И я берусь это доказать. Просто-напросто принц накинулся на Свана и, как говаривали наши отцы, отказал ему от дома за то, что Сван проповедует. И я считаю, что мой дядя Жильбер совершенно прав, что накинулся на Свана, он должен был выставить этого отъявленного дрейфусара еще полгода назад».

Бедный де Вогубер, превратившийся из чересчур медлительного теннисиста в безвольный теннисный мяч, который перебрасывают без всяких церемоний, отлетел к герцогине Германтской и засвидетельствовал ей свое почтение. Ориана поздоровалась с ним довольно неприветливо — она держалась того мнения, что все дипломаты (и вообще политические деятели) из ее круга — олухи.

Де Фробервилю не мог не быть выгоден почет, какой с некоторых пор стали оказывать в обществе военным. К несчастью, хотя родство его жены с Германтами было бесспорно, однако это была очень бедная родственница, а так как сам он лишился своего состояния, то они ни с кем не поддерживали отношений; они принадлежали к числу тех, о ком не вспоминали, кроме особых случаев, когда на их счастье кто-нибудь из родственников умирал или сочетался браком. Только тогда они приобщались к высшему свету — так католики только по названию подходят к алтарю не чаще раза в год. Их материальное положение было бы просто плачевным, если бы маркиза де Сент-Эверт в память о дружбе с покойным генералом де Фробервилем не помогала им то тем, то другим, не заботилась о двух дочках

Фробервилей — об их нарядах и об их развлечениях. Но полковник, которого все считали славным малым, был человек неблагодарный. Его покровительница без конца и без умолку восславляла свою роскошь, а де Фробервиль ей завидовал. Ежегодная garden party доставляла ему, жене и детям огромное удовольствие, от которого они не отказались бы ни за какие блага в мире, но это удовольствие было для них отравлено мыслью о том, как эта garden party тешит самолюбие маркизы де Сент-Эверт. Объявление о garden party в газетах, а затем макиавеллическая заключительная фраза из подробного ее описания: «Мы еще вернемся к этому чудному празднику», похвалы, несколько дней подряд расточавшиеся каждой мелочи того или иного наряда, — все это Фробервили воспринимали крайне болезненно, и, хотя они не были избалованы увеселениями, а приглашение на этот утренний прием было им обеспечено, все же они каждый год надеялись, что из-за дурной погоды его отменят, смотрели на барометр и с радостью следили за предвестниками грозы, потому что в случае грозы празднество не состоится.

— О политике я с вами, Фробервиль, спорить не буду, — заговорил герцог Германтский, — а

вот что касается Свана, то тут я должен сказать откровенно: по отношению к нам он ведет себя недопустимо. Его ввели в высший свет мы, герцог Шартрский,[83] а он, как я слышал, открыто перешел на сторону дрейфусаров. Я никогда бы про него этого не подумал — про него, гурмана, человека с ясным умом, коллекционера, любителя старых книг, члена Джокей-клоба, про пего, пользующегося всеобщим уважением, превосходного филателиста, человека, присылавшего нам наилучший портвейн, поклонника изящных искусств, отца семейства. Ах, как я в нем заблуждался! Не буду говорить о себе, я — старая калоша, мое мнение ничего не значит, я что-то вроде вечного скитальца, но хотя бы ради Орианы он не должен был так поступать, он должен был громогласно отречься от евреев и от сторонников осужденного.

Да, помня о дружеских чувствах, какие питала к нему моя жена, — продолжал герцог, по-видимому считавший, что, обвиняя Дрейфуса в государственной измене, как бы он к нему ни относился в глубине души, он словно бы выражает благодарность за прием, оказываемый ему в

[83] Примечания: 83

Герцог Шартрский (1840–1910) — внук короля Луи-Филиппа, младший брат графа Парижского.

Сен-Жерменском предместье, — он должен был отмежеваться. Ведь — спросите Ориану — она действительно была с ним дружна.

Герцогиня, решив, что простодушие и спокойствие сообщат ее словам большую искренность и драматичность, произнесла наивным тоном школьницы, как бы желая, чтобы правда сказалась сама собой, и только глазам она придала чуть-чуть печальное выражение:

— Да, это верно, я не скрываю, что была искренне привязана к Шарлю!

— Ну что? Я же ее за язык не тянул. Только такой неблагодарный человек, как он, мог стать дрейфусаром!

— Кстати, о дрейфусарах, — вставил я, — я слышал, что принц Вон тоже дрейфусар.

— Как хорошо, что вы о нем заговорили! — воскликнул герцог Германтский. — Я чуть не забыл, что он пригласил меня на ужин в понедельник. А дрейфусар он или нет — это мне совершенно безразлично, поскольку он иностранец. Плевать мне на это с высокого дерева. С французами дело обстоит иначе. Сван, правда, еврей. Но до сих пор — простите меня, Фробервиль, — я по своему легкомыслию думал, что евреи может быть французом: я имею в виду еврея уважаемого, человека

светского. И Сван мне казался именно таким — в полном смысле слова. Ну что ж! Значит я в нем ошибался, раз он заступается за Дреифуса (а между тем этот самый Дрейфус, виновен он или нет, совсем не из его круга, Сван ни за что бы не стал с ним встречаться), идет наперекор обществу, которое открыло перед ним двери, которое считало его своим. Да что там говорить! Мы все ручались за Свана, я был уверен в его патриотизме, как в своем собственном. Да, вот как он нас отблагодарил! Признаюсь, я от него этого не ожидал. Я был о нем лучшего мнения. Он человек умный, — правда, ум у него своеобразный. Я же знаю, что он имел глупость вступить в позорный брак. А знаете ли, кого женитьба Свана очень расстроила? Мою жену. Ориана часто, я бы сказал, напускает на себя бесчувственность. В действительности она все принимает близко к сердцу.

Этот анализ характера герцогини Германтской доставлял ей большое удовольствие, но слушала она герцога с видом скромным и не произнесла ни слова: ей было неловко поддакивать ему, а главное — она боялась прервать его. Герцог Германтский способен был целый час разглагольствовать на эту тему, а внимавшая ему герцогиня

— оставаться еще неподвижней, чем когда она слушала музыку. «Так вот, я помню, что, когда она узнала о женитьбе Свана, она восприняла это как личное оскорбление: она считала, что те, кто получил от нас столько тепла, так не поступают. Она очень любила Свана; она была очень огорчена. Ведь правда, Ориана?» Герцогиня Германтская сочла нужным ответить на прямо поставленный вопрос — таким образом она как бы неумышленно давала понять, что принимает похвалы мужа, а намекнуть на это следовало именно сейчас, перед тем как он перестанет ее хвалить. С застенчивым и простодушным видом, заученно «прочувствованным» тоном, в котором должна была звучать сдерживаемая нежность, она подтвердила: «Да, так оно и было, Базен прав». — «И это еще не все. Любовь есть любовь, тут уж ничего не поделаешь, хотя, по-моему, и любовь не должна переходить известные границы. Я бы это еще мог простить юнцу, сопляку, в голове у которого всякие фантазии. Но Сван, человек здравомыслящий, тонко чувствующий живопись, друг-приятель герцога Шартрского, самого Жильбера!»

В тоне герцога Германтского слышалась глубокая симпатия без малейшей примеси пошлости,

которая была для него столь характерна. Он говорил с грустью, подернутой негодованием, и вместе с тем от него веяло мягкой внушительностью, в которой заключено благодушное и щедрое обаяние иных созданий Рембрандта, — например, бургомистра Сикса.[84] Чувствовалось, что вопрос о безнравственности отношения Свана к делу Дрейфуса у герцога даже и не возникал, настолько она была для него очевидна, — безнравственность Свана огорчала его, как может огорчать отца семейства то, что один из его сыновей, ради которого он пошел на огромные жертвы, чтобы дать ему образование, собственными руками разрушает созданное для него блестящее положение и своими проказами, которых не допускают принципы или предрассудки его семьи, бесчестит свое доброе имя. Надо заметить, что когда герцог Германтский узнал, что Сен-Лу — дрейфусар, то он не был так глубоко и так неприятно удивлен. Но, во-первых, он привык смотреть на своего племянника как на юношу, сбившегося с пути, юношу, который, пока

---

[84] Примечания: 84

Бургомистр Сикс. — Имеется в виду Ян Сикс, крупный голландский фабрикант XVII века, собиратель произведений искусства и поэт. Некоторое время был дружен с Рембрандтом, в старости (уже после смерти художника) являлся бургомистром Амстердама. Его портрет, написанный Рембрандтом в 1654 г., хранится в собрании Сикс в Амстердаме.

не исправится, уже ничем его не удивит, а Сван, как отзывался о нем сам же герцог Германтский, был «человек уравновешенный, человек, принадлежащий к цвету общества». Самое главное, с начала дела Дрейфуса прошло довольно много времени, в течение которого, хотя с точки зрения исторической события как будто бы доказали правоту дрейфусаров, нападки антидрейфусарской оппозиции стали еще ожесточеннее и из чисто политической оппозиция превратилась в социальную. Теперь уже речь шла о милитаризме, о патриотизме, и волны гнева, поднявшиеся в обществе, приобрели такую силу, какой не обладают волны, когда буря только еще начинается. «Понимаете ли, — продолжал герцог Германтский, — даже с точки зрения дорогих его сердцу евреев, раз уж у него такая охота за них заступаться, Сван допустил промах, последствия которого неисчислимы. Он доказал, что евреи тайно связаны между собой и почитают за долг оказывать поддержку своему одноплеменнику, хотя бы даже они ничего о нем не знали. Это опасно для общества. Мы были чересчур мягкотелы — теперь это ясно, — а бестактность Свана наделает тем больше шуму, что к Свану относились с уважением, его даже принимали в хороших

домах: ведь он был почти единственный еврей, с которым мы были знакомы. А теперь станут говорить: „Ab uno disce omnes.“» [85] (И только удовлетворение при мысли о том, что он как раз кстати извлек из памяти подходящее изречение, озарило горделивой улыбкой печаль обманутого барина.)

Мне очень хотелось узнать, что именно произошло между Сваном и принцем, и повидаться со Сваном, если он еще не ушел. «Должна сознаться, — заметила герцогиня, от которой я этого не утаил, — что я не жажду видеть его: когда я была у маркизы де Сент-Эверт, мне передали, будто он желает, чтобы я познакомилась с его женой и дочерью, пока он еще жив. Боже мой, мне его бесконечно жаль, но, прежде всего, я не думаю, чтобы его болезнь была уж так серьезна. А потом, в конце концов, это еще не причина, иначе все было бы очень просто. Бездарному писателю стоило бы только сказать: „Голосуйте в Академии за меня, потому что моя жена при смерти и мне хочется доставить ей эту последнюю радость“. Если бы пришлось знакомиться со всеми умирающими, то закрылись бы салоны. Мой кучер мог

[85] Примечания: 85

«Abunodisceomnes». — По одному судят обо всех остальных (лат.). Вергилий, «Энеида» (II, 65–66).

бы ко мне пристать: „Моя дочь тяжело больна — попросите принцессу Пармскую,[86] чтобы она меня приняла“. Я обожаю Шарля, мне было бы очень трудно ему отказать, и я избегаю с ним встречи, чтобы он не мог обратиться ко мне со своей просьбой. Я твердо надеюсь на то, что он выживет, хотя сам он уверен в обратном, но, право же, если б этому и суждено было случиться, сейчас время для меня неподходящее для того, чтобы знакомиться с двумя женщинами, из-за которых я на целых пятнадцать лет лишилась моего самого близкого друга и которых он оставил бы мне вместо себя, как раз когда я не могла бы уже воспользоваться этим знакомством, чтобы видеться с Шарлем раз его не было бы в живых!»

Между тем граф де Бреоте все никак не мог пережить обиду, которую причинил ему полковник де Фробервиль, опровергнувший его версию.

— Я, дорогой друг, не сомневаюсь, — заговорил он, — что вы точно передали все, что вам сообщили но мои источник — самый что ни на есть достоверный' Мне об этом рассказывал принц де

[86] Примечания: 86

Принцесса Пармская — маркиза д'Эрве де Сен-Дени, внебрачная дочь последнего царствующего принца Пармского. Пруст был с ней лично знаком и описал ее в статье, посвященной приему у графа де Монтескью в 1894 г. («Литературный праздник в Версале»).

ла Тур д'Овернь.

— Мне странно, — перебил его герцог Германтский, — что такой ученый, как вы, все еще величает его принцем де ла Тур д'Овернь, — вы же знаете, что никакой он не принц. Остался только один представитель этого рода. Это дядя Орианы, герцог Бульонский.

— Брат маркизы де Вильпаризи? — вспомнив, что она — урожденная герцогиня Бульонская, спросил я.

— Так точно. Ориана! Госпожа де Ламбрезак с вами здоровается.

В самом деле, по временам было видно, как вдруг падучей звездой промелькнет слабая улыбка, которой госпожа де Ламбрезак улыбалась кому-нибудь из знакомых. Но эта улыбка, вместо того чтобы сложиться во что-то определенное, действенное, в язык безмолвный, но понятный, почти тотчас же растворялась в каком-то неземном восторге, ничего перед собой не видевшем, а в это время ее голова блаженно и благословляюще склонялась, точно голова слегка расслабленного прелата, склоняющаяся над толпой причастников. В г-же де Ламбрезак никакой расслабленности не наблюдалось. Но мне была знакома эта разновидность старомодной учти-

вости. В Комбре и в Париже все приятельницы моей бабушки имели обыкновение здороваться в обществе, устремляя на знакомых столь серафический взгляд, как будто они встретились с ними в церкви во время возношения даров или на похоронах, когда их приветственный шелест тотчас переходит в молитвенный. То, что мне сказал герцог Германтский, подтвердило верность моего сравнения. «Вы же видели герцога Бульонского, — обратился ко мне герцог Германтским. — Он выходил из моего кабинета, как раз когда вы входили, — господин маленького роста, совершенно седой». Это был тот, кого я принял за комбрейского обывателя, — теперь, когда я припомнил мою встречу с ним, его сходство с маркизой де Вильпаризи стало для меня несомненным. Одинаковость мгновенных поклонов герцогини де Ламбрсзак и поклонов приятельниц моей бабушки заинтересовала меня — она свидетельствовала о том, что в замкнутых, узких кругах, будь то мещанство или знать, старинные манеры не исчезают, и мы, как археологи, по ним угадываем, каково

было в эпоху виконта д'Арленкура[87] и Луизы Пюже[88] воспитание и просвечивающие в нем душевные качества людей. Полное внешнее сходство между комбрейским обывателем и его ровесником герцогом Бульонским окончательно убедило меня теперь (я был поражен этим, еще когда увидел деда Сен-Лу по материнской линии, герцога де Ларошфуко, на дагерротипе: все у него было общее с моим двоюродным дедом — одежда, выражение лица, осанка), что различия социальные и далее индивидуальные на таком далеком расстоянии теряются в единообразии эпохи. Дело в том, что схожесть одежд и дух времени, отражающийся на лице, гораздо важнее, чем кастовая принадлежность человека, которая имеет значение только для его самолюбия, которая имеет значение только в воображении людей, так что для того, чтобы удостовериться, что вельможа времен Луи-Филиппа меньше отличается от своего современника — мещанина, чем от вельможи

---

[87] Примечания: 87

Виконт д'Арленкур, Шарль-Виктор Прево (1789–1856) — французский писатель; после Июльской революции 1830 г. под видом исторических романов публиковал язвительные памфлеты, направленные против нового режима.

[88] Примечания: 88

Пюже, Луиза (1810–1889) — французская поэтесса, автор и исполнитель популярных салонных романсов.

времен Людовика XV, нам незачем обходить галереи Лувра.

В эту минуту с Орианой поздоровался длинноволосый баварский музыкант, которому покровительствовала принцесса Германтская. Ориана поклонилась ему, а герцог, в бешенстве оттого, что его жена здоровается с незнакомым ему человеком, у которого странная внешность и, как полагал герцог, очень скверная репутация, посмотрел на жену вопрошающе грозно, будто хотел сказать: «Это еще что за пещерный человек?» Для бедной герцогини Германтской положение создалось критическое, и, если бы в душе у музыканта нашлась хоть капля жалости к супруге-страдалице он бы удалился немедленно. Но то ли он был не в силах стерпеть оскорбление, нанесенное ему публично при его старинных друзьях из круга герцога, присутствие которых отчасти, быть может, оправдывало его молчаливый поклон, и ему хотелось показать, что он имел право поздороваться с герцогиней Германтской как со своей знакомой, то ли он находился под неосознанным и необоримым влиянием своего промаха, который понуждал его — именно тогда, когда следовало бы довериться разуму, — соблюсти все правила светского обхождения, но только

музыкант еще ближе подошел к герцогине Германтской и сказал: «Ваша светлость! Я хочу просить вас оказать мне честь — представить меня герцогу». Герцогиня Германтская была в полном отчаянии. Но в конце концов, хотя герцог ей изменял, все-таки она была герцогиня Германтская, и ни у кого не должно было возникать подозрений, что у нее отнято право представлять мужу своих знакомых. «Базен! — сказала она. — Позвольте вам представить господина д'Эрвека».

— Я вас не спрашиваю, будете ли вы завтра у маркизы де Сент-Эверт, — чтобы рассеять неприятное впечатление, произведенное неуместной просьбой д'Эрвека, заговорил с герцогиней Германтской полковник де Фробервиль. — Там будет весь Париж.

Между тем, единым движением и всем телом повернувшись к нескромному музыканту и став к нему лицом, герцог Германтский, величественный, безмолвный, разгневанный, похожий на мечущего громы Юпитера, несколько секунд сохранял неподвижность, сверкая глазами, полными яростного удивления, со встопорщившимися волосами, точно вздыбившимися над кратером. Затем, словно под действием силы, принуждавшей его во что бы то ни стало оказать

просимую любезность, всем своим устрашающим видом как бы призывая в свидетели присутствовавших, что он не знает баварского музыканта, заложив за спину руки в белых перчатках, он подался вперед и поклонился музыканту так низко, так внезапно, так стремительно, в этом его поклоне было столько изумления и столько злобы, что музыкант задрожал и, раскланиваясь, начал пятиться назад, чтобы не получить страшного удара головой в живот.

— А меня не будет в Париже, — ответила полковнику де Фробервилю герцогиня. — Должна вам сказать (хотя мне и стыдно в этом признаваться), что я столько лет прожила на свете и так и не удосужилась посмотреть витражи в Монфор-л'Амори.[89] Это позор, но это факт. И вот, чтобы меня нельзя уже было упрекнуть в преступном невежестве, я дала себе слово завтра туда съездить.

Граф де Бреоте лукаво усмехнулся. Он, конечно, понял, что если уж герцогиня до сих пор не видела витражей в Монфор-л'Амори, то в этой поездке с эстетическими целями не могло быть

---

[89] Примечания: 89

Монфор-л'Амори — церковь неподалеку от Парижа, известная прекрасными витражами XVI века, один из которых изображает «Чудо св. Елизаветы Венгерской».

никакой срочности и спешности, что она не была решена «сгоряча», и раз ее откладывали более двадцати пяти лет, то еще на двадцать четыре часа ее смело можно было отложить. Просто-напросто герцогиня задумала издать в излюбленной Германтами форме указ, объявляющий салон Сент-Эверт домом, где порядочным людям не место, что вас туда приглашают, чтобы потом украсить вашим именем отчет в «Голуа», что это дом, накладывающий печать высшего благородства на тех или по крайней мере на ту — если она окажется в одиночестве, — кого там не будет. Для графа это была легкая забава с примесью поэтического наслаждения, испытываемого светскими людьми при виде того, как герцогиня Германтская совершает поступки, на которые они не могли решиться в силу занимаемого ими более низкого положения, но которые вызывали на их лица улыбку привязанного к своей ниве землепашца, следящего за тем, как где-то там, вверху, проходят люди, свободные и счастливые, однако утонченное наслаждение, написанное на лице графа де Бреоте, не имело ничего общего с безумным восторгом, мгновенно охватившим Де Фробервиля, хотя он и пытался его сдержать.

От усилии, которые затрачивал де Фробервиль,

чтобы не было слышно, что он смеется, он покраснел как рак, и все-таки, перебивая свою речь икотой сдавливаемого хохота, он не мог не проговорить участливо: «Бедная тетушка Сент-Эверт! Она сляжет! Ах несчастная женщина — она не увидит герцогиню! Какой удар! Это может свести ее в гроб!» — добавил он, корчась от смеха. Он был в таком упоении, что даже притоптывал ногой и потирал руки. Одним глазом и углом рта улыбнувшись де Фробервилю, герцогиня Германтская, благодарная ему за желание угодить ей, но не вынесшая смертельной скуки, какую он навевал, в конце концов решила его покинуть. «Вы знаете, мне придется с вами проститься, — сказала она, вставая со смиренно-печальным видом, как будто ей тяжело было от него уходить. Ласковый, музыкальный голос герцогини звучал так, словно вам слышались жалобы какой-нибудь волшебницы, а ее колдовские голубые глаза усиливали это впечатление. — Базену хочется, чтобы я поговорила с Мари».

На самом деле ей надоел Фробервиль, который все твердил, как он завидует ей, что она едет в Монфор-л'Амори, хотя она прекрасно знала, что он первый раз в жизни слышит об его витражах и что ни за что на свете не пропустил бы при-

ема у Сент-Эверт. «Всего хорошего! Мы ведь с вами только-только разговорились, так устроена жизнь: люди друг с другом не видятся, не говорят того, что хотят, — это общее явление. Одна надежда, что на том свете условия будут лучше. Во всяком случае, не надо будет всегда ходить с открытой шеей. А впрочем, почем мы знаем? Может, еще придется по большим праздникам выставлять напоказ свои кости и своих червей? А собственно, почему бы нет? Вот, поглядите на бабусю Рампильон — такая ли уж большая разница между ней и скелетом в открытом платье? Впрочем, для нее закон уже не писан — ведь ей по меньшей мере сто лет. Когда я еще только начинала выезжать, у нее уже была такая богомерзкая рожа, что я не могла заставить себя с ней поздороваться. Я думала, что она давно умерла; если б я была права, тогда было бы оправдано то зрелище, какое она сейчас нам устраивает. В этом есть что-то потрясающее, что-то погребальное. Как будто мы на Кампо-Санто![90]»

Герцогиня отошла от Фробервиля; он догнал

---

[90] Примечания: 90

Кампо-Санто (собственно «кладбище», *итал.)* — самое известное Кампо-Санто в Пизе, заложенное в 1278 г. Вероятно, герцогиня Германтская имеет в виду фрески неизвестного мастера «Торжество смерти», «Страшный суд» и «Ад».

ее:

— Мне нужно вам сказать всего два слова.

— Что такое? — взглянув на него свысока, с легким раздражением в голосе спросила она.

Фробервиль боялся, как бы она в последнюю минуту не отказалась от Монфор-л'Амори.

— Я сперва не осмеливался вам об этом сообщить, потому что боялся огорчить маркизу де Сент-Эверт, но раз вы все равно к ней не поедете, то теперь я могу сказать, что очень рад за вас: ведь у нее в доме корь!

— Ах ты господи! — воскликнула Ориана — она боялась болезней. — Впрочем, мне это не страшно — я переболела корью. А два раза ею не болеют.

— Так уверяют врачи, а я знаю людей, которые болели корью четыре раза. Словом, мое дело — предупредить.

А сам де Фробервиль пропустил бы увеселение у Сент-Эверт, которого он столько времени ждал, лишь в том случае, если б он сам действительно был болен этой придуманной корью и лежал в постели. Ведь ему предстояло удовольствие попасть в такое блистательное общество! И еще большее удовольствие — подмечать промахи, а главное — получить возможность еще долго хвастаться тем, кого из звезд он там видел, и сокрушаться о

допущенных ими промахах, которые он подчеркивал бы или сочинял.

Когда герцогиня ушла от де Фробервиля, я тоже встал и решил зайти в курительную, чтобы там навести справки о Сване. «Не верьте ни одному слову из того, что рассказывал Бабал, — обратилась ко мне герцогиня. — Ни за что бы маленькая Моле туда не сунулась. Все это говорится для того, чтобы нас залучить. Они никого не принимают и ни от кого не получают приглашений. Он же сам признается: „Мы оба сидим у камелька в полнейшем одиночестве“. Он всегда говорит мы не в том смысле, в каком употребляет его король, а имея в виду и свою жену, так что в его устах мы меня не коробит. Но мне это точно известно». Тут мы оба столкнулись с двумя молодыми людьми, которые своей ослепительной, по разной красотой были обязаны одной женщине. Это были сыновья маркизы де Сюржи, теперешней любовницы герцога Германтского. Совершенства матери сияли и у того и у другого, но у каждого — особые. Одному передалась, волнообразная и в теле мужчины, царственность маркизы де Сюржи, и та же золотистая, жаркая, аскетическая бледность покрывала мраморные щеки матери и этого сына; а его брату достались греческий лоб,

правильный нос, скульптурная шея, бездонные глаза; состоявшая из различных даров, которые распределила между ними богиня, двуединая их красота доставляла наслаждение уму, ибо она наводила на мысль, что первооснова этой красоты находится вне их: можно было подумать, что основные черты матери нашли себе воплощение в двух разных телах, что один сын взял себе осанку матери и цвет ее лица, а другой — взгляд: так к Марсу перешла мощь, а к Венере красота Юпитера. Преисполненный почтения к герцогу Германтскому, о котором оба говорили: «Это большой друг наших родителей», старший сын, однако, счел за благо не поклониться герцогине, так как знал, что она питает к его матери враждебные чувства, хотя, быть может, и не догадывался, что тому причиной: увидев нас, он чуть-чуть отвел голову вбок. Младший брат был глуп, да вдобавок еще и близорук, а потому, не решаясь иметь свое мнение, во всем подражал старшему, и теперь он под тем же углом повернул голову, и оба, один за другим, как две аллегорические фигуры, проскользнули в игорную залу.

Когда я подошел к этой зале, меня остановила маркиза де Ситри, все еще красивая, но сейчас — едва ли не с пеной у рта. Происходила она из

довольно знатного рода, ей хотелось сделать блестящую партию, и это ей удалось: она вышла замуж за маркиза де Снтри, прабабушка которого была Омаль-Лорен.[91] Но как только она получила от этого удовлетворение, ее всеотрицающая натура почувствовала отвращение к людям из высшего света, что не мешало ей вести жизнь отчасти светскую. На каком-нибудь вечере она глумилась решительно над всеми, глумилась столь беспощадно, что такому глумлению просто злобный смех не соответствовал бы, и оттого он переходил у нее в хриплый свист. «Какова? — сказала она мне, указывая на герцогиню Германтскую, только что со мной расставшуюся и уже успевшую отойти на довольно значительное расстояние. — Меня поражает: как она может вести такую жизнь!» Кем были сказаны эти слова? Возмущенной святой, дивящейся тому, что язычники не сами приходят к истине, или анархистом, жаждущим резни? Во всяком случае, это

[91] Примечания: 91

…прабабушка которого была Омаль-Лорен. — В 1340 г. графство Омальское вошло по брачному союзу в графство д'Аркур; в 1417 г. Мария д'Аркур вышла замуж за Антуана де Лорен (Лотарингского). Клод Лотарингский (1496–1552), младший сын Рене II, герцога Лотарингского, отличился в войнах Франциска I, который возвел владения герцогов Лотарингских, охватывавшие Омаль, Майенн, Жуан-виль, Эльбеф и др., в герцогство де Гиз, с этих времен связанное с самыми драматичными событиями французской истории.

было и неубедительно, и необоснованно. Прежде всего, «жизнь, которую вела» герцогиня Германтская, очень немногим отличалась (если не считать презрения к ней) от той, какую вела маркиза де Ситри. Маркиза де Ситри недоумевала, как могла герцогиня пойти на такую страшную жертву — быть на вечере у Мари-Жильбер. Надо заметить, что маркиза де Ситри очень любила принцессу, действительно чудную женщину, и она знала, что, приехав к принцессе на вечер, она доставит ей большое удовольствие. Она даже отменила, чтобы попасть на это увеселение, визит танцовщицы, которую она считала талантливой и которая должна была посвятить ее в тайны русской хореографии. Еще снижало убедительность в сгустке ярости, какая пробуждалась у маркизы де Ситри при виде здоровающейся с гостями Орианы, то, что у герцогини Германтской наблюдались симптомы той же болезни — правда, не в такой сильной форме, — что и у маркизы де Ситри. Мы уже знаем, что у герцогини болезнь эта была врожденная. И наконец, герцогиня Германтская была умнее маркизы де Ситри и, в сущности, у нее было больше прав на такого рода нигилизм (не шедший дальше нигилизма светского), но дело в том, что благодаря

иным достоинствам, какими обладает человек, он легче переносит недостатки ближнего, он не так страдает от них; очень одаренный человек обычно меньше обращает внимания на чужую глупость, чем глупец. Мы подробно описывали склад ума герцогини — и удостоверились, что хотя он ничего общего не имел с высокоразвитым интеллектом, но все-таки это был ум, ум, искусно пользовавшийся (подобно переводчику) различными синтаксическими приемами. А вот маркиза де Ситри, видимо, не обладала ни одним из этих качеств, и ничто не давало ей право презирать в других то, что было в высшей степени присуще ей самой. Она всех считала идиотами, но из ее высказываний, равно как и из ее писем, явствовало, что она, пожалуй, ниже тех, о ком отзывалась с таким пренебрежением. Вообще маркиза де Ситри так жаждала разрушения, что, после того как она постепенно удалилась от света, другие развлечения, которые ей заменили его, испытали на себе, одно за другим, ее необоримую разлагающую силу. Перестав посещать музыкальные вечера, она говорила: «Вы уверяете, что любите музыку? Ах, боже мой, ведь это как когда! Но до чего же это бывает нудно! Ваш Бетховен — такая скучища!» Если речь заходила о Вагнере,

потом о Франке,[92] о Дебюсси,[93] то она даже не восклицала: «Скучища!» — а просто корчила гримасу скуки. Скоро ей приелось все. «Красивые вещи — как это скучно! При виде картин можно с ума сойти от тоски… Вы правы: писать письма — это такая тощища!» Наконец она объявила нам, что вся жизнь — «тоска зеленая», и нам так и не удалось выяснить, откуда она почерпнула это выражение.

Не знаю, — может быть, еще когда я в первый раз ужинал у герцогини Германтской, у меня под влиянием ее рассказа создалось определенное впечатление от игорной или курительной с ее узорчатым паркетом, треножниками, фигурами божеств и животных, смотревших на вас, сфинксами, вытянувшимися на подлокотниках кресел, а главное — с ее громадным мраморным

---

[92] Примечания: 92

Франк, Сезар (1822–1890) — французский композитор бельгийского происхождения, органист и педагог. Крупный мастер полифонии (сочинения для органа, хора, фортепьяно и др.) и оркестрового стиля (симфония, симфонические поэмы и др.), обновивший французский стиль в контексте немецкой музыкальной эстетики (Вагнер).

[93] Примечания: 93

Дебюсси, Клод (1862–1918) — французский композитор, создавший собственный эстетический идеал, отталкиваясь от вагнерианства, русской музыки и страстного увлечения индонезийской музыкой. Экзотическая музыка и эстетика Вагнера способствовали оформлению стиля Дебюсси как формы искусства, прибегающего к своего рода магии. Один из любимых композиторов Пруста.

столом, украшенным мозаикой из эмали и символическими знаками, в которых чувствовалось подражание этрусскому и египетскому искусству, но только эта комната показалась мне сейчас поистине волшебной. Например, де Шарлю, сидевший в кресле, придвинутом к блестящему авгурскому столу, и не притрагивавшийся к картам, безучастный к тому, что происходило вокруг, и не заметивший, что я вошел, напоминал именно чародея, сосредоточившего всю силу своей волн и разума на составлении гороскопа. Как у пифии на треножнике, глаза у него выкатывались из орбит, а дабы ничто не отвлекало его от трудов, не допускавших самых простых движений, он даже положил около себя сигару, которую только что держал во рту, но которую не стал докуривать, потому что куренье лишало его свободы мышления. При виде двух божеств, вытянувших лапы на подлокотниках кресла, стоявшего напротив пего, можно было подумать, что барон силится разрешить загадку сфинкса, но то была скорее загадка юного живого Эдипа, севшего именно в это кресло, чтобы принять участие в игре. И в самом деле: черты, на изучении которых де Шарлю с таким напряжением сосредоточил свои умственные способности и

которые, откровенно говоря, были не из тех, что исследуются mode geometrico,[94] являлись чертами лица юного маркиза де Сюржи; де Шарлю так углубленно изучал их, что казалось, будто перед ним некое слово, начертанное в виде ромба, загадка, алгебраическая задача и ему не терпится разгадать загадку, вывести формулу. Вещие знаки, фигуры, начертанные перед ним на скрижали Завета, — все это было как бы тайнописью, по которой старый чернокнижник мог определить дальнейшую судьбу юноши. Вдруг, заметив, что я на него смотрю, он, словно проснувшись, поднял голову и, покраснев, улыбнулся мне. В это время другой сын маркизы де Сюржи подошел к тому, который играл, и заглянул в его карты. Когда де Шарлю узнал от меня, что это братья, он не мог скрыть восхищение, которое вызывала в нем семья создавшая великолепные и такие разные произведения искусства. Барон пришел бы в еще больший восторг, если б узнал, что оба сына маркизы де Сюржи-ле-Дюк не только от одной матери, но и от одного отца. Дети Юпитера не похожи друг на друга, но это оттого, что преж-

[94] Примечания: 94
Геометрическим способом (лат.)

де он женился на Метиде,[95] которой суждено было произвести на свет благоразумных детей, затем — на Фемиде,[96] потом — на Эвриноме,[97] на Мнемозине,[98] на Лето,[99] последней же его женой была Юнона.[100] А у маркизы де Сюржи от одного мужа родились два сына, и обоих она одарила прекрасными своими чертами, но только каждого из них — различными.

Наконец меня обрадовал своим появлением Сван, но эта комната была такая большая, что сначала он меня не заметил. К моей радости примешивалась грусть — грусть, которой, быть может, не ощущали другие гости: для них она претворялась в некую завороженность неожиданными, особыми признаками близкой смерти — той смерти, которая, как говорит народ,

---

[95] Примечания: 95

Метида — в греческой мифологии океанида, дочь Океана и Тифии, первая супруга Зевса (Юпитера в римской мифологии). Зевс, узнав от Геи и Урана, что его сын от Метиды лишит его власти, проглотил свою беременную супругу, после чего из его головы родилась мудрая Афина, соединившая ум матери и отца.

[96] Примечания: 96

Фемида — в греческой мифологии богиня правосудия, титанида, вторая законная супруга Зевса. По одной из версий мифа, Фемида является матерью Прометея.

[97] Примечания: 97

Эвринома — в греческой мифологии дочь Океана, царившая на Олимпе, пока власть не захватили Кронос и Рея, низвергшие Эвриному в Тартар. Родила от Зевса харит, благодетельных богинь, воплощающих доброе,

радостное и вечно юное начало жизни.

[98] Примечания: 98

Мнемозина (Мнемосина) — в греческой мифологии богиня памяти, дочь Урана и Геи. Родила от Зевса девять дочерей — муз, покровительниц поэзии, искусств и наук.

[99] Примечания: 99

Лето — в греческой мифологии дочь титанов Коя и Фебы. Родила от Зевса Аполлона и Артемиду.

[100] Примечания: 100

Юнона — в римской мифологии богиня брака, материнства, женщин и женской производительной силы, супруга Юпитера, отождествлявшаяся с греческой Герой. В этой мифологической генеалогии исследователи Пруста склонны усматривать подражание «Теогонии» Гесиода во французском переводе Леконта де Лиля.

уже написана на лице. И с почти невежливым изумлением, складывавшимся из нескромного любопытства, из жестокости, из мыслей о себе, в которых тревога уживалась с умиротворенностью (сочетавших в себе и suave mare magno,[101] и memento quia pulvis,[102] как сказал бы Робер), все остановили взгляд на этом лице, на щеках, которые напоминали луну на ущербе — так их изглодала болезнь, и только под одним углом — по всей вероятности, под тем самым, под каким Сван смотрел на себя в зеркало, — они круто не обрывались: так обман зрения придает устойчивость шаткой декорации. То ли потому, что щеки у Свана впали, отчего лицо его стало меньше, то ли из-за артериосклероза, который ведь тоже есть не что иное, как отравление организма, от которого лицо Свана стало красным, как у пьяницы, и который изуродовал его, как уродуются лица под действием морфина, но только нос Свана — нос Полишинеля, — в течение долгого времени

---

[101] Примечания: 101

…*suavemaremagno*… — Сладко, когда на просторах морских… (лат.). Лукреций, «О природе вещей» (II, 1–6); перевод Ф. Петровского.

[102] Примечания: 102

…*mementoquiapulvis*… — Помни, что та прах (католическая молитва). Выражение, восходящее к Библии: «в поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3, 19).

остававшийся незаметным на привлекательном лице, теперь казался огромным, распухшим, багровым — такой нос скорее может быть у старого иудея, чем у любопытного Валуа.[103] Впрочем, пожалуй, за последнее время на лице Свана особенно отчетливо проступили характерные внешние черты его расы, между тем как в его душе росло чувство нравственной солидарности с другими евреями — солидарности, о которой Сван всю свою жизнь как будто бы забывал и которую, наслаиваясь одно на другое, пробудили в нем смертельная болезнь, дело Дрейфуса и антисемитская пропаганда. Некоторые иудеи, люди, надо сознаться, очень тонкие, изысканно-светские, держат в себе про запас, прячут за кулисами для того, чтобы, как на спектакле, в нужный момент выпустить на сцену или хама, или пророка. Сван приближался к возрасту пророка. Конечно, поскольку в его лице под влиянием болезни исчезли целые сегменты, точно в глыбе тающего льда, от которой отваливаются целые куски, он очень изменился. Но меня особенно поражало, как сильно изменился он в моих глазах. Я не мог уяснить себе, почему в былое время я овевал

[103] Примечания: 103

Валуа — династия французских королей, младшая линия Капетингов (1328–1589).

этого милейшего человека, человека большой культуры, с которым мне и сейчас было отрадно встретиться, такой жутью таинственности, что стоило мне завидеть его на Елисейских полях, как у меня начинало колотиться сердце; такой жутью, что я стеснялся подойти поближе к его пелерине с шелковой подкладкой; такой жутью, что у дверей дома, где обитало это таинственное существо, я с трепетом и безумным страхом нажимал кнопку звонка: все это теперь улетучилось не только из его жилища, но и из его личности — вот отчего мысль о разговоре с ним могла быть мне приятна или неприятна, но на моей нервной системе она не отражалась.

Изменился он даже за сегодняшний день, с того времени, когда мы с ним встретились — каких-нибудь несколько часов назад — в кабинете герцога Германтского. Может быть, у него в самом деле произошел крупный разговор с принцем и этот разговор взволновал его? Я напрасно ломал себе голову. Малейшее усилие, которое требуется от тяжело больного, мгновенно доводит его до полного изнеможения. Стоит ему, уже уставшему, погрузиться в духоту званого вечера — и вот уже лицо его искажается и синеет: так меньше чем за день портится груша, так быстро прокисает

молоко. Вдобавок волосы Свана местами пореде-ли и, как выражалась герцогиня Германтская, нуждались в услугах скорняка; казалось, будто они пропитаны — и притом неудачно — камфарой. Я только было собрался пройти через всю курительную и заговорить со Сваном, как вдруг, к несчастью, чья-то рука легла мне на плечо:

— Здравствуй, мой милый! Я пробуду в Париже два дня. Я проехал прямо к тебе, мне сказали, что ты здесь, — следовательно, моя тетка обязана моим присутствием на ее вечере тебе.

Это был Сен-Лу. Я ему сказал, что в восторге от этого дома.

— Да, это не дом, а музей. Но только, по-моему, это невыносимо скучно. Подальше от дяди Паламеда, а то он к нам привяжется! Графиня Моле (ведь сейчас он носится с ней) уехала, и он совсем как потерянный. Говорят, это был целый спектакль: он не отходил от нее ни на шаг, пока не усадил в карету. Я за это на дядю не в претензии, по мне смешно, что семейный совет, который ко мне так строг, состоит главным образом из родственников, которые повесничали больше всех, начиная с главного распутника, дяди Шарлю, моего второго опекуна, — женщин у него было столько же, сколько у Дон Жуана,

и он все еще не угомонился. Одно время надо мной собирались учредить официальную опеку. Когда все эти старые греховодники собирались для обсуждения вопроса и вызывали меня, чтобы отчитать и пожурить за то, что я огорчаю свою мать, они, наверно, не могли смотреть друг на друга без смеха. Если ты поинтересуешься, из кого состоял совет, то невольно подумаешь, что он был нарочно подобран из тех, которые больше, чем кто-либо, не давали спуску женскому полу.

Если оставить в стороне де Шарлю, поведение которого, по-моему, напрасно удивляло моего друга, то по ряду причин, на которые, однако, я потом стал смотреть по-другому, Робер был глубоко не прав, возмущаясь тем, что уроки хорошего поведения преподают молодому человеку родственники, которые сами прежде дурачились и продолжают дурачиться по сей день.

Дело далеко не только в атавизме, в наследственности, по законам которой у дяди, имеющего поручение распушить племянника, неизбежно обнаруживаются общие с распекаемым недостатки. Между прочим, дядя в данном случае не кривит душой: его ввела в заблуждение истинно человеческая черта — при всех обстоятельствах считать, что «это совсем не то», черта, из-за кото-

рой люди допускают ошибки в своих суждениях об искусстве, о политике и т. д. и не замечают, что теперь они хвалят новую школу живописи за то, что десять лет назад представлялось им недопустимым, не замечают, что теперь они уже не так смотрят на политику, в прежние времена вызывавшую их резкое осуждение, не замечают, что они, как будто бы уже свободные от былых заблуждений, вновь в них впадают, потому что заблуждения предстают перед людьми в новом обличье и те не узнают их. Впрочем, наследственность играет известную роль, даже если грехи у дяди не такие, как у племянника; следствие не всегда бывает похоже на причину, как копия — на оригинал. И если за дядей водятся более тяжкие грехи, он смело может считать их грехами сравнительно мелкими.

Выражая свое негодование Роберу, который, между прочим, понятия не имел о том, каковы истинные пристрастия дяди, тем более если это было во времена, когда дядя осуждал подобного рода пристрастия, де Шарлю мог быть вполне искренен, полагая, с точки зрения светского человека, что Робер неизмеримо грешнее его. Разве когда дяде было поручено наставить Роббера на путь истинный, Робер не рисковал очутиться

вне своего круга, разве над ним не висела угроза быть забаллотированным в члены Джокей-клуба, разве он не представлял собою мишень для насмешек оттого что не жалел никаких денег на женщину самого низкого пошиба, знался с такими людьми — писателями, актерами, евреями, — которые не принадлежали к светскому кругу, высказывал взгляды, в которых сходился с предателями, мучил своих близких? Чем этот постыдный образ жизни походил на образ жизни де Шарлю, который ухитрился не просто сохранить, но и поднять свое значение — значение представителя рода Германтов — до такой степени, что находился теперь на совершенно особом положении, что знакомства с ним домогались, что перед ним заискивали в самом изысканном обществе, что, женившись на принцессе Бурбонской, женщине замечательной, он сумел составить ее счастье, а после ее кончины чтил ее память благоговейнее и ревностнее, чем это даже принято в свете, и тем доказал, что он не только хороший сын, но и хороший муж?

— А ты уверен, что у де Шарлю было так много любовниц? — спросил я, конечно, не с демонической целью открыть Роберу тайну, в которую я проник, а потому, что меня раздражала уве-

ренность и самонадеянность, с какой Робер приписывал де Шарлю то, в чем он был неповинен. В ответ на мое возражение, с его точки зрения — наивное, Робер пожал плечами: «Да я его вовсе не осуждаю; на мой взгляд, он поступает совершенно правильно». И тут он начал развивать теорию, которой сам бы ужаснулся в Бальбеке (там он утверждал, что заклеймить соблазнителя недостаточно, что единственно справедливая мера наказания за такое преступленье — смертная казнь). Тогда он был еще влюблен и ревнив. А сейчас договорился до того, что в веселых домах есть своя хорошая сторона: «Только там и найдешь обувь по ноге — то, что у нас в полку мы называем габаритом». К подобного рода заведениям он уже не испытывал того чувства гадливости, какое охватило его в Бальбеке, когда я о них заговорил; сейчас, выслушав его мнение, я признался, что Блок меня с ними познакомил, но Робер сказал мне в ответ, что дом, куда водил меня Блок, наверно, «что-нибудь очень паскудное, рай бедняка». «А впрочем, все зависит от обстоятельств. Где это?» Я ответил уклончиво — я тут же вспомнил, что именно там отдавалась за луидор Рахиль, которую так любил Робер. «Как бы то ни было, я покажу тебе кое-что сортом куда

выше — там ты увидишь умопомрачительных женщин». Я попросил Робера как можно скорее сводить меня в какой-нибудь из знакомых ему домов, которые, безусловно, должны были быть намного лучше того, куда мы ходили с Блоком, но Робер сказал, что, как это ему ни печально, на сей раз он не может исполнить мое желание, потому что завтра уезжает обратно. «До следующего моего приезда, — объявил Робер. — Вот ты увидишь: там есть даже молоденькие девушки, — продолжал он с таинственным видом. — Там есть барышня, мадемуазель де… кажется, д'Оржвиль, ручаюсь: ее родители — люди весьма почтенные; мать чуть что не урожденная Ла Круа-л'Эвек; это — сливки общества; если не ошибаюсь, дальние родственники моей тетушки Орианы. Да стоит хотя бы мельком взглянуть на девочку, чтобы понять, что это дочь людей порядочных! (Тут я почувствовал, что по голосу Робера прошла тень духа Германтов, — так на большой высоте, не останавливаясь, проплывает облако.) Это что-то потрясающее. Родители вечно больны и ею не занимаются. Ну, понятно, девочке хочется повеселиться, — надеюсь, ты сумеешь развлечь малютку». — «Когда же ты теперь приедешь?» — «Не знаю; если тебе не обязательно нужны гер-

цогини (титул герцогини в аристократической среде означал принадлежность к самому высокому рангу, как для народа — титул принцессы), то — совсем в другом роде — могу предложить твоему вниманию камеристку госпожи Пютбю».

В игорную пошла разыскивавшая сыновей маркиза де Сюржи. Увидев ее, де Шарлю пошел к ней навстречу с радостной улыбкой, тем более приятно поразившей маркизу, что она ожидала крайней холодности от барона, который во всех случаях принимал сторону Орианы и один во всей семье, чересчур снисходительной к прихотям герцога — снисходительной в чаянии получить от него наследство и из ревности к герцогине, — неумолимо держался на почтительном расстоянии от возлюбленных своего брата. Словом, маркиза де Сюржи отлично поняла бы, почему де Шарлю проявляет по отношению к ней сухость, — именно этого она и опасалась, — но ей было невдомек, почему он так рад ее видеть. Он с большой похвалой отозвался о портрете, который некогда писал с нее Жаке.[104]. Его восхищение

[104] Примечания: 104

Жаке, Гюстав (1846–1909) — французский художник, автор многочисленных портретов французских аристократов. Его творчество высоко ценил граф Робер де Монтескью, написавший предисловие к каталогу выставки-продажи полотен художника, проходившей в конце 1909 г.

переросло в восторг, и этот восторг, если имел корыстную цель — загородить маркизе дорогу, «взять ее в обжим», как выражался Робер, подразумевая под этим стремление задержать силы неприятеля на определенном месте, тем не менее был искренен. Ведь если другие любовались в сыновьях царственной осанкой и глазами маркизы де Сюржи, то барон мог испытывать наслаждение противоположное, однако не менее сильное при виде совмещения красивых этих черт в матери, как на портрете, который непосредственно не вызывает желаний, но подогревает эстетическим наслаждением желания, возникшие благодаря ему. Эти желания ретроспективно придавали сладострастную прелесть портрету Жаке, и сейчас барон с удовольствием приобрел бы его, чтобы по нему изучать физиологическую генеалогию двух братьев Сюржи.

— Ты же видишь: я не преувеличиваю, — заметил Робер. — Погляди, как мой дядюшка расстилается перед маркизой де Сюржи. И в данном случае меня это удивляет. Если б Ориана про это узнала, она пришла бы в неистовство. Если уж на то пошло, мало, что ли, на свете баб? Почему надо набрасываться именно на эту? — добавил он; как все, кто не влюблен, он соображал,

что любимого человека выбирают после долгих раздумий, приняв во внимание те или иные его свойства, выбирают по разным соображениям. Ошибочно считая своего дядю женолюбом, Робер, ослепленный гневом, судил о де Шарлю чересчур поверхностно. Для человека не всегда проходит безнаказанно то, что он кому-либо доводится племянником. Очень часто через дядю рано или поздно передается та или иная наследственная черта. Можно было бы собрать целую портретную галерею, взяв для нее название немецкой комедии «Дядя и племянник»,[105] и посетители галереи увидели бы, как ревниво, хотя и не отдавая себе в этом отчета, дядя следит за тем, чтобы племянник в конце концов стал на него похож. Скажу больше: галерея была бы неполной, если бы в ней не были представлены дяди, на самом деле не имеющие с племянниками никакой родственной связи, потому что они доводятся дядями только женам племянников. Бароны де Шарлю убеждены в том, что таких мужей, как

[105] Примечания: 105

«*Дядя и племянник*» (точнее, «Дядя, которого принимают за племянника», 1803) — трехактная комедия немецкого поэта, драматурга и философа Ф. Шиллера (1759–1805), написанная по мотивам комедии «Опять Манехтемы» французского драматурга Луи-Бенуа Пикара (1769–1828). Пьеса Шиллера неоднократно издавалась во французском переводе под названием «Дядя и племянник», а в 1892 г. появился ее новый перевод, который назывался «Дядя или племянник».

они, не найдешь, что только их жены не имеют оснований ревновать своих мужей, и обычно из хорошего отношения к племяннице по жене они выдают ее замуж за какого-нибудь Шарлю. И это запутывает клубок сходств. Сердечное расположение к племяннице иногда переносится на жениха. Подобного рода браки — не редкость, и часто это такие браки, которые называются счастливыми.

О чем мы говорили? Ах да, об этой высокой блондинке, камеристке госпожи Пютбю! Она любит и женщин, но тебе, я думаю, это безразлично; говорю тебе положа руку на сердце: такой красавицы я еще никогда не видал. — «Что-нибудь во вкусе Джорджоне?[106]» — «Да еще какого Джорджоне! Ах, если б я жил в Париже! Как чудно здесь можно было бы проводить время! Надоест — к другой. Потому что любовь — это, понимаешь ли, чепуха, я с ней покончил». Вскоре я с удивле-

---

[106] Примечания: 106

Джорджоне (Джоджо Барбарелли да Кастельфранко, 1477–1510) — итальянский живописец эпохи Высокого Возрождения, творчество которого отличалось исключительной поэтичностью образов и мастерством колорита. Во времена Пруста тип женской красоты «во вкусе Джорджоне» связывался прежде всего с образами женщин на картине «Сельский концерт», находящейся в Лувре. В настоящее время авторство Джорджоне ставится под сомнение или, по крайней мере, считается, что картина была начата Джорджоне, а завершена Тицианом.

нием заметил, что покончил он и с литературой, тогда как от нашей последней встречи я вынес впечатление, что он разочаровался только в литераторах. («Почти все они — шантрапа», — сказал он, и это мнение могло быть объяснено вполне оправданной злобой, какую вызывал в нем кое-кто из дружков Рахили. Им удалось убедить Рахиль, что из нее не выйдет настоящей актрисы если она не освободится от влияния Робера, «человека другой расы», заодно с ней они издевались над ним во время ужинов, которые он же для них и устраивал.) Но в сущности, Робер любил литературу не глубоко, эта любовь не коренилась в его натуре — она являлась всего лишь следствием его любви к Рахили и прошла вместе с омерзением к прожигателям жизни и с преклонением перед женской добродетелью.

— Какие странные молодые люди! Посмотрите, маркиза: вот это действительно страстные игроки, — сказал де Шарлю, показывая маркизе де Сюржн на ее сыновей с таким видом, словно он в первый раз их видит. — Должно быть, это восточные люди; в них есть нечто характерное; может быть, это турки, — добавил он, во-первых, для того, чтобы маркиза окончательно уверилась в том, что он якобы их не знает, а во-вторых, для

того, чтобы дать ей почувствовать свою легкую антипатию к ним, которая затем, сменившись благожелательностью, доказала бы ей, что он относится к ним благожелательно только как к ее сыновьям и что он переменил к ним свое отношение только после того, как узнал, кто они. Может быть также, де Шарлю, дерзкий от природы и любивший дерзить, хотел воспользоваться минутой, в течение которой он имел право не знать, как зовут этих молодых людей, чтобы потешиться над маркизой де Сюржи и по своему обыкновению подпустить ей шпилек, — так Скапен, пользуясь тем, что его господин вырядился в другой костюм, бьет его палкой по чем попало.

— Это мои сыновья, — пояснила маркиза де Сюржи, покраснев, а между тем, будь она проницательнее, но не добродетельнее, она бы не покраснела. Она поняла бы, что совершенно равнодушный или насмешливый вид, какой де Шарлю принимал при встрече с молодым человеком, был так же неискренен, как его насквозь фальшивый восторг перед женщинами, не выражавший подлинной его сущности. У той, которую он без конца осыпал самыми изысканными комплиментами, могло бы пробудиться ревнивое чувство, если б она перехватила взгляд, который

де Шарлю, разговаривая с ней, бросал на мужчину, хотя он потом и уверял, что не заметил его. Это был не тот взгляд, каким де Шарлю смотрел на женщин; это был особенный взгляд, исходивший из глубин его существа, взгляд, который даже на званом вечере простодушно устремлялся на молодых людей, — так взгляд портного изобличает его род занятий, потому что мгновенно приковывается к одежде.

— Ах, как интересно! — нагловато заметил де Шарлю с таким видом, будто его мысль проделала долгий путь, прежде чем привести его к истине, абсолютно не соответствовавшей его предположениям. — А я ведь с ними не знаком, — боясь, что слишком далеко зашел в выражении своей антипатии и отбил у маркизы всякую охоту познакомить его с ними, добавил он. «Вы мне позволите представить их вам?» — робко спросила маркиза де Сюржи. «Боже мой, мне не надо вам объяснять, как я был бы рад, но, быть может, им, таким молодым, будет со мной скучно», — пропел де Шарлю холодно и нерешительно, как будто из него вытягивали учтивые фразы.

— Арнюльф, Виктюрньен, подите сюда! — позвала маркиза де Сюржи.

Виктюрньен встал не колеблясь. Арнюльф —

тень своего брата — послушно двинулся за ним.

— Теперь пришла очередь сыновей, — сказал Робер. — Можно умереть со смеху. Он всех старается ублажить, всех — вплоть до собаки хозяина.[107] Он же не выносит сопляков — вот что во всем этом самое уморительное. А ведь ты только посмотри, с каким серьезным лицом он их слушает. Если б познакомить его с ними взбрело в голову мне, он бы меня послал ко всем чертям. Послушай, мне надо пойти поздороваться с Орианой. В Париже я пробуду недолго, вот я и хочу повидать здесь побольше народу, а то иначе придется завозить карточки.

— Как хорошо они воспитаны, какие у них прекрасные манеры! — разливался между тем де Шарлю.

— Вы находите? — спросила польщенная маркиза де Сюржи. Сван, увидев меня, подошел к нам с Сен-Лу. В еврейском остроумии Свана было меньше тонкости чем в шутках Свала — светского человека.

— Здравствуйте! — сказал он. — Господи! Все трое в сборе — можно подумать: заседание синдиката Не хватает еще, чтобы спросили, где касса!

---

[107] Примечания: 107

...вплоть до собаки хозяина. — Слегка измененная цитата из комедии Мольера «Ученые женщины» (1672, акт I, сцена 3).

Сван не видел, что за его спиной стоит и слушает его де Босерфей. У генерала непроизвольно сдвинулись брови. Теперь голос де Шарлю был слышен совсем близко от нас. «Так вас зовут Виктюрньен, как героя „Музея древностей“?[108]» — чтобы завязать разговор с молодыми людьми, спросил барон. «Как у Бальзака, да», — ответил старший де Сюржи — он не читал ни одной строчки этого писателя, но учитель несколько дней назад обратил его внимание на то, что у него и у д'Эгриньона имя одно. Маркиза де Сюржи была в восторге, что ее сын блеснул своими познаниями и что на де Шарлю это произвело благоприятное впечатление.

— Говорят, Лубе[109] всецело на нашей стороне, я об этом знаю из достоверного источника, — уже не так громко, чтобы генерал не мог слышать его, сказал Роберу Сван — теперь, когда ничто так не волновало его, как дело Дрейфуса, связи его жены

---

[108] Примечания: 108

«Музей древностей» (1838) — роман Бальзака, вошедший в цикл «Сцены провинциальной жизни». Его главный герой, Вектюрньен, провинциальный юноша необычайной красоты, по приезде в Париж становится жертвой женских интриг.

[109] Примечания: 109

Лубе, Эмиль (1838–1929) — французский политический деятель, президент Республики (1899–1906), был сторонником пересмотра дела Дрейфуса, в результате чего стал объектом яростных нападок со стороны антидрейфусаров.

с республиканскими кругами приобрели для пего интерес. — Говорю я вам об этом потому, что, насколько мне известно, вы наш верный союзник.

— Ну пет, не совсем; вы глубоко ошибаетесь, — возразил Робер. — Это дело темное, и я очень жалею, что в него ввязался. Нечего мне было лезть. Если бы оно опять началось, я бы, конечно, держался в стороне. Я — солдат, армия для меня прежде всего. Если ты еще побудешь с господином Сваном, то я скоро сюда вернусь — я иду к тетке.

Однако я увидел, что Робер разговаривает с мадемуазель д'Амбрезак, и мне стало обидно при мысли, что он солгал мне относительно их возможной помолвки.

Успокоился я, только когда узнал, что Робера всего лишь полчаса назад познакомила с ней виконтесса де Марсант, мечтавшая об этом брачном союзе, потому что Амбрезаки были очень богаты.

— Наконец-то я встретился с образованным молодым человеком, который читал Бальзака, который имеет о нем представление, — обратился барон к маркизе де Сюржи. — Мне это особенно приятно, потому что встретились мы с ним в таком месте, где это большая редкость; потому что

молодой человек — один из мне равных, потому что он — нашего круга, — делая упор на этих словах, добавил он. Хотя Германты и притворялись, будто для них все люди равны, по в торжественных случаях, когда они находились в обществе людей «знатных», а в особенности — не столь уже «знатных», которым они хотели и могли польстить, они не задумываясь вытаскивали на свет Божий старинные семейные предания. — В былые времена аристократами называли лучших людей, лучших по их умственным способностям и душевным качествам. А сейчас я впервые вижу среди нас человека, который знает, кто такой Виктюрньен д'Эгриньон. Впрочем, нет, не впервые. Есть же еще Полииьяк и Монтескью, — прибавил де Шарлю — он понимал, что, услышав сравнение с двумя такими именами, маркиза растает. — Ну да ведь вашим сыновьям в смысле образованности было в кого пойти — у их деда по материнской линии была знаменитая коллекция восемнадцатого века. Я покажу вам мою, если вы захотите доставить мне удовольствие как-нибудь позавтракать у меня, — обратился барон к Виктюрньену. — Я покажу вам любопытное издание «Музея древностей» с поправками, сделанными рукой Бальзака. Я буду счастлив устроить у себя

свидание двух Внктюрньенов.

Я не мог бросить Свана. Он устал уже до такой степени, когда тело больного представляет собой всего лишь реторту, в которой происходят химические реакции. Его лицо покрылось точечками цвета берлинской лазури, в которых, казалось, нет ничего живого, и пахло от его лица так, как пахнет в школах в кабинетах «естественных наук» после «опытов», из-за чего там бывает очень неприятно оставаться. Я спросил Свана не было ли у него долгого разговора с принцем Германтским, и если был, то нельзя ли узнать — о чем.

— Да, был, — ответил Сван, — побудьте немного с де Шарлю и с маркизой де Сюржи, а я вас подожду здесь.

Дело в том, что барон предложил маркизе де Сюржи перейти отсюда в другую комнату и там посидеть, потому что здесь было очень жарко, но он обратился с просьбой пойти с ними не к ее сыновьям, а ко мне. Сначала поманив их, теперь он представлялся, что они ему совершенно неинтересны. Мне же он оказывал любезность для него не трудную, потому что охотников проводить время с маркизой де Сюржи-ле-Дюк здесь набралось бы не много.

К несчастью, только мы расположились в

фонаре, как показалась маркиза де Сент-Эверт — мишень для острых словечек барона. Быть может, для того, чтобы притвориться, будто она не замечает неприязни, какую она вызывает у де Шарлю, отчасти для того, чтобы показать, что эта неприязнь ей глубоко безразлична, а главное — чтобы все видели, что она близко знакома с дамой, которая вела с ним непринужденную беседу, маркиза де Сент-Эверт пренебрежительно-дружественным тоном приветствовала знаменитую красавицу, а та ответила ей, одним глазком поглядывая на де Шарлю и насмешливо улыбаясь. Но фонарь был очень узкий, так что маркиза де Сент-Эверт, за нашими спинами продолжавшая опрос своих завтрашних гостей, попала в западню, откуда ей было не так просто выбраться, а де Шарлю, который только и ждал, чтобы поизощряться в остроумии перед матерью двух молодых людей, не преминул воспользоваться этим необыкновенно удобным случаем. Праздный вопрос, заданный мною барону без всякого злого умысла, послужил ему поводом для уничтожающей тирады, которую несчастная де Сент-Эверт, почти неподвижно стоявшая за нами, принуждена была выслушать от слова до слова.

— Можете себе представить; этот неделикат-

ный молодой человек осмелился задать мне вопрос, поеду ли я к маркизе де Сент-Эверт. Нет, слуга покорный, я в ее сент-эвертеп не ходок. Уж больно она сент-эвертлява. Правда, послушать ее крайне любопытно. Сколько у нее сохранилось воспоминаний, имеющих историческое значение, сколько впечатлений и переживаний, связанных с эпохой Первой империи и Реставрации, сколько она могла бы рассказать историй из своей личной жизни, — наверно, нескромных, если судить по не утратившим до сих пор своей упругости ляжкам этой сент-эвертячки! Но мне эта сент-эвертунья, сент-эвертушка, сент-эвертихвостка не по нутру. Я слишком чистоплотен, чтобы выносить ее дурно пахнущее и в переносном и в буквальном смысле общество. Когда она со мной говорит, прямо хоть зажимай нос. Как будто чистят сент-эвертыгребную яму. Ведь вы же понимаете, что если б я имел несчастье к ней поехать, то выгребная яма превратилась бы в громадную бочку с нечистотами. Имя у нее, однако, мистическое, и оно неизменно наводит меня на веселую мысль, хотя для нее самой пора веселья давно должна бы миновать, — на мысль о стихе, который принято считать «декадентским»: «Ах,

молодо, ах, зелено тогда так было мне!..»[110] Но я люблю зелень почище. Я слышал, что неутомимая бегунья устраивает garden party, а я назвал бы это прогулками по сточным трубам. Неужели вы к ней поедете? А вы не боитесь запачкаться? — спросил барон маркизу де Сюржи, которой было сейчас не по себе. Ей хотелось утвердить барона в мысли, что она туда не поедет; с другой стороны, она отдавала себе отчет, что за то, чтобы присутствовать на увеселении у Сент-Эверт, она пожертвовала бы несколькими днями своей жизни, а потому предпочла уклониться от прямого ответа, то есть не сказать ни «да», ни «нет». Эту уклончивость она выразила до глупости неумело, ее ответ был шит белыми нитками, так что де Шарлю, не боясь обидеть маркизу де Сюржи, которую он все-таки старался очаровать, расхохотался, давая ей попять, что у нее «ничего не получается».

— Меня всегда удивляют люди, которые строят планы, — сказала она, — я часто отменяю свои решения в последний момент. Все может изме-

---

[110] Примечания: 110

«Ах, молодо, ах, зелено тогда так было мне!..» — Цитата из книги «Упадочническое. Декадентские стихи Адоре Флупетта» (1885), в которой французские литераторы Г. Викер и А. Боклер пародировали стиль символистов.

ниться из-за летнего платья. Я живу минутой.

Я был возмущен омерзительной выходкой де Шарлю. Мне хотелось чем-нибудь осчастливить устроительницу garden party. Но вот беда: в светском кругу, равно как и в кругах политических, жертвы до того трусливы, что нельзя долго сердиться на палачей. Маркизе де Сент-Эверт все-таки удалось выбраться из фонаря, хотя мы и загораживали ей дорогу, но, проходя мимо нас, она нечаянно толкнула барона и по снобистскому рефлексу, от которого у нее сразу прошла вся злость, а быть может, в надежде завязать разговор, тем более что подобного рода попытки она, вероятно, делала уже неоднократно, воскликнула: «Ах, простите, барон! Надеюсь, я не больно вас толкнула?» — воскликнула таким тоном, словно на коленях вымаливала прощение у своего господина. Вместо ответа, которым барон ее не удостоил, он залился издевательским хохотом, а потом все же соизволил процедить: «Добрый вечер!» — но это было еще одно оскорбление для маркизы, поскольку он сделал вид, что заметил ее только после того, как она первая поклонилась ему. Наконец, маркиза де Сент-Эверт пошла на крайнее унижение, так что мне стало за нее больно, — она отвела меня в сторону и зашептала

мне на ухо: «Ну что я сделала барону де Шарлю? Говорят, он находит, что я для него недостаточно шикарна!» — сказала она и захохотала во все горло. Я даже не улыбнулся. Прежде всего я считал, что глупо делать вид, будто ты уверена, глупо стараться убедить других, что шикарнее тебя в самом деле нет никого на свете. Притом люди, которые так весело смеются своим же словам, на самом деле отнюдь не смешным, тем самым освобождают нас от обязанности вторить им, потому что эту обязанность — устраивать взрывы хохота — они берут на себя.

— От других я слышала, будто он обижен, что я его не зову. Но я не хочу навязываться. Он, видимо, дуется на меня. (Я подумал, что это мягко сказано.) Постарайтесь разузнать, а завтра мне расскажете. Но если все-таки ему станет совестно и он выразит желание поехать вместе с вами, то привезите его. Незамолимых грехов не бывает. Я была бы даже отчасти рада его приезду — мне хочется позлить маркизу де Сюржи. Я предоставляю вам полную свободу действий. У вас на такие вещи ох какое топкое чутье! Я не хочу, чтобы обо мне подумали, будто я зазываю к себе гостей. Словом, я на вас рассчитываю.

Я подумал, что Сван, наверно, истомился, ожи-

дая меня. К тому же мне надо было вернуться домой пораньше из-за Альбертины, поэтому я поспешил распрощаться с маркизой де Сюржи и с бароном де Шарлю и вернулся к больному в игорную. Я задал ему вопрос, отзывался ли он о пьеске Бергота, разговаривая с принцем в саду, так, как нам это передал граф де Бреоте (Свану я его не назвал). Сван рассмеялся. «Тут нет ни одного слова правды, ни единого, все от начала до конца выдумано, и притом ужасно глупо. Нет, в самом деле, в таком мгновенном возникновении ложных слухов есть что-то непостижимое. Я вас не спрашиваю, кто вам об этом сказал, а все же было бы очень занятно исподволь проследить в таком узком кругу, как все это образовывается. Одного не могу взять в толк: почему людям так важно знать, что мне сказал принц? Люди до крайности любопытны. Сам-то я никогда не был любопытен — только уж если был влюблен и ревновал. А что это мне дало? Вы ревнивы?» Я ответил Свану, что ревность мне незнакома, что я о ней понятия не имею. «В таком случае я вас поздравляю. Когда человек ревнует чуть-чуть, это даже отчасти приятно — приятно по двум причинам. Во-первых, благодаря этому люди нелюбопытные начинают интересоваться жизнью других или по крайней

мере жизнью одной какой-нибудь женщины. А во-вторых, благодаря этому вы более или менее ясно предощущаете, какую радость доставляет обладание, — это когда вы садитесь экипаж рядом с женщиной, не оставляете ее одну.

Но ревность приятна только в самом — самом начале болезни или уж когда наступает почти полное выздоровление. В промежутке — это мучительнейшая пытка. Впрочем, должен сознаться, даже те два приятных ощущения, которые я имею в виду, я почти не изведал: первое — из-за моей натуры, не способной на долгие размышления; второе — в силу обстоятельств по вине женщины, то есть, я хочу сказать, — по вине женщин, которых я ревновал. Но это не существенно. Когда мы уже чем-нибудь не дорожим, нам все-таки не вполне безразлично, что раньше оно было нам дорого, а другим этого не понять.

Мы сознаем, что воспоминание о минувших чувствах только внутри нас, и больше нигде; чтобы воспоминание вырисовалось перед нами, нам нужно вернуться внутрь себя. Не смейтесь над моим идеалистическим лексиконом, я просто хочу сказать, что я очень любил жизнь и что я очень любил искусства. Ну и вот, теперь я так устал, что мне трудновато жить с людьми, и мои былые чув-

ства, мои, и больше ничьи, — это свойство всех, помешанных на коллекционерстве, — стали для меня драгоценностями. Я открываю самому себе мое сердце, точно витрину, и рассматриваю одну за другой мои влюбленности, которые никто, кроме меня, не узнает. И вот об этой-то коллекции, которая мне теперь дороже всех остальных, я говорю себе, почти как Мазарини о своих книгах,[111] хотя и без малейшей боли в сердце, что расставаться с ней мне будет невесело. А теперь перейдем к моей беседе с принцем; расскажу я о ней только одному человеку: этот человек — вы». Слушать Свана мне мешали бесконечные разглагольствования де Шарлю, вернувшегося в игорную. «А вы тоже читаете книги? Чем вы занимаетесь?» — спросил он графа Арнюльфа. Тот даже имени Бальзака никогда не слыхал, по оттого, что он был близорук и все видел в очень уменьшенных размерах, казалось, что он видит очень далеко, и — поэтическая черта, изредка встречающаяся в статуе греческого бога! — в его зрачках как бы вычерчивались далекие таин-

[111] Примечания: 111

…как Мазарини о своих книгах… — Кардинал Мазарини (1602–1661) благодаря колоссальному состоянию собрал в своем дворце богатейшую коллекцию книг и произведений искусства, которая положила начало Королевской библиотеке (впоследствии Национальной).

ственные звезды.

— Пройдемтесь по саду, — предложил я Свану, а в это время граф Арнюльф, сюсюкая, — этот недостаток речи как будто свидетельствовал об его недоразвитости, во всяком случае умственной, — отвечал на вопрос де Шарлю с простодушной и словоохотливой точностью:

— О нет, я больше по части гольфа, тенниса, мяча, пешеходных прогулок, главное — по части поло.

Так Минерва,[112] раздвоившись, в некоторых городах переставала быть богиней Мудрости и воплощала часть самой себя в божество чисто спортивное, в божество конно-беговое — в Афину Гиппию.[113] Походил он на лыжах в Сен-Морице, ибо Паллада[114] Тритогения посещает выси гор и

---

[112] Примечания: 112

Минерва — италийская богиня мудрости, соответствует греческой Афине.

[113] Примечания: 113

Афина Гиппия (от греч. «hippos» — «лошадь») — по одной из версий греческого мифа, богиня мудрости и справедливой войны Афина научила людей обуздывать коней и запрягать быков, строить колесницы и управлять ими.

[114] Примечания: 114

Паллада Тритогения — в греческой мифологии одно из имен Афины, которая появилась на свет из головы Зевса в полном боевом вооружении и с воинственным кличем неподалеку от озера (или реки) Тритон в Ливии (откуда ее прозвище Тритонида или Тритогения). Космическое происхождение богини подчеркивается тем, что ее изображение, так

называемый палладий, упало с неба (отсюда — Афина Паллада).

настигает всадников. «А-а!» — протянул де Шарлю со снисходительной улыбкой человека, занимающегося умственным трудом, человека, который даже не считает нужным скрывать, что он посмеивается над другими, который считает, что он выше всех, презирает даже и не таких уж глупых и почти не делает разницы между ними и непроходимо глупыми, а если и делает, то лишь когда эти глупцы могут представлять для него интерес с другой точки зрения. Де Шарлю полагал, что, беседуя с Арнюльфом, он тем самым возвышает его над другими, что у других это должно вызывать зависть и что превосходство Арнюльфа должно быть всеми признано. «Нет, — сказал Сван, — я устал, и ходить мне трудно, лучше посидим в уголке, я еле стою на ногах». Это была истинная правда, и все же, заговорив, он слегка оживился. Дело в том, что даже непритворная усталость, особенно у людей нервных, частично зависит от того, поглощено ли усталостью их внимание и помнят ли они про свое утомление. Человек внезапно устает, как только к нему закрадывается боязнь усталости, — чтобы приободриться, ему достаточно о ней позабыть. Конечно, Сван не целиком принадлежал к породе изнуренных, но неутомимых людей, которые, придя куда-нибудь

в состоянии полного изнеможения, поблекшие, валящиеся с ног от усталости, оживают во время разговора, как цветы в воде; такие люди могут целыми часами черпать силы в своих словах, но, к сожалению, они не наделены даром заражать бодростью своих слушателей, напротив: чем сильнее у них подъем, тем заметнее упадок у слушателей. Зато Сван был из могучего еврейского племени, чья живучесть, чье сопротивление смерти передаются и отдельным его представителям. Общая болезнь всего племени — гонение, отдельные же его представители болеют разными болезнями, и во время мучительной агонии они бьются в бесконечных судорогах, которые могут продолжаться невероятно долго — до тех пор, когда у страждущего видна только борода, как у пророка, а над ней торчит громадный нос с расширяющимися ноздрями, напоследок втягивающими воздух, пока наконец не послышатся полагающиеся по обряду молитвы, после чего начинается строго торжественное шествие дальних родственников, двигающихся механически, точно на ассирийских фризах.

Мы сели, но, прежде чем отойти от группы, которую образовали де Шарлю и оба молодых Сюржи с их матерью, Сван не мог не задержать

долгого взгляда знатока, взгляда широко захватывающего и плотоядного, на ее стане. Чтобы лучше видеть, Сван воспользовался моноклем, и потом, разговаривая со мной, он все посматривал на нее.

— Вот вам слово в слово, — начал Сван, когда мы с ним сели, — мой разговор с принцем, а если вы вспомните, что я вам сейчас говорил, то поймете, почему я решил открыть это именно вам. Есть и еще одна причина, о которой вы когда-нибудь узнаете. «Дорогой Сван! — сказал мне принц Германтский. — Если вам с некоторых пор стало казаться, что я вас избегаю, то простите меня. (А я и не заметил — я болен и сам всех избегаю.) Во-первых, я слышал от других, да и предугадывал, что ваш взгляд на злосчастное дело, разбившее страну на два лагеря, диаметрально противоположен моему. И мне было бы невероятно тяжело, если б вы начали высказывать свои взгляды при мне. Вот до чего я был взвинчен: два года назад зять принцессы, великий герцог Гессенский, сказал ей, что Дрейфус невиновен, — она вспылила, но, чтобы не раздражать меня, мне об этом не сказала ничего. Почти одновременно в Париже побывал наследный принц Шведский; по всей вероятности, он от кого-то услышал, что импе-

ратрица Евгения[115] — дрейфусарка, по спутал ее с принцессой (согласитесь, что это довольно странно: как можно было спутать мою жену, принадлежащую к высшей знати, с испанкой, гораздо более худородной, даже чем о ней думают, вышедшей замуж просто за Бонапарта!), и он ей сказал: „Принцесса! Я счастлив вас видеть вдвойне — мне известно, что на дело Дрейфуса мы с вами смотрим одинаково, и это меня не удивляет, потому что вы, ваше сиятельство, родились в Баварии“. А она ему на это: „Ваше высочество! Теперь я — французская принцесса, и больше никто, и я придерживаюсь тех же взглядов, что и мои соотечественники“. Но вот в чем дело, дорогой Сван: года полтора назад, после разговора с генералом де Босерфеем, у меня закралось подозрение, что в ходе судебного разбирательства были допущены не просто ошибки, а грубые нарушения закона».

Нас прервал (Сван не хотел, чтобы кто-нибудь слышал наш разговор) де Шарлю (кстати сказать, не обращавший на нас внимания), — провожая маркизу де Сюржи, он проходил мимо и вдруг

---

[115] Примечания: 115

Императрица Евгения (1826–1920) — испанская аристократка Евгения де Монтихо, ставшая в 1853 г. супругой Наполеона III. В действительности императрица верила в невиновность Дрейфуса.

остановился, чтобы задержать ее: то ли ради сыновей, то ли потому, что им руководило присущее Германтам желание — оттянуть конец данного мига, желание, которое погружало их в какую-то тревожную неподвижность. Немного позднее Сван сообщил мне некоторые подробности, отнявшие у фамилии Сюржн-ле-Дюк тот ореол поэзии, каким я его окружил. Маркиза де Сюржи-ле-Дюк во много раз превосходила и положением в обществе, и кругом знакомств своего двоюродного брата, графа де Сюржи, обедневшего, жившего у себя в имении. Но окончание ее фамилии — «ле-Дюк» — совсем не имело того смысла, какой я в него вкладывал и по которому я ставил его рядом с Бур-л'Аббе, Буа-ле-Руа и т. п. Просто-напросто один из графов де Сюржи в эпоху Реставрации женился на дочери богатейшего промышленника Ледюка, или Ле Дюка, — сын владельца химического завода, он был самым богатым человеком своего времени, получившим звание пэра Франции. Король Карл X основал для ребенка, родившегося от этого брака, маркизат Сюржи-ле-Дюк, так как маркизат Сюржи в этом роду уже был. Присоединение буржуазной фамилии не воспрепятствовало этой ветви породниться благодаря громадному состоянию

с самыми именитыми семьями во всем королевстве. И нынешняя маркиза де Сюржи-ле-Дюк, столь благородного происхождения, могла бы стать в обществе звездой первой величины. По наущению демона порочности маркиза, однако, пренебрегла унаследованным ею блестящим положением и, убежав от мужа, повела беспутную жизнь. В двадцать лет, когда великосветское общество падало перед ней ниц, она им пренебрегла, но по прошествии десяти лет, в течение которых никто, кроме двух — трех верных подруг, ей не кланялся, она отчаянно затосковала по этому обществу и решила напрячь усилия, чтобы постепенно отвоевать то, чем она владела от рождения (такие случаи бегства и возвращения наблюдаются довольно часто).

Что же касается ее вельможных родственников, от которых она в свое время отреклась и которые отреклись от нее, то она оправдывала радость, какую ей сулило восстановление отношений с ними, тем, что их связывают воспоминания детства и теперь, мол, ей будет с кем вспоминать его. Говорила она это для того, чтобы скрыть свой снобизм, и все-таки, неведомо для нее самой, она была не так уж далека от истины. «Базен — да это же вся моя молодость!» — воскликнула она в тот

день, когда он к ней вернулся. И доля правды в этом была. Но маркиза добилась того, что он стал ее любовником, и тут она просчиталась. Дело в том, что все подруги герцогини Германтской не могли не принять ее сторону, и маркизе де Сюржи снова приходилось спускаться с крутизны, на которую ей так трудно было взобраться. «Ну так вот! — продолжал де Шарлю — ему явно не хотелось обрывать разговор. — Засвидетельствуйте мое почтение прекрасному портрету. Как он поживает? Что с ним стало?» — «Но вы же знаете, что у меня его больше нет, — ответила маркиза де Сюржи, — моему мужу он не понравился». — «Не понравился? Не понравился один из шедевров нашего времени, который можно сравнить только с портретом Натье,[116] написавшего герцогиню де Шатору, и который, кстати сказать, запечатлел черты столь же величественной и смертоносной богини? Ах, этот синий воротничок! Да сам Вермеер и тот ни разу не превзошел автора вашего портрета в технике, когда писал материю!.. Только давайте говорить тише, а то как бы нам

[116] Примечания: 116

Натье, Жан-Марк (1685–1766) — французский художник, автор многочисленных полотен на мифологические сюжеты и портретов придворной знати. Его кисти принадлежат несколько портретов герцогини де Шатору (1717–1744), фаворитки Людовика XV.

не досталось от Свана — он своего любимого художника, дельфтского мастера, в обиду не даст». Маркиза, обернувшись, улыбнулась и протянула руку Свану — тот встал и поздоровался с ней. Уже не украдкой — то ли потому, что с возрастом он почти перестал что-либо делать украдкой, то ли потому, что он обладал сильной волей, то ли потому, что к общественному мнению он относился равнодушно, или потому, что тут было что-то чувственное, что в нем вспыхнуло желание, а пружины, сдерживающие желание, ослабли, но только, пожимая руку маркизе и смотря сверху вниз, он, едва увидев совсем близко от себя ее грудь, тотчас устремил за корсаж изучающий, строгий, задумчивый, почти озабоченный взгляд, а его ноздри, с наслаждением вдохнувшие запах духов, затрепетали, как бабочки, опускающиеся на цветок. Это опьянение тут же у пего прошло, но даже маркиза, хотя и была смущена, хотя и тайком, а все-таки глубоко вздохнула — до того заразительно бывает иногда желание. «Художник обиделся и забрал портрет, — сказала она барону. — Я слышала, что теперь он у Дианы де Сент-Эверт». — «Вот уж никогда бы не подумал, что у шедевра такой плохой вкус!» — заметил де Шарлю.

— Он говорит с ней об ее портрете. У меня нашлось бы о нем сказать не меньше, чем у Шарлю, — провожая взглядом удалявшуюся пару, циничным тоном, подчеркивая слова, проговорил Сван. — И уж конечно, это доставило бы мне больше удовольствия, чем Шарлю, — добавил он.

Я спросил, верить ли молве о де Шарлю, и в этом моем вопросе была двойная ложь: хотя я ничего такого о нем не слышал, но в соответствии действительности того, на что я намекал, у меня с недавних пор не оставалось и тени сомнения. Сван пожал плечами с видом человека, которому кто-то сморозил чушь.

— То есть лучшего друга, чем он, не найдешь. Но его дружеские чувства носят характер чисто платонический — это яснее ясного. Он сентиментальнее других, только и всего, а с женщинами дело у него никогда не заходит слишком далеко, оттого-то нелепым слухам, о которых вы со мной заговорили, кое-кто и придал значение. Я допускаю, что Шарлю очень привязан к своим друзьям, но можете быть уверены, что эта его любовь не выходит за пределы головы и сердца… Ну, наконец мы с вами, кажется, хоть несколько минут можем поговорить спокойно. Так вот,

дальше принц Германтским сказал мне следующее: «Откровенно говоря, мысль о беззакониях, возможно чинившихся на суде, была для меня нестерпимо тяжела, потому что, как вам известно, я боготворю армию; я имел еще один разговор с генералом, и вот этот разговор — увы! — положил конец моим колебаниям. Скажу вам по чистой совести: мысль, что невинный человек может быть приговорен к позорнейшему из наказаний, как раз не волновала меня. Но под влиянием мысли о беззакониях я стал изучать то, от чего раньше отмахивался, и вот тут-то меня начали одолевать сомнения — теперь уже не в законности, а в виновности. Я решил ничего не говорить об этом принцессе. Видит Бог: она стала такой же француженкой, как я. Ведь я же все-таки, женившись на ней, из кожи вон лез, чтобы показать ей нашу Францию во всей ее красоте, а чем Франция, с моей точки зрения, может больше всего гордиться, так это армией, и мне было бы слишком больно делиться с принцессой моими сомнениями, тем более что они касались только некоторых офицеров. Но я из военной среды, и я отказывался верить, что эти офицеры могли ошибиться. Я опять заговорил с Босерфеем, и он сообщил мне, что преступные махинации

затевались, что хотя бордеро.[117] составлено, может быть, и не Дрейфусом, но неоспоримое доказательство виновности Дрейфуса налицо. Это был „документ Анри“[118] А через несколько дней выяснилось, что документ подложный. После этого, втайне от принцессы, я взял себе за правило каждый день прочитывать „Век“;[119] и „Зарю“[120] вскоре все мои сомнения рассеялись, я перестал спать. Я не утаил моих душевных переживании от нашего друга, аббата Пуаре, — к моему удивлению, оказалось, что и он того же мнения, тогда я попросил его служить молебны о здравии Дрейфуса, его несчастной жены и его детей. Прошло еще некоторое время, иду это я утром к принцессе и встречаюсь с ее горничной — горничная что-то держит в руке, но при виде

---

[117] Примечания: 117

Бордеро — опись ценных бумаг, здесь — опись секретных документов, якобы составленная Дрейфусом.

[118] Примечания: 118

…*«документ Анри»*. — Анри, Юбер (1846–1898) — офицер французского генерального штаба, ближайший сподвижник де Мирибеля. В ходе следствия по делу Дрейфуса утверждал, что обнаружил в 1896 г. письмо военного атташе итальянского посольства Алесандро Панизарди, адресованное военному атташе немецкого посольства Максимиллиану фон Шварцкопену; это письмо доказывало виновность Дрейфуса. Однако 30 августа 1898 г. Анри признал, что собственноручно изготовил этот документ, после чего он был заключен в тюрьму, где на следующий день покончил жизнь самоубийством.

[119] Примечания: 119

«Век» — французская ежедневная газета (1836–1927), поддерживавшая пересмотр дела Дрейфуса.

[120] Примечания: 120

«Заря» — ежедневная газета либерального толка, в которой 13 января 1898 г. было опубликовано знаменитое письмо Э. Золя «Я обвиняю».

меня прячет. Я спрашиваю со смехом, что это такое; она краснеет, но в ответ — ни звука. До сего времени я верил своей жене безгранично, однако этот случай привел меня в крайнее замешательство (да, безусловно, и самое принцессу; камеристка, конечно, рассказала ей про нашу встречу, потому что за завтраком моя милая Мари все время отмалчивалась). В тот же день я спросил аббата Пуаре, может ли он завтра отслужить молебен о здравии Дрейфуса…» Ну вот опять! — перебив себя, вполголоса проговорил Сван.

Я поднял голову и увидел, что к нам направляется герцог Германтский. «Простите, дети мои, я вам помешал. Вот что, мой мальчик, — обратился он ко мне, — меня послала к вам Ориана. Мари и Жильбер попросили ее остаться у них отужинать вместе с принцессой Гессенской, госпожой де Линь, госпожой де Тарант, госпожой де Шеврез, герцогиней д'Аранбер — всего будет человек пять-шесть. К сожалению, мы не можем остаться — мы едем на скромный костюмированный бал». Я внимательно выслушал герцога, но ведь каждый раз, когда нам нужно в какой-то момент поступить так или иначе, мы поручаем кому-то, привыкшему исполнять подобного рода обязанности, следить за часами и вовремя извещать

нас. Этот внутренний мой слуга напомнил мне — о чем я его несколько часов назад как раз и просил, — что Альбертина, от которой в этот миг мысли мои были далеко, должна приехать ко мне после театра. И я отказался от ужина. Не потому чтобы у принцессы Германтской мне не понравилось. Человек может получать удовольствие от многого. Настоящее для него удовольствие — это то, ради которого он жертвует другим. Правда, из-за этого другого желания, если оно заметно для окружающих или даже если оно одно и заметно, может быть неправильно истолковано желание настоящее, оно усыпляет бдительность ревнивцев или же сбивает их со следа, оно обманывает общественное мнение. Но посулите нам немного счастья или немного душевной боли — и мы поступимся любым удовольствием ради истинного. О третьем разряде удовольствий, более трудоемких, зато более насущных, в иных случаях мы долго не подозреваем, и они дают нам знать о своем существовании, только когда вызывают у нас сожаление или упадок духа. И все же именно такого рода удовольствия в конце концов перевешивают. Возьмем самый простой пример: военный в мирное время пожертвует светским образом жизни ради любви, но, как

только объявят войну (и дело тут не в патриотических чувствах), он пожертвует любовью ради более сильной страсти — страсти сражаться. Сван уверял меня, что ему страх как хочется рассказать мне о принце, но я-то чувствовал, что беседа со мной из-за позднего времени и скверного самочувствия довела его до такого изнеможения, которое у людей, осведомленных о том, что излишества и бессонные ночи для них пагубны, вызывает, как только они возвращаются домой, порыв отчаяния, подобного тому, какое охватывает мота после очередной бешеной траты денег, что не мешает ему на другой же день снова бросить деньги на ветер. В определенной стадии слабости — вызвана ли она возрастом или болезнью — любое удовольствие, которое человек доставляет себе за счет сна, которое выбивает его из колеи, любое нарушение режима нервируют его. Он продолжает говорить из вежливости или потому, что он возбужден, но он знает, что время, когда он мог бы заснуть, уже прошло, и еще не знает, как горько будет он себя упрекать, когда для него начнется пытка бессонницы и переутомления. Притом даже это мимолетное удовольствие улетучилось, тело и ум опустошены, и человеку уже не под силу

поддерживать разговор, который его собеседнику представляется любопытным. Его тело и ум напоминают квартиру в день отъезда или переезда, когда сидеть с гостями на чемоданах, глядя на часы, невмоготу.

— Наконец мы одни, — сказал Сван. — Не помню, на чем я остановился. Кажется, я дошел до того, как принц спросил аббата Пуаре, нельзя ли отслужить молебен о здравии Дрейфуса. «Нет, — сказал мне аббат („Я говорю „мне“, — пояснил Сван, — потому что я дословно передаю рассказ принца, понимаете?“), — на завтра утром мне заказали молебен, и тоже за Дрейфуса». — «Ах вот как! — сказал я. — Значит, нашелся еще один католик, который, как и я, убежден в невиновности Дрейфуса?» — «По-видимому». — «Но этот сторонник Дрейфуса убедился в его– невиновности, должно быть, позднее меня?» — «Да нет! Этот сторонник заказывал мне молебны, когда вы еще полагали, что Дрейфус виновен». — «Ну, это, как видно, кто-нибудь не из нашего круга». — «Ошибаетесь». — «То есть как? Среди нас есть дрейфусары? Вы меня заинтриговали; как бы мне хотелось излить ему душу, если только я знаком с этим редким экземпляром!» — «Знакомы». — «Кто же это?» — «Принцесса Германтская». Я

боялся задеть националистические взгляды моей дорогой жены, ее любовь к Франции, а она в это же самое время со страхом думала о том, как бы не оскорбить мои религиозные убеждения, мои патриотические чувства. Но мы с ней были единомышленниками, только к тем же выводам она пришла раньше меня. А горничная прятала, входя к ней в комнату, и ежедневно покупала для нее «Зарю». Дорогой Сван! После этого я все время думал о том, как вы будете рады, когда узнаете от меня, что у нас с вами никаких разногласий в этом вопросе нет; простите, что я не сразу вам об этом сказал. Если, как вы теперь знаете, я таился даже от принцессы, то вас не должно удивлять, что сходство во мнениях с вами отдалило бы меня от вас в большей степени, чем разномыслие. Касаться этого предмета мне было мучительно трудно. Чем для меня яснее, что была допущена ошибка, более того — что были совершены преступления, тем сильнее болит у меня душа за армию. Я воображал, что вы ничуть от этого не страдаете, и вдруг недавно узнаю, что вы возмущены оскорблениями, сыплющимися на армию, а также теми из дрейфусаров, кто заодно с ее хулителями. Тогда я решился; скажу вам по чистой совести; мне было больно признаваться

вам в том, что я думаю о некоторых офицерах, к счастью — о немногих, но теперь я испытываю облегчение при мысли, что мне уже не надо вас сторониться, а главное, вы теперь знаете, что, как бы я ни был настроен, в обоснованности приговора я не сомневался. А после того, как сомнение зародилось, я желал одного: чтобы ошибка была исправлена. Должен вам сказать, что исповедь принца Германтского глубоко взволновала меня. Если б вы его знали так же хорошо, как я, если б вы понимали, как дорого дался ему переход в наш стан, вы преклонились бы перед ним, и есть за что. Впрочем, его точка зрения меня не удивляет: ведь он на редкость порядочный человек!

Еще сегодня Сван доказывал мне — но об этом он успел позабыть, — что в основе отношения к делу Дрейфуса лежит атавизм. Единственное исключение он делал для людей умных: так, например, в Сен-Лу именно ум взял верх над атавизмом, и благодаря этому Сен-Лу стал дрейфусаром. Победа эта была, однако, недолгой: на глазах у Свана Сен-Лу переметнулся в другой лагерь. И вот ту роль, какую Сван отводил уму, сейчас он отводил порядочности. В этом нет ничего удивительного: мы всякий раз слишком поздно устанавливаем причину, по которой люди

примыкают к враждебной нам партии, слишком поздно приходим к выводу, что дело тут не в том, насколько эта партия права, и что наших единомышленников именно ум — если их душевная организация не столь тонка, чтобы имело смысл пытаться воздействовать на нее, — или врожденная порядочность — и если они недостаточно проницательны — привлекают на нашу сторону.

Теперь Сван всех, кто был одних с ним воззрений, считал умными людьми: и своего старого друга принца Германтского, и моего приятеля Блока — все время он старался держаться от Блока подальше, а тут вдруг пригласи на завтрак. Блок очень заинтересовался, когда узнал от Свана, что принц Германтский — дрейфусар: «Надо попросить его подписаться под нашим протестом против дела Пикара;[121] его имя произведет потрясающее впечатление». Однако иудейская пылкость в отстаивании своих убеждений уживалась у Свана со сдержанностью светского человека, повадки которого так укоренились в нем, что теперь ему было уже

[121] Примечания: 121

…дела Пикара… — Пикар, Жорж (1854–1914) — подполковник, начальник разведки французского генерального штаба, занимаясь по долгу службы делом Дрейфуса, пришел к выводу о виновности Эстергази, после чего был отрешен от должности и предстал перед военным судом.

поздно от них освобождаться, и он отсоветовал Блоку посылать принцу — пусть даже эта мысль возникла будто бы стихийно — бумагу для подписи. «Он не подпишет; ни от кого нельзя требовать невозможного, — твердил Сван. — Это человек необыкновенный — он проделал к нам огромный путь. Он может быть нам очень полезен. Но, подпиши он ваш протест, он только скомпрометирует себя в глазах своего окружения, пострадает за нас, может быть, раскается и перестанет с кем бы то ни было откровенничать». Этого мало: Сван отказался поставить и свою подпись. Он считал, что его фамилия чересчур еврейская и оттого может произвести неблагоприятное впечатление. А потом, ратуя за пересмотр дела, он не хотел, чтобы о нем думали, будто он в какой-то мере причастен к антимилитаристской кампании. Раньше он никогда не носил, а теперь стал носить орден, который он получил в ранней молодости, d семидесятом году, когда служил в Национальной гвардии, и сделал добавление к своему завещанию, выражая просьбу, чтобы, в отмену его прежних распоряжений, ему, как кавалеру ордена Почетного легиона, на похоронах были возданы воинские почести. Вот почему вокруг комбрейской церкви потом

собрался целый эскадрон тех самых кавалеристов, участь которых в давнопрошедшие времена оплакивала Франсуаза, допуская возможность новой войны. Короче говоря, Сван отказался подписаться под протестом Блока, хотя многие смотрели на него как на завзятого дрейфусара, а мой приятель считал его умеренным, считал, что он заражен национализмом, и называл его охотником за орденами.

Сван, уходя, не пожал мне руки, чтобы не прощаться со всеми в этой зале, где у него было полно друзей, он только сказал мне: «Вам следовало бы повидать вашу приятельницу Жильберту. Она так повзрослела и так изменилась, что вы ее не узнаете. Она будет очень, очень рада!» Я разлюбил Жильберту. Она была для меня как бы покойницей, которую долго оплакивали, потом забыли и которая, если б она воскресла, уже не сумела бы врасти в жизнь, потому что эта новая жизнь ей чужда. Мне уже не хотелось видеть ее, даже не хотелось показать ей, что я не желаю видеться с ней, а между тем, когда я любил ее, я каждый день давал себе слово, что, разлюбив, непременно дам ей почувствовать свое нежелание.

Вот почему, направляя в данный момент усилия только на то, чтобы Жильберта вообразила,

будто я всем своим существом стремлюсь к возобновлению отношений с ней, чему мешали обстоятельства, которые, как принято выражаться, «не зависят от нашей воли», хотя на самом деле эти обстоятельства складываются с известной последовательностью так, а не иначе, именно потому, что паша воля этому не препятствует, я живо откликнулся на приглашение Свана и расстался с ним только после того, как взял с него слово подробно объяснить дочери, что служило и еще какое-то время будет служить мне помехой для того, чтобы с нею видеться. «А впрочем, как только приеду домой, сейчас же напишу ей письмо, — прибавил я. — Но только предупредите ее, что это будет письмо угрожающее, потому что месяца через два я буду совершенно свободен, и тогда горе ей: я буду столь же частым вашим гостем, как прежде».

Прощаясь со Сваном, я спросил, как он себя чувствует. «Да ничего, — ответил он. — Но ведь я вам уже говорил, что я устал от жизни и, что бы со мной ни случилось, я ко всему отнесусь спокойно. Вот только, откровенно говоря, обидно было бы умереть до окончания дела Дрейфуса. Что — что, а морочить головы вся эта мразь насобачилась. В конце концов с ней справятся — в этом я не

сомневаюсь, — но ведь она очень сильна, у нее везде заручка. Как будто опасаться уже нечего — и вдруг: трах! Все насмарку. Я бы хотел дожить до того часа, когда Дрейфуса оправдают, а Пикар будет полковником».

Когда Сван уехал, я вернулся в большую гостиную и увидел принцессу Германтскую, ту самую, с которой — о чем я тогда и не подозревал — судьба свяжет меня тесными узами дружбы. Ее страсть к де Шарлю открылась мне не сразу. Я только стал замечать вот что: с некоторых пор барон, никогда не проявлявший к принцессе Германтской враждебного чувства, — а с его стороны это было бы как раз неудивительно — был с нею, пожалуй, даже нежнее прежнего, но когда при нем заходил о ней разговор, то это вызывало у него неудовольствие и раздражение. Ее имя уже не значилось в списке тех, с кем ему хотелось вместе поужинать.

Еще раньше один светский злопыхатель говорил при мне, что принцесса очень изменилась, что она влюблена в де Шарлю, но я отнесся к его словам как к возмутительной клевете. Однако вот что меня удивляло: если я, рассказывая о себе, упоминал де Шарлю, внимание принцессы так чутко настораживалось, как настораживается

оно у больного, который, когда мы говорим ему о себе, естественно, слушает пас с рассеянным и скучающим видом, но который, едва лишь ему послышится название его болезни, вдруг радостно встрепенется. Стоило мне сказать, например: «Как раз от де Шарлю я об этом и узнал…» — и принцесса мгновенно натягивала удила своего внимания. Как-то я сказал в ее присутствии, что де Шарлю увлечен одной дамой, и, к моему удивлению, в глазах у принцессы мелькнули особые черточки, как бы трещинки, нанесенные мыслью, которую мы, сами того не желая, заронили в душу собеседника, — мысль сокровенную, которая не выразится в словах, а лишь прихлынет из всколыхнутых нами глубин к поверхности взгляда, отчего взгляд на мгновение замутится. Но я не догадывался, чем я так взволновал принцессу.

А вскоре она сама заговорила со мной о де Шарлю — и почти без обиняков. Она намекала на слухи, кое-кем распускавшиеся о бароне, лишь как на вздорные и грязные сплетни. Но говорила она и другое: «Я считаю, что у женщины, которая полюбит такого большого человека, как Паламед, должны быть широкие взгляды, она должна быть всецело ему предана, чтобы понимать его во всем, чтобы принимать его таким, как он есть,

со всеми его странностями, чтобы не посягать на его свободу, чтобы только о том и думать, как бы облегчить ему жизнь, как бы утешить его в горе». И вот в этих-то — правда, весьма неопределенных — словах обнаруживалось стремление принцессы Германтской превознести де Шарлю таким же образом, как превозносил он сам себя. Сколько раз говорил он при мне людям, которые были не уверены, возводят на него напраслину или все так и есть: «В моей жизни было много взлетов и много падений, кого я только не знал: от воров до королей, — и, скажу откровенно, воры мне, в общем, нравились больше — я искал красоту во всех ее проявлениях...» и т. д.; я неоднократно был свидетелем того, как он с помощью этих монологов, которые ему самому представлялись необычайно хитроумными, опровергая слухи, еще не дошедшие до тех, с кем он вел беседу (а быть может, он — из прихоти, считая нужным проявить чувство меры, заботясь о правдоподобии, — делал истине уступку, которую только он один и считал незначительной), рассеивал последние сомнения у одних и зарождал первые сомнения у других. Дело в том, что из всех видов укрывательства самый опасный для преступника — это укрывательство преступления в его

сознании. Неотвязная мысль о преступлении не дает ему возможности установить, в самом ли деле никто не догадывается и отнесутся ли к нему с полным доверием, если он станет на путь решительного запирательства, а с другой стороны, не дает возможности определить, где в его правдивых словах, которые ему кажутся невинными, начинается признание. В сущности, у него не было оснований таиться, потому что нет такого порока, который не нашел бы в высшем свете услужливого сочувствия; в одной усадьбе надо было уложить спать на одной кровати двух сестер, и это вызвало целый кавардак, начавшийся после того, как все поверили, что они любят друг дружку только как сестры. А на любовь принцессы мне внезапно пролило свет одно обстоятельство; но здесь я на нем подробно останавливаться не буду, ибо оно имеет прямое отношение к рассказу о том, как де Шарлю ушел от умирающей королевы, чтобы не упустить парикмахера, обещавшего сделать ему мелкую завивку, а завивкой барон хотел угодить омнибусному контролеру, перед которым он почему-то страшно заискивал. Так вот, чтобы покончить с любовью принцессы, я сейчас расскажу, какая чистая случайность открыла мне глаза. Однажды

мы ехали с ней вдвоем в экипаже. Когда мы проезжали мимо почты, она сказала кучеру, чтобы он остановился. Лакея она с собой не взяла. Вытащив наполовину из муфты письмо, она совсем уже собралась выйти из экипажа, чтобы опустить письмо в ящик. Я попытался удержать ее, она оказала слабое сопротивление, однако нам обоим сейчас же стало ясно, что попытка выйти с письмом из экипажа бросает на нее тень, так как можно подумать, будто она охраняет какую-то тайну, а моя попытка — попытка нескромная, так как можно подумать, будто я хочу вырвать у нее тайну. Первая взяла себя в руки принцесса. Густо покраснев, она отдала мне письмо, я послушно взял его, но, опуская в ящик, нечаянно обнаружил, что оно адресовано де Шарлю.

А теперь возвращаюсь к моему рассказу и к первому моему вечеру у принцессы Германтской: герцог и герцогиня предложили отвезти меня домой, но они очень спешили, и я пошел проститься с принцессой. Герцогу захотелось проститься с братом. Маркиза де Сюржи успела где-то в дверях сказать герцогу, что де Шарлю был очарователен и с ней, и с ее сыновьями; необычайная любезность, какую барон впервые проявил в таких обстоятельствах, глубоко тронула Базена и про-

будила в нем родственные чувства, впрочем, никогда надолго не засыпавшие в нем. Когда мы прощались с принцессой, герцог решил, прямо не высказывая де Шарлю своей благодарности, проявить к нему нежность — то ли потому, что она в самом деле переполняла его, то ли чтобы барон запомнил, что брат не мог не оценить его поведение на сегодняшнем вечере, — так собаке, стоящей на задних лапах, бросают кусок сахару, чтобы у нее навсегда связывалось с этим приятное воспоминание. «Что ж это ты, братец? — остановив де Шарлю и ласково взяв его под руку, заговорил с ним герцог. — Проходишь мимо старшего брата и даже не здороваешься? Мы с тобой совсем не видимся, Меме, и ты не можешь себе представить, как мне тебя не хватает. Я разбирал старые письма и нашел письма покойной мамы — она с такой нежностью всегда о тебе пишет!» — «Спасибо, Базен», — прерывающимся голосом вымолвил де Шарлю — о своей матери он не мог говорить без волнения. «Позволь мне обставить для тебя флигель в Германте», — предложил герцог. «Как хорошо, когда братья так друг к другу привязаны!» — обратилась принцесса к Ориане. «О да! Такие отношения между братьями — редкость. Я как-нибудь приглашу

вас и де Шарлю, — обещала мне Ориана. — Ведь вы с ним, кажется, в дружбе?.. Однако о чем это они говорят?» — забеспокоилась она — ей плохо был слышен их разговор. В герцогине неизменно шевелилось ревнивое чувство, когда она видела, как приятно герцогу вспоминать с братом прошлое, а жену он держал от своего прошлого на некотором расстоянии. Она чувствовала, что им отрадно побыть вдвоем и что если она, не в силах сдержать нетерпеливое свое любопытство, присоединялась к ним, то ее появление не доставляло им удовольствия. Но сегодня к обычной ее ревности примешалась иная. Дело было вот в чем: маркиза де Сюржи рассказала герцогу Германтскому, как его брат был с нею мил, для того, чтобы герцог выразил ему благодарность, а в это же самое время верные подруги четы Германтов сочли своим долгом довести до сведения герцогини, что любовницу ее супруга видели наедине с его братом. Вот что не давало покоя герцогине Германтской. «Помнишь, как нам чудесно жилось в Германте? — обращаясь к де Шарлю, продолжал герцог. — Если б ты наезжал туда летом, для нас с тобой вновь настали бы счастливые времена. Помнишь старика Курво?» — «Почему купцов называют купцами? Потому что они все

покупают и ску… ску… скупают, — произнес де Шарлю таким тоном, как будто отвечал своему учителю. — А раз скупают, то они не только купцы, но и ск… Скупцы. Прекрасно! Экзамен вы, конечно, выдержите, получите хорошую отметку, и ее светлость подарит вам китайский словарь». — «Милый Меме, да как же мне это не помнить! А старинная китайская ваза, которую тебе привез Эрве де Сен-Дени?[122] Она стоит у меня перед глазами. Ты даже грозился уехать в Китай навсегда — так он тебя интересовал; и ты уже тогда любил кутнуть напропалую. О, ты был совсем особенный: смело могу сказать, что твои вкусы буквально ни в чем не совпадали…» Но тут лицо герцога, как говорится, пошло красными пятнами: он не был твердо уверен, какого его брат поведения, но уж репутацию-то его он знал хорошо. Герцог никогда с ним об этом не говорил, и оттого, что его слова можно было принять за намек, он почувствовал себя особенно неловко. «Кто тебя знает, — чтобы замять неловкость, после секундного молчания снова заговорил он, — может, ты был влюблен в китаянку — еще

---

[122] Примечания: 122

Эрве де Сен-Дени (1823–1892) — французский литератор и ученый-синолог, профессор Коллеж де Франс и член Академии надписей и изящной словесности.

до того, как начал ухаживать то за одной, то за другой белой женщиной и пользоваться их благосклонностью, в чем я мог убедиться на примере одной дамы, с которой ты только что беседовал и, видимо, доставил ей большое удовольствие. Она от тебя без ума». Герцог дал себе слово ни с кем не говорить о маркизе де Сюржи, но из-за допущенной им бестактности мысли его мешались, и он ухватился за первую попавшуюся — именно за ту, которой он не должен был касаться, хотя она как будто и служила ему веским доказательством. Де Шарлю заметил, что его брат покраснел. И как преступник, который, когда при нем заходит речь о преступлении, якобы им не совершенном, делает вид, что ничуть не смущен, и считает выгодным поддержать опасный для него разговор, он сказал герцогу: «Я, конечно, польщен, но мне бы хотелось вернуться к тому, о чем ты говорил перед этим, — по-моему, ты глубоко прав. Ты утверждал, что у меня на все был свой, особенный взгляд, — это очень верно, — ты утверждал, что вкусы у меня были специфические». — «Да нет!» — возразил герцог — он и в самом деле не употреблял этого выражения и, может быть, даже не верил, что оно применимо к его брату. А кроме того, он не считал себя вправе волновать

барона из-за его наклонностей, во всяком случае — сомнительных, таинственных и нимало не вредивших тому исключительно высокому положению, какое барон занимал в обществе. Более того: герцог, понимая, что его возлюбленным барон, занимающий такое положение, глядишь, когда-нибудь и пригодится, внушал себе, что ради этого не мешает быть поснисходительнее; даже если б герцога Германтского и поставили в известность о какой-нибудь «особой» симпатии брата, то, в надежде на его поддержку, да еще к тому же связанный с ним святостью воспоминаний о прошлом, он пропустил бы это мимо ушей, посмотрел бы сквозь пальцы, а в случае чего и помог бы ему. «Ну, Базен, нам пора. До свиданья, Паламед! — сказала герцогиня — она пылала гневом и любопытством и уже не в силах была сдерживаться. — Если вы, Базен, намерены пробыть здесь до утра, тогда пойдемте ужинать. Из-за вас мы с Мари стоим тут битых полчаса». Герцог нарочито крепко обнял брата, и мы втроем подошли к необъятных размеров лестнице дома принцессы.

Обе стороны верхних ее ступеней были усеяны парами, поджидавшими свои экипажи. Герцогиня, статная, отчужденная, стояла слева, между

мужем и мной, уже в манто, как на полотне Тьеполо, с ожерельем из рубинов, стягивавшим ей шею, и ее пожирали глазами мужчины и женщины, пытавшиеся проникнуть в тайну ее изящества и красоты. Дожидаясь экипажа на той же ступени, что и герцогиня Германтская, но только на противоположной стороне, герцогиня де Галардон, уже давно потерявшая надежду, что родственница когда-нибудь к ней пожалует, повернулась спиной, чтобы никто не подумал, что она видит Ориану, а главное — чтобы никто не заметил, что герцогиня Германтская с ней не здоровается. Герцогиня де Галардон была очень зла, потому что ее спутники не нашли ничего лучше, как заговорить об Ориане. «Я совсем не жажду встречаться с ней, — объявила герцогиня де Галардон. — Я ее только что видела на вечере — она начинает стареть и, должно быть, все никак не может с этим примириться. Ведь уж Базен прямо ей об этом говорит. И, право, я ее понимаю: она не умна, она — злюка, не умеет держать себя в обществе — не может же она не сознавать, что, когда ее красота отцветет, у нее ничего больше не останется».

Я уже надел пальто, а герцог Германтский, спускаясь по лестнице, пожурил меня за это — он

боялся, как бы не простудиться при выходе из жаркого помещения на воздух. Так как поколение людей из высшего круга, в той или иной степени прошедшее школу епископа Дюпанлу,[123] говорит на ужасном французском языке (кроме семьи Кастелан), то герцог выразил свою мысль следующим образом: «Лучше, do всяком случае в общей сложности не одеваться, пока не выйдете на улицу…» Я так и вижу этот уход гостей, так и вижу на лестнице, если только память мне не изменяет, портрет, отделившийся от рамы, — принца де Саган, для которого этот выезд в свет оказался последним и который, свидетельствуя свое почтение герцогине, таким широким движением руки в белой перчатке под цвет гардении в его петлице снял цилиндр, что скорей можно было подумать, будто это фетровая шляпа с перьями, какие носили при старом режиме, тем более что на его лице отчетливо проступал особый, наследственный отпечаток того времени. Он постоял около герцогини очень недолго, но даже те позы, какие он принимал на одно мгновение, представляли собой живую картину, как бы сцену из исторической пьесы. Теперь его уже нет на свете,

[123] Примечания: 123

Дюпанлу, Феликс (1802–1878) — французский церковный деятель, виднейший представитель либерального католицизма.

а при жизни я видел его мельком, и он стал для меня действительно историческим лицом — во всяком случае, человеком, игравшим роль в истории высшего света, — так что мне бывает трудно представить себе, что моя знакомая женщина или мужчина — это его сестра или племянник.

Когда мы спускались с лестницы, по ней поднималась с выражением утомленности, от которого она казалась интереснее, дама моложе своих лет, на вид — лет сорока. Это была, по слухам, внебрачная дочь герцога Пармского, принцесса д'Орвилье, в чьем нежном голосе слышался легкий австрийский акцент. В шелковом платье с цветами по белому полю, высокого роста, она шла, слегка наклоняясь, и сквозь бриллиантовые и сапфировые доспехи видно было, как вздымается ее прелестная, усталая, тяжело дышащая грудь. Встряхивая головой, точно лошадь царя, которой мешает жемчужный недоуздок огромной ценности и непомерного веса, она задерживала свой мягкий, обворожительный взгляд на том, на другом из расходившихся гостей, с большинством приветливо здоровалась, и, по мере того как синева ее глаз меркла, их выражение становилось все ласковей. «Вы как раз вовремя. Полетта!» — заметила герцогиня. «Ах, мне так

досадно! Но у меня действительно не было физической возможности», — ответила принцесса д'Орвильи — она переняла подобные обороты речи у герцогини Германтской, но только в ее устах оттого что она была мягкой от природы — они звучали мягче, а кроме того, они были для нее органичнее, потому что в ее голосе, хотя он и отличался необычайной нежностью, все-таки ощущалась едва жесткость германского акцента. Она как кала на трудности жизни, о которых долго рассказывать, а не на такие мелочи, как званые вечера, хотя сегодня она уже успела побывать на нескольких. Нет, не из-за них она приехала сюда так поздно. Принц Германтским в течение многих лет не разрешал своей жене принимать принцессу д'Орвилье; когда же запрет был снят, принцесса д'Орвилье в ответ на приглашения — чтобы не подавать вида, будто она их жаждет, — только завозила карточки. Прошло года два-три, а потом она начала приезжать на вечера к Германтам, но только очень поздно, якобы после театра. Этим она покалывала, что вовсе не стремится на званый вечер, не стремится к тому, чтобы все ее там видели, а приезжает с визитом к принцу и принцессе только ради них, из симпатии к ним, в такое время, когда больше половины

гостей уже разъедется и ей можно будет «вполне насладиться их обществом». «Нет, правда, как низко пала Ориана! — брюзжала герцогиня де Галардон. — Я отказываюсь понимать Базена — как он позволяет ей разговаривать с принцессой д'Орвилье? От герцога де Галардона мне бы так за это досталось!» В принцессе д'Орвилье я узнал ту женщину, которая около дома Германтов смотрела на меня долгим завораживающим взглядом, оборачивалась, останавливалась у витрин. Герцогиня Германтская представила ей меня, принцесса д'Орвнлье была со мной очаровательна — не чересчур любезна, но и не натянута. Кроткие ее глаза смотрели на меня так же, как смотрели на всех... Потом я уже больше не замечал при встречах с ней попыток к сближению. Иные взгляды как будто (бы говорят о том, что пас узнали: так некоторые женщины — и некоторые мужчины — смотрят на молодого человека только до той минуты, когда они с ним знакомятся к выясняется, что и он дружен с их приятелями.

Нам объявили, что лошади поданы. Герцогиня Германтская, перед тем как спуститься с лестницы и сесть в экипаж, подобрала свою красную юбку, по тут она, быть может, почувство-

вав угрызения совести или желание доставить удовольствие, а главное — желание воспользоваться кратким временем, которое в силу обстоятельств было ей отпущено на эту скучнейшую церемонию, посмотрела на герцогиню де Галардон; затем, словно только сейчас заметив ее, по внезапному вдохновению перешла на другую сторону ступени и, подойдя к своей просиявшей родственнице, протянула ей руку. «Сколько лет, сколько зим!» — сказала она и, удовольствовавшись этой поговоркой, вмещавшей в себя и сожаления, и убедительные оправдания, испуганно оглянулась на герцога, а тот, уже спустившись вместе со мной, рвал и метал, видя, что его жена направилась к герцогине де Галардон и теперь задерживает другие экипажи. «Ориана все-таки еще очень хороша! — заметила герцогиня де Галардон. — Мне смешно, когда говорят, будто между нами холодок; мы можем по причинам, которые вовсе не обязательно знать всем и каждому, не видеться годами, но нас связывает столько воспоминаний, что мы никогда не порвем друг с другом, и в глубине души она чувствует, что любит меня больше, чем многих других, с кем видится ежедневно, — не своих родственников». Герцогиня де Галардон

очень напоминала отвергнутую влюбленную, которая всячески пытается убедить других, что ее предмет пылает к ней более сильной страстью, нежели к тем, кого он пригревает на своей груди. Совершенно не думая о том, что за несколько минут до этого она говорила нечто прямо противоположное, герцогиня де Галардон этими похвалами герцогине Германтской косвенно доказала, что Ориана в совершенстве постигла правила, коими надлежит руководствоваться в жизни знатной даме, которая, заметив, что се дивное платье вызывает не только восхищение, по и зависть, сообразит, что для того, чтобы эту зависть обезоружить, ей нужно сию же минуту перейти на другую сторону лестницы. «По крайней мере хоть туфли-то не промочите» (только что прошла не сильная гроза), — сказал герцог; он все еще кипел, оттого что его заставили ждать.

На обратном пути красные туфельки герцогини Германтской из-за тесноты в карете волей-неволей оказались близко от моих ног, и, боясь, как бы не толкнуть меня, герцогиня обратилась к мужу: «Молодой человек скоро скажет мне то же самое, что было подписано под какой-то карикатурой: „Сударыня! Как можно скорей признайтесь мне в любви, но только не наступайте мне на

ноги“». А мои помыслы были сейчас далеко от герцогини Германтской. С тех пор как Сен-Лу рассказал мне про девушку благородного происхождения, посещающую дом терпимости, и про горничную баронессы Пютбю, к этим двум женщинам устремлялись слитые воедино желания, ежедневно вызывавшиеся в моей душе множеством красавиц двух разрядов: вульгарных, ослепительных, величественных горничных из богатых домов, чванных, надутых, говоривших «мы», когда они имели в виду герцогинь, и молодых девушек: даже если они не проезжали и не проходили мимо меня, я в них все-таки иногда влюблялся, стоило мне прочитать их имена в отчетах о балах, а затем, добросовестно изучив справочник, где указаны места их летнего пребывания (в именах я очень часто путался), мечтал то о жизни на равнинном Западе, то о жизни среди северных дюн, то о жизни среди сосновых лесов Юга. Но как я ни старался, основываясь на восторгах Сен-Лу, мысленно сплавить все самое обольстительное, что заключалось во внешности легкомысленной девицы и горничной баронессы Пютбю, чтобы как можно яснее представить их себе, обеим доступным красавицам не хватало все же того, что могло бы мне открыться толь-

ко при встрече с ними, — их индивидуальных особенностей. В течение нескольких месяцев, когда мне больше нравились девушки, я тщетно пытался вообразить, как сложена и кто такая та, о ком рассказывал мне Сен-Лу, а в течение нескольких месяцев, когда я предпочитал горничную, я пытался вообразить себе горничную баронессы Пютбю. Но зато какое спокойствие сменило во мне долго не утихавшую бурю желаний, вызывавшихся летучими существами, чьи имена часто так и оставались мне неизвестными, существами, с которыми в любом случае трудно было встретиться вновь, еще труднее — познакомиться и которых, пожалуй, нельзя было покорить, какое спокойствие я обрел, когда из всей этой рассеянной, летучей, безымянной красы выделились два предоставлявшихся мне на выбор образца с указателями, как их найти, и когда я уверил себя, что в любое время смогу заполучить их! Я отодвигал срок, когда я испытаю двойное наслаждение, так же как отодвигал срок начала работы, но вследствие уверенности в том, что я смогу испытать это наслаждение в любое время, оно уже становилось почти ненужным — так нам достаточно бывает только иметь под рукой снотворные средства, чтобы заснуть и без

них. Во всем мире мне были желанны только две женщины, и хотя я не в силах был представить себе их лица, но их имена Сен-Лу мне назвал, поручившись за их податливость. Таким образом, давешнее сообщение Сен-Лу задало трудную задачу моему воображению, но зато моей воле оно дало ощутимую передышку, моей воле был предоставлен продолжительный отдых.

«Послушайте, — обратилась ко мне герцогиня, — на балах вы и так бываете, а в чем-нибудь другом я не могу быть вам полезна? Вы не хотите, чтобы я ввела вас в какой-нибудь салон?» Я высказал опасение, что единственный салон, куда мне хотелось бы попасть, она, наверное, считает далеко не блестящим. «Чей это?» — хриплым голосом, угрожающе, почти не разжимая губ, спросила она. «Баронессы Пютбю». Тут она сделала вид, что действительно возмущена. «Ну уж нет, ни в коем случае! Вы что, смеетесь надо мной? Мне чисто случайно известна фамилия этой твари. Это — отребье. Это все равно, что вы попросили бы меня познакомить вас с моей белошвейкой. Да нет, что я? Моя белошвейка — прелесть. Вы, дитя мое, немножко „того“. Но вот о чем я вас просто умоляю: будьте учтивы с теми, с кем я вас познакомила, завозите им карточки,

бывайте у них и не заводите с ними разговора о баронессе Пютбю — они ее и знать-то не знают». Я спросил, не ветрена ли чуть-чуть принцесса д'Орвилье. «О нет, что вы! Вы ошибаетесь, она скорей недотрога. Правда, Базен?» — «Да, насколько я помню, о ней никогда ничего такого не было слышно», — ответил герцог.

— Вы не хотите поехать с нами на костюмированный бал? — обратился он ко мне. — Я дал бы вам венецианский плащ. Я знаю одну особу, которой ваше присутствие на балу доставило бы черт знает какое удовольствие. Об Ориане я не говорю, это само собой разумеется, — нет, я имею в виду принцессу Пармскую. Она вас все время расхваливает, ваше имя у нее на устах. Ваше счастье — ведь она уже не первой молодости, — что ее нравственность не подлежит никакому сомнению. Иначе она наверняка сделала бы вас своим чичисбеем, как говаривали во времена моей юности, верным рыцарем, что ли.

Меня тянуло не на бал, а на свидание с Альбертиной. Поэтому я отказался. Карета остановилась, выездной лакей сказал, чтоб отворили ворота, лошади от нетерпения били копытами до тех пор, пока ворота не распахнулись, а затем экипаж въехал во двор. «Всех благ!» — сказал мне герцог.

«Я иногда жалела, что живу так близко от Мари, — сказала герцогиня, — ее-то я очень люблю, а вот бывать у нее я люблю чуть-чуть меньше. Но я никогда еще так не жалела о том, что мы с ней живем поблизости, как сегодня, потому что из-за этого мне недолго пришлось ехать с вами». — «Довольно болтать, Ориана!» Герцогиня выразила желание, чтобы я хоть на минуточку к ним зашел. И она и герцог расхохотались, когда я сказал, что не могу зайти, так как именно сейчас ко мне должна прийти в гости девушка. «Нашли время, когда принимать гостей!» — заметила герцогиня.

— Ну, милая, идем, идем! — сказал жене герцог Германтский. — Без четверти двенадцать, пора надевать костюмы…

У дверей герцог столкнулся с грозно стоявшими на часах, не побоявшимися спуститься в ночное время со своей вершины, чтобы избавить герцога от неприятностей, двумя дамами с тросточками. «Базен! Мы спешили вас предупредить — боялись, как бы вы не поехали на бал: час назад скончался бедный Аманьен». Герцог растерялся. Он уж было подумал, что его мечта об этом замечательном бале рухнула, раз эти окаянные горянки известили его о кончине д'Осмонда. Но

он тут же овладел собой и сказал родственницам фразу, которой дал понять о своем решении не лишать себя удовольствия и одновременно доказал, что не понимает смысла некоторых слов: «Скончался? Да нет, это преувеличено, это преувеличено!» И, уже не обращая внимания на родственниц, которым предстояло совершить, опираясь на альпенштоки, ночное восхождение, забросал вопросами камердинера:

«Шлем доставили благополучно?» — «Благополучно, ваша светлость». — «А дырочку в нем проделали, чтобы можно было дышать? А то еще, черт побери, задохнешься!» — «Проделана, ваша светлость». — «Проклятье! Какой неудачный вечер! Ориана! Я забыл спросить Бабала, вам ли присланы башмаки с острыми носками». — «Дорогой мой! Костюмер из Комической оперы здесь, он нам скажет. Но я не думаю, чтобы на эти башмаки можно было надеть шпоры». — «Идем к костюмеру, — сказал герцог. — До свиданья, мой дорогой! Я бы с удовольствием позвал вас к нам, чтобы вы посмотрели, как мы будем примерять костюмы, — это вам было бы интересно. Но мы заболтаемся, скоро полночь, а чтобы получить от увеселения полное удовольствие, нужно приехать вовремя».

Я тоже не чаял, как дождаться минуты, когда можно будет распрощаться с герцогом и герцогиней Германтскими. «Федра» кончалась в половине двенадцатого. Мы с Альбертиной должны были сойтись у меня в одно время. Я прошел прямо к Франсуазе: «Мадемуазель Альбертина приехала?» — «Никто не приезжал».

Боже мои! Неужели она не приедет? Я разволновался; теперь, когда я не был уверен в том, что Альбертина приедет, мне особенно хотелось видеть ее.

Франсуаза тоже была раздосадована, но совсем по другой причине. Она только что усадила за стол свою дочь, чтобы накормить ее вкусным ужином. Услышав, что я иду, она сообразила, что не успеет убрать блюда и разложить иголки и нитки, как будто они тут работают, а не ужинают. «Я ей немножко супцу дала, да еще мозговую кость», — сказала Франсуаза, — видимо, она хотела подчеркнуть скудость ужина, а на самом деле ужин был обильный, и поэтому она, вероятно, считала себя преступницей. Даже если я по неосторожности входил в кухню во время завтрака или обеда, Франсуаза делала вид, что все уже кончено, и извиняющимся тоном поясняла:«*Я перекусила*» — или:«*Я подзакусила*». Но улики

были налицо: стол был заставлен блюдами, которые застигнутая врасплох Франсуаза, словно злоумышленник, каковым на самом деле она не являлась, не успела убрать. Она обратилась к дочери: «Ну, иди ложись, ты и так уж наработалась сегодня (ей хотелось, чтобы мы думали, что ее дочка не только ничего нам не стоит и живет впроголодь, но еще и убивается ради нас над работой). Торчишь тут на кухне, только барину мешаешь — он гостей ждет. Иди, иди к себе наверх», — повторила она, точно ей надо было приказать дочери идти спать, хотя дочь, после того как ужин был прерван, оставалась в кухне только для приличия, и, если б я задержался здесь на пять минут, она убралась бы отсюда по доброй воле. Затем, обернувшись ко мне, Франсуаза проговорила на прекрасном народном языке, принимавшем порой легкую окраску ее личных языковых пристрастий: «Поглядите-ка, сударь: она и с лица-то спала — так ее тянет на боковую». Я был счастлив, что избавился от разговора с дочерью Франсуазы.

Я уже говорил, что Франсуаза и ее дочь родились хотя и в соседних, но в разных сельских местностях, отличавшихся одна от другой и почвой, и растительностью, и говором, а главное

— характерными особенностями жителей. Вот почему «мясничиха» и племянница Франсуазы очень плохо понимали друг друга, но зато у них была одна общая черта: если их куда-нибудь посылали, они несколько часов просиживали у родной сестры или у двоюродной, все никак не могли кончить разговор, в конце концов у них вылетало из головы, зачем же их посылали, так что, когда они возвращались и их спрашивали: «Ну так как же, к маркизу де Норпуа можно приехать в четверть седьмого?» — они даже не хлопали себя по лбу и не восклицали: «Ах ты, совсем из головы вон!» — они отвечали: «А я не поняла, что маркиза нужно было об этом спросить, — я думала, ему надо только передать поклон». «Котелок не варил» у них настолько, что они не помнили, о чем им было сказано час тому назад, а с другой стороны, у них никакими силами нельзя было выбить из головы то, что в ней засело после разговора с родной сестрой или с двоюродной. Так, мясничиха от кого-то слышала, что англичане воевали с нами в семидесятом году, тогда же, когда и пруссаки, и, сколько я ни объяснял ей, что это неверно, она каждый месяц повторяла, если приходилось к слову: «Это все оттого, что англичане воевали с нами в семидесятом году,

тогда же, когда и пруссаки». — «Да я же вам сто раз говорил, что вы ошибаетесь!» Дальнейший ход ее рассуждений свидетельствовал, что она осталась непоколебима в своих взглядах на историю: «Пора бы уж и перестать на них злиться. С семидесятого-то года много воды утекло» и т. д. А как-то раз, доказывая необходимость войны с Англией, против чего я восставал, она заявила: «Конечно, всегда лучше, чтоб без войны; по уж если без нее не обойтись, так уж лучше скорей. Слыхали, что сестра сейчас говорила? С тех пор, как англичане воевали с нами в семидесятом году, торговые договоры для нас — сплошное разоренье. А когда мы их разобьем, то во Францию не впустят ни одного англичанина, пока он не заплатит трехсот франков за въезд, как вот мы платим теперь, чтобы поехать в Англию».

Таковы были — если не считать безукоризненной честности и дикого упрямства, какое они выказывали в разговоре, не давая перебивать себя, с каким они двадцать раз начинали одно и то же, если их перебивали, что придавало их речам нерушимое тематическое единство фуги Баха, — таковы были отличительные особенности жителей сельской местности, которых и всего-то было не более пятисот, местности, окаймленной

каштанами, ивами, картофельными и свекловичными полями.

А вот дочь Франсуазы, считавшая себя женщиной современной, чуждавшаяся пережитков старины, говорила на парижском жаргоне и не упускала случая ввернуть каламбур. Если Франсуаза говорила ей, что я был в гостях у принцессы, то она добавляла: «А! Наверно, у принцессы на горошине». Когда речь заходила о нашем привратнике, она считала нужным вставить; «Ваш привратник любит приврать». Это было не очень остроумно. Но особенно неприятно меня покоробило, когда она в связи с опозданием Альбертины сказала мне в утешение: «Не дождаться вам ее до скончания века. Не придет она. Ох уж эти нынешние сударки!»

Приведенные примеры показывают, что она говорила иначе, чем мать; но вот что представляется еще более любопытным: мать говорила не совсем так, как бабушка, уроженка Байо-ле-Пен. Байо-ле-Пен находится в ближайшем соседстве с родиной Франсуазы, и все же говор в этих двух местностях не один и тот же, как и природа. В волнистой, спускающейся к лощине местности, где родилась мать Франсуазы, растут ивы. Между тем очень далеко оттуда есть во Франции сторон-

ка, где говорят почти так же, как в Мезеглизе. Это сделанное мною открытие обозлило меня. Вот как это вышло: однажды мне довелось услышать оживленную беседу Франсуазы с горничной из нашего дома, уроженкой как раз той местности и говорившей на тамошнем наречии. Они почти все понимали друг у друга, я же ничего не понимал, они это знали и все-таки продолжали — находя, должно быть, для себя оправдание в том радостном чувстве, какое испытывают при встрече землячки, хотя и родившиеся в разных концах страны, — говорить в моем присутствии на своем языке, как обычно предпочитают люди, когда не хотят, чтобы их поняли. Эти наглядные уроки географической лингвистики и служаночьего товарищества происходили потом у нас на кухне еженедельно и не доставляли мне ни малейшего удовольствия.

У нас в доме каждый раз, когда отворялись ворота, швейцар нажимал кнопку, чтобы осветить лестницу; к этому времени все жильцы обыкновенно возвращались домой; я поспешил уйти из кухни в переднюю и, усевшись, прильнул к той части стеклянной двери, которую не закрывала узковатая для нее портьера, отчего на этой двери, ведшей в нашу квартиру, темнела вертикальная

полоса — отражение полутьмы, обволакивавшей лестницу. Если бы полоса стала вдруг светло-золотой, это значило бы, что Альбертина внизу и через две минуты будет здесь; никто больше не мог прийти в этот час. И я все сидел, не отрывая глаз от упорно темневшей полосы; я наклонялся всем туловищем, чтобы лучше было видно; но, как я ни вглядывался, темная вертикальная черта, наперекор страстному моему желанию, не возбуждала во мне того пьянящего веселья, какое охватило бы меня, если б на моих глазах, по внезапному и знаменательному волшебству, черта преобразилась в светящийся золотой прут. Я действительно волновался — и из-за кого? Из-за Альбертины, о которой на вечере у Германтов почти забыл думать! Боязнь лишиться простого физического наслаждения, обострявшая во мне нетерпеливое чувство, с каким я, бывало, ждал других девушек, в особенности — Жильберту, если она запаздывала, причиняла мне нестерпимую душевную боль.

Мне ничего иного не оставалось, как уйти к себе в комнату. Вслед за мной сюда вошла Франсуаза. Полагая, что коли я вернулся с вечера, то розу незачем оставлять в петлице, она пришла вынуть ее. Движение Франсуазы, напомнив мне

о том, что Альбертина, пожалуй, не придет, и заставив признаться самому себе, что мне хотелось быть элегантным ради нее, вызвало во мне раздражение, еще усилившееся оттого, что, дернувшись, я смял розу, и оттого, что Франсуаза сказала мне: «Нечего было упрямиться, а теперь вот цветок никуда не годится». Надо заметить, что сейчас самое незначащее ее слово выводило меня из себя. В состоянии ожидания мы очень страдаем оттого, что желанное существо к нам не идет, и присутствие кого-то другого становится для нас невыносимым.

Когда Франсуаза вышла из комнаты, я подумал о том, как жаль, что теперь я ради Альбертины навожу на себя красоту, а прежде, в те вечера, когда я звал ее для новых ласк, она столько раз видела меня небритым, с не подстригавшейся несколько дней бородой! У меня было такое ощущение, что она про меня забыла, что меня ждет одиночество. Чтобы как-то украсить мою комнату на тот случай, если бы Альбертина все-таки пришла, я — в первый раз за несколько лет — положил на стол, около кровати, одну из самых красивых моих вещей: портфельчик с инкрустацией из бирюзы, который Жильберта подарила мне для того, чтобы я в нем держал книжечку

Бергота, и с которым я долго не расставался даже во время сна, кладя его рядом с агатовым шаром. Томительное чувство вызывала во мне не только мысль, что Альбертины все пет как нет, но и сознание, что она находится сейчас «где-то там», в месте, более ей приятном, но мне неизвестном, и вот это сознание, вопреки тому, что я час назад говорил Свану относительно моей неспособности ревновать, могло бы, если б я виделся с моей подружкой чаще, превратиться в мучительную потребность знать, где и с кем она проводит время. Я не решался послать к Альбертине: было слишком поздно, но в надежде, что, быть может, ужиная с подругами в кафе, она вздумает мне позвонить, я переключил телефон из швейцарской к себе, тогда как обычно в ночное время связь со станцией поддерживал только швейцар. Казалось бы, проще и удобнее поставить аппарат в коридорчике, куда выходила комната Франсуазы, но толку от этого не было бы никакого. Успехи цивилизации каждому дают возможность обнаружить ранее не замечавшиеся за ним достоинства или новые пороки, из-за которых он становится еще дороже или, напротив, еще несноснее своим знакомым. Так, из-за открытия Эдисона у Франсуазы открылся еще один недо-

статок, проявлявшийся в том, что она не желала пользоваться телефоном, хотя бы это было удобно, хотя бы это было крайне необходимо. Она всегда находила предлог увильнуть, когда ее хотели научить пользоваться телефоном, так же как иные увиливают от прививки. Вот почему телефон поставили у меня в комнате, а чтобы он не мешал моим родителям, звонок заменили треском вертушки. Из боязни, что я не услышу этот треск, я не шевелился. Я так тихо сидел, что впервые за несколько месяцев тиканье стенных часов касалось моего слуха. Вошла Франсуаза, чтобы поставить что-то на место. Она заговорила со мной, но мне была противна ее однообразно пошлая болтовня, под непрерывный звук которой мои чувства менялись каждую минуту, переливаясь из страха в тревогу, из тревоги — в полное отчаяние. Я поневоле выражал ей в самых неопределенных словах свое удовлетворение и в то же время чувствовал, какой у меня несчастный вид, так что в конце концов мне пришлось сослаться на ревматизм, чтобы объяснить несоответствие между моим напускным безразличием и страдальческим выражением лица; вдобавок я боялся, как бы Франсуаза, хотя говорила она вполголоса (не из-за Альбертины, так как была

уверена, что в столь поздний час она не явится), не заглушила спасительный зов, который больше не повторится. Наконец Франсуаза пошла спать; я выпроводил ее ласково, но решительно, чтобы из-за той возни, какую она могла бы поднять перед тем, как уйти, не пропустить треск телефона. И снова я начал прислушиваться, начал терзаться; когда мы ждем, двойное расстояние от уха, воспринимающего звуки, до сознания, которое сортирует их и анализирует, и от сознания до сердца, которому оно сообщает итог, укорачивается, так что мы даже не ощущаем его длины — нам кажется, что мы слушаем сердцем.

Меня донимали беспрестанные приступы все более настойчивого, но так пока и не исполнявшегося желания услышать призывный звук; когда же я совершил по спирали мучительное восхождение на самый верх одинокой моей тоски, из недр многолюдного ночного Парижа, внезапно приблизившегося ко мне, к моим книжным шкафам, послышался металлический, дивный, точно развевающийся шарф в «Три-

стане»,[124] или игра пастушьей свирели[125] звук телефонной вертушки. Я бросился к аппарату — звонила Альбертина. «Ничего, что я так поздно?..» — «Что вы! — ответил я, сдерживая радость, а радость была вызвана тем, что упоминание о неурочном часе скорей всего означало, что Альбертина придет сейчас, придет так поздно, и извиняется передо мной за это, а не за отказ прийти. — Вы придете?» — равнодушным тоном спросил я. «Пожалуй... нет, если только вам не очень трудно будет без меня». Одной частью моего существа, к которой тянулась и другая, я жил в Альбертине. Она во что бы то ни стало должна была прийти ко мне, но сразу я ей этого не сказал; так как теперь между нами возникла телефонная связь, я решил, что и в последнюю секунду смогу заставить ее прийти ко мне или разрешить примчаться к ней. «Да, я очень близко от своего дома, — сказала она, — и бог знает как далеко от вас. Я сперва невнимательно прочитала вашу

---

[124] Примечания: 124

«Тристан» («Тристан и Изольда») — опера Р. Вагнера, либретто которой было написано самим композитором на основе литературных памятников XIII века. Первое представление состоялось 10 июня 1865 г. в Мюнхене.

[125] Примечания: 125

...игра пастушьей свирели... — В третьем действии «Тристана и Изольды» веселые звуки свирели возвещают раненому рыцарю о прибытии корабля Изольды.

записку. Сейчас я ее перечла и испугалась, что вы все еще меня ждете». Я чувствовал, что она говорит неправду, и теперь от злости мне хотелось заставить ее прийти не столько потому, что я мечтал с ней увидеться, сколько для того, чтобы причинить ей беспокойство. Но меня подмывало сперва отказаться от того, что вскоре должно было быть достигнуто мною. Но где же она? К звукам ее голоса присоединялись другие звуки: гудок мотоциклиста, пение женщины, дальняя игра духового оркестра — и все это слышалось не менее явственно, чем милый голос, словно для того, чтобы доказать мне, что это именно Альбертина, вместе со всем, что сейчас ее окружает, тут со мной, — так ком земли мы уносим вместе с травой. Те же звуки, что долетали до меня, впивались и в слух Альбертины и отвлекали ее: то были жизненные подробности, не имевшие к ней отношения, сами по себе ненужные, но необходимые для того, чтобы подтвердить несомненность чуда, прелестные скупые мазки, воссоздававшие какую-нибудь парижскую улицу, или резкие, жесткие, живописавшие какой-то званый вечер, из-за которого Альбертина не пришла ко мне после «Федры». «То, что я вам сейчас скажу, не поймите как просьбу приехать; в такой поздний

час ваш приезд был бы для меня очень утомителен, я и без того умираю как хочу спать… — сказал я. — И потом, тут какая-то страшная путаница. Смею вас уверить, что в моем письме никаких недомолвок не было. Вы мне ответили, что непременно. Ну так если вы не поняли моего письма, что же вы хотели этим сказать?» — «Я действительно сказала: непременно, вот только не могу вспомнить, что непременно. Но вы сердитесь — это мне неприятно. Я жалею, что пошла на „Федру“. Если б я знала, что из этого выйдет целая история…» — добавила она — так всегда говорят в чем-либо виноватые, но притворяющиеся, будто они убеждены, что их обвиняют в чем-то другом. «„Федра“ тут ни при чем — ведь это я уговорил вас на нее пойти». — «А все-таки вы на меня обиделись; жаль, что сейчас поздно, но завтра или послезавтра я приеду и извинюсь». — «Нет, нет, Альбертина, не надо, я из-за вас потерял вечер, оставьте меня в покое хоть на несколько дней. Я буду свободен не раньше чем через две-три недели. Послушайте: если вам неприятно, что мы с вами расстаемся поссорившись, — и, пожалуй, вы правы, — я предлагаю вам — мы тогда будем по части усталости квиты, — раз уж я вас так долго ждал и раз вы все равно еще не

дома, приехать ко мне сейчас же; я выпью кофе для бодрости». — «А нельзя ли до завтра? Ведь утомительно…» Уловив в этом ее виноватом тоне нежелание ехать ко мне, я почувствовал, что к жажде увидеть вновь лицо с бархатистым отливом, которое уже в Бальбеке подгоняло каждый мой день к тому мгновению, когда на берегу сентябрьского сиреневого моря со мной рядом окажется этот розовый цветок, сейчас ценою отчаянных усилий старался присоединиться совершенно другой оттенок. Мучительную потребность в том, чтобы кто-то был со мной, я испытывал еще в Комбре, когда мне хотелось умереть, если мать передавала через Франсуазу, что не может подняться в мою комнату. Венцом усилий прежнего чувства сочетаться, слиться с другим, новым, сладострастно тянувшимся к разрисованной поверхности, к розовой окраске прибрежного цветка, — венцом этих усилий часто являлось (в химическом смысле) новое тело, существующее всего лишь несколько мгновений. По крайней мере, в тот вечер и еще долго потом оба чувства пребывали разобщенными. Однако, услышав последние слова, которые Альбертина проговорила в телефонную трубку, я начал понимать, что жизнь Альбертины (конечно, не

материально) находится на таком расстоянии от меня, что для того, чтобы залучить ее к себе, мне каждый раз придется производить длительную разведку, мало того: что ее жизнь устроена так же, как полевые укрепления, да не просто как полевые, а — для большей надежности — как те, что впоследствии получили наименование камуфлированных. Альбертина хоть и стояла на более высокой ступени общественной лестницы, но, в сущности, принадлежала вот к какому разряду женщин: вашему посыльному консьержка обещает передать ваше письмо одной особе, как только та вернется домой, а потом вы случайно узнаете, что особа, которую вы встретили на улице и которой потом вы имели неосторожность написать письмо, и есть эта самая консьержка. Она действительно живет — но только в швейцарской — в доме, на который она вам показала рукой (на самом деле это маленький дом свиданий, хозяйкой которого является она). Это жизнь, защищенная несколькими рядами окопов, так что, когда вам захочется увидеть эту женщину или допытаться, кто же она, окажется, что вы забрали слишком вправо или слишком влево, зашли слишком далеко вперед или назад, и так пройдет несколько месяцев, несколько лет, а

толку вы все равно не добьетесь.

Я чувствовал, что ничего не узнаю про Альбертину и что мне никогда не выпутаться из переплетения множества достоверных подробностей и придуманных фактов. И что так будет всегда, до самого конца, если только не засадить ее в тюрьму (по ведь и заключенные совершают побега). В тот вечер эта догадка отзывалась во мне легким волнением, но уже тогда в этом волнении я смутно различал трепет предчувствия долгих страданий.

«Нет, нет, — ответил я, — я ведь вам уже сказал, что освобожусь через три недели, не раньше, и завтра у меня такой же занятой день, как все остальные». — «Ну хорошо… бегу… жаль только, что я у подруги, а она…» (Я уловил в ее голосе надежду на то, что я отвергну ее предложение, которое, следовательно, было сделано нехотя, и решил припереть ее к стенке.) «До вашей подруги мне никакого дела нет, хотите — приезжайте, хотите — не приезжайте, как вам будет угодно, ведь не я просил вас приехать, вы сами предложили». — «Не сердитесь, сейчас возьму фиакр — и через десять минут я у вас».

Итак, из ночной глубины Парижа, откуда уже достиг моей комнаты, определяя радиус действия

далекого от меня существа, голос, который вот сейчас возникнет и появится здесь, после этой благой вести ко мне придет та самая Альбертина, которую я в былое время видел под небом Бальбека, когда официантов, расставлявших приборы в Гранд-отеле, слепил свет заката, когда в распахнутые настежь окна с берега, где все еще оставались последние гуляющие, неразличимые веянья вечернего ветра свободно вливались в громадную столовую, где первыми пришедшие ужинать только еще рассаживались, где в зеркале за стойкой проплывал красный отсвет последнего парохода, отходившего в Рнвбель, и где надолго оставался серый отсвет его дыма. Я уже не задавал себе вопроса, почему Альбертина опоздала, а когда Франсуаза, войдя ко мне, объявила: «Мадемуазель Альбертина пришла», я, не поворачивая головы, выразил наигранное изумление: «Мадемуазель Альбертина? Так поздно?» Но, подняв затем глаза на Франсуазу, как будто мне любопытно было узнать, ответит ли она утвердительно на мой вопрос, заданный притворно искренним тоном, я со смешанным чувством восхищения и ярости обратил внимание на то, что, не уступавшая самой Берма в искусстве наделять даром речи неодушевленные

одежды и черты лица, Франсуаза научила, как нужно себя вести в данных обстоятельствах, и свой корсаж, и свои волосы, из коих самые седые, извлеченные на поверхность в замену метрического свидетельства, облегали ее шею, согнутую под бременем переутомления и покорности. Они были преисполнены к ней сочувствия: ведь ее разбудили глухою ночью — в ее-то годы, — вытащили из парного тепла постели, заставили наспех одеться — долго ли подхватить воспаление легких? Вот почему, боясь, как бы Франсуаза не подумала, что я извиняюсь перед ней за поздний приход Альбертины, я добавил: «Во всяком случае, я ей очень рад, это просто чудесно» — и начал бурно выражать свой восторг. Однако беспримесным этот восторг оставался только до той минуты, когда заговорила Франсуаза. Ни на что не жалуясь, даже делая вид, что она силится сдержать бьющий ее кашель, и лишь зябко кутаясь і в шаль, она принялась пересказывать мне все, о чем она сейчас говорила с Альбертиной, — вплоть до вопроса, как поживает ее тетка. «Я ей так прямо и отрезала: барин, мол, должно, думает, что вы уж не придете: кто же это в такую пору приезжает — ведь на дворе-то скоро утро. Но она, должно, была в таких местах, где уж больно

весело, потому она даже ничего не сказала мне: дескать, ей неприятно, что вы ее долго ждали, — чихать она, как видно, на это хотела. „Лучше поздно, чем никогда!“ — вот что она мне ответила». К этому Франсуаза прибавила, пронзив мне сердце: «Может, она и дорого бы дала, чтоб все было шито-крыто, да…»

Во всем этом для меня не было ничего поразительного. Я уже говорил, что Франсуаза, исполнив поручение, предпочитала давать отчет в том, что сказала она, — свои слова она пересказывала по многу раз и с особым удовольствием, — но не в том, что ответили ей. Если же, в виде исключения, она и передавала нам вкратце ответ наших добрых знакомых, то старалась, чтобы мы, иной раз — в выражении, какое принимало ее лицо, иной раз — в тоне, почувствовали то более или менее обидное для нас, что, как она уверяла, угадывалось в их выражении и тоне. В крайнем случае, она довольствовалась сообщением, что поставщик, к которому мы ее посылали, оскорбил ее, — скорее всего, тут она просто сочиняла, — но придавала она своему рассказу такой оттенок, что хотя оскорбил-то он ее, но поскольку она является нашей представительницей и говорит от нашего имени, то оскорбление, нанесенное

ей, рикошетом задевает и нас. Приходилось разубеждать ее: она — де не так поняла, у нее мания преследования, не могут же торговцы, все до одного, на нее ополчиться. Но переживания торговцев меня мало трогали. Иначе обстояло дело с Альбертиной. Как только Франсуаза повторила мне сказанные Альбертиной в шутку слова: «Лучше поздно, чем никогда!» — моему воображению тотчас представились приятели, в обществе которых Альбертина провела остаток вечера и с которыми ей было, очевидно, веселей, чем со мной. «Смешная она; шляпенка у нее как все равно блин, а сама глазастая — смотреть-то на нее умора, а уж пальтишко — давным-давно в починку просится: все как есть молью трачено. Чудная!» — с язвительным оттенком в голосе добавила Франсуаза: хотя ее впечатления редко совпадали с моими, но ей всегда нетерпелось поделиться ими со мной. Я даже и вида не хотел подать, что улавливаю в ее тоне презрение и насмешку, но, только чтобы не смолчать, возразил Франсуазе, хотя никогда не видел той шляпки, о которой она говорила: «То, что им называете „блином“, на самом деле прелестная шляпка…» — «Да за нее гроша ломаного никто не даст», — прервала меня Франсуаза, на сей раз откровенно

выразив свое презрение. Тут я — ласковым тоном, растягивая слона, ложь, содержавшаяся и моем ответе, воспринималась как выражение не злобы, а самой истины, и вместе с тем не теряя времени, чтобы не заставлять Альбертину ждать, — сказал Франсуазе обидные слова: «Вы чудный человек, — медоточиво заговорил я, — вы милейший человек, у пас уйма достоинств, но какой вы приехали в Париж, такой и остались: вы по-прежнему ничего не смыслите и туалетах и по-прежнему произносите слона курам на смех». Последний упрек был особенно бессмыслен: французские слома, правильным произношением которых мы так гордимся, сами могут «насмешить кур», так как ими «смешили кур» галлы, коверкавшие то латинский, то саксонский язык, а ведь наш язык есть не что иное, как неправильное произношение слон, появившихся и других языках. Свойства живой речи, будущее и прошлое языка — вот что должно было бы привлечь мое внимание в ошибках Франсуазы. «Трачено» вместо «изъедено» — не столь же ли это любопытно, как животные, сохранившиеся с незапамятных времен, вроде кита или жирафа, и показывающие, через какие периоды прошел животный мир?

«И, — прибавил я, раз уж вы за столько лет

ничему не научились, то уж теперь так и не научитесь. И утешение мшу нам сказать, что это не мешает нам быть хорошим человеком, превосходно готовить говядину в желе и много всякого другою. Шляпка, которая вам показалась простенькой, сделана по образцу шляпы герцогини Германтской, а шляпа герцогини стоила пять сот франков. Впрочем, в ближайшее время я хочу подарить мадемуазель Альбертине новую, еще лучше этой». Я знал, что нет ничего горше для Франсуазы, чем когда я трачусь на тех, кого она невзлюбила. Она что-то ответила мне, но я не разобрал, потому что с ней вдруг случился приступ удушья. Когда я потом узнал, что у нее больное сердце, как же мучила меня совесть при мысли, что я никогда не мог отказать себе и бесчеловечном и бесплодном удовольствии с ней препираться! Надо заметить, что Франсуаза не выносила Альбертину — от дружбы с беднячкой Альбертиной я ничего не выигрывал сверх тех преимуществ, какие я имел в глазах Франсуазы. Франсуаза благосклонно улыбалась каждый раз, когда меня приглашала к себе маркиза де Вильпаризи. А что Альбертина никогда не зовет меня в гости — это ее возмущало. Л конце концов я стал врать, будто такие-то и такие-то пещи подарила

мне Альбертина, по Франсуаза ни на волос мне не перила. Особенно не нравилось ей отсутствие основы взаимности в области угощения. Альбертина приходила к нам обедать, если ее звала моя мама, а пас к г-же Бонтан не приглашали (надо сказать, что г-жа Бонтан по полгода не жила и Париже, потому что ее муж, как и и былое время, когда ему становилось невмоготу в министерстве, занимал то одну, то другую «должность» в других городах), и Франсуаза находила, что со стороны моей подружки это неучтиво, на что она и намекала, припоминая комбрейскую прибаутку:

– *Съедим мой каравай.*

— *Отчего же, давай!*

— *Теперь твой, да и квит.*

— *Нет, спасибо, я сыт.*

Я сделал вид, что пишу письмо. «Кому это вы писали?» — спросила, пойдя, Альбертина. «Одной моей близкой приятельнице, Жильберте Сван. Вы ее не знаете?» — «Нет». Я не стал расспрашивать Альбертину, как она провела вечер; я чувствовал, что начну упрекать ее, а время было уже позднее, мы бы не успели помириться окончательно, и у нас не хватило бы времени для поцелуев и ласк. Вот почему мне хотелось прямо с них я начать. Я стал чуть-чуть спокойнее, но,

по правде сказать, у меня не было ощущения, что я счастлив. Чувство утраты компаса, утраты ориентации, характерное для ожидания, не исчезает и после прихода ожидаемого нами человека — оно, это чувство, вытесняет спокойствие, а ведь именно успокаиваясь, мы и представляли себе появление ожидаемого как огромную радость, но из-за чувства утраты нам ее вкусить не дано. Альбертина была со мной; расшатанные мои нервы, по-прежнему взвинченные, все еще ждали ее. «Я хочу крепкого поцелуя, Альбертина». — «Сколько угодно, — ответила она, и в этом ответе сказалась вся ее добрая душа. Сейчас она была необыкновенно хороша собой. — Еще?» — «Вы же знаете, что это для меня огромное наслаждение, огромное!» — «А для меня — еще гораздо большее, — подхватила она. — Ах, какой у вас прелестный портфель!» — «Возьмите его себе, я вам его дарю на память». — «Как это мило с вашей стороны!..» Мы раз навсегда исцелились бы от всего романтического, если бы, думая о той, кого мы любим, постарались быть такими, какими станем, когда разлюбим ее. Портфель, агатовый шар Жильберты — все это прежде было мне дорого, но дорого только моей душе — ведь теперь в моих глазах они представляли собой

самый обыкновенный портфель, самый обыкновенный шар.

Я спросил Альбертину, не хочется ли ей пить. «А вон, кажется, апельсины и вода, — сказала она. — На что же лучше?» Таким образом, вместе с поцелуями Альбертины я насладился той свежестью, которая у принцессы Германтской была для меня отраднее свежести поцелуев. Я пил апельсиновый сок с водой, и мне казалось, что он открывал мне тайну созревания плода, открывал мне свое благотворное действие на иные состояния человеческого организма, принадлежащего к миру, столь непохожему на его мир, не таил своего бессилия оживить человеческий организм, но зато обрызгивал его влагой, которая все-таки могла быть ему полезна, — одним словом, сок плода доверил множество тайн моему чувству, но только не уму.

Когда Альбертина ушла, я вспомнил, что обещал Свану написать Жильберте, и решил, что надо это сделать теперь же. Не испытывая ни малейшего волнения, словно доканчивая скучное школьное сочинение, я надписал на конверте имя Жильберты Сван, которым некогда исчерчивал все свои тетради, чтобы создать себе иллюзию переписки с ней. Ведь если прежде имя Жильбер-

ты писал я сам, то теперь привычка возложила эту обязанность на одного из многочисленных секретарей, которых она взяла себе в помощники. Секретарь мог совершенно спокойно выписывать имя Жильберты — ведь привычка совсем недавно устроила его ко мне, он совсем недавно поступил ко мне на службу, с Жильбертой он был не знаком, он слышал о ней от меня и знал только, что это девушка, в которую я был влюблен, но за этими словами ничего реального для него не стояло.

У меня не было оснований обвинять Жильберту в холодности. Тот, кем я был теперь по отношению к ней, представлял собою «свидетеля», самого подходящего для того, чтобы осознать, кем была для меня она. Портфель, агатовый шар просто-напросто вновь обрели для меня в моих отношениях с Альбертиной то же значение, какое они имели для Жильберты, то, какое они могли бы иметь для каждого человека, который не бросает на них отблеск внутреннего своего огня. Но теперь моя душа была по-иному смятенна, и это новое смятение тоже искажало понятие об истинной силе слов и вещей. И когда Альбертина, еще раз благодаря меня, воскликнула: «Я так люблю бирюзу!» — я ответил ей: «Так пусть же

она у вас не потускнеет!» — вверяя прочности этих камней судьбу нашей дружбы, хотя всякий разговор о будущем был так же бессилен вызвать чувство ко мне у Альбертины, как был он бессилен сохранить чувство, некогда связывавшее меня с Жильбертой.

В те времена наблюдалось явление, заслуживающее упоминания единственно потому, что оно повторяется во все важные исторические эпохи. Когда я писал Жильберте, герцог Германтский, приехав с бала и еще не успев снять шлем, подумал о том, что завтра ему волей-неволей придется надеть траур, и решил на неделю раньше уехать лечиться на воды. Возвратился он через три недели (я забегаю вперед — ведь я только-только дописал письмо Жильберте), и тут друзья герцога, знавшие, что он, в начале дела Дрейфуса проявлявший к нему полнейшее равнодушие, стал потом злейшим антидрейфусаром, остолбенели, услышав от него (можно было подумать, что действие вод распространяется не только на мочевой пузырь) такие слова: «Ну что ж, дело будет пересмотрено, и его оправдают; как же можно осудить человека, когда нет никаких улик? Это надо быть таким слабоумным, как Фробервиль. Офицер готовит для французов побоище, попро-

сту говоря — войну! Вот времечко!» Дело в том, что на водах герцог Германтский познакомился с тремя прелестными дамами (с итальянской принцессой и двумя ее золовками). Услышав их суждения о книгах, которые они читали, о пьесе, которая ставилась в Казино, герцог живо смекнул, что эти женщины умственно развитее его, что, по его собственному выражению, ему с ними не тягаться. Вот почему его так обрадовало приглашение принцессы играть с ними в бридж. Велико же было его изумление, когда он, едва успев войти к принцессе, в пылу своего нетерпимого антидрейфусарства брякнул: «Ведь с пересмотром-то дела пресловутого Дрейфуса все затихло», а принцесса и ее золовки возразили ему: «Напротив, это вопрос ближайшего будущего. Нельзя же держать в каторжной тюрьме ни в чем не повинного человека». — «Да что вы?» — растерянно пролепетал герцог, как будто он узнал, что в этом доме в насмешку над человеком, которого он привык считать умным, дали ему унизительное прозвище. Но несколько дней спустя, подобно тому как мы только по малодушию и из обезьянства, не понимая, в чем тут соль, орем:

«Эй, Жожот![126]» — великому артисту, которого так назвали при нас в одном доме, герцог хотя и неуверенно, а все-таки мямлил: «Ну конечно, раз там ничего такого нет…» Три прелестные дамы находили, что он недостаточно решительно порывает со своими прежними взглядами, и были с ним резковаты: «Да ни один умный человек никогда и не думал, что там что-то есть». Всякий раз, когда против Дрейфуса выдвигалось что-нибудь «потрясающее» и герцог, надеясь переубедить трех прелестных дам, сообщал им новость, они весело смеялись и без труда, с необычайной диалектической тонкостью доказывали ему, что его довод никуда не годится, что он просто смехотворен. Герцог вернулся в Париж рьяным дрейфусаром. И конечно, мы не станем отрицать, что в данном случае глашатаями истины явились три прелестные дамы. Но все же заметим кстати, что обычно каждые десять лет происходит следующее: даже если человек в чем-то глубоко убежден, с ним заводят знакомство умные муж и жена или хотя бы одна прелестная дама — и под их влиянием в каких-нибудь несколько месяцев

[126] Примечания: 126

«Эй, Жожот» — такое прозвище получил на рубеже веков французский художник и декоратор Жорж Кларен (1843–1919), выступавший за пересмотр дела Дрейфуса.

его взгляды круто меняются. Да что там: многие страны ведут себя так же, как этот убежденный человек, многие страны дышат ненавистью к какому-нибудь народу, но проходит полгода — и они преисполняются к нему совсем других чувств и рвут отношения с бывшими союзниками.

Одно время я не виделся с Альбертиной, но продолжал бывать не у герцогини Германтской, уже ничего не говорившей моему воображению, а у других волшебниц, в их жилищах, которые были неотделимы от них так же, как перламутровая или эмалевая створка — от моллюска, смастерившего ее и укрывшегося в ней, или зубчатая башенка — от раковины. Я не сумел бы классифицировать этих дам, так как трудность вопроса состоит не только в бесцельности и невозможности его решения, но и в бесцельности и в невозможности самой его постановки. Прежде чем поближе познакомиться с дамой, надлежало поближе познакомиться с ее волшебным замком. Например, одна из них принимала в летние месяцы только после завтрака; по дороге к ней приходилось поднимать верх экипажа — так пекло солнце, и воспоминание об этом жарком солнце неведомо для меня входило потом в состав общего впечатления. Я думал, что еду всего лишь

на Кур-ла-Рен, но, еще не добравшись до сборища, над которым человек трезвый, пожалуй, посмеялся бы, я, как путешественник по Италии, бывал ослеплен, я испытывал такое наслаждение, от которого в моей памяти уже нельзя было бы отделить особняк. Вдобавок — из-за жары в это время года и в этот час — дама наглухо закрывала ставни в больших прямоугольных гостиных на нижнем этаже, где она принимала. Сперва я с трудом узнавал хозяйку дома и ее гостей, даже герцогиню Германтскую, хриплым голосом предлагавшую мне сесть рядом с ней в кресло Бове,[127] на котором было изображено похищение Европы.[128] Затем мой взгляд привлекали большие гобелены XVIII века с изображением кораблей, мачты которых были украшены штокрозами,[129] и, пока я сидел под этими кораблями, мне все чудилось, будто я не во дворце на берегу Сены,

---

[127] Примечания: 127

Бове — город во Франции, знаменитый центр производства мебели и гобеленов.

[128] Примечания: 128

…похищение Европы. — Сюжет известной картины Франсуа Буше (1703–1770) «Похищение Европы» (1747), широко использовавшийся при изготовлении гобеленов на мануфактуре в Бове.

[129] Примечания: 129

Штокроза (алтея, просвирняк) — род травянистых растений с крупными белыми, розовыми или красными цветками на высоком прямом стебле.

а во дворце Нептуна на берегу океана, а герцогиня Германтская превращалась в богиню вод. Называть салопы, непохожие на этот, я мог бы до бесконечности. Приведенный пример достаточно ясно показывает, что составною частью моих суждений о свете являлись впечатления чисто поэтические, которые, впрочем, я никогда не принимал в расчет при подведении итога, так что, когда я подсчитывал достоинства какого-нибудь салона, сумма всякий раз оказывалась неверной. Конечно, я ошибался и по другим причинам, но до отъезда в Бальбек (который я, на мое несчастье, посетил во второй — и уже в последний — раз) у меня нет времени для писания картин светского общества — им будет отведено место гораздо дальше. Ограничусь вот чем: к первой мнимой причине письма Жильберте (мой довольно-таки легкомысленный образ жизни, на основании которого можно было заключить, что я люблю свет) и возвращения к Сванам, на которое оно как будто бы указывало, Одетта могла бы прибавить другую, не менее ложную. Разные обличья, в которых свет открывается одному и тому же лицу, я представлял себе до сих пор, исходя из предположения, что свет не меняется, что какая-нибудь дама, которая ни с кем не водила знакомства,

вдруг стала бывать у всех или что другую даму, главенствовавшую в обществе, вдруг все разом покинули; люди склонны рассматривать такие взлеты и падения как частные случаи, вроде тех, из-за которых, вследствие биржевых спекуляций, в том же самом кругу один — смотришь — разорился в пух, а другой нечаянно разбогател. Но дело обстоит сложнее. В известной мере происшествия в свете — явления гораздо более низкого порядка, чем течения в мире искусств, чем правительственные кризисы, чем увлечения то театром идей, то импрессионистической живописью, то сложной немецкой музыкой, то простой музыкой русской, то социальными вопросами, идеями справедливости, реакционной религиозностью, чем взрывы патриотических чувств, — все-таки суть не что иное, как их далекое отражение, изломанное, неопределенное, тусклое, изменчивое. Следовательно, и салоны нельзя показывать в состоянии неподвижности — пока что оно, это состояние, не мешало нам при обрисовке характеров, но теперь и характеры должны быть как бы включены в ход мнимой истории. В погоне за новизной светские люди, более или менее искренне желающие не отстать от развития общественной мысли, ходят туда, где

им удобней за ним следить, обычно оказывают предпочтение той хозяйке дома, о которой до сих пор ничего не было слышно, но которая вдруг стала подавать надежды, ибо кто-то открыл у нее глубокий ум — надежды, только-только распустившиеся, между тем как надежды на женщин, с давних пор царивших в свете, увяли, засохли: эти женщины ничего не говорят воображению посетителей салонов, так как посетители уже изучили их сильные и слабые стороны. И так каждая эпоха находит себе воплощение в новых женщинах, в новой группе женщин, тесно связанных с новым веянием времени, женщин, словно только сейчас начавших блистать своими туалетами, будто это некое неведомое племя, порожденное последним потопом, племя неотразимых красавиц, которых выдвигает вперед каждый новый Консулат,[130] каждая новая Директория.[131] Однако многие из этих новых хозяек дома обнаруживают разительное сходство с государственным деятелем,

[130] Примечания: 130

Консулат — система государственного правления в Древнем Риме и во Франции (1799–1804), при которой консулы, то есть высшие должностные лица, облекаются всей полнотой исполнительной власти (во Франции первым консулом был Наполеон Бонапарт).

[131] Примечания: 131

Директория — коллегиальный орган исполнительной власти во Франции (1795–1799), учрежденный после Террора и ниспровергнутый Бонапартом.

который наконец-то стал министром, но который до этого на протяжении сорока лет стучался во все двери, не отворявшиеся перед ним, — это женщины, которые не были известны в обществе, но которые уже очень давно начали устраивать приемы — пока, в силу необходимости, «только для самых близких». Конечно, раз на раз не приходится. Когда, в пору триумфов русского балета,[132] появилась открывшая — одного за другим — Бакста,[133] Нижинского,[134] Бенуа,[135] и гениального Стравинского[136] княгиня Юрбелетьева[137] юная крестная мать всех этих новых великих людей, носившая на голове громадную колыхавшуюся эгретку, о какой парижанки прежде не имели понятия, но при виде которой всем захотелось приобрести точно такую же,

---

[132] Примечания: 132

…триумфов русского балета — премьера «Русских балетов», ежегодных выступлений русских артистов, организованных С. П. Дягилевым (1872–1929), состоялась в Париже 18 мая 1909 г. В июне 1910 г. Пруст присутствовал на премьере «Шехеразады» (на музыку Н. А. Римского — Корсакова), в мае 1911 г. он присутствовал на генеральной репетиции спектакля «Мученичество святого Себастьяна» (по пьесе Габриеле д'Аннунцио, музыка Клода Дебюсси, автор костюмов и декораций Л. Бакст) и с этого времени становится горячим поклонником русского балета.

[133] Примечания: 133

Бакст, Лев Самойлович (1866–1924) — русский художник, получивший известность во Франции благодаря своему сотрудничеству с труппой С. П. Дягилева в качестве автора костюмов и декораций.

[134] Примечания: 134

Нижинский, Вацлав Фомич (1889–1950) — ведущий танцовщик «Русских балетов», творчество которого необычайно волновало Пруста.

[135] Примечания: 135

Бенуа, Александр Николаевич (1870–1960) — русский художник и искусствовед, автор декораций для ряда спектаклей труппы С. П. Дягилева.

[136] Примечания: 136

Стравинский, Игорь Федорович (1882–1971) — русский композитор, тесно сотрудничавший в начале столетия с С. П. Дягилевым, автор музыки к балетам «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», которые в 1913 г. произвели настоящий фурор в Париже.

[137] Примечания: 137

Княгиня Юрбелетьева — вымышленный персонаж, моделью для которого могла быть польско-французская светская львица Мария-София Годебска (1872–1950), прославившаяся своими любовными связями, необычайно выгодными браками и покровительством изящным искусствам. В ее квартире на набережной Вольтера бывали И. Стравинский, М. Равель, С. Дягилев и др.

можно было подумать, что это чудесное создание привезли вместе с бесчисленным множеством вещей, как самое драгоценное свое сокровище, русские танцовщики; но когда рядом с ней в литерной ложе на всех спектаклях «русских» мы увидим госпожу Вердюрен, эту настоящую волшебницу, которую аристократия раньше не знала, то светским людям ни с того ни с сего взбредет в голову, будто г-жа Вердюрен только что приехала с труппой Дягилева, мы растолкуем, что эта дама существует с давних дней, что она многократно перевоплощалась и что вот это ее перевоплощение отличается от прежних лишь тем, что она впервые достигла успеха, на сей раз прочного, все быстрей и быстрей растущего успеха, которого долго и тщетно ждала Покровительница. В новизне же, которую олицетворяла собой г-жа Сван, собирательное начало отсутствовало. Ее салон выкристаллизовался вокруг умирающего, вокруг человека, для которого как раз в ту пору, когда он уже начал исписываться, неизвестность с почти молниеносной быстротой сменилась громкой славой. Берготом зачитывались. В течение целого дня его выставляла у себя на обозрение г-жа Сван и то дело шептала кому-нибудь из влиятельных лиц: «Я с ним поговорю,

он напишет для вас статью». И правда: Бергот был еще в состоянии написать статью и даже одноактную пьеску для г-жи Сван. Теперь он был ближе к смерти, а чувствовал себя чуть-чуть лучше, чем когда приезжал справляться о здоровье моей бабушки. Дело в том, что острые боли вынудили его придерживаться определенного режима. Болезнь — это врач, которого мы слушаемся, как никого другого; доброте, знанию мы только и умеем, что обещать; страданию мы повинуемся.

Конечно, в кланчике Вердюренов было теперь интереснее, чем в слегка националистическом, в еще большей мере литературном и прежде всего берготистском салоне г-жи Сван. Кланчик представлял собой один из действующих центров, вызванных к жизни затянувшимся политическим кризисом, в конце концов достигшим своей высшей точки — дрейфусарства. Но большинство светских людей было настроено против пересмотра, так что дрейфусарский салон казался чем-то немыслимым, как в свое время мог бы показаться чем-то немыслимым салон коммунаров. Правда, принцесса Капрарола, чье знакомство с г-жой Вердюрен состоялось по случаю большой выставки, которую устраивала принцесса, долго просидела у нее в гостях — она все надеялась пе-

реманить интересных людей из кланчика в свой салон, — и во время этого своего визита принцесса (игравшая роль герцогини Германтской в миниатюре) высказывала совершенно самостоятельные мнения и называла идиотами людей своего круга, что г-жа Вердюрен восприняла как величайшую смелость. Однако немного спустя у принцессы не хватило смелости на гонках в Бальбеке под обстрелом взглядов националистически настроенных дам поклониться г-же Вердюрен. А г-жу Сван антидрейфусары одобряли за «благонамеренность» и, как жене еврея, ставили ей это в двойную заслугу. Те же, кто никогда у нее не бывал, воображали, будто она принимает у себя только никому не известных иудеев да разве еще учеников Бергота. Вот так-то и ставят женщин, и даже сортом повыше, чем г-жа Сван, на низшую ступень общественной лестницы — иногда за происхождение, иногда из-за их нелюбви к званым обедам и вечерам, из-за того, что их там не видно, — значит, мол, их никуда не зовут, — иногда из-за того, что они говорят не о своих светских связях, а исключительно о литературе и об искусстве, иногда из-за того, что люди бывают у них тайком, или же из-за того, что сами эти женщины, чтобы не совершить бестактности

по отношению к своим гостям, никому не рассказывают, что они у них были, — словом, причин много, а в результате о какой-нибудь женщине в некоторых кругах упорно держится слух, что ее нигде не принимают. Именно так обстояло дело с Одеттой. Принцессе д'Эпинуа хотелось, чтобы Одетта что-нибудь пожертвовала в пользу общества «Франция»,[138] и с этой целью она поехала к ней — так же, как поехала бы в галантерейный магазин, — уверенная, что встретит у нее даже не презираемых, а просто неизвестных людей, и замерла, когда перед ней отворилась дверь не в ту гостиную, какую она нарисовала в своем воображении, а в некую волшебную комнату, где — словно глазам ее представилось феерическое превращение — она узнала в ослепительных статистках, полулежавших на диванах, сидевших в креслах, называвших хозяйку дома просто по имени, принцесс и герцогинь, которых ей, принцессе д'Эпинуа, с большим трудом удавалось заманить к себе и которых, исполняя обязанности

[138] Примечания: 138

Общество «Франция» — собственно «Лига французских патриотов». Политическая организация националистического толка, основанная в декабре 1898 г. рядом французских литераторов антидрейфусаров (Морис Баррес, Фердинанд Брюнетьер, Жюль Леметр, Франсуа Коппе), к которым вскоре присоединились Жюль Берн, Пьер Луи, Фредерик Мистраль. Лига просуществовала четыре года, объединив в своих рядах около 40 000 членов.

хлебодаров и виночерпиев, награждаемые благосклонным взором Одетты, угощали оранжадом и печеньями маркиз дю Ло, граф Луи де Тюрен, принц Боргезе, герцог д'Эстре.[139] Принцесса д'Эпинуа, сама того не сознавая, рассматривала светскость как одно из внутренних человеческих качеств — вот почему она была вынуждена развоплотить г-жу Сван и перевоплотить ее в элегантную даму. Так незнание действительной жизни, какую ведут женщины, не выставляющие ее напоказ в газетах, набрасывает на некоторые обстоятельства (одновременно способствуя разнообразию салонов) покров таинственности. У Одетты же все началось с того, что иные из мужчин, принадлежавших к высшей знати и мечтавших познакомиться с Берготом, стали завсегдатаями ее ужинов в тесном кругу. У Одетты хватило благоприобретенного такта, чтобы не хвастаться этим, а они с удовлетворением отмечали, что она, видимо, хранит традиции «ядрышка» и после раскола, о чем говорили заранее накрытые приборы и т. п. На интересные премьеры она возила их вместе с Берготом, не задумываясь над тем, что это его доконает. Они рассказали о ней

[139] Примечания: 139

Маркиз дю Ло, граф Луи де Тюрен, принц Боргезе, герцог д'Эстре — виднейшие французские аристократы рубежа веков.

кое-кому из женщин своего круга, которых мог бы привлечь этот новый для них мир. Женщины решили, что Одетта, друг Бергота, наверное, так или иначе помогает ему в работе; они считали, что она в тысячу раз умнее самых замечательных женщин Сен-Жерменского предместья, — считали, исходя из тех же соображений, из каких они исходили в политике, возлагая все свои надежды на таких твердокаменных республиканцев, как Думер,[140] и Дешанель[141] и утверждая, что Франция очутилась бы на краю гибели, если б ее судьба была в руках монархистов, которых они все-таки приглашали к себе на обед, — разных там Шаретов,[142] Дудовилей[143] и пр. Хотя положение Одетты изменилось к лучшему, она продолжала держать себя скромно, благодаря че-

[140] Примечания: 140

Думер, Поль (1857–1932) — французский государственный деятель, министр финансов (1895–1896), генерал-губернатор Индокитая (1896–1902), президент Республики (1931–1932).

[141] Примечания: 141

Дешанель, Поль (1855–1902) — французский государственный деятель, председатель Палаты депутатов (1898–1902; 1912–1920). Избранный в феврале 1920 г. президентом Республики, в сентябре того же года ушел в отставку по состоянию здоровья.

[142] Примечания: 142

Шарет, де Ла Контри Франсуа Атаназ (1763–1796) — французский аристократ, ярый монархист, руководитель восстания в Вандее (1793).

[143] Примечания: 143

Дудовиль, Амбруаз Поликарп де Ларошфуко, герцог (1765–1841) — фран-

цузский государственный деятель, ярый монархист. Все отпрыски рода Дудовилей отличались монархическими взглядами.

му это улучшение было надежнее и шло быстрее, и прилагала усилия, чтобы оно оставалось тайной от публики, судящей о процветании или об упадке салона по хронике в «Голуа», так что, когда на генеральной репетиции одной из пьес Бергота, устроенной в одной из самых восхитительных зал в пользу какого-то благотворительного общества, в центральной, авторской ложе сели рядом с г-жой Сван виконтесса де Марсант и та, которая, приняв в расчет, что герцогиня Германтская (пресыщенная почестями, уставшая от борьбы за первенство) все заметнее отходит на второй план, метила в «львицы», в законодательницы вкусов нового времени, — сама графиня Моле, то это произвело фурор. «Мы и в мыслях не держали, что она пошла в гору, — говорили об Одетте, когда к ней в ложу вошла графиня Моле, — а уж она взобралась на самый верх».

Таким образом, г-жа Сван вполне могла прийти к выводу, что в попытке снова сблизиться с ее дочерью мною руководит снобизм.

Достоименитое соседство не мешало Одетте с напряженным вниманием смотреть спектакль, как будто она только ради пьесы Бергота сюда и приехала, — точно такую же добросовестность проявляла она когда-то, в гигиенических целях и

для моциона гуляя в Булонском лесу. Мужчины, которые раньше не очень-то вились вокруг нее, тут, расталкивая всех, подходили к балюстраде, чтобы прильнуть к ее руке и благодаря этому приобщиться к ее блестящему окружению. С улыбкой, в которой любезность преобладала над насмешливостью, она терпеливо отвечала на их вопросы и держалась при этом с такой уверенностью, какой трудно было бы от нее ожидать, и, пожалуй, уверенность эта была не показная, потому что теперь, хоть и с запозданием, для всех стали явными ее связи, для нее давно уже ставшие чем-то привычным, по до времени скрывавшиеся ею из скромности. За этими тремя дамами, приковывая к себе все взгляды, сидел Бергот, а в одном ряду с ним принц Агригентский, граф Луи де Тюрен и граф де Бреоте. И легко можно понять, что для этих людей, принятых всюду и если все-таки стремившихся подняться еще выше, то только ради чего-то совсем уж из ряда вон выходящего, возможность показать, чего они стоят, которую, как они думали, предоставляла им, приближая их к себе, хозяйка дома, женщина, по мнению многих, очень умная, у которой они рассчитывали встретить всех модных драматургов и романистов, — эта возможность заключала

в себе нечто более притягательное и животрепещущее, чем вечера у принцессы Германтской, в течение стольких лет устраивавшиеся без всякой программы и каких-нибудь новинок, более или менее похожие на тот, что мы так долго описывали. В высшем свете, свете Германтов, интерес к которому ослабевал, новые явления умственной жизни не воплощались в тех развлечениях, которые им были нужны, как они воплощались в пустячках, какие Бергот сочинял для г-жи Сван, вроде тех устраивавшихся по всей форме заседаний ревнителей общественного блага (впрочем, трудно себе представить, чтобы свет хоть в какой-то мере мог заинтересоваться делом Дрейфуса), на которые к г-же Вердюрен съезжались Пикар, Клемансо,[144] Золя, Рейнак.[145] и Лабори[146]

---

[144] Примечания: 144

Клемансо, Жорж (1841–1920) — французский политический деятель, депутат Национального собрания (1870–1893), активный сторонник пересмотра дела Дрейфуса.

[145] Примечания: 145

Рейнак, Жозеф (1856–1921) — французский политический деятель, адвокат, депутат законодательного собрания, один из наиболее настойчивых сторонников пересмотра дела Дрейфуса, автор семитомной «Истории дела Дрейфуса» (1901–1911). Пруст был с ним лично знаком и состоял в переписке.

[146] Примечания: 146

Лабори, Фернан (1860–1917) — один из самых блестящих адвокатов своего времени, выступавший на самых знаменитых процессах, в частности по делам Дрейфуса, Пикара и Золя.

Жильберта тоже упрочила положение матери, так как дядя Свана недавно оставил ей по завещанию около восьмидесяти миллионов, и благодаря этому Сен-Жерменское предместье стало держать Жильберту на примете. Уязвимость Одетты заключалась как будто в дрейфусарских взглядах Свана, хотя он и угасал, однако и дрейфусарство мужа не вредило ей, более того: было для нее выгодным. Про мужа и жену Сван говорили так: «Он впал в детство, он идиот, никто на него и внимания-то не обращает, считаются только с его женой, а она обворожительна». Таким образом, даже дрейфусарство Свана шло на пользу Одетте. Если бы ее на первых порах никто не сдерживал, то она, чего доброго, стала бы заискивать перед шикарными дамами, и это погубило бы ее. Но в те вечера, когда она таскала Свана по ужинам в Сен-Жермепское предместье, Сван, мрачно сидевший в углу, не считал нужным церемониться, и если замечал, что его супруга собирается представиться какой-нибудь националистически настроенной даме, то говорил во всеуслышание: «Да вы с ума сошли, Одетта! Сидите на месте, прошу вас. Представляться антисемитам — это пошлость. Я вам запрещаю». Светские люди, к которым все подлизываются, не привыкли к такому

высокомерию и к такой невоспитанности. До Свана им не попадался человек, который считал бы себя «выше» их. Они пересказывали друг другу грубости Свана, а на Одетту дождем сыпались визитные карточки с загнутыми углами. В гостях у виконтессы д'Арпажон она вызывала всеобщее сочувственное и острое любопытство. «Вы ничего не имеете против, что я вам ее представила? — спрашивала виконтесса д'Арпажон. — Она очень мила. Меня с ней познакомила Мари де Марсант». — «Да нет, что вы! Сразу видно, что эта дама на редкость умна, и потом, она просто обворожительна. Напротив, мне давно хотелось с ней встретиться; скажите мне, пожалуйста, ее адрес». Г-же Сван виконтесса д'Арпажои говорила, что она очень веселилась у нее третьего дня и что посидеть у нее она была рада вдвойне: это был для нее предлог не поехать к пригласившей ее маркизе де Сент-Эверт. И она говорила сущую правду: предпочесть маркизе г-жу Сван значило показать свою интеллигентность — это было равносильно отказу от поездки на чашку чая ради поездки в концерт. Однако если к виконтессе д'Арпажон в одно время с Одеттой приезжала маркиза де Сент-Эверт, то виконтесса, знавшая, что маркиза отличается крайним снобизмом, в

глубине души относившаяся к ней с презрением и все-таки не отказывавшая себе в удовольствии бывать на ее приемах, не знакомила с ней Одетту, чтобы для маркизы де Сент-Эверт так и осталось тайной, кто эта дама. Маркиза, вообразив, что это какая-нибудь принцесса, видимо, очень редко выезжавшая в свет, раз она ее до сих пор не видела, нарочно засиживалась у виконтессы, отвечала Одетте на ее вопросы, хотя и не прямо, но виконтесса д'Арпажон была непреклонна. А после того, как маркиза де Сент-Эверт, так и не добившись своего, отправлялась восвояси, хозяйка дома говорила Одетте: «Я вас не познакомила, потому что у нее не очень любят бывать, а она наседает так, что вам бы от нее не отвязаться». — «Не беда!» — отвечала Одетта, и в ее голосе звучало сожаление. Но она проникалась убеждением, что у маркизы де Сент-Эверт правда не любят бывать, — и в известной мере это соответствовало действительности, — из чего она делала вывод, что занимает более высокое положение, чем маркиза де Сент-Эверт, хотя на самом деле положение у маркизы было великолепное, а у г-жи Сван — пока еще никакого.

Она этого не понимала; все приятельницы герцогини Германтской были дружны с виконтессой

д'Арпажон, но, когда виконтесса звала к себе г-жу Сван, Одетта неуверенным топом говорила своим знакомым: «Я поеду к виконтессе д'Арпажон, но ведь вы же станете упрекать меня в отсталости; мне будет неприятно, если это дойдет до герцогини Германтской» (с которой Одетта, кстати сказать, была не знакома). Мужчины особенно требовательные, сталкиваясь с фактом, что у г-жи Сван мало знакомств в высшем свете, успокаивали себя тем, что она, должно быть, женщина особенная, по всей вероятности — выдающаяся музыкантша, и что познакомиться с ней — это значит получить высшее светское отличие, вроде того, какое было бы у герцога, имей он степень доктора наук. Женщин пустых влекло к Одетте совсем другое: проведав, что она бывает на концертах Колона,[147] и называет себя вагнерианкой, они делали отсюда вывод, что она, должно быть, «озорница», и загорались желанием с ней познакомиться. Однако, более или менее ясно сознавая непрочность своего положения, они боялись скомпрометировать себя в глазах общества

[147] Примечания: 147

Колон, Эдуард (1838–1910) — французский музыкант, дирижер, основатель так называемого «Национального концерта» (1871), преобразованного впоследствии в «Ассоциацию концертов Колона», ставившую перед собой задачу пропаганды французской музыки.

близостью с Одеттой, и если встречались с г-жой Сван в благотворительном концерте, то отворачивались: они считали верхом неприличия на виду у г-жи Рошшуар поздороваться с женщиной, которой ничего не стоит съездить в Байрёйт[148] а ведь это уж ни на что не похоже!

Каждый человек, приехав к кому-нибудь в гости, становится другим; не говоря уже о сказочных превращениях у волшебниц, но и в салоне г-жи Сван граф де Бресте выигрывал от отсутствия своего обычного окружения и от благодушия, разливавшегося по его лицу при одной мысли, что он находится здесь, — наверное, с таким выражением он, отдумав ехать на званый вечер, запирался бы у себя дома и, оседлав нос очками, принимался за чтение «Ревю де Де Монд», — благодаря таинственному обряду, который он как бы совершат, приезжая к Одетте, даже граф де Бреоте словно преображался. Я дорого дал бы за то, чтобы увидеть, какая перемена происходила бы с герцогиней Монморанси Люксембургской в этой новой для нее среде. Но она принадлежала к числу тех, кому Одетту ни за что бы не представили. Я очень

[148] Примечания: 148

Байрёйт — город в Баварии, где Людвиг II Баварский (1845–1886) построил театр для представлений опер Вагнера. Первый байрёйтский фестиваль проходил в 1876 г.

удивился, когда услышал от герцогини де Монморанси, относившейся к Ориане гораздо лучше, чем Ориана к ней, такие слова: «Она знакома с умными людьми, все ее любят, я думаю, что, если б у нее было немножко больше настойчивости, ей в конце концов удалось бы создать у себя салон. Впрочем, она никогда этого не добивалась, и она права: она счастлива и без салона, все к ней так и льнут». Если у герцогини Германтской пет салона, тогда что же такое «салон»?.. Однако в еще большее изумление, чем то, в какое привела меня герцогиня де Монморанси, я привел герцогиню Германтскую, объявив ей, что очень люблю бывать у герцогини де Монморанси. Ориана называла ее старой кретинкой. «Я езжу к ней по обязанности: она моя тетка, но вы!.. Она не умеет завлечь к себе милых людей». Герцогиня Германтская не понимала, что к «милым людям» я равнодушен; когда она говорила: «Салон Арпажон», воображение рисовало мне желтую бабочку; когда же она говорила: «Салон Сван» (зимой г-жа Сван принимала у себя от шести до семи), то — бабочку черную с заснеженными крыльями. Хотя салон г-жи Сван она даже и за салон не считала и никогда не переступила бы его порога, однако мне она милостиво разрешила по-

сещать его — из-за «умных людей». Но герцогиня Люксембургская!.. Если бы я уже «создал» нечто такое, о чем шли бы разговоры, она подумала бы, что с талантом может совмещаться некоторая доля снобизма. А я разочаровал ее окончательно: я признался ей, что езжу к герцогине де Монморанси не для того, чтобы (как она предполагала) что-то «записывать» и «набрасывать». Впрочем, герцогиня Германтская допускала ошибку не более грубую, чем светские романисты, которые, глядя на настоящего или мнимого сноба со стороны, подвергают его поступки беспощадному анализу, не заглядывая к нему внутрь, когда в нем расцветает настоящая весна общественных устремлений. Постаравшись осознать, почему мне доставляют такое большое удовольствие поездки к герцогине де Монморанси, я тоже испытал разочарование. Жила она в Сен-Жерменском предместье; жилище ее состояло из нескольких домиков, отделенных садиками. Статуэтка под аркой — будто бы работы Фальконе[149] — изображала родник, из которого действительно все время текла водичка. Сидевшая чуть дальше кон-

[149] Примечания: 149

Фальконе, Этьен Морис (1716–1791) — французский скульптор. Здесь, возможно, имеется в виду его статуэтка «Купальщица» (1757), хранящаяся в Лувре.

сьержка, у которой глаза всегда были красные — то ли от горя, то ли от неврастении, то ли от мигрени, то ли от насморка, — не отвечала ни на один ваш вопрос, делала неопределенное движение, означавшее, что герцогиня дома, а в это время с ее ресниц в сосуд с незабудками падало несколько капелек. Мне было приятно смотреть на статуэтку, потому что она напоминала мне маленького гипсового садовника в одном из комбрейских садов, но неизмеримо отраднее мне было смотреть на большую лестницу, сырую и гулкую, рождавшую множество отголосков, подобно лестницам в старых банях, на прихожую, где стояли вазы, в которых было полно цинерарий — синих на синем, а главная прелесть все-таки была для меня в звоне колокольчика, точь-в-точь таком же, как звон колокольчика в комнате Евлалии. Этот звон приводил меня в неописуемый восторг, но говорить о своих впечатлениях герцогине де Монморанси я считал неучтивым, и, таким образом, она видела, что я все время чем-то восхищен, по чем именно — об этом она не догадывалась.

Перебои чувства[150]

Во втором моем приезде в Бальбек не было ничего похожего на первый. Сам директор отеля собственной персоной встретил меня на Ужином мосту и залепетал, как он дорожит знатными постояльцами, чем вызвал во мне опасение, что принимает меня за важную особу, но потом я догадался, что в грамматике он не силен и поэтому слово «знатный» означает для него просто-напросто человека, которого он знает, то есть постоянного своего гостя. Вообще, учась говорить на языках для него новых, он разучивался говорить на тех, которые знал раньше. Он объявил, что поместит меня на самом верху. «Надеюсь, — сказал он, — вы не сочтете это за негостеприимность; я неохотно отвожу вам не лучший номер, но я боюсь, как бы не было шумно, а там над вами никого, и у вас не будут лопаться барабанные переборки (то есть „перепонки“). Не беспокойтесь: я велю затворять ставни, чтобы они не хлопали. На этот счет я невыносим». (Эта фраза не выражала его мысли: он хотел сказать,

[150] Примечания: 150

«*Перебои чувства*» (точнее, «Сердечные перебои»). — В 1912 г. это заглавие Пруст думал дать всему роману, сообщая в письме к Эжену Фаскелю, что этот образ в плане чувств соотносится с тем, что в плане физического здоровья (нездоровья) соответствует перебоям сердца.

что тут он неумолим, скорее она выражала мысль коридорных.) Номер, однако, был тот же, что и в первый мой приезд. Поднялся не номер — это я поднялся во мнении директора. Мне предоставлялась возможность отапливать номер, если б я стал зябнуть (по предписанию врачей я уехал в Бальбек после Пасхи), только чтобы на потолке не появились «расщелины». «Главное, когда вам захочется затопить камин, не подкладывайте в него дров, пока не угорят (то есть „не прогорят“) те, что в нем еще остались. Больше всего надо бояться, как бы камин не раскалился, а то ведь я, чтобы чуточку украсить номер, поставил на него большую вазу — под старинную китайскую, и она может треснуть».

Директор с глубокой грустью сообщил мне о смерти старшины шербурских адвокатов. «Старик был в своем деле простак (то есть, по-видимому, „мастак“)», — сказал он и пояснил, что старшина ускорил свою кончину мятежами, то есть кутежами. «Я уже давно замечал, что после обеда он начинал блевать носом (конечно, „клевать“). За последнее время он до того изменился, что если б вам не сказали, что это он, то он был бы вам вряд ли признателен» (конечно, «то вы бы его вряд ли признали»).

А вот новость приятная: председатель капского суда недавно получил орден «Нечетного» легиона. «Спору нет, он человек толковый, но говорят, что ему дали орден главным образом за его связи с возлиятельными людьми». Об этом награждении писали во вчерашнем номере «Эко де Пари[151]», но директор пока успел прочесть только первый «абсцесс» (то есть «абзац»). Там здорово достается Кайо[152] за его политику. «По-моему, они правы, — заметил директор. — Кайо хочет, чтобы мы были под колпаком (под башмаком) у Германии». Что думает на этот счет директор отеля — это мне было совершенно неинтересно, и я не стал слушать его. Передо мною мелькали образы, ради которых я опять приехал в Бальбек. Они были совсем непохожи на прежние; сейчас я ждал

---

[151] Примечания: 151

«Эко де Пари» — французская ежедневная газета, основанная в 1884 г. Будучи поначалу литературно-художественным изданием, она со временем превратилась в политический орган консерваторов и католиков.

[152] Примечания: 152

Кайо, Жозеф (1863–1944) — французский государственный деятель, премьер-министр и министр иностранных дел (1911–1912). Имеется в виду так называемый марокканский кризис, когда в порт Агадир 1 июля 1911 г. прибыла германская канонерская лодка «Пантера», что было демонстрацией военной силы, направленной против притязаний Франции на особые права в Марокко. Франко-германские переговоры, связанные с агадирским кризисом, закончились подписанием в Берлине 4 ноября 1911 г. соглашения, по которому Германия признавала французский протекторат над Марокко за уступку ей части француз-

ских владений в Конго.

ослепительных впечатлений, а впечатления от первого приезда были туманны, однако и новым впечатлениям суждено было разочаровать меня. Образы, выделенные памятью, столь же причудливы, столь же ограниченны, столь же неуловимы, как и образы, созданные фантазией, а потом разрушенные действительностью. Нет никаких оснований полагать, что во внешнем мире, в каком-либо уголке жизни было сосредоточено больше образов нашей памяти, чем образов мечты. И вот еще что: новая среда может ведь заставить нас позабыть, а то даже и возненавидеть то, ради чего мы куда-нибудь поехали.

Я поехал в Бальбек отчасти из-за того, что Вердюрены (к которым, как они меня ни звали, я до сих пор так и не выбрался и которые, разумеется, были бы рады, если б я съездил к ним на дачу и извинился за то, что не побывал у них в Париже), узнав, что кое-кто из «верных» проведет лето на этом побережье, сняли на весь сезон один из замков маркизы де Говожо (Ла-Распельер) и пригласили к себе баронессу Пютбю. В тот день, когда мне (в Париже) об этом сказали, у меня зашел ум за разум, и я послал нашего молодого лакея справиться, возьмет ли с собой баронесса в Бальбек свою камеристку. Было одиннадцать

часов вечера. Швейцар долго не отворял моему гонцу, однако ж каким-то чудом не протурил его и не позвал полицию — он только был с ним весьма нелюбезен, и все-таки лакей получил у него нужные сведения. Швейцар сообщил, что первая камеристка действительно поедет со своей госпожой сперва на воды в Германию, оттуда в Биарриц, а уж потом к госпоже Вердюрен. Я был рад-доволен и считал, что дело мое на мази. Теперь я мог перестать преследовать на улицах красоток, к которым у меня не было рекомендательного письма, за каковое «Джорджоне» должна была принять то обстоятельство, что мне в тот же вечер предстояло ужинать у Вердюренов с ее госпожой. Впрочем, она была бы, пожалуй, еще более высокого мнения обо мне, если б до нее дошло, что я знаком не только с простыми обывателями, снявшими замок Ла-Распельер, но и с его владельцами, а главное — с Сен-Лу, который, не имея возможности на расстоянии рекомендовать меня камеристке (кстати сказать, не знавшей его фамилии), написал обо мне супругам Говожо теплое письмо. Он считал, что, помимо разного рода одолжений, которые они могли мне сделать, мне будет интересно поговорить с де Говожо-младшей, урожденной Легранден.

«Это умная женщина, — убеждал он меня. — От нее нечего ждать чего-нибудь определительного („определительное“ пришло на смену „высокому“ — Робер каждые пять — шесть лет менял иные из своих излюбленных словечек, сохраняя, однако, самые для него важные), но это — характер, это — личность, наделенная интуицией; ее суждения метки. Временами она раздражает, городит вздор, чтобы „блеснуть“, — и это тем более нелепо, что нет на свете людей менее утонченных, чем Говожо, — кое в чем отстает от жизни, но, в общем, все-таки она приятней многих других».

Получив рекомендательное письмо Робера, Говожо, либо из снобизма, который побуждал их хотя бы косвенным образом оказать любезность Сен-Лу, либо в благодарность за то, что он сделал в Донсьере для их племянника, а вернее всего — по доброте и по традиции гостеприимства, начали писать ему длинные письма, в которых предлагали мне остановиться у них или же, если я предпочитаю большую независимость, подыскать для меня помещение. Сен-Лу уведомил их, что я остановлюсь в бальбекском Гранд-отеле, а они ему на это ответили, что, в таком случае, просят меня навестить их тотчас по приезде; если же я буду долго раскачиваться, то они непремен-

но явятся ко мне сами и затащат на свои garden party's.

Разумеется, между камеристкой баронессы Пютбю и бальбекским краем никакой внутренней связи не существовало; камеристка не заменила бы мне крестьяночку, к которой я, стоя один на дороге в Мезеглиз, тщетно взывал с той силой желания, какая была во мне.

Но я уже давно не пытался извлечь из женщины, если можно так выразиться, квадратный корень неизвестного, таившегося в ней и часто сдававшегося после первого знакомства. В Бальбеке я не был давно, и, хотя непосредственной связи между тем краем и камеристкой не существовало, у меня было бы там, во всяком случае, то преимущество, что привычка не притупляла бы свежести ощущений, как в Париже, где, будь то у меня дома или в другом хорошо знакомом месте, наслаждение, которое доставляла мне женщина в обычной обстановке, не могло создать хотя бы минутную иллюзию, точно передо мной открывается новая жизнь. (Если привычка в самом деле вторая натура, то, лишенная не только безжалостности, но и очарования первой, она мешает нам разгадать ее.) Так вот, может быть, эта иллюзия создалась бы у меня в новом краю,

где восприимчивость обостряется от каждого солнечного луча и где во мне вспыхнула бы страсть к камеристке, о которой я мечтал; дальше, однако, будет видно, что в силу некоторых обстоятельств эта женщина не приедет в Бальбек, а я больше всего на свете буду бояться, как бы она не приехала, — таким образом, главной цели моей поездки я не достигну, да и не стану ее добиваться.

Баронесса Пютбю собиралась приехать к Вердюренам не в начале сезона, но чаемые нами наслаждения вольны до времени находиться вдалеке, если только мы уверены, что они от нас не уйдут, и в ожидании нам лень нравиться и нет у нас сил любить. Между прочим, я поехал в Бальбек с менее возвышенными целями, чем в первый раз; воображение в чистом виде всегда заключает в себе меньше эгоизма, чем воспоминание; я заранее знал, что еду в такие места, где полно прекрасных незнакомок; на взморье их бывает не меньше, чем на балу, и я думал о прогулках около отеля по набережной с таким же удовольствием, какое доставила бы мне герцогиня Германтская, если б вместо того, чтобы добиваться для меня приглашений на роскошные ужины, она почаще советовала бы хозяйкам домов, где устраивались танцевальные вечера,

включать мою фамилию в список кавалеров. Завязывать знакомства с женщинами в Бальбеке мне было бы теперь настолько же просто, насколько трудно в былое время, потому что теперь у меня были там знакомые и доброжелатели, а когда я поехал туда впервые, у меня их не было.

Меня вывел из задумчивости голос директора, чьи рассуждения на политические темы я пропустил мимо ушей. Переменив разговор, директор сообщил мне, что председатель суда очень обрадовался, узнав, что я приезжаю, и добавил, что председатель собирается прийти ко мне в номер нынче вечером. Это меня так напугало (я был утомлен), что я попросил директора не пускать его ко мне (это он обещал) и для большей безопасности на этот первый вечер расставить на моем этаже караулы из служащих. Должно быть, директор был с ними в неважных отношениях. «Мне приходится все время бегать за ними — уж очень мало в них инертности. Если б не я, они бы шагу не сделали. У вашей двери будет стоять на часах лифтер». Я осведомился, назначен ли наконец лифтер «начальником посыльных». «Он недавно поступил в отель, — ответил директор. — Есть сослуживцы старше его. Они подняли бы шум. Во всех случаях жизни нужна грануля-

ция. Я признаю, что он хорошо расправляется (вместо „справляется“) с лифтом. Но для такого поста он еще молод. С давнишними служащими он составлял бы контракт. Ему недостает положительности, а ведь это свойство самое что ни на есть первобытное (по всей вероятности, „свойство первостепенной важности“, „самое необходимое“). Пусть немножко побьет руку (мой собеседник хотел сказать: „набьет руку“). Ему надо поучиться у меня. Я в этих делах знаток. Прежде чем надеть мундир директора Гранд-отеля, я получил боевое крещение у Пайяра». Эта метафора произвела на меня впечатление, и я поблагодарил директора за то, что он встретил меня на Ужином мосту. «Не стоит благодарности. Я на это растратил (вместо „потратил“) совсем мало времени». Тут мы как раз подошли к отелю.

Немного спустя я был потрясен до основания. В этот первый вечер, страдая от сердечной слабости и перемогая боль, я медленно и осторожно нагнулся, чтобы разуться. Но стоило мне дотронуться до первой пуговицы на башмаке — и грудь моя наполнилась чем-то неведомым, сверхъестественным, я весь затрясся от рыданий, из глаз брызнули слезы. На помощь мне явилось и спасло меня от душевной пустоты то самое

существо, которое несколько лет назад, в минуту такого же тоскливого одиночества, в минуту, когда во мне ничего моего уже не оставалось, вошло и вернуло мне меня а ведь это и в самом деле был я, даже больше, чем я (вместилище всегда больше содержимого, и вот вместилище мне и было принесено). В моей памяти воскресло склоненное над моим изнеможением ласковое лицо бабушки, ее озабоченный и обманутый в своих ожиданиях взгляд, лицо бабушки в день первого моего приезда, не той, которой мне, к моему удивлению, было почти не жаль, за что я себя упрекал, и у которой общего с этой было одно только имя, а моей настоящей бабушки, чей живой образ я впервые после того, как на Елисейских полях с ней случился удар, обрел сейчас в нечаянном и цельном воспоминании. Этот живой образ для нас не существует, пока его не воссоздаст наша мысль (иначе все участники грандиозной битвы были бы великими эпическими поэтами); и вот только в этот миг безумное желание броситься в ее объятия, через год с лишним после ее похорон, вследствие анахронизма, по чьей вине календарные даты не совпадают с теми, которые устанавливаются нашими чувствами, дало мне знать, что она

умерла. Я часто говорил о ней после ее смерти, думал о ней, но в моих словах и мыслях — словах и мыслях неблагодарного, эгоистичного, черствого юноши — ничто не напоминало мою бабушку, так как в силу моего легкомыслия, охоты до развлечений, в силу привычки к ее болезни я лишь на дне души хранил воспоминание о той, какою она была. Когда бы мы ни принялись за изучение нашего внутреннего мира во всей его полноте, ценность его всегда остается почти что мнимой, несмотря на наличие в нем несметных богатств, так как то одними из них, то другими мы не в состоянии воспользоваться, будь то богатства реальные или воображаемые, а если говорить обо мне, то таким богатством являлось для меня старинное имя Германт или имевшее для меня несравненно большую значимость достоверное воспоминание о бабушке. С расстройством памяти связаны перебои чувства.[153] Наше тело, которое мы сравниваем с сосудом, содержащим

[153] Примечания: 153

С расстройством памяти связаны перебои чувства. — Прустовская теория сердечных перебоев, сложившаяся в общих чертах к 1912 г., восходит во многом к уже упоминавшейся книге М. Метерлинка «Разум цветов», где поэт-символист так писал о сердце: «Можно было бы сказать, что функции этого органа, посредством которого мы вкушаем жизнь и соотносим ее с собой, подвержены перебоям и что присутствие нашего „Я“ за вычетом состояния боли есть не что иное, как бесконечный ряд отправлений и возвращений».

в себе нашу духовную жизнь, — именно оно, вне всякого сомнения, наводит нас на мысль, что все наши духовные блага, минувшие радости, все наши страдания всегда нам подвластны. Быть может, одинаково неправильно думать, будто они ускользают, будто они возвращаются. Во всяком случае, если они и остаются внутри нас, то большую часть времени — в неведомой области, где никакой пользы нам от них нет и где даже самые из них обыкновенные оттесняются воспоминаниями иного порядка, с которыми в нашем сознании им не ужиться. Но вот круг ощущений, в котором они хранятся, восстановился, и тогда уже к ним переходит власть изгонять все, что с ними несовместимо, и водворять в нас только то наше «я», которое их изжило. А так как тот, в кого я внезапно превратился вновь, перестал существовать после далекого вечера, когда бабушка по приезде в Бальбек помогла мне разуться, то вполне естественно, что не после сегодняшнего дня, о котором мое прежнее «я» ничего не знало, а — как если бы во времени были различные параллельные ряды — немедленно, сразу после того первого вечера я завладел мгновением, когда бабушка наклонилась надо мной. Тогдашний и давным-давно исчезнувший «я» теперь опять

был так близко от меня, что мне казалось, будто я еще слышу слова, только-только прозвучавшие, а на самом деле пригрезившиеся мне, — так человеку спросонья все еще слышатся близкие звуки отлетающего от него сна. Сейчас я был всего лишь тем существом, которому хотелось прильнуть к бабушке, стереть поцелуями следы огорчений у нее на лице, тем существом, которое я мог бы себе представить, пока я был кем-либо из тех, что сменялись во мне, с таким же трудом, с каким я попытался бы теперь — и притом безуспешно — вновь испытать желания и радостные чувства одного из тех, кем я — во всяком случае, временно — перестал быть. Я вспомнил, что за час до того, как бабушка, в капоте, наклонилась над моими башмаками, я бродил по улице, пышащей жаром, около кондитерской, и мне так хотелось поцеловать бабушку, что я боялся, что не дождусь, когда пройдет час, остававшийся до встречи с ней. А теперь, когда мне опять захотелось поцеловать ее, я сознавал, что пройдут час за часом, но она никогда больше не будет со мной, я поминутно делал для себя это открытие, ибо, впервые за столько времени почувствовав ее такой, какой она была в жизни, в действительности, почувствовав, что у меня вот-вот разобьется сердце

— до того оно переполнено ею, вновь обретя ее наконец, я узнал, что утратил ее навеки. Утратил навеки; я не мог осмыслить и старался вытерпеть муку этого противоречия: с одной стороны — жизнь, ласка, сохранившиеся во мне такими, какими я их знал, то есть созданными для меня, любовь, всецело питавшаяся мной, находившая во мне свой смысл, постоянно обращенная на меня, так что дарования великих людей, все гении от сотворения мира и до наших дней не стоили в глазах бабушки ни одного из моих недостатков; а с другой стороны, только я успел вновь ощутить, словно в настоящем, это блаженство, как вдруг почувствовал, что оно насквозь проникнуто нахлынувшей, будто повторяющаяся физическая боль, несомненностью небытия, стершей мое воспоминание об этой ласке, уничтожившей эту жизнь, задним числом упразднившей нашу взаимопредназначенность, сделавшей из бабушки, когда я снова увидел ее, точно в зеркале, обыкновенную чужую женщину, которая волею судеб провела несколько лет вместе со мной, как могла бы прожить их с кем-нибудь еще, но для которой я и до этого был бы ничем, и после этого остался бы тоже ничем.

Все, что меня последнее время радовало, я

променял бы сейчас на единственную радость, — переиначив прошлое, облегчить страдания бабушки. А ведь я не только представлял себе ее, представлял себе ее капот — одежду, превратившуюся почти в некий символ: до того она была удобна для несения безусловно вредных, но и отрадных для бабушки тягот, которые она несла ради меня, — я постепенно припоминал все случаи, которыми я пользовался, чтобы показать ей, как мне нехорошо, по мере надобности преувеличивая болезненность моего состояния, пользовался, чтобы сперва огорчить ее, а потом стереть эти огорчения поцелуями, — я воображал, что моя ласковость, равно как и мое счастье, могут сделать счастливой и ее; и самое худшее: сейчас для меня не было большего счастья, чем отыскать следы счастья в моем воспоминании об овале ее лица, изваянном и склоненном нежностью, а ведь прежде я с бессмысленной злобой старался согнать с ее лица даже легкий отсвет радости, как, например, в тот день, когда Сен-Лу фотографировал бабушку и когда я, увидев, с каким детским, почти смехотворным кокетством она, выбрав тенистое место, чтобы лучше выйти, снимается в шляпе с большими полями, не мог не наговорить ей раздраженным тоном обидных

слов, от которых у нее передернулось лицо, потому что они попали в цель, ранили ее; когда же я навеки лишился возможности утешить бабушку, покрыв ее лицо поцелуями, эти слова раздирали душу мне.

Теперь я бы уже не мог остановить передергиванье ее лица и утолить боль ее сердца или, вернее, моего; мертвые живут только в нас, и, когда мы упорно возвращаемся мыслью к ударам, которые мы обрушили в свое время на них, мы наносим удар за ударом себе. Я упивался моими страданиями, несмотря на всю их мучительность, — я чувствовал, что их вызывает воспоминание о бабушке, я воспринимал их как доказательство того, что воспоминание о ней во мне живет. Я чувствовал, что только благодаря страданию я помню ее так ясно, и мне хотелось, чтобы еще прочней вбились в меня гвозди, которыми прикреплена ко мне память о ней. Я не пытался утишить мою душевную муку, приукрасить ее, убедить себя, что бабушка просто куда-нибудь уехала, что мы с ней расстались только на время и что пока мне остается обращаться к ее снимку (тому, который сделал Сен-Лу и который я взял с собой) со словами и просьбами, как к человеку, находящемуся в разлуке с нами, но не утратив-

шему своей индивидуальности, знающему нас и по-прежнему связанному с нами нерасторжимым взаимопониманием. Я не прибегал к этому — ведь мне хотелось не только страдать, но и сохранить особенность моего страдания, сохранить таким, каким я внезапно, сам того не желая, его познал; стоило вновь возникнуть странному противоречию между посмертной жизнью и небытием, пересекавшимися во мне, — и меня охватывало желание страдать беспрерывно, следуя законам этого страдания. Понятно, я не был уверен, извлеку ли я хотя бы малую долю истины из этого мучительного и пока еще непонятного состояния, — я знал лишь то, что, если я когда-нибудь и добуду малую долю истины, то только благодаря ему, такому необычному, такому нежданному, не указанному' мне моим разумом и не смягченному моим малодушием, я знал лишь то, что сама смерть — внезапное откровение, каким она для меня явилась, — провела во мне, подобно молнии, по какому-то сверхъестественному и бесчеловечному графику двойную таинственную борозду. (До сих пор бабушка была предана мной забвению, но теперь у меня не возникало даже мысли о том, чтобы попытаться извлечь истину из него, потому что забвение — это не более чем

отрицание, ослабление мысли, которая перестает быть способной воссоздать какую-нибудь черту из жизни и принуждена заменять ее условными и безразличными образами.) Однако инстинкт самосохранения и та находчивость, с какою разум предохраняет нас от страданий, уже начали строить на еще дымившихся развалинах, закладывая фундамент своего полезного и рокового дела, а потому, быть может, я напрасно с такой жадностью впивал в себя сладость воспоминаний о тех или иных суждениях любимого человека, как будто он и теперь мог высказать их, как будто он все еще существовал, как будто и я все еще существовал для него. Но как только мне удалось заснуть, в тот более соответствующий истине час, когда мои глаза закрылись для всего внешнего, мир сна (на пороге которого ум и воля, внезапно парализованные, уже не могли защитить меня от жестокости моих жизненных впечатлений) отразил, преломил в живой и ставшей теперь прозрачной глубине своих освещенных таинственным светом недр мучительный синтез посмертной жизни и небытия. В мире сна внутреннее познание, зависящее от расстройств наших органов, учащает сердцебиение или дыхание, потому что если ввести в наши вены, после

того как мы очутились в этом мире, обыкновенную дозу испуга, печали, угрызений совести, то она действует в сто раз сильнее; едва лишь мы, чтобы проехаться по артериям подземного города, отправляемся в путь по черным волнам нашей крови, точно по волнам внутренней Леты, с бесчисленным множеством излучин, перед нами предстают, приближаются к нам вплотную, а затем удаляются величественные, царственные образы, и мы по ним плачем. Оказавшись под темными сводами, я тут же начал искать бабушку, но — тщетно; а между тем я знал, что она все еще живет, но только какой-то притушенной жизнью, такой же тусклой, как жизнь воспоминания; темнело, ветер крепчал; меня должен был отвести к ней отец, но он все не шел. Внезапно у меня перехватило дыхание, сердце словно одеревенело, я вспомнил, что несколько месяцев кряду по забывчивости не писал бабушке. Чем она это объясняла? «Боже мой, — говорил я себе, — как ей, наверно, грустно живется в комнатушке, которую для нее сняли, маленькой, точно каморка старой служанки, как ей грустно живется с сиделкой, которая за ней ухаживает, в комнатушке, где она лежит недвижимо, потому что она все еще парализована, да и нет у нее желания встать! Наверно,

она думает, что я о ней забыл после того, как она умерла; какой одинокой, какой заброшенной она себя чувствует! Скорее — к ней, я не могу больше ждать ни минуты, я не могу ждать отца, но где же это, как я мог забыть адрес, только бы она узнала меня! Как я мог за несколько месяцев ни разу не вспомнить? Темным-темно, я ее не найду, ветер не дает идти; а, вон там отец ходит взад и вперед; я кричу: „Где бабушка, скажи мне адрес! Как она себя чувствует? Ей ничего не нужно?“ — „Ничего, ничего, — отвечает отец, — не беспокойся. У нее заботливая сиделка. Бабушке время от времени посылают денег, совсем немного, и сиделка покупает самое необходимое — ведь бабушка довольствуется малым. Иногда она спрашивает, что из тебя вышло. Ей сообщили, что ты задумал книгу. Кажется, это ее обрадовало. Она отерла слезу“. Тут мне словно бы припомнилось, что вскоре после смерти бабушка с униженным видом старой служанки, которую прогнали, с видом не родной, а посторонней, плача навзрыд, просила меня: „Ведь ты все-таки будешь хоть изредка со мной видеться? Навещай меня хотя бы раз в несколько лет. Помни, что ты был моим внуком, бабушки этого не забывают“. Стоило мне вновь увидеть ее лицо, с таким покорным, таким

скорбным, таким кротким выражением, — и мной овладело желание сейчас же броситься к ней и сказать то, что я должен был сказать тогда: „Да что ты, бабушка! Мы с тобой будем видеться, сколько тебе захочется, ты же у меня одна на всем свете, я никогда больше с тобой не расстанусь“. Как, должно быть, горько рыдала она все эти месяцы, пока я молчал и не приходил туда, где она лежит! Что она думала обо мне? И я, тоже плача навзрыд, сказал отцу: „Скорей, скорей, адрес, веди меня!“ А он мне: „Дело в том, что… не знаю, удастся ли тебе ее увидеть. И потом, понимаешь ли, она очень слаба, очень слаба, она уже не та, боюсь, как бы тебе не было тяжело. Да и номера дорожки я хорошенько не помню“. — „А все-таки ты мне скажи — ты же знаешь: ведь это неправда, что мертвые перестают жить? Ведь это же неправда — что бы там ни говорили, — раз бабушка еще жива?“ Отец грустно улыбнулся: „Да нет, понимаешь, она еле жива, еле жива! По-моему, лучше к ней не ходить. Она ни в чем не нуждается. У нее только что убрали“. — „А она часто бывает одна?“ — „Да, но для нее так лучше. Лучше, чтобы она ни о чем не думала, — думы могут только расстроить ее. Ведь думать часто бывает трудно. Вообще, понимаешь ли, она со-

всем угасла. Я сейчас тебе точно скажу, как к ней пройти, но только не знаю, что ты будешь там делать, да и сиделка вряд ли к ней пустит“. — „Но ведь ты же знаешь, что я всегда буду жить с ней, олени, олени, Франсис Жамм, вилка,[154]“. Но тут я вернулся по реке с темными поворотами туда же, откуда отплыл, и ступил на берег, где уже начинается мир живых, — вот отчего, хотя я все твердил: „Франсис Жамм, олени, олени“, ряд этих слов утратил для меня отчетливую логическую связь, которая за минуту до этого была мне так ясна и которую я бессилен был восстановить теперь. Я уже не мог взять в толк, почему слово „Аяс“[155] только что произнесенное отцом, вне всякого сомнения, имело только один смысл: „Смотри не простудись“. Я забыл закрыть ставни,

[154] Примечания: 154

«*…олени, олени, Франсис Жамм, вилка*». — Возможно, имеется в виду «Легенда о святом Юлиане странноприимце» Флобера, в которой раненный Юлианом олень предсказывает ему, что тот станет убийцей своих родителей. Образ Юлиана был использован Прустом в знаменитой статье «Сыновние чувства одного матереубийцы», опубликованной 1 февраля 1907 г. в «Фигаро». В этой статье, размышляя об убийстве матери, совершенном в приступе безумия его знакомым Анри ван Бларенбергом, Пруст пытается разделаться со своим собственным прошлым, освободить себя от гнетущего чувства вины, связанного со смертью его собственной матери. Упоминание имени известного французского писателя и поэта Франсиса Жамма (1868–1938) подтверждает значимость темы садизма сына в отношении матери. Пруст, восхищавшийся творчеством Жамма, послал ему экземпляр «Свана» и, получив ответ поэта, очень гордился его оценкой своего романа: «Получил письмо от Франсиса Жамма, в котором он меня сравнивает

с Шекспиром и Бальзаком!» Однако Жамм, высоко оценив роман Пруста, просил писателя убрать из второго издания скабрезную сцену женского садизма (в Монжувене). Вилка, возможно, упоминается как своего рода орудие вызова реминисценций, что соответствует некоторым ранним редакциям романа «По направлению к Свану»; в «Обретенном времени», однако, таким орудием становится ложечка.

[155] Примечания: 155

Аяс (Аякс, Эант) — в греческой мифологии один из участников Троянской войны, который, оскорбленный тем, что доспехи погибшего Ахилла были присуждены не ему, решает перебить ночью всех ахейских вождей. Но Афина насылает на него безумие, и жертвой меча Аякса становятся пастухи и стада скота. Когда к нему возвращается рассудок, Аякс, будучи не в силах пережить позор, кончает жизнь самоубийством.

В упоминавшейся статье о матереубийце Пруст сравнивал преступление Анри ван Бларенберга с безумием Аякса.

и, по всей вероятности, меня разбудил дневной свет. Но мне было невыносимо тяжело оттого, что у меня перед глазами море, на которое бабушка могла смотреть целыми часами; равнодушная его красота, которую я увидел вновь, сейчас же рождала мысль о том, что она его больше не увидит; мне хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать его шума, осиянная ширь берега вызывала в душе ощущение пустоты; все, подобно аллеям и лужайкам того парка, где я как-то раз в детстве потерял бабушку, казалось, говорило мне: „Мы ее не видели“; под круглотою бледного, дивного неба я испытывал такое чувство, как будто на меня что-то давит сверху, точно меня пригнетал громадный голубоватый колокол, заслонявший горизонт, на котором бабушка не показывалась. Чтобы ничего не видеть, я повернулся к стене, но — увы! — передо мной оказалась та самая перегородка, которая в былое время была для нас обоих вестником утра, та перегородка, которая с покорностью скрипки, выражающей все оттенки чувства, точно передавала бабушке мою боязнь разбудить ее или, если она уже не спала, боязнь, как бы она меня не услышала, как бы не побеспокоить ее, а мгновение спустя, подобно реплике другого инструмента, возвещала мне о

ее приходе и призывала сохранять спокойствие. Приблизиться к перегородке мне было страшнее, чем к роялю, струны которого все еще дрожали бы, хотя бабушка давно бы уже на нем не играла. Я знал, что теперь можно стучать в стену, даже громче, чем раньше, но что бабушку уже ничто не разбудит, что я не услышу ее ответа, что она ко мне не придет. И я просил Бога об одном: если существует бессмертие души, то пусть он мне позволит тихонько постучать в стену три раза — бабушка отличит мои стуки от тысячи других и ответит стуком, означающим: „Не волнуйся, мышонок, я понимаю, что ты беспокоишься, но я же сейчас приду“, — и пусть он мне позволит быть с бабушкой целую вечность, которая нам обоим не покажется чересчур долгой».

Директор пришел спросить, не угодно ли мне спуститься вниз. На всякий случай он решил проверить, какое «помещение» отведут мне в столовой. Не увидев меня там, он забеспокоился: не начались ли у меня, как в прошлый раз, приступы удушья? Он выразил надежду, что, наверно, это у меня от легкой «красоты в горле» и что от нее хорошо помогает, как он слышал, «калипт».

Он передал мне записку от Альбертины. В этом году она не собиралась в Бальбек, но планы у нее

изменились, и вот уже три дня, как она живет, правда, не в самом Бальбеке, а по соседству, в десяти минутах езды на трамвае. Боясь, что дорога утомила меня, она решила не встречаться со мной в день моего приезда, а теперь спрашивала, когда ей можно ко мне приехать. Я осведомился, сама ли она приходила, но осведомился не для того, чтобы увидеться с ней, а для того, чтобы избежать встречи. «Ну да, сама, — ответил директор. — Ей хочется с вами повидаться как можно скорее, если только вы ничего не имеете напротив. Вот видите, — заключил он, — все вас здесь жаждут, можете меня уверить». Мне же никого не хотелось видеть.

А между тем вчера, когда я приехал, меня как будто вновь обволокла упоительная нега жизни на морском курорте. Тот же лифтер, по-прежнему молчаливый, но только теперь не от высокомерия, а из почтительности, покраснев от удовольствия, пустил в ход свою машину. Поднимаясь вдоль столба, я вновь пролетал сквозь то, что когда-то составляло для меня тайну незнакомого отеля, где турист без протекции и без веса, любой из давно обосновавшихся здесь, возвращающийся к себе в номер, любая девушка, спускающаяся ужинать, горничная, идущая по коридору, — а

коридоры здесь необычные, — приехавшая с компаньонкой из Америки девушка, спускающаяся ужинать, — все бросают на вас в день вашего приезда взгляды, в которых вы не улавливаете того, что вам хотелось бы в них прочитать. А сейчас я, напротив, получал чересчур успокоительное удовольствие от подъема на лифте в знакомом отеле, где я чувствовал себя как дома, где я еще раз осуществил то, что вечно приходится осуществлять, на что требуется не больше времени, не больше усилий, чем на то, чтобы поднять веко, а именно — вложил в вещи родственную нам душу взамен их души, пугающей нас. «Предстоит ли мне еще, — говорил я себе, не подозревая, что меня ждет резкая перемена душевного состояния, — останавливаться в отелях, где надо будет ужинать в первый раз, где привычка еще не успела убить страшных драконов, как будто стерегущих на каждом этаже, у каждой двери чью-то заколдованную жизнь, где мне суждено приблизиться к неведомым женщинам, которые в перворазрядных гостиницах, в казино, на пляжах объединяются, точно полипы, в большие колонии и живут общими интересами?»

Мне было приятно даже то, что скучному председателю суда не терпится повидаться со мной;

чтобы вообразить в первый же день волны, эти голубые горные цепи моря, его ледники и водометы, его вздымания, его пренебрежительное величие, мне стоило лишь, когда я мыл себе руки, почувствовать в первый раз по прошествии долгого времени специфический запах чересчур душистого мыла, каким мылись в Гранд-отеле, — запах, как будто одновременно пропитавший и настоящий момент, и былые мои дни, проведенные здесь, реявший между ними, как действительно существующее очарование некой особой жизни, к которой возвращаешься, только чтобы переменить галстук. Простыни, чересчур тонкие, чересчур легкие, чересчур широкие, которые невозможно было подоткнуть, удержать, которые все время вздувались вокруг одеяла движущимися завитками, прежде навеяли бы на меня тоску. Теперь они только баюкали на неудобной выгнутой округлости своих парусов яркое, полное надежд солнце моего первого утра. Но утро так и не успело настать. Ночью я снова ощутил присутствие жестокого и сверхъестественного. Я попросил директора уйти и велеть, чтобы ко мне никто не входил. Я сказал, что буду лежать, и отказался от его предложения послать в аптеку за чудодейственным снадобьем. Он

очень этому обрадовался — он боялся, что некоторым из живущих в отеле может быть неприятен запах «калипта». Он меня одобрил: Я с вами единогласен (он хотел сказать: «согласен), — и посоветовал: — Смотрите не запачкайтесь на дверь, а то я велел замки помазать маслом. Если кто-нибудь из служащих позволит себе постучать к вам в номер, я его как следует отсчитаю! Я не люблю выдворять мои распоряжения (по-видимому, это должно было означать: „я не люблю повторять мои распоряжения“) — Вот только если вы захотите для бодрости выпить глоточек старого вина, то у меня внизу вина — хоть пролейся (понятно, „залейся“). Но я не принесу его вам на серебряном блюде, как голову Ионафана,[156] и предупреждаю, что это не шато-лафит, но укус (вместо „вкус“) примерно тот же. А на закуску недурно было бы поджарить вам маленькую кабалу — это легкое блюдо». Я от всего отказался; меня только удивило, что он путает кабалу с камбалой, а ведь

[156] Примечания: 156

…на серебряном блюде, как голову Ионафана… — Имеется в виду евангельский эпизод смерти Иоанна Крестителя, выступавшего с обличениями Ирода Антипы, правителя Галилеи, за что последний заточил его в темницу. На пиру Саломея, падчерица Ирода, настолько угождает отчиму своей пляской, что тот обещает выполнить любую ее просьбу. Саломея потребовала доставить ей голову Иоанна на золотом блюде (Мф. 14, 3—11; Мк. 6, 17–28). Персонаж Пруста отождествляет Иоанна Крестителя и Ионафана под влиянием «Иродиады» Флобера.

он, наверно, и счет потерял, сколько раз на своем веку заказывал эту рыбу.

Несмотря на заверения директора, мне все-таки вскоре принесли загнутую визитную карточку от маркизы де Говожо. Приехав повидать меня, почтенная дама осведомилась, здесь ли я остановился, и, узнав, что прибыл я только вчера и что мне нездоровится, не стала просить, чтобы ее пропустили ко мне, а (наверно, подождав около аптеки и галантерейного магазина, пока выездной лакей, спрыгнув с козел, платил по счету или что-нибудь покупал) поехала обратно в Фетерн в старой восьмирессорной коляске, запряженной парой лошадей. Между прочим, стук колес этой великолепной коляски часто слышался на улицах Бальбека и небольших прибрежных селений, расположенных между Бальбеком и Фетерном, и жители любовались ею. Главной целью выездов были все же не остановки у поставщиков. Целью была «чашка чаю» или garden party какого-нибудь худородного дворянина или у буржуа, недостойных такой великой чести. Маркиза, благодаря своему происхождению и богатству стоявшая неизмеримо выше местных захудалых дворян, по своей удивительной доброте и простоте боялась обидеть всякого, кто бы

ее ни пригласил, и оттого посещала все светские сборища в своей округе. Разумеется, чем ехать в такую даль, чтобы в маленькой жаркой и душной гостиной слушать чаще всего бездарную певицу, которую ей потом по долгу местной аристократки и известной любительницы музыки придется осыпать преувеличенными похвалами, маркиза де Говожо предпочла бы прокатиться или остаться в дивных садах Фетерна, у подножия которых замирают среди цветов сонные воды заливчика. Но она знала: хозяин дома — кто бы он ни был: дворянин или разночинец из Менвиль-ла-Тентюрьер или же из Ша-тонкур-л'Оргейе — уже сообщил гостям, что, по всей вероятности, она прибудет. А если бы маркиза де Говожо в этот день выехала, но не присутствовала на вечере, кто-нибудь из гостей, приехавших из поселков, разлегшихся на берегу моря, мог бы услышать стук колес и увидеть коляску маркизы, и тогда маркизе уже нельзя было бы отговориться тем, что ее задержали в Фетерне. Знакомые маркизы де Говожо часто видели, как она едет на концерт в такой дом, где, по их мнению, ей было не место; это, как они считали, небольшое унижение, на которое маркиза шла по безграничной своей доброте, уже не казалось им, однако, унижением,

когда приглашали они, — в таких случаях они с лихорадочным нетерпением гадали, приедет она или не приедет на их скромную чашку чаю. Зато какое успокоение после волнений, длившихся несколько дней, наступало, когда, после того как дочь хозяев дома или же любитель, отдыхавший поблизости, что-то пропоет, кто-нибудь из гостей сообщит (то был верный знак, что маркиза прибудет на утренник), что видел лошадей и знаменитую коляску около часовой мастерской или аптеки! Тут маркиза де Говожо (а она в самом деле вскоре появлялась вместе с невесткой и своими гостями, которых она с разрешения хозяев, чрезвычайно охотно это разрешение дававших, привозила с собой) снова озарялась ореолом в глазах хозяев: ведь для них ее приезд, которого они так ждали, являлся той наградой, ради которой они, быть может, главным образом — хотя, конечно, скрывая эту причину — и решили месяц тому назад не жалеть ни усилий, ни расходов для устройства утренника. При виде маркизы, приехавшей к ним на чашку чая, они думали не о том, что маркиза роняет свое достоинство, разъезжая по домам их незнатных соседей, но об ее родовитости, о красоте ее замка, о неучтивости ее невестки, урожденной Легранден, заносчивость

которой особенно была заметна при сравнении с чуть-чуть приторной благожелательностью свекрови. Им уже казалось, что они читают в светской хронике «Голуа» заметку, которую они же и состряпали в семейном кругу, при закрытых дверях, об «уголке в Бретани, где умеют веселиться от души», о «сверхизысканном утреннике, окончившемся лишь после того, как гости дали хозяевам слово скоро опять собраться под их кровом». Каждый день они ждали газеты со страхом, что в ней не будет сообщения об их утреннике и что о приезде к ним маркизы де Говожо будут знать только их гости, а не широкая публика. Наконец счастливый день наступал: «В этом году сезон в Бальбеке протекает необыкновенно успешно. В большой моде короткие дневные концерты…» и т. д. Слава богу, фамилия маркизы де Говожо была напечатана без ошибок, названа как будто бы вскользь, но среди первых из указанных лиц. Теперь хозяевам надо было делать вид, будто им неприятна эта шумиха в газетах, потому что она может рассорить их с людьми, которых они не имели возможности пригласить, и они лицемерно задавали себе вопрос при маркизе де Говожо, кто же автор нескромной заметки в газете, однако маркиза, доброжелательная и прекрасно

воспитанная дама, успокаивала их: «Я понимаю, что вам это неприятно, а я — я, напротив, очень рада, что все узнают о моем приезде к вам».

На визитной карточке, которую я получил, маркиза де Говожо черкнула мне, что послезавтра у нее утренник. И конечно, еще два дня назад, как ни утомила меня светская жизнь, я был бы счастлив наслаждаться этой жизнью, пересаженной в сады, где благодаря местоположению Фетерна росли на свободе фиговые деревья, пальмы, розы, спускавшиеся к самому морю — морю подчас средиземноморской голубизны и спокойствия, — по которому перед началом увеселения отправлялась на тот берег бухты за важными гостями яхта, служившая потом, когда все были в сборе, столовой с опущенным для защиты от солнца тентом, столовой, куда приносили чай, а вечером отвозившая обратно тех, кто на ней приехал. То была упоительная роскошь, но так дорого стоившая, что отчасти именно для того, чтобы покрыть расходы, коих она требовала, маркиза де Говожо изыскивала различные способы увеличения своих доходов, — так, например, она впервые сдала на лето одно из своих имений, совершенно непохожее на Фетерн: Ла-Распельер. Да, два дня назад каким чудным отдыхом от

парижского «высшего круга» показался бы мне такой вот утренник в новой для меня обстановке, съютивший незнакомых мне захудалых дворян! Но теперь мне было совсем не до развлечений. Я написал маркизе де Говожо письмо с извинениями, а за час до этого не пустил к себе Альбертину: горе убило во мне желание — так от сильного жара пропадает аппетит… На другой день должна была приехать моя мать. Я думал, что теперь я до известной степени заслужил право на то, чтобы она была со мной, что теперь она станет мне понятней, оттого что чуждая, унизительная для меня жизнь сменилась наплывом мучительных воспоминаний, терновый венец которых, облегая и мою и ее душу, облагораживал их. Так мне представлялось; на самом деле до настоящего горя, каким было горе моей матери, — горя, которое надолго, а в иных случаях и навсегда буквально вырывает вас из жизни, как только вы потеряли любимого человека, — очень далеко скоротечному горю, которым все-таки потом оказалось мое, — горю запоздалому и скоропреходящему, горю, которое подавляет нас много спустя после происшедшего события, ибо для того, чтобы восчувствовать горе, нам прежде надо осмыслить его; горю, которое постигает многих и всего лишь

разновидность которого представляло собою то, что было пыткой сейчас для меня и что возникло под влиянием непрошеных воспоминаний.

Глубина горя моей матери мне открылась — об этом я еще расскажу — впоследствии, но не теперь и не такой, какой я ее себе рисовал. И все-таки, подобно актеру, которому надлежит знать свою роль и задолго до выхода быть на месте, но который является в последнюю секунду и, разок пробежав то, что он должен сейчас произнести, ловко умеет, подавая реплику, это скрыть, чтобы зрителям в голову не пришло, что он опоздал, мое горе, только-только мной овладевшее, помогло мне, когда приехала мать, заговорить с ней так, как будто это уже давнее горе. Моя мать, однако, склонялась к мысли, что всколыхнулось оно (дело было, однако, совсем не в этом), когда я опять увидел те места, где побывал с бабушкой. Тут я в первый раз — потому что хотя мои страдания по сравнению со страданиями моей матери были ничтожны, а все же они открыли мне глаза, — с ужасом представил себе, как она скорбит. В первый раз я уяснил себе, что этот остановившийся, не затуманенный слезою взгляд (именно из-за этого взгляда Франсуаза не очень жалела ее), появившийся у нее после кончины бабушки, при-

ковывала к себе недоступная разуму пропасть между воспоминанием и небытием. И хотя на ней была все та же черная вуаль, — она только приоделась по случаю приезда в новые края, — здесь меня еще сильнее поразила происшедшая в ней перемена. Мало того что она утратила жизнерадостность, — усохнув, превратившись в окаменевший образ мольбы, она словно боялась слишком резким движением, слишком громким звуком голоса оскорбить страдание, ни на миг не разлучавшееся с ней. Но вот что особенно поразило меня: когда она, в пальто с крепом, вошла в мой номер, мне почудилось, — в Париже она на меня такого впечатления не производила, — что передо мною не мать, а бабушка. Как у королей и герцогов после смерти главы семьи его титул переходит к сыну и сын из герцога Орлеанского, принца Тарентского или принца де Лом превращается во французского короля, в герцога де ла Тремуй или в герцога Германтского, так часто по праву наследования иного порядка, имеющему более глубокое основание, мертвый хватает живого, и живой становится его преемником, похожим на него, продолжателем его прерванной жизни. Быть может, большое горе, каким явилась для такой дочери, как моя мама, смерть

ее матери, лишь прежде времени разрывает оболочку куколки, ускоряет метаморфозу, а если бы не этот перелом, в силу коего существо, которое мы носим в себе, минует стадии и перескакивает через периоды, то оно все равно появилось бы, но только позднее. Быть может, печаль о той, кого больше нет в живых, обладает особой силой внушения, и эта сила рано или поздно выявляет существовавшие в потенции черты нашего сходства с умершей, а главное, накладывает запрет на наши наиболее ярко выраженные индивидуальные свойства (у моей матери такими свойствами были здравый смысл и унаследованная ею от отца насмешливая жизнерадостность), которые мы не боялись пока было живо любимое существо, выказывать даже по отношению к нему и которые уравновешивали качества, перешедшие к нам от него. Как только оно умирает, нам становится совестно быть другими, мы восторгаемся только тем, что было в нем, что было и в нас самих, хотя с примесью иных особенностей, и что отныне заполонит нас. Именно в таком смысле (а вовсе не в том неопределенном, неверном смысле, какой обыкновенно в это вкладывается) можно говорить, что смерть не бесполезна, что умерший продолжает на пас воздействовать. Он

воздействует на нас даже сильнее, чем живой, так как истинную реальность мы различаем с помощью разума, так как она является точкой приложения для наших умственных усилий, а потому мы действительно знаем лишь то, что вынуждены воссоздавать с помощью мысли, лишь то, что прячет от нас повседневность… Словом, возведя в культ печаль об усопших, мы поклоняемся всему, что они любили. Мать не могла расстаться не только с бабушкиной сумочкой, превратившейся для нее в более драгоценную вещь, чем если бы она была украшена сапфирами и брильянтами, с ее муфтой, со всей одеждой, еще резче подчеркивавшей их внешнее сходство, но даже с томиками писем г-жи де Севинье, которые бабушка всюду брала с собой и которые моя мать не обменяла бы на рукописный экземпляр этих писем. Раньше она подшучивала над бабушкой, которая в каждом письме к ней непременно приводила какую-нибудь фразу г-жи де Севинье или де Босержан. Во всех трех письмах, полученных мною от мамы перед ее приездом в Бальбек, она цитировала г-жу де Севинье, как будто эти три письма не она писала мне, а бабушка — ей. Маме захотелось выйти на набережную, чтобы посмотреть на взморье, о котором бабушка писала ей в

каждом письме. Я видел из окна, как, с зонтиком своей матери в руке, вся в черном, она робко, благоговейно ступала по песку, по которому до нее ходил дорогой ей человек, шла как будто на поиски утопленницы, которую волной могло прибить к берегу. Чтобы ей не ужинать одной, я вместе с ней спустился в столовую. Председатель суда и вдова старшины попросили меня представить их ей. Крайне чувствительная ко всему, что относилось к бабушке, она была глубоко тронута тем, что сказал ей председатель, и потом всегда вспоминала о нем с благодарностью, а то, что вдова старшины ни единым словом не обмолвилась о покойной, обидело и возмутило ее. На самом деле ни председателю, ни вдове не было никакого дела до бабушки. Хотя у моей матери сложилось совершенно разное отношение к председателю и к вдове, задушевными словами и молчанием оба они, каждый по-своему, выражали наше обычное равнодушие к покойникам. И все-таки я думаю, что моей матери стало особенно тепло на душе от моих слов, так как я бессознательно вложил в них частицу моей скорби. Маму моя скорбь могла только порадовать (несмотря на ее нежную любовь ко мне), как и всё, благодаря чему посмертная жизнь бабушки продолжалась

в людских сердцах. На пляже мать проводила время так, как проводила его бабушка, — читала любимые ее книги: «Мемуары» г-жи де Босержан и «Письма» г-жи де Севинье. Она, как и все мы, не выносила, когда г-жу де Севинье называли «остроумной маркизой», а Лафонтена — «добрым малым». Но когда в письмах г-жи де Севинье встречалось обращение: «Дочь моя» — ей слышался голос матери.

Однажды ей не повезло: когда она бродила в окрестностях Бальбека и ей особенно хотелось побыть одной, она встретила даму из Комбре и ее дочерей. Кажется, ее звали г-жа Пуссен. Но мы дали ей прозвище «Ты расскажешь мне об этом во всех подробностях», оттого что, предостерегая дочерей от болезней, какие они могли себе нажить, она всякий раз повторяла одно и то же, — так, например, если дочь терла себе глаз, она говорила: «Смотри, натрешь себе хорошенькое воспаленьице — тогда расскажешь мне об этом во всех подробностях». Маме она еще издали начала отвешивать медленные, скорбные поклоны, но не потому, чтобы она действительно сочувствовала маме, а потому, что так ее в детстве учили кланяться. В Комбре она жила довольно уединенно, в глубине огромного сада, и все ей казалось недо-

статочно нежным, вот почему она предпочитала употреблять слова и даже собственные имена в ласкательной форме. Она полагала, что название «ложка» для той серебряной вещицы, которой она разливала сиропы, — это название грубое, и говорила: «ложечка»; ей показалось бы оскорбительным для сладостного певца Телемака, если бы она произносила его фамилию твердо: «Фенелон[157]», как произносил я — произносил со знанием дела (ведь любимым моим другом был самый умный, добрый, милый человек, которого не могли забыть все, кто только его знал: Бертран де Фенелон), и она всегда выговаривала: «Фенелонь» — ей хотелось смягчить окончание. Зять г-жи Пуссен, человек не с такой нежной душой, фамилию которого я запамятовал, комбрейский нотариус, в один прекрасный день присвоил всю кассу, и по его милости мой дядя, например, лишился довольно крупной суммы. Однако большинство комбрейцев находилось в прекрасных отношениях с другими членами семьи Пуссен, и к охлаждению это не привело

[157] Примечания: 157

Фенелон, Бертран де, граф (1878–1914) — французский аристократ, потомок писателя-классициста Франсуа Фенелона де Салиньяка (1651–1715), автора знаменитого романа «Приключения Телемака» (1699), один из ближайших друзей Пруста и прототипов Шарля Свана.

— все только жалели г-жу Пуссен. Она никого не принимала, но каждый, кто проходил мимо ее сада, останавливался, чтобы полюбоваться только густою листвой, оттого что ничего другого сквозь нее нельзя было разглядеть. Г-жа Пуссен почти не мешала нам в Бальбеке; я встретил ее только однажды и как раз когда она говорила дочери, кусавшей ногти: «Смотри, будет у тебя хорошенькая ногтоеда — тогда расскажешь мне во всех подробностях».

Пока мама читала на пляже, я оставался в номере. Вспоминал конец жизни бабушки и все с ним связанное, вспоминал входную дверь, остававшуюся отворенной до тех пор, пока не вышла бабушка, собравшаяся вместе со мной на свою последнюю прогулку. По сравнению с этим остальной мир представлялся мне почти призрачным — он был весь отравлен моей душевной болью. Наконец моя мать потребовала, чтобы я вышел погулять. Но на каждом шагу что-то мною забытое во внешнем виде казино, улицы, по которой я в первый вечер, в ожидании бабушки,

дошел до памятника Дюге-Труэну,[158] меня останавливало, точно ветер, с которым невозможно сладить, и не пускало дальше; чтобы ничего не видеть вокруг себя, я смотрел под ноги Сделав над собой некоторое усилие, я повернул обратно в отель, в отель, где, сколько бы я ни ждал, — в чем у меня не оставалось никаких сомнений — я теперь бы уже не нашел бабушку, как нашел ее когда-то, в первый вечер по приезде. Я вышел из своего номера в первый раз, поэтому множество слуг, которых я еще не видел, смотрело на меня с любопытством. У самой входной двери молодой посыльный, увидев меня, снял фуражку и сейчас же надел ее. Я решил, что Эме дал ему, как он выражался, «инструкцию» быть со мной почтительным. Но я тут же увидел, что посыльный снял фуражку и при виде другого человека, входившего в отель. Как потом выяснилось, этот молодой человек ничего не умел делать в жизни, кроме как снимать и надевать фуражку, но зато уж это у него выходило отлично. Поняв,

[158] Примечания: 158

Дюге-Труэн, Рене (1673–1736) — знаменитый французский корсар, который прославился во время войн Людовика XIV против англичан и голландцев. Он оставил «Мемуары», в которых рассказал о своих подвигах. Его статуя находится в Сен-Мало, где он родился. Пруст мог ее видеть во время путешествия по Бретани, о котором рассказывал своей матери в одном из писем в августе 1904 г.

что он ни к чему более не способен, а что тут он достиг совершенства, посыльный старался елико возможно чаще это проделывать, чем снискивал безмолвное, ни в чем себя не проявлявшее расположение останавливавшихся в отеле и заслужил большую симпатию швейцара, потому что швейцару вменялось в обязанность нанимать посыльных, но, пока ему не попался этот редкостный экземпляр, всех, кого он подыскивал, приходилось не позже как через неделю увольнять, к великому удивлению Эме. «Ведь от них же ничего не требуется, кроме как быть вежливым, — что ж тут трудного?» — говорил он. Кроме того, директору хотелось, чтобы у посыльных был «предстательный» вид, — очевидно, он путал «предстательный» и «представительный». Вид лужайки за гостиницей изменился: появились клумбы с цветами, экзотическое растение исчезло, исчез и посыльный, который тогда украшал вход в гостиницу гибким стеблем своего стана и необычным цветом волос. Он уехал с польской графиней, взявшей его к себе в секретари, — в данном случае он последовал примеру двух своих старших братьев и сестры-машинистки, которых, пленившись ими, похитили из отеля люди разных национальностей и обоего пола. Остал-

ся только младший брат, на которого никто не польстился, потому что он был косой. Когда польская графиня и покровители других его братьев останавливались в бальбекском отеле, он ликовал. Он завидовал братьям, но любил их, и, пока они жили в Бальбеке, он не скупился на изъявления братских чувств. Разве аббатиса Фонтевро[159] не покидала монахинь, чтобы воспользоваться гостеприимством Людовика XIV, которое он в это же самое время оказывал другой представительнице рода Мортемар — своей возлюбленной, г-же де Монтеспан? Посыльный жил в Бальбеке первый год; меня он не знал, но слышал, что старшие его товарищи обращаются ко мне: «Господин такой-то», и с первого же раза начал им подражать, получая видимое удовольствие — или оттого, что таким образом он обнаруживает осведомленность о человеке, который, как ему представлялось, пользуется известностью, или от сознания, что он подчиняется определенному правилу, и хотя еще за пять минут до этого он не имел о нем ни малейшего понятия, но соблюдать

[159] Примечания: 159

Аббатиса Фонтевро. — Имеется в виду Мари-Мадлен де Рошешуар (1645–1704), французская аристократка, сестра знаменитой г-жи де Монтеспан, фаворитки Людовика XIV, ставшая аббатисой монастыря Фонтевро в 1670 г., продолжая, однако, принимать самое деятельное участие в светской жизни.

его он счел для себя необходимым. Я вполне понимал, что на некоторых могли действовать чары этого громадного роскошного отеля. Он возвышался точно театр, и снизу доверху его оживляли многочисленные статисты. Хотя проживавший в отеле представлял собой что-то вроде зрителя, все же он непрерывно принимал участие в представлении, и не так, как в некоторых театрах, где актеры вступают в общение с публикой в зрительном зале, а как если бы жизнь зрителя протекала среди великолепия сцены. В отель возвращался теннисист в белом фланелевом костюме, а на швейцаре, отдававшем ему письма, была синяя ливрея с серебряными галунами.

Если теннисисту не хотелось подниматься по лестнице, он все равно не избегал общения с актерами, так как рядом с ним вырастал столь же нарядно одетый лифтер и пускал в ход машину. На верхних этажах по коридорам неслышно текли ручейки горничных и девушек на посылках, красавиц взморья, похожих на участниц торжеств в честь Афины на фризе, в чьи комнатки любители поухаживать за смазливыми служаночками пробирались хитроумными окольными путями. Внизу преобладали мужчины и превращали отель — это были по большей части

совсем еще юные бездельники-служащие — в некую иудейско-христианскую трагедию, которая облеклась в плоть и кровь и разыгрывалась беспрестанно. Вот почему, глядя на них, я вспомнил стихи Расина, но, конечно, не те, что пришли мне на память у принцессы Германтской, когда де Вогубер, беседуя с де Шарлю, смотрел на молодых сотрудников посольства, а другие, на сей раз не из «Эсфири», а из «Гофолии», так как от самого холла, или, как выражались в XVII веке, от самого портика, выстраивалось, преимущественно во время второго завтрака, «цветущее племя»,[160] молодых посыльных, похожих на юных израильтян в хорах Расина. Но только я не думаю, чтобы хоть кто-нибудь из них смог ответить даже столь невразумительно, как ответил Иодай на вопрос Гофолии, обращенный к наследнику: «Каков ваш род занятий?»[161] оттого что они ничем не были заняты. В лучшем случае, если б у любого из них спросили, как спрашивала старая царица: «Но этот весь народ, в сем месте заключенный, что делает он здесь?» — мог бы ответить: «Я наблю-

[160] Примечания: 160

…«цветущее племя»… — Выражение из «Эсфири» Расина (11, 8).

[161] Примечания: 161

«Каков ваш род занятий?» — Здесь и далее цитируется, иногда вольно, «Гофолия» Расина.

даю за торжественными обрядами и содействую их торжественности». Время от времени кто-нибудь из молодых статистов подходил к более значительному лицу, затем юный красавец возвращался в хор, и, если вслед за тем не наступал минутный созерцательный перерыв, все статисты вновь сплетали свои движения, бесцельные, почтительные, показные, каждодневные. «Взращенные вдали от света», удалявшиеся из храма только по «выходным дням», они находились при церкви, как левиты в «Гофолии», и при виде этой «юнцов вернейших рати», игравшей свою роль перед лестницей, устланной дивными коврами, я имел право задать себе вопрос: куда я вхожу — в бальбекский Гранд-отель или же в Храм Соломона?

Я поднялся прямо к себе в номер. Мои мысли все время были теперь связаны с последними днями бабушки, с той душевной пыткой, которая возобновилась во мне с новой силой, потому что я привносил в нее нечто даже более для нас болезненное, чем мучения другого человека: наше безжалостное сострадание; когда мы, как нам кажется, только воссоздаем муки любимого человека, наше сострадание преувеличивает их; но, быть может, оно в большей мере соответствует

истине, чем то представление, которое создается об этих муках у тех, кто их терпит и от кого скрыта безрадостность их жизни — безрадостность, которую зато ясно видит сострадание и которая доводит его до отчаяния. Новый порыв моего сострадания оказался бы сильнее мучений бабушки, если б я знал тогда то, что еще долго будет мне неизвестно, — то, что бабушка за день до смерти, на минуту придя в сознание и убедившись, что меня поблизости нет, взяла маму за руку и прильнула к ней воспаленными губами. «Прощай, дочь моя, прощай навсегда», — выговорила она. И быть может, именно от этого воспоминания уже ни на миг потом не отводила взора моя мать. Затем ко мне стали возвращаться более отрадные воспоминания. Она — моя бабушка, я — ее внук. Выражения ее лица как бы написаны на языке, понятном мне одному; она для меня всё, другие люди существуют лишь постольку, поскольку имеют касательство к ней, в зависимости от того, что она мне о них скажет; но — увы! — наши взаимоотношения были недолговечны и, значит, случайны. Она уже не знает меня, я никогда больше ее не увижу. Мы не были созданы только друг для друга, она оказалась чужой. Сейчас я рассматривал эту чужую на снимке Сен-Лу. Мама,

встретившая Альбертину и растроганная тем, как хорошо говорила Альбертина о бабушке и обо мне, настояла на том, чтобы я с ней повидался. Я назначил ей свидание. Предупредил директора, чтобы он попросил ее подождать в салопе. Он сказал, что знает ее давно, и подруг ее тоже, что знал он их задолго до того, как они «возженали», но что он на них сердит, так как они плохо отзываются об отеле. Стало быть, они девицы не «освещенные», если позволяют себе говорить такие вещи. А может, на них и наврали. Я сразу догадался, что «возженали» директор употребил вместо «возмужали». В ожидании, когда надо будет спуститься к Альбертине, я не отводил глаз, точно от рисунка, который мы так долго разглядываем, что в конце концов перестаем видеть его, от снимка Сен-Лу и вдруг подумал опять: «Это бабушка, а я ее внук» — так утративший память силится вспомнить, как его зовут, так больной замечает, что его личность претерпела изменения. Вошла Франсуаза, сказала, что Альбертина идет, и, увидев фотографию, заметила: Бедная барыня! Как живая, даже на щеке родинка; в тот день, когда маркиз ее снимал, она была очень больна: ей два раза делалось дурно. И она мне сказала: «Только смотри, Франсуаза, ничего не говори

внуку». И она, бывало, виду не покажет, на людях всегда веселая, а вот если оставалась одна, то, глядишь, иной раз и заскучает. Но это быстро у нее проходило. И вот как-то она мне и говорит: «Если что со мной случится, у него должна остаться моя карточка. Я так ни разу и не снялась». Послала она меня к маркизу и велела передать, что если он ее не снимет, то пусть, мол, ничего вам не говорит, что она его просила. А когда я пришла и сказала, что он может снять, она было расхотела: уж очень она, мол, плохо выглядит. «Пусть уж лучше, — говорит, — совсем никакой карточки не будет». Но ведь она смекалистая была и в конце концов хорошо придумала: надела большую шляпу с загнутыми полями, и в тени ничего не было заметно. Очень она была рада, что снялась, потому как она тогда не надеялась, что живой уедет из Бальбека. Я, бывало, сколько ей твержу: «Барыня! Не надо так говорить, не люблю я, когда вы так говорите», — все-таки засело это у нее в голове. Да ведь и то сказать, бывали дни, когда она ничего в рот не брала. Вот тогда-то она и отсылала вас куда-нибудь подальше ужинать с маркизом. А сама, вместо того чтоб идти в столовую, будто бы книжку читает, по чуть только экипаж маркиза отъезжал, она поднималась к себе и ложилась.

Иной раз надумает вызвать вашу матушку, чтоб в последний разок с ней повидаться. Но ведь она ей раньше ни на что не жаловалась и боялась, как бы не напугать: «Нет, Франсуаза, пусть лучше остается при муже». Тут Франсуаза посмотрела на меня и спросила: «Вам что, нездоровится?» Я ответил, что здоров, а она мне на это: «Заболталась я тут с вами. Ваша гостья, поди, уже пришла. Мне надо вниз. Только ей здесь не место. А потом, она ведь непоседа: могла и уйти. Она ждать не любит. Да уж, мадемуазель Альбертина стала теперь важной птицей». — «Ошибаетесь, Франсуаза: это место как раз для нее, может быть, она даже чересчур хороша для него. Но только скажите ей, что сегодня я ее принять не смогу».

Как жалобно запричитала бы Франсуаза, если б увидела, что я плачу! Я постарался скрыть это от нее. Иначе она прониклась бы ко мне симпатией. А вот мою симпатию она завоевала. Мы недостаточно глубоко проникаем в души бедных служанок, которые не могут смотреть на то, как мы плачем, как будто плач причиняет боль не нам, а им; когда я был маленький, Франсуаза сказала мне: «Не плачьте так, я не люблю, когда вы так плачете». Мы не любим громких фраз, уверений, и тут мы не правы, мы наглухо запи-

раем наше сердце от деревенской патетики, от сказок, которые бедная служанка, уволенная по подозрению — быть может, и ложному — в воровстве, бледная как полотно, пришибленная, точно быть обвиненной в чем-либо значит уже совершить преступление, рассказывает нам, ссылаясь на честность своего отца, на правила матери, на наставления бабки. Разумеется, те же самые служанки, которые не могут равнодушно смотреть на то, как мы плачем, даже и не охнут, если мы по их вине заболеем воспалением легких только потому, что горничная из нижней квартиры любит сквозняки и закрыть окно или дверь — это, видите ли, было бы по отношению к ней невежливо. Те, кто прав, — например, Франсуаза — во что бы ни стало должны быть хоть в чем-то и не правы — вот тогда-то на земле Справедливости и не будет. Господа запрещают служанкам даже скромные радости или поднимают их за эти радости на смех. Между тем это всегда какой-нибудь пустяк, но только пустяк чувствительный до глупости или негигиеничный. Вот почему служанка вправе сказать: «Я целый год ничего у них не просила — отчего же они мне не позволяют?» А ведь господа позволили бы и нечто куда более важное, только бы это не было так глупо

и опасно для служанок — или для самих господ. Конечно, против смирения бедной горничной, дрожащей, готовой взвалить на себя любую вину, лепечущей: «Если угодно, я нынче же вечером уйду», мы устоять не можем. Однако надо же преодолеть свое жестокосердие — несмотря на всю торжественную, угрожающую избитость выражений, несмотря на духовное наследство матери и на невозможность посрамить «отчий дом» — и в том случае, когда перед нами старая кухарка, гордящаяся честно прожитой жизнью и честными предками, держащая в руках метлу, точно скипетр, играющая трагическую роль со слезами в голосе, с горделивой осанкой. В тот день я то вспоминал, то представлял себе такие сцены, заставлял участвовать в них нашу старую служанку, и с тех пор, несмотря на все неприятности, какие она могла делать Альбертине, я привязался к Франсуазе, и хотя любил я ее, по правде сказать, с перебоями, но зато это был самый сильный из видов любви, зиждившийся на чувстве жалости.

Весь день я промучился около бабушкиной карточки Она истерзала меня. И все же не до такой степени как вечерний визит директора. Когда я заговорил с ним о бабушке, он еще раз выразил соболезнование, а потом сказал (как известно,

он питал особое пристрастие к словам, которые употреблял и произносил неверно): «Это как в тот день, когда ваша бабушка упала в обормот. Я хотел сказать вам об этом, потому что это могло быть неприятно другим — ведь верно? — и причинить ущерб отелю. Ей лучше было уехать в тот же вечер. Но она упросила меня ничего вам не говорить и обещала больше не падать в обормот, а если упадет, то сейчас же, дескать, уедет. Коридорный все-таки мне потом сообщил, что у нее был еще один обормот. Но ведь вы же остановились у меня давно, мне не хотелось портить с вами отношения, притом и жалоб ни от кого не поступало». Итак, значит, у бабушки были обмороки, но она скрывала их от меня. Да еще, как на грех, когда я был с ней неласков, когда ей было особенно трудно, она должна была, чтобы не рассердить меня, казаться веселой и, чтобы ее не выдворили из отеля, делать вид, будто она здорова. «Обормот» — такого слова я никогда не слышал; если бы про кого-нибудь другого сказали, что он «упал в обормот», мне бы, пожалуй, стало смешно, но в применении к бабушке это слово, в силу звучной своей необычности, сходное с оригинальным диссонансом, долго потом доставляло мне нестерпимые мучения.

На другой день я по маминой просьбе пошел полежать на песке или, вернее, среди дюн, там, где можно укрыться в их складках и где Альбертина и ее подруги меня бы не нашли, в чем я был совершенно уверен. Сквозь мои полуопущенные веки проникал свет, розовый-розовый, — эту розовость придавали ему кровеносные сосудики в толще век. Затем веки сомкнулись. И тут я увидел бабушку, сидевшую в кресле. Это было слабое, почти безжизненное существо. И все же мой слух различал ее дыхание; по временам можно было догадаться, что она понимает, о чем мы с отцом говорим. Но, сколько я ни целовал ее, в глазах ее не светилась любовь, на щеках не проступал хотя бы и бледный румянец. Чужая даже самой себе, она, должно быть, не любила меня, не узнавала, может быть, и не видела. Я не мог разгадать тайну ее безразличия, упадка духа, молчаливого ее неудовольствия. Я отозвал отца в сторону. «Ну что, теперь убедился? — заговорил я. — Ведь это же яснее ясного: до ее сознания дошло решительно все. Полная иллюзия жизни. Вот бы сюда твоего родственника, который утверждает, что мертвые не живут! Бабушка умерла больше года назад, а ведь, в общем-то, она жива! Но только почему она не поцеловала меня?» — «Посмотри: у

бедняжки опять свесилась голова». — «Ей хочется на Елисейские поля». — «Это безумие!» — «Ты уверен, что это ей повредит, что от этого она еще больше умрет? Разлюбить меня она не могла. Так неужели же, сколько бы я ни целовал ее, она мне так и не улыбнется?» — «Тут уж ничего не поделаешь: мертвые — они мертвые».

Прошло несколько дней — и мне уже было приятно смотреть на снимок Сен-Лу; он не будил во мне воспоминания о том, что рассказывала Франсуаза, — оно не расставалось со мной, и я с ним сжился. В противоположность тому, каким я рисовал себе состояние бабушки в тот день, — а состояние у нее было очень опасное, болезненное, — на карточке, которую по-прежнему украшали бабушкины хитрости, обманывавшие меня даже после того, как они были разоблачены, она вышла — в этой своей шляпке, слегка прикрывавшей ей лицо, — такой элегантной, такой беззаботной, она отнюдь не производила впечатления несчастной, больной. Но — хотя она об этом и не подозревала — у ее щек был какой-то свинцовый оттенок, было свое, особенное выражение, потерянное, как у животного, чувствующего, что на него пал выбор и что оно обречено, — вот отчего у бабушки был вид приговоренной к смерти,

мрачный вопреки ей самой, бессознательно трагический, и из-за этого вида, который ускользал от меня, мама не могла смотреть на эту карточку: она представлялась ей не столько фотографией ее матери, сколько фотографией ее болезни, фотографией грубого оскорбления, которое болезнь своим ударом нанесла лицу бабушки.

Однажды я решил передать Альбертине, что приму ее в ближайшее время. Объяснялось мое решение вот чем: как-то утром, ранним, но уже очень жарким, гомон игравшей детворы, громкие шутки купальщиков, выкрики газетчиков вычертили передо мной огненными линиями, перекрещивающимися языками пламени раскаленный пляж, на который одна за другой набегали легкие зыби и орошали его своей свежестью; звуки симфонического концерта сливались с шорохом волн, усиливавшим жужжанье скрипок, напоминавшее жужжанье над морем заблудившегося пчелиного роя. И вот тут мне захотелось снова услышать смех Альбертины, снова увидеть ее подруг, вырисовывавшихся на фоне волн, этих девушек, которых моя память не отделяла от очарования Бальбека в целом, от характерной для него флоры; и я надумал послать с Франсуазой записку Альбертине с просьбой

прийти ко мне на следующей неделе, а пока я это обдумывал, море каждым мягким всплеском хрустального своего прилива накрывало мелодию, фразы которой, казалось, были отделены одна от другой, точно ангелы с лютнями на итальянских соборах, возвышающиеся между гребня-Mi синего порфира и пенящейся яшмы. Но в тот день, когда ко мне пришла Альбертина, погода снова испортилась, похолодало, и к тому же мне так и не удалось услышать ее смех: настроение у нее было прескверное. «В этом году в Бальбеке адская скука, — сказала Альбертина. — Долго я здесь не наживу. Как вам известно, приехала я сюда на Пасхальной неделе, — значит, я здесь уже месяц с лишним. Я совершенно одна. Повеситься можно с тоски!» Только что прошел дождь, небо было ненадежное, но у меня, когда я проводил Альбертину до Эпрвиля, так как, по ее выражению, она «сновала» между этим прибрежным поселком, где находилась вилла г-жи Бонтан, и Энкарвилем, где она «была на пансионе» у родных Розамунды, — у меня все-таки возникло желание прогуляться, и я зашагал в сторону дорога, куда выезжал экипаж маркизы де Вильпаризи, в котором она, бабушка и я отправлялись на прогулку: от луж, блестевших на солнце, которое еще не

успело высушить их, образовалось целое болото, и тут мне невольно вспомнилась бабушка: она не умела ходить по грязи так, чтобы не забрызгаться. Подойдя к дороге, я обомлел от восторга. Там, где мы с бабушкой видели в августе только листву и, так сказать, расстановку яблонь, теперь, насколько хватал глаз, яблони, одетые с неслыханной роскошью, были все в цвету; ноги у них вязли в грязи, а сами они вырядились в бальные платья и не принимали никаких мер предосторожности, чтобы не запачкать изумительный, от века не виданный розовый шелк, сверкавший на солнце; морская даль служила яблоням как бы задним планом, точно на японских гравюрах; когда я поднимал глаза, чтобы посмотреть на небо, проглядывавшее сквозь яблоневый цвет своей яркой — до боли в глазах — синевой, яблоневый цвет словно раздвигался, чтобы показать мне глубину этого рая. Под синью неба от слабого, но холодного ветра чуть заметно колыхались розовеющие соцветия. На ветви слетали синицы, с независимым видом перепрыгивали с цветка на цветок, и, глядя на них, можно было подумать, что вся эта живая красота искусственно создана каким-нибудь любителем экзотики и причудливого сочетания красок. Однако она трогала до

слез, потому что, каких бы эффектов утонченного искусства она ни достигала, чувствовалось, что это красота естественная, что яблони стоят в чистом поле, точно крестьяне на одной из дорог Франции. Затем лучи солнца вдруг сменились лучами дождя; эти лучи исполосовали даль и набросили на вереницу яблонь серую сеть. Но яблони все так же высили свою цветущую розовую красоту под уже ледяным ветром и проливным дождем: была весна.

Глава вторая

Боясь, как бы радость от одинокой этой прогулки не ослабила во мне воспоминание о бабушке, я оживлял его, стараясь вообразить великую душевную муку, которая пала на ее долю; по моему призыву ее мука пыталась построиться в моем сердце, она воздвигала в нем огромной величины устои; но мое сердце, по всей вероятности, оказалось для нее слишком мало, у меня не хватало сил нести в себе такую большую скорбь, мое внимание ускользало от меня как раз в тот миг, когда она вся отстраивалась заново и ее мостовые арки обваливались, не успев соединиться, — так, не достроив сводов, рушатся волны.

Но ведь уже из одних моих снов я мог бы вывести заключение, что горе, причиненное мне смертью бабушки, постепенно утихает: в этих снах над ней уже не с такой силой тяготело мое представление о ее небытии. Снилась она мне, как и раньше, больной, но на пути к выздоровлению: ей становилось лучше. Когда же она заговаривала о своих страданиях, я зажимал ей рот поцелуями и уверял, что теперь она совершенно здорова. Мне хотелось заставить

скептиков признать, что смерть — это действительно всего лишь излечимая болезнь. Вот только проявлений изумительной непосредственности, которая была свойственна бабушке прежде, я уже у нее не замечал. Ее слова представляли собой всего-навсего слабосильный, безвольный ответ на мои слова, почти что их отзвук; сама бабушка была лишь отсветом моей мысли.

Много еще не успел овладеть новый порыв плотского влечения, и, однако, Альбертина опять начала будить во мне как бы влечение к счастью. Мечты о взаимной склонности, не покидающие нас ни на миг, в силу некоторого внутреннего сродства без труда связываются с воспоминанием о женщине (при условии, что оно уже капельку потускнело), с которой нам было хорошо. Влечение к счастью восстанавливало в моей памяти разные выражения лица Альбертины: более нежные, не такие веселые, мало похожие на те, какие могло бы воскресить в памяти плотское влечение; а так как вдобавок влечение плотское отличается большей живучестью, нежели влечение к счастью, то я готов был отложить исполнение моего желания до зимы и в Бальбеке с Альбертиной не встречаться. Но даже когда душевная боль еще не утихла, плотское влечение

все-таки возникает вновь. Мне был предписан каждодневный продолжительный отдых, и, лежа в постели, я мечтал о возобновлении моих любовных игр с Альбертиной. Разве так не бывает, что в той самой комнате, где у супругов умер ребенок, их тела вскоре сплетутся вновь и у них потом родится брат умершего младенца? Чтобы подавить в себе желание, я подходил к окну и смотрел на море. Как и в прошлом году, сегодняшнее море редко походило на вчерашнее. Впрочем, оно почти не напоминало прошлогоднего моря — то ли потому, что теперь стояла весна с ее грозами, то ли потому, что, если бы я приехал в этом году тогда же, когда и в прошлом, другая погода, чаще менявшаяся, все равно могла порвать связь между берегом и ленивым, туманным, непостоянным морем, которое в жаркие дни млело перед моим взором возле пляжа, чуть заметно, с голубоватым трепетом, поднимая изнеженную грудь, то ли главным образом потому, что мои глаза, приученные Эльстиром различать такие подробности, какие я старался не замечать прежде, теперь надолго впивались в то, на что в прошлом году они еще не умели смотреть. Так, волновавшей мое воображение непохожести всего того деревенского, что открывалось моему взгляду во

время прогулок с маркизой де Вильпаризи, на текучую, недосягаемую, баснословную близость вечного Моря для меня уже не существовало. А в иные дни я теперь и в море находил нечто почти полевое. В те довольно редкие, действительно погожие дни жара прокладывала в воде, точно среди долины, белую пыльную дорогу, за которой, точно колокольня сельской церкви, маячила тонкая верхушка рыболовного судна. Вдали, будто стоявший на отшибе завод, дымил буксирный пароход, от которого видна была только труба, на горизонте один-единственный белый вздувшийся квадрат, вычерченный, вне всякого сомнения, парусом, производивший, однако, впечатление чего-то плотного и как бы известкового, напоминал освещенный солнцем угол одиноко стоящего здания — больницы или же школы. А ветер и облака в солнечные дни хоть и не укрепляли меня в ошибочных моих представлениях, а все же усиливали обманчивость первого взгляда, то, что он внушает нашему воображению. Чередование цветовых пространств, ярко отделявшихся одно от другого, точно в полях, где пестрота возникает от чересполосицы, бросающиеся в глаза желтые и словно грязные неровности морской шири, бугры, впадины, где вдруг исчезала лодка с про-

ворными моряками, похожими на косцов, — все это в грозовые дни превращало море в нечто такое же разнообразное, плотное, пересеченное, многолюдное, цивилизованное, как дороги, по которым я езживал раньше и по которым мне надо было проехать в ближайшее время. И вот как-то раз, не в силах побороть желание, я, вместо того чтобы снова лечь в постель, оделся и поехал в Энкарвиль к Альбертине. Я хотел попросить ее проводить меня до Дувнля, оттуда я собирался в Фетерн к маркизе де Говожо, а от нее — в Ла-Распельер к г-же Вердюрен. Альбертина подождала бы меня на пляже, и мы вместе вернулись бы к ночи. Я сел в пригородный поезд, прозвища которого, данные ему местными жителями, мне давно уже сообщили Альбертина и ее подруги, пояснившие, что его зовут «Червячком» — за то, что он беспрестанно извивается в пути, «Черепахой» — за то, что он не идет, а ползет, «Трансатлантиком» — из-за его ужасающего гудка, которым он пугал переходящих через рельсы, «Узкоколейкой» и «Кулёром» (хотя у него не было ничего общего с фуникулером, а все-таки он взбирался на прибрежные скалы, и, хотя он не был предназначен для узкоколейной железной дороги, его колея равнялась шестидесяти сантиметрам), «Б. А. Г.»

— за то, что он курсировал между Бальбеком и Гральвастом, проходя через Анжервиль, и, наконец, «Трамом» и «Т. Ю. Н.» — потому что он был причислен к трамвайной сети Южной Нормандии. В вагоне я сидел один; был жаркий, душный, солнечный день; я опустил голубую штору, оставив только узкую полоску света. И тут вдруг мне привиделась бабушка — какой она сидела в вагоне перед нашим отъездом из Парижа в Бальбек: страдая оттого, что я пил пиво, она, чтобы не смотреть на меня, закрыла глаза и притворилась, что спит. Бывало, мне переворачивало душу страдальческое выражение, какое принимало ее лицо, когда мой дед пил коньяк, а впоследствии я сам огорчал ее тем, что по предложению чужого человека пил коньяк, который она считала для меня вредным, — этого мало: я добился от нее позволения пить его вволю и, к довершению всего, вспышками гнева и приступами удушья довел ее до того, что она стала моей пособницей, что она даже советовала мне выпить коньяку, и вот теперь взору моей памяти явилась бабушка, какой она бывала в эти минуты наивысшего самопожертвования: полная безнадежного отчаяния, она молча закрывала глаза, чтобы не видеть. Это воспоминание, словно по

волшебству, вернуло мне мою душу, которую я за последнее время чуть было не растерял. На что мне была сейчас Альбертина, если мои губы были пропитаны одним лишь страстным желанием — поцеловать усопшую? О чем бы я стал разговаривать с Говожо и Вердюренами, если мое сердце билось так сильно оттого, что в нем все росла мука, которую претерпела бабушка? Я больше не мог оставаться в вагоне. В Менвиль-ла-Тентюрьер я, передумав, сошел на платформу и петлявшими тропинками пошел по направлению к скалам. Менвиль с некоторых пор приобрел известность и своеобразную репутацию благодаря тому, что некий директор многочисленных казино, торговец комфортом, построил невдалеке с роскошью, по своей безвкусице не уступавшей роскоши дорогого отеля, заведение, к которому мы еще вернемся и которое, надо отдать ему справедливость, было первым французским публичным домом для шикарных людей, построенным на берегу моря. Первым и единственным. Заведения для известных целей открыты во всех портах, но это заведение предназначалось не только для матросов, но и для любителей живописности, чей взгляд тешит, по соседству с древнейшей церковью, едва ли не одних лет с ней, почтенная,

замшелая хозяйка дома, стоящая у его чересчур гостеприимных дверей и ждущая, когда вернутся рыболовные суда.

Пройдя пленительный «дом услад», дерзко возвышавшийся назло семейным людям, напрасно заявлявшим протесты мэру, я дошел до скал, а затем петлявшими тропинками направился в Бальбек. Меня звали к себе ветки боярышника, но я не откликнулся. Менее пышноцветные, чем ветки их соседок — яблонь, они находили, что яблоневые ветки слишком тучны, но это не мешало им отдавать должное свежести красок, какой отличались, все в розовых лепестках, дочки оптовых торговцев сидром. Они знали, что хотя у них и не такое богатое приданое, а все-таки поклонников у них больше и, чтобы иметь успех, им вполне достаточно помятой их белизны.

Когда я вернулся в отель, швейцар передал мне письмо с траурной каемкой от маркиза и маркизы де Гонвиль, виконта и виконтессы д'Амфревиль, графа и графини де Бернвиль, маркиза и маркизы де Грен-кур, графа д'Аменонкур, графини де Менвиль, графа и графини де Франкто и графини де Шаверни, урожденной д'Эглевиль, а почему оно было мне послано — это я уразумел, только когда прочел имена невестки де Говожо, урож-

денной дю Мениль ла Гишар, маркиза и маркизы де Говожо и узнал, что скончалась родственница Говожо — Элеонора-Евфразия-Эмбертина де Говожо, графиня де Крикто. На всем протяжении этой провинциальной семьи, для перечисления членов которой понадобились ряды тонких, убористых строчек, — ни одного мещанина, но и ни одного достоименитого титула, зато здесь был весь цвет, весь букет туземной знати с певучими окончаниями фамилий, происходивших от названий всех достопримечательных местностей ее края, — с веселыми окончаниями на «виль», на «кур» и с окончаниями, звучавшими приглушенней (на «то»). Одетые в черепицу своих замков или же выбеленные известкой церковных стен, с трясущимися головами, выглядывавшими из-за церковных сводов или же из-за стен жилых домов только для того, чтобы выставить напоказ свои шапочки в виде нормандских остроконечных башен, эти имена словно протрубили сбор всем красивым селениям, расположенным в определенном порядке или же, напротив, разбросанным на пятьдесят миль в окружности, и, проследив за тем, чтобы все до единого были налицо и чтобы среди них не оказалось втируш, расставили их сомкнутым строем на тесной прямоугольной

шахматной доске письма с черной каймой — письма от аристократов.

Моя мать прошла к себе в комнату, размышляя над фразой г-жи де Севинье: «Я не вижусь ни с кем из тех, кому хочется отвлечь меня от Вас, иными словами — кому хочется мешать мне думать о Вас, а это меня оскорбляет», — размышляя потому, что председатель суда посоветовал ей развлекаться. Мне он шепнул: «Вот принцесса Пармская». Я было испугался, но тут же успокоился, как только увидел, что женщина, на которую указывал мне служитель Фемиды, не имеет ничего общего с ее высочеством. Дело в том, что принцесса оставила за собой номер, чтобы переночевать в отеле по возвращении от герцогини Люксембургской, и теперь многие, узнав об этом, принимали каждую новоприбывшую даму за принцессу Пармскую, а я выслушал эту новость и сейчас же заперся на своем чердаке.

Мне не улыбалось сидеть здесь одному. Было еще только четыре часа. Подумав о том, что хорошо бы провести остаток дня с Альбертиной, я попросил Франсуазу за ней сходить.

Мне кажется, я погрешил бы против истины, если бы стал утверждать, что Альбертина уже тогда вызывала во мне постоянное мучительное

недоверие, а тем более — что это недоверие было особого рода, что уже тогда в моем недоверии крылось главным образом нечто связанное с Гоморрой. Но с этого дня — а впрочем, еще и раньше — мое ожидание стало тревожным. Франсуаза так долго не возвращалась, что я потерял всякую надежду на встречу с Альбертиной. Лампу я не зажигал. Смеркалось. Древко флага над казино скрипело от ветра. И, еще слабее звуча в тишине над берегом, на который наплескивались волны, звуча точно голос, как бы выражавший и еще усиливавший томительную смутность этого беспокойного и обманчивого часа, маленькая шарманка играла подле отеля венские вальсы. Наконец Франсуаза вернулась, но — одна: «Я-то летела как на крыльях, да она сперва отказалась — я, говорит, не причесана. Если б она цельный час не помадилась, то в пять минут была бы готова. Сейчас тут запахнет как все равно в парикмахерской. Она скоро придет — все прихорашивается перед зеркалом, вот и замешкалась. Верно, все еще там». Альбертина долго не появлялась. Но пришла она такая веселая, такая ласковая, что грусть моя рассеялась. Она сказала (на днях я слышал от нее совсем другое), что ничего не имеет против того, чтобы

остаться здесь на все лето, и спросила, нельзя ли нам будет видеться каждый день, как в прошлом году. Я ответил, что пока еще у меня очень тяжело на душе — лучше я время от времени буду без предупреждения посылать за ней, как в Париже. «Если вдруг вам станет тоскливо или скучно без меня — не стесняйтесь, посылайте, — сказала она, — я мигом прискочу, и, если вы не боитесь, что в отеле пойдут разговоры, я буду оставаться у вас надолго». Когда Альбертина явилась, у Франсуазы было счастливое лицо, какое бывало у нее всякий раз, когда она старалась доставить мне удовольствие и когда ей это удавалось. Но Альбертина такой радости не испытывала, и на другой же день Франсуаза сказала мне вещие слова: «Не след вам встречаться с этой барышней. Я ее насквозь вижу: наплачетесь вы с ней». Когда я провожал Альбертину, в освещенном ресторане мое внимание привлекла принцесса Пармская. Стараясь остаться незамеченным, я вперил в нее взгляд. И должен сознаться, что в ее царственной любезности, вызывавшей у меня улыбку на вечере у Германтов, сейчас я уловил совершенно особенное величие. Как правило, монархи всюду у себя дома, и церемониал превращает это правило в ряд омертвевших, обессмыслив-

шихся обычаев вроде, например, такого: хозяин дома обязан держать шляпу в руке — в знак того, что он уже не у себя, а в гостях у принца. Принцесса Пармская, может статься, не сумела бы выразить эту мысль, но проникнута она была ею всецело, и угадать ее можно было в любом поступке принцессы, который она совершала под непосредственным воздействием тех или иных обстоятельств. Встав из-за стола, она много дала на чай Эме, как будто он находился в ресторане только ради нее, словно перед отъездом из какого-нибудь замка она поблагодарила человека, который был приставлен к ней для услуг. И она не ограничилась чаевыми — с милостивой улыбкой она сказала Эме несколько любезных и лестных слов, которым ее обучила мать. Кажется, еще немного — и она бы наговорила ему, что в отеле блестящий порядок, что в таком же цветущем состоянии находится вся Нормандия и что нет в мире страны лучше Франции. Еще одна монета перешла из рук принцессы в руки смотрителя винного погреба — она вызвала его и, точно генерал, произведший смотр войскам, соизволила выразить ему свое удовлетворение. Затем ей принес ответ на что-то лифтер; она и ему сказала ласковое слово, улыбнулась и дала на чай, сопро-

водив все это ободряющими, скромными речами, с помощью коих принцесса старалась показать, что она всем им ровня. Эме, смотритель, лифтер и прочие решили, что неудобно не улыбаться во весь рот, коль скоро некая особа улыбается им, а глядя на них, ее обступили другие слуги, и теперь уже им принялась она изъяснять свое благоволение; в дорогих отелях к таким приемам обычно не прибегают, — вот почему те, кто проходил по площади и не знал, кто эта дама, приняли ее за постоянную жительницу Бальбека и решили, что она, в силу своего незнатного происхождения или движимая чисто профессиональными интересами (может, это жена агента по сбыту шампанского), ближе стоит к прислуге, чем к наиболее шикарным из проживающих в отеле. А я в это время думал о пармском дворце, о том, что принцессе дают советы иногда скорей религиозного, иногда скорей политического характера, о том, что она держит себя с народом так, как будто ей надлежит завоевать его любовь, чтобы потом управлять им. Вернее, так, как будто она уже им управляет.

Я вернулся к себе в номер, но оказался я здесь не один. Я услышал, что кто-то с мягким туше играет Шумана. Разумеется, мы обладаем спо-

собностью перенасыщать людей, даже особенно нам дорогих, исходящей от нас тоской или же чувством досады. И все-таки ни один человек не властен вызвать у другого такую нестерпимую душевную боль, какую вызывает у нас предмет неодушевленный. Этот предмет — рояль.

Альбертина попросила меня записать те дни, когда она будет уезжать к подругам, и дала их адреса на тот случай, если она как-нибудь вечером будет мне нужна, — все ее подруги жили неподалеку. Таким образом, вокруг нее образовались естественные гирлянды, и, чтобы добраться до нее, надо было двигаться от девушки к девушке. Каюсь, от многих из них — я ее еще не любил — я получал на пляжах минутные наслаждения. Тогда мне казалось, что этих юных благожелательных подружек не так много. Но вот совсем недавно я вернулся к ним мыслью и вспомнил их имена. Я сосчитал, что за один этот сезон мне оказали непрочную благосклонность двенадцать. Но тут мне пришло на память еще одно имя, — значит, тринадцать. Я остановился на этом числе с какой-то детской жестокостью. «Ах, боже мой, — вдруг подумал я, — да ведь я же забыл первую, Альбертину!» Теперь ее уже нет, и теперь она оказалась четырнадцатой.

Возвращаюсь к своему рассказу: я записал имена и адреса девушек, у которых я мог бы найти Альбертину в дни, когда ее не будет в Энкарвиле, однако я намеревался воспользоваться этими днями, чтобы навещать г-жу Вердюрен. Надо заметить, что желание, которое возбуждает в нас женщина, не всегда одинаково сильно. В иной вечер мы не можем обойтись без женщины, зато после, в течение месяца, а то и двух, мы о ней почти забываем думать. По закону перемежаемости, в изучение коего здесь не место углубляться, если бы после того, как мы чувствовали большую физическую слабость, мы увидели бы женщину, чей образ преследовал нас во время внезапного изнеможения, мы бы только поцеловали ее в лоб. С Альбертиной я виделся в те редкие вечера, когда я не мог без нее обойтись. Если у меня возникало желание увидеться с ней, когда она была далеко от Бальбека, гонцом служила мне уже не Франсуаза — я обращался с просьбой к лифтеру уйти из отеля пораньше и посылал его в Эгревиль, в Ла-Сонь, в Сен-Фришу. Войдя ко мне в номер, он не затворял за собой дверь, хотя он «гнул спину» добросовестно; работа у него была тяжелая, с пяти часов утра он уже принимался за тщательную уборку, а вот заставить себя затворить дверь

ему было трудно, и, только когда ему указывали, что дверь не затворена, он возвращался и, делая над собой огромное усилие, слегка толкал ее. С присущей ему демократической гордостью, не проявляющейся в деятельности многих представителей свободных профессий — у адвокатов, писателей, врачей, — называющих своим «собратом» только адвоката, писателя или врача, он правильно употреблял выражение, которым пользуются в замкнутой среде, — например, в среде академиков — по отношению к посыльному, всего лишь раз в три дня исполнявшему обязанности лифтера: «Я попрошу меня заменить моего коллегу». Гордость не мешала ему для повышения, как он говорил, «оклада жалованья» брать за труды — этим он заслужил ненависть Франсуазы: «С первого взгляда — ну чисто ангел, а в иной день — ни дать ни взять тюремная крыса. Все они так в руку и смотрят». К этой категории людей она постоянно относила Евлалию и — увы! — (потом это послужило причиной многих бедствий) уже причислила Альбертину, потому что я при Франсуазе часто выпрашивал у мамы для моей небогатой подруги разные вещицы, безделушки, а Франсуаза считала это недопустимым только на том основании, что у г-жи Бонтан всего

одна служанка. Лифтер, сняв то, что я назвал бы ливреей, но что он именовал мундиром, вскоре появлялся в соломенной шляпе, с тросточкой, стараясь придать изящество своей походке и держаться прямо, — этому его учила мать, внушая, что он не какой-нибудь там чернорабочий или посыльный. Подобно науке, благодаря книгам делающейся достоянием фабрично-заводского люда, который, уйдя с предприятий, перестает быть таковым, элегантность благодаря канотье и перчаткам становилась доступной лифтеру: перестав поднимать проживающих в отеле, он превращался, как молодой хирург, снявший халат, как вахмистр Сен-Лу, снявший военную форму, в настоящего господина. Он был человек не без самолюбия и не без способностей, способности же его проявлялись в том, что он ловко орудовал в клетке лифта и она у него не застревала между этажами. Но говорил он неправильно. Я решил, что он честолюбив, так как о швейцаре, от которого он зависел, он говорил: «мой швейцар» — точно таким же тоном, каким сказал бы, выражаясь языком посыльного, «владелец особняка» в Париже про своего портье. В языке лифтера было любопытно вот что: он пятьдесят раз на дню слышал, как проживающие в отеле кричат:

«Подъемник!» — а он все-таки говорил: «приемник». Некоторые привычки лифтера очень меня раздражали; о чем бы я ему ни толковал, он перебивал меня, употребляя выражения вроде «Ну еще бы!» или «Еще бы!», которые можно было понять так, что это, мол, всем давно известно или что он первый это открыл и обратил на это мое внимание. «Ну еще бы!» или «Еще бы!», произносимые чрезвычайно энергично, каждые две минуты срывались у него с языка в связи с тем, что ему никогда не пришло бы в голову, и это так бесило меня, что я тут же начинал доказывать нечто прямо противоположное, только чтобы посадить его в лужу. Однако, выслушав и это мое суждение, хотя его никак нельзя было увязать с предыдущим, он по-прежнему отвечал: «Ну еще бы!», «Еще бы!» — как будто эти его восклицания служили ответом на все. Я еле сдерживался, когда некоторые специальные термины, вполне уместные, если их употребляют в прямом значении, он употреблял в значении переносном, и только в переносном, что производило впечатление дешевого острословия, как, например, — в его устах — выражение «нажать на педаль». Он никогда не пользовался им применительно к езде на велосипеде. Но если, идя куда-нибудь пешком,

он, чтобы не опоздать, должен был прибавить шагу, то вместо того, чтобы сказать, что он шел быстро, он говорил: «Можете себе представить, как я нажимал на педаль!» Лифтер был скорее небольшого роста, неуклюж, неказист. Но когда при нем заговаривали о каком-нибудь высоком, стройном, изящном молодом человеке, он всякий раз вставлял: «А, я его знаю, мы с ним одного роста». Однажды он должен был принести мне ответ, и я, услышав, что кто-то поднимается по лестнице, от нетерпения распахнул дверь из моего номера, но увидел посыльного, прекрасного, как Эндимион,[162] с неправдоподобно безукоризненными чертами лица, — он шел по делу к неизвестной мне даме. Когда лифтер вернулся, я сказал ему, что, с нетерпением ожидая ответа, я решил, что это он поднимается по лестнице, но оказалось, что это посыльный из отеля «Нормандия». «А, да, я знаю, кто это, — ответил он, — там только один такой и есть — парень одного со мной роста. И лицом мы с ним до того похожи, что нас можно спутать или принять его за моего братишку». А еще лифтер любил делать вид, буд-

[162] Примечания: 162

Эндимион — в греческой мифологии прекрасный юноша. Взятый за свою красоту Зевсом на небо, попытался овладеть Герой, за что Зевс обрек его на вечный сон.

то он все понимает с полуслова: только начнешь отдавать ему распоряжения, а он уже: «Да, да, да, да, да, я все прекрасно понял», и этот его тон — тон смышленого и сообразительного человека — первое время вводил меня в заблуждение; но чем ближе мы узнаем людей, тем больше они напоминают металл, погружаемый в какую-нибудь вредную смесь, и мало-помалу утрачивают свои достоинства (а иногда и недостатки). Однажды, перед тем как начать разговор с лифтером, я обратил внимание на то, что он не затворил за собой дверь; я сделал ему замечание — я боялся, как бы нас не услышали; он соблаговолил исполнить мое желание и чуть-чуть притворил дверь. «Это я для вашего успокоения. На всем этаже нас только двое». Но тут по коридору прошел сперва один человек, потом другой, потом третий. Меня эта ходьба раздражала, во-первых, потому, что я опасался, как бы нас не подслушали, а главное, потому, что, насколько я мог заметить, лифтера это ничуть не удивляло — для него это было в порядке вещей: «А, это наша горничная — она за чемоданами. Не волнуйтесь — это смотритель погреба за ключами. Нет, нет, ничего, можете говорить спокойно: это мой коллега пришел дежурить». Его объяснения, зачем эти люди про-

ходят по коридору, не уменьшили моей боязни, что нас могут услышать, и наконец, после моего строгого приказания, он пошел к двери, но не для того, чтобы плотно прикрыть ее, — это было не по силам велосипедисту, который мечтал о мотоциклете, — но лишь слегка притянуть ее к себе: «Теперь все в порядке». Порядок воцарился до того безупречный, что к нам тут же ворвалась американка и, извинившись, что попала не в тот номер, поспешила удалиться. «Привезите ко мне эту девушку, — сказал я, сперва изо всех сил хлопнув дверью (на стук прибежал еще один посыльный, вообразивший, что у меня распахнулось окно). — Запомните хорошенько: мадемуазель Альбертина Симоне. Я написал на конверте. Вы только скажите, что это от меня. Она с удовольствием приедет», — добавил я, чтобы подбодрить его и чтобы это было не так для меня унизительно. «Еще бы!» — «Да нет, что вы, далеко не всякий на ее месте поехал бы с удовольствием. Ехать сюда из Бернвиля очень неудобно». — «Я понимаю!» — «Скажите ей, чтобы она поехала с вами». — «Да, да, да, да, я все отлично понял», — ответил он с видом сметливого и догадливого человека, а между тем вид его давно уже не внушал мне доверия, так как я

убедился, что произносит лифтер эти слова почти машинально и что за внешней его деловитостью скрывается полная неопределенность и бестолковость. «В котором часу вы вернетесь?» — «Да я недолго, — ответил лифтер, злоупотреблявший эллипсисом. — Это мне ничего не стоит. Как раз на днях нам запретили отлучаться: в отдельном кабинете был заказан завтрак на двадцать персон. А у меня как раз должен был быть перерыв. Вот я нынче вечером и отгуляю. Я туда на велосипеде съезжу. Так будет скорей». Он пришел через час и сказал: «Вы, наверно, заждались, а барышня-то со мной приехала. Она внизу». — «Благодарю вас! Консьерж не будет на меня сердиться?» — «Господин Поль? А почем он знает, куда это я? Никто ничего не скажет». В другой раз я отправил его с наставлением: «Привезите ее немедленно», а он, вернувшись, доложил мне с улыбкой: «Вы же знаете, что я ее не нашел. Ее там нет. А мне нельзя было задерживаться — я боялся, что и со мной обойдутся, как с моим коллегой: ему пришлось выступить из гостиницы». (Когда речь шла о том, чтобы поступить куда-нибудь на место, лифтер употреблял старинный оборот: «вступить в должность»; так, например, он говорил: «Я был бы не прочь вступить в должность на

почту», поэтому, имея в виду увольнение, он для соответствия или чтобы мягче выразиться, — а вдруг когда-нибудь придется сообщать о том, что прогнали его, — или — если он рассказывал о ком-то другом, — чтобы выразиться деликатнее и поядовитее, говорил: «Я слышал, что ему пришлось выступить».) Улыбался он не от злорадства, а от робости. Он надеялся, что шутливый тон уменьшит его провинность. А когда он говорил: «Вы же знаете, что я ее не нашел», то это не означало, что он уверен в моей осведомленности. Напротив, он не сомневался в том, что мне как раз ничего не известно, и это-то и наводило на него страх. Лифтер начинал с «вы знаете», чтобы не так мучиться, когда он вынужден будет сообщать мне о том, чего я еще не знал. Не нужно сердиться на тех, кто, провинившись перед нами, усмехается. Это не издевка, это боязнь прогневать нас. Те, кто смеется, должны вызывать у нас бесконечную жалость, нам следует обходиться с ними необычайно мягко. Как при ударе, на лице у лифтера выступил апоплексический румянец, этого мало: у него вдруг изменилась речь — она стала проще.

В конце концов он объяснил мне, что Альбертины в Эгревиле нет, что вернется она только в

девять часов, а что если она внезапно, то есть, в переводе с его языка, случайно, возвратится раньше, то ей передадут, и она приедет ко мне уж никак не позже часа ночи.

Однако еще не в этот вечер начала упрочиваться мучительная моя подозрительность. Все выяснилось значительно позднее, но уж если я об этом заговорил, то скажу тут же, что мою подозрительность вызвали слова Котара. В тот день Альбертина и ее подружки сговорились затащить меня в энкарвильское казино, но я бы, на свое счастье, не встретился с ними (я собирался к г-же Вердюрен, уже несколько раз звавшей меня к себе), если б мне не пришлось остановиться именно в Энкарвиле из-за неисправности в трамвае, с которым надо было повозиться. Расхаживая в ожидании, когда кончится починка, по платформе, я неожиданно столкнулся с доктором Котаром, приезжавшим в Энкарвиль к больному. Мне не хотелось с ним здороваться, потому что он не ответил ни на одно мое письмо. Но каждый человек бывает любезен по-своему. Котар не получил светского воспитания, зато он был полон благих намерений, о которых никто не догадывался, в которые даже не верили до тех пор, пока ему не представлялся случай осуществить их. Он

извинился — мои письма он, конечно, получил; о том, что я здесь, он сообщил Вердюренам — им очень хотелось со мной повидаться, и он советовал мне к ним съездить. Сейчас он должен был опять сесть в пригородный поезд и поехать к ним ужинать, а меня хотел захватить с собой. У него оставалось время до отхода поезда, с починкой трамвая возни было довольно много, и я, еще не зная, ехать мне к Вердюренам или не ехать, повел Котара в маленькое казино: это было одно из тех казино, которые показались мне такими тоскливыми в вечер первого моего приезда, а теперь оно полнилось гомоном девушек, за отсутствием кавалеров танцевавших друг с дружкой. Андре, скользя по паркету, направлялась ко мне, а я уже совсем было собрался ехать с Котаром к Вердюренам, как вдруг, охваченный страстным желанием остаться с Альбертиной, решительно отверг его предложение. Дело в том, что я услыхал ее смех. И этот ее смех был весь бледно-розовый, пахучий, точно впитавший в себя благоуханье каких-то душистых поверхностей, к которым он только что приникал и частицы которых, почти весомые, дразнящие, незримые, он, терпкий, чувственный, возбуждающий, как запах герани, словно разносил повсюду.

Одна из незнакомых мне девушек села за рояль, и Андре пригласила Альбертину на вальс. Мне было отрадно думать, что я останусь в маленьком казино с этими девушками; я обратил внимание Котара на то, как хорошо они танцуют. Но, во-первых, он смотрел на все с медицинской точки зрения, а во-вторых, по своей невоспитанности не считался с тем, что я знаком с девушками, хотя не мог не видеть, что я с ними поздоровался, и потому ответил мне так: «Да, но куда смотрят родители? Здесь девицы приобретают дурные привычки. Я своим дочерям ни за что не разрешил бы сюда ходить. Хорошенькие они, по крайней мере? Я не могу рассмотреть, какие у них лица. Вот, глядите, — продолжал Котар, показывая на Альбертину и Андре: те медленно кружились, прижимаясь друг к дружке, — я забыл пенсне и плохо вижу, но даже мне ясно, что они наверху блаженства. Мало кому известно, что женщины ощущают наслаждение главным образом грудью. Ну вот, смотрите: их груди прижимаются вплотную». В самом деле, до сих пор груди Андре и Альбертины ни на мгновение не отрывались одна от другой. Не знаю, услышали они или угадали, что сказал Котар, но только вдруг, продолжая вальсировать, они отклонились одна от другой.

Андре что-то сказала Альбертине, и Альбертина засмеялась тем же будоражащим, выразительным смехом, который я только что слышал. Но волнение, которое он вызвал во мне сейчас, отдалось болью в моей душе; этим смехом Альбертина словно хотела раскрыть Андре, дать ей почувствовать какой-то тайный сладострастный трепет. Он звучал словно первые или последние аккорды некоего загадочного торжества. Я вышел с Котаром, рассеянно отвечая ему, но почти не думая о только что виденном мною. Объяснялось это не тем, что Котар отнюдь не принадлежал и числу интересных собеседников. Притом сейчас он стал выражать неудовольствие, так как мы с ним увидели не заметившего нас доктора дю Бульбона. Дю Бульбон рассчитывал пожить некоторое время по ту сторону Бальбекского залива, где у больных он был нарасхват. А Котар хоть и твердил постоянно, что во время отпуска он не лечит, а все-таки надеялся создать себе здесь избранный круг пациентов, между тем дю Бульбон мог этому помешать. Бальбек-ский лекарь, разумеется, не мог с ним тягаться. Это был очень добросовестный врач, но и только, врач, который все знал: стоило вам пожаловаться на легкий зуд, и он сейчас же прописывал вам сложный

рецепт мази или примочки. Как выражалась на своем прелестном языке Мари Жинест, он умел «заговаривать» раны и язвы. Но он не был светилом. Правда, он однажды подгадил Котару. Решив занять кафедру терапии, Котар специализировался на самоотравлениях организма. Теория самоотравления организма — теория опасная: она разрешает аптекарям подновлять старые ярлыки, она доказывает, что все их старые снадобья, в отличие от таких же, но более позднего происхождения, отнюдь не ядовиты и будто бы даже помогают при самоотравлениях. Это реклама средств, вновь вошедших в моду; теперь редко когда на какой-нибудь этикетке можно обнаружить внизу слабый след предшествующей моды: каракули, удостоверяющие, что лекарство было подвергнуто тщательному обеззараживанию. Кроме того, теория самоотравления организма способствует успокоению больного: больной радуется, что его паралич — всего-навсего недомогание, вызванное самоотравлением организма. Случилось, однако ж, так, что, когда в Бальбек на несколько дней прибыл великий князь, у него сильно распух глаз, и великий князь пригласил Котара — тот объяснил воспаление самоотравлением организма, прописал обезвре-

живающий режим и взял несколько сот франков (за меньшую сумму профессор утруждать бы себя не стал). Опухоль, однако, не опадала, великий князь обратился к заурядному бальбекскому лекарю, и лекарь через пять минут извлек из глаза соринку. На другой день все как рукой сняло. И все же более опасным соперником являлся для Котара один знаменитый психиатр. Это был румяный, жизнерадостный мужчина — жизнерадостный не только потому, что, постоянно имея дело с душевными болезнями, сам он на свое здоровье пожаловаться не мог, но и потому, что для успокоения больных он считал нужным смеяться громким смехом как при входе к ним, так равно и при уходе, что не мешало ему потом руками как у атлета помогать набрасывать на них смирительную рубашку. Когда вы с ним заговаривали о чем-нибудь в обществе — о политике или о литературе, — он выслушивал вас с внимательной благожелательностью, точно спрашивая: «Ну так что же?» — и сразу своего мнения не высказывал, как если бы его пригласили на консультацию. Но, сколько бы ни завидовал Котар его таланту, он не мог не считаться с тем, что в своей узкой области это специалист. Поэтому всю свою ярость он обрушивал на дю Буль-бона. Я решил ехать домой и

вскоре распрощался с другом Вердюренов, пообещав профессору как-нибудь съездить к ним.

То, что он сказал про Альбертину и Андре, нанесло мне глубокую рану, но мучиться я начал не сразу, как это бывает при отравлениях, которые дают себя знать по истечении известного срока.

В тот вечер, когда я посылал лифтера за Альбертиной, она, несмотря на его уверения, так и не явилась. Все обаяние женщины не столь сильно воспламеняет страсть, как некоторые фразы этой женщины вроде следующей: «Нет, вечером я занята». Если мы находимся в кругу друзей, то эта фраза нас не задевает; весь вечер мы веселимся, женский образ не рисуется перед нами; он погружен в особый раствор; когда же мы приходим домой, то сразу обнаруживаем снимок, уже проявленный и очень ясный. Мы сознаем, что теперь мы бы уже не расстались с жизнью так легко, как накануне: мы и сейчас не боимся смерти, но самая мысль о разлуке нам представляется непереносимой.

Впрочем, хотя и не после часа ночи (об этом крайнем сроке мне сказал лифтер), а только после трех я уже не мучился, как прежде, от сознания, что в приходе Альбертины все меньше и меньше вероятности. Когда я окончательно убедился, что

она не придет, я нашел в этом для себя полное успокоение, это меня освежило; проведенная мною ночь явилась для меня просто-напросто одной из многих ночей, когда мы с Альбертиной не виделись, — из этого я исходил. А затем уже мысль, что я увижу Альбертину завтра или еще как-нибудь, обрисовываясь над пустотой, с которой я уже примирился, становилась для меня особенно отрадной. Иной раз, в вечера ожидания, тоску вызывает лекарство, которое мы приняли. Томящийся в поисках источника своей тоски смотрит не туда — он думает, что не находит себе места из-за той, которая все не идет. Страсть в этом случае, подобно некоторым нервным болезням, распаляется неправильным объяснением причины острой боли. Однако пытаться давать правильное объяснение — по крайней мере в области любовной страсти — бесполезно, ибо любовная страсть (чем бы она ни вызывалась) всегда обманчива.

На другой день я получил от Альбертины письмо, в котором она извещала меня, что только сейчас вернулась, что моя записка ее уже не застала, а что вечером она, с моего разрешения, приедет со мной повидаться, и в словах ее письма, как в тех, что она мне сказала однажды по

телефону, я как будто ощутил испытанное ею наслаждение, ощутил присутствие тех людей, которых она предпочла мне. Я вновь был охвачен желанием узнать, что она делала, охвачен болезненным любопытством — этим потаенным чувством любви, которое всегда с нами, и на одну минуту мне показалось, что оно привяжет меня к Альбертине, но оно ограничилось тем, что затрепетало, не трогаясь с места, и последние его отголоски затихли прежде чем оно успело двинуться.

Во время моего первого приезда в Бальбек я — быть может, так же как и Андре, — не разобрался в характере Альбертины. Я думал, что она легкомысленна, и не был уверен, смогут ли все наши мольбы удержать ее и не пустить на garden party, заставить ее отказаться от прогулки на ослах, от пикника. Во время второго моего приезда я начал подозревать, что ее легкомыслие — личина, что garden party — ширма, а может быть, и просто выдумка. В разных формах проявлялось одно и то же (я говорю только о том, что было мне видно сквозь стекло, особой прозрачностью не отличавшееся, а что происходило за стеклом на самом деле — этого я знать не мог). Альбертина, употребляя самые сильные выражения, объясня-

ется в нежных чувствах ко мне. Потом смотрит на часы — ей надо ехать в Энфревиль к одной даме, будто бы принимающей гостей в пять часов ежедневно. Меня мучит подозрение, да к тому же еще нездоровится, и я прошу, я умоляю Альбертину побыть со мной. Нет, это невозможно (какое там, у нее в распоряжении всего пять минут), иначе эта не очень радушная, обидчивая и, как уверяет сама же Альбертина, ужасно скучная дама рассердится. «Но все-таки можно же и не ехать». — «Нет, тетя учила меня, что вежливость — прежде всего». — «Но ведь вы при мне так часто бывали невежливы!» — «Тут особые обстоятельства: дама на меня разозлится и накрутит тетю. А у нас с тетей и без того натянутые отношения. Тете хочется, чтобы я хоть раз съездила к ней». — «Да ведь она принимает каждый день». Поняв, что «завралась», Альбертина выставляет другую причину: «Да, каждый день. Но сегодня я назначила у нее свидание моим приятельницам. Мне будет не так скучно». — «Альбертина! Раз вы боитесь, как бы вам не было там скучновато, и все-таки решаетесь оставить меня больного, несчастного, одного, значит, вы предпочитаете даму и приятельниц мне?» — «Что там будет скучно — это мне совершенно безразлично. Я ради

приятельниц. Я привезу их домой в моей двуколке. Иначе им оттуда не выбраться». Я возразил Альбертине, что поезда из Энфревиля ходят до десяти вечера. «Это верно, но, понимаете, может быть, нас попросят остаться ужинать. Хозяйка очень гостеприимна». — «А вы откажитесь». — «Тетя на меня и за это рассердится». — «Ну так поужинайте и вернитесь с десятичасовым». — «Разве что так». — «Ведь если ужинать в городе, то вы не успеете на свой поезд. А знаете что, Альбертина: все можно устроить очень просто. Я чувствую, что на воздухе мне будет лучше; раз вы боитесь обидеть даму, я вас провожу до Энфревиля. Не беспокойтесь: я не дойду до Башни Елизаветы (вилла этой дамы), я не увижу ни дамы, ни приятельниц». Альбертина была ошеломлена. Голос у нее прервался. Она сказала, что от морских купаний ей не лучше. «Вам, может быть, не хочется, чтобы я вас провожал?» — «Как вы могли подумать! Вы же отлично знаете, что гулять с вами — это для меня самое большое удовольствие». Альбертина круто повернула. «Раз мы с вами отправимся на прогулку, — предложила она, — то не лучше ли пойти в другую сторону от Бальбека? Вместе бы поужинали. Как бы это было чудесно! Ведь там же гораздо красивее. От

Энфревиля меня начинает тошнить, как, впрочем, и от всех этих так называемых „зеленых уголков“». — «Да ведь приятельница вашей тети обидится, если вы к ней не приедете». — «Ну так пусть разобидится». — «Нет, нет, не надо обижать людей». — «Да она и внимания-то не обратит, она принимает каждый день; приеду ли я завтра, послезавтра, через неделю, через две — это не имеет никакого значения». — «А ваши приятельницы?» — «Ах, они меня столько раз надували! Теперь моя очередь». — «Но там, куда вы меня зовете, после девяти поезда не ходят». — «Ну и что же? До девяти — это замечательно! И вообще, никогда не надо думать, на чем вы доберетесь до дому. Всегда подвернется тележка, велосипед, в крайнем случае — на своих на двоих». — «Всегда подвернется! Экая вы шустрая, Альбертина! В стороне Эифревиля, где полустанки следуют один за другим, — да, там подвернется. Но в стороне… — там уж дело другое». — «Даже и в той стороне. Ручаюсь, что привезу вас обратно целым и невредимым». Я догадывался, что Альбертина отказывается ради меня от чего-то такого, о чем у нее уже был уговор и что она от меня скрывала, а еще я догадывался, что кто-то будет чувствовать себя таким же обездоленным, каким

чувствовал себя я. Убедившись, что ее желание неисполнимо, раз я буду провожать ее, она передумала. Она знала, что все еще можно будет потом поправить. Как у всех женщин, которые ведут сложную жизнь, у нее была точка никогда не ослабевающей опоры: подозрительность в сочетании с ревностью. Умышленно она их, разумеется, не вызывала, напротив. Но влюбленные всегда настороже, они во всем чуют ложь. Альбертина была не лучше других — она знала по опыту (не догадываясь, что этим она обязана ревности), что тот, кого она в один из вечеров обманула, безусловно, вернется к ней. Незнакомец, к которому она не явится на свидание из-за меня, будет страдать, но от этого он только еще сильнее привяжется к ней (Альбертине была неясна только причина) и, чтобы не страдать, придет к ней сам — так поступил бы на его месте и я. Но у меня не было желания делать больно ей, утомлять себя, становиться на страшный путь розысков, на путь многообразного, нескончаемого надзора. «Нет, Альбертина, я не хочу портить вам удовольствие, поезжайте к вашей энфревильской даме или даже к тому, кто скрывается под этим псевдонимом, — мне это безразлично. Но я не пойду с вами по одной — единственной

причине: вам этого не хочется, прогулка, которую вы совершили бы со мной, — не та, о которой вы мечтали, и вот доказательство: вы раз пять, если не больше, сами себе противоречили — и даже не замечали». Бедная Альбертина, вообразив, что противоречия, которые она не заметила, имеют особую важность, испугалась. Она точно не помнила, что именно она налгала. «Очень может быть, что я себе противоречила. От морского воздуха у меня в голове все перепуталось. Я сплошь да рядом называю не те фамилии». И вот тут (мне было ясно, что она не собирается тратить много ласковых слов, чтобы меня разубедить), как только я выслушал ее признание в том, о чем я лишь смутно догадывался, меня опять словно ранило. «Ну что ж, так — так так, я ухожу, — сказала она трагическим тоном, но не удержалась — посмотрела на часы, чтобы удостовериться, не опоздала ли она в другое место: ведь я же освободил ее от необходимости провести вечер со мною. — Вы очень злой. Я все меняю, чтобы провести с вами славный вечерок, а вы не хотите, да еще утверждаете, что я лгу. Вы никогда еще не были со мной таким жестоким. Море будет мне могилой. Я вас больше не увижу. (При этих словах сердце у меня забилось, хотя я был уверен,

что она придет ко мне завтра же, и так оно и оказалось.) Я утоплюсь, я брошусь в воду». — «Как Сафо[163]». — «Опять вы меня оскорбляете: вы берете под сомнение не только мои слова, но и мои поступки». — «Да нет же, деточка, у меня не было никакой задней мысли, клянусь вам, ведь вам известно, что Сафо кинулась в море». — «Нет, нет, я вышла у вас из доверия». На часах было без двадцати; Альбертина, боясь сорвать встречу, второпях еле со мной простилась (надо отдать ей справедливость, она за это передо мной извинилась, придя ко мне на другой день, — вернее всего, то лицо на другой день было занято) и вылетела с отчаянным криком: «Прощайте навсегда!» И быть может, она действительно была в отчаянии. Яснее меня сознавая, что она сейчас делает, Альбертина, относившаяся к себе строже и вместе с тем снисходительнее, чем я к ней, все-таки, быть может, сомневалась: приму ли я ее после такого расставания? А ведь она, как я себе представляю, была ко мне привязана — и так крепко, что другое лицо ревновало ее сильнее, чем я.

Несколько дней спустя, когда мы с ней были в танцевальном зале бальбекского казино, туда

[163] Примечания: 163

«Как Сафо». — По преданию, греческая поэтесса Сафо (VII в. до н. э.) бросилась с Левкадской скалы в море от безнадежной любви к Фаону.

пошли родная и двоюродная сестры Блока, обе очень похорошевшие за последнее время, но из-за моих подружек я перестал с ними здороваться, потому что младшая (сестра двоюродная) жила с актрисой, с которой она познакомилась во время первого моего приезда в Бальбек, и это ни для кого не являлось тайной. Андре, услышав намек, сделанный кем-то вполголоса, сказала мне: «Мы с Альбертиной на этот счет сходимся — мерзее ничего быть не может». Альбертина, сидевшая рядом со мной на диванчике и беседовавшая, повернулась спиной к девицам предосудительного поведения. И все же я заметил, что до того, как сделать такое движение, в ту самую минуту, когда вошли мадемуазель Блок и ее сестра, взгляд моей подружки внезапно приобрел напряженную сосредоточенность, и эта сосредоточенность придавала лицу бедовой девчонки серьезное, даже многозначительное выражение, а затем сменилась грустью. Впрочем, Альбертина сейчас же перевела глаза на меня, но их взгляд оставался все таким же до странности неподвижным и задумчивым. Мадемуазель Блок и ее сестра громко хохотали, выкрикивали что-то не совсем приличное и наконец ушли, и тут я спросил Альбертину, не эта ли маленькая блондинка

(подруга актрисы) вчера получила приз на корсо. «Не знаю, — ответила Альбертина, — а разве одна из них блондинка? Откровенно говоря, они меня не очень занимают, я их не рассматривала. Разве одна из них блондинка?» — обратившись к трем своим подругам, безучастным тоном спросила она. Речь шла о девицах, которых Альбертина ежедневно встречала на набережной, а потому в этой поразительной ее неосведомленности было что-то едва ли не притворное. «Они, по-моему, тоже не очень внимательно нас рассматривали», — сказал я Альбертине, быть может руководимый не осознанным мною желанием утешить ее, — если она любит женщин, — указав ей на то, что она не обратила на себя их внимания, и на то, что вообще даже у наиболее развращенных не принято проявлять интерес к незнакомым девушкам. «Они нас не рассматривали? — подхватила Альбертина, не подумав. — Да они только этим и занимались». — «Вы-то почем знаете? — спросил я. — Вы же к ним повернулись спиной». — «А это что?» — возразила она, показывая на прямо против нас вделанное в стену большое зеркало, которое я не заметил, но от которого, как это я понял только теперь, моя подружка, разговаривая со мной, ни на мгновение не отрывала своих

красивых озабоченных глаз.

С того дня, когда Котар вошел со мной в маленькое энкарвильское казино, я, хотя и не разделяя его мнения, по-иному стал смотреть на Альбертину; один вид ее возбуждал во мне злобу. Я и сам изменился — в той мере, в какой она теперь представлялась мне не прежней. Она уже не вызывала во мне добрых чувств; ей в глаза, да и за глаза, если только я был уверен, что мои слова будут ей переданы, я говорил о ней крайне оскорбительные вещи. Но порой мое отношение к ней изменялось к лучшему. Однажды я узнал, что Альбертина и Андре получили приглашение от Эльстира. Будучи убежден, что они приняли приглашение в расчете на то, что по дороге домой им, словно пансионеркам, удастся порезвиться, поиграть в особ предосудительного поведения и, не признаваясь в этом друг дружке, испытать наслаждение, недоступное девственницам, — наслаждение, при одной мысли о котором у меня больно сжималось сердце, — я без предупреждения, чтобы смутить их и лишить Альбертину удовольствий, которые она предвкушала, явился неприглашенный к Эльстиру. Но застал я у него только Андре. Альбертина решила пойти к нему в другой день вместе с теткой. Тут я подумал, что

Котар, скорее всего, ошибся; приятное чувство, появившееся у меня, когда я увидел Андре одну, потом еще оставалось в моей душе и смягчало неприязнь к Альбертине. Но продолжалось это столько же, сколько длится временное улучшение в состоянии слабых здоровьем, хрупких людей, которые снова заболевают от малейшего пустяка. Альбертина затевает с Андре игры, далеко не заходящие, но, пожалуй, не совсем невинные; это подозрение мучило меня, и в конце концов я гнал его от себя. Как только я излечивался от него, оно возрождалось в другой форме. Я видел, как Андре со свойственной ей грацией, ластясь к Альбертине, кладет ей голову на плечо и, полузакрыв глаза, целует ее в шею; или они переглядывались; или кто-нибудь между прочим сообщал, что видел, как они вдвоем шли купаться, — все эти мелочи обычно носятся в воздухе, и большинство людей на протяжении целого дня впитывает их без ущерба для здоровья и не портя себе настроение, но человек мнительный от них заболевает, и для него опять начинается полоса страданий. Иной раз я, не видя Альбертины, ничего о ней не слыша, вдруг вспоминал позу, в какой она сидела рядом с Жизелью, — позу, которая тогда мне казалась невинной; теперь

этого было достаточно, чтобы нарушить обретенное мною спокойствие; более того: теперь я испытывал потребность в отравленном воздухе, я, как выразился бы Котар, сам себе впрыскивал яд. В такие минуты я перебирал в памяти все, что мне было известно о любви Свана к Одетте, о том, что Свана вечно обманывали. В сущности, если вдуматься, гипотеза, с помощью которой я исподволь составил себе полное представление о характере Альбертины и под влиянием которой я строил мучительные для меня предположения о каждом моменте ее жизни, так как прослеживать эту жизнь шаг за шагом у меня не было возможности, — моя гипотеза представляла собой не что иное, как воспоминание, как навязчивую идею о характере г-жи Сван, каким мне его изображали. Рассказы о нем способствовали тому, что теперь я фантазировал об Альбертине: будто она нехорошая девушка, будто она так же блудлива и так же ловко умеет проводить за нос, как старая потаскушка, и представлял себе, сколько бы мне пришлось из-за нее вы|страдать, если б я ее полюбил.

Однажды, когда мы все собрались на набережной около Гранд-отеля, я наговорил Альбертине много обидного и грубого, а Розамунда сказала:

«Как же вы все-таки к ней изменились! Раньше всё — для нее, ее слово — закон, а теперь ее можно выбросить, как ненужную тряпку!» Чтобы еще резче подчеркнуть мое нерасположение к Альбертине, я намеревался осыпать ласковыми словами Андре, ибо я рассуждал так: если Андре и предается тому же самому пороку, что и Альбертина, все-таки она заслуживает большего снисхождения из-за своей болезненности и неврастеничности, но в эту минуту на перпендикулярной к набережной улице, на углу которой мы стояли, показалась коляска маркизы де Говожо, запряженная двумя лошадьми, трусившими рысцой. Председатель суда направился было к нам, но при виде коляски тут же отпрянул, чтобы не подумали, будто он водит с нами компанию; затем, решив, что маркиза может его заметить, отвесил ей почтительнейший поклон. Но коляска покатила не по Морской улице, как этого можно было скорей всего ожидать, а скрылась во дворе отеля. Минут через десять запыхавшийся лифтер подбежал ко мне и доложил: «Маркиза де Гужомо приехала, чтобы вы ее повидали. Я поднимался к вам в номер, искал в читальне — нигде не нашел. По счастью, мне пришло в голову поглядеть на пляже». Только успел он

кончить свой рассказ, как я увидел, что ко мне направляется вместе с невесткой и каким-то в высшей степени церемонным господином маркиза, вероятно приехавшая сюда после утреннего приема или «чашки чаю» где-нибудь поблизости, согнувшаяся не столько под бременем лет, сколько под тяжестью множества предметов роскоши, которыми она была обвешана, ибо маркиза держалась того мнения, что учтивее по отношению к знатным и приличнее ее званию нацепить на себя как можно больше всяких побрякушек, чтобы все видели, что она «разодета в пух и прах». В сущности, именно «высадки» семейства Говожо в отеле так боялась моя бабушка, скрывавшая от Леграндена, что мы собираемся в Бальбек. Мама тогда посмеивалась над ее страхами ввиду этого могущего совершиться события. И вот оно все-таки наконец произошло, но по-иному и без участия Леграндена. «Мне можно остаться? Я вам не помешаю? — спросила меня Альбертина (на глазах у нее все еще блестели вызванные моими резкостями слезы; я сделал вид, что не заметил их, но в глубине души обрадовался). — Мне надо вам кое-что сказать». На парик маркизы де Говожо была кое-как надета шляпа с перьями, над которыми возвышалась сапфировая булавка,

словно знак отличия, который носить надо, но которого вполне достаточно, который все равно куда поместить, изящество которого относительно, неподвижность — не обязательна. Несмотря на жару, почтенная дама была в горностаевой пелерине, надетой поверх черной накидки, похожей на далматику, — словом, одета она была не в соответствии с температурой воздуха и с временем года, а с характером церемонии. На груди у маркизы де Говожо висел на цепочке, точно наперсный крест, знак баронского достоинства. Незнакомый господин оказался знаменитым парижским адвокатом, дворянином по происхождению, — он приехал на три дня в гости к Говожо. Он был из числа людей, которые в силу того, что у них накопился большой профессиональный опыт, начинают относиться к своей профессии с легким пренебрежением и от которых можно услышать, например, такие слова: «Я сознаю, что защищаю хорошо, но потому-то мне и неинтересно защищать» — или: «Мне уже неинтересно делать операции; я знаю, что я их делаю хорошо». Люди умные, в своем роде *артисты*, они отдают себе отчет, что их опытность, подкрепляемая шумным успехом, пронизана лучами ума, артистичности, которой у них не

отнимают даже собратья и которой они обязаны, хотя и не тонким, вкусом и взыскательностью. Они увлекаются живописью не великого, но все же очень незаурядного художника и на покупку его картин тратят немалую толику своих доходов. Друг Говожо, человек, кстати сказать, очень приятный, пристрастился к живописи Ле Сиданера.[164] Он любил книги, но только не тех писателей, у кого была рука настоящего мастера, а тех, кто набил себе руку. У этого дилетанта был только один неприятный недостаток: он постоянно употреблял избитые выражения, например: «подавляющее большинство», — подобные выражения придавали его речам какую-то особую многозначительность, а иногда — недоговоренность. Маркиза де Го-вожо сказала мне, что она обещала Роберу де Сен-Лу навестить меня и сегодня, воспользовавшись тем, что ее друзья устраивали утренний прием невдалеке от Бальбека, прямо оттуда заехала ко мне. «Вы знаете, что скоро он должен на несколько дней сюда приехать? Его дядя Шарлю отдыхает здесь у своей родственницы, герцогини Люксембургской; де Сен-Лу повидается с теткой, а заодно заедет в

[164] Примечания: 164

Ле Сиданер, Анри (1862–1939) — французский художник, близкий к импрессионизму и символизму.

свой полк — там его по-прежнему очень любят и уважают. У нас часто бывают офицеры, и они все, как один, его превозносят. Пожалуйста, доставьте нам удовольствие: приезжайте к нам оба в Фетерн». Я познакомил маркизу с Альбертиной и с ее подружками. Маркиза де Говожо представила нас своей невестке. Невестка всегда была холодна с жившими поблизости от Фетерна дворянчиками, у которых ей поневоле приходилось бывать, всегда была крайне сдержанна из боязни, как бы не уронить себя, но тут, здороваясь со мной, она ласково улыбнулась, успокоенная и обрадованная тем, что видит перед собой друга Робера де Сен-Лу, а Сен-Лу, у которого было больше светской хитрости, чем он это показывал, уверил ее, будто бы я очень близок с Германтами. Она знала две совершенно разные формы проявления вежливости, и этим она отличалась от своей свекрови. Если бы меня познакомил с ней ее брат Легранден, то по отношению ко мне она в лучшем случае проявила бы первую, нестерпимую форму. Но для друга Германтов она не напасалась улыбок. Самым удобным помещением для приема гостей была в отеле читальня, где прежде мне было так страшно и куда теперь я входил десять раз на дню и откуда выходил, когда хотел, чувствуя себя

полным хозяином, подобно тем не очень опасным сумасшедшим, которые так давно находятся в лечебнице, что доктор стал доверять им ключ Итак я предложил маркизе де Говожо пройти в читальню. В читальне я теперь уже не робел, никакой прелести она для меня уже не представляла — ведь лица предметов меняются в наших глазах, как и лица человеческие, — а потому я без малейшего волнения предложил маркизе туда пройти. Но маркиза предпочла побыть на свежем воздухе, и мы сели на террасе отеля. Здесь я обнаружил книгу г-жи де Севинье, которую мама впопыхах забыла, спасаясь бегством от моих гостей. Не меньше бабушки опасаясь нашествия посторонних, она из боязни, что ей не удастся вырваться, если ее окружат, убегала сломя голову, и мы с отцом всегда над нею подшучивали. У маркизы де Говожо в той же руке, в которой она держала зонтик, были вышитые мешочки, корзиночка, расшитый золотом кошелек с гранатового цвета шнурочками и кружевной носовой платок. Я бы на ее месте поспешил сложить все на стул, но я сознавал, что просить ее расстаться с этими украшениями, придававшими особую пышность архиерейскому объезду ее епархии, ее светскому пастырству, — и неприлично, и

бесполезно. Мы смотрели на спокойное море, над которым белыми венчиками в одиночку летали чайки. Опустившись до «среднего регистра», до которого нас низводит светский разговор, а равно и желание произвести выгодное впечатление, — произвести не с помощью наших истинных достоинств, нам самим неизвестных, а с помощью качеств, которые, как нам представляется, должны ценить в нас те, кто ведет с нами беседу, — я невольно заговорил с г-жой де Говожо в стиле ее брата. «В их неподвижности и белизне есть что-то от кувшинок», — сказал я про чаек. Действительно, чайки казались несдвигающимися метами для волн, а подбрасывавшие их волны, приближаясь к ним, по контрасту, вдохновленные стремлением к чему-то, как будто оживали. Говожо-старшая восхищалась чудным видом на море у нас в Бальбеке и завидовала мне — в Ла-Распельер (где она, кстати сказать, в этом году не жила) она видела море лишь издали. У нее были две особенности, связанные с ее восторженным отношением к искусствам (наиболее восторженным — к музыке) и с тем, что во рту у маркизы недоставало многих зубов. Стоило ей заговорить об эстетике — и у нее, как у животных в пору течки, начиналась гиперсекрецня слюнных

желез: в углах беззубого рта у почтенного возраста дамы с чуть заметной растительностью над верхней губой появлялись капли, которым здесь было не место. Она их сейчас же проглатывала с глубоким вздохом, точно переводя дыхание. Если речь шла о какой-нибудь дивной музыке, она в упоении поднимала руки и произносила общие фразы, старательно жуя губами, а в случае надобности проводя звук через нос. До сих пор мне и в голову не приходило, что с пошлого бальбекского пляжа действительно открывается «чудный вид на море», но самые обыкновенные слова маркизы де Говожо изменили мое отношение к этому пейзажу. А вот — маркизе я об этом сказал — о бесподобной картине, открывавшейся взору из стоявшей на вершине холма Ла-Распельер, из ее большой гостиной с двумя каминами, одна вереница окон которой выходила на море до Бальбека, сквозившее в самом конце сада, в листве, а другая вереница — на долину, я со всех сторон слышал хвалебные отзывы. «Благодарю вас! Как это хорошо сказано: море, сквозящее в листве! Вид и правда чарующий, похоже на… веер». По глубокому вздоху, необходимому для того, чтобы удержать слюну и осушить усы, я понял, что комплимент был

искренний. А маркиза, урожденная Легранден, хранила холодно-презрительный вид, однако вызывали у нее презрение не мои слова, а слова ее свекрови. Она относилась пренебрежительно к ее складу ума, а к пренебрежению еще примешивалась досада на то, что маркиза любезна со всеми, — она боялась, что из-за этого у людей сложится о семействе Говожо недостаточно высокое мнение. «А какое красивое название! — продолжал я. — Меня всегда интересует происхождение названий». — «Происхождение этого названия я могу вам пояснить, — ласково сказала почтенная дама. — Это родовое имение моей бабушки Арашпель; род Арашпель не знатный — это просто хороший и очень древний провинциальный род». — «То есть как не знатный? — недовольным тоном перебила ее невестка. — В Байё, в соборе,[165] изображение его герба занимает все окно, а фамильная усыпальница находится в главной церкви в Авранше.[166] Если ваше любопытство

[165] Примечания: 165

В Байё, в соборе… — Речь идет о соборе Богоматери во французском г. Байё, знаменитом памятнике готической архитектуры (XIII в.).

[166] Примечания: 166

Авранш — город в департаменте Манил. Готический собор в Авранше, построенный в XII веке, обрушился в 1790 г., на его месте была воздвигнута церковь Сент-Сатурнен, сохранившая некоторые элементы прежней постройки, в частности портал XIII века.

возбуждают эти старинные названия, — продолжала она, — то вы опоздали на год. Невзирая на большие затруднения, связанные с переводом из одной епархии в другую, мы добились перевода в приход Крикто священника из того края, где у меня есть поместья, — это очень далеко отсюда, — из Комбре: там добрый пастырь стал неврастеником. К сожалению, морской воздух людям в таких преклонных летах, как он, не помогает: он стал еще большим неврастеником и вернулся в Комбре. Когда он был нашим соседом, ему доставляло удовольствие изучать древние хартии, и в конце концов он написал небезлюбопытную брошюрку о местных названиях. Понемногу он вошел во вкус, — говорят, остаток жизни он посвящает большой работе о Комбре и его окрестностях. Я пришлю вам его брошюру об окрестностях Фетерна. Это в полном смысле слова труд бенедиктинца.[167] Вы там найдете много интересного о нашей старой Распельер, которую моя свекровь недооценивает». — «Как бы то ни было, в этом году Ла-Распельер — не наша, она мне не принад-

[167] Примечания: 167

…труд бенедиктинца. — Монашеский орден бенедиктинцев, существовавший по уставу св. Бенедикта Нурсийского (480–543), был связан со школьной культурой позднего Рима и способствовал распространению просвещения в Европе.

лежит, — вмешалась Говожо — старшая. — Но у меня такое впечатление, что вы по натуре художник; вы должны были бы рисовать, а мне было бы так приятно показать вам Фетерн — он гораздо лучше Ла-Распельер!» С тех пор как Говожо сдали это свое владение Вердюренам, его господствующее местоположение внезапно утратило для них то, что в течение многих лет они особенно в нем ценили, — утратило свое преимущество перед другими окрестными владениями, заключавшееся в том, что оттуда открывался вид и на море и на долину, и вместе с тем столь же внезапно — и с большим опозданием — раскрыло им глаза на неудобство, состоявшее в том, что для того, чтобы приехать или уехать, всякий раз надо было подниматься или спускаться. Словом, вернее всего, маркиза де Говожо сдала Ла-Распельер не столько из финансовых соображений, сколько потому, что ей было жаль лошадей. Она говорила, в каком она восторге оттого, что в Фетерне море у нее всегда перед глазами, а между тем до этого в течение многих лет она проводила два месяца в Ла-Распельер и видела море только сверху, как бы в панораме. «В мои-то годы я только теперь начинаю открывать для себя море, — говорила маркиза, — и как же я им наслаждаюсь! Это для

меня такая радость! Я согласилась бы сдать Ла-Распельер за бесценок — лишь бы из-за этого мне пришлось жить в Фетерне».

«Поговорим о чем-нибудь более интересном, — сказала сестра Леграндена — она называла старую маркизу: „мама“, но с годами тон ее с ней становился все более дерзким. — Вот вы упомянули кувшинки. Вы, конечно, знаете кувшинки Клода Моне?[168] Это гениально. Эта картина особенно близка моей душе потому, что около Комбре, того городка, в окрестностях которого, как я вам говорила, находятся мои поместья...» Однако в тему Комбре она сочла за благо не углубляться. «Ах, это, наверно, из той серии пейзажей, о которой нам рассказывал Эльстир, величайший из современных художников!» — воскликнула до сих пор не проронившая ни слова Альбертина. «Сразу видно, что вы любите искусство!» — воскликнула маркиза де Говожо и с глубоким вздохом проглотила слюну. «Простите, но я предпочитаю Ле Сиданера», — улыбаясь, с видом знатока обратился к Альбертине адвокат. Но так как в былое время ему самому нравились или же

[168] Примечания: 168

...кувшинки Клода Моне. — Речь идет об одной из серий картин Моне, которые наряду с «Руанским собором», «Тополями» и «Стогами сена» характеризуют последний период его творчества.

он знал, что нравятся другим, «смелые приемы» Эльстира, то он добавил: «Эльстир — художник одаренный, в свое время он был даже передовым, но потом — не знаю почему — дальше не пошел и погубил свой талант». Говожо — невестка присоединилась к мнению адвоката об Эльстире, но, очень огорчив своего гостя, поставила рядом с Ле Сиданером Моне. О Говожо — младшей нельзя было сказать, что она глупа, но род ее ума, который она то и дело выставляла напоказ, был мне глубоко чужд. Между тем солнце садилось, чайки были теперь желтые, как кувшинки на другом полотне из той же серии Моне. Я сказал, что знаю эту серию, и (по-прежнему подражая манере говорить, характерной для ее брата, чье имя я все еще не решался назвать) высказал сожаление, что ее не было здесь вчера, так как в этот час она могла бы полюбоваться освещением, как на картинах Пуссена. Если бы какой-нибудь захудалый нормандский дворянин, который не был бы знаком с Германтами, сказал г-же Легранден — Говожо, что ей надо было приехать вчера, она, вне всякого сомнения, приняла бы вид оскорбленной гордости. Я же мог бы себе позволить гораздо большую фамильярность, а она все-таки являла бы собой восхитительное олицетворение

ласковой кротости; в этот безоблачный жаркий вечер я мог безвозбранно собирать мед с того большущего медового пирога, каким г-жа Говожо — младшая бывала редко и который на сей раз заменил печенье, которое я забыл предложить гостям. Однако имя Пуссена, не оказав влияния на любезность светской женщины, вызвало решительные возражения у любительницы искусства. Услышав это имя, она в шесть приемов, почти без передышек, прищелкивая языком, как это делают, чтобы выразить ребенку возмущение тем, что он валяет дурака, и чтобы он больше его не валял, проговорила: «Ради бога, рядом с таким художником, как Моне, самым настоящим гением, не ставьте банального, бездарного старика Пуссена! Я не собираюсь от вас скрывать, что для меня он — мазилка, да еще скучнейший из мазилок. Делайте со мной что хотите, но я не могу назвать это живописью. Моне, Дега, Мане — это художники! Но вот что любопытно, — продолжала она, вперив пытливый, восхищенный взор в невидимую даль, где перед ней маячила ее мысль, — вот что любопытно: прежде я больше любила Мане. Я и сейчас обожаю Мане — как можно его не обожать? — но все-таки, пожалуй, отдаю предпочтение Моне. Ах, эти его соборы!»

Она добросовестно, очаровательным тоном описывала мне эволюцию своего художественного вкуса. Чувствовалось, что для нее этапы его развития имеют не меньшее значение, чем разные манеры самого Моне. В том, что она изливала свои восторги именно мне, не заключалось для меня ничего особенно лестного, так как даже в обществе самой ограниченной провинциалки она уже через пять минут ощущала потребность высказать свои взгляды. Если какая-нибудь важная дама из Авранша, не отличавшая Моцарта от Вагнера, говорила в присутствии маркизы де Говожо: «За то время, что мы прожили в Париже, там не было никаких интересных новинок; мы только один раз пошли в Комическую оперу, смотрели „Пелеаса и Мелисанду“[169] — это ужасно», маркиза кипела, ей хотелось крикнуть: «Вы не правы, это маленький шедевр», ей хотелось «сразиться». Может быть, эту комбрейскую привычку она переняла у сестер моей бабушки, которые называли это «биться за правое дело» и которые любили ужины, когда, как это ста-

[169] Примечания: 169

«*Пелеас и Мелисанда*» («Пеллеас и Мелизанда») — лирическая драма французского композитора Клода Дебюсси, написанная на текст одноименной пьесы М. Метер-линка. Премьера оперы состоялась в Париже в 1902 г.

новилось известно за неделю, им предстояло защищать своих богов от филистеров. Маркиза де Говожо любила «разгонять кровь», «грызясь» из-за искусства, как иные грызутся из-за политики. Она вступалась за Дебюсси, как вступилась бы за свою хорошую знакомую, которую обвиняли бы в безнравственности. А между тем не могла же она не сознавать, что, сказав: «Да нет, это маленький шедевр», она была не в силах у человека, которого ставила на место, сразу поднять его художественное восприятие на такую высоту, где они тут же заговорили бы на одном языке и где всякие споры между ними прекратились бы мигом. «Надо будет спросить у Ле Сиданера, какого он мнения о Пуссене, — обратившись ко мне, сказал адвокат. — Он скрытник, молчун, но я его все-таки выпотрошу».

«А кроме того, — продолжала маркиза де Говожо, — Я терпеть не могу закаты — это романтика, опера. Потому-то я и ненавижу дом моей свекрови с его южными растениями. Вот вы посмотрите — это что-то вроде парка в Монте-Карло. Потому-то мне больше нравится ваше побережье. Оно печальнее, естественнее; тут есть дорожка, откуда море не видно. В дождливые дни тут только слякоть, но это целый мир. Это как в Венеции: я

не выношу Большого канала и вместе с тем не знаю ничего более трогательного, чем ее улочки. Все дело в атмосфере». — «Но ведь, — начал я, сознавая, что единственный способ реабилитировать Пуссена в глазах маркизы де Говожо — это довести до ее сведения, что он опять в моде, — Дега утверждает, что, по его мнению, нет ничего прекраснее картин Пуссена в Щантильи[170]». — «А что это такое? Я не знаю его шантильийских работ, — сказала маркиза де Говожо, — я могу судить только о луврских, и они ужасны». — «А Дега в полном восторге и от них». — «Надо еще раз посмотреть. Я их подзабыла», — после минутного молчания ответила она таким тоном, как будто положительное мнение о Пуссене, которое ей волей-неволей придется скоро высказать, должно зависеть не от того, что она от меня узнала, а от дополнительной, и на сей раз уже окончательной, проверки, которую она рассчитывала произвести, чтобы переубедить себя.

Удовольствовавшись тем, что она начала отходить от своих прежних взглядов, — а это было

---

[170] Примечания: 170

...картин Пуссена в Шантильи. — Имеются в виду картины Никола Пуссена (1594–1665) «Избиение младенцев», «Тесей», «Леда», «Детство Вакха», хранящиеся в музее замка Шантильи. В конце XIX века Дега способствовал возрождению интереса к творчеству Пуссена.

действительно начало пересмотра, потому что она хотя пока и не восхищалась картинами Пуссена, а все-таки откладывала приговор до вторичного обсуждения, — я прекратил этот разговор, становившийся для нее пыткой, и, обратившись к ее свекрови, сказал о том, как много я слышал о дивных цветах в Фетерне. Она скромно заговорила, точно о садике при доме священника, о саде за ее домом, куда она по утрам прямо из комнаты выходит в капоте кормить павлинов, собирать снесенные за ночь яйца и рвать циннии и розы, которые, выстроившись потом на дороге обеденного стола, образовывали бордюр вокруг жаркого или взбитых яиц и напоминали ей аллеи. «Это верно, роз у нас много, — подтвердила она, — наш розарий даже слишком близко от дома, у меня от этого голова болит. Гораздо приятнее на террасе в Ла-Распельер: запах роз туда издали доносит ветер, и поэтому там аромат не такой одуряющий». Я обратился к невестке. «Совсем как в „Пелеасе“, — зная ее пристрастие к модернизму, заметил я, — там ведь тоже запах роз долетает до террасы. Им пропитана и партитура: у меня hay

fever,[171] и rose fever[172] и, когда начиналась эта сцена, я каждый раз начинал чихать».

— «Пелеас» — это такая прелесть! Я им просто брежу! — воскликнула Говожо — младшая. Приближаясь ко мне и делая движения, какие делала бы заигрывающая со мной дикарка, шевеля пальцами так, словно извлекала звук из невидимого инструмента, она начала напевать, как ей, видимо, казалось, из сцены прощания Пелеаса, и все это — с яростным упорством, как будто ей было чрезвычайно важно напомнить мне именно сейчас эту сцену или, точнее, показать мне, что она ее помнит. — По-моему, это еще лучше «Парсифаля», — добавила она, — в «Парсифале», даже в самых красивых местах, возникает гало мелодических фраз, а коль скоро мелодических, значит, слабых. — «Я знаю, что вы замечательная пианистка, — обратился я к Говожо — старшей. — Мне бы очень хотелось вас послушать». Чтобы не принимать участия в беседе, Легранден — Говожо смотрела на море. Будучи уверена в том, что ее свекровь равнодушна к музыке, она сводила ее блестящий талант, кото-

---

[171] Примечания: 171
Сенная лихорадка (англ.)

[172] Примечания: 172
Цветочная лихорадка (англ.)

рый признавали все и который отрицала только она одна, к голой технике, никого не способной затронуть. Правда, у единственной оставшейся в живых ученицы Шопена,[173] были основания утверждать, что манера исполнения учителя и то «чувство», с каким он играл, передались через нее только маркизе де Говожо, но сравнение чьей-либо игры с игрою Шопена отнюдь не являлось комплиментом в глазах сестры Легранден, никого так не презиравшей, как польского композитора. «Ах, они улетают!» — воскликнула Альбертина, показывая на чаек, — сбросив на мгновение цветочную свою личину, они все вместе поднимались к солнцу. «Гигантские крылья мешают им ходить по земле», — путая чаек с альбатросами[174] изрекла Говожо — младшая. «Я их очень люблю, я насмотрелась на них в Амстердаме, — сказала Альбертина. — От них пахнет морем, даже в камнях мостовой им чуется морской запах». — «Так вы были в Голландии, вы познакомились с Вермеером?» — спросила

---

[173] Примечания: 173

...у единственной оставшейся в живых ученицы Шопена... — Согласно распространенной легенде, Шопен имел целый легион учеников.

[174] Примечания: 174

...путая чаек с альбатросами... — Намек на стихотворение Шарля Бодлера «Альбатрос», вошедшее в сборник «Цветы зла».

ее с высоты своего величия Говожо — младшая таким тоном, как если бы задала вопрос: «Вы познакомились с Германтами?» — дело в том, что снобизм, меняя объекты, не меняет интонации. Альбертина ответила, что не познакомилась, — она думала, что речь идет о живом человеке. Но это прошло незамеченным. «Мне было бы очень приятно поиграть вам, — сказала мне маркиза де Говожо. — Но, знаете, я ведь играю только такие вещи, которые для вашего поколения уже не представляют интереса. Я воспитывалась на Шопене», — добавила она, понизив голос: она боялась невестки; насколько ей было известно, Легранден — Говожо считала, что произведения Шопена — это не музыка, а следовательно, играть Шопена хорошо или плохо — это были для нее выражения бессмысленные. Она отдавала должное только мастерству свекрови, ее виртуозности. «Никто не заставит меня признать ее музыкантшей», — заключала свои суждения о ней Легранден — Говожо. Она мнила себя «передовой»; по ее собственному выражению, «все было для нее недостаточно левым» (правда, лишь в области искусства), она воображала, что музыка не только прогрессирует, но прогрессирует в одном направлении и что Дебюсси — это что-то вроде

сверх-Вагнера, это Вагнер, только чуть-чуть более передовой. Она не понимала, что хотя Дебюсси не вполне свободен от влияния Вагнера, в чем она сама убедилась несколько лет спустя, — ведь мы же, стремясь окончательно высвободиться из-под влияния того, над кем только что одержали победу, всегда пользуемся трофейным оружием, — а все-таки после того, как публика пресытилась произведениями чересчур многосмысленными, произведениями, в которых выражено все, Дебюсси начал стараться удовлетворить иную потребность. Само собой разумеется, теория сейчас же подводила основание под новое веяние — так в политике возникают теории, оправдывающие законы против конгрегации,[175] войны на Востоке.[176] (противоестественное воспитание, желтая опасность и т. д., и т. д.). Начали говорить о том, что стремительной эпохе нужно быстрое искусство, — это ничем не отличалось от утверждений, что будущая война больше двух

[175] Примечания: 175

Конгрегации — здесь: религиозные организации, руководимые монашескими орденами, имевшие большое влияние в системе среднего образования во Франции во второй половине XIX века. Борьба против конгрегации, продолжавшаяся с переменным успехом несколько десятилетий, вспыхнула с новой силой в 1899 г.

[176] Примечания: 176

...войны на Востоке. — Имеется в виду русско-японская война 1904–1905 гг.

недель не продлится или что из-за железных дорог придут в запустение захолустные уголки, которые так милы дилижансам, но что потом благодаря автомобилю они все-таки будут в почете. Рекомендовалось не утомлять внимание слушателя, как будто мы не обладаем разными видами внимания и как будто расшевелить наиболее возвышенные виды не зависит всецело от артиста! Ведь те, кто начинает зевать от скуки, прочтя десять строк посредственной статьи, каждый год ездят в Байрёйт, чтобы послушать тетралогию[177] Однако неминуемо должна была начаться и такая полоса, когда в течение некоторого времени о Дебюсси говорили, что он не выше Массне, а что перескакивание с верхов на низы у Мелисанды — это такая же дешевка, как в «Манон».[178] Ведь теории и школы — те же микробы или кровяные шарики: пожирают одна другую — и от этого зависит непрерывность бытия. Но тогда это время еще не настало.

---

[177] Примечания: 177

…*чтобы послушать тетралогию.* — Имеется в виду оперный цикл Р. Вагнера «Кольцо нибелунга».

[178] Примечания: 178

«Мамон» — опера французского композитора Жюля Массне (1842–1912), либретто которой было написано А. Мельяком и Ф. Жиллем по роману аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско». Первое представление состоялось 19 января 1884 г. в Париже.

На бирже повышение курса выгодно для ряда ценных бумаг, — вот так и некоторым авторам, прежде бывшим не в чести, новое веяние пошло на пользу: кое-кто из них действительно не заслуживал презрительного к себе отношения, а благодаря другим, единственно потому, что раньше их презирали, теперь, расхваливая их, можно было прослыть человеком новых взглядов. И даже в далеком прошлом пытались найти самобытный талант, на репутацию которого современное движение как будто не должно было бы повлиять, но о котором новые мастера, по слухам, отзывались с похвалой. Подобного рода отзывы зачастую объяснялись тем, что мастер, каков бы он ни был, до каких бы крайностей ни доходила его школа, в своих суждениях руководствовался собственным чутьем, отдавал должное любому таланту, и даже не столько таланту, сколько сладости порыва вдохновения, которую и он некогда вкусил и которая связывалась в его воображении с дорогим ему воспоминанием молодости. А в иных случаях они объяснялись тем, что некоторые художники другой эпохи воплотили в какой-нибудь самой простой своей вещи нечто похожее на то, что новый мастер — в чем он убеждался с течением времени — сам

намеревался осуществить. Такой мастер в старом мастере видел что-то вроде предтечи; как бы ни была различна форма их произведений, ему хотя бы на короткое время и хотя бы в известной мере становилась дорога родственность какого-нибудь их устремления. Есть мазки Тёрнера в творчестве Пуссена, есть фразы Флобера у Монтескье. А иногда слухи о любви мастера к старому художнику оказывались ложными, неизвестно кем распущенными и распространившимися в его школе. Но однажды названное имя тем не менее гремело благодаря фирме, которая выдвинула его как раз вовремя: ведь мастер до известной степени может быть волен в своих тяготениях, эти его тяготения могут свидетельствовать о том, что у него хороший вкус, а ученики руководствуются только теорией. Человеческое мышление, следуя обычным своим зигзагообразным путем, отклоняясь то в ту, то в другую сторону, вновь направило свет с высоты на некоторые забытые произведения, а стремление восстановить справедливость, возродить былое, вкус Дебюсси, его прихоть, слова, какие он, может быть, даже и не думал говорить, присоединили к этим произведениям произведения Шопена. Судьи, заслужившие всеобщее доверие, превозносили Шопена, успех

«Пелеаса» был ему выгоден, и звезда его взошла вновь: даже те, кто давно уже не слушал его, тут вдруг поспешили записаться в число страстных его поклонников, и хотя записывались они скрепя сердце, но старались убедить себя, что — по доброй воле. Легранден — Говожо часть года жила в провинции. Да и в Париже она по болезни выходила из дому редко. Это обстоятельство неблагоприятно отражалось на ее лексиконе: она считала модными выражения скорее уместные в письменной речи, но этого оттенка она не различала, так как книжный язык был ей доступнее разговорного. А ведь разговорный язык столь же необходим для того, чтобы знать новые веяния, как и для того, чтобы знать новые выражения. Между тем критика еще не провозгласила воскрешение ноктюрнов. Новость эта распространялась благодаря толкам среди молодежи. До Легранден — Говожо она не доходила. Я не отказал себе в удовольствии сообщить ей, но сообщить, обращаясь к свекрови, — так на бильярде, чтобы попасть в шар, ударяют от борта, — что Шопен отнюдь не вышел из моды и что это любимый композитор Дебюсси. «Вот как? Интересно!» — проговорила Легранден — Говожо, лукаво улыбаясь, как будто ей рассказали про какую-нибудь странность

автора «Пелеаса». Однако было совершенно ясно, что теперь она будет слушать Шопена почтительно и даже с удовольствием. После того как я сообщил новость, возвестившую маркизе-вдове, что настал час ее торжества, она посмотрела на меня благодарным, а главное — радостным взглядом. Глаза ее заблестели, как глаза Латюда[179] в пьесе под названием «Латюд, или Тридцать пять лет в тюрьме», а грудь начала вдыхать морской воздух с той жадностью, которую так живо изобразил в «Фиделио»[180] Бетховен — в той сцене, когда узники наконец-то получают возможность дышать «благотворным воздухом». Глядя на маркизу-вдову, я невольно подумал, что моей щеки сейчас коснется ее усатая губа. «Как, вы любите Шопена? Он любит Шопена, он любит Шопена», — ликующе загнусавила маркиза;

---

[179] Примечания: 179

Латюд, Жан Анри (1725–1805) — легендарный авантюрист, подготовивший покушение на маркизу де Помпадур и самолично разоблачивший его в надежде получить вознаграждение. Был заключен в тюрьму, где провел в общей сложности около тридцати пяти лет. «Латюд, или Тридцать пять лет в тюрьме» — историческая мелодрама Жильбера де Пиксерекура (1773–1844), «отца французской мелодрамы», и Анисе Буржуа (1806–1871), премьера которой состоялась 15 ноября 1834 г. В конце XIX века пьеса вновь шла на сценах парижских театров.

[180] Примечания: 180

«Фиделио» — единственная опера Бетховена, премьера которой состоялась в ноябре 1805 г. В финальной сцене звучит хор узников, освобожденных из страшного подземелья.

с точно таким же радостным изумлением она могла бы спросить: «Как, вы знакомы с графиней де Франкто?» — но разница заключалась бы вот в чем: какие у меня отношения с графиней де Франкто — это ей было совершенно безразлично а тот факт, что я знаю Шопена, привело ее в состояние какого-то артистического экстаза. Слюнной гиперсекреции оказалось недостаточно. Маркиза даже и не пыталась понять, какую роль в воскрешении Шопена сыграл Дебюсси, — она лишь почувствовала, что я за Шопена. И тут ее охватил восторг музыкантши. «Элоди! Элоди! Он любит Шопена! — Маркиза размахивала руками, грудь у нее поднималась. — Ведь я сразу почувствовала, что вы музыкант! — воскликнула она. — И теперь мне все понятно: такой ха-артист, как вы, не может не любить музыку Шопена. До чего же она прекрасна!» В ее голосе было нечто каменистое, словно для того, чтобы выразить свой восторг перед Шопеном, она в подражание Демосфену набрала в рот все камешки с морского берега. А потом начался прилив, и от него пострадала даже вуалетка, которую маркиза не успела вовремя поднять и которая из-за этого намокла, а потом маркиза вышитым носовым платком вытерла усы, которые она обрызгала слюной при одном

упоминании имени Шопена.

— Ах ты господи! — сказала, обратившись ко мне, Легранден — Говожо. — Моя свекровь засиделась — она забыла, что у нас ужинает мой дядя Ш'нувиль. Да и Гого не любит, чтобы его заставляли ждать. — Кто такой Гого, это осталось для меня непонятным: так скликают охотничьих собак — подумалось мне. Что же касается ее родственников Ш'нувилей, то дело было в следующем. С течением времени молодой маркизе перестало доставлять удовольствие произносить фамилию Шенувиль —«Ш'нувиль». А между тем ради этого удовольствия она, собственно, и вышла замуж. В других светских кругах, когда фамилии предшествовала частица «де», опускали звук «е» не в фамилии, а в частице, потому что, произнося, например, «госпожа д'Шнонсо», можно было сломать язык, и по установившемуся обыкновению там произносили «господин д'Шенувиль». Говожо придерживались противоположной, но не менее прочной традиции. Они всегда говорили: «Ш'нувиль». Если фамилии предшествовало: «мой родственник» или «моя родственница», то «е» неизменно исчезало в фамилии, но не в частице. (Отца этих Шенувилей все же называли «дядя», так как в Фетерне жиля люди не чересчур

изысканные и они не произносили «дяя», как Германты, которые нарочно коверкали язык, глотая согласные и произнося в нос иностранные имена, вследствие чего понять их речь было так же трудно, как язык старофранцузский или местный говор.) Все, кто заводил знакомство с семьей Говожо, получали соответствующее наставление насчет «Ш'нувилей» — наставление, в котором мадемуазель Легранден до времени не нуждалась. Однажды в гостях, услышав, как одна девушка говорит: «Моя тетя д'Юзэ», «Мой дяя де Руан», она не сразу узнала эти славные имена, потому что привыкла произносить их: «Юзес» и «Роан»; она была удивлена, смущена, сконфужена, как человек, который впервые увидел перед собой на обеденном столе недавно изобретенный прибор, которым он еще не научился пользоваться и который он не решается применить. Но всю ночь потом и на другой день она с восторгом повторяла: «Моя тетя Юзэ», не выговаривая конечного «с», — еще накануне эта фонетическая особенность поразила ее, но теперь иное произношение представлялось ей вульгарным, и когда одна из ее знакомых толковала о бюсте, сделанном «герцогиней д'Юзес», Легранден — Говожо сказала ей недовольно и презрительно: «Вы

хоть бы выговаривать-то научились правильно: мам д'Юзэ». Вот тогда-то она себе и уяснила, что, вследствие распада консистентных веществ на все менее и менее весомые элементы, большое и честным путем нажитое состояние, которое она получила в наследство от отца, ее широкая образованность, то, что она в Сорбонне не пропускала ни одной лекции Каро,[181] и Брюнетьера[182] равно как и ни одного концерта Ламурё,[183] — все это должно улетучиться и обрести наивысшую сублимацию в наслаждении — вдруг, и один прекрасный день, произнести: «Моя тетя д'Юзэ». С ее точки зрения, это не должно было помешать ей — по крайней мере первое время после свадьбы — бывать если не у тех своих приятельниц, которых она любила, но которыми готова была пожертво-

---

[181] Примечания: 181

Каро, Эльм Мари (1826–1887) — французский философ-спиритуалист, профессор Сорбонны, блестящие лекции которого привлекали внимание широких кругов образованной публики.

[182] Примечания: 182

Брюнетьер, Фердинанд (1849–1906) — выдающийся французский литературовед, преподаватель Эколь Нормаль, профессор Сорбонны и главный редактор влиятельного и старейшего французского литературного журнала «Ревю де Де Монд», академик. Пруст очень высоко ценил его творчество.

[183] Примечания: 183

Ламурё, Шарль (1834–1899) — французский скрипач и дирижер, страстный поклонник музыки Вагнера. С 1881 г. проводил так называемые «Новые концерты», которые впоследствии стали носить его имя.

вать, то, во всяком случае, у тех, которых она не любила, но которым ей хотелось давать обещание (а ведь ради этого она и выходила замуж): «Я представлю вас моей тетке д'Юзэ»; когда же она убедилась, что это не так-то просто, у нее появилось желание обещать: «Я представлю вас моей тетке де Ш'нувиль» — или: «Вы будете у меня ужинать вместе с четой Юзэ». Брак с маркизом де Говожо дал мадемуазель Легранден возможность произносить первую фразу, но не вторую, оттого что круг знакомств родителей ее мужа оказался не таким, каким она его себе рисовала и о каком продолжала мечтать. Так нот, заговорив со мной о Сен-Лу и употребив его выражение (я в беседе с ней пользовался выражениями Леграндена, а она, испытывая на себе силу внушения противоположного, изъяснялась со мной на языке Робера, который, в свою очередь, заимствовал его у Рашели, о чем Говожо — младшая не подозревала), приставив большой палец к указательному и полузакрыв глаза, точно она вглядывалась во что-то едва-едва уловимое — в то, что ей только сейчас удалось различить: «У него красивый ум», она начала петь ему дифирамбы, так что можно было подумать, уж не влюблена ли она в него (кстати сказать, ходили слухи, что в Донсьере

Робер был ее любовником), на самом же деле ей просто хотелось, чтобы я ему передал, что она о нем говорила, а еще ей хотелось облегчить себе таким образом переход к другой теме: «Вы очень дружны с герцогине!! Германтской. Я болею, почти не выхожу, мне известно, что у нее узкий круг знакомых, и мне это очень нравится, но мы с ней едва знакомы, а мне про free говорили, что это женщина необыкновенная». Я знал, что Говожо — младшая почти не знакома с герцогиней Германтской, а потому, чтобы она не подумала, что я хочу подчеркнуть свое преимущество перед ней, я уклонился от разговора о герцогине Германтской и сказал, что хорошо знал ее брата, г-на Леграндена. При упоминании этого имени ее лицо приняло столь же неопределенное выражение, какое приняло мое лицо при упоминании имени герцогини Германтской, но у нее к этому выражению примешалось еще и выражение неудовольствия: она решила, что я это сказал, чтобы унизить не себя, а ее. Но может быть, ее мучило, что она — урожденная Легранден? По крайней мере, в этом были убеждены сестры и другие родственницы ее мужа, провинциальные аристократки, ни с кем не знакомые и ничего не знавшие, завидовавшие маркизе де Говожо,

оттого что она была умна, образованна, богата и, до своей болезни, хороша собой. «Она только об этом и думает, это ее сводит с ума», — говорили эти злючки, как только заходила речь о маркизе де Говожо, всем и каждому, но преимущественно разночинцам, которым, если те были самодовольны и глупы, они, рассуждая о позорности разночинства, тем самым подчеркивали свое расположение именно к ним, но которым, если те были застенчивы, догадливы и принимали их слова на свой счет, они, будучи с ними крайне любезны, исподтишка подпускали шпильки, а это доставляло дамам особое удовольствие. Но они плохо знали свою невестку. Она совсем не страдала оттого, что она — урожденная Легранден, она просто об этом забыла. Напоминание об этом задело ее, и она умолкла — она сделала вид, что не поняла меня, и не сочла нужным не только уточнить, но хотя бы просто подтвердить мои слова.

— Родственники — не главная причина краткости нашего визита, — пояснила мне Говожо — старшая, которой, вероятно, еще больше, чем ее невестке, надоело говорить: «Ш'нувиль». — Но вот этот господин, — продолжала она, указывая на адвоката, — чтобы вы не устали от наплыва го-

стей, не привел к вам свою жену и сына. Они ждут нас на берегу моря, и, наверно, это им уже наскучило. — Я попросил описать их внешность, а затем побежал их разыскивать. Круглолицая жена напоминала цветок из семейства лютиковых, в углу глаза у нее была довольно большая родинка. У людей, как и у растений, характерные черты переходят из рода в род — вот почему под глазом у сына, как и на увядшем лице матери, тоже круглилась родинка — отличительный признак данной разновидности. Адвоката тронуло мое внимание к его жене и сыну. Он поинтересовался, как мне живется в Бальбеке: «Вам здесь, наверное, все кажется чужим: ведь тут главным образом иностранцы». Разговаривая, он пристально на меня смотрел: он не любил иностранцев, хотя многие из них были его клиентами, и сейчас ему хотелось удостовериться, разделяю ли я его ксенофобию, иначе он забил бы отбой и сказал: «Конечно, госпожа Х., например, прелестная женщина. Я говорю вообще». Так как к тому времени у меня еще не сложилось никакого мнения об иностранцах, то я не выразил несогласия, и это его ободрило. Он даже предложил прийти к нему в Париже посмотреть его собрание картин Ле Сиданера и затащить Говожо, — должно быть, он

был убежден, что мы в дружбе. «Я вас приглашу вместе с Ле Сиданером, — произнес он таким тоном, как будто был уверен, что отныне я буду жить мечтой об этом благословенном дне. — Ле Сиданер чудный человек, вот увидите. А от его картин вы придете в восторг. Понятно, я не могу соперничать со знаменитыми коллекционерами, но, по-моему, картин, которые он сам особенно любит, больше всего у меня. Вам будет особенно интересно посмотреть их после Бальбека, так как это марины, — по крайней мере, большинство из них». Похожие на растения его жена и сын слушали затаив дыхание. Чувствовалось, что их дом в Париже — это нечто вроде храма, воздвигнутого Ле Сиданеру. Такие храмы небесполезны. Когда у божества зарождается сомнение в самом себе, то ему легче всего заделать трещины в самооценке неопровержимыми доводами людей, посвятивших свою жизнь его творчеству.

По знаку невестки маркиза де Говожо хотела было встать. «Раз вы отказываетесь пожить в Фетерне, то, может быть, вы все-таки приедете в ближайшее время позавтракать, — например, завтра? — обратилась она ко мне и, преисполненная самых добрых чувств, чтобы уговорить меня, прибавила: — Вы опять увидитесь с графом де

Кризенуа[184]», — хотя я и не думал упускать его из виду по той простой причине, что никогда не был с ним знаком. Маркиза собиралась приманить меня еще и другими соблазнами, но вдруг осеклась. Председатель суда, по дороге домой узнав, что она в отеле, стал тайком разыскивать ее, некоторое время подкарауливал, а затем, сделав вид, что случайно узнал, где она, явился засвидетельствовать ей свое почтение. Я догадался, что председателя суда маркиза де Говожо звать к себе на завтрак не намерена. Между тем он познакомился с ней раньше, чем я, — уже в течение нескольких лет он был завсегдатаем фетернских утренних приемов, на которые мне так хотелось попасть, когда я впервые оказался в Бальбеке. Но давность — для светских людей не главное. И приглашения на завтрак они охотнее приберегают для новых знакомых, все еще их интересующих, особенно если их появление предваряет самая лучшая, лестная рекомендация вроде той, какую дал мне Сен-Лу. Маркиза де Говожо предположила, что председатель суда не слышал того, что она сказала мне, но, чтобы успокоить

[184] Примечания: 184

…с графом де Кризенуа… — Имеется в виду реальный потомок знаменитого Шовлена де Кризенуа (1685–1762), французского аристократа, хранителя королевской печати.

свою совесть, она заговорила с ним подчеркнуто любезно. В блеске солнца, озарявшего вдали золотистое, обычно отсюда не видное побережье Ривбеля, до нас долетел, почти неотделимый от ясной лазури, возникавший из морских волн, розово-серебристый, едва-едва уловимый звон маленьких колоколов, в окрестностях Фетерна призывавших к вечерне. «Это тоже как будто из „Пелеаса“, — заметил я, обращаясь к г-же Легранден — Говожо. — Вы, конечно, понимаете, какую сцену я имею в виду». — «Еще бы не понять!» — отозвалась она, но и голос ее, и выражение лица говорили: «Решительно ничего не понимаю» — в них не промелькнуло ни намека на какое-нибудь воспоминание, а ее улыбка лишенная опоры, растаяла в воздухе. Вдовствующая маркиза, выразив крайнее изумление по поводу того, что благовест здесь слышен, и сообразив, что час поздний, встала. «Вообще, — заметил я, — из Бальбека нам тот берег обычно не виден и уж конечно не слышен. Должно быть, погода изменилась и вдвое расширила горизонт. А может быть, колокола зазвонили ради вас — вы же собрались уходить, как только заслышали звон; вам он заменяет колокольчик, зовущий к ужину». Председатель суда не обращал внимания на звон — он украдкой

окидывал взглядом набережную, где сегодня, к великому его огорчению, было совсем пустынно. «Вы настоящий поэт, — сказала мне маркиза де Говожо. — Вы такой чуткий, такой артистичный, приезжайте, вам я сыграю Шопена», — добавила она таким хриплым голосом, как будто во рту у нее перекатывалась галька, и в экстазе воздела руки горе. Затем последовало слюнотечение, и почтенная дама инстинктивно вытерла носовым платком щеточку своих усиков, именуемых американскими. Председатель суда невольно оказал мне очень большую услугу, взяв маркизу под руку, чтобы вести ее к экипажу, ибо известная доля вульгарности, решительности и пристрастия к внешним эффектам подсказывает поступки, на которые у других недостало бы смелости, но которые в свете производят далеко не невыгодное впечатление. Впрочем, у председателя суда, в отличие от меня, был многолетний навык. Хоть я и был бесконечно ему благодарен, однако не отваживался последовать его примеру и шел рядом с Легранден — Говожо, а той захотелось посмотреть, какую книгу я держу в руке. При виде имени г-жи де Севинье она сделала гримасу; прибегнув к выражению, которое она вычитала в газетах, но которое в разговорной речи в жен-

ском роде, да еще в применении к писателю XVII века, производило странное впечатление, она задала мне вопрос: «Вы что же, находите, что она — мастерица слова?» Маркиза дала выездному лакею адрес кондитерской, куда ей надо было заехать по дороге домой — по розовой от вечерней пыли дороге, вдоль которой, подобно горным отрогам, уступами синели валуны. Своего старого кучера маркиза спросила, не холодно ли было зябкой лошади и не болело ли копыто у другой. «Я напишу вам насчет нашего уговора, — сказала она мне вполголоса. — Я слышала, как вы с моей невесткой говорили о литературе; моя невестка — чудная женщина, — прибавила маркиза: она вовсе этого не думала, а сказала просто потому, что у нее вошло в привычку — и по своей доброте маркиза ей не изменяла — так говорить о невестке, чтобы никто не подумал, будто ее сын женился из-за денег. — И потом, — заключила она, в последний раз восторженно зашлепав губами, — она до того ххартисстична!» Затем она раскрыла зонтик, тряся головой, села в экипаж и поехала по улицам Бальбека, отягощенная знаками своего священнослужительства, точно старый архиерей, объезжающий епархию.

— Она пригласила вас на завтрак, — строго

сказал мне председатель суда, подождав, пока экипаж отъехал подальше и когда я с моими приятельницами уже направлялся к отелю. — В наших отношениях холодок. Она считает, что я недостаточно к ней внимателен. Боже мой, я человек необыкновенно легкий! Я всегда начеку: если только во мне нужда, я отвечаю: «Здесь!» Но им хотелось держать меня на цепи. Ну уж нет, — произнес он с хитрым видом и поднял палец, как бы что-то угадывая и что-то доказывая, — этого я не позволил. Это значило посягать на мою свободу во время отпуска. Мне пришлось сказать: «Стоп!» Вы, по-видимому, очень с ней хороши. Когда вам исполнится столько лет, сколько мне, вы убедитесь, как ничтожен свет, и пожалеете, что придавали такое значение всяким пустякам. Ну, я пройдусь перед ужином. До свиданья, детки! — заорал он во все горло, словно отошел уже на пятьдесят шагов.

Когда я попрощался с Розамундой и Жизелью, их удивило, что Альбертина остановилась и не идет с ними.

«Что же ты, Альбертина, что ты стоишь, ты же знаешь, который час?» — «Идите домой, — властно произнесла Альбертина. — Мне нужно с ним поговорить», — пояснила она и с покорным

видом показала на меня. Розамунда и Жизель посмотрели на меня с необычным для меня уважением. Я упивался сознанием, что хотя бы на миг, с точки зрения Розамунды и Жизели, стал для Альбертины чем-то более необходимым, чем возвращение домой, чем ее подружки, и что мы с ней связаны важными тайнами, в которые посвящать их нельзя. «Разве мы с тобой вечером не увидимся?» — «Не знаю, это будет зависеть от него. На всякий случай — до завтра». «Поднимемся ко мне», — сказал я, когда подруги Альбертины удалились. Мы вошли в лифт; при лифтере Альбертина молчала. Привычка к наблюдению и к дедукции как к средствам узнать про делишки господ — этих странных существ, разговаривающих между собой, но не с ними, развивает у «служащих» (так лифтер именовал прислугу) способность угадывания большую, чем у хозяев. Человеческие органы атрофируются, или, напротив, крепнут, или становятся более хрупкими — в зависимости от того, растет или уменьшается надобность в них. С тех пор как существуют железные дороги, необходимость не опаздывать на поезд научила нас быть точными до одной минуты, тогда как древние римляне, у которых были самые общие сведения в области

астрономии и чья жизнь была не такой быстрой, имели смутное представление о часах, не говоря уже о минутах. Лифтер правильно понял и намеревался рассказать своим товарищам, что мы с Альбертиной были чем-то озабочены. Но от бестактности он говорил не умолкая. Однако на его лице, вместо обычной благорасположенности и радости от сознания, что он поднимает меня на лифте, читались какая-то необыкновенная подавленность и тревога. Не зная, что тому причиной, и желая развлечь его, я, хотя все мои мысли были заняты Альбертиной, пояснил ему, что дама, которая сейчас уехала, — не маркиза де Гужомо, а маркиза де Говожо. На этаже, мимо которого мы сейчас проезжали, я увидел безобразную горничную с подушкой в руках — в надежде, что я дам ей на чай при отъезде, она почтительно мне поклонилась. Меня разбирало любопытство, та ли это, которую я так желал в вечер первого моего приезда в Бальбек, но толком я так ничего и не узнал. Лифтер поклялся мне с искренностью, присущей большинству лжесвидетелей, но все с таким же страдальческим видом, что, прося доложить о себе, маркиза назвалась де Гужомо. И по правде сказать, вполне естественно, что ему послышалось в фамилии

маркизы знакомое слово. Об аристократии и о происхождении фамилий титулованных особ он имел весьма туманное представление, что, впрочем, характерно далеко не для одних лифтеров, и нет ничего удивительного, что фамилия Гужомо показалась ему вполне возможной: ведь слово «гужом» известно всем и каждому. Тем не менее, видя, что меня не переубедить, и зная, что господа любят, чтобы исполнялись малейшие их прихоти и чтобы принималась за правду явная ложь, он, как послушный слуга, обещал мне с этого дня говорить «Говожо». Никто из лавочников в городе и никто из крестьян, проживавших в окрестностях, где фамилию Говожо и их самих отлично знали, не допустил бы такого промаха, как лифтер. Но персонал бальбекского Гранд-отеля был набран не из местных жителей. Вместе со всем инвентарем он был вывезен непосредственно из Биаррица, Ниццы и Монте-Карло частично в Довиль, частично — в Динар, а третья часть была направлена в Бальбек.

Однако мучительное беспокойство лифтера все росло. Раз он не выражал мне своей преданности обычными улыбочками, значит, с ним стряслась беда. Быть может, он получил «отставку». Я дал себе слово, если это действительно произошло,

добиться его восстановления, поскольку директор обещал мне исполнять все мои пожелания, касающиеся персонала: «Вы можете требовать чего угодно — я заранее все ректифицирую». Но, выйдя из лифта, я сейчас же сообразил, почему лифтер был так взволнован и так растерян. При Альбертине я, сверх обыкновения, не дал ему сто су. И этот болван, не поняв, что я просто не хочу выставлять напоказ свою щедрость, впал в уныние, вообразив, что все кончено, что я ему больше никогда ничего не дам. Он решил, что я «захудал» (как выразился бы герцог Германтский), но это предположение не вызвало у него ни малейшей жалости ко мне — это было для него страшное разочарование чисто эгоистического характера. Я подумал, что я бывал не так уж безрассуден, как полагала моя мать, когда не мог заставить себя не дать той же огромной, но лихорадочно ожидаемой суммы, какую дал на чай накануне. Но, с другой стороны, значение, какое я до сих пор без малейших сомнений придавал привычно радостному виду лифтера — виду, который я, не колеблясь, принимал за проявление привязанности, показалось мне обессмысленным. Глядя на лифтера, способного от отчаяния броситься с шестого этажа, я задавал себе вопрос: если бы в

наших социальных условиях произошел полный переворот, если бы, например, случилась революция, то лифтер, который сейчас так для меня старается, этот же самый лифтер, превратившись в буржуа, не вышвырнул ли бы меня из лифта и не отличаются ли некоторые слои простонародья большим двуличием, нежели свет, где, конечно, за нашей спиной говорится бог знает что, но где никто не стал бы оскорблять нас, если б мы были несчастны?

И все же нельзя сказать, чтобы самым корыстным человеком в бальбекском отеле был лифтер. С точки зрения корыстолюбия персонал делился на две категории: на тех, кто чувствовал разницу между постояльцами и предпочитал благоразумное вознаграждение старого дворянина (даже если он двадцать восемь дней в течение каждого месяца одарял их шишами с маслом) неосмотрительной широте какого-нибудь мота, в которой сказывалось незнание жизни, только при нем именовавшееся добротой. И на тех, для кого родовитость, ум, известность, положение, манеры ровно ничего не значили, — все это для них перевешивала та или иная цифра. Для них существовал только один вид иерархии — деньги, которые есть у человека или, точнее, которые

он способен дать. Может быть, даже Эме, считавший, что у него большой жизненный опыт, которым он обязан службе во многих отелях, принадлежал именно к этой категории. Оценивая таким образом людей, он только вкладывал в это социальный смысл и знание того, кто из какой семьи, когда спрашивал, например, о принцессе Люксембургской: «А денег там много?» (пользуясь вопросительной формой для того, чтобы получить сведения, или же для того, чтобы подвергнуть окончательной проверке сведения, полученные прежде чем рекомендовать постояльцу, ехавшему в Париж, повара или посадить только что прибывшего в Бальбек за столик слева, у входа, с видом на море). И все же, не свободный от корыстолюбия, он не стал бы проявлять его с глупейшим отчаянием. Впрочем, может статься, в данном случае все было так обнажено из-за наивности лифтера. Удобство большого отеля, удобство такого дома, каким прежде был дом Рашели, состоит в том, что на доселе бесстрастном лице кого-нибудь из прислуги или продажной женщины вид стофранкового, а тем более — тысячефранкового билета, хотя бы его дали кому-то еще, невольно вызывает улыбку, а за улыбкой следует предложение услуг. Между тем в поли-

тике, в отношениях любовника к его любовнице между деньгами и услужливостью существует ряд средостений. Их здесь так много, что даже те, у кого деньги в конце концов вызывают улыбку, часто оказываются не в состоянии проследить за внутренними движениями, которые их удерживают, они считают себя щепетильными, да они и в самом деле таковы. И потом, это освобождает от необходимости прибегать к тактичным фразам, как, например: «Теперь я знаю, что мне остается, завтра меня найдут в морге». Вот почему в обществе людей действительно тактичных найдется мало романистов, поэтов, всех этих возвышенных существ, которые говорят именно то, что не следует говорить.

Как только мы с Альбертиной остались одни и пошли по коридору, она обратилась ко мне с вопросом: «За что вы на меня сердитесь?» Было ли мое жестокое обращение с Альбертиной мучительно для меня самого? Не являлось ли оно всего лишь неосознанной уловкой, не хотел ли я просто напугать мою подружку, не хотел ли я, чтобы она стала вымаливать у меня ответ, что дало бы мне возможность расспросить ее и, быть может, выяснить, какое из двух предположений, давно возникших у меня относительно

нее, имеет под собой основание? Так или иначе, я, услышав ее вопрос, вдруг почувствовал, что я счастлив, как бывает счастлив человек, близкий к давно желанной цели. Не отвечая, я довел ее до двери в мой номер. В отворенную дверь хлынул розовый свет, наполнявший комнату и превращавший белую кисею занавесок, задернутых к вечеру, в шелк цвета зари. Я подошел к окну; чайки снова слетели на волны; но только теперь они были розовые. Я обратил на это внимание Альбертины. «Не уклоняйтесь от ответа, — сказала она, — будьте так же откровенны, как я». Я начал лгать. Я объявил, что сначала ей придется выслушать признание — признание в том, что с некоторого времени я испытываю сильное чувство к Андре, и признался я в этом так просто и так искренне, как признаются на сцене, а в жизни если и признаются, то лишь в мнимой любви. Вновь прибегая к той лжи, которой я уже воспользовался ради Жильберты еще до моего первого приезда в Бальбек, но только в ином варианте, я старался придать как можно больше правдоподобия тому, что я не люблю Альбертину, и у меня как будто нечаянно вырвалось, что я чуть было не влюбился в нее, но что с тех пор много воды утекло, что теперь она для меня только близкий

друг и что, даже если б я и захотел, я бы уже не мог возбудить в себе к ней более пылкое чувство. Но, так резко подчеркивая свое равнодушие к Альбертине, я — в силу особо го обстоятельства и с определенной целью — достигал лишь того, что становился слышнее и явственнее обозначался двойной ритм, который бьется в любви тех, что слишком неуверены в себе и не могут допустить, чтобы женщина их полюбила и чтобы они по-настоящему полюбили ее. Они достаточно хорошо себя знают и помнят, что, встречаясь с самыми разными женщинами, они питали те же надежды, испытывали те же волнения, придумывали те же романы, произносили те же слова, и на этом основании они полагают также, что их чувства, их поступки не находятся в тесной и неизбежной зависимости от любимой женщины, что они проходят стороной, что они только обрызгивают ее, что они до нее не доходят, как не доходят до скал несущиеся мимо волны, и это ощущение собственного непостоянства еще усиливает их недоверие к женщине, о которой они страстно мечтают, но которая, как им представляется, их не любит. Раз она — всего лишь случайность, возникшая там, где бьют ключом наши желания, то почему же судьба непременно устроит так,

что и мы явимся пределом ее мечтаний? Вот почему, хотя мы и ощущаем острую потребность излить ей все эти чувства, столь не похожие на обыкновенные человеческие чувства, которые нам внушают наши близкие, — излить те совершенно особенные чувства, каковы суть чувства любовные, но, после того как мы сделали шаг вперед, признались любимой женщине в нашей сердечной склонности, поверили ей свои надежды, на нас сейчас же нападает страх при мысли, что мы ей неприятны, страх и неловкость, оттого что мы не нашли слов, с которыми можно было бы обратиться только к ней одной, оттого что мы уже ими пользовались и еще будем пользоваться при объяснениях с другими женщинами, оттого что если она не любит нас, то, значит, и не поймет, оттого что, говоря с ней, мы проявили отсутствие вкуса и целомудрия, свойственное педанту, в разговорах с невеждами подбирающему изысканные выражения, которые те не оценят, и вот этот-то самый страх, этот стыд порождают контрритм, отлив и вместе с тем порождают потребность, хотя бы сначала и отступив, поспешив отречься от нежной склонности, в которой мы только что открылись, тотчас же затем перейти в атаку и вновь заслужить уважение, вновь под-

чинить себе; этот двоякий ритм наблюдается в разные периоды одного и того же романа, наблюдается во все соответствующие периоды таких же романов, наблюдается у всех мужчин, склонных скорее к самоумалению, чем к переоценке своих достоинств. Если же в словах, с которыми я обращался к Альбертине, этот ритм бился чуть-чуть сильнее, то лишь потому, что мне хотелось как можно скорее и с особенной силой заговорить в ритме противоположном, которого потребовала бы моя влюбленность.

Словно боясь, как бы Альбертина не усомнилась, что после столь продолжительного перерыва мне уже вновь в нее не влюбиться, я рассказал ей — в доказательство того, что это действительно, как я выражался, одна из моих странностей, — о моих встречах с женщинами, которых я, по их или по моей вине, в свое время упустил и с которыми потом при всем желании уже не нашел в себе сил возобновить отношения. Можно было подумать, что я извиняюсь перед Альбертиной за то, что не способен вновь в нее влюбиться, как будто это с моей стороны неучтиво, и одновременно пытаюсь обратить ее внимание на то, что якобы является моими психологическими особенностями. На самом деле,

пускаясь в объяснения, подробно рассказывая о Жильберте, с которой у меня все происходило именно так, но почти ничем не напоминало моих отношений с Альбертиной, я только хотел придать моим признаниям больше правдивости, которой, как мне представлялось, им не хватает. Чувствуя, как Альбертина воспринимает мое стремление говорить с ней «напрямик», чувствуя, что для нее мои выводы ясны, я извинился за прямоту и сказал, что, насколько мне известно, правды никто не любит, а что в данном случае правда должна показаться ей просто невероятной. Но Альбертина, поблагодарив меня за чистосердечие, прибавила, что, помимо всего прочего, ей вполне понятно это столь часто наблюдающееся и совершенно естественное душевное свойство.

Признавшись Альбертине в придуманном чувстве к Андре и в равнодушии к ней, — хотя, чтобы у нее создалось впечатление, будто я вполне искренен, чтобы в моих словах не было ни малейшего преувеличения, я вскользь, как бы из вежливости, ввернул, что меня не следует понимать слишком прямолинейно, — я уже мог, не боясь, что Альбертина подумает, что я в нее влюблен, говорить с ней таким нежным голосом,

каким не говорил давно, — голосом, который мне самому казался чарующим. Я как бы ласкал мою наперсницу; когда я рассказывал ей об ее подруге — той, которую я любил, — на глазах у меня выступали слезы. Перейдя к сути дела, я сказал Альбертине, что ведь она же знает, что такое любовь и связанная с ней душевная ранимость, связанные с ней страдания, и что, может быть, как мой уже давний друг, она убедится в необходимости избавить меня от тяжелых переживаний, которые она доставляет мне не прямо, потому что я люблю не ее, — разумеется, я возвращаюсь к этому не для того, чтобы задеть ее самолюбие, — а косвенно, нанося раны моему чувству к Андре. Тут я прервал себя, чтобы показать Альбертине на большую одинокую легкокрылую птицу: рассекая воздух равномерными взмахами крыльев, она, будто гонец, посланный далеко-далеко с важным и срочным известием, летела вдали от нас над берегом, усеянным, словно обрывками красной бумаги, отсветами заката, и, как ни был долог ее путь, она не замедляла полета, ничем не отвлекалась, не уклонялась в сторону. «Вот уж она-то летит прямо к цели!» — с упреком в голосе произнесла Альбертина. «Вы говорите так потому, что не знаете, что я

хочу вам сказать. Но это так для меня трудно, что лучше уж я ничего не буду говорить; я уверен, что вы рассердитесь, и добьюсь я только того, что с любимой девушкой уже не буду счастлив, а в вашем лице потеряю верного друга». — «Даю вам клятву, что не рассержусь». У Альбертины был такой кроткий, такой грустно-покорный вид, казалось, она так ждала от меня счастья, что я едва удержался и не поцеловал — почти с тем же наслаждением, с каким поцеловал бы лицо моей матери, — это новое для меня лицо, уже не прежнее бойкое розовощекое личико, похожее на мордочку шаловливой, избалованной кошечки с розовым вздернутым носиком, а лицо девушки, которая так глубоко страдает, что в конце концов это страдание претворилось и расплавилось у нее в безграничную доброту. Взглянув на свою любовь как на вид хронической душевной болезни, не связанной с Альбертиной, поставив себя на ее место, я невольно смягчился: эта милая девушка привыкла к тому, чтобы с ней были ласковы, чтобы с ней поступали честно, а верный друг, за какового она имела основание меня принимать, в течение долгого времени мучает ее, и вот сейчас эти ее мучения достигли своего предела. Именно потому, что я смотрел

со стороны, именно потому, что я становился на точку зрения общечеловеческую, — а такой взгляд на вещи притуплял мою ревнивую любовь — мне было очень ее жаль, а ведь если бы я не любил ее, я бы не испытывал такого глубокого чувства жалости. Но к чему в раскачке ритма от признания к размолвке (самое надежное, самое сильнодействующее, но и самое опасное средство — с помощью противоположных, чередующихся душевных движений завязать узел, который потом уже не распутаешь и который туго-натуго стягивает нас с женщиной) внутри возвратного движения, являющегося одной из составных частей ритма, различать еще и отлив жалости, если жалость, которая хотя и противопоставляет себя любви, но, быть может, неведомо для нее самой кроется в одном и том же, приводит к одинаковым последствиям? Подводя в дальнейшем итог нашим отношениям с женщиной, мы зачастую приходим к выводу, что поступки, внушенные желанием доказать женщине, как мы ее любим, влюбить ее в себя, быть ею обласканными, имеют почти такое же значение, как и те, что были вызваны человеколюбивой потребностью загладить свою вину перед любимым существом, те, что мы совершили, повинуясь самому элементар-

ному нравственному долгу, те, что мы совершили бы и по отношению к женщине нелюбимой. «Да что же такое я сделала?» — спросила Альбертина. Раздался стук в дверь, это стучал лифтер: тетка Альбертины, проезжавшая мимо отеля, на всякий случай остановилась узнать, не здесь ли она, и увезти ее домой. Альбертина велела сказать, что она не спустится — пусть ужинают без нее, она не знает, в котором часу приедет. «Но ведь тетя рассердится?» — «Да ну что вы! Она все прекрасно поймет». Значит, по крайней мере в тот момент, который мог и не повториться, разговор со мной, в силу определенных обстоятельств, был, очевидно, для Альбертины так важен, что все остальное теряло для нее значение, и моя подружка — разумеется, инстинктивно, — ища опоры в семейной юриспруденции, восстанавливая в памяти такие случаи, когда ради карьеры Бонтана его родные отваживались даже на путешествие, не сомневалась, что тетка сочтет вполне естественным ее решение пожертвовать ужином. Передвинув этот поздний час, который Альбертина обычно проводила вдали от меня, в семейном кругу, она подарила его мне; я мог воспользоваться им как угодно. В конце концов я решился передать ей все, что слышал об ее образе жизни, и сказал,

что, хотя женщины, предающиеся этому пороку, вызывают во мне глубокое отвращение, я пропускал их имена мимо ушей, пока мне не назвали ее сообщницу, и что она легко может себе представить, как больно было мне, любящему Андре, об этом узнать. Будь я посообразительней, я бы, пожалуй, все-таки добавил, что мне называли и других сообщниц Альбертины, но что к ним я отношусь безразлично. Но сердце мне терзало целиком завладевшее им неожиданное страшное открытие, которое я сделал для себя с помощью Котара, терзало именно оно, и только оно. И подобно тому, как прежде мне бы и в голову не пришло, что Альбертина любит Андре или по крайней мере может с ней ласкаться, если бы Котар не обратил мое внимание на их позы во время вальса, точно так же я не мог себе представить нечто уже совершенно не укладывавшееся в моем сознании — то есть что у Альбертины существуют определенные отношения не только с Андре, но и с другими женщинами, которые не настолько близки с ней душевно, чтобы это служило им оправданием. Прежде чем поклясться, что это неправда, Альбертина, как всякая женщина, узнавшая, что о ней распространяют такие слухи, расстроилась! разозлилась, проявила

яростное любопытство к тому, кто этот неведомый ей клеветник, с которым ей так хочется встретиться, чтобы уличить его во лжи. Но на меня Альбертина, по ее словам, не сердилась. «Если б это была правда, я бы вам сказала. Но и Андре и я — мы обе относимся к этому с омерзением. Мы на своем веку повидали женщин с короткими волосами и мужскими ухватками, — вот именно этот тип женщин, о котором вы говорите, мы как раз терпеть не можем». Альбертина дала мне честное слово — слово безоговорочное, хотя и не подкрепленное доказательствами. Но как раз это-то и могло лучше всего успокоить меня, так как ревность принадлежит к тому семейству мучительных сомнений, которые скорее смывает сила убеждения, чем правдоподобие. Таково ведь свойство любви, — полюбив, мы становимся подозрительнее и вместе с тем легковернее, у нас закрадывается сомнение насчет любимой женщины скорее, чем насчет какой-нибудь другой, и в то же время нам легче принять на веру ее запирательство. Нужно любить для того, чтобы отдавать себе отчет, что существуют не одни только честные женщины, а следовательно, обращать внимание и на нечестных, нужно любить еще и для того, чтобы желать их суще-

ствования, иными словами — чтобы убеждаться в их существовании. Людям свойственно искать страданий для того, чтобы потом от них избавляться. Мысли, которые ведут нас к намеченной цели, мы, не рассуждая, признаём верными — вы же не станете придираться к недостаткам успокоительного, если оно помогает. И вот еще что: многосторонне или не многосторонне любимое существо, две совершенно разные личности мы, во всяком случае, можем в нем различить, а зависит это от нашей уверенности в том, что любимое существо — в нашей власти, или же, напротив, в том, что его помыслы устремлены не к нам. Первая из этих личностей обладает особой силой, присущей только ей, — силой убивать нашу веру в реальность другой и особым секретом — секретом утоления боли, которую эта другая личность нам причиняет. Любимое существо является для нас то болезнью, то лекарством, от которого нам становится то лучше, то хуже. Пример Свана, конечно, подействовал в свое время на мое воображение и усилил мою мнительность, и я уже давно готов был поверить в то, чего боялся, а не в то, о чем мечтал. Вот почему мир, внесенный в мою душу уверениями Альбертины, едва не нарушился после того, как я вспомнил историю

Одетты. Но я тут же сказал себе, что если всегда надо ожидать худшего, — не только в том случае, когда я, силясь понять, отчего так страдает Сван, старался поставить себя на его место, но и сейчас, когда действующим лицом являлся я сам, доискивавшийся правды так, как будто на моем месте был кто-то другой, — то все же не следует, единственно для того, чтобы быть безжалостным к самому себе, как безжалостен к себе солдат, который избирает не тот пост, где он может принести больше пользы, а тот, где он рискует жизнью, в конечном итоге вводить себя в заблуждение и заключать, что одна догадка вернее всех прочих только потому, что она наиболее мучительна. Не разделяла ли пропасть Альбертину, девушку из, в общем, добропорядочной буржуазной семьи, и кокотку Одетту, которую еще в пору ее детства продала родная мать? Слово, данное одной, было отнюдь не равноценно слову другой. Да если даже Альбертина мне и лгала, то совсем не с тем умыслом, с каким Одетта лгала Свану. И ведь все-таки призналась же Одетта в том, что отрицала Альбертина. С другой стороны, я допустил бы столь же серьезную ошибку, — но только прямо противоположную, — если бы склонился к той или иной гипотезе только потому, что

она причинила бы мне меньше страданий, чем другие, — склонился, не приняв во внимание разницу в обстоятельствах и нарисовав себе образ жизни моей подружки точь-в-точь таким же, какой, по моим сведениям, вела Одетта. Сейчас передо мной была другая Альбертина, такая, какой она уже, впрочем, мерещилась мне к концу моего первого приезда в Бальбек, — откровенная, добрая, и вот эта Альбертина, пожалев меня, простила мне мою подозрительность и постаралась рассеять мои сомнения. Она усадила меня рядом с собой на кровати. Я поблагодарил ее за все, что она мне сказала, объявил, что теперь между нами мир и что я никогда больше не буду с ней груб. Все-таки я посоветовал ей ехать домой ужинать. Она спросила, хорошо ли мне сейчас. И, притянув к себе мою голову, чтобы приласкать меня так, как еще никогда не ласкала и как ей, быть может, захотелось приласкать меня по случаю того, что мы помирились, провела языком по моим губам, силясь разжать их. Но я так их и не разомкнул. «Какой же вы злой!» — сказала она.

Мне бы надо было в тот же вечер уехать и больше с ней не встречаться. С тех пор меня не покидало предчувствие, что в неразделенной любви — иначе говоря, просто в любви, потому что у

иных любовь всегда бывает неразделенной, — можно наслаждаться не самим счастьем, а лишь его видимостью — видимостью, посетившей меня в одно из тех неповторимых мгновений, когда благодаря доброте женщины, или благодаря ее причуде, или благодаря случайности нашим желаниям вполне соответствуют ее слова, ее действия, — так, как если бы она любила нас на самом деле. Благоразумие от меня требовало, чтобы я Г с любопытством рассмотрел эту дольку счастья и с наслаждением вкусил, потому что, если б у меня ее не было, я бы умер, так и не узнав, что дает это счастье сердцам менее требовательным и более избалованным; чтобы я вообразил, что это всего только доля счастья необъятного и долговечного, приоткрывшегося мне лишь на мгновение, и, из боязни, как бы на другой день самообман не улетучился, не пытался заслужить еще одну милость после той, которая досталась мне благодаря тому, что, как нарочно, выпала такая редкостная минута. Мне бы надо было уехать из Бальбека, пожить в одиночестве, созвучно отзываясь на последние вибрации голоса, в котором мне на миг послышалась нотка влюбленности и от которого мне теперь надо было требовать одного — чтобы он больше ко мне не обращался, потому что дис-

сонансом какого-нибудь нового слова, которое теперь могло быть воспринято мной как нечто чуждое, он спугнул бы чуткую тишину, среди которой, словно при помощи какой-то особой педали, во мне еще долго не утих бы звук счастья. Успокоенный объяснением с Альбертиной, я снова начал уделять больше внимания матери. Ей доставляло удовольствие рассказывать, не растравляя моих ран, о том времени, когда бабушка была моложе. Боясь, что я стану упрекать себя за огорчения, которые могли омрачить конец жизни бабушки, мама охотнее возвращалась памятью к первым годам моего ученья, когда бабушка радовалась моим успехам, а это до сих пор от меня скрывалось. Мы часто говорили о Комбре. Мать заметила, что там я, по крайней мере, читал и что в Бальбеке мне тоже нужно читать, если только я не работаю. Я сказал, что для того, чтобы вызвать в памяти Комбре и красивые разрисованные тарелки, я бы с удовольствием перечел «Тысячу и одну ночь». Как прежде в Комбре, когда мать в день моего рождения дарила мне книги, она и теперь тайком, чтобы сделать мне сюрприз, выписала одновременно «Тысячу и одну ночь» в

переводе Галлана.[185] и в переводе Мардрю[186] Однако, просмотрев оба перевода, она пришла к непреложному выводу, что мне следует читать эту книгу в переводе Галлана, но она не решалась оказывать на меня давление — не решалась из уважения к свободе мысли, из боязни неумело вторгнуться в сферу моих умственных интересов, а также по внутреннему убеждению, что женщины плохо разбираются в литературе и что круг чтения юноши не должен зависеть от того, что ее шокировали в той или иной книге отдельные места. Ее действительно оттолкнула безнравственность сюжета некоторых сказок и грубость встретившихся ей там выражений. Но она хранила, как святыню, не только принадлежавшие моей бабушке брошку, зонтик, томик г-жи де Севинье, но и ее мысли и обороты речи, при любых обстоятельствах старалась угадать, какого ба-

[185] Примечания: 185

Галлан, Антуан (1646–1715) — французский литератор и ориенталист, автор первого перевода на французский язык сказок «Тысячи и одной ночи», опубликованного в 12 томах в 1704–1717 гг.

[186] Примечания: 186

Мардрю, Шарль Виктор (1868–1949) — французский врач и востоковед, автор второго перевода арабских сказок, вышедшего в 1899–1904 гг. под названием «Книга Тысячи и Одной ночи, литературный и полный перевод арабского текста». Новый перевод отличался максимальной близостью к оригиналу. Появление этой книги стало настоящим событием в литературной жизни Франции рубежа веков.

бушка была бы мнения, и в данном случае мама не сомневалась, что бабушке решительно не понравился бы перевод Мардрю. Мама вспоминала, что в Комбре перед прогулкой по направлению к Мезеглизу я читал Огюстена Тьери,[187] а бабушка, которая вообще была довольна тем, что я читаю, гуляю, выражала свое возмущение при виде имени автора, связывавшегося с полустишием: «Там правил Меровей», переименованный в Меровига, и заявляла, что не станет говорить «Каролинги» вместо «Карловинги», — она оставалась верна старому произношению. А я рассказал маме о том, какого мнения была бабушка о греческих именах гомеровских героев, которые Блок, подражая Леконту де Лилю,[188] даже в самых простых случаях считал своим священным долгом, в коем, как он полагал, и проявляются способности к

---

[187] Примечания: 187

Тьери, Огюстен (1795–1856) — французский историк, автор «Истории завоевания Англии норманнами» (1825), «Рассказов из времен Меровингов» (1840) и других сочинений. В юности Пруст увлекался книгами Тьери и в одном из писем 1888 г. называет прошедший год «годом Огюстена Тьери».

[188] Примечания: 188

Леконтп де Лиль, Шарль (1818–1894) — французский поэт, основатель Парнасской школы, переводчик «Илиады» и «Одиссеи», автор «Античных стихов» (1852), «Варварских стихов» (1862) и «Трагических стихов» (1884). Как в переводах, так и в собственном творчестве стремился сохранить греческое звучание имен собственных во французском языке.

литературе, писать по-гречески. Так, например, когда он в письме к кому-нибудь сообщал, что у него в доме пили не вино, а настоящий нектар, он писал нектар через «k» (nektar), а не через «c» и посмеивался над Ламартином. Но если для бабушки «Одиссея», в которой отсутствовали имена Улисса и Минервы, была уже не «Одиссея», то что бы она сказала, увидев на обложке искаженное название «Тысячи и одной ночи»-, не найдя в привычном для нее написании, усвоенном ею сызмала, сроднившиеся с нами бессмертные имена Шехеразады, Дииарзады, которые она именно так всегда и произносила, или заметив, что перекрещены — если только это слово подходит к мусульманским сказкам — прелестный Калиф и всемогущие Гении, которых и узнать-то почти нельзя, потому что Калиф называется теперь Калифатом, а Гении — Джиннами? Тем не менее мать подарила мне обе книги, и я сказал, что буду читать их в те дни, когда устану и мне не захочется идти гулять.

Впрочем, такие дни выпадали не очень часто. Обычно Альбертина, ее подружки и я, как прежде, всей «стайкой» шли пить чай на скалы или на ферму «Мария-Антуанетта». Но иногда Альбертина доставляла мне огромное удовольствие.

Она говорила: «Сегодня мне хочется ненадолго остаться с вами наедине; приятней побыть вдвоем». А другим она говорила, что занята, но что, впрочем, она никому не обязана отдавать отчет, а чтобы подружки, в случае, если они все-таки собирались гулять и пить чай, не могли отыскать нас, мы, как влюбленные, шли вдвоем в Багатель или в Круа-д'Элан, между тем как стайка, которой не пришло бы в голову искать нас там и которая туда так ни разу и не забрела, бесконечно долго ждала нас на ферме «Мария-Антуанетта». Я помню эти жаркие дни, когда у молодых батраков, работавших на солнцепеке, падали со лба капли пота, отвесные, прерывистые, одинаковой величины, точно капли воды из сосуда, и когда их падение чередовалось с падением спелых плодов, отрывавшихся от веток на ближайших «садовых участках»; эти дни вместе с тайной, заключенной в женщине, до сих пор входят самой прочной составною частью в каждую новую мою любовь. Ради знакомства с женщиной, о которой со мной заговорили и мысль о которой иначе никогда не пришла бы мне в голову, я отменяю все встречи, если стоит именно такая погода и если свидание с женщиной должно состояться на какой-нибудь уединенной ферме. Ведь я же

знаю, что погода и место встречи никак с ней не связаны, и все же для меня вполне достаточно этой хорошо знакомой мне приманки, чтобы попасться на крючок. Я отдаю себе отчет, что в холодный день и даже в городе эта же самая женщина все-таки возбудила бы во мне желание, — правда, без всякой романтики, без тени влюбленности, однако на силу чувства, раз уж благодаря стечению обстоятельств ему удалось бы меня поработить, это не повлияло бы — к нему только примешалась бы грусть, но ведь и все наши чувства к женщинам грустнеют по мере того, как для нас выясняется, что женщины занимают в нашей жизни все меньше места и что новая наша любовь, о долговечности которой мы так мечтали, может оборваться вместе с нашей жизнью и стать последней.

В Бальбеке было еще мало народу, мало девушек. Иной раз я видел, что на взморье стоит девушка, но в ней не было решительно ничего обаятельного, при большом, однако, сходстве с той, которая вместе с подружками как-то выходила не то из манежа, не то из гимнастической школы и которая доставляла мне тогда столько мучений из-за того, что я не мог к ней подойти. Если это была та самая (в разговорах с Альбертиной

я об этом умалчивал), то ее чары прекращали свое действие и она переставала для меня существовать. Но полной уверенности в том, что это она, у меня не было, так как девичьи облики не являли собой на пляже чего-то особо значительного, какого-то устойчивого ансамбля, — их суживали, расширяли, преображали мое нетерпение, буря моих желаний, мое хорошее самочувствие, влияющее на настроение, разные платья, в которых появлялись девушки, стремительность их походки или, наоборот, их неподвижность. Тем не менее вблизи некоторые из них показались мне обворожительными. Каждый раз, когда я видел кого-нибудь из них, у меня возникало желание увести ее на бульвар Тамарисков, или к дюнам, или лучше к скалам. Но хотя желание, в отличие от равнодушия, включает в себя смелость, которая уже есть потенциальное начало его осуществления, все же между желанием и поступком, то есть просьбой о том, чтобы девушка позволила обнять ее, оставался огромный «пробел» — «пробел» колебаний и робости. Тогда я заходил в кафе-кондитерскую и выпивал одну за другой рюмок семь — восемь портвейна. И в то же мгновение на безнадежно пустом пространстве между желанием и поступком действие алкоголя

проводило соединявшую их линию. Не оставалось места ни для колебаний, ни для страха. Мне чудилось, что девушка вот-вот подлетит ко мне. Я приближался к ней, слова сами срывались с губ: «Я бы охотно с вами прогулялся. Не хотите ли пойти к скалам? Там никто нам не помешает, можно посидеть около лесочка, — он защищает от ветра разборный, ломик, а домик сейчас пустует». Все внешние преграды были устранены, ничто не препятствовало сплетению наших тел. Для меня, по крайней мере, никаких затруднений уже не существовало. Но для нее трудности остались, потому что она не пила портвейна. А если бы даже выпила и мир утратил бы в ее глазах какую-то часть своей реальности, то, чего доброго, оказалось бы, что она давно лелеяла совсем другую мечту, которая в эту минуту вдруг показалась бы ей осуществимой, а вовсе не мечту кинуться ко мне в объятия.

Девушек было мало, но и те немногие, которые сюда приехали, жили здесь недолго, потому что был еще не «сезон». В моей памяти вырисовывается одна из них, рыжеволосая, зеленоглазая, розовощекая, с лицом двоившимся и таким подвижным, что его можно было сравнить с летучим семенем дерева. Мне неизвестно, каким

ветром занесло ее в Бальбек и каким унесло. Все это произошло так быстро, что я потом несколько дней тосковал, а когда узнал, что девушка уехала навсегда, то решился признаться Альбертине, что я тоскую.

Надо заметить, что кое-кого из девушек я раньше совсем не знал, а кое-кого несколько лет не видел. Часто бывало так, что до встречи с девушкой я ей писал. Как я бывал рад, если ответ подавал надежду на то, что мы полюбим друг друга! У нас не хватает сил в начале дружбы с женщиной, да и потом, когда мы убеждаемся, что пашей дружбе не суждено развиваться, уничтожить эти первые письма. Нам хочется, чтобы они все время были перед нами, как подаренные нам красивые цветы, цветы совсем еще свежие, на которые ми смотрим, только когда подносим к лицу, чтобы подышать их запахом. Приято перечитывать фразу, которую мы уже знаем наизусть, и хочется удостовериться, насколько нежны во фразах, которые мы не могли бы повторить от слова до слова, те или иные выражения. Она, правда, написала: «Ваше милое письмо». В счастье, которым мы дышим, прокрадывается легкое разочарование, вызванное тем, что в первый раз мы слишком быстро читали, или

неразборчивым почерком корреспондентки; она написала не «Ваше милое письмо», а «При виде Вашего письма». Но сколько нежности во всем остальном! Ах, если бы нам и завтра подарили такие же цветы! Потом уж и этого мало, со словами необходимо сличить взгляды и голос. Назначается свидание, но — хотя она, может быть, и не изменилась — вместо той, кого мы себе представляли, по описанию или по памяти, в виде феи Вивианы,[189] нашим глазам является Кот в сапогах. Мы уславливаемся о свидании и на завтра, потому что, как бы то ни было, это же все-таки она и мечтали мы о ней. Ведь для того, чтобы нас влекло к женщине, она не должна быть красива непременно так, а не как-нибудь иначе. Наши влечения — это влечения к женщине вообще,[190] они неопределенны, как благоухания: вот так влечением Профирайи,[191] было влечение к

[189] Примечания: 189

Фея Вивиана — персонаж средневекового рыцарского романа «Ланселот» (XIII в.).

[190] Примечания: 190

...это влечения к женщине вообще... — Здесь и далее Пруст наводняет свой текст реминисценциями из «Орфических гимнов» (приписываемых легендарному Орфею) в переводе Леконта де Лиля (1869).

[191] Примечания: 191

Профирайя — персонаж «Орфических гимнов».

стираксу[192] эфир влечет к шафрану, влечением Геры было влечение к ароматам, мирра была излюбленным благовонием волхвов, влечением Нике,[193] была манна[194] море влечет к ладану. Но эти благовония, воспетые орфическими гимнами, все же далеко не так многочисленны, как божества, которые ими наслаждаются. Мирра — излюбленное благовоние не только волхвов, но и Протогоноса,[195] Нептуна, Нерея,[196] Лето; ладан — не только любимое благоухание моря, но и прекрасной Дике,[197] Фемиды, Цирцеи,[198] девяти Муз, Эос,[199] Мнемозины, Дня,[200] Дикайосины.[201] Если же мы вздумали бы перечислять божества, которые вдыхают стиракс, манну и ароматы, то так никогда бы и не кончили — столь они многочисленны. Амфиетес.[202] услаждает

---

[192] Примечания: 192
Стиракс — ароматический бальзам.

[193] Примечания: 193
Нике (Ника) — в греческой мифологии персонификация победы.

[194] Примечания: 194
Манна — здесь: медвяная роса (выпот сахаристого сока на листьях некоторых лиственных деревьев и хвое ели).

[195] Примечания: 195
Протогонос (Протогон) — имя, которым называется у орфиков Эрос.

[196] Примечания: 196
Нерей — в греческой мифологии божество моря, отец нереид.

[197] Примечания: 197

Дике (Дика) — в греческой мифологии божество справедливости, дочь Зевса и Фемиды.

[198] Примечания: 198

Цирцея (Кирка) — в греческой мифологии волшебница, обитающая на острове Эя.

[199] Примечания: 199

Эос — в греческой мифологии богиня утренней зари.

[200] Примечания: 200

…Дня… — День (Гемера) — в греческой мифологии богиня дневного света, в орфической теогонии дочь Гелиоса.

[201] Примечания: 201

Дикайосина — персонаж «Орфических гимнов».

[202] Примечания: 202

Амфиетес — персонаж «Орфических гимнов».

себя всеми благовониями, кроме ладана, и Гея не выносит только бобы и ароматы. Так же было и с моими влечениями к девушкам. Их было меньше, чем самих девушек, и они сменялись, в общем, похожими горестями и разочарованиями. Меня никогда не тянуло к мирре. Мирру я уступал Жюпьену и принцессе Германтской, ибо к ней влечет Протогоноса, «существа двуполого, быкоподобно ревущего, оргий беспрестанных соучастника, славой балуемого, неописуемого, к жертвоприношениям оргиофантовым[203] в веселии нисходящего»[204]

Однако некоторое время спустя сезон был уже в полном разгаре; каждый день появлялись новые лица, мои прогулки, на которые я променял упоительное чтение «Тысячи и одной ночи», удовольствия мне не доставляли, — напротив, они отравляли мне все удовольствия. На пляже было теперь полно девушек, а между тем мысль, которую заронил в меня Котар, правда, не вызвавшая во мне новых подозрений, повысила мою чут-

[203] Примечания: 203

Оргиофанты. — Согласно некоторым мифологическим представлениям, Орфей был учредителем вакхических оргий, такая традиция, в частности, нашла отражение в «Орфических гимнах».

[204] Примечания: 204

...«существа двуполого... в веселии нисходящего». — Прямая цитата из «Орфических гимнов» в переводе Леконта де Лиля.

кость к подобного рода увлечениям, усилила мою мнительность, усилила мою настороженность до такой степени, что я заглушал подобные подозрения в зародыше, и, когда в Бальбек приезжала молодая женщина, я начинал волноваться и предлагал Альбертине ходить на далекие прогулки, чтобы ей не удалось познакомиться и даже, если возможно, не удалось встретиться с новоприбывшей. Конечно, я особенно боялся тех, что обращали на себя внимание дурным тоном или пользовались скверной репутацией; я старался убедить мою подружку в том, что эта скверная репутация ни на чем не основана, что это клевета, старался, быть может, из безотчетного, еще не осознанного страха, что Альбертина попытается сблизиться с развратницей, или пожалеет, что из-за меня она ее упустила, или, видя вокруг себя так много примеров, решит, что столь распространенный порок не заслуживает порицания. Я защищал отдельных лиц с целью, ни больше ни меньше, как доказать, что сафизм вообще не существует. Альбертина разделяла мое неверие в порочность той или иной женщины.

«Да нет, по-моему, это у нее просто такая манера, это она на себя напускает». Но я уже начинал жалеть, что защищаю невинность: мне не нрави-

лось, что Альбертина, раньше придерживавшаяся строгих правил, теперь может думать, что в такой «манере» есть что-то до того притягательное, до того влекущее, что даже те женщины, у которых нет таких наклонностей, нарочно создают о себе ложное представление. Мне хотелось, чтобы ни одна женщина не приезжала больше в Бальбек; я дрожал от мысли, что Вердюрены со дня на день ждут к себе баронессу Пютбю и что ее горничная, чьих пристрастий Сен-Лу от меня не утаил, может, гуляя, дойти до пляжа и, если в тот день меня около Альбертины не будет, попытается совратить ее. Котар не скрыл от меня, что Вердюрены очень меня ценят и что, стараясь не показать вида, будто, как он выражался, они за мной гоняются, они дорого бы дали за то, чтобы я у них бывал, и я уж подумывал, нельзя ли, пообещав привести к ним в Париже всех Германтов, какие только есть на свете, добиться от г-жи Вердюрен, чтобы она под любым предлогом как можно скорее выпроводила баронессу Пютбю.

Хотя такие мысли и залетали ко мне в голову, однако больше всего меня волновало пребывание в Бальбеке Андре, а потому заверения Альбертины все еще действовали на меня успокоительно; к тому же мне было известно, что скоро я буду

меньше волноваться, так как Андре вместе с Розамундой и Жизелью должны уехать чуть ли не в самый день всеобщего съезда и ей оставалось пробыть с Альбертиной меньше месяца. Притом последнее время все слова и дела Альбертины, казалось, были направлены к тому, чтобы убить во мне последние подозрения, если они развеялись не до конца, или не дать им возродиться. Она нарочно не оставалась наедине с Андре, требовала, когда мы возвращались домой, чтобы я проводил ее до дверей, требовала, чтобы я за ней зашел, если мы собирались на прогулку. Андре держалась так же и словно бы избегала Альбертину. По одному этому было ясно, что они сговорились, но и другие признаки указывали на то, что Альбертина, видимо, довела до сведения своей приятельницы наше объяснение и обратилась к ней с просьбой рассеять мои нелепые подозрения.

Как раз в это время в бальбекском Гранд-отеле произошел скандал, который никак не мог способствовать моему успокоению. С некоторых пор сестра Блока находилась с какой-то бывшей актрисой в интимных отношениях, но вскоре это перестало их удовлетворять. Они полагали, что если они будут предаваться своим утехам на

виду у всех, то это придаст наслаждению особую извращенность, им хотелось, чтобы опасные их резвости привлекали к себе посторонние взгляды. Началось с ласк, которые можно было объяснить их тесной дружбой, предавались же они этим ласкам в игорном доме, около одного из столов, за которым шла игра в баккара. Мало-помалу они осмелели. Наконец однажды вечером, в большой танцевальной зале, и даже не в темном углу, они повели себя так, как будто лежали на своей постели. Недалеко от них были два офицера с женами, и вот эти офицеры пожаловались директору. Сначала все были уверены, что это подействует. Но жалоба офицеров не возымела успеха: жили они в Неттехольме, приехали в Бальбек всего на один вечер, следовательно, никакой выгоды директор извлечь из них не мог. А сестре Блока нравоучения директора были не страшны потому, что, неведомо для нее самой, ей служило защитой покровительство Ниссона Бернара. Надо заметить, что Ниссон Бернар обожал своих родственников. Каждый год он снимал в Бальбеке для своего племянника роскошную виллу, и, куда бы его ни приглашали, ужинал он всегда у себя, то есть на самом деле в кругу семьи своего племянника. Зато дома он никогда не обе-

дал. В полдень он уже был в Гранд-отеле. Подобно тому как другие содержат оперных статисток, он содержал официанта, отчасти напоминавшего посыльных, о которых мы уже говорили и которые привели нам на память юных израильтян из «Эсфири» и из «Гофолии». Казалось бы, сорок лет разницы должны были оградить юношу от малоприятной близости с Бернаром. Но, как сказано в хорах у мудрого Расина:

> *О Боже, сколько искушений*
>
> *Невинность юная встречает на пути!*
>
> *Душа должна прогнать бессчетный рой сомнений,*
>
> *Чтобы к тебе, Господь, прийти.*[205]

Хотя молодой официант «вдали от света взрос», то есть в бальбекском храме-отеле, он не последовал совету Иоада:

> *Властитель! Мощь свою не зижди на богатстве.*

Быть может, он оправдывал себя тем, что «мир полон грешников». Как бы то ни было, хотя Ниссон Бернар не надеялся на скорую победу, в

---

[205] Примечания: 205

О *Боже, сколько искушений…* — Здесь и далее Пруст цитирует, иногда вольно, «Гофолию» Расина.

первый же день,

Ответной нежностью Спасителю платя,

Прижалось вдруг к нему спасенное дитя.

А на другой день, когда Ниссон Бернар пошел с официантом погулять, «зараза близости невинность погубила». С тех пор в жизни юного существа произошел перелом. Хотя он по-прежнему подавал, как ему приказывал метрдотель, все его лицо так и пело:

Давайте петь и веселиться,

Вслед за цветком срывать цветок.

Коль скоро жизнь дана на краткий срок,

Спешите ею насладиться!

Кто ведает, что впереди нас ждет?

Не добродетели, не славные деянья,

Но только сладостное послушанье

Здесь может дать и силу, и почет.

Теперь уже Ниссон Бернар ежедневно приходил обедать в Гранд-отель и садился на свое место (так садится на свое место в партере муж-

чина, содержащий статистку, но только в данном случае это была особого рода статистка, еще ждавшая своего Дега). Ниссону Бернару доставляло удовольствие следить взглядом, как перед ним или в глубине ресторана, где под пальмой восседала кассирша, лавирует этот юнец, проявляя услужливость ко всем, кроме Ниссона Бернара, по отношению к которому он стал менее внимателен после того, как Бернар взял его на содержание, — потому ли, что, по мнению юного левита, с человеком, в любви которого ты не сомневаешься, можно быть не таким любезным, как с другими, потому ли, что любовь Ниссона Бернара его раздражала, или же из боязни, что, если их связь откроется, это может отрезать ему другие пути. Но и холодность юноши радовала Ниссона Бернара тем, что за ней скрывалось; то ли в Бернаре говорил иудейский атавизм, то ли его радовало осквернение христианского чувства, — как бы то ни было, он находил особое удовольствие в этой Расиновой церемонии, пусть еврейской, пусть католической. Если бы Ниссон Бернар в самом деле присутствовал на представлении «Эсфири» или «Гофолии», он пожалел бы, что разница в веках не дает ему возможности познакомиться с автором, Жаном Расином, ко-

торого он упросил бы дать своему подопечному роль поважнее. Но обеденная церемония не была сочинена кем-либо из драматургов, и ему приходилось поддерживать хорошие отношения не с драматургами, а всего лишь с директором и с Эме, чтобы «юный израильтянин» получил желанную должность помощника, а то и самого метрдотеля. Должность смотрителя винного погреба ему уже предлагали. Однако Бернар уговорил его отказаться от этого предложения, иначе он бы уже не наблюдал ежедневно, как тот носится по зеленой зале ресторана, и не пользовался бы его услугами на правах обыкновенного посетителя. Л для Бернара это было такое большое удовольствие, что ради него он каждый год приезжал в Бальбек и обедал не у себя дома, причем первое из обыкновений своего дядюшки Блок объяснял его поэтической натурой, любовью к игре красок, к закатам, которыми надо любоваться именно над этим несравненным побережьем, а второе — укоренившейся в старом холостяке причудой.

В сущности, заблуждение родственников Ниссона Бернара, не догадывавшихся о настоящей причине его ежегодных приездов в Бальбек и того, что он там, к неудовольствию педантичной г-жи Блок, «хоть бы раз дома пообедал», — это

их заблуждение на самом деле оборачивалось истиной, хотя и скрытой и усложненной. Ведь сам Ниссон Бернар не знал, насколько его страсть к бальбекскому побережью, к виду на море, открывавшемуся из ресторана, и маниакальные его привычки связаны с удовольствием содержать, точно оперную статистку, еще ждущую своего Дега, одного из прислуживавших ему и представлявших собой тоже, в сущности, девиц легкого поведения. Ради него Ниссон Бернар поддерживал с директором театра, то есть бальбекского отеля, с постановщиком и техническим режиссером Эме, роль которых во всей этой истории была отнюдь не из красивых, самые милые отношения. Кто знает, может быть, впоследствии они пригодятся для того, чтобы официант получил большое повышение и стал метрдотелем. А пока что наслаждение, которое получал Ниссон Бернар, при всей его поэтичности и созерцательной успокоительности, отчасти напоминало то, какое испытывают женолюбы — вроде, например, прежнего Свана, — знающие наверняка, что, выехав в свет, они встретят там свою возлюбленную. Только Ниссон Бернар садился на свое место — и вот уж предел его желаний появлялся на сцене, держа на приподнятой руке поднос с фруктами

или сигарами. Потому-то каждое утро, поцеловав племянницу, поинтересовавшись, как идут дела у моего друга Блока, и протянув на ладони кусочки сахара своим лошадям, он быстрым шагом направлялся к Гранд-отелю. В доме у него мог бы начаться пожар, с племянницей могло бы быть дурно, а он все-таки непременно пошел бы туда. Недаром он, как чумы, боялся простуды — он ведь был ипохондриком: тогда пришлось бы лежать в постели и просить Эме, чтобы тот еще до завтрака прислал к нему его юного друга.

К тому же Бернар любил весь этот лабиринт коридоров, отдельных кабинетов, зал, гардеробных, кладовых, галерей, который представлял собой бальбекский отель. Вследствие своего восточного атавизма любивший серали, он вечером, перед уходом, украдкой обследовал извилины этого лабиринта.

В то время как Ниссон Бернар в поисках юных левитов отваживался спускаться даже в подвалы, всячески стараясь остаться незамеченным и избежать огласки, так что, глядя на него, вы невольно вспоминали стихи из «Жидовки»:[206]

---

[206] Примечания: 206

«Жидовка» («Дочь кардинала», 1835) — опера Жака Фроманталя Галеви (1799–1862), автор либретто — Эжен Скриб.

О Бог сынов Израиля,
Сойди, явись средь нас.
Сокрой же наши тайны
От нечестивых глаз! —

я, наоборот, поднимался в номер двух сестер, приехавших в Бальбек на положении горничных с одной пожилой иностранкой. На языке отелей они назывались «девушками для поручений», а на языке Франсуазы, воображавшей, будто у иностранцев в частных домах штату прислуги даются военные чины, — «поручицами». Отели придерживались благородных традиций тех времен, когда распевали: «На порученьях он в отдельном кабинете».[207]

Несмотря на то, что живущему в отеле трудно было проникать в номера девиц для поручений, а девицам — в номера проживающих, у меня очень скоро завязалась очень крепкая, хотя и очень чистая дружба с мадемуазель Марией Жинест

[207] Примечания: 207

«На порученьях он в отдельном кабинете». — Цитата из оперы Жака Оффенбаха «Разбойники» (1869).

и г-жой Селестой Альбаре.[208] Родились они у подошвы высоких гор в средней полосе Франции, на берегу ручьев и потоков (вода протекала под самым их домом, около которого вертелось мельничное колесо и который неоднократно затопляло), и это наложило известный отпечаток на их нрав. В самой стремительности и порывистости Марии Жинест была какая-то размеренность, а Селеста Альбаре, более вялая, томная, напоминала тихое озеро, но порой она вскипала, и тогда ее гнев можно было сравнить с паводком или с водоворотом, грозящим все снести, все смыть. Мария и Селеста часто заходили ко мне по утрам, когда я еще лежал в постели. Раньше мне не приходилось встречать женщин, которые были бы до такой степени невежественны по своей доброй воле, которые никаких знаний из школы не вынесли, но в языке которых была бы столь сильная примесь литературности, что, если бы не почти дикарская естественность тона, их речь могла бы показаться напыщенной. Я нарочно

[208] Примечания: 208

Альбаре, Селеста (урожденная Жинест; 1891–1984) — экономка Пруста с 1914 г. вплоть до его смерти. Мария Жинест, ее старшая сестра, жила в доме писателя с 1918 г. Селеста оставила о своем хозяине замечательные воспоминания «Господин Пруст» (1973), подготовленные к печати Жоржем Бельмоном, где откликается и на эти страницы романа, посвященные собственно ей и ее сестре.

не сглаживаю фамильярности, какую Селеста допускала, говоря со мной — пока я макал в молоко рогалики — и мешая похвалы (которые я привожу здесь не для самовозвеличения, а чтобы прославить особенный дар Селесты) со столь же не заслуженными мной, но с ее стороны вполне искренними упреками, как будто бы заключавшимися в ее восклицаниях: «Ах вы, чертенок с волосами как вороново крыло! У, насмешник, хитрец! Не знаю, о чем думала ваша мать, когда была вами беременна, но только все у вас птичье. Посмотри, Мария: ведь правда, он чистит перышки, ловко вертит шейкой и весь такой легкий, что, кажется, вот сейчас полетит? До чего ж вам повезло, что вы родились в богатой семье! А то что бы с вами сталось, с таким небережливым? Гляди: он уронил рогалик на кровать и не стал есть. Да еще и молоко разлил вдобавок! Дайте я вам подвяжу салфетку, а то ведь вы обольетесь — такого дуралея и пентюха я отроду не видывала». Тут мерным шумом потока разливалась Мария Жинест, осыпавшая сестру гневными укорами: «Да замолчи, Селеста! Ты совсем с ума сошла. Как ты смеешь так разговаривать с молодым человеком?» Селеста в ответ только улыбалась. Я терпеть не мог, чтобы мне подвязывали сал-

фетку. «Ничего, ничего, Мария, — говорила Селеста. — Посмотри на него: ух ты, напружился, как змееныш. Вылитый змееныш!» Вообще Селеста была щедра на зоологические сравнения: она считала, что никто не знает, когда я сплю, — всю ночь я порхаю, как мотылек, а что днем я проворен, словно белка. «Знаешь, Мария, он вроде тех белок, что водятся у нас: такие шустрые — глаз за ними не уследит». — «Но ты же знаешь, Селеста, что он не любит, чтобы ему подвязывали салфетку, когда он ест». — «Это не потому, что не любит, — он все делает по-своему. Он важный барин, и ему хочется показать, что он важный барин. Потребует, чтоб ему десять раз меняли простыни, — и переменят, он своего добьется. Вчерашние понесли в прачечную, а сегодня не успели переменить — стели другие. Правильно я сказала, что ему нельзя было родиться от бедняков. Смотри: волосы у него встопорщились, взъерошились от злости, словно перья у птицы. Ах ты, *птышенок*!» Тут уж не только Мария, но и я выражал неудовольствие — я вовсе не корчил из себя важного барина. Однако Селеста не желала верить, что я действительно человек скромный, и прерывала меня: «Ах, притворщик! Ах, воплощенная кротость! Ах, плутяга, хитрец

из хитрецов, злючка из злючек! Ах, Мольер!» (Это была единственно известная ей фамилия писателя, но меня она так называла потому, что представляла себе Мольера человеком, способным не только сочинять, но и ломать комедии.) «Селеста!» — прикрикивала на нее Мария — она не знала фамилии «Мольер» и боялась, что в ней тоже есть что-то для меня оскорбительное. Лицо Селесты снова расплывалось в улыбке. «Стало быть, ты не видела у него в ящике его детскую карточку. И он еще хотел уверить нас, что всегда был очень просто одет! А вот он с тросточкой, в таких мехах и в таких кружевах, какие не снились и принцу. Но все это ерунда в сравнении с его необыкновенно величественной осанкой и с еще более поразительной добротой». — «К довершению всего, — гремел поток Марии, — ты роешься у пего в ящиках».

Чтобы Мария перестала из-за этого волноваться, я задал ей вопрос, как ей нравится поведение Ниссона Бернара... «Ой, прежде, если б мне рассказали про такие вещи, я бы ни за что не поверила. Только здесь я про это и узнала. — И тут она заткнула за пояс Селесту по части глубины мысли: — В жизни чего только не бывает — всего не узнаешь, понимаете?» Чтобы переменить

разговор, я начинал рассказывать о моем отце, неутомимом труженике. «Ой, есть такие люди, которые совсем для себя не живут, не дают себе ни одной минутки свободной, не позволяют себе никаких удовольствий, все, все — для других. У таких людей своей жизни нет — они *безжизненные*... Погляди, Селеста: он только руку кладет на одеяло и поднимает рогалик, а ведь сразу скажешь, что он из благородных. Ему достаточно сделать самое простое движение, а кажется, будто зашевелилась вся французская знать — до самых Пиренеев».

Этот портрет, в котором было так мало сходства с оригиналом, подавлял меня, и я умолкал; Селеста считала, что это тоже хитрость: «Ох уж этот лобик — такой, кажется, невинный, а чего только в себе не таит; щечки милые, свежие, как миндаль, ручки мягкие, как шелк, ногти — коготки» — и так далее. «Ой, Мария, посмотри, с каким сосредоточенным видом он пьет молоко, — при взгляде на него невольно хочется стать на молитву. Какая серьезность! Вот бы его сейчас сфотографировать! Совсем еще дитя. Оттого, наверно, у вас и сохранился такой нежный цвет лица, что вы пьете молоко? Ах, до чего ж он еще молод! Ах, до чего ж у него красивая кожа!

Вы никогда не состаритесь. Вы счастливый, вам ни на кого не придется поднимать руку, у вас повелительный взгляд. Ну вот, уже и рассердился! Вскочил, вытянулся во весь рост, ну прямо статуя!»

Франсуаза была очень недовольна тем, что эти две, как она их называла, «обольстительницы» приходят ко мне и ведут такие разговоры. Директор, вменявший в обязанность своим служащим следить за всем, происходит в отеле, сделал мне даже серьезное замечание, что проживающим не подобает болтать с находящимися на поручениях. Я же ставил моих «обольстительниц» выше всех дам, проживавших в отеле, но так как я был уверен, что директор меня не поймет, то ничего ему не ответил, а только рассмеялся. И сестры по-прежнему меня навещали. «Посмотри, Мария, какие у него тонкие черты лица. Безукоризненно сделанная миниатюра, красивей самых драгоценных, какие только можно увидеть на витрине. А движения! А уж слушать его можно день и ночь».

Для меня оставалось загадкой, каким чудом иностранке удалось взять их с собой: они огулом ненавидели всех англичан, немцев, русских, итальянцев, всю эту чужеземную «шантрапу», а

любили только французов, да и то не всех. В их лицах было столько от влажной податливости их родных рек, что, стоило при них заговорить о ком-либо из иностранцев, проживавших в отеле, у Селесты и у Марии, повторявших его слова, лица становились как у него, рот как у него, глаза как у него — хотелось запечатлеть это поразительное актерское мастерство. Селеста, притворяясь, будто она только пересказывает то, что говорил директор или кто-нибудь из моих приятелей, ухитрялась искусно вставлять от себя в свой рассказец отдельные выражения, в которых проступали все недостатки Блока, председателя суда и пр. Отчет о самом обыкновенном поручении, которое она по своей услужливости взялась исполнить, превращался у нее в неподражаемый портрет. Сестры никогда ничего не читали, даже газет. Как-то раз они увидели у меня на кровати книжку. Это был сборник чудесных стихов малоизвестного поэта Сен-Леже Леже.[209] Селеста прочла несколько страниц и обратилась ко мне с вопросом: «А вы уверены, что это стихи, а

[209] Примечания: 209

Сен-Леже Леже, Алексис (1887–1975) — французский дипломат и поэт, снискавший известность под именем Сен-Жон Перс (Нобелевская премия по литературе за 1960 г.). Согласно свидетельству некоторых мемуаристов, в 1916 г. Пруст прочел его первую книгу «Хвалы» (1911), которая поразила его своей интеллектуальной утонченностью.

не загадки?» Конечно, для человека, выучившего в детстве только одно стихотворение: «Под луной вся сирень отцветает», переход был чересчур резок. Мне сдается, что их упорное нежелание чему-нибудь учиться отчасти объяснялось нездоровым климатом их родных мест. А между тем они были не менее талантливы, чем иные поэты, но только скромнее многих из них. Если Селеста говорила что-нибудь удивительно оригинальное, а я, хорошенько не запомнив, просил ее повторить, она клялась, что забыла. Они никогда бы не прочли, но и не написали бы ни одной книги.

Франсуаза подивилась, узнав, что один брат этих двух совсем простеньких сестер женат на племяннице архиепископа Турского, а другой — на родственнице епископа Родезского. Директору отеля эти имена ничего бы не сказали. Селеста иногда упрекала своего мужа в том, что он ее не понимает, а я поражался тому, как он ее терпит. Временами она, дрожащая от злобы, готовая все сокрушить, была отвратительна. Говорят, будто соленая жидкость, которую представляет собой наша кровь, есть не что иное, как сохраняющийся внутри нашего организма остаток изначальной морской стихии. Вот так же, мне думается, и Селеста не только в гневе, но

и в угнетенном состоянии хранила в себе ритм ручьев своей родины. Силы у нее иссякали, как у ручьев: она действительно высыхала. Тогда ничто не могло оживить ее. И вдруг кровообращение возобновлялось в ее большом, пышном и легком теле. Вода опять начинала струиться под прозрачной опаловостью ее голубоватой кожи. Она улыбалась солнцу и все голубела и голубела. В такие минуты ее хотелось назвать Небесной.

Семья Блока находилась в блаженном неведении по поводу того, почему это дядюшка не обедает дома, — она с самого начала относилась к этому как к причуде старого холостяка, пыталась объяснить это связью с какой-нибудь актрисой, а директор бальбекского отеля тщательно оберегал Ниссона Бернара от всяких неприятностей. Вот почему, ничего не сказав дядюшке, он не посмел даже выразить порицание племяннице — он только посоветовал ей быть осторожнее. А девица и ее подруга несколько дней были уверены, что их изгнали из казино и из Гранд-отеля, но затем, поняв, что все обошлось, обрадовались тому, что теперь они покажут отцам семейств, требовавшим, чтобы они держались друг от дружки подальше, что им все позволено. Разумеется, они уже не отваживались вновь разыгрывать

сцену, вызвавшую всеобщее негодование. Но постепенно они взялись за свое. Однажды вечером я, Альбертина и Блок, которого мы встретили в казино, где в это время уже гасили свет, выходили оттуда и вдруг увидели, что навстречу нам, обнявшись и то и дело целуясь, идут они; когда же они с нами поравнялись, то мы услышали их гогот, непристойные смешки и взвизги. Чтобы не подать виду, что он узнал сестру, Блок опустил глаза, а меня мучила мысль, что этим особым омерзительным языком они, быть может, заговаривают с Альбертиной.

Другой случай еще сильнее сосредоточил мое внимание на Гоморре. Я увидел на пляже красивую молодую женщину, тонкую, бледную, из глаз которой исходили лучи света до того яркие в геометрической своей правильности, что взгляд ее напоминал созвездие. «Насколько же она красивее! — подумал было я. — Уж не порвать ли мне с Альбертиной?» Но по лицу этой красивой молодой женщины прошелся невидимый резец до ужаса низменной жизни, какой живут люди, постоянно прибегающие к нечистоплотным средствам, и глазам — все-таки самому благородному, что было в ее лице, — оставалось только светиться похотью и страстями. И вот на другой

день в казино, где молодая женщина находилась очень далеко от нас, я заметил, что она все время направляет на Альбертину мигающие, вращающиеся лучи своих взглядов. Можно было подумать, что это сигнальные огни маяка. Я страдал от мысли, что моя подружка заметит, какое внимание она на себя обратила; я боялся, что эти поминутно вспыхивающие взгляды — условный знак, назначающий на завтра любовное свидание. Да и кто знает? Может быть, завтрашнее свидание — уже не первое. Разве молодая женщина с лучистыми глазами не могла годом раньше побывать в Бальбеке? Может быть, она потому и осмеливается подавать Альбертине эти сияющие сигналы, что Альбертина уже ответила на ее призыв или на призыв ее подруги. Тогда, значит, маячные огни не только требовали чего-то в настоящем, но и, предъявляя права, напоминали о счастливых часах в минувшем.

Итак, значит, это свидание — не первое, это продолжение других встреч, состоявшихся в минувшие годы. И в самом деле, эти взгляды не спрашивали: «Хочешь?» Ведь не случайно молодая женщина, увидев Альбертину, тотчас повернулась к ней лицом и замерцала в ее сторону взглядами, и взгляды эти были заряжены воспо-

минаниями, точно ее переполняли изумление и страх: неужели Альбертина забыла? Альбертина заметила ее сразу, но осталась флегматически неподвижной, и молодая женщина, проявив сдержанность, какую проявляет мужчина, видящий бывшую свою возлюбленную с новым любовником, отвела от нее глаза и больше не обращала на нее внимания, как будто ее здесь не было.

Однако несколько дней спустя мое предположение о пристрастиях молодой женщины оправдалось; не ошибся я и в том, что они с Альбертиной знакомы. Когда в казино встречались девушки, которых друг к другу тянуло, то обычно там возникало некое световое явление, между ними как бы протягивалась фосфоресцирующая дорожка. Замечу в скобках, что именно с помощью такого рода материализаций, как бы неопределенны они ни были, благодаря этим астральным знакам, озарявшим целый участок атмосферы, рассеянная Гоморра стремится в каждом городе, в каждом селении воссоединить свои распавшиеся звенья, восстановить библейский город, между тем как те же самые усилия предпринимаются — хотя бы ради временного возрождения — изгнанными из Содома и тоскующими по утраченной родине, предпринимаются

иногда людьми двуличными, а кое-когда и смельчаками.

Как-то я увидел молодую женщину, которую Альбертина будто бы не узнала, в тот момент, когда мимо нее проходила двоюродная сестра Блока. Глаза у молодой женщины преобразились в звезды, но можно было поручиться, что она не знакома с молодой еврейкой. Она увидела ее впервые, почувствовала к ней влечение, но сейчас она не обнаруживала и сотой доли той уверенности, какую выказала по отношению к Альбертине, на сообщничество которой она твердо рассчитывала и чья холодность привела ее в точно такое же изумление, какое бывает написано на лице у не живущего в Париже, но сжившегося с ним человека, который в один из своих частых приездов вдруг видит, что на месте театрика, где он так любил проводить вечера, выстроен банк.

Двоюродная сестра Блока села за столик и принялась рассматривать журнал. Немного погодя за тот же столик якобы случайно села молодая женщина. Если бы вскоре вы заглянули под столик, то увидели бы, как настойчиво сплетаются их руки и ноги. За движениями последовали слова, завязался разговор, а наивный муж молодой жен-

щины, разыскивавший ее, был крайне удивлен, когда узнал, что она строит планы на сегодняшний вечер совместно с девушкой, которую он видел первый раз в жизни. Жена представила ему двоюродную сестру Блока как подругу детства и произнесла ее имя так невнятно, что ничего нельзя было разобрать, — она забыла спросить, как ее зовут. Присутствие мужа вынудило их сделать еще один шаг к сближению — они стали говорить друг другу «ты», потому что якобы жили когда-то вместе в монастыре, над чем они впоследствии насмеялись вволю, равно как и над одураченным мужем, и эта их потеха послужила поводом для новых ласк.

Я бы не сказал, чтобы Альбертина где-нибудь, в казино или на пляже, держала себя с девушками слишком вольно. Скорее мне казалось, что она чересчур холодна, безразлична, в чем я, однако, усматривал не столько следствие хорошего воспитания, сколько хитрость, рассчитанную на то, чтобы сбить подозрения со следа. У нее была особая манера — ответить девушке быстро, учтиво, ледяным и очень громким голосом: «Да, в пять часов я иду на теннис. Купаться я пойду завтра около восьми» — и сейчас же уйти, а девушке, видимо, страх как хотелось затеять с нею игру:

назначить ей свидание или, вернее, условившись о свидании шепотом, вслух повторить, «чтобы никто ничего не подумал», самую как будто бы ничего не значащую фразу Альбертины. А когда потом Альбертина садилась на велосипед и мчалась с бешеной скоростью, я уже не мог отделаться от мысли, что она спешит к той, которую она одна удостаивает ответа.

И еще: когда красивая молодая женщина, подъехав к пляжу, выходила из автомобиля, то не оглянуться на нее — это было выше сил Альбертины. Но она тут же давала этому объяснение: «Я посмотрела на новый флаг, который повесили над купальнями. Могли бы разориться и на что-нибудь получше. Старый был довольно обтрепанный. Но, право же, этот еще неказистей».

Был такой случай, когда Альбертина вышла из рамок холодности, и от этого мне стало еще больней. Она знала, что мне неприятны ее даже и редкие встречи с знакомой ее тетки — женщиной «дурного тона», приезжавшей дня на три к г-же Бонтан. И она, мило улыбаясь, дала мне слово, что перестанет с ней здороваться. Когда эта женщина приезжала в Энкарвиль, Альбертина сообщала: «Кстати, вы знаете, что она здесь? Вам говорили?» — как бы желая показать, что она не видится с ней

тайком. Однажды она прибавила: «Я встретила ее на пляже и нарочно обошлась с ней грубо: не посторонилась, толкнула ее». Когда Альбертина довела об этом до моего сведения, мне пришли на память слова г-жи Бонтан, которые я услышал от нее у г-жи Сван и которые сейчас же забыл: г-жа Бонтан говорила о том, какая дерзкая ее племянница Альбертина, — говорила как о ее достоинстве — и привела пример: жене какого-то чиновника Альбертина сказала, что отец у нее был поваренком. Но слово любимой сохраняется недолго: оно портится, оно подгнивает. Дня два спустя я снова вспомнил дерзость Альбертины, и теперь она уже была для меня не признаком дурного воспитания, которым Альбертина гордилась и которое, кроме улыбки, ничего у меня не вызывало, а совсем другим признаком: у Альбертины, пожалуй, даже и не было заранее обдуманного намерения, но, когда она встретилась с этой дамой, ей захотелось взбудоражить ее или злобно напомнить о когда-то давно сделанных предложениях, быть может в свое время и принятых, и она нарочно на нее налетела, а потом подумала, что я мог об этом узнать, так как многие это видели, и решила заранее отвести неблагоприятное для нее истолкование.

И все же ревность, возбуждаемая во мне женщинами, которых, быть может, любила Альбертина, внезапно утихла.

Мы с Альбертиной дожидались поезда на одной из станций пригородной железной дороги — станция называлась «Бальбек». Из-за плохой погоды мы приехали сюда в омнибусе, принадлежавшем отелю. Поодаль стоял Ниссон Бернар: у него был подбит глаз. Последнее время он начал изменять юному левиту из «Гофо-лии» с малым, служившим неподалеку от гостиницы в бойком кабачке «Под вишнями». У этого краснорожего малого с грубыми чертами лица была не голова, а совершеннейший помидор. Такой же точно помидор заменял голову его брату-близнецу. Для беспристрастного наблюдателя полного сходства близнецов представляло особый интерес то, что природа, как бы вдруг превратившись в промышленника, начала поставлять совершенно одинаковые изделия. К несчастью для Ниссона Бернара, угол зрения у него был иной, а сходство близнецов было только внешним. Помидор № 2 ревностно и увлеченно исполнял свои обязанности — служить утехой только дамам, помидор № 1 снисходил до угождения мужчинам, отличавшимся особого рода наклонностями. И всякий

раз, когда старый близорукий еврей (впрочем, чтобы принять один помидор за другой, не надо было быть близоруким) появлялся в кабачке «Под вишнями», то, как бы по рефлексу, под наплывом воспоминаний о приятно проведенном времени с помидором № 1 он сам того не подозревая, начинал играть роль Амфитриона[210] и обращался к другому близнецу. «Хочешь, встретимся вечером?» — предлагал он. И вместо ответа незамедлительно получал увесистую «плюху». Кое-когда он получал несколько таких плюх в течение одной и той же трапезы — при каждой попытке возобновить со вторым переговоры, начатые с первым. В конце концов, по ассоциации идей, это внушило ему такое отвращение к помидорам, даже к съедобным, что каждый раз, когда путешественник, сидевший за соседним столиком в Гранд-отеле, заказывал помидоры, он говорил ему шепотом: «Извините, милостивый государь, что я обращаюсь к вам, не будучи с вами знаком. Но я слышал, что вы заказали помидоры. Сегодня помидоры гнилые. Я забочусь

[210] Примечания: 210

Амфитрион — в греческой мифологии сын царя Алкея и Астидамеи, внук Персея. Имеется в виду тот эпизод мифа, когда Зевс, плененный красотой жены Амфитриона Алкмены, принял образ ее мужа и провел с нею брачную ночь, во время которой солнце трое суток не поднималось над землей.

о вас, мне-то, собственно, все равно, я их никогда не беру». Заезжий горячо благодарил своего человеколюбивого и бескорыстного соседа, подзывал официанта и притворялся, будто передумал: «Помидоров не надо, ни в коем случае». Эме, знавший, в чем тут загвоздка, в глубине души посмеивался и думал: «Ох и хитер же этот Бернар — опять нашел предлог, чтобы уговорить посетителя отменить заказ». Поджидавший поезда Бернар из-за своего подбитого глаза предпочитал не здороваться с Альбертиной. А у нас и вовсе не было желания заговаривать с ним. Однако этого вряд ли можно было бы избежать, не подкати к нам бешено мчавшийся велосипедист; когда же он, запыхавшись, соскочил с велосипеда, то оказалось, что это лифтер. Вскоре после того, как мы с Альбертиной ушли из отеля, мне позвонила г-жа Вердюрен и позвала послезавтра на ужин; зачем — это разъяснится впоследствии. Передав мне во всех подробностях телефонный разговор, лифтер поехал обратно; как все демократические «служащие», он с буржуа держался независимо, а за их спиной восстанавли вал авторитет начальства — вот почему, намекая на то, что швейцар и тот, кто ведал экипажами, на него рассердятся, он прибавил: «Лечу — а то как бы от начальников

не нагорело!»

Подруги Альбертины на некоторое время разъехались. Мне хотелось развлечь ее. Но когда мне приходила в голову мысль, что она может быть счастлива, проводя время в Бальбеке только со мной, я тут же говорил себе, что полного счастья не бывает и что Альбертина, находящаяся в том возрасте (из которого иные так и не выходят), когда человек еще не убедился, что неполнота зависит от того, кто испытывает счастье, а не от того, кто его дарит, не поймет, в чем дело, и решит, что в ее разочаровании повинен я. Я предпочитал, чтобы она все приписывала обстоятельствам — хотя на самом деле их подстраивал бы я, — будто бы мешающим нам побыть вдвоем и в то же время не дающим ей возможности посидеть в казино или погулять по набережной без меня. Вот почему я попросил ее в тот день поехать со мной в Донсьер, куда мне хотелось съездить ради встречи с Сен-Лу. С той же целью — чем-нибудь ее занять — я советовал ей взяться за живопись, которой она когда-то училась. Трудясь, она не стала бы задавать себе вопрос, счастлива она или несчастна. А я бы возил ее время от времени ужинать к Вердюренам и к Говожо, которые, конечно, рады были бы принимать у себя мою

подружку, введенную мной в их дома, но сначала я должен был убедиться, что баронессы Пютбю нет еще в Ла-Распельер. Это я мог выяснить только на месте, а так как мне было известно заранее, что послезавтра Альбертине предстояла поездка со своей теткой в окрестности Бальбека, то я этим воспользовался и послал г-же Вердюрен телеграмму, в которой спрашивал, может ли она принять меня в среду. Если бы баронесса Пютбю уже приехала к Вердюренам, я бы как-нибудь ухитрился повидаться с ее горничной, вызнать у нее, не собирается ли она, чего доброго, в Бальбек, и если собирается, то когда именно, — вызнать для того, чтобы в этот день увезти Альбертину куда-нибудь подальше. Поезд, ехавший по пригородной ветке, делал теперь крюк, чего не было когда я ехал на нем с бабушкой, и проходил через Дон-сьер-ле-Гуниль — большую станцию, откуда отправлялись поезда дальнего следования, в частности — экспресс, которым я ехал из Парижа, чтобы повидаться с Сен-Лу, и которым уезжал обратно. Из-за плохой погоды мы с Альбертиной доехали до станции «Бальбек-пляж» на омнибусе Гранд-отеля.

Поезд еще не пришел, но был виден медлительный и ленивый султан дыма, который он оставил

за собой и который теперь, превратившись в самое обыкновенное неторопливое облако, не спеша поднимался над зеленью склонов Крикто. Наконец маленький поезд, предводительствуемый дымом, который сначала опередил его, а потом принял вертикальное положение, так же медленно подошел к станции. Пассажиры посторонились, но никто из них не торопился: все знали, что имеют дело с добродушным, почти человекообразным пешеходом или с кем-то вроде начинающего велосипедиста; слушаясь сигналов услужливого начальника станции и находясь под надежной охраной машиниста, он никогда никого не собьет и охотно остановится там, где удобнее будет пассажирам.

Телефонный звонок Вердюренов был вызван моей телеграммой, и получилась она как раз вовремя, потому что по средам (а на послезавтра приходилась среда) у г-жи Вердюрен и в Париже, и в Ла-Распельер бывали многолюдные ужины, а я об этом не подозревал. Собственно «ужинов» г-жа Вердюрен не устраивала — у нее были «среды». Они представляли собой произведения искусства. Г-жа Вердюрен знала, что ничего подобного ни у кого больше нет, и все же она усматривала некоторую разницу между ними. «Последняя среда не

идет в сравнение с предыдущей, — утверждала она. — Но следующая, как мне кажется, будет самой удачной из всех, какие я когда-либо устраивала». Иногда она говорила откровенно: «Эта среда была хуже всех. Зато к следующей я готовлю вам большой сюрприз». В конце парижского сезона, перед отъездом на дачу, Покровительница объявляла о закрытии сред. Это было для нее поводом подхлестнуть «верных»: «Остается всего три среды, остается две среды, — говорила она таким тоном, как будто близится конец света. — Ведь вы же не пропустите следующую: это закрытие сезона». Но закрытие было мнимое, так как г-жа Вердюрен предупреждала: «Официально сред теперь больше нет. Предыдущая была последней в этом году. Но все-таки я по средам буду дома. Как знать? Быть может, эти интимные малолюдные среды будут самыми приятными». В Ла-Распельер среды были поневоле рассчитаны на более узкий круг, но Вердюрены постоянно встречали знакомых, которые оказывались здесь проездом, и приглашали их провести вечерок, так что среды у них были почти ежедневно. «Я хорошенько не запомнил фамилии приглашенных, но только знаю наверное, что там будет госпожа маркиза де Гужомо», — сообщил мне

лифтер; нашим с ним разговорам о Говожо так и не удалось вытеснить с давних пор застрявшее у него в голове слово «гуж»: привычное, имеющее определенный смысл, оно приходило на помощь молодому служащему всякий раз, когда он затруднялся произнести трудную для него фамилию, и он сейчас же отдавал предпочтение им переделанной и приноровленной к своему кругу понятий — отдавал не от лени и не от любви ко всему прочно устоявшемуся, но из стремления к логичности и ясности, а переделанная им фамилия эту его потребность вполне удовлетворяла.

Мы хотели было сесть в пустой вагон, где я всю дорогу мог бы целоваться с Альбертиной. Но пустого вагона не оказалось, и мы поневоле удовольствовались купе, где уже расположилась дама с огромной головой, уродливая, старая, с мужским выражением лица, очень нарядная, — она сидела и читала «Ревю де Де Монд». Она была вульгарна и в то же время с претензиями; я задал себе вопрос: к какой социальной категории она принадлежит? — и тут же ответил: это, наверно, содержательница большого дома терпимости, путешествующая сводня. Это ясно читалось и в ее лице, и в манерах. Я только до сих пор не знал, что такого сорта дамы читают

«Ревю де Де Монд». Альбертина, кивнув мне на нее, подмигнула и усмехнулась. Вид у дамы был необыкновенно величественный, но так как во мне жила мысль, что послезавтра я приглашен к живущей на конечной станции этой железнодорожной ветки знаменитой г-же Вердюрен, что на одной из промежуточных станций меня ждет Сен-Лу и что, проехав чуть-чуть дальше, я доставил бы большое удовольствие маркизе де Говожо, согласившись погостить у нее в Фетерне, то в моих глазах загорались насмешливые огоньки при виде этой важной дамы, по-видимому считавшей, что изысканность наряда, перья на шляпе и «Ревю де Де Монд» ставят ее выше меня. Я надеялся, что дама просадит в вагоне не дольше Ниссона Бернара, что сойдет она, во всяком случае, в Тутенвиле, — как бы не так! Поезд остановился в Эвревиле — дама ни с места. Не сошла она ни в Монмартен-сюр-Мер, ни в Парвиль-ла-Бенгар, ни в Энкарвиле, и, когда наконец поезд проехал Сен-Фришу, последнюю станцию перед Донсьером, я, отчаявшись и перестав стесняться дамы, начал обнимать Альбертину. В Донсьере меня встретил Сен-Лу; он сказал, что живет у тетки и поэтому моя телеграмма, пришедшая только сейчас, застала его врасплох, что все у

него заранее распределено и он может побыть со мной не более часа. Этот час показался мне — увы! — очень долгим из-за того, что Альбертина, не успев выйти из вагона, все свое внимание обратила на Сен-Лу. Со мной она не разговаривала, отвечала сквозь зубы, если я к ней обращался, оттолкнула меня, когда я к ней подошел. Зато, беседуя с Робером, она смеялась своим зазывным смехом, говорила без умолку, играла с его собакой и, дразня ее, нарочно задевала хозяина. Я вспомнил, что в тот день, когда Альбертина впервые позволила мне поцеловать себя, я благодарно улыбнулся неведомому соблазнителю, который произвел в ней такую резкую перемену и так облегчил мне мою задачу. Теперь я думал о нем с ужасом. Робер, по-видимому, догадался, что я к Альбертине неравнодушен: он не отвечал на ее заигрыванья, и это внушало ей враждебное чувство ко мне; потом он заговорил со мной так, словно я приехал один, и когда Альбертина это заметила, то это снова подняло меня в ее глазах. Робер осведомился, нет ли у меня желания разыскать тех его друзей, вместе с кем я ежевечерне ужинал! у него, когда был в Донсьере, и кто еще оставался здесь. Он всегда осуждал назойливую наставительность, а между тем сам в нее впадал.

«Зачем же ты тогда так старался их *обаять*, раз теперь тебя не тянет с ними повидаться?» — задал он мне вопрос. Я отклонил его предложение, во-первых, потому, что боялся оставить Альбертину одну, а во-вторых, потому, что оторвался от друзей Робера. Оторвался от них, то есть от самого себя. Мы страстно мечтаем об ином мире, в котором мы были бы такими же, как здесь. Но мы забываем, что, еще не дождавшись перехода в тот мир, мы и в этом мире по прошествии нескольких лет становимся другими, не такими, какими нам хотелось бы остаться навеки. Даже если откинуть мысль, что смерть изменит нас больше, чем превращения, происходящие с нами в жизни, все равно, повстречайся нам в ином мире то «я», которым мы были прежде, мы бы от него отвернулись, как от тех, с кем мы были когда-то дружны, но с кем давно уже не виделись — вроде друзей Сен-Лу, ежевечерние встречи с которыми в «Золотом фазане» доставляли мне такое большое удовольствие, — и с кем у меня теперь разговор не клеился бы и был бы мне в тягость. Вот потому-то, а еще и по той причине, что мне не хотелось пытаться отыскать здесь то, что когда-то было мне дорого, прогулка по Донсьеру могла бы представиться мне прообразом

переселения в рай. Мы часто думаем о рае или, вернее, о многочисленных чередующихся раях, но все они, еще задолго до нашей смерти, оказываются потерянными раями, где и мы чувствуем себя потерянными.

Сен-Лу расстался с нами на вокзале. «Ты, может быть, прождешь около часа, — предупредил' он меня. — Если ты пробудешь все время здесь, то наверняка встретишься с дядей Шарлю — он уезжает в Париж за десять минут до того, как отойдет твой поезд. Я с ним уже распростился — мне надо вернуться до его отъезда. Я ничего не мог сказать ему о тебе — твоя телеграмма еще не успела прийти». Когда Сен-Лу от нас ушел, я осыпал Альбертину упреками, а она ответила, что своей холодностью со мной она хотела на всякий случай изменить у Сен-Лу впечатление, какое могло у него создаться, если бы он, когда поезд остановился, заметил, как я наклоняюсь к ней и обнимаю ее за талию. Он в самом деле обратил на это внимание (я не сразу увидел Сен-Лу, иначе держал бы себя приличнее) и шепнул мне: «Это и есть одна из тех недотрог, о которых ты мне рассказывал, — из тех, что не желали бывать у мадемуазель де Стермарья, потому что считали, что она дурного пошиба?» В самом деле, когда

я приезжал из Парижа в Донсьер повидаться с Робером, разговор у нас коснулся Бальбека, и я ему сказал откровенно, что с Альбертиной у меня ничего не выходит, что она — сама добродетель. А теперь, когда у меня был уже большой опыт и я точно знал, что это неправда, мне особенно хотелось, чтобы Робер думал, будто это правда. Мне только стоило сказать, что я люблю Альбертину. Робер принадлежал к числу людей, которые готовы отказать себе в удовольствии, лишь бы избавить друга от мук, которые вдобавок были бы для него так же тяжелы, как если бы это были его муки. «Да, в ней еще очень много детского. Ты о ней ничего не знаешь?» — спросил я с беспокойством. «Ничего, если не считать, что вы держали себя как влюбленная парочка».

— Ваше поведение не изменило впечатления Робера, — сказал я Альбертине, когда Сен-Лу от нас ушел. «Это верно, — согласилась она, — все это получилось у меня неловко, я вас огорчила, мне еще больнее, чем вам. Вот вы увидите, что я никогда больше не буду такой; простите меня», — сказала она, с печальным видом протягивая мне руку. В этот момент в глубине зала ожидания, где мы с ней сидели, я увидел де Шарлю — он шел медленным шагом, а на некотором расстоянии

нес его чемоданы носильщик.

В Париже, где я видел его только на вечерах, неподвижного, в черном фраке, плотно облегавшем его фигуру, державшегося прямо ради того, чтобы сохранять горделивую осанку, ради того, чтобы производить впечатление, ради того, чтобы оттенять свой дар красноречия, я не замечал, как он постарел. Сейчас, когда он в светлом дорожном костюме, в котором он казался толще, шел вразвалку, вихляя животиком и виляя задом, являвшим собой как бы некий символ, беспощадный дневной свет, падая на его подкрашенные губы, на припудренный подбородок, где пудра держалась благодаря кольдкрему, на кончик носа, на черные-черные усы, никак не гармонировавшие с седеющей шевелюрой, обнажал то, что при свете искусственном создавало бы впечатление свежести и моложавости.

Обмениваясь с ним короткими фразами, так как настоящего разговора у нас завязаться не могло из-за того, что его поезд должен был вот-вот отойти, я смотрел на дожидавшуюся меня около вагона Альбертину и знаками давал ей понять, что сейчас приду. Когда же я повернулся лицом к де Шарлю, он попросил меня подойти к военному, его родственнику, и сказать, что он

его зовет, — родственник стоял по ту сторону рельсов, как будто тоже собираясь сесть в наш поезд, но только если бы поезд шел из Бальбека. «Он служит в полковом оркестре, — пояснил мне де Шарлю. — Вы, к счастью, еще молоды, а я, к несчастью, начинаю стареть — вам легче перейти рельсы». Я взял на себя труд подойти к военному и по лирам, вышитым у него на воротнике, сейчас же догадался, что это и правда музыкант. Но когда я уже готов был исполнить данное мне поручение, как же я был изумлен и даже обрадован, узнав в военном Мореля, сына лакея моего дяди, человека, с которым у меня было связано столько воспоминаний!

Просьба де Шарлю вылетела у меня из головы. «Так вы в Донсьере?» — «Да, меня тоже зачислили в оркестр артиллерийского полка». Говорил он со мной сухо и смотрел надменно. Он заважничал, и встреча со мной, напоминавшая о роде занятий его отца, была ему, по-видимому, неприятна. Тут я заметил, что к нам идет де Шарлю. Очевидно, он рассердился на то, что я замешкался. «Я бы хотел послушать вечером музыку, — никак не обращаясь к Морелю, заговорил с ним де Шарлю, — за вечер я плачу пятьсот франков, — может быть, это заинтересует ваших друзей, если они у вас есть

среди музыкантов». Мне было хорошо знакомо высокомерие де Шарлю, и все же меня поразило, что он даже не поздоровался со своим юным другом. Но барон не дал мне времени над этим призадуматься. Ласково глядя на меня, де Шарлю протянул мне руку. «До свиданья, дорогой мой!» — сказал он, давая понять, что я здесь лишний. Да мне и самому давно пора было к моей милой Альбертине, которую я оставил одну. «Знаете, — сказал я, снова заняв место в вагоне, — жизнь на курорте и путешествия убеждают меня в том, что в светском театре меньше декораций, чем актеров, и меньше актеров, чем „ситуаций“». — «Почему вы мне об этом говорите?» — «Потому что де Шарлю попросил меня позвать своего друга, а я вот сейчас, на этом самом перроне, узнал в нем одного из своих давних друзей». Рассказывая об этом, я старался отгадать, каким образом барону стало известно социальное неравенство между ним и Морелем, о котором я не подумал. Сначала мне пришло в голову, что он узнал об этом от Жюпьена, дочь которого, как мы помним, казалось, была влюблена в скрипача. Как бы то ни было, я был поражен тем, что за пять минут до отхода парижского поезда барон выразил желание послушать музыку. Однако, вызвав в

памяти дочь Жюпьена, я начал склоняться к мысли, что в «узнаваниях» могла бы найти отражение весьма существенная сторона жизни, если бы мы умели достигать высот подлинной романтики, но тут вдруг меня осенило, и я понял, как я был наивен. Барон до этого в глаза не видел Мореля, а Морель — барона, ослепленного, но и оробевшего при виде военного, который, правда, носил всего только лиры, и до такой степени разохотившегося, что попросил меня привести к нему человека, о знакомстве которого со мной он не подозревал. Во всяком случае, пятьсот франков, должно быть, возместили Морелю то, что между ними прежде не было никаких отношений, так как я увидел, что они продолжают разговаривать, не помышляя о том, что стоят около нашего вагона. Припоминая, как де Шарлю подходил к Морелю и ко мне, я уловил сходство де Шарлю кое с кем из его родственников, приставших на улице к женщинам. Только в данном случае намеченная жертва была другого пола. Начиная с определенного возраста, — даже если внутри пас происходят различные перемены — чем больше мы становимся самими собой, тем отчетливее в нас проступают семейные черты. Природа, добиваясь гармоничности рисунка на

своей ткани, нарушает однообразие композиции прихотливостью узоров, которые она оставляет незаконченными. Надменность, с какой де Шарлю смерил взглядом скрипача, могла быть оценена по-разному. Ее одобрили бы три четверти светских людей, привыкших раскланиваться, но не префект полиции, который несколько лет спустя установил за скрипачом надзор.

— Сударь! Парижский поезд сейчас отходит, — объявил носильщик, державший чемоданы в руках. «А, черт, да никуда я не поеду, сдайте вещи в камеру хранения!» — сказал де Шарлю и дал двадцать франков носильщику, а тот подивился перемене в планах пассажира и обрадовался вознаграждению. Щедрость де Шарлю немедленно привлекла к нему цветочницу: «Купите гвоздики, господин хороший, поглядите, какая роза, она принесет вам счастье». Только чтобы отвязаться от нее, де Шарлю дал ей сорок су, а цветочница осыпала его за это добрыми пожеланиями и попыталась навязать цветок. «Ах, боже мой, да оставит она когда-нибудь нас в покое! — комически-жалобным тоном человека, выведенного из терпения, сказал де Шарлю, обращаясь к Морелю, в котором ему было до известной степени приятно искать поддержку. — Нам нужно погово-

рить о важных вещах». Может быть, носильщик отошел еще недостаточно далеко, а в расчеты де Шарлю не входило, чтобы вокруг него собралась многочисленная аудитория, а может быть, это вступление облегчало его надменной застенчивости переход к просьбе о свидании. Музыкант с властным и решительным видом обернулся к цветочнице и протянул в ее сторону ладонь, как бы отстраняя ее и давая понять, что ее цветы никому не нужны и чтобы она сию же минуту убиралась вон. Де Шарлю был восхищен этим повелительным, мужским движением до того изящной руки, что такое движение у другого молодого человека могло бы показаться неуклюжим, грубым в своей тяжести, — движением, говорившим о рано развившейся твердости и гибкости, делавшей этого безбородого юношу похожим на юного Давида, готового сразиться с Голиафом.[211] Восторг барона непроизвольно выразился у него в улыбке, появляющейся у нас при виде ребенка с чересчур серьезным для его возраста выражением лица. «Вот было бы хоро-

[211] Примечания: 211

…похожим на юного Давида, готового сразиться с Голиафом. — По ветхозаветному преданию, Голиаф, великан-филистимлянин из города Геф, сорок дней выставлял себя против собравшихся израильских племен, не имея достойного противника. И только юноша-пастух Давид выразил готовность сразиться с ним (см. 1 Цар. 17).

шо, если бы такой человек сопровождал меня во время путешествий и помогал мне в делах! — подумал де Шарлю. — Насколько легче мне было бы жить!»

Парижский поезд (в который барон так и не сел) отошел. Затем и мы с Альбертиной сели в наш поезд, и я так и не узнал, чем же все кончилось у де Шарлю и Мореля. «Мы никогда больше не будем ссориться, я еще раз прошу у вас прощения, — сказала Альбертина, имея в виду свое поведение с Сен-Лу. — Давайте всегда быть ласковыми друг с другом, — мягко продолжала она. — Что же касается вашего друга Сен-Лу, то если вы думаете, что он произвел на меня хоть какое-то впечатление, то вы жестоко ошибаетесь. Мне в нем нравится только то, что он, видимо, по-настоящему любит вас». — «Он чудный малый, — сказал я; если бы я говорил о Робере не с Альбертиной, а с кем-нибудь другим, то непременно приписал бы Роберу мнимые совершенства, по в данном случае я от этого воздержался. — Он прекрасный человек, честный, прямой, верный друг, на него во всем можно положиться». Сдерживаемый ревностью, я говорил о Сен-Лу только правду, но ведь это в самом деле была истинная правда. А выражал я ее в тех же самых словах, какими

пользовалась, характеризуя его, маркиза де Вильпаризи, когда мы с ним еще не были знакомы, когда я представлял себе его совсем другим — человеком высокомерным — и говорил себе: «О нем хорошо отзываются только потому, что он важный барин». А вот еще пример — маркиза мне как-то сказала: «Он будет счастлив!» — а потом, когда я увидел, как он проехал мимо отеля, правя лошадью, я подумал, что слова его тетки — чистейшая светская банальность, сказанная для того, чтобы мне польстить. Но затем я понял, что она знает круг моих интересов, знает круг моего чтения, знает вкусы Сен-Лу и оттого вполне искренна, — вот так же и я вполне искренне сказал одному человеку, который писал биографию своего предка Ларошфуко, автора «Максим», и которому надо было посоветоваться с Робером: «Он будет счастлив». Потом-то я Робера узнал. Но когда я увидел его впервые, то не мог поверить, чтобы ум, родственный моему, таился под такой изящной оболочкой одежды и обхождения. Глядя на его внешний облик, я относил Робера к какой-то особой породе людей. И вот теперь Альбертина, отчасти, может быть, потому, что Сен-Лу, жалея меня, был с нею холоден, сказала мне то, что я сам думал прежде: «Будто бы уж он

такой верный друг! Я заметила, что в человеке находят все лучшие качества, если только он из Сен-Жерменского предместья». А ведь я за все эти годы, когда Сен-Лу держался со мной на равной ноге и выказывал свои достоинства, ни разу не вспомнил, что он — из Сен-Жерменского предместья. Так с течением времени изменяется наш взгляд на людей, изменяется резче, если их связывает дружба, а не простые человеческие отношения, и неизмеримо резче, если два человека любят друг друга, если желание, обладающее чуткой шкалой, увеличивает малейшие проявления холодности до невероятных пределов: так, например, Роберу достаточно было бы проявить значительно меньшую холодность, чем та, какую он проявил вначале, и я все равно решил бы, что Альбертина пренебрегает мной, вообразил, будто ее подруга — фантастически бездушные существа, и объяснил только снисходительностью, на какую имеют право красота и своеобразная элегантность, слова Эльстира, которые он сказал мне о стайке с таким же чувством, с каким маркиза де Вильпаризи отзывалась о Сен-Лу: «Хорошие девочки». И разве не такие же слова хотелось мне сказать об Альбертине сейчас, когда она говорила мне: «Преданный он друг или не преданный — я,

во всяком случае, не намерена с ним встречаться, раз он нас с вами поссорил. Давайте никогда больше друг на друга не сердиться. Это нехорошо». Теперь, после того как Сен-Лу словно бы понравился Альбертине, я на время почти исцелился от подозрения, что она любит женщин, — тогда мне представлялось это несовместимым. Я смотрел на серый гибкий непромокаемый плащ Альбертины, в котором она была непохожа на себя, в котором она казалась неутомимой путешественницей в ненастную погоду и который, обтягивая ее, казалось, не столько призван был защищать ее платье от воды, сколько самому пропитаться водой и, прилегая к ее телу, сохранить на себе, как бы по воле скульптора, отпечаток ее форм, смотрел — и вдруг сорвал с нее этот покров, ревниво приникший к желанной груди, притянул Альбертину к себе и воскликнул: «Тебе не хочется, нелюбопытная странница, помечтать, прильнув челом к моему плечу?»[212] — а затем обхватил обеими руками ее голову и показал на ширь затопленных полей, в предзакатной тишине упиравшихся вдалеке, на самом горизонте, в две параллельные гряды изголуба-сизых холмов.

---

[212] Примечания: 212

«Тебе не хочется…» — Цитата из стихотворения А. де Виньи «Пастушья хижина» из книги «Судьбы».

Два дня спустя, в одну из уже нашумевших здесь сред, я сидел в том же самом дачном поезде, которым сегодня выехал из Бальбека на ужин в Ла-Распельер, и мне не давала покою мысль, как бы не пропустить Котара в Гренкур-Сен-Васт, где — о чем сообщила мне, еще раз позвонив по телефону, г-жа Вердюрен — нам надо было встретиться. Он должен был войти в мой поезд, а затем показать, где стоят экипажи, высылавшиеся из Ла-Распельер на станцию. Зная, что дачный поезд стоит в Гренкуре, следующей станции поме Донсьера, ровно одну минуту, я заблаговременно стал у окна — так я боялся, что не замечу Котара или что он не увидит меня. Волновался я зря. Я не принял в расчет, что кланчик отлил своих «завсегдатаев» в единую форму, и поэтому их, к тому же еще разодевшихся по случаю ужина, сразу можно было распознать в толпе ожидавших на перроне — так они выделялись своей самоуверенностью, утонченностью и непринужденностью, так они выделялись взглядами, которыми они пробегали, как по пустому пространству, где ничто не задерживает внимания, по сомкнутым рядам обыкновенных пассажиров, чтобы не пропустить какого-нибудь «завсегдатая», севшего в поезд на одной из ближайших станций, и которые

уже сияли в чаянии, что за встречей последует светский разговор. Знак избранности, который привычка вместе ужинать начертала на входивших в кружок, был заметен не только когда они, подавляя численным превосходством, грудились среди стада прочих пассажиров, образуя на его фоне яркое пятно, среди тех, кого Бришо называл pecus'ом[213] и на чьих бесцветных лицах невозможно было прочесть ничего из того, что занимало Вердюренов, на чьих лицах не отражалась надежда хоть когда-нибудь поужинать в Ла-Распельер. И то сказать: эти заурядные пассажиры проявили бы куда меньше интереса, чем я, если бы в их присутствии назвали — несмотря на то что иные приобрели известность — имена «верных», а между прочим, к моему удивлению, «верные» продолжали ужинать и в городе, хотя, впрочем, я слышал, что ужинали они в других местах еще до моего рождения — в такое далекое и в такое уже баснословное время, что у меня не возникало соблазна увеличить расстояние, отделявшее то время от моего. Контраст между продолжительностью их бытия — и не только между продолжительностью, но и расцветом их

---

[213] Примечания: 213
Скотинкой (лат.)

сил, — с одной стороны, и исчезновением то того, то другого моего приятеля — с другой, пробуждал во мне такое же чувство, какое мы испытываем, когда в самом конце газеты находим то, чего мы меньше всего ожидали, — например, извещение о чьей-либо преждевременной кончине, которое кажется нам неожиданным потому, что о причинах, следствием коих она явилась, мы так ничего и не узнали. Это чувство подсказывает нам, что смерть настигает людей по-разному, что какая-то волна, выбившись вперед во время трагического прибоя, уносит жизнь, расположенную на том же уровне, что и другие, которые долго еще будут пощажены волнами, идущими ей вслед. Далее мы увидим, что многообразие смертей, невидимо движущихся вокруг нас, и есть причина той особого рода неожиданности, какую представляют собою для нас газетные некрологи. А еще я впоследствии убедился в том, что настоящий талант, с которым, однако, мирно уживается чудовищная пошлость разговорной речи, проявляется и получает признание лишь с течением времени, равно как и в том, что личности заурядные лишь в конце концов занимают высокое положение, которое в нашем детском представлении связывается с образами маститых старцев, но ведь мы

не думаем о том, что по прошествии стольких-то лет их ученики, в свою очередь, превратятся в наставников и будут внушать другим уважение и страх, какие они когда-то испытывали сами. Имена «верных» не были известны pecus'y — pecus отличал их по внешнему виду. Когда случай, руководивший и теми и другими в течение дня, собирал их всех в одном вагоне и «верным» оставалось только прихватить на следующей станции какого-нибудь одинокого спутника, этот вагон, который сразу можно было узнать по локтю скульптора Ского[214] и который был украшен номером «Тан» в руках Котара, уже издали рисовался какой-то роскошной колесницей, останавливавшейся на той станции, где должен был присоединиться к остальным отбившийся от них товарищ. Единственным человеком, который мог не разглядеть из-за того, что он почти ничего не видел, этих опознавательных знаков, был Бришо. Но тогда другие завсегдатаи добровольно исполняли вместо слепого обязанности наблюдателей и, как только появлялась соломенная шляпа, зеленый зонтик и синие очки Бришо, его бережно

[214] Примечания: 214

…скульптора Ского… — Вирадобетский в «Обретенном времени», прототипом которого мог быть Фредерик де Мадразо (Коко) (1878–1938), известный салонный художник, композитор и писатель.

и осторожно подводили к вагону для избранных. Таким образом, не было случая, чтобы кто-либо из «верных», если только невооруженному глазу не было видно, что он наклюкался, или если он не избирал другой «вид транспорта», не встретился с другими в пути. Иногда происходило нечто противоположное: кто-нибудь из «верных» уезжал днем довольно далеко, следовательно, часть пути он должен был проехать один — до тех пор, пока к нему не присоединялся весь кружок; но и в одиночестве, являясь единственным представителем своей породы, он все-таки обращал на себя внимание. Будущее, к которому он устремлялся, в глазах пассажира, сидевшего напротив, делало на нем отметку, и пассажир говорил себе: «Это не простой смертный»; вокруг мягкой шляпы Котара или Ского он различал чуть заметный ореол и не особенно удивлялся, когда на следующей станции, если это была конечная остановка, толпа элегантных людей, с которыми почтительно здоровался довильский железнодорожный служащий, встречала «верного» у подножки, а затем подводила его к экипажу или, если это была остановка промежуточная, наводняла вагон. Так именно и поступило — причем с необыкновенной быстротой, потому что некоторые запоздали и

подоспели в тот момент, когда поезд должен был уже вот-вот отойти, — войско, которое ускоренным шагом подвел Котар к тому вагону, откуда я делал ему знаки. У Бришо, находившегося среди «верных», за последние годы верность еще усилилась, тогда как у других пыл охладел. Зрение у Бришо все ухудшалось — вот почему он и в Париже все менее усердно занимался по вечерам. Притом ему была не по душе новая Сорбонна, где господствовавшие в Германии принципы научной точности начинали вытеснять гуманизм. Теперь он только читал свой курс и участвовал в экзаменационных комиссиях — вот почему он теперь гораздо больше времени уделял светской жизни, то есть — вечерам у Вердюренов или вечерам, на которые, трепеща от волнения, время от времени кто-нибудь из «верных» звал Вердюренов. Впрочем, надо заметить, что любви дважды чуть было не удалось то, что не удавалось науке, то есть оторвать Бришо от кланчика. Но г-жа Вердюрен, всегда «державшая ухо востро» и уже по привычке, которую она приобрела в интересах салона, в конце концов получавшая бескорыстное удовлетворение от таких драм и расправ, окончательно рассорила его с опасной особой благодаря своему уменью, как она вы-

ражалась, «везде навести порядок» и «каленым железом прижечь рану». Да особого труда это для нее и не составляло, поскольку одной из опасных особ была всего-навсего прачка Бришо, и г-жа Вердюрен, иногда заглядывавшая на шестой этаж к профессору, красневшему от гордости, когда она оказывала ему честь тем, что поднималась к нему на верхотуру, попросту выставляла мерзавку за дверь. «Что же это такое? — воскликнула, обращаясь к Бришо, Покровительница. — Такая женщина, как я, удостаивает вас своим посещением, а вы принимаете у себя какую-то тварь?» Бришо не забывал о добром деле, которое сделала г-жа Вердюрен, не давшая ему на старости лет опуститься, и все сильнее привязывался к ней, тогда как, в противоположность его приливу нежности к ней, а может быть, именно вследствие такого прилива, Покровительнице стал надоедать этот «верный» своею беспредельною уступчивостью и покорностью, в которой она была заранее уверена. Но Бришо дружба с Вердюренами придавала особый блеск, который отличал его от сорбоннских коллег. Их ослепляли его рассказы об ужинах, на которые они никогда не получат приглашения, статья о нем в журнале и его портрет на выставке, принадлежавшие из-

вестному писателю и известному художнику, чей талант признавали сотрудники и других кафедр филологического факультета — без всякой надежды, однако, привлечь к себе их внимание, — и, наконец, элегантность одежды этого философа из светского общества, которую они на первых порах принимали за небрежность, пока их коллега терпеливо не объяснил им, что цилиндр во время визита полагается класть на пол и что когда едешь на загородный ужин, то, какое бы изысканное общество на этот ужин ни приглашалось, надевать следует не цилиндр, а мягкую шляпу, которая очень идет к смокингу. В первую секунду, когда «верные» гурьбой ворвались в вагон, я не мог словом перемолвиться с Котаром, задыхавшимся не столько оттого, что он бежал, чтобы не опоздать к поезду, сколько от восторга, что прибежал как раз вовремя. То была не просто радость человека после удачи — его душил хохот, как будто он только что смотрел уморительный фарс. «Вот уж повезло так повезло! — отдышавшись, проговорил он. — Еще бы немного!.. Дьявольщина! Это называется — в последнюю секунду!» — прибавил он и подмигнул мне, но не для того, чтобы получить подтверждение, что он правильно выразился, — самоуверенность била

в нем сейчас через край, — а оттого, что он был в высшей степени доволен собой. Наконец он смог познакомить меня с другими членами кланчика. Меня неприятно удивило то обстоятельство, что почти все они были в смокингах, как называют этот костюм в Париже. У меня вылетело из головы, что Вердюрены уже давно сделали робкую попытку пойти на примирение с высшим обществом — попытку, которую приостановило дело Дрейфуса, но зато ускорила «новая» музыка и от которой они, однако, открещивались и продолжали бы открещиваться, пока она не возымела бы успеха, — так полководец только тогда называет свою цель, когда он ее достигает, и поступает он так для того, чтобы, если ему не посчастливится, про него не говорили бы что он разбит. Высшее общество тоже готово было пойти Вердюренам навстречу. Салоп Вердюренов называли Храмом Музыки. Считалось, что никто из высшего общества их не посещает, но что они об этом ни капельки не жалеют. Утверждали, что Вентейль именно там находит источник вдохновения и поддержку. Соната Вентейля была все еще совершенно не понята и почти никому не известна, но о нем самом говорили как о величайшем композиторе современности,

и его имя было окружено ореолом славы. Среди молодых людей из Сен-Жерменского предместья, пришедших к убеждению, что они должны быть не менее образованны, чем буржуа, трое учились музыке, и вот они считали сонату Вентейля верхом совершенства. Придя домой, каждый из них рассказывал о ней своей интеллигентной матери, приобщавшей его к культуре. Матери с интересом следили за тем, как учатся их сыновья, и на концертах они с известной долей уважения смотрели на г-жу Вердюрен, сидевшую в первой ложе и уткнувшуюся в партитуру. Пока что тайное тяготение Вердюренов к высшему обществу выявилось двояким образом. Г-жа Вердюрен говорила о принцессе де Капрарола: «О, это женщина обаятельная, умная! Кого я терпеть не могу, так это дураков, они меня до исступления доводят, я от них на стену лезу». Человека мало-мальски проницательного это могло бы навести на мысль, что принцесса де Капрарола, принадлежавшая к самому высшему кругу, была у г-жи Вердюрен с визитом. Принцесса произнесла эту фамилию у г-жи Сван, к которой приезжала после смерти ее мужа выразить соболезнование, — она спросила, знает ли г-жа Сван Вердюренов. «Как их фамилия?» — переспросила Одетта, и глаза у нее вдруг

стали грустными. «Вердюрен». — «Ах, вот вы о ком! — воскликнула она с горестным видом. — Я их не знаю, вернее, я их знаю, не будучи с ними знакома, когда-то я с ними встречалась у своих друзей, это было давно, они люди симпатичные». Когда принцесса де Капрарола уехала, Одетта пожалела, что не сказала истинную правду. Но нечаянная ложь явилась у нее не в результате обдуманных расчетов, а как следствие опасений и желаний. Одетта отрицала не то, что правильней было бы отрицать, а то, что ей хотелось, чтобы этого не было, хотя бы собеседник через час узнал, что так оно и было. Вскоре она опять почувствовала себя уверенно и, предвосхищая вопросы, — чтобы не показать вида, будто она их боится, — начала говорить: «Госпожа Вердюрен, ну как же, мне ли ее не знать!» — а в ее тоне звучало нарочитое самоунижение, словно у важной дамы, рассказывающей о том, как она ехала в трамвае. «Теперь только и разговору что о Вердюренах», — как сказала маркиза де Сувре. «Да, по-моему, о них в самом деле много говорят. Так ведь время от времени бывает: в обществе вдруг появляются новые люди», — с презрительной усмешкой герцогини подхватила Одетта, забывая о том, что она сама принадлежит к числу

новейших. «Принцесса де Капрарола у них ужинала», — продолжала маркиза де Сувре, «А, ну это меня не удивляет! — еще насмешливей улыбаясь, замечала Одетта. — Начинается с принцессы де Капрарола, а потом является кто-нибудь вроде графини Моле», — заключила Одетта с таким видом, точно она глубоко презирает этих двух важных дам, имеющих обыкновение первыми втираться во вновь открывающиеся салоны. В ее тоне слышалось, что уже ее, Одетту, или маркизу де Сувре в такие злачные места не заманишь.

Кроме высокого мнения г-жи Вердюрен об уме принцессы де Капрарола, еще одним признаком того, что Вердюрены уже ясно представляли себе свое будущее, являлось их страстное желание (разумеется, не высказываемое), чтобы гости приезжали к ним теперь ужинать в смокингах; Вердюрену было бы теперь не стыдно, если бы его племянник, тот, что однажды «профершпилился» дотла, с ним поздоровался.

Вместе с теми, кто в Гренкуре сел в мой вагон, оказался Саньет, которого когда-то изгнал из дома Вердюренов его родственник Форшвиль, но который потом снова у них появился. Недостатки у Саньета — наряду с большими достоинствами, — с точки зрения светских людей, в

давнопрошедшие времена были приблизительно такие же, что и у Котара: застенчивость, желание нравиться при неумении достичь этой цели! Однако жизнь — правда, не у Вердюренов, где, в силу влияния, какое начинает оказывать на нас минувшее, как только мы попадаем в привычную для нас среду, Котар почти не менялся, — вынуждая Котара — во всяком случае, у пациентов, в больнице, в Медицинской академии — надевать на себя личину сухости, чванливости, важности, особенно заметную в такие минуты, когда он щеголял каламбурами перед своими нетребовательными учениками, — в конце концов вырыла целый ров между Котаром прежним и нынешним, а у Саньета, напротив, те же самые недостатки разрастались по мере того, как он пытался исправиться. Часто скучая, видя, что его не слушают, он, вместо того чтобы говорить медленнее, как поступил бы на его месте Котар, вместо того чтобы привлечь к себе внимание безапелляционностью тона, старался шуточками заслужить себе прощение за чрезмерную серьезность своих рассуждений, этого мало: он заставлял себя говорить короче, не размазывать, прибегал к аббревиатурам, только бы не тянуть, только бы показать, что ему самому предмет

совершенно ясен, а достигал он этим лишь того, что окончательно запутывал слушателей, которым казалось, что он так никогда и не кончит. Его самоуверенность была совсем иного рода, чем самоуверенность Котара, пациенты которого цепенели от его взгляда, а потом возражали людям, восхищавшимся тем, как он бывает мил в обществе: «Когда он принимает вас у себя в кабинете, сажает вас лицом к свету, а сам садится спиной к окну и пронзает вас взглядом, то перед вами совсем другой человек». Самоуверенность Саньета не производила должного впечатления; чувствовалось, что за ней кроется безмерная застенчивость, что эта его самоуверенность улетучится от малейшего пустяка. Друзья постоянно твердили Саньету, что он себя недооценивает, да он и сам видел, что люди, которых он с полным основанием считал гораздо ниже себя, без всяких усилий добивались того, в чем ему было отказано, и теперь он уже всегда, из боязни, что серьезный вид помешает ему показать свой товар лицом, начинал рассказывать с улыбкой, давая понять, что это будет что-нибудь уморительное. Кое-когда, поверив в то, что он действительно собирается позабавить публику, слушатели в виде особой милости замолкали. Но все кончалось

полным провалом Саньета. Лишь редкий гость из жалости неприметно, почти украдкой ободрял Саньета поощряющей улыбкой, пряча ее от всех, боясь обратить на себя внимание, точно суя ему в руку записку. Но никто не рисковал на большее, не осмеливался открыто поддержать Саньета взрывом хохота. Досказав свою историю и оскандалившись, удрученный Саньет еще долго потом улыбался один, как бы выражая этой улыбкой то удовлетворение, которое другие почему-то не получили, но которое зато якобы доставил он самому себе. А скульптор Ский, которого так называли, во-первых, потому, что всем трудно было произносить его польскую фамилию, а во-вторых, потому, что он, с некоторых пор проникнув в то, что называется «обществом», не любил, чтобы его смешивали с весьма почтенными, но скучноватыми и чрезвычайно многочисленными родственниками, в сорок пять лет и несмотря на безобразную внешность отличался каким-то особым мальчишеством, продолжал оставаться мечтателем и фантазером вследствие того, что до десятилетнего возраста он считался прелестнейшим вундеркиндом, дамским любимчиком. Г-жа Вердюрен утверждала, что в нем больше от художника, чем в Эльстире. У них были черты

сходства, но чисто внешнего. Тем не менее этого было достаточно, чтобы Эльстир, как-то раз встретив Ского, почувствовал к нему то глубокое отвращение, какое нам — в большей степени, чем люди, представляющие нашу полнейшую противоположность, — внушают те, что похожи на нас своими наихудшими сторонами, те, в ком выявляется все, что есть в нас дурного, в ком сохранились недостатки, от которых мы избавились и которые, к вящей пашей досаде, напоминают нам, за кого нас могли принимать до тех пор, пока мы не стали иными. А г-жа Вердюрен полагала, что Ский шире Эльстира, что нет такого искусства, к которому у него не было бы способностей; она была убеждена, что, если бы не лень, он мог бы развить свои способности до того, что они превратились бы у него в талант. Даже на эту его лень Покровительница смотрела как на особый дар, ибо лень — это противоположность трудолюбию, между тем трудолюбие она считала жребием людей бездарных. Ский рисовал все, что угодно, на запонках, на дверях. Пел, как композитор, играл по памяти и придавал роялю звучание оркестра не столько благодаря своей виртуозности, сколько фальшивыми басовыми нотами, означавшими бессилие пальцев

указать на то, что здесь должен быть слышен корнет-а-пистон, звуку которого он, однако, подражал с помощью губ. Рассказывая о чем-либо, он делал вид, что подыскивает слова, — этим он хотел усилить производимое на слушателей впечатление, а перед тем, как взять аккорд, произносил, чтобы передать звучание трубной меди: «Трум!»; считалось, что Ский — ума палата, а на самом деле весь его умственный багаж состоял из двух — трех мыслишек. Он тяготился своей репутацией мечтателя; ему хотелось во что бы то ни стало доказать, что он человек практичный, положительный, — вот откуда было у него это показное пристрастие к мнимой пунктуальности, к мнимому здравомыслию, обострявшееся из-за беспамятности и всегдашней неосведомленности. Движения его головы, шеи, ног были бы изящны, если б ему и сейчас было девять лет, если б у него были белокурые локоны, широкий кружевной воротник и красные сапожки. Он, Котар и Бришо пришли на гренкурский вокзал заблаговременно, Бришо остался в зале ожидания, а Ский и Котар решили прогуляться. Когда Котар предложил повернуть обратно, Ский возразил: «Спешить некуда. Сегодня в это время проходит не дачный поезд, а дальнего следования». В вос-

торге от того впечатления, какое он произвел на Котара своей осведомленностью даже в мелочах, Скин заговорил о себе: «Да, оттого что Ский любит искусство, оттого что он лепит, все воображают, будто он не от мира сего. Л на самом даче никто лучше меня не знает расписание этой железной дороги». Все-таки они повернули обратно, и тут Котар, завидев дымок маленького поезда, заорал истошным голосом: «Нам надо дуть во все лопатки!» Они чуть-чуть не опоздали оттого, что в голове у Ского перепутались дни, по каким ходили здесь дачные поезда и поезда дальнего следования. «А разве княгиня не этим поездом едет?» — дрожащим голосом спросил Бришо, чьи громадные очки, сверкавшие, как зеркало, которое ларинголог надевает себе на лоб, чтобы посмотреть горло больного, словно жили жизнью его глаз и, быть может, благодаря усилиям, которые затрачивал профессор, чтобы приспособить к этим очкам свое зрение, казалось, смотрели, даже если ничего интересного не происходило, с напряженным вниманием и необычайно пристально. Только когда болезнь постепенно начала ухудшать его зрение, Бришо почувствовал, какую радость оно доставляет, — точно так же с нами часто случается, что когда мы решаемся расстать-

ся с какой-нибудь вещью, например подарить ее, то не можем на нее насмотреться, жалеем ее, любуемся ею. «Нет, нет, княгиня поехала проводить до Менвиля гостей госпожи Вердюрен — там они пересядут в парижский поезд. Вполне возможно, что и госпожа Вердюрен поехала с ней — у нее дела в Сен-Марсо. Тогда, значит, она присоединится к нам, и мы поедем вместе — это было бы чудесно! В Менвиле надо не зевать, смотреть в оба! Да, а все-таки сознайтесь, — мы ведь с вами чуть было не проворонили поезд. Когда я его увидел, у меня поджилки затряслись. Вот что называется — секунда в секунду. Представьте себе: мы опоздали бы на поезд и госпожа Вердюрен увидела бы, что экипажи возвращаются без нас. Вот была бы картина! — воскликнул псе еще взволнованный доктор. — Такие номера бывают не часто. Нет, в самом деле, Бришо, как вам нравится наше приключеньице?» — не без чувства гордости спросил доктор. «Признаюсь, — ответил Бришо, — если б вы не заметили поезд, мы бы с вами, как говаривал покойный Вильмен,[215] сели в лужу». Хотя мое внимание сразу же привлекли незнакомые мне люди, я вдруг вспомнил, что

[215] Примечания: 215

Вильмен, Абель (1790–1870) — французский литературный критик, профессор Сорбонны, академик, министр образования (1840–1844).

говорил мне Котар в танцевальном зале маленького казино, и, точно в самом деле существовало звено, соединяющее какой-либо орган с образами, возникающими в нашей памяти, я, представив себе, как Альбертина прижимается грудью к Андре, ощутил острую боль в сердце. Боль эта скоро прошла; предположение, что у Альбертины существуют отношения с женщинами, показалось мне теперь невероятным после того, как третьего дня я приревновал Альбертину к Сен-Лу, с которым она заигрывала, и после того, как это новое чувство ревности вытеснило первое. По своей наивности я считал, что одна склонность не может сочетаться с другой. Поезд был переполнен, и в Арамбувиле какой-то фермер в синей блузе, у которого был билет третьего класса, сел в наше отделение. Доктор, считавший, что княгине не подобает ехать в одном отделении с фермером, вызвал начальника станции, показал ему удостоверение в том, что он врач крупной железнодорожной компании, и потребовал, чтобы фермера ссадили. Эта сцена до такой степени огорчила и встревожила робкого Саньета, что, как только она началась, он, испугавшись, при виде толпы крестьян на перроне, как бы из-за этой сцены не вспыхнула целая Жакерия, при-

творился, будто у него схватило живот, и, чтобы и его не сочли ответственным за безобразное поведение доктора, пошел по коридору в поисках того, что Котар называл «ватером». Ничего не найдя, он стал смотреть в окно, выходившее на сторону, противоположную станции. «Если вы в первый раз едете к госпоже Вердюрен, — сказал мне Бришо, любивший блеснуть своими познаниями перед „новичком“, — то вы убедитесь, что в этом доме, как нигде, чувствуется „сладость жизни“, по выражению одного из изобретателей „дилетантизма“, „наплевизма“ и многих других модных „измов“, которыми так и сыплют наши снобки, — я имею в виду господина принца де Талейрана,[216]». Дело в том, что когда Бришо толковал о вельможах былых времен, то присоединял к их титулам слово «господин», находя это и остроумным и «колоритным»: так, например, он говорил: «Господин герцог де Ларошфуко», «господин кардинал де Рец[217]», которого он

[216] Примечания: 216

Талейран-Перигор, Шарль Морис, герцог (1754–1838) — великий французский дипломат, прославился своей ловкостью, коварством и вероломством, присягал восемнадцати французским правительствам.

[217] Примечания: 217

Рец, Жан-Франсуа Поль де Гонди, кардинал (1613–1679) — французский государственный деятель и писатель, автор «Мемуаров», одного из шедевров классицистической прозы.

иногда еще называл: «Этот struggle for lifer[218] де Гонди», «этот буланжист де Марснльяк[219]». А когда речь шла о Монтескье, то он не упускал случая сказать о нем с улыбкой: «Господин президент Секонда[220] де Монтескье». Умного светского человека должен был бы раздражать этот педантизм, от которого попахивало школярством. Но безукоризненно воспитанный светский человек тоже проявляет кастовый педантизм, когда говорит не просто «Вильгельм», а непременно — «император Вильгельм» и, обращаясь к «высочеству», употребляет третье лицо. «Да, вот это был человек! — продолжал Бришо, имея в виду „господина принца де Талейрана“. — Перед такими людьми нельзя не преклониться. Это родоначальник». «У госпожи Вердюрен прелестный дом, — заговорил со мной Котар, — там вы найдете всего понемногу, потому что это широкий дом, там бывают знаменитые ученые, как, на-

---

[218] Примечания: 218

Борец за жизнь (англ.)

[219] Примечания: 219

Марсилъяк. — Знаменитый французский моралист Франсуа де Ларошфуко (1613–1680) до смерти своего отца носил титул принца де Марсильяка.

[220] Примечания: 220

Секонда, Шарль де, барон де Ла Бред де Монтескье (1689–1755) — французский писатель-просветитель, автор знаменитых «Персидских писем» (1721) и трактата «О духе законов» (1748).

пример, Бришо, сливки общества, как, например, княгиня Щербатова[221] знатная русская дама, подруга великой княгини Евдокии, которая принимает ее даже в такие часы, когда к ней никого не допускают». В самом деле, великая княгиня Евдокия, не желавшая, чтобы княгиня Щербатова, которой уже давно везде отказали от дома, приезжала к ней, когда у нее могли быть гости, принимала Щербатову всегда очень рано, когда ее высочество не мог бы посетить никто из ее друзей, которым неприятно было бы встретиться с княгиней и в присутствии которых княгиня почувствовала бы себя неловко. Три года подряд княгиня Щербатова, уйдя от великой княгини спозаранку, как уходят маникюрши, ехала к г-же Вердюрен, в это время только-только просыпавшейся, и потом уже весь день проводила у нее, из чего можно было заключить, что княгиня была неизмеримо преданнее г-же Вердюрен, чем даже Бришо, а ведь он не пропускал ни одной среды и на парижских средах воображал себя кем-то

[221] Примечания: 221

Щербатова — образ русской аристократки княгини Щербатовой мог быть навеян Прусту как реальными представителями русской знати, жившими в Париже, так и известным персонажем «Человеческой комедии» Бальзака великосветской дамой Щербатовой («Старая дева», «Музей древностей»).

вроде Шатобриана в Аббей-о-Буа,[222] а на дачных чувствовал себя так, как мог бы чувствовать себя у г-жи дю Шатле[223] тот, кого он неизменно называл (с хитрым и самодовольным видом всезнающего человека) «господин де Вольтер».

Из-за отсутствия знакомств княгиня Щербатова вот уже несколько лет проявляла по отношению к Вердюренам такую верность, благодаря которой она стала уже не просто «верной», а типом верности, идеалом, который г-жа Вердюрен долгое время считала недостижимым и воплощение которого она уже на склоне лет обрела в этой своей новой адептке. Покровительница могла сколько ей угодно пылать ревностью, а все-таки даже самые постоянные из «верных» хоть разок да «надували». Самые что ни на есть домоседы не могли устоять перед соблазном путешествия; у самых высоконравственных могла завестись интрижка; люди самого крепкого здоровья могли

---

[222] Примечания: 222

Аббей-о-Буа — женский монастырь в Париже, при котором после Революции был открыт приют для великосветских дам, подвергавшихся преследованиям. В 1814 г. там обосновалась знаменитая г-жа де Рекамье, в салоне которой Шатобриан, Ламартин, Гюго и другие поэты-романтики читали свои произведения.

[223] Примечания: 223

Дю Шатле, Эмилия, маркиза (1706–1749) — французская аристократка, приближенная королевы, получила известность благодаря своим литературным занятиям и долгой связи с Вольтером.

подцепить грипп; у бездельников из бездельников могло вдруг оказаться важное дело; самые бессердечные могли уехать, чтобы закрыть глаза своей умирающей матери. И напрасно г-жа Вердюрен говорила в таких случаях, подобно римской императрице,[224] что она — единственный полководец, которому обязан повиноваться ее легион, подобно Христу или кайзеру, что тот, кто любит отца своего[225] или мать так же, как ее, и не покинет их, дабы пойти за нею, не достоин ее и что вместо того, чтобы истощать свои силы в постели или позволять какой-нибудь потаскушке водить себя за нос, куда лучше быть с ней, г-жой Вердюрен, ибо только она способна исцелять и услаждать. Но судьба, иногда находящая удовольствие в том, чтобы скрасить закат человеку, который зажился на этом свете, устроила встречу г-жи Вердюрен с княгиней Щербатовой. Рассорившись со своей семьей, покинув родину, поддерживая теперь знакомство только с баро-

[224] Примечания: 224

…подобно римской императрице… — Речь идет об Агриппине (14–59), жене римского императора Клавдия, которого она отравила в 54 г., чтобы возвести на престол своего сына Нерона.

[225] Примечания: 225

…кто любит отца своего… — Парафраз известной евангельской заповеди: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10, 37).

нессой Пютбю и великой княгиней Евдокией, к которым ввиду того, что ей не хотелось встречаться с приятельницами баронессы, и ввиду того, что великой княгине самой не хотелось, чтобы ее приятельницы встречались у нее с Щербатовой, она ездила только в утренние часы, когда г-жа Вердюрен еще спала; не припоминая такого дня в своей жизни, когда бы она не выезжала из дому, кроме того времени, когда она, двенадцатилетняя девочка, болела корью; ответив 31 декабря на просьбу г-жи Вердюрен, боявшейся, что к ней никто не приедет, остаться у нее ночевать, хотя это и новогодняя ночь: «Да не все ли равно, какая ночь! Тем более что новогоднюю ночь принято проводить в своей семье, а ведь моя семья —это вы»; проживая в пансионах, но живя на пансионе у Вердюренов, куда бы они ни переезжали; летом проводя с ними время на даче, княгиня имела полное право обратиться к г-же Вердюрен со словами, принадлежащими Виньи:

Одну тебя ищу я всюду и всегда, —[226]

так что председательница кружка, желая, чтобы у нее была «верная» и в мире ином, даже

[226] Примечания: 226

«Одну тебя ищу я всюду и всегда» — цитата из поэмы А. де Виньи «Эола» (III, 47). Этот стих Робер де Мон-тескью избрал эпиграфом для своей книги «Летучие мыши» (1893).

уговорилась с княгиней, что та, кто переживет другую, завещает похоронить ее рядом с ней. В разговорах с посторонними — к которым всегда следует причислять и того, кому мы больше всего лжем, ибо презрение этого человека нам было бы особенно мучительно: нас самих, — княгиня Щербатова всегда старалась подчеркнуть, что три ее дружбы — с великой княгиней, с Вердюрена-ми, с баронессой Пютбю — не случайно уцелели во время катаклизмов, не зависевших от ее воли и разрушивших все остальное, а что это результат свободного выбора, в силу которого она отдала им предпочтение перед всеми остальными, следствие ее особой любви к уединению и к простоте, благодаря которой она довольствовалась только этими тремя знакомствами. «Я больше ни с кем не вижусь», — повторяла она, чтобы показать твердость своего характера и дать понять, что она не подчиняется печальной необходимости, а придерживается определенного правила. «Я бываю только в трех домах», — добавляла она — так драматург, боясь, что его пьеса не выдержит четырех представлений, объявляет, что она пойдет только три раза. Может быть, Вердюрены верили этой выдумке, а может быть, и не верили, но, как бы то ни было, оба содействовали тому, что она

утвердилась в сознании тех, кто принадлежал к их кланчику. Они прониклись убеждением в том, что княгиня при огромном выборе решила поддерживать отношения только с Вердюрена-ми, а с другой стороны, в том, что Вердюрены, знакомства с которыми тщетно добивается высшая аристократия, соблаговолили сделать исключение только для княгини.

«Верные» думали, что княгиня неизмеримо выше своей среды, что ей там скучно, потому-то среди множества знакомых, с которыми она могла бы поддерживать отношения, ей хорошо только с Вердюренами, а что Вердюрены, не отвечавшие на заигрывания аристократии, напрашивавшейся к ним, естественно, соблаговолили сделать исключение только для знатной дамы, которая была умней других знатных дам, — то есть для княгини Щербатовой.

Княгиня была очень богата; на любую премьеру она брала большую ложу бенуара, куда, с благословения г-жи Вердюрен, приглашала «верных» и никогда не звала никого из посторонних. Все показывали друг другу на эту загадочную бледную даму, которая постарела, не поседев, и с годами стала даже еще румяней, как иные сморщившиеся, но долго не портящиеся плоды,

висящие на живых изгородях. При всей своей состоятельности она была на удивление скромна: неизменно появляясь в обществе академика Бришо, знаменитого ученого Котара, лучшего из пианистов, впоследствии — в обществе де Шарлю, она тем не менее выбирала ложу, которая была не на виду, садилась в глубине, не обращала внимания на зрительный зал, общалась только со своим тесным кружком, а члены этого кружка незадолго до конца спектакля покидали зал и уходили вслед за своей удивительной владычицей, не лишенной красоты — красоты боязливой, чарующей и увядшей. Да, княгиня Щербатова не смотрела в зал, оставалась в тени, но только для того, чтобы постараться забыть, что существует живая жизнь, к которой ее безумно влекло, но которую она не имела возможности узнать; «своя компания» в ложе бенуара была для нее тем же, чем для иных животных является почти мертвенная неподвижность окружающего мира, таящая в себе опасность. Тем не менее интерес к новизне и ко всяким достопримечательностям, не дающий покою светским людям, довел их до того, что они стали уделять, может быть, даже больше внимания таинственной незнакомке, чем знаменитостям, которые сидели в ложах,

ближайших к сцене, и у которых они бывали в гостях. Они воображали, что она — не такая, как их знакомые дамы, что она обязана тем, что всегда находится в узком кругу людей выдающихся, присущему ей сочетанию редкостного ума с доброжелательной проницательностью. Если с княгиней о ком-нибудь заговаривали или если ей кого-нибудь представляли, ей приходилось, ради того, чтобы поддерживать свою репутацию женщины, презирающей свет, проявлять крайнюю сдержанность. И все-таки при содействии Котара или г-жи Вердюрен кое-кому удавалось с ней познакомиться, и радость, какую доставляло ей каждое новое знакомство, была так велика, что она забывала выдумку о добровольности своего уединения и старалась показаться недавнему знакомому во всем своем блеске. Если он являл собой полное ничтожество, то всех это удивляло: «Как странно, что княгиня, которая не желает ни с кем знаться, делает исключение для человека, ничего собой не представляющего!» Но такие взбадривавшие ее знакомства были редки, а в общем, княгиня по-прежнему ограничивала себя малюсеньким кружочком «верных».

Котар говорил гораздо чаще: «Я увижу его в среду у Вердюренов», чем: «Я увижу его во вторник в

Академии». Среда для него было занятие такое же важное и такое же неизбежное. Сам Котар принадлежал к числу людей, знакомства с которыми особенно не ищут и которые считают своим непременным долгом принять приглашение за приказ, за повестку в воинское присутствие или же в суд. Если он «надувал» Вердюренов и не являлся к ним в среду, значит, его вызывали к больному по очень серьезной причине, однако серьезность определялась не столько опасностью заболевания, сколько общественным положением занемогшего. Котар был человек добрый, но от неприятностей среды он отказывался не из-за того, что рабочего разбил паралич, а из-за того, что министр схватил насморк. Но и в таких случаях он говорил жене: «Принеси госпоже Вердюрен мои глубокие извинения. Скажи, что я запоздаю. Его превосходительство с успехом мог бы выбрать другой день для того, чтобы простудиться». В одну из сред, когда их старая кухарка порезала себе на руке вену, Котар, уже надевший смокинг, чтобы ехать к Вердюренам, в ответ на робкую просьбу жены перевязать рану передернул плечами. «Да не могу же я, Леонтина! — простонал он. — Ты же видишь, что я в белом жилете». Чтобы не раздражать супруга, г-жа Котар немедленно послала

в клинику за старшим врачом. Тот для скорости нанял экипаж и подъехал ко двору Котаров как раз в тот момент, когда те выезжали к Вердюренам, из-за чего целых пять минут ушло на то, чтобы экипажи разъехались. Г-же Котар было неловко, что старший врач видит своего учителя в вечернем костюме. Котар злился из-за того, что произошла задержка, а может быть, из-за того, что его мучила совесть, и уехал он в прескверном настроении, которое могли рассеять только все удовольствия, связанные со средой.

Если пациент Котара спрашивал у него: «Вы встречаетесь с Германтами?» — профессор с полной уверенностью отвечал: «Может быть, не именно с Германтами, врать не стану. Но со всеми людьми такого сорта я вижусь у моих приятелей. Вы, конечно, слыхали о Вердюренах? Вот они-то всех знают. Но только Вердюрены — не какая-нибудь шантрапа с претензиями на шик. У них есть кое-что за душой. Состояние госпожи Вердюрен обычно оценивается в тридцать пять миллионов. Да-с, тридцать пять миллионов — цифра внушительная. Зато госпожа Вердюрен и не жадничает. Вот вы мне говорили о герцогине Германтской. Я вам сейчас объясню разницу. Госпожа Вердюрен — дама вполне обеспеченная,

а герцогиня Германтская, вернее всего, — голь. Надеюсь, вы улавливаете разницу? Как бы то ни было, ездят к госпоже Вердюрен Германта или не ездят, она принимает у себя, — а это куда важнее — Щербатовых, Форшвилей и tutti quanti,[227] людей самого высокого полета, всю знать Франции и Наварры, с которой, в чем вы легко могли бы удостовериться, я держусь запросто. Да ведь и то сказать: такие люди всегда бывают рады познакомиться со светилами науки», — добавлял он с улыбкой удовлетворенного тщеславия, которую вызывала на его лицо самоуспокоенность, но эти приливы самоуспокоенности он ощущал не столько оттого, что раньше так говорили о Потене,[228] о Шарко,[229] а теперь говорят о нем, сколько оттого, что он наконец вызубрил разные освященные обычаем выражения, научился правильно употреблять их и владел ими в совершенстве. Назвав в разговоре со мной среди тех, кого принимает г-жа Вердюрен, княгиню

---

[227] Примечания: 227
Всех прочих (итал.)

[228] Примечания: 228
Потен, Пьер (1825–1901) — французский хирург, член Медицинской академии (1882) и Академии наук (1883).

[229] Примечания: 229
Шарко, Жан-Мартен (1825–1893) — французский медик, основоположник современной неврологии, один из учителей Зигмунда Фрейда.

Щербатову, Котар, подмигнув, добавил: «Теперь вам ясно, что это за дом, вы понимаете, что я хочу сказать?» Он хотел сказать, что дом Вердюренов — это олицетворение высшего шика А между тем принимать у себя русскую даму знакомую только с великой княгиней Евдокией, — это было не бог весть что. Но княгиня Щербатова могла и не быть с ней знакома — мнение Котара о необычайной изысканности салона Вердюренов от этого не изменилось бы, как осталась бы неизменной и его радость от сознания, что он там принят. Роскошь, которой, как нам представляется, окружены наши знакомые, подобна роскоши актеров, ради которой директор театра не стал бы выбрасывать сотни тысяч франков на приобретение подлинно исторических костюмов и настоящих драгоценностей, не производящих ни малейшего эффекта, тогда как большой театральный художник даст в тысячу раз более яркое впечатление пышности, направив луч искусственного света на камзол из грубого полотна, вышитый стеклярусом, и на бумажный плащ. Иной человек живет среди великих мира сего, но в его глазах это всего лишь скучные родственники или надоедливые знакомые, так как он привык к ним еще в колыбели и они утратили для него всю свою значительность.

Но стоит какой-нибудь весьма темной личности случайно приобрести вес в обществе, и вот уже бесчисленных Котаров ослепляют титулованные дамы, чьи салоны в их воображении становятся средоточием аристократического изящества, хотя этих дам рядом нельзя поставить даже с маркизой де Вильпаризи и ее приятельницами (знатными, но обедневшими дамами, которых росшие с ними аристократки вычеркнули из числа своих знакомых); если бы все, кто так гордится дружбой с этими выскочками, впоследствии издали свои мемуары и назвали их имена, а также имена тех, кого они у себя принимали, то, право же, никто — не только герцогиня Германтская, но даже маркиза де Говожо, — не смог бы их припомнить. Но какое это имеет значение? Зато у Котара есть своя баронесса и своя маркиза: она заменяет ему типичную «баронессу» или «маркизу» Мариво,[230] хотя ее фамилию никто никогда не называет, да никому и в голову не приходит, что у нее есть фамилия. Аристократия понятия не имеет, кто эта дама, а Котару она представляется верхом аристократизма, ибо если титул

[230] Примечания: 230

Мариво, Пьер Карле де Шамблен де (1688–1763) — французский издатель и писатель, романист и драматург. В его комедиях действительно часто встречаются «маркизы», но нет никаких типичных «баронесс».

сомнителен, зато где только не увидишь герба: и на посуде, и на столовом серебре, и на почтовой бумаге, и на сундуках! Многочисленные Котары, воображавшие, что они провели жизнь в самом центре Сен-Жерменского предместья, быть может, в большей мере поддавались очарованию феодальных грез, чем те, кто действительно жил среди принцев, — так иной раз мелкий торговец, который кое-когда в воскресенье ходит осматривать «старинные здания», утверждает, что в том из них, в котором нет ни одного несовременного камня, своды которого выкрашены учениками Виолле-ле-Дюка[231] в синий цвет и усеяны золотыми звездами, особенно чувствуется средневековье. «Княгиня сядет в Менвиле. Она поедет с нами. Но я не стану сразу же вас представлять ей. Пусть лучше вас представит госпожа Вердюрен. Разве только найдется зацепочка. Тогда уж я за нее ухвачусь, можете быть уверены». — «О чем это вы говорили?» — спросил Саньет, выходивший под предлогом подышать свежим воздухом. «Я приводил хорошо известные вам слова того,

[231] Примечания: 231

Виолле-ле-Дюк, Эжен (1814–1879) — французский архитектор и историк искусств, много сил отдал реставрации готических замков и храмов. Пруст, подобно известному французскому искусствоведу Эмилю Малю, с неодобрением относился к реставрационным проектам Виолле-ле-Дюка.

кто, по моему мнению, является крупнейшим представителем конца века (восемнадцатого, разумеется), вышеупомянутого Шарля Мориса, аббата Перигорского. Вначале казалось, что из него выйдет очень хороший журналист. Но кончил он плохо: я имею в виду то обстоятельство, что он стал министром. Жизни без злоключений не бывает. Как политический деятель он, надо сознаться, был не очень чистоплотен: высокомерие человека, принадлежащего к высшей знати, не мешало ему, кстати сказать, время от времени работать на прусского короля, а перед смертью он перебежал в левый центр».

В Сен-Пьере-Тисовом в наше купе вошла прелестная девушка, к сожалению, не из кружка «верных». Я так и впился в нее взглядом: лицо у нее было цвета магнолии, глаза черные, сложена она была дивно с прекрасно развитыми формами. Не успев войти, она изъявила желание открыть окно, потому что в купе было довольно душно, а так как только я один и был без пальто, то, не спрашивая позволения у других она, обратившись ко мне, быстро, звонко и весело проговорила: «Вы не боитесь свежего воздуха?» Мне хотелось сказать ей: «Поедемте с нами к Вердюренам» — или: «Как вас зовут и где вы живете?»

Но я ответил: «Нет, мадемуазель, я люблю свежий воздух». Плотно усевшись, она опять обратилась ко мне: «Ваши друзья ничего не будут иметь против, если я закурю?» — и зажгла папиросу. На третьей станции она выпрыгнула. На другой день я спросил Альбертину, кто бы это мог быть. Ведь я по своей глупости считал, что можно любить что-нибудь одно, и, приревновав Альбертину к Роберу, уже не думал об ее отношениях с женщинами. Альбертина ответила, что она ее не знает, и, по-видимому, это была сущая правда. «Мне бы так хотелось с ней встретиться!» — воскликнул я. «Можете быть спокойны, — сказала Альбертина. — Люди всегда в конце концов встречаются». В данном случае она ошиблась: больше я ни разу не встретил прелестную девушку с папиросой и так и не узнал, кто она. Из дальнейшего будет видно, почему мне пришлось надолго отказаться от поисков. Но забыть я ее не забыл. Часто, когда я думаю о ней, меня охватывает страстное желание. Но эти возвраты чувства приводят нас к заключению, что если мы хотим, чтобы встреча с девушкой доставила нам такую же радость, как в первый раз, то нам нужно вернуться на десять лет назад, а за эти годы красота девушки увяла. Вновь встретиться с человеком можно, но

упразднить время нельзя. Обычно тоскливым днем, тоскливым, как зимняя ночь, совершенно неожиданно мы находим эту девушку, когда уже не ищем встречи ни с ней, ни с другой и когда эта встреча вызывает у нас даже чувство страха. Ведь мы отдаем себе отчет, что уже не можем нравиться и что нет у пас сил, чтобы любить. Конечно, я употребляю слово «сил» не в прямом его смысле. А вот любили бы мы теперь так, как не любили никогда прежде. Но мы чувствуем, что в запасе у нас слишком мало душевной бодрости, чтобы затевать такое громадное предприятие. Вечный покой уже образовывает в нашей жизни такие промежутки времени, когда мы не в состоянии выйти из дому, не в состоянии разговаривать. Не оступиться на лестнице — это такая же удача, как благополучно совершить опасный прыжок. Ну как же предстать в таком виде перед любимой девушкой, даже если у тебя по-прежнему молодое лицо и ни одного седого волоса! Мы устаем шагать в ногу с юностью. А если еще наша плоть поднимает бунт, вместо того чтобы утихомириться, то это уже целое несчастье! Чтобы ублажить ее, мы зовем к себе женщину, которую нам ни к чему очаровывать, которая разделит с нами ложе только на один вечер и которую мы никогда

больше не увидим.

— Должно быть, о скрипаче еще ничего не известно, — сказал Котар. Дело в том, что злобой дня в кланчике являлось «надувательство» любимого скрипача г-жи Вердюрен. Скрипач, отбывавший воинскую повинность близ Донсьера, три раза в неделю получал отпуск на вечер и приезжал ужинать в Ла-Распельер. И вот позавчера «верные» впервые не нашли его в поезде. Решили, что он опоздал. Г-жа Вердюрен послала экипаж к следующему поезду, потом к последнему — экипаж оба раза возвращался порожняком. «Его, конечно, посадили на гауптвахту — другой причины быть не может. Ну конечно, в армии этим молодцам угодить под арест — плевое дело: стоит попасться в лапы к злющему фельдфебелю». «Если он надует и сегодня, то для госпожи Вердюрен это будет большим ударом, — заметил Бришо, — как раз сегодня у нашей гостеприимной хозяйки в первый раз ужинают их соседи — те, у кого они сияли дачу в Ла-Распельер: маркиз и маркиза де Говожо». — «Сегодня? Маркиз и маркиза де Говожо? — воскликнул Котар. — А я и не знал То есть я, как и вы, знал, что вообще-то они должны приехать, но не знал, что так скоро. Дьявольщина! — обратился он ко мне. — А что я вам

говорил? Княгиня Щербатова, маркиз и маркиза де Говожо. — Он так наслаждался звучанием этих имен, что не мог не повторить их. — Вот как у нас! Так, так, для начала лучше не придумаешь. Как на подбор!» Обратившись к Бришо, он добавил: «Покровительница, наверно, бесится. Мы очень кстати приедем к ней на выручку». Г-жа Вердюрен, поселившись в Ла-Распельер, притворялась перед «верными», будто пригласить к себе один раз дачевладельцев — это для нее горькая необходимость. Благодаря этому она сможет добиться более выгодных условий на будущий год — уверяла она, — зовет она их только в корыстных целях. И тем не менее одна мысль об ужине с людьми, не принадлежащими к ее кружку, будто бы внушала ей такой ужас, казалась ей чем-то до того чудовищным, что она все откладывала его и откладывала. Мысль об этом ужине в самом деле до известной степени пугала ее по тем причинам, о которых она говорила всем и каждому, — только она этот свой страх всячески раздувала, — но из снобистских соображений она была рада приезду Говожо, и вот об этом-то она предпочитала умалчивать. Таким образом, наполовину она была искренна: она действительно считала кланчик уникальным; он представлялся ей одним из

тех обществ, которые подбираются веками, и ее охватывал трепет, когда она думала о том, что в кланчик проникнут провинциалы, никогда не слыхавшие ни о тетралогии, ни о «Мейстерзингерах», не сумеющие исполнить свою партию в концерте общего разговора и погубящие у Вердюренов одну из самых замечательных сред — этих бесподобных, хрупких шедевров, этих изделий из венецианского стекла, которые могут треснуть от одной фальшивой ноты. «Помимо всего прочего, это, должно быть, самые что ни на есть анти, военщина», — заметил г-н Вердюрен. «Вот уж это мне совершенно безразлично, надоела мне вся эта история», — возразила г-жа Вердюрен; убежденная дрейфусарка, она все-таки мечтала о том, чтобы ее по преимуществу дрснфусарскнй салон был признан светом. Дело в том, что дренфусарство праздновало свою победу в кругах политических деятелей, но не в свете. Светские люди продолжали смотреть на Лабори, Рейнака, Пикара, Золя все-таки отчасти как на предателей, следовательно, такого сорта люди могли оттолкнуть светских людей от «ядрышка». Вот почему после вторжения в область политики г-жу Вердюрен снова потянуло к искусству. Да и потом, разве

д'Энди,[232] Дебюсси в деле Дрейфуса не «сплоховали»? «Что касается дела Дрейфуса, то тут выйти из положения легко: мы посадим гостей рядом с Бришо, — решила г-жа Вердюрен (из „верных“ только профессор, много потеряв в ее глазах, стоял на стороне генерального штаба). — Не обязаны же мы ни о чем другом не говорить, кроме как о деле Дрейфуса! Гораздо важней другое: я не переваривaю Говожо». А «верные», снедаемые тайным желанием познакомиться с Говожо и вместе с тем введенные в обман г-жой Вердюрен, уверявшей, будто ей противно принимать их у себя, каждый день в разговоре с ней приводили одни и те же некрасивые доводы, которые приводила она же сама, доказывая, из-за чего все-таки необходимо принять Говожо, и разъясняли ей, почему эти доводы неопровержимы. «Да решитесь же наконец, — твердил Котар, — и вы добьетесь льготных условий: Говожо будут держать садовника, а вы будете наслаждаться зелеными лужайками. Ради этого стоит поскучать вечерок. Я ведь о вас же забочусь», — добавлял он, а между тем сердце у него заколотилось, когда экипаж г-жи Вердюрен, с которой он ехал, и экипаж старой маркизы де Го-

[232] Примечания: 232

Д'Энди, Венсан (1851–1931) — в 1909–1931 году директор Schola Cantorum. Отличался ярым антисиметизмом, был поклонником Вагнера.

вожо как-то раз встретились; ему всегда казалось, что железнодорожные служащие смотрят на него презрительно, когда он на вокзале сталкивается с маркизом. А Говожо, жившие вдали от света и даже не подозревавшие, что какие-то элегантные дамы отзываются о г-же Вердюрен с некоторым уважением, были уверены, что эта особа водит знакомство разве что с богемой, может быть, даже не состоит в законном браке, и что когда они к ней приедут, то она первый раз в жизни увидит людей «родовитых». Они согласились у нее отужинать только для того, чтобы поддержать хорошие отношения с дачницей, которая, как они рассчитывали, проживет у них еще несколько сезонов, а для них это стало особенно заманчиво после того, как они месяц тому назад узнали, что она получила миллионное наследство. Молча, без шуток дурного тона готовились они к роковому дню. «Верные» потеряли надежду, что этот день когда-нибудь настанет, — ведь уже столько раз г-жа Вердюрен назначала его и переносила. Цель, которую она преследовала этими назначениями и отменами, состояла не только в том, чтобы все чувствовали, как неприятен ей этот ужин, но и в том, чтобы держать в напряжении членов кружка, живших по соседству и время от

времени обнаруживавших стремление «надуть» г-жу Вердюрен. Покровительница не догадывалась, что «торжественный день» на самом деле доставит им такое же большое удовольствие, как и ей, — на уме у нее было другое; убедив их в том, что для нее этот ужин — тяжелейшая повинность, она получила возможность взывать к их преданности: «Вы же не оставите меня одну с этими китайскими болванчиками? Скучать, так уж вместе! Конечно, на интересные темы поговорить не придется. Эта среда выйдет у нас пропащая — ну да ничего не попишешь».

«Да, правда, — обратившись ко мне, заметил Бришо, — госпожа Вердюрен — женщина тонкого ума, свои среды она устраивает с большим вкусом, и ей не по нутру звать к себе этих захудалых дворян, знатных, но недалеких. Приглашать старую маркизу — это было выше ее сил, и она еле-еле заставила себя позвать только сына и невестку». — «Стало быть, мы увидим молодую маркизу де Говожо?» — спросил Котар с улыбкой, которой он счел нужным придать оттенок игривости и жеманства, хотя не имел ни малейшего представления, красива или дурна собой Говожо — младшая, — подобострастные и фривольные мысли внушал ему самый титул маркизы. «А, я ее

знаю», — сказал Ский; он как-то раз встретил ее, гуляя с г-жой Вердюрен. «В библейском смысле слова вы ее не знаете», — бросив сквозь пенсне двусмысленный взгляд, ответил ему своей любимой шуткой Котар. «Маркиза умна», — сказал мне Ский. Я промолчал — с улыбкой отчеканивая каждое слово, он продолжал развивать свою мысль: «Она, бесспорно, умна, но и не умна; она не образованна, легкомысленна, но любит красивые вещи. Она лучше промолчит, но зато уж и не скажет глупости. И потом, у нее чудесный цвет лица. С нее хорошо было бы написать портрет», — добавил он, полузакрыв глаза, как будто она ему позировала, а он на нее смотрел. Я был совсем иного мнения, чем Ский, без конца варьировавший свою тему, а потому отделался от него сообщением, что маркиза — сестра знаменитого инженера Леграндена. «Вот видите, вас познакомят с красивой женщиной, — сказал мне Бришо, — и никто не может предугадать, что из этого выйдет. Клеопатра не была важной дамой, это была женщина маленького роста, взбалмошная, уродливая, такая, какой ее вывел наш Мельяк,[233] а вспомните-ка о последствиях

[233] Примечания: 233

Мелъяк, Анри (1831–1897) — французский комедиограф, автор комических опер «Прекрасная Елена» (1864), «Парижская жизнь» (1866) и др.

не только для этого простофили Антония, но и для всего Древнего мира». — «Меня уже познакомили с маркизой де Говожо», — возразил я. «А, ну, в таком случае, вы будете там себя чувствовать как рыба в воде». — «Я рад буду с ней увидеться, главным образом, потому, — заметил я, — что она обещала дать мне почитать работу старого комбрейского священника о названиях местностей в этом краю, и вот теперь я ей об ее обещании напомню. Меня интересует и сам священник, и его этимологические изыскания». — «Я бы на вашем месте особенно ему не доверял, — заметил Бришо, — ту его работу, которая сейчас находится в Ла-Распельер, я от нечего делать просматривал, и, на мой взгляд, она внимания не заслуживает: там полно ошибок. Вот вам пример. Слово bricq входит в состав множества здешних названий Почтенному священнослужителю пришла в голову довольно странная мысль: якобы оно происходит от briga, что значит — „высота, укрепленное место“. Оно чудится ему уже в названиях кельтских племен: латобригов, неметобригов и так далее, а дальше он протягивает от него нить к таким фамилиям, как Бриан, Брион и прочим… Если же обратиться к местности, по которой мы с вами сейчас имеем удовольствие ехать, то

название Брикбоз должно было бы означать „лес на высоте“, Бриквиль — „селение на высоте“, Брикбек, где мы сейчас, не доезжая до Менвиля, остановимся, — „высота близ ручья“. А между тем это неверно: bricq — древнескандинавское слово, и означает оно просто-напросто „мост“. Равным образом fleur, которое любимчик маркизы де Говожо притягивает за волосы то к скандинавским словам floi, flo, то к ирландским словам ае и аег, бесспорно, происходит от датского friord и означает „гавань“. Равным образом добрый пастырь полагает, что название станции Сен-Мартен-ле-Ветю, находящейся недалеко от Ла-Распельер, означает Сен-Мартен-ле-Вьё, то есть vetus.[234] Не подлежит сомнению, что слово „вьё“ сыграло большую роль в топонимике этого края. „Вьё“ обыкновенно производят от vadum, и означает оно „брод“, как в местности, которая так и называется — Ле-Вьё, „броды“. Это соответствует английскому ford (Оксфорд, Герфорд). В данном случае „вьё“ ведет свое происхождение не от vetus, а от vastatus — голого, опустошенного места. Близко отсюда расположены Сотваст — vast Сетольда, Брильваст — vadum Берольда. Окончательно же

[234] Примечания: 234
Старый (лат.)

я убедился в неосведомленности духовного лица, когда узнал, что в былые времена Сеп-Мартен-ле-Вьё именовался Сен-Мартен-дю-Гаст и даже Сен-Мартен-де-Терргат. Надо заметить, что в этих словах v и g произносятся одинаково. В смысле „опустошать“ можно употребить не только глагол devaster, но и глагол gacher. „Жашер“ и „гатин“ (от верхненемецкого waslinne) значат одно и то же: терргат, то есть — terra vasta.[235] Что касается Гава, по-прежнему — святого Гавиния (не подумайте что-нибудь), то это Габриэль, а уж его как только не величают: и Габр, и Габри, и Габримюр, и даже Гамарс. Не следует, однако, забывать, что совсем близко отсюда есть места, которые называются просто Марс, — это свидетельствует лишь о том, что здесь языческое начало оказалось живучим (бог Марс), но святой отец не желает с этим считаться. Вообще тут много возвышенностей, посвященных языческим богам, как, например, гора Юпитера (Жёмон). Ваш попик ничего этого не желает видеть, но и следы, оставленные христианством, тоже от него ускользают. В своих блужданиях он добрался до Loctudi и уверяет, что это слово варварское, на самом же деле это —

---

[235] Примечания: 235
Бесплодная земля (лат.)

Locus Sancti Tudeni,[236] а в имени Саммарколь он не разглядел Sanctus Martialis.[237] Ваш попик, — поняв, что этот вопрос меня занимает, продолжал Бришо, — производит слова, оканчивающиеся на „он“, „ом“, „ольм“, от слова holl (hullus), то есть, по его мнению, от „холма“, тогда как на самом деле holl происходит от древнескандинавского holm, что значит „остров“: вам оно хорошо известно по Стокгольму, а здесь оно встречается на каждом шагу — Ульм, Энгоом, Таун, Робеом, Неом, Кетеон и так далее». Эти названия напомнили мне тот день, когда Альбертине захотелось съездить в Амфревиль-ла-Биго (в местность, названную, как пояснил мне Бришо, по именам двух ее владельцев, от одного из которых она перешла к другому) и когда она предложила мне там поужинать в Робеоме. «От Неома, кажется, недалеко до Каркетюи и Клитурпса?» — спросил я. «Совершенно верно. Неом — это holm, остров или, скорей, полуостров достославного виконта Нигеля, имя которого сохранилось также в названии Невиль. В происхождение названий Каркетюи и Клитурпс, о которых вы меня спросили, любимчик

---

[236] Примечания: 236
Край святого Тюдона (лат.)

[237] Примечания: 237
Святого Марциала (лат.)

маркизы де Говожо тоже внес путаницу. Разумеется, он не упустил из виду, что „карке“ — это „церковь“, немецкое Kirche. Вам знакомо название Керкевиль и тем более Дюнкерк. Поэтому давайте лучше остановимся на широко распространенном слове dun — у кельтов оно означало „возвышенность“. С этим вы столкнетесь во всей Франции. Вашего аббата загипнотизировало название Дгонвиль, которое он отыскал в Эр-э-Луар; Шатоден, Ден-ле-Руа он нашел бы в Шере, Дюно — в Сарте, Ден — в Арьеже, Дюн-ле-Плас — в Ньевре и так далее, и так далее. Из-за этого dun он допустил курьезную ошибку с Дувилем — там мы скоро сойдем и там нас ждут комфортабельные экипажи госпожи Вердюрен. Дувиль — это латинское donvilla, — утверждает он. Действительно, Дувиль расположен у подошвы высоких холмов. Ваш всеведущий попик все-таки чувствует, что дал маху. В какой-то древней церковной книге он прочел Domvilla. И вот тут он идет на попятный: по его мнению, Дувиль — это ленное владение аббата, Domino Abbati, из монастыря Михаила Архангела.[238] Исследователь в восторге, хотя

[238] Примечания: 238

Монастырь Михаила Архангела — знаменитый Мон-Сен-Мишель, бенедиктинский монастырь, основанный в 966 г. Расположен на скалистом острове у берегов Нормандии.

это может показаться довольно странным, если вспомнить, как безобразно вели себя в этом монастыре со времен „Капитулярия“,[239] изданного в Сент-Клер-сюр-Эпт, и уж совсем невероятным, что король датский, в качестве сюзерена всего этого побережья, насаждал там культ Одина.[240] куда ревностнее, нежели христианство. С другой стороны, предположение, что n перешло в m, меня не смущает — оно требует гораздо меньше подтасовок, чем вполне ясное Лион, которое тоже происходит от dun (Lugdunum). И все-таки здесь у аббата промах. Дувиль исстари не был Донвнлем — некогда он был Довилем, ludonis Villa, селением Эда. Дувиль прежде назывался Эскалеклиф — „лестницей в скале“. В тысяча двести тридцать третьем году Эд-Виночерпий, сеньор Эскалеклифа, отправился в Святую землю; уезжая, он передал церковь аббатству Бланшланд[241] За его добрые дела селение переименовалось в его честь — вот откуда теперешнее название Дувиль.

---

[239] Примечания: 239

Капитулярии — законы и распоряжения франкских королей из династии Каролингов.

[240] Примечания: 240

Один — в скандинавской мифологии верховный бог, глава пантеона.

[241] Примечания: 241

Аббатство Бланшланд — основано в 1155 г., долгое время находилось под властью английского короля.

Должен заметить, однако, что топонимия, в которой я, признаться, совсем не силен, — наука не точная: если бы мы не располагали историческими фактами, то были бы вправе утверждать, что Дувиль происходит от имени Дукитий, от Дувра, от чего угодно. Около Дувиля находился известный источник Каркебю. Можете себе представить, как, наверно, ликует попик оттого, что отыскал там какие-то следы христианства, хотя в тех краях, должно быть, довольно трудно усваивалось евангельское учение из-за частой смены проповедников, а проповедовали его то святой Урсал, то святой Гофруа, то святой Барсанор, то святой Лаврентий Бреведеитский и, наконец, бобекские иноки. Что касается „тюит“, то и здесь автор допускает оплошность: он принимает его за одну из форм „тофт“, что значит „лачуга“, и она нам попадется в Крикто, Экто, Ивето, но это — „твейт“: „новь“, „поднятая целина“, как, например, в Брактюн, в Тюи, в Регнтюи и так далее. Он не отрицает, что в Клитурпсе есть нормандское „торп“, что значит „селение“, однако начало названия ему хочется вывести из clivus, то есть — „склона“, а между тем оно происходит от cliff — „скалы“. Наиболее явные его промахи объясняются не столько невежеством, сколько

предрассудками. Пожалуйста, люби все французское, но зачем же спорить против очевидности и доказывать, что святой Лаврентий Брейский,[242] — римский священник, в свое время очень известный, тогда как речь идет о святом Лоуренсе О'Туле[243] архиепископе Дублинском? И все же наиболее грубые ошибки ваш друг допускает не столько из патриотического чувства, сколько из религиозных предубеждений. Так, например, невдалеке от наших ла-распельерских хозяев есть два Монмартена: Монмартен-Сюр-Мер и Монмартен-ан-Грень. В Грене милейший попик ошибки не допустил: он смекнул, что Грень, латинское Crania, греческое Крепе, означает „пруды“, „болота“; сколько можно было бы привести в пример разных там Кремаисов, Кренов, Кремвилей, Ленгронов! Но вот что касается Монмартенов, то мнящий себя лингвистом во что бы то ни стало тщится доказать, что речь тут идет о церквах во

[242] Примечания: 242

Святой Лаврентий Брейский (210–258) — римский дьякон, который вместо того, чтобы предоставлять церковные пожертвования префекту, распространял их среди бедняков, за что был подвергнут мучительной казни. Святой Лаврентий считался покровителем аббатства Бабек, расположенного в Бре (один из районов Нормандии).

[243] Примечания: 243

Святой Лоуренс О'Тул (1120–1180) — знаменитый церковный подвижник древней Ирландии, епископ Дублина, долгое время почитался в Нормандии, где он нашел смерть, ища встречи с Генрихом Н.

имя святого Мартина. Он ссылается на то, что святой Мартин — покровитель этих храмов, но не принимает в соображение, что святой Мартин стал их покровителем значительно позднее; вернее сказать, попик ослеплен ненавистью к язычеству; он не хочет взять в толк, что если бы речь шла о святом Мартине, то тогда говорили бы: Мон-Сен-Мартен, вроде того, как аббатство Михаила Архангела называют Мон-Сен-Мишель, а между тем название Монмартен с гораздо большей долей вероятности может быть отнесено к эпохе язычества: это были храмы, посвященные богу Марсу; от них, правда, ничего не уцелело, однако поблизости сохранились остатки подлинных обширных римских крепостей, и вот это, даже если бы не было названия Монмартен, — а оно одно уже рассеивает всякие сомнения — служит неопровержимым доказательством того, что языческие храмы действительно здесь существовали. Надеюсь, теперь вы убедились, что книжицу, которую вы найдете в Ла-Распельер, нельзя назвать блестящей». Я возразил, что в Комбре священник интересно толковал происхождение отдельных слов. «Там, видимо, под ним была более твердая почва; переезд в Нормандию выбил ее у него из-под ног». — «И, должно быть,

не вылечил, — подхватил я, — ведь приехал-то он с неврастенией, а уехал с ревматизмом». — «Ох уж эта неврастения! Она перешла у него в филологию, как выразился бы мой любимый Поклен.[244] Ваше мнение, Котар: может неврастения оказывать вредное влияние на филологию, может филология действовать успокаивающе на неврастению и может ли избавление от неврастении вызвать ревматизм?» — «Еще как может! Ревматизм и неврастения — это два викарирующих вида невроартрита. Переход от одного заболевания к другому совершается путем метастаза». — «Достоименитый профессор, — заметил Бришо, — подмешивает столько латыни и греческого, что ему позавидовал бы сам блаженной мольеровой памяти господин Пургон. А, чтоб, я хотел сказать: гордость нашего отечества Сарсе…[245]» Бришо так и не смог договорить. Профессор вдруг подскочил и взвыл. «Туда вас распротуда! — сразу вразумительно заговорил

[244] Примечания: 244

…как выразился бы мой любимый Поклен. — Имеется в виду Мольер (настоящее имя — Жан-Батист Поклен; 1622–1673). Далее Пруст перефразирует несколько реплик из его комедии «Мнимый больной».

[245] Примечания: 245

Сарсе, Франсиск (1827–1899) — один из самых знаменитых французских театральных критиков XIX века. Его рецензии на спектакли, публиковавшиеся в ежедневной газете «Тан», считались образцом остроумия и добродушия, за что критика прозвали «Дядюшкой».

он. — Мы проехали Менвнль (ой-ой-ой!) и даже Ренвиль. — Он увидел, что поезд останавливается в Сен-Марсе-Старом, где сходили почти все пассажиры. — Но ведь не могли же они промахнуть станцию! Мы заговорились о Говожо и не заметили. Послушайте, Ский! Одну минуточку, премного уважаемый (с некоторых пор Котар начал часто употреблять это обращение, ставшее обиходным в некоторых медицинских кругах)! В нашем поезде должна быть княгиня, — вернее всего, мы не попались ей на глаза и она села в другое купе. Пойдемте поищем. Только как бы из-за этого чего-нибудь не вышло!» И тут он повел нас на поиски княгини Щербатовой. Она сидела в углу пустого купе и читала «Ревю де Де Монд». Из боязни нарваться на грубость, она давно уже взяла себе за правило сидеть на месте не двигаясь, забиваться в угол — как в вагоне, так и в жизни — и, прежде чем протянуть руку, ждать, чтобы с ней поздоровались первыми. «Верные» застали ее за чтением. Я узнал ее сразу: эту женщину, которая могла утратить положение, какое она прежде занимала в обществе, но не могла утратить своего знатного происхождения, которая, во всяком случае, являлась украшением такого салона, как салон Вердюренов, я позавчера в этом

же самом поезде принял за содержательницу дома терпимости. Ее весьма неопределенное социальное положение стало мне ясно, как только я услышал ее фамилию, — так, побившись над загадкой, мы вдруг угадываем слово, освещающее все, что до тех пор оставалось для нас туманным, а если нас занимает человек, то его фамилию. Узнать два дня спустя, кто была та женщина, рядом с которой ты ехал в поезде, но так и не определил, к какому общественному слою она принадлежит, — это сюрприз гораздо более забавный, чем тот, что готовит нам журнал, в котором мы находим решение загадки, предложенной в предыдущем номере. Роскошные рестораны, казино, пригородные поезда представляют собой музеи фамилий этих социальных загадок. «Княгиня! Мы вас прозевали в Менвиле. Вы позволите нам сесть в вашем купе?» — «Ну конечно!» — ответила княгиня; только когда она услышала, что Котар к ней обращается, она решилась оторвать от книги глаза, которые, как и глаза де Шарлю, — хотя у глаз княгини было более мягкое выражение — прекрасно видели тех, кого они как будто не замечали. Котар, решив, что раз меня зовут вместе с Говожо, то это служит мне достаточно весомой рекомендацией, отважился

представить меня княгине, и та очень любезно со мной поздоровалась, однако всем своим видом показала, что слышит мое имя впервые. «Фу ты, пес ее возьми! — вскричал доктор. — Жена забыла переменить пуговицы на моем белом жилете. Ох уж эти женщины! Что у них в голове? Не женитесь! Слышите? Не женитесь!» — сказал он мне. Считая, что такого рода шутки вполне уместны, когда не о чем говорить, Котар подмигнул княгине и другим «верным», а те, поскольку он был профессор и академик, улыбнулись, ценя в нем отсутствие чванства и заражаясь его веселым настроением. Княгиня сообщила, что молодой скрипач отыскался. Вчера он весь день пролежал с головной болью, а сегодня приедет и привезет с собой старинного друга своего отца, которого он встретил в Донсьере. Княгиня узнала об этом от г-жи Вердюрен, с которой сегодня утром завтракала, о чем она рассказала нам, как всегда, скороговоркой, в которой звук *р*, произносимый ею по-русски, сладко таял у нее в горле, точно это был не звук *р*, а звук *л*. «Ах, так вы нынче с ней завтракали? — переспросил Котар княгиню, глядя в это время на меня, — ему хотелось, чтобы я оценил степень близости княгини с Покровительницей. — Ну да вы у нас „верная“ из „верных“!»

— «Да, я люблю этот клужочек умных людей, плиятных, не злых, очень плостых, клужочек, где нет места снобам и где все напелебой блещут остлоумием». — «Ах, канальство, я потерял билет! Куда он мог деться?» — вскричал Котар, совершенно напрасно волнуясь. Он не мог не знать, что в Дувиле, где нас должны были ждать два ландо, контролер пропустит его без билета и только еще почтительнее снимет с головы фуражку, давая этим понять, что не придирается к нему, так как сразу узнал в нем частого гостя Вердюренов. «Не потащат же меня из-за этого в полицию», — наконец решил доктор. «Вы сказали, что недалеко отсюда были прославленные источники; откуда это стало известно?» — обратился я с вопросом к Бришо. «Одним из многочисленных доказательств служит название следующей станции. Называется она Ферваш». — «Что тут можно понять?» — проворчала княгиня так, как будто ее слова относились ко мне и как будто она хотела мне посочувствовать, мол: «Ох и надоел же он вам, наверно!» «Да тут и понимать нечего, княгиня! „Ферваш“ значит „горячие воды“. Fervidae aquae. Да, кстати о молодом скрипаче, — продолжал Бришо, — я забыл сообщить вам, Котар, печальную новость. Вы слыхали, что наш бед-

ный друг Дешамбр, пианист, которого раньше особенно любила госпожа Вердюрен, только что скончался? Это ужасно». — «Ведь совсем еще молодой, — отозвался Котар, — но у него, я думаю, было что-то с печенью, какая-то гадость, последнее время вид у него был паршивый». — «Да и не так уж он был молод, — возразил Бришо. — Когда у госпожи Вердюрен бывали Эльстир и Сван, Дешамбр уже был парижской знаменитостью, и — странное дело! — до этого он не получил крещения успехами за границей. Да, кто — кто, а он не исповедовал евангельского учения по святому Барнуму![246]» — «Вы путаете, он тогда еще не мог бывать у госпожи Вердюрен, в то время он был сосунком». — «Однако, если только мне не изменяет моя старая память, по-моему, Дешамбр играл сонату Вентейля для Свана, когда этот клубмен, порвавший с аристократией, был еще далек от мысли, что впоследствии станет обуржуазившимся принцем-консортом царствующей у нас Одетты». — «Не спорьте! Сонату Вентейля играли у госпожи Вердюрен, когда Сван уже

[246] Примечания: 246

Барнум, Финеас Тейлор (1810–1891) — американский авантюрист, директор цирка, автор скандальной книги «Искусство сделать состояние благодаря доверчивости людей», переведенной на французский под названием «Миллионы Барнума, обманщика народов» (1899).

давно перестал у нее бывать, — возразил доктор; как все большие труженики, воображающие, что они запоминают множество, как им представляется, важных вещей, он забывал множество других, — вот почему такие люди восхищаются памятью тех, кто ровно ничего не делает. — Ведь вы же не впали в детство, — просто вы понадеялись на свою осведомленность», — с улыбкой прибавил доктор. Бришо признал свою ошибку. Поезд остановился. Это была Сонь. Название меня заинтересовало. «Как бы мне хотелось знать, что означают все эти названия!» — сказал я Котару. «Да спросите у Бришо, — может быть, он знает». — «Да Сонь — это же сиконь, siconia, цапля», — ответил Бришо, а мне страх как хотелось расспросить его еще о многих-многих названиях.

Забыв, что она дорожит своим «уголком», княгиня Щербатова, заговорив со мной, любезно предложила поменяться местами, чтобы мне удобнее было беседовать с Бришо, у которого я мечтал разузнать о других возбуждавших мое любопытство этимологиях, — она уверяла, что ей все равно, как ехать — лицом вперед, назад, стоя и так далее. Она занимала оборонительное положение до тех пор, пока не разгадывала намерений вошедшего, а как только убеждалась,

что он с ней любезен, то сейчас же начинала искать предлог сделать ему какое-нибудь одолжение. Наконец поезд остановился на станции Довиль-Фетерн, расположенной приблизительно на одинаковом расстоянии от селения Фетерн и от селения Довиль и из-за этой своей особенности носившей двойное название. «Тьфу, пропасть! Никак не могу найти билешку, — должно быть, выронил!» — делая вид, что только сейчас это обнаружил, вскричал доктор Котар, когда мы подошли к турникету, где отбирали билеты. Но контролер, сняв фуражку, сказал, что это не беда, и подобострастно осклабился. Княгиня дала распоряжения кучеру, как будто она была кем-то вроде фрейлины госпожи Вердюрен, которая не поехала на станцию только из-за Говожо, — кстати сказать, г-жа Вердюрен редко когда не встречала гостей на станции, — а затем усадила в экипаж меня и Бришо вместе с собой. В другом поместились доктор, Саньет и Ский.

Кучер, совсем еще молодой, был, однако, старшим кучером Вердюренов, единственным по праву носившим звание кучера; днем он возил хозяев на прогулки, так как знал все дороги, вечером ездил за «верными», а потом отвозил их на станцию. Вместе с ним ездил младший

кучер (которого он выбирал в случае надобности). Старший кучер был прекрасный малый, непьющий, ловкий, но с грустным выражением лица и чересчур пристальным взглядом, который говорит о том, что этот человек волнуется из-за всякого пустяка и что у него мрачные мысли. Но сейчас он был в духе, так как ему удалось устроить своего брата — такое же, как и он, добрейшее существо — на службу к Всрдюреиам. Сначала мы проехали Довиль. Травянистые холмы спускались к морю обширными пастбищами, которым насыщенность влагой и солью придавали необыкновенную густоту, мягкость и живость тонов. Островки, которые в Ривбеле были несравненно ближе к изрезанному берегу, чем в Бальбеке, придавали морю новый для меня вид выпуклой поверхности. Домики, мимо которых мы проезжали, почти все были сняты у хозяев художниками. Затем мы свернули на дорогу, и здесь коровы, бродившие на свободе и испугавшиеся при виде наших лошадей так же, как лошади при виде их, на целых десять минут загородили нам путь, а потом мы поехали над морем. «Во имя бессмертных богов, — заговорил вдруг Бришо, — вернемся к нашему бедному Дешамбру; как вы думаете, знает ли госпожа Вердюрен? Сказали

ли ей?» Г-жа Вердюрен, как почти все светские дамы, именно потому, что она нуждалась в обществе, после смерти кого-либо из своих знакомых ни единого дня больше о них не вспоминала: они уже не могли приехать ни на среды, ни на субботы, ни позавтракать без приглашения О кланчике, этом типичном салоне, нельзя было сказать, что покойников в нем больше, чем живых, потому что, как только человек умирал, все обставлялось так, как будто он никогда и не существовал. Чтобы избежать печальной необходимости говорить об усопших или, ввиду траура, отменять обеды, — а этого Покровительница не допустила бы ни за что на свете, — Вердюрен всем напевал в уши, будто его жена так тяжело переживает кончину «верного», что разговоры о его смерти могут пагубно отразиться на ее здоровье. Кстати сказать, может быть, именно потому, что смерть кого-то другого представлялась ему несчастьем неизбежным и обычным, мысль о своей смерти приводила его в такой ужас, что он старался об этом не думать. Бришо, добрый малый, слепо веривший россказням Вердюрена о его супруге, боялся, как бы горестная весть не взволновала его приятельницу. «Да, сегодня она *все узнала*, — молвила княгиня, — *утаить это*

от нее не было никакой возможности». — «О, Зевсовы громы! — воскликнул Бришо. — Могу себе представить, какой это для нес страшный удар: двадцатипятилетняя дружба! Вот уж кто был *наш* так *наш*!» — «Разумеется, разумеется, ну тут уж ничего не поделаешь, — заметил Котар. — Горе есть горе, но госпожа Вердюрен — женщина сильная, и рассудок у нее всегда берет верх над чувством». — «Я не вполне согласна с доктором, — вмешалась княгиня; оттого, что речь у нее была быстрая и невнятная, казалось, что она всегда чем-то недовольна, и вместе с тем в ее топе как будто слышался вызов. — Госпожа Вердюрен холодна только на вид, но под этой холодной оболочкой таятся сокровища добросердечия. Господин Вердюрен рассказывал мне, каких трудов стоило ему отговорить ее от поездки в Париж: пришлось обмануть ее, сказать, что Дешамбра хоронят в деревне». — «Л, черт, еще чего не хватало — в Париж! Уж очень она сострадательная, пожалуй, даже, насколько я ее знаю, слишком. Бедняга Дешамбр! Госпожа Вердюрен говорила про него каких-нибудь два месяца назад: „С

ним рядом нельзя поставить ни Планте,[247] ни Падеревского,[248] даже Рислера,[249]“. Дешамбр с большим основанием, чем этот, как его, Нерон[250] который немецким ученым и тем сумел втереть очки, мог бы воскликнуть: Qualis artifex pereo!.[251] Но, по крайней мере, он-то — Дешамбр то есть — умер, наверно, священнодействуя, окутываемый фимиамом бетховенского вдохновения, умер спокойно — в этом я не сомневаюсь; если говорить по совести, то этому священнослужителю немецкой музыки подобало испустить дух во время исполнения мессы ре мажор[252] А впрочем, этот человек был способен встретить курносую заливистой трелью: ведь в этом гениальном музыканте, хоть и опарижившемся, а все-таки шампанце по месту рождения, порой

---

[247] Примечания: 247

Плантпе, Франсис (1839–1934) — французский композитор и пианист, прославившийся в начале XX века своими «Субботними концертами» в Консерватории.

[248] Примечания: 248

Падеревский, Игнаций (1860–1941) — знаменитый польский пианист и композитор, виртуозный исполнитель музыки Шопена, выступавший в Париже с 1888 г.

[249] Примечания: 249

Рислер, Эдуар (1873–1929) — французский пианист, исполнитель произведений Листа, Бетховена, Вагнера.

[250] Примечания: 250

Нерон, Клавдий Цезарь (37–68) — римский император, прославившийся как бесчеловечностью своего правления, так и своего рода

манией художественного величия, достигшей апогея в поездке по Греции в 66–68 гг., когда он заставил себя чествовать как победителя ряда артистических состязаний. Его предсмертное высказывание «*Qualisartifexpereo*» («Какой артист умирает», *лат.)* зафиксировано Светонием в книге «Жизнь двенадцати цезарей» (VI, *49).* В немецкой историографии конца XIX — начала XX века (Г. Шиллер, Э. Холь и др.) образ императора истолковывался если не положительно, то довольно снисходительно.

[251] Примечания: 251

Какой артист умирает! (лат.)

[252] Примечания: 252

…мессы ре мажор. — «Торжественная месса» («Missa solemnis», op. 123) Бетховена.

прорывался французский гвардеец с его лихостью и с его изяществом».

С той высоты, на которую мы поднялись, море являлось взору не таким, как в Бальбеке, где оно напоминало беспрестанное колыхание вздыбленных гор, — нет, здесь оно было таким, каким является взору с горной вершины или же с дороги, ее огибающей, голубоватый ледник или ослепительная долина. Рябь казалась здесь застывшей, концентрические ее круги были словно вычерчены навсегда, морская эмаль, неприметно менявшая цвет, в глубине бухты, на берег которой в часы прилива набегали волны, приобретала цвет молока, и в этой голубой белизне неподвижные черные суденышки напоминали мух, попавших в паутину. Более широкой картины я не в силах был вообразить. Однако на каждом повороте к ней присоединялась какая-нибудь новая часть, а когда мы доехали до довильской таможенной будки, то щита прибрежных скал, до сих пор закрывавшего от нас половину бухты, уже не стало, и вдруг слева передо мною возник залив, почти такой же глубокий, как тот, что был все время доступен моему взгляду, но только этот залив все увеличивался и все хорошел. Воздух на такой высоте пьянил меня своей живитель-

ностью и чистотой. Сейчас я любил Вердюренов; меня трогало до глубины души то, что они выслали за нами экипаж. Мне хотелось поцеловать княгиню Я сказал ей, что такой красоты я еще никогда не видел. Она ответила, что ей тоже эти края милее всего. Но я отдавал себе отчет, что для нее, как и для Вердюренов, они представляли интерес не с точки зрения любующихся ими путешественников, а потому, что здесь можно вкусно поесть, видеться с симпатичными людьми, писать письма, читать — одним словом, жить, бездумно окунаясь в их красоту, но не пытаясь осмыслить ее.

Когда экипаж на минуту остановился у таможенной будки, стоявшей высоко-высоко над уровнем моря, так что мне казалось, точно я смотрю на голубоватую бездну с самого верха горы, я почувствовал что-то вроде головокружения; я отворил оконце; в мягкости и отчетливости явственно различимого плеска каждой волны, разбивавшейся о берег, было что-то величественное. Не являлся ли этот плеск особой единицей меры, которая, разрушая наше привычное восприятие, показывает нам, что, вопреки обычному нашему представлению, вертикальные расстояния соизмеримы с горизонтальными и что раз

они приближают к нам небо, то, значит, они не так уж велики, что они даже короче преодолевающего их звука, как преодолевала расстояние морская зыбь, потому что среда, через которую проходит звук, чище? В самом деле, если б вы отошли всего на каких-нибудь два метра от будки, вам был бы уже не слышен плеск волн, у которого двести метров скалистой высоты не отнимали его мягкой, четкой и ласкающей слух ритмичности. Я подумал о том, что этот плеск привел бы мою бабушку в такое же восхищение, какое вызывали у нее явления природы и искусства, простота которых исполнена величия. Мой безграничный восторг все облагораживал. Например, меня умилило то, что Вердюрены послали за нами на станцию лошадей. Я сказал об этом княгине, но она нашла, что я сильно преувеличиваю проявление обыкновенной вежливости. Потом мне стало известно, что она в разговоре с Котаром отозвалась обо мне как о человеке чересчур восторженном; Котар ей на это ответил, что я легко возбуждаюсь и что мне не мешало бы попринимать успокоительное и заняться вязанием. Я обращал внимание княгини на каждое дерево, на каждый ветхий домишко, выглядывавший из-за розовых кустов, требовал, чтобы она всем

восхищалась, и готов был прижать ее к сердцу. Она заметила, что, по-видимому, у меня есть способности к живописи, что мне надо рисовать, что ее удивляет, как же мне никто об этом ничего до сих пор не сказал. И подтвердила, что эти места действительно живописны. Мы проехали прилепившуюся к горе деревушку Англесквиль. «Engleberti villa, — пояснил Бришо. — А вы твердо уверены, княгиня, что, несмотря на кончину Дешамбра, ужин все-таки состоится?» — спросил он, не сообразив, что посылка на станцию экипажей, в которых мы ехали, уже является ответом на его вопрос. «Да, ужин состоится, — ответила княгиня. — Господин Вердюрен решил не переносить его — чтобы отвлечь жену от „мыслей“. К тому же на протяжении нескольких лет она не отменила ни одной среды, и это нарушение обычая могло бы ее взволновать. Последнее время она очень нервничает. Господину Вердюрену особенно приятно, что сегодня к ним приедете ужинать вы, он убежден, что это ее рассеет, — обратилась она ко мне, забыв, что еще так недавно притворялась, будто никогда прежде не слыхала моего имени. — По-моему, самое лучшее, если вы ни о чем не будете говорить при госпоже Вердюрен», — прибавила княгиня. «Хорошо, что

предупредили, — сказал простодушный Бришо. — Я передам ваш совет Котару». Экипаж на минутку остановился. Потом опять тронулся, но стук колес, раздававшийся, пока мы проезжали деревню, прекратился. Мы въехали в главную аллею, которая вела к Ла-Распельер, где у подъезда нас ждал Вердюрен. «Хорошо, что я надел смокинг, раз у меня такие шикарные гости», — сказал он, с удовлетворением заметив, что «верные» — в смокингах. Я извинился, что приехал в пиджаке. «Да ну, какие пустяки, отлично сделали! — воскликнул Вердюрен. — У нас на ужинах попросту. Я, конечно, мог бы вам предложить один из моих смокингов, но он вам не подойдет». Горячее shake hand,[253] которым Бришо, войдя в вестибюль Ла-Распельер, хотел выразить хозяину свое соболезнование в связи с кончиной пианиста, не вызвало у Вердюрена отклика. Я начал расхваливать этот край. «Ах, очень рад, очень рад, да вы еще ничего не видели, мы вам покажем. А почему бы вам не приехать сюда месяца этак на полтора? Воздух здесь упоительный». Бришо опасался, что смысл его рукопожатия остался непонятым. «Ах, бедный Дешамбр!» — из боязни,

---

[253] Примечания: 253
Рукопожатие (англ.)

что г-жа Вердюрен где-нибудь близко, вполголоса проговорил он. «Ужасно!» — весело отозвался Вердюрен. «Такой молодой!» — заладил свое Бришо. Раздраженный тем, что его задерживают празднословием, Вердюрен ответил быстро, на визгливых нотах, выражая не печаль, а досадливое нетерпение: «Ну да, но что же вы хотите? Ведь мы тут ничего не можем поделать; оттого, что мы будем сетовать, он же не воскреснет, правда?» Но тут он вдруг повеселел и помягчел. «Ну-с, дорогой Бришо, снимайте скорей пальто. У нас сегодня буйабес, а он долго ждать не любит. Главное, ради бога, не заговаривайте с госпожой Вердюрен о Дешамбре! Вы ведь знаете: она скрытная, но ее восприимчивость доходит просто до болезни. Нет, правда, клянусь вам: когда ей сказали, что Дешамбр умер, она чуть не заплакала», — сказал Вердюрен, и в голосе его послышалась глубокая ирония. Он говорил таким тоном, как будто пожалеть о человеке, с которым ты был связан тридцатилетней дружбой, — это своего рода сумасшествие, и вместе с тем чувствовалось, что хоть он и прожил столько лет со своей женой, а все-таки за многое ее осуждает и что она часто раздражает его. «Если вы с ней об этом заговорите, она опять заболеет. Через три месяца после

бронхита — войдите в мое положение! Ведь я тогда превращаюсь в сиделку. Я сам заболеваю, понимаете? Оплакивайте Дешамбра сколько вам угодно, но только про себя. Думайте о нем, но не говорите. Я любил Дешамбра, но вы же не станете порицать меня за то, что свою жену я люблю больше. А, вот и Котар, спросите у него». Вердюрен отлично знал, что домашний врач может оказать множество мелких услуг, — например, запретить волноваться.

Послушный Котар говорил Покровительнице: «Вот вы расстроитесь из-за чего-нибудь, а завтра сделаете мне тридцать девять», как он мог бы сказать кухарке: «Завтра сделайте мне говядину с рисом». Не умея лечить, медицина занимается тем, что придумывает новые формы употребления глаголов и местоимений.

Вердюрен был рад, что, невзирая на грубости, которых наслушался третьего дня Саньет, он все-таки не покинул «ядрышка». Дело в том, что от безделья у г-жи Вердюрен и у ее мужа стала чаще проявляться потребность делать людям больно, а для ее удовлетворения им было уже недостаточно обстоятельств чрезвычайных, всегда крайне редких. Правда, им как нельзя лучше удалось поссорить Одетту со Сваном, Бришо с

его возлюбленной. Теперь предстояло взяться за кого-либо еще — это у них было уже задумано. Но случай подворачивался не всегда. А Саньет, в силу своей душевной ранимости, своей пугливой застенчивости, из-за которой он становился невменяемым, являл собою для них каждодневную жертву. Однако, боясь, как бы он не дал тягу, его неизменно приглашали в выражениях любезных и настойчивых, какими в школах пользуются второгодники, а в армии — старые служаки, если хотят приманить новичка, чтобы защекотать его и зацукать. «Главное, — предостерег Котар Бришо, не слышавшего Вердюрена, — при госпоже Вердюрен — молчок!» — «Не тревожьтесь, Котар, вы имеете дело с мужем разумным, как сказал Феокрит.[254] Да ведь, в сущности, господин Вердюрен нрав: к чему все наши сожаления? — продолжал Бришо: он обладал способностью усваивать чужие обороты речи и проникаться чужими мыслями, которые в этих оборотах находили себе выражение, но зато не отличался проницательностью — вот почему слова Вердюрена он с восхищением воспринял как предел

[254] Примечания: 254

Феокрит (310–250 до н. э.) — древнегреческий поэт, создатель жанра идиллии. Его сборник «Идиллии и эпиграммы» был переведен на французский Леконтем де Лилем.

мужественного стоицизма. — А все-таки мы лишились большого таланта». — «Вы что же это, все еще говорите о Дешамбре? — спросил Вердюрен; он было пошел вперед, но, увидев, что мы за ним не идем, вернулся. — Послушайте, — обратился он к Бришо, — никогда не надо преувеличивать. Если Дешамбр умер, то из этого не следует, что он гений, — гением его не назовешь. Спору нет: он играл хорошо, но вот что для него было очень важно: мы ему создавали соответствующую оправу, а как только его пересадили на другую почву, он и зачах. Моя жена увлеклась его дарованием, и благодаря ей он вошел в славу. Вы же знаете мою жену. Я даже больше вам скажу: с точки зрения его репутации, он умер как раз вовремя, секунда в секунду, как, надеюсь, и наши канские девицы,[255] поджаренные по изумительному рецепту Пампиля,[256] (вот только я боюсь, что вы со своими иеремиадами[257] так и застрянете в этом

---

[255] Примечания: 255

Канские девицы — небольшие прожаренные креветки.

[256] Примечания: 256

Пампилъ — литературный псевдоним Марты Аллар, жены Леона Доде; под этим именем она писала статьи о моде и гастрономии в «Аксьон Франсез», опубликовала также свои сказки и книгу кулинарных рецептов.

[257] Примечания: 257

Иеремиады — горькие жалобы, сетования (по имени библейского пророка Иеремии, оплакивавшего падение Иерусалима).

казбахе[258] где дует отовсюду). Ведь не хотите же вы нас всех уморить только из-за того, что скончался Дешамбр, хотя, по правде сказать, ему уже целый год приходилось перед концертами играть гаммы, чтобы вновь обрести на время, — но лишь на короткое время! — беглость. Зато сегодня вы у нас услышите — или только увидите, потому что после ужина этот поганец слишком часто изменяет искусству ради карт, — совсем другого, чем Дешамбр, музыканта, мальчика, которого открыла моя жена (ведь это она открыла и Дешамбра, и Падеревского, и всех прочих), — Мореля. Этот негодник еще не приехал. Придется послать за ним экипаж к последнему поезду. Приедет он со старым другом своей семьи — он на него нечаянно напоролся, и тот успел ему опостылеть, но, если он не взял бы его с собой, отец был бы на сына в обиде, и пришлось бы музыканту остаться в Донсьере и развлекать друга дома: я имею в виду барона де Шарлю». «Верные» вошли. Вердюрен, задержавшийся со мной, пока я раздевался, в шутку взял меня под руку, как будто среди его гостей не нашлось дамы, которую он попросил бы меня вести к столу. «Поездка была не утомитель-

---

[258] Примечания: 258
Казбах — крепость (*араб.*).

ная?» — «Нет. Господин Бришо рассказывал мне очень интересные вещи». Ответил я так, имея в виду этимологии, во-первых, потому, что меня они действительно интересовали, а во-вторых, потому, что я знал, в каком почете у Вердюренов Бришо. «Меня бы не удивило, если б он вам ничего не рассказал, — заметил Вердюрен. — Обычно он держится в сторонке, своими знаниями делится неохотно». Я подумал, что Вердюрен ошибается. «Господин Бришо произвел на меня впечатление человека обаятельного», — заметил я. «Чудного, очаровательного, — с наигранным восторгом подхватил Вердюрен и, как зазубренный урок, произнес целую речь: — Ученого сухаря в нем вот на столько нет, фантазер, натура увлекающаяся, моя жена его обожает, я тоже!» Тут только я сообразил, что эта похвальная речь полна иронии. И задал себе вопрос: быть может, все-таки Вердюрену удалось за столько лет освободиться от опеки, учрежденной над ним его женой?

Скульптор очень удивился, когда узнал, что Вердюрены согласились принять у себя де Шарлю. В Сен-Жерменском предместье, где де Шарлю пользовался широкой известностью, никто никогда не говорил о его наклонностях (большинство ничего о них не знало, иные сомневались, предпо-

читали рассматривать подобные отношения как пламенную, но платоническую дружбу, считать, что он ведет себя неосторожно, но и только, те же, кто был осведомлен, тщательно скрывали истину и в недоумении пожимали плечами, когда какая-нибудь злоязычная Галардон позволяла себе сделать тонкий намек), зато об этих его наклонностях, о которых что-то знали лишь немногие самые близкие его друзья, постоянно сплетничали вдали от того круга, где он жил, — так пушечные выстрелы становятся слышны только после того, как они прошли зону тишины с ее интерферирующим действием. Следует, впрочем, заметить, что в кругах буржуазных и артистических, где на него смотрели как на олицетворение извращенности, блестящее положение, какое он занимал в высшем обществе, и его знатное происхождение никому не были известны — явление, сходное с тем, какое наблюдается в Румынии: Ронсар[259] пользуется там известностью как

[259] Примечания: 259

Ронсар, Пьер (1524–1585) — французский поэт, глава «Плеяды». Принадлежавший к знатной дворянской семье, он получил образование в Наваррском коллеже в Париже, был пажом герцога Карла Орлеанского и принцессы Мадлен. Миф о румынском происхождении поэта, созданию которого он сам в некоторой мере способствовал, был развеян в начале XX века в биографическом этюде французского литературоведа и лингвиста А. Лоньона, с работами которого Пруст, вероятно, был знаком.

вельможа, а его поэзия неизвестна. Но любопытней всего, что знатность Ронсара, в которой убеждены румыны, — это миф. Прескверная репутация де Шарлю в мире художников и актеров основывалась тоже на недоразумении — на том, что его путали с графом Леблуа де Шарлю, а графа, если и приходившегося ему родственником, то весьма дальним, однажды — быть может, по ошибке — полиция задержала во время обхода, и вот этот обход нашумел и запомнился. В общем, все похождения, которые рассказывались о де Шарлю, приписывались ему без всякого на то основания. Многие профессионалы клялись, что состояли с де Шарлю в определенных отношениях, и сами в это верили, принимая мнимого де Шарлю за настоящего, а мнимый де Шарлю этого не отрицал, отчасти, быть может, потому, что считал это высшим шиком, отчасти потому, что это была для него ширма, тогда как настоящего Шарлю, того самого барона, которого мы с вами знаем, эта путаница в течение долгого времени позорила, но зато потом, когда он покатился по наклонной плоскости, стала для него удобной, так как и ему давала возможность говорить: «Это не я». Сейчас действительно речь шла не о нем. Наконец, распространению кривотолков

вокруг факта (вкусов барона) содействовала его тесная и безукоризненно чистая дружба с писателем, который в театральном мире неизвестно почему пользовался такой же репутацией, ни в малой мере им не заслуженной. Когда их видели вместе на премьере, то говорили: «Вам понятно?» Равным образом считалось, что герцогиня Германтская находится в предосудительных отношениях с принцессой Пармской, и разрушить эту легенду не представлялось возможным, ибо легенда могла быть развеяна в прах лишь на таком близком расстоянии от этих двух важных дам, какого пересказывавшие ее люди, по всей вероятности, никогда бы не достигли, — им оставалось только лорнировать их в театре да возводить на них поклеп в разговоре с соседом по креслу. Наслышанный о поведении де Шарлю, скульптор решил, что если барон плохо себя ведет, то и положение его в обществе должно быть плохим, — решил без особых колебаний, ибо не имел ни малейшего представления ни о семье де Шарлю, ни о его титуле, ни о его знатности. Котар был уверен, что всему свету известно, будто степень доктора медицины равна нулю, а вот студент, оставленный при больнице, — это уже что-то; так же ошибаются и светские люди, во-

ображая, что все имеют такое же точно понятие об их общественном положении, как они сами и люди их круга.

Клубный посыльный считал принца Агригентского «гусем лапчатым», потому что принц задолжал ему двадцать пять луидоров, но тот же принц вновь обретал свой настоящий вес только в Сен-Жерменском предместье, где у него были три сестры-герцогини, ибо важный барин производит известное впечатление не на скромных людей, в чьих глазах цена ему невелика, а на людей блестящих, знающих, что он собой представляет. Ну, а де Шарлю уже сегодня мог убедиться, что у хозяина дома сведения о славных герцогских родах недостаточно глубоки. Уверенный в том, что Вердюрены дают маху, вводя в свой салон для «избранных» запачканного человека, скульптор счел своим долгом отвести Покровительницу в сторону. «Вы глубоко ошибаетесь; кроме того, я вообще считаю, что все это выдумки, а если бы даже это было и так, то позвольте вам заметить, что меня бы это уж никак не скомпрометировало!»—отрезала взбешенная г-жа Вердюрен: Морель был гвоздем ее сред, и она боялась хоть чем-нибудь ему не угодить. Котар не высказал своего мнения, потому что как раз

перед этим попросил разрешения отлучиться «по одному дельцу» в «кабинет задумчивости», а потом — зайти к г-ну Вердюрену и написать спешное письмо одному больному.

Крупный парижский издатель, приехавший к Вердюренам с визитом, понадеялся было, что его попросят остаться, но вдруг, поняв, что он недостаточно элегантен для кланчика, заторопился с отъездом. Это был высокий, плечистый мужчина, жгучий брюнет, трудолюбивый, и что-то в нем было колючее. Он напоминал разрезной нож черного дерева.

Г-жа Вердюрен, встречая нас в своей невероятных размеров гостиной, где колосья, маки, полевые цветы, сорванные только сегодня, перемежались их изображениями, которые двести лет назад различными оттенками одного цвета выполнил обладавший тончайшим вкусом художник, оторвалась от игры в карты с одним своим давним другом и, на минутку поднявшись с кресла, попросила позволения быстро доиграть партию, что не помешало ей вести с нами беседу. Однако впечатления, которыми я с ней поделился, большого удовольствия ей не доставили. Прежде всего, меня неприятно поразило, что Вердюрены каждый день возвращаются с прогулки

домой задолго до захода солнца, а между тем смотреть на закат с прибрежной скалы, а еще лучше — с террасы Ла-Распельер, — это было такое наслаждение, ради которого я готов был пройти хоть тридевять земель. «Да, это бесподобно, — небрежным тоном проговорила г-жа Вердюрен, кинув взгляд на громадные окна, каждое из которых представляло собой стеклянную дверь. — Мы все время можем туда смотреть, и все-таки это никогда не надоедает», — добавила она и снова уткнулась в карты. Но мой восторг повышал мою требовательность. Я выразил сожаление, что не вижу из гостиной Дарнетальских скал, а от Эльстира я слышал, что они особенно хороши именно в эту пору, когда они преломляют столько разноцветных лучей. «О нет, отсюда вы их не увидите, надо пройти в конец парка, до „Вида на залив“. Там, со скамейки, вы охватите взглядом всю панораму. Но одному туда идти нельзя, а то заблудитесь. Я провожу вас, если хотите», — с томным видом заключила она. «Да ну что ты! Мало ты недавно намучилась — хочешь, чтобы боли возобновились? Он к нам еще приедет и вот тогда-то и полюбуется заливом». Я не настаивал; я решил, что Вердюренам достаточно сознавать, что закат — это такая же часть их гостиной или

столовой, как у кого-нибудь еще — красивая картина, драгоценная японская эмаль, и что за нее стоит платить большие деньги, которые с них брали за Ла-Распельер со всей обстановкой, хотя сами Вердюрены редко смотрели на закат; главная их цель состояла, как мне сперва показалось, в том, чтобы жить здесь в свое удовольствие, гулять, хорошо питаться, беседовать, принимать у себя милых людей, которых они развлекали игрой на бильярде, кормили вкусными завтраками, устраивали для них веселые чаепития. Впоследствии, однако, я убедился, что они эти края изучили до тонкости, — они водили гостей на прогулки, «еще не вышедшие из печати», подобно тому, как они предлагали гостям послушать музыкальные произведения, нотная запись которых была еще не опубликована. Роль, которую цветы Ла-Распельер, взморье, старые дома, ничем не знаменитые церквушки играли в жизни Вердюрена, была необычайно велика; тем, кто видел его только в Париже и кому городская роскошь заменяла жизнь на берегу моря, на лоне природы, трудно было бы представить себе, что является для него идеалом жизни и какие ее радости он ценит превыше всего. А между тем ценность радостей жизни, которые он считал истинными,

в его сознании все росла, ибо Вердюрены были убеждены, что такого имения, как Ла-Распельер, нет на всем свете, и собирались его приобрести. То, что их самолюбие ставило Ла-Распельер выше всех остальных имений, оправдывало в их глазах мой восторг, иначе он слегка раздражал бы их, ибо за восторгом следовал ряд разочарований (вроде тех, какие я испытал, когда смотрел на сцене Берма), которых я от них не утаил.

— Подъехал экипаж, — внезапно прошептала Покровительница. Заметим вкратце, что, независимо от неизбежных изменений, связанных с возрастом, теперь это была уже не та г-жа Вердюрен, какой она выглядела, когда Сван и Одетта слушали у нее короткую фразу. Теперь, если г-же Вердюрен играли фразу Вентейля, ей незачем было принимать изнемогающий от восторга вид, ибо этот вид был уже не маской, а ее настоящим лицом. Вследствие бесконечных нервных потрясений из-за музыки Баха, Вагнера, Вентейля, Дебюсси лоб у г-жи Вердюрен непомерно увеличился, как увеличиваются части тела, в конце концов изуродованные ревматизмом. Ее виски — две прекрасные поверхности, где вечно звучала Гармония, — горячие, наболевшие, молочно-белые, приосенявшиеся по краям

серебристыми прядями, объявляли от имени Покровительницы, у которой не было никакой необходимости говорить об этом самой: «Я знаю, что меня ожидает вечером». Ее черты уже не старались последовательно выражать наиболее сильные эстетические наслаждения — они сами как бы стали их постоянным выражением, запечатлевшимся на ее изможденном и гордом лице. Вследствие этого смирения перед уготованными страданиями, назначенными ей в удел Прекрасным, а равно и вследствие выдержки, которая требовалась для того, чтобы надеть платье, когда ты вся еще под впечатлением от сонаты, с лица г-жи Вердюрен, даже если она слушала душераздирающую музыку, не сходило презрительно-бесстрастное выражение, этого мало: она находила в себе силы даже для того, чтобы украдкой принять две ложечки аспирина.

— А, вот они, наконец-то! — с чувством облегчения воскликнул Вердюрен, увидев в дверях Мореля, а за ним де Шарлю. Для де Шарлю ужин у Вердюренов означал выезд отнюдь не в свет, а в какое-то нехорошее место, и сейчас он чувствовал себя неловко, как школьник, который, впервые войдя в публичный дом, держится с хозяйкой необыкновенно почтительно. Сейчас

над всегдашним стремлением де Шарлю казаться волевым и холодным возобладали (едва лишь он остановился в дверях) извечные понятия о вежливости, напоминающие о себе в тот момент, когда застенчивость уничтожает то, что мы на себя напускаем, и взывает к области подсознательного. Когда инстинктивная, атавистическая вежливость по отношению к незнакомым людям проявляется у таких индивидуумов, как де Шарлю, независимо от того, дворяне они или разночинцы, вводить их в новый салон и руководить ими до тех пор, пока они не дойдут до хозяйки дома, неизменно берется душа какой-нибудь родственницы, приходящая к ним на помощь, точно некая богиня, или же воплощающаяся в них, как в своих двойников. Так молодой художник, воспитанный благочестивой родственницей-протестанткой, входит с опущенной, трясущейся головой, возводит глаза к небу, а затем вцепляется в воображаемую муфту, одна мысль о которой в не меньшей степени, чем если бы он действительно был отдан на ее попечение, помогает оробевшему художнику пройти без головокружения мимо обрыва, тянущегося от передней до маленькой гостиной. А много лет назад богобоязненная родственница, воспоминание о

которой управляет им сегодня, входила с таким плаксивым выражением лица, что все задавали себе вопрос, о каком несчастье она сейчас сообщит, но с первых же ее слов становилось ясно, что она, как сегодня художник, приехала после званого обеда. В силу того же самого закона, который требует, чтобы жизнь в интересах еще не совершившегося деяния ставила себе на службу, использовала, извращала, непрерывно оскверняла наиболее достойное преклонения, иногда — самое священное и лишь изредка — наименее ценное в наследии прошлого, зато тогда этот закон предстает в особом обличье, — племянник г-жи Котар, которого его родные порицали за женственность и за круг знакомств, всюду входил с ликующим видом, как будто собирался сделать вам сюрприз или сообщить, что вы получили наследство, — входил, весь сияя от счастья, и спрашивать его, почему он так счастлив, было бы бесполезно, ибо его состояние объяснялось неосознанными наследственными чертами и тем, что он родился не женщиной, а мужчиной. Он ходил на цыпочках; по всей вероятности, ему было жаль, что нет у него сейчас целого бумажника с визитными карточками; протягивая вам руку, он складывал губы сердечком, как имела

обыкновение складывать его тетка, и только к зеркалу он направлял тревожный взгляд, словно ему не терпелось удостовериться — хотя на голове у него ничего не было, — не криво ли сидит на нем шляпа: с таким вопросом по поводу своей шляпы однажды обратилась к Свану г-жа Котар. А де Шарлю, которого общество, где он жил, в такие критические минуты наделяло многообразием примеров, особого рода арабесками любезности и нашептывало, что в известных случаях ради простых мелких буржуа надо уметь вытаскивать на свет Божий и пускать в дело наиболее изысканные, обычно держащиеся про запас приемы обольщения, засуетился и, жеманничая, с той свободой, какой отличались бы его движения, будь он в юбке, которая придавала бы широту или, наоборот, сковывала бы его развалку, направился к г-же Вердюрен, и такой польщенный и довольный был у него в это время вид, что казалось, будто те, кто его представлял Покровительнице, оказывали ему великую честь. Голову он слегка склонил набок, а лицо, на котором одновременно читались чувство удовлетворения и утонченное воспитание, было собрано в приветливые морщинки. Можно было подумать, что это идет виконтесса де Марсант — до такой

степени в де Шарлю видна была сейчас женщина, которую природа по ошибке воплотила в нем. Правда, барон тратил много тяжких усилий, чтобы скрывать эту ошибку и надевать на себя мужеподобную личину. Но как только он этого добивался, сохраняя в то же время свои пристрастия, в силу привычки ощущать себя женщиной, женское снова проступало в нем, и тут уж дело было не в наследственности, а в его личной жизни. Постепенно он дошел до того, что даже о социальных вопросах рассуждал по-женски, хотя и не отдавал себе в этом отчета, — ведь когда мы перестаем замечать, что лжем, то это является следствием лжи не только перед другими, но и перед самими собой, — и вот теперь (едва лишь де Шарлю вошел к Вердюренам) он заставил свое тело проявить всю учтивость, свойственную вельможе, но его тело, ясно сознававшее то, чего он сам уже не понимал, принялось расточать — да так, что барона вполне можно было бы назвать ladylike,[260] — чары великосветской дамы. Между прочим, описывая внешний облик де Шарлю, нельзя не заметить, что некоторые не похожие на отцов сыновья, даже если их не коснулись из-

[260] Примечания: 260
Женоподобным (англ.)

вращения и они влюбляются в женщин, чертами своих лиц все же оскверняют память матерей. Но осквернение памяти матерей — это тема особой главы.

Вообще перемена в де Шарлю объяснялась разными причинами, «брожение» в его плоти вызывалось ферментами чисто физическими, мало-помалу заставлявшими его тело приобретать женообразие, но превращение, описываемое нами сейчас, относилось к разряду превращений душевных. Если вы внушили себе, что вы больны, то в конце концов вы действительно заболеваете, вы начинаете худеть, у вас уже нет сил встать с постели, у вас энтерит на нервной почве. С любовью думая о мужчинах, вы в конце концов становитесь женщиной, и платье, которое вы мысленно на себя надели, мешает вам при ходьбе. Навязчивая идея может в таких случаях видоизменять пол (равно как в других — влиять на здоровье). Морель, появившийся вслед за де Шарлю, подошел ко мне поздороваться. Уже в эту минуту из-за происшедшей в нем двоякой перемены он произвел на меня отталкивающее впечатление (жаль, что я тут же не разобрался в нем). Да, именно поэтому. Я уже отмечал, что Морель, который, в отличие от своего отца, ухит-

рился занять независимое положение, находил особое удовольствие в той крайне презрительной развязности, какую он себе позволял. В тот день, когда он принес мне фотографии, он смотрел на меня свысока и ни разу не назвал господином. Каково же было мое удивление, когда, подойдя ко мне у г-жи Вердюрен, он низко мне поклонился — так он больше ни с кем здесь не поздоровался — и когда я услышал, что первыми его словами, обращенными ко мне, были: «уважение», «почтительнейше», а между тем я был уверен, что произнести или вывести пером подобные слова его никакими силами не заставишь. Я понял, что ему что-то от меня нужно. И в самом деле, он отвел меня в сторону и на сей раз заговорил со мной подчеркнуто учтиво: «Осмелюсь просить вас о величайшем одолжении: будьте добры, ничего не говорите госпоже Вердюрен и ее гостям, какие обязанности исполнял мой отец у вашего дедушки. Если можно, скажите, что он управлял весьма обширными имениями вашей семьи, поэтому управляющий такими имениями имел право держать себя с вашими родителями почти как равный с равными». Просьба Мореля была мне ужасно неприятна, и не потому, что из моих слов выходило бы, что его отец занимал более высокое

положение, чем на самом деле, — это-то как раз мне было совершенно безразлично, — а потому, что моего отца мне таким образом пришлось бы превратить в богача, то есть, как мне казалось, выставить его в смешном виде. Однако Морель смотрел на меня такими отчаянными, такими молящими глазами, что у меня не хватило духу отказать ему. «Но только, пожалуйста, еще до ужина! — упрашивал он меня. — Если только вас это не затруднит, вы всегда найдете повод заговорить с госпожой Вердюрен». Я сдался на его уговоры: я, как мог, постарался возвысить отца Мореля, в то же время не слишком «расширяя ногу», на какую жили мои родители, и не преувеличивая той «недвижимости», какой они владели. Все это прошло у меня без сучка, без задоринки, и только г-жа Вердюрен, смутно помнившая моего деда, выразила удивление. Женщина бестактная, ненавидевшая семейные очаги (ибо семейные очаги разлагали «ядрышко»), г-жа Вердюрен, заметив, что она по-иному представляла себе моего прадеда, что она считала его почти полным идиотом, который чувствовал бы себя чужим в их кружке, как она выражалась, «выглядел бы белой вороной», бросила: «Вообще, семейный очаг — это такая скука, не знаешь,

как оттуда вырваться» — и тут же сообщила мне об одной черте из жизни моего прадеда, черте, мне неизвестной, хотя я и подозревал (я не знал его, но у нас дома часто о нем говорили), что он редкостный скряга (в противоположность моему двоюродному деду, другу дамы в розовом и хозяину Мореля-отца, отличавшемуся, пожалуй, даже излишней щедростью): «То, что у ваших дедушки и бабушки был такой шикарный управляющий, доказывает, что в одной семье могут быть самые разные люди. Ваш прадед был так скуп, что, когда он уже, в сущности, страдал старческим слабоумием, — между нами говоря, он и раньше умом не блистал, все недостатки своих предков искупаете вы — он ни за что не хотел тратить три су на омнибус. С ним надо было посылать провожатого, чтобы тот платил за него кондуктору, а старому сквалыге говорили, что его друг, министр де Персиньи,[261] добился для него бесплатного проезда в омнибусах. Но я очень рада за нашего Мореля, что его отец был так хорошо устроен. Я думала, что он преподавал в гимназии, но это неважно, я просто недопоняла. Это не име-

[261] Примечания: 261

Де Персиньи, Жан-Жильбер-Виктор Фален, герцог (1808–1872) — французский государственный деятель, министр внутренних дел, посол в Лондоне.

ет никакого значения: должна вам сказать, что здесь, у нас, ценятся только личные качества, тот вклад, который вносит каждый, — это я называю „сопричастностью“. Лишь бы человек понимал искусство, словом, лишь бы он принадлежал к братству — все остальное не существенно». Принадлежность Мореля к братству, насколько я мог заметить, выражалась в том, что он питал склонность и к женщинам, и к мужчинам и доставлял удовольствие одному полу с помощью тех приемов, какие уже испробовал на другом. Это будет видно в дальнейшем, а сейчас важно отметить, что, как только я обещал Морелю поговорить о нем с г-жой Вердюрен и, отрезав себе путь к отступлению, выполнил свое обещание, «почтительность» Мореля со мной улетучилась словно по волшебству, изъявлениям учтивости пришел конец, он даже некоторое время избегал меня, стараясь показать, что я для пего ничто, и, если г-жа Вердюрен выражала желание, чтобы я обратился к нему за чем-либо, попросил его что-нибудь сыграть, он продолжал разговаривать с одним из «верных», затем подходил к другому и отходил, как только я направлялся в его сторону. Надо было раза три-четыре сказать Морелю, что я к нему обращаюсь, — только

тогда он кратко, с раздражением в голосе отвечал; когда же мы с ним оставались вдвоем, он становился неузнаваем. Откуда брались задушевность и дружелюбие, — когда хотел, он мог быть обаятельным. Но я уже в тот вечер пришел к убеждению, что он человек подлый, что в случае чего он не остановится ни перед чем и что чувство благодарности ему не свойственно. Впрочем, по части неблагодарности он исключения не составлял. Но я, унаследовавший некоторые черты от бабушки, ничего не ждал от людей и не обижался на них — они привлекали меня к себе самим своим разнообразием — вот почему я старался не замечать низости Мореля, заражался его веселостью, когда он ее проявлял; меня порадовало даже то, что, насколько я мог заметить, у него возникло искреннее расположение ко мне, как только иссяк весь его запас ложных представлений о человеческой природе и он наконец убедился вполне (убедился не вдруг, ибо в нем порой необъяснимо странно пробуждалось его прежнее нерассуждающее дикарство), что моя мягкость в обхождении с ним бескорыстна, что моя снисходительность проистекает не из отсутствия проницательности, а из того, что он называл добротой, главное же, я был очарован

его искусством, ибо, хотя это искусство и не шло дальше изумительной виртуозности (истинным музыкантом в высоком значении этого слова он не был), все же оно давало мне возможность послушать еще раз или услышать впервые так много прекрасной музыки! А его наставник де Шарлю (я за бароном таких именно талантов не знал, но герцогиня Германтская, помнившая его совсем другим в молодости, рассказывала, что он для нее сочинил сонату, разрисовал веер и т. д.), скромный, когда речь заходила о подлинных его достоинствах, об его первоклассных талантах, сумел подчинить виртуозность Мореля его разностороннему артистическому чутью, а чутье в большой мере изощрило его виртуозность. Представим себе артиста русского балета, артиста, который пришел в театр только с отличными данными танцора, но которого вышколил, обучил, всесторонне развил Дягилев.

Рассказав г-же Вердюрен о Мореле то, что он просил меня передать ей, я только было заговорил с де Шарлю о Сен-Лу, как вдруг в гостиной появился Котар и сообщил, как о пожаре, что приехали Говожо. Г-же Вердюрен не хотелось при новых гостях, то есть при де Шарлю (Котар его не заметил) и при мне, показывать вид, что

она придает большое значение прибытию Говожо, и она даже не пошевелилась, она никак не откликнулась на это известие, — продолжая изящным движением обмахиваться веером, она произнесла неестественным тоном артистки, исполняющей роль маркизы во Французском театре: «Барон нам только что рассказал...» Котара это поразило как громом! Не с прежней живостью, ибо научная деятельность и высокое положение замедлили его речь, но все же, придя в возбуждение, какое он всегда испытывал у Вердюренов, он воскликнул: «Барон? Да где же он, этот барон-то? Да где же он, этот барон-то?» — и полуудивленно-полунедоверчиво принялся искать его глазами. Г-жа Вердюрен с наигранным равнодушием хозяйки дома, лакей которой кокнул при гостях дорогой стакан, с неискренним пафосом лучшей ученицы театральной школы, играющей в пьесе Дюма-сына, ответила, указывая веером на покровителя Мореля: «Вот, позвольте вас познакомить: барон де Шарлю, а это — профессор Котар». Надо заметить, что г-же Вердюрен доставляло удовольствие играть роль светской дамы. Де Шарлю протянул два пальца, и профессор пожал их с благосклонной улыбкой «светоча науки». Но он тут же замер на месте при виде

входивших Говожо, а де Шарлю, которому нужно было сказать мне два слова, отвел меня в уголок и при этом, по немецкому обыкновению, не мог не пощупать мои мускулы. Маркиз де Говожо ничем не напоминал старую маркизу. Он, как с нежностью говорила о нем маркиза, «весь пошел в папу». Тех, кто раньше о нем только слышал или судил по письмам, которые маркиз писал живо, правильным слогом, поражала его внешность. Конечно, к ней можно было привыкнуть. Но его нос, свисавший надо ртом, — одна-единственная кривая линия из всех, какие только можно было провести на его лице, — являлся приметой самой обыкновенной глупости, которую еще подчеркивало соседство двух, нормандской красноты, яблок. Возможно, что в глазах маркиза де Говожо, прикрытых веками, и отражался клочок котантенского неба,[262] такого ласкового в погожие, солнечные дни, когда прохожий развлекается, сотнями считая тени тополей, протянувшиеся до самой дороги, но тяжелые, гноившиеся, с трудом поднимавшиеся веки загородили бы дорогу даже уму. И, озадаченные узостью этих голубых щелок, вы невольно переводили взгляд на длинный кри-

[262] Примечания: 262

...котантенского неба... — Котантен — полуостров в западной Нормандии.

вой нос. Вследствие перемещения органов чувств маркиз де Говожо смотрел носом. Нос маркиза де Говожо не был безобразен, скорее даже он был чересчур хорош, чересчур велик, чересчур горд особым своим положением. Лощеный, глянцевитый, франтовитый, с горбинкой, он и рад был бы восполнить духовную скудость взгляда, да вот беда: если в глазах иногда отражается ум, то нос (какова бы ни была внутренняя связь между чертами лица и каково бы ни было скрытое от постороннего взора их взаимодействие) является органом, где обычно со всеми удобствами располагается глупость.

Вполне приличные темные костюмы, которые всегда, даже по утрам, носил маркиз де Говожо, успокаивающе действовали на тех, кого ослеплял и раздражал нахальный блеск купальных костюмов, в каких расхаживали незнакомые им люди, но все-таки оставалось неясным, на каком основании жена председателя суда тоном, не допускающим возражений, и с таким видом, как будто у нее особое чутье, как будто она лучше вас знает высшее общество Алансона, утверждает, что в маркизе де Говожо сразу чувствуется, даже если вы не знаете, кто это, человек из высшего общества, получивший отличное воспитание,

человек, от одного присутствия которого меняется облик Бальбека, — словом, такой человек, около которого совсем по-иному дышится. Ей, задыхавшейся в Бальбеке от наплыва чуждых ей туристов, он заменял флакон с нюхательной солью. Мне же он показался одним из тех, кого моя бабушка сразу причислила бы к людям «очень дурного тона», а так как снобизм был ей непонятен, то, по всей вероятности, она была бы ошеломлена тем, что ему удалось жениться на дочери Леграндена, которой следовало быть более требовательной к душевным качествам своего избранника, да еще на девушке, у которой брат — «такой порядочный человек». Можно было найти только одну положительную черту в топорной внешности маркиза де Говожо: в ней было нечто характерное для уроженцев этого края, что-то от глубокой его старины; при взгляде на плохо выполненный внешний его облик, который все время хотелось подправить, невольно приходили на память названия нормандских городков — названия, происхождение которых мой попик неверно объяснял потому, что крестьяне, плохо произнося нормандское или латинское слово, неправильно понимая его смысл, в конце концов закрепили в варваризме, который встречается

уже в картуляриях, как выразился бы Бришо, и бессмыслицу, и неверное произношение. Но подобно тому, как в старинных захолустных городках жизнь может протекать уютно, так и у маркиза де Говожо должно же было быть что-то хорошее, коль скоро старая маркиза любила этого своего сына не только больше, чем невестку, — на то она и мать, — но и часто говорила, что маркиз лучше своих братьев, а ведь по крайней мере двое из них были отнюдь не без достоинств. В армии, где маркиз прослужил недолго, товарищи, находившие, что его фамилия неблагозвучна, и знавшие его пристрастие к охоте, дали ему прозвище «Гого». Он был душой общества; когда он у кого-нибудь ужинал, то, если подавали рыбу (пусть даже несвежую), или еще входя, он непременно говорил: «А ведь это, должно быть, объеденье!» Жена маркиза, войдя в его семью, восприняла все, что считала отличительными свойствами этого круга, подыгрывалась под тон приятелей мужа, быть может, стремилась к тому, чтобы он видел в ней не только жену, но и любовницу, говорила о нем с офицерами нарочито развязно, как будто намекая на то, что между ними что-то было еще до того, как они поженились: «С Гого вы увидитесь. Сейчас Гого

в Бальбеке, но к вечеру он вернется». Маркизу бесило, что сегодня она, роняя свое достоинство, вынуждена будет поехать к Вердюренам, — она решилась на это, только уступая просьбам мужа и свекрови, потому что Вердюрены были выгодные дачники. Но она была хуже воспитана, чем ее муж и свекровь, и потому не считала нужным умалчивать, ради чего она едет; целых две недели в разговорах с приятельницами она издевалась над предстоящим обедом: «Вы знаете, мы будем ужинать у наших дачников. За это стоит содрать с них подороже. По правде говоря, мне довольно любопытно посмотреть, что они сделали с нашей милой старой Распельер (маркиза говорила о Ла-Распельер так, как будто она там родилась и как будто с этим имением у нее связаны все семейные предания). Вчера наш старичок-сторож говорил мне, что там ничего узнать нельзя. Страшно подумать, что там делается. Прежде чем опять туда въехать, по-моему, надо устроить тщательнейшую дезинфекцию». К Вердюренам она вошла надменная, мрачная, с видом знатной дамы, которая чувствует, что, хотя во время войны в ее замок вторгся неприятель, все-таки она здесь у себя дома, и всячески старается показать победителям, что они захватчики. Меня

она увидела не сразу; я стоял в уголке с де Шарлю — тот, узнав от Мореля, что его отец был у моих родных «управляющим», и сообщив мне об этом, выразил твердую уверенность, что мой ум и душевное благородство (он, как и Сван, любил это выражение) не позволят мне осведомить хозяев дома о некоторых мелочах, с их точки зрения унижающих человека, ибо копаться в таких мелочах — отвратительное мещанство, и доставлять удовольствие это может только безмозглой шушере (короче говоря, мне было сделано определенное внушение). «Тот факт, что я проявляю к нему интерес и оказываю ему покровительство, перевешивает все остальное и перечеркивает прошлое», — сказал в заключение барон. Слушая его и потом давая слово не проговориться, хотя я и так не проговорился бы, даже не рассчитывая на похвалы моему душевному благородству и уму, я смотрел на маркизу де Говожо. Я с трудом вызывал в памяти то сочное, вкусное, что чудилось мне во время чаепития на бальбекской террасе вот в этой нынешней нормандской галете, твердой, как галька, и говорил себе, что «верным» такая галета не по зубам. Заранее настроив себя против мужа с его добродушием, которое он унаследовал от матери и которое могло бы явиться

причиной того, что он почувствовал бы себя польщенным, когда ему начали бы представлять «верных», и все-таки горя желанием исполнять обязанности светской дамы, маркиза, как только ей отрекомендовали Бришо, сочла необходимым познакомить его со своим мужем, потому что видела, как поступали в таких случаях ее приятельницы, получившие более тонкое воспитание, чем она, но то ли злоба, то ли гордыня возобладали над желанием маркизы блеснуть своим уменьем держать себя в обществе, и она, вместо того, чтобы сказать: «Позвольте вам представить моего мужа», сказала: «Сейчас я вас представлю моему мужу», доказывая этим, что она высоко держит знамя Говожо даже наперекор им самим, ибо, как она и предвидела, маркиз отвесил Бришо низкий поклон. Однако настроение у маркизы де Говожо быстро изменилось к лучшему, как только она увидела де Шарлю, которого прежде она знала только в лицо. Ей все не удавалось познакомиться с ним, даже когда она была в близких отношениях со Сваном. Дело в том, что де Шарлю всегда становился на сторону жен и был противником любовниц, — так, например, он был на стороне своей родственницы, жены герцога Германтского, и не жаловал его возлюбленных, он

был на стороне Одетты, тогда еще не вышедшей замуж за Свана, но давно уже состоявшей с ним в связи, и не одобрял новых его романов, — вот почему, как поборник строгой нравственности и горячий защитник семейного счастья, он дал Одетте обещание — и потом выполнил его, — что не позволит представить себя маркизе де Говожо. Маркизе, понятно, в голову не могло прийти, что с этим неприступным человеком она наконец познакомится не где-нибудь, а именно у Вердюренов. Маркиз де Говожо знал, какая это для его жены радость, и, умилясь душой, смотрел на нее с таким видом, будто хотел спросить: «Теперь вы довольны, что согласились поехать, ведь правда?» Он все больше молчал — он сознавал превосходство своей жены над ним. «Я человек необразованный», — ежеминутно повторял он. Он любил цитировать две басни:[263] одну — Лафонтена, а другую — Флориана: по его мнению, они имели прямое отношение к его невежеству, а кроме того, давали ему возможность в льстиво-презрительной форме доказать людям ученым, не членам Джокей-клоба, что охота — не помеха

[263] Примечания: 263

Он любил цитировать две басни... — Судя по всему, имеется в виду басня Лафонтена «Человек и уж» и басня французского писателя Жана-Пьера Флориана (1755–1794) «Лягушка перед ареопагом».

для чтения басен. Вся беда была в том, что он знал всего-навсего две басни. Вот почему он только их и цитировал. Маркиза де Говожо была не глупа, вот только некоторые ее привычки очень раздражали. В том, что она путала некоторые фамилии, не было ничего от аристократического презрения. Другая на ее месте, скажем, герцогиня Германтская, — у которой в силу ее происхождения эта смешная черта должна была бы проявляться реже, — чтобы никто не подумал, будто ей известна фамилия, в те времена пользовавшаяся не очень хорошей славой (кстати сказать, в наше время ее носит одна из самых недоступных женщин), — фамилия де Моншато — сказала бы так: «Эта дамочка… ну как же ее?.. Пико делла Мирандола[264]». А маркиза де Говожо путала фамилии из чувства доброжелательности, чтобы никто не подумал, будто ей что-то известно, и даже когда она по своей правдивости все-таки кое-что подтверждала, то сейчас же, коверкая фамилии, делала попытку утаить истину. Если, например, она защищала женщину, то, хотя бы у нее не было ни малейшего желания солгать тому, кто умолял ее сказать правду,

[264] Примечания: 264

Пико делла Мирандола, Джованни (1463–1494) — выдающийся представитель Возрождения в Италии, философ и религиозный писатель.

она всеми силами старалась не проговориться, что г-жа такая-то — любовница Сильвена Лови. «Нет… — лепетала она. — Я ничего про нее не слышала; кажется, о ней ходили слухи, будто она кого-то в себя влюбила — как же его фамилия? Как, Кон, Кун… но только он, по-моему, давным-давно скончался, да и ничего такого, я думаю, у них и не было». Это прием, подобный — и вместе с тем противоположный — приемам завзятых лжецов, которые в разговоре с возлюбленными или даже с друзьями, придавая своему поступку неверное освещение, не допускают мысли, что и те, и другие сразу же догадаются, что все сказанное ими об их поступке — это вставка в разговор (вроде Кана, Кона, Куна), что вставка чужеродна, что она с двойным дном.

Г-жа Вердюрен шепотом спросила мужа: «К столу меня должен вести барон де Шарлю? Ты поведешь маркизу де Говожо: быть любезными — так уж со всеми». — «Нет, — возразил Вердюрен, — тот выше его чином (он хотел сказать, что Говожо — маркиз), так что де Шарлю — вроде как бы его подчиненный». — «Ну так я посажу его с княгиней». Г-жа Вердюрен представила де Шарлю княгиню Щербатову; они молча поклонились, показав взглядом, что им многое известно друг о

друге, но что они обещают хранить это в тайне. Вердюрен представил меня маркизу де Говожо. Еще до того, как маркиз, слегка заикаясь, заговорил со мной своим громким голосом, его рослость и румяность уже выразили колеблющуюся, нерешительную воинственность командира, который хочет вас подбодрить и обращается к вам: «Мне уже о вас говорили, мы все это устроим; я скажу, чтобы с вас сняли взыскание; мы же не изверги; все уладится». Пожав мне руку, он сказал: «Кажется, вы знакомы с моей матерью». Видимо, он полагал, что глагол «казаться» лучше всего соответствует сдержанности первого знакомства и вместе с тем ни в малой мере не выражает сомнения, так как он тут же прибавил: «Кстати, у меня к вам письмо от нее». Маркиз де Говожо был по-детски счастлив тем, что снова видит родные места, где он так долго жил. «Здесь все, как было тогда», — сказал он г-же Вердюрен, любуясь висевшими над дверьми знакомыми панно с цветами и мраморными бюстами на высоких постаментах. А между тем он мог бы почувствовать себя здесь и чужим, так как г-жа Вердюрен привезла с собой много прелестных старинных вещиц. Говожо считали, что г-жа Вердюрен все здесь перевернула вверх дном, хотя на самом де-

ле она никакой революции не совершила — она вела себя как разумный консерватор, но они этого не понимали. Еще они, не имея на то никаких оснований, обвиняли ее в ненависти к их старому дому, в том, что она оскверняет его, заменяя простым холстом их пышный плюш, — так невежественный священник упрекает епархиального архитектора в том, что он водворяет на прежнее место деревянные скульптуры, убранные священнослужителем потому, что он счел за благо заменить их украшениями, купленными на площади Св. Сульпиция. И наконец сад, похожий на садик при доме священника, начинал вытеснять клумбы перед домом, которыми гордились не только Говожо, но и служивший у них садовник. Садовник признавал своими хозяевами только Говожо, изнемогал под игом Вердюренов так, как будто усадьба была временно захвачена врагом и его солдатней, и тайком ходил плакаться к выгнанной из своего имения владелице и возмущаться тем пренебрежением, с каким относятся теперь ко всем его араукариям, бегониям, живучкам, георгинам, а также тем, что в такой богатой усадьбе смеют сажать самые простые цветы вроде ромашки и венерина волоса. Г-жа Вердюрен, почувствовав, что против нее идет глухая борь-

ба, решила, что если она возьмет Ла-Распельер в долгосрочную аренду или купит ее, то поставит условием увольнение садовника, в котором старая владелица, напротив, души не чаяла. В трудные для маркизы времена он служил у нее бесплатно, он ее обожал; но во взглядах простонародья наблюдается странная противоречивость: нетерпимость, какой отличаются его нравственные понятия, перемежается у него с глубочайшим почтением, а почтение, в свою очередь, чередуется с незабытыми старыми обидами, и вот эта чересполосица часто проступала у садовника, говорившего, например, о маркизе де Говожо, которая в 1870 году, живя у себя в имении на востоке Франции, целый месяц по необходимости поддерживала отношения с немцами: «Госпожу маркизу очень осуждали за то, что, когда с нами воевали пруссаки, она была на их стороне и даже поселила их у себя. В другое время — ну уж ладно, но когда идет война, так поступать негоже. Нехорошо она себя вела». Итак, значит, он был ей всей душой предан, уважал ее за доброту и верил в то, что она изменница. Г-жу Вердюрен покоробил маркиз де Говожо, утверждавший, что здесь все, как было. «А разве вам не бросились в глаза некоторые перемены? — спросила она. — Во-первых,

тут были барбедьенские бронзовые верзилы,[265] и мерзопакостные плюшевые креслишки — я их мигом спровадила на чердак, да и то я считаю, что это для них слишком почетно». Сказав маркизу де Говожо эту резкость, она подала ему руку с тем, чтобы он повел ее к столу. Маркиз заколебался. «Не могу же я идти впереди де Шарлю», — подумал он, но, приняв барона за старого друга дома, раз почетное место принадлежит не ему, он решил взять протянутую руку и заговорил с г-жой Вердюрен о том, какая это для него честь — быть введенным в ареопаг (так он назвал «ядрышко» и довольно улыбнулся при мысли, что знает это мудреное слово). Сидевшему рядом с де Шарлю Котару хотелось завязать с ним знакомство, и, чтобы лед тронулся, он поглядывал на него поверх пенсне и подмигивал гораздо чаще, чем при первых встречах, без прежней робости. Пенсне уже не служило преградой для его дружелюбных взглядов — их приветливость, подкрепленная улыбочками, переплескивалась через стекла. Барон, вообще легко распознававший себе по-

[265] Примечания: 265

...барбедьенские бронзовые верзилы... — Речь идет о работах Фердинанда Барбедьена (1810–1892), известного французского литейщика, воспроизводивших знаменитые античные статуи, которые украшали салоны буржуа.

добных, не сомневался, что Котар принадлежит к их числу и заигрывает с ним. И он сейчас же проявил по отношению к профессору недоброжелательность гомосексуалистов, надменных с теми, кому нравятся они, и заискивающе любезных с теми, кто нравится им. Впрочем, сколько бы мы, кривя душой, ни рассуждали о счастье быть любимым, в котором нам, видите ли, отказывает судьба, существует один закон для всех, и власть его распространяется далеко не только на одних де Шарлю; существо, которое мы не любим, но которое любит нас, мы не выносим. Этому существу — допустим, женщине, про которую мы не скажем, что она любит нас, а скажем, что она к нам липнет, — мы предпочитаем другую, хотя у этой другой нет ее прелести, ее обаяния, ее ума. Для того, чтобы мы снова начали замечать в ней все эти качества, ей нужно нас разлюбить. Это же общее правило, но только в уродливой форме, выказывается в том раздражении, какое вызывает у извращенного мужчина, который ему не нравится и который добивается его расположения. Но только у извращенного раздражение проявляется значительно резче. В то время как большинство мужчин старается не показывать своего раздражения, как бы сильно оно ни было,

извращенный безжалостно дает его почувствовать тому, кто в нем его вызывает, но, конечно, не женщине — так де Шарлю не показывал вида, что раздражен, принцессе Германтской, потому что ее страсть хотя и досаждала ему, а в то же время и льстила. Но когда извращенный убеждается, что другой мужчина питает к нему особое пристрастие, то, быть может, из-за того, что такое пристрастие ему непонятно, так же как его пристрастие непонятно другим; быть может, из-за того, что эти назойливые приставания, в которых он не видит ничего худого, когда он пристает к кому-нибудь сам, но которые, если пристают к нему, он рассматривает как порок; быть может, с целью реабилитировать себя вспышкой гнева в таких обстоятельствах, когда это ему ничего не стоит; быть может, из страха разоблачения, который внезапно на него нападает, когда влечение, завязав ему глаза, не заставляет его делать один неосторожный шаг за другим; быть может, от злости на то, что двусмысленное поведение питающего к нему пристрастие бросает на него тень, — а ведь он сам не задумался бы своим двусмысленным поведением бросить тень на другого, если бы тот ему нравился, не постеснялся бы преследовать молодого человека по пятам, пя-

лить на него глаза в театре, даже если с молодым человеком друзья, не боясь из-за этого поссорить его с ними, — он бы, вероятно, если бы на него самого пялил глаза мужчина, ему не нравящийся, осадил его: «Милостивый государь! За кого вы меня принимаете?» (хотя другой принимал его именно за того, каков он есть), в крайнем случае надавал бы затрещин, тому же, кто был ему известен своей неосторожностью, выразил бы свое возмущение: «И вам не противна эта мерзость? Она так на вас смотрела!.. Ну и приемчики!» Де Шарлю до этого не доходил, но он напускал на себя оскорбленный и холодный вид — такой вид принимают на себя нелегкомысленные женщины при людях, которые считают их легкомысленными, но еще более оскорбленный и холодный вид принимают женщины действительно легкомысленные. Притом гомосексуалист в присутствии еще одного извращенного видит перед собой не просто отталкивающее изображение самого себя, которое, будучи неодушевленным, могло бы только уколоть его самолюбие, но другого самого себя, живого, действующего в том же направлении, способного, следовательно, причинять ему страдания в его сердечных делах. Руководимый инстинктом самосохранения,

он готов очернить возможного соперника и во мнении людей, которые могут повредить этому сопернику (причем гомосексуалист № 1 не боится прослыть лжецом, когда он изничтожает гомосексуалиста № 2 в глазах людей, которые могут быть осведомлены о том, какой образ жизни ведет он сам), и во мнении молодого человека, которого он «подцепил», которого у него могут отбить и которого необходимо убедить, что то, что, осчастливив его, может себе позволить с ним он, явилось бы несчастьем всей его жизни, если бы тот позволил так же вести себя с ним другому. Для де Шарлю — вероятно, думавшего об опасности (опасности, только чудившейся ему), которую профессор Котар, чьи улыбочки он понимал неверно, будто бы представляет для Мореля, — не нравившийся ему гомосексуалист был не только карикатурой на него, но и возможным соперником. Если бы торговец, бросивший якорь в провинциальном городе с намерением обосноваться здесь до конца дней и открыть торговлю редкими товарами, увидел, что на той же самой площади, как раз напротив его магазина, находится такой же магазин его конкурента, то это бы его огорошило не меньше, чем кого-нибудь из породы де Шарлю, прибывшего куда-либо

с целью порезвиться в глуши и в день приезда встречающего дворянина, местного жителя или парикмахера, чье обличье и чей пошиб не оставляют в нем никаких сомнений. В торговце все время кипит ненависть к конкуренту: ненависть иногда переходит в черную меланхолию, и если только у торговца неважная наследственность, то у него появляются признаки душевной болезни, от которой он излечивается, только решившись распродать свое «достояние» и навсегда уехать из городка. Злоба гомосексуалиста еще неотвязней. Ему в первую же секунду становится ясно, что дворянина и парикмахера тянет к его юному спутнику. Он сто раз в день повторяет спутнику, что парикмахер и дворянин — темные личности и что общение с ними — позор, но этим он не ограничивается: он, как Гарпагон[266] сторожит свое сокровище и встает по ночам, чтобы убедиться, что его не похитили. Благодаря вот этой обостренной бдительности — в большей степени, конечно, чем в силу влечения, чем благодаря облегчающему распознавание сходству повадок, и почти в такой же степени, как личный опыт, эта единственно надежная опора, — гомосексуа-

[266] Примечания: 266
Гарпагон — персонаж комедии Мольера «Скупой» (1668).

лист угадывает гомосексуалиста быстро и почти безошибочно. Он может обмануться лишь на мгновенье, но блеснувшая догадка возвращает его на путь истины. Потому-то и де Шарлю недолго находился в заблуждении. Мгновенье спустя его осенило, что Котар не одной с ним породы и что заигрыванье этого человека не опасно ни ему — его оно только способно было довести до белого каления, — ни Морелю, за которого он действительно сперва испугался. Словом, де Шарлю успокоился, но так как он все еще находился под впечатлением нечаянной встречи с двуполой Венерой, то время от времени слабо улыбался Вердюренам, даже не раскрывая рта, а только морща углы губ, и на мгновенье зажигал в глазах манящий огонек — точь-в-точь как его невестка, герцогиня Германтская, — это он-то, всегда очень следивший за тем, чтобы в нем чувствовался мужчина! «Вы часто охотитесь, маркиз?» — с презрительным видом спросила маркиза де Говожо г-жа Вердюрен. «Вам Ский рассказывал, как мы отличились?» — спросил Покровительницу Котар. «Я чаще всего охочусь в лесу Трусий Щебет», — ответил маркиз де Говожо. «Нет, я не рассказывал», — вмешался Ский. «А лес по праву носит свое название?» — обратился к

маркизу с вопросом Бришо, украдкой взглянув на меня, — он обещал мне вести разговор об этимологиях, но зато просил ни словом не обмолвиться супругам Говожо о том, что он посмеивается над этимологическими открытиями комбрейского священника. «Простите, я не понял вашего вопроса», — сказал маркиз де Говожо. «Я вот что имел в виду: много ли там трусов, кроликов?» — пояснил Бришо. Котар между тем весь издергался оттого, что г-жа Вердюрен еще не знала, что они чуть было не пропустили поезд. «Ну что ж ты? — подзадорила мужа г-жа Котар. — Расскажи свою одиссею». — «Это в самом деле нечто из ряда вон выходящее, — снова начал рассказывать доктор. — Когда я увидел, что поезд подошел, я просто остолбенел. А во всем виноват был Ский. Уж у вас, дорогой мой, и сведения — откуда вы их только берете? А Бришо ждал нас на вокзале!» Профессор университета повел едва видевшими глазами, а на его тонких губах заиграла улыбка. «Я думал, — сказал он, — что раз вы задержались в Гренкуре, значит, встретили какую-нибудь шлюшку». — «Да перестаньте, ведь моя жена может услышать! — крикнул Котар. — Мой жена ревнив». — «Ох уж этот Бришо! — молвил Ский — нескромная шутка Бришо пробудила

в нем его стереотипную веселость. — Он неисправим. — Между тем у Ского не было никаких оснований считать Бришо проказником. С целью подчеркнуть сказанную им банальность приличествующим случаю жестом, он сделал вид, что не может отказать себе в удовольствии ущипнуть Бришо за ногу. — Каким был этот молодец, таким и остался, — продолжал Ский и, не подумав о том, какой грустный и вместе с тем смешной смысл придает его словам почти полная слепота Бришо, добавил: — Вечно заглядывается на женщин». — «Вот что значит встретиться с ученым! — заговорил маркиз де Говожо. — Я пятнадцать лет охочусь в Трусьем лесу и никогда не задумывался над тем, откуда происходит его название». Маркиза де Говожо строго посмотрела на мужа; ей было неприятно, что он унижает себя перед Бришо. Еще больше злило ее, что при каждом ходячем выражении, которое употреблял Гого, Котар, знавший и силу, и слабость таких выражений, потому что изучил их досконально, доказывал маркизу, в конце концов расписывавшемуся в собственной глупости, что они лишены всякого смысла: «Почему — „глуп как пробка“? Или вы думаете, что нет на свете ничего глупее пробки? Вы говорите: „повторять по двадцать

раз одно и то же“. Почему именно по двадцать? Почему — „спать как убитый“? Почему — „плут большой руки“, а не „большой ноги“? Почему — „налить шары“?» На защиту маркиза де Говожо выступал Бришо и объяснял происхождение каждого выражения. Между тем внимание маркизы де Говожо было поглощено главным образом изучением перемен, произведенных Вердюренами в Ла-Распельер, иные ее подмывало раскритиковать, а другие или, может быть, даже те, что она критиковала, произвести и в Фетерне. «Я никак не могу припомнить: что это за люстра — вон та, которая совсем скособочилась? Моей старой Распельер не узнать, — проговорила она бесцеремонно-аристократическим тоном — так, как если бы имела в виду своего слугу, проговорила не с целью определить его возраст, а с целью после ввернуть, что, когда она родилась, он уже здесь служил. А так как ее речь была не лишена книжного оттенка, то она этим оттенком не преминула воспользоваться, добавив вполголоса: — Мне, однако же, думается, что если бы я жила в чужом доме, то нашла бы до известной степени неудобным все здесь переставлять». «Жаль, что вы не приехали с ними, — обратилась г-жа Вердюрен к де Шарлю и Морелю в надежде,

что барон будет к ним „наезжать“ и подчинится правилу, согласно которому всем надлежало ехать в одном поезде. — Вы уверены, Шошот, что Трусий — от слова „трус“, „кролик“?» — спросила она, желая показать, что хозяйка открытого дома умеет принимать участие во всех разговорах сразу. «Расскажите же мне про этого скрипача, — попросила меня маркиза де Говожо, — он меня интересует; я обожаю музыку, и мне кажется, что я о нем слышала; просветите меня. — Она узнала, что Морель приехал сюда вместе с де Шарлю, и у нее возникло желание, зазвав к себе одного, постараться сблизиться и с другим. Но, чтобы я об этом не догадался, она прибавила: — Бришо тоже меня интересует». Маркиза де Говожо была широко образованна, но, подобно тому, как иные женщины, склонные к полноте, почти ничего не едят, целый день на ногах и тем не менее заметно толстеют, она — преимущественно когда жила в Фетерне — хотя и углублялась в изучение наиболее эзотерической философии и увлекалась самой сложной музыкой, а все-таки жертвовала своими увлечениями ради интриг, которые она вела, задавшись целью «порвать» с некоторыми друзьями ее молодости, выходцами из буржуазных семей, и завязать отношения в

том обществе, которое она сперва принимала за общество знатной семьи ее мужа, но которое — в чем она убедилась позднее — находилось и над ним, и вдали от него. Лейбниц,[267] философ, для нее недостаточно современный, сказал, что путь от ума до сердца долог. Маркиза де Говожо, так же как и ее брат, была не в силах пройти этот путь. Она расставалась на время со Стюартом Миллем,[268] только для того, чтобы ознакомиться с Лашельe[269] и чем меньше верила она в реальность внешнего мира, тем упорнее старалась успеть до смертного часа завоевать себе в этом мире значительное положение. Она любила искусство реалистическое; по ее мнению, не существовало на свете такого предмета, который был бы слишком мелок, чтобы послужить натурой художнику или писателю. Картина или

---

[267] Примечания: 267

Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646–1716) — немецкий философ, создатель грандиозной метафизической системы, представленной в основном в «Теодицее» (1710), главном сочинении мыслителя.

[268] Примечания: 268

Стюарт Милль, Джон (1806–1873) — английский философ и экономист, из его многочисленных сочинений во Франции конца XIX века наибольшую известность приобрели работы «Огюст Конт и позитивизм» и «Система дедуктивной и индуктивной логики».

[269] Примечания: 269

Лашелъе, Жюль (1832–1918) — французский философ, автор знаменитого сочинения «Об основании индукции» (1896).

роман из светской жизни вызывали в ней тошноту; толстовский мужик, крестьянин Милле[270] являлись тем социальным пределом, за который она не позволяла выходить художнику. Но переступить предел своих личных отношений и возвыситься до знакомства с герцогинями — такова была цель ее стремлений, и та духовная жизнь, какою она жила, наслаждаясь великими произведениями искусства, не могла побороть врожденный и развивавшийся в ней пагубный снобизм. Вместе с тем этот снобизм в конце концов излечил ее от скупости и от ветрености, которые проявлялись у нее в юные годы, — так особые, не проходящие патологические явления, по-видимому, служат иммунитетом от других болезней. Слушая ее, я не мог не отдать должного изысканности ее выражений, хотя и не получал от них никакого удовольствия. Такие выражения в известную эпоху употребляют все лица, достигшие определенного интеллектуального уровня, так что любое из этих изысканных выражений, подобно круговому сектору, даст возможность разом описать всю окружность и установить, где

[270] Примечания: 270

Милле, Жан Франсуа (1814–1875) — французский живописец, сюжеты для своих произведений, отличающихся неприкрашенным реализмом, брал из сельской жизни.

проходит ее кривая линия.

Вот почему женщины, которые их употребляют, мгновенно наводят на меня скуку, как нечто мне уже знакомое, но это не мешает другим считать их женщинами необыкновенными, и, сажая меня рядом с ними за стол, мне говорят о них как о существах очаровательных, несравненных. «Вам, должно быть, известно, сударыня, что названия многих лесов происходят от звуков, издаваемых животными или птицами, которые их населяют. Рядом с лесом Трусий Щебет находится лес Королевин Щекот». — «Мне неизвестно, кто и какую королеву щекотал. Во всяком случае, так говорить о королевах неприлично». — «Что, Шошот, съели? — вмешалась г-жа Вердюрен. — Ну, а доехали-то вы, в общем, благополучно?» — «За исключением того, что в поезде с нами ехали какие-то непонятные личности. Однако позвольте мне возразить маркизу де Говожо; с происхождением названий надо быть осторожнее: в старину здесь было селение Коровий Хвост, а с течением времени оно превратилось в Королевин Хвост. Но писать его все-таки надо Коровин». «А ведь это, должно быть, объеденье», — указывая на рыбу, сказал г-же Вердюрен маркиз де Говожо. Он считал, что такого рода похвалами он рас-

плачивается за ужин и отдает долг вежливости. «Приглашать их не стоит, — часто говорил он жене о своих знакомых. — Они были счастливы видеть нас у себя. Они меня же еще и благодарили». «Должен вам сказать, что я много лет почти ежедневно прохожу мимо Коровьего Хвоста, но коров там не больше, чем где бы то ни было. Маркиза де Говожо вызывала сюда священника из того прихода, где у нее богатые поместья, — мне кажется, что у вас с ним одинаковый склад ума. Он написал целый труд». — «Как же! Я прочел его не отрываясь», — фальшивым тоном проговорил Бришо. Этим восклицанием он косвенно польстил честолюбию маркиза де Говожо, и тот закатился долгим смехом. «Ну так вот, автор этой — как бы ее назвать? — географии, что ли, этого словника, пускается в рассуждения по поводу названия одного местечка, которое, в сущности, принадлежало нам, а называется оно Ужиный мост. Разумеется, по сравнению с этим кладезем учености, я — круглый невежда, но священник был на Ужином мосту всего один раз, а я — тысячу раз, и пусть меня черт возьмет, если я там видел хоть одну из этих противных змей, именно противных, хотя наш славный Лафонтен их восхваляет». (Из двух басен, которые

он знал, одна носит название «Человек и Уж».) — «Вы не могли видеть там ужей, а потому и не видели, — сказал Бришо. — Но конечно, автор, о котором вы говорите, знает свой предмет в совершенстве, его труд представляет собой большую ценность». — «Огромную! — подхватила маркиза де Говожо. — Его книга — это, без преувеличений, настоящий труд бенедиктинца». — «По всей вероятности, он просматривал старинные ведомости (я имею в виду бенефиции и списки приходов в каждой епархии), и это дало ему возможность установить имена светских покровителей и жертвователей на монастыри и церкви. Но ведь есть же и другие источники. Один из моих самых ученых друзей ими пользовался. И он обнаружил, что там это место называется не Ужиный, а Лягушиный мост. Тогда ученый обратился к еще более древним, латинским источникам, и что же оказалось? Мост, где, по уверению вашего друга, полно ужей, в стародавние времена именовался просто Pons cui aperit — то есть Закрытый мост, через который пропускали только за изрядную мзду». — «Вот вы сказали: Лягушиный. Л я в обществе таких ученых людей сам себе кажусь лягушкой перед ареопагом (он имел в виду еще одну басню, которая была ему известна)», — ска-

зал Гого; он часто с раскатистым смехом прибегал к этой шутке, благодаря которой, как ему казалось, он очень кстати по скромности выдает себя за человека необразованного и в то же время выставляет напоказ свою начитанность. Котар, блокированный молчанием де Шарлю и старавшийся прорваться где-нибудь еще, повернулся ко мне и задал один из тех вопросов, которые, если он попадал в точку и, так сказать, видел тело больных насквозь, поражали их и благодаря которым он получал возможность вносить поправки в теории и расширять свой кругозор. «У вас бывают приступы удушья; так вот, когда вы оказываетесь на довольно высоком месте, вроде того, где мы находимся с вами сейчас, вы не замечаете, что вам становится трудно дышать?» — спросил он с уверенностью, что все придут в восторг или же что он пополнит запас своих знаний. Услышав вопрос доктора, маркиз де Говожо улыбнулся. «Я вам не могу передать, как я рад, что у вас бывают удушья!» — крикнул он мне через весь стол. Он не хотел этим сказать, что это доставило ему удовольствие, хотя он действительно его получил. Дело в том, что этот очень хороший человек, услышав о чужом несчастье, всегда испытывал приятное чувство и корчился от смеха,

но вслед за тем радость сменялась в его добром сердце состраданием. Его слова имели другой смысл, и это подтвердилось его пояснением. «Рад, — сказал он, — потому что и у моей сестры тоже бывают приступы удушья». В сущности, это его заинтересовало так же, как если бы он узнал от меня, что человек, часто бывающий у него в доме, дружен со мной. «Мир тесен» — такова была его мысль, которую я читал на его улыбающемся лице, когда Котар заговорил со мной об удушьях. И после этого ужина удушья стали играть у нас с ним роль общего знакомого, о котором маркиз де Говожо всегда расспрашивал меня только для того, чтобы рассказать о нем сестре.

Я отвечал на вопросы его жены о Мореле, а сам думал о разговоре, который у меня был с матерью во второй половине дня. Она не отсоветовала мне ехать к Вердюренам, коль скоро это может меня развлечь, но все-таки напомнила, что их общество не пришлось бы по душе моему дедушке, который непременно воскликнул бы: «Берегись!» — и прибавила: «Послушай: председатель Турей и его жена сказали мне, что завтракали с госпожой Бонтан. Меня они ни о чем не спрашивали. Но, насколько я поняла, твоя женитьба на Альбертине — это мечта ее тетки. По-моему, ты им всем

очень симпатичен — это главное. Но и роскошь, которой, как им представляется, ты можешь ее окружить, кое-какие связи, которые, насколько им известно, у нас есть, — все это тоже, мне думается, играет здесь не последнюю роль. Я бы не стала с тобою об этом говорить — я-то этому значения не придаю, — но я не поручусь, что они с тобой не заговорят, и сочла за благо на всякий случай предупредить тебя». — «Но какого мнения о ней ты?» — спросил я. «Да ведь не мне на ней жениться. Конечно, ты мог бы выбрать себе невесту во сто раз лучше. Но я думаю, что бабушка была бы против того, чтобы на тебя влияли. Пока я не могу сказать, какого я мнения об Альбертине, — у меня еще не составилось о ней никакого мнения. Я тебе отвечу словами госпожи де Севинье: „У нее есть хорошие черты, — по крайней мере, мне так кажется. Но пока что я буду ее хвалить, отмечая, каких недостатков у нее нет. Она — не такая, выговор у нее не реннский.[271] А со временем я, быть может, скажу: вот какая она“. И если ты будешь с ней счастлив, я всегда буду к ней хорошо относиться». Но именно оттого, что моя мать предоставляла решать мою участь мне

[271] Примечания: 271
Реннский выговор — от названия столицы Бретани г. Ренн.

самому, я заколебался — вот так я заколебался, когда отец позволил мне пойти на «Федру», а еще сильнее — когда он позволил мне стать писателем: я тогда вдруг почувствовал, что беру на себя слишком большую ответственность, мне стало страшно при мысли, что я причиню ему горе, я приуныл так, как унывают люди, когда им уже не надо следовать ежедневным предписаниям, за которыми им не видно будущее, когда они должны дать себе отчет, что вот теперь для них начинается настоящая жизнь, та жизнь, какой живут взрослые, та единственная жизнь, какой каждый из нас волен жить по-своему.

Быть может, чтобы увериться, в самом ли деле я люблю Альбертину, самое лучшее было бы немного подождать, начать смотреть на нее как бы из прошлого. Чтобы развлечь ее, я мог бы привезти ее к Вердюренам, но эта мысль напомнила мне, что я приехал сегодня сюда, чтобы узнать, живет ли у Вердюренов или собирается к ним баронесса Пютбю. Во всяком случае, баронесса с нами не ужинала. «Кстати, насчет вашего друга Сен-Лу, — обратилась ко мне маркиза де Говожо, воспользовавшись выражением, которое яснее указывало на то, что у нее одна мысль вытекает из другой, чем это можно было заключить на

основании ее слов: так, если она говорила со мной о музыке, это означало, что думает она сейчас о Германтах, — как вам известно, все сейчас говорят о том, что он женится на племяннице принцессы Германтской. Должна вам сказать, что мне на все эти светские толки наплевать». Ради Робера я не решился дурно отозваться об этой оригинальничавшей девице, недалекой и с дурным характером. Нет почти ни одной новости, которая не заставила бы нас пожалеть о том, как мы, узнав ее, вслух высказали свое к ней отношение. Я ответил маркизе де Говожо — и это была сущая правда, — что я об этом ничего не знаю и что, по-моему, невеста еще совсем молоденькая девушка. «Вот почему, может быть, это еще официально не объявлено, но разговоров об этом много». «Считаю своим долгом предупредить вас, — сухо сказала г-жа Вердюрен маркизе до Говожо (до нее донеслось, что маркиза говорит со мной о Мореле, а когда маркиза, понизив голос, перевела разговор на сватовство Сен-Лу, она подумала, что та все еще говорит о нем): — Мы здесь не легенькой музычкой развлекаемся. Вы знаете, верные посетители моих сред — мои детки, как я их называю, — в искусстве ужас до чего передовые, — изобразив на своем лице горделивый

страх, продолжала она. — Время от времени я им говорю: „Голубчики мои! Вы идете быстрее вашей Покровительницы, а ведь ее никогда не пугали никакие дерзания“. Год прошел, а они уж вон где; недалек тот час, когда они охладеют к Вагнеру и к д'Энди». — «Но идти все вперед и вперед — это же чудесно, нельзя останавливаться на полдороге», — заметила маркиза де Говожо, шаря глазами по всем уголкам столовой и пытаясь установить, что из вещей оставлено здесь свекровью, а что привезено г-жой Вердюрен, с тем чтобы уличить ее в отсутствии вкуса. Это не мешало ей продолжать со мной разговор на тему, особенно ее интересовавшую, то есть о де Шарлю. Она находила, что его забота о скрипаче трогательна. «У него умные глаза». -«И необыкновенно живые для человека более или менее пожилого», — подхватил я. «Пожилого? Но он не выглядит пожилым. Посмотрите: волос у него не седой. (Года три-четыре назад один из безвестных установителей мод в литературе начал говорить „волос“, а за ним, многозначительно улыбаясь, и дамы одного полета с маркизой де Говожо. Теперь всё еще говорят „волос“, но скоро единственное число набьет оскомину и снова восторжествует множественное.) Меня потому так интересует де

Шарлю, — добавила она, — что в нем чувствуется одаренность. Скажу вам по чистой совести: образованность большой цены для меня не имеет. То, что дает ученье, не вызывает во мне интереса». Эти слова маркизы де Говожо выражали ее точку зрения, хотя все ее взгляды были как раз заимствованные и благоприобретенные. Сейчас ей необходимо было вспомнить, что знание — ничто, по сравнению с оригинальностью оно — сущая безделица. Как и все прочее, маркиза де Говожо выучила, что учиться не следует ничему. «Вот отчего, — сказала она мне, — хотя Бришо по-своему любопытен, — ведь я же не чураюсь строго проверенных, увлекательных знаний — интересует он меня все-таки гораздо меньше». А Бришо был занят сейчас одним: услыхав, что заговорили о музыке, он задрожал от страха при мысли о том, как бы это не напомнило г-же Вердюрен о кончине Дешамбра. Он думал, что бы такое сказать, лишь бы уберечь ее от мрачных дум. Маркиз де Говожо, задав ему вопрос, дал ему для этого повод: «Так, значит, названия всех лесов происходят от звуков, издаваемых животными и птицами?» — «Почти всех, — ответил Бришо, довольный тем, что ему представился случай блеснуть своими знаниями перед столькими

профанами, одного из которых — в чем я его уверил — он, по крайней мере, безусловно должен был заинтересовать. — А если взять фамилии людей, то в скольких из них, как в каменном угле — остатков папоротника, сохранилось названий деревьев! Фамилия одного из наших сенаторов — Сос де Фресине,[272] что означает, если не ошибаюсь, местность, где растут ивы и ясени, salix et fraxinetum; его племянник де Сельв[273] объединяет в своем имени еще больше деревьев: ведь его фамилия — де Сельв, silva[274]». Саньет с радостью наблюдал за тем, как оживлялся разговор. Он имел возможность, поскольку все время говорил Бришо, хранить молчание, избавлявшее его от издевательских шуточек Вердюренов. Радость при мысли, что он укрыт, размягчила его душу, и он умилился, услышав, что Вердюрен, невзирая на то, что ужин был торжественный, приказал дворецкому поставить графин с водой перед г-ном Саньетом, который ничего другого не пил.

---

[272] Примечания: 272

Сос де Фресине, Шарль Луи (1828–1923) — французский государственный деятель, сенатор (1876–1920), член Французской академии (1890).

[273] Примечания: 273

Де Сельв, Жюстен (1848–1934) — французский политический деятель, член Академии изящных искусств.

[274] Примечания: 274

Лес (лат.)

(Полководцы, посылающие на смерть особенно много солдат, требуют, чтобы их накормили досыта.) Наконец г-жа Вердюрен один раз даже улыбнулась Саньету. Нет, право, это хорошие люди. Они больше не будут его донимать. Но в эту минуту ужин был прерван одним из гостей, которого я забыл назвать, знаменитым норвежским философом, говорившим по-французски очень хорошо, но очень медленно по двум причинам: во-первых, он изучил французский язык недавно, а делать ошибки стеснялся (по все-таки время от времени допускал), вот почему он за каждым словом обращался к своего рода внутреннему словарю, а во-вторых, будучи метафизиком, он, когда говорил, все еще обдумывал то, что хотел сказать, а это замедлило бы речь и француза. Вообще же это был прелестный человек, хотя казалось, что он такой же, как все, впрочем, была у него и одна отличительная особенность. Этот человек, так медленно говоривший (он делал паузу после каждого слова), проявлял головокружительную быстроту, когда, второпях попрощавшись, устремлялся к выходу. Если вы с этой его особенностью сталкивались впервые, у вас возникало предположение, что у него болит живот или что он испытывает еще более насущ-

ную потребность.

«Мой дорогой… коллега! — сначала подумав, подходит ли здесь слово „коллега“, обратился он к Бришо. — У меня есть некоторое желание знать, входят ли названия других деревьев в… номенклатуру вашего прекрасного языка… французского… латинского… норманнского. Мадам (он имел в виду мадам Вердюрен, но посмотреть в ее сторону не решался) говорила мне, что вы всё знаете. Ведь правда, сейчас самое время об этом поговорить?» — «Нет, сейчас самое время для того, чтобы есть», — сообразив, что так ужин никогда не кончится, оборвала его г-жа Вердюрен. «А, ну хорошо! — с печальной и покорной улыбкой склонившись над тарелкой, молвил скандинав. — Но я должен сказать мадам, что я позволил себе этот вопросник… простите, эту вопросницу… потому, что завтра мне надо быть в Париже, так как завтра я ужинаю не то в „Тур д'Аржан“, не то в „Мерис“.[275] Мой собрат… француз… господин Бутру,[276] должен будет нам говорить о спиритических сеансах… простите, о

---

[275] Примечания: 275

«Тур д'Аржан», «Мерис» — шикарные парижские рестораны.

[276] Примечания: 276

Бутру, Эмиль (1845–1921) — французский философ, профессор Сорбонны, учитель Бергсона.

спиритуозных вызываниях, которые он проверял». — «В „Тур д'Аржан“ совсем не так хорошо кормят, как принято думать, — недовольным тоном проговорила г-жа Вердюрен. — По крайней мере, меня там кормили отвратительно». — «Но разве я ошибаюсь, разве то, что подают у мадам, не самая тонкая французская кухня?» — «Ах, боже мой! Конечно, есть можно, — смягчившись, ответила г-жа Вердюрен. — А вот если вы приедете в следующую среду, то будет лучше». — «В понедельник я уезжаю в Алжир, а оттуда — на мыс Доброй Надежды. А когда я буду на мысе Доброй Надежды, то уже не смогу встретиться с моим знаменитым коллегой… простите, не смогу встретиться с моим собратом». Принеся эти запоздалые извинения, он послушно, с головокружительной быстротой принялся за еду. Но Бришо, обрадовавшись предлогу рассказать и о других находках в области растительной этимологии, заговорил о ней и так заинтересовал норвежца, что тот опять перестал есть, однако дал понять знаком, что можно убрать его еще полную тарелку и перейти к следующему блюду. «Один из Сорока носит фамилию Уссе[277] что означает место, где растет

[277] Примечания: 277

Уссе, Анри (1848–1911) — французский историк и художественный критик, член Французской академии (1894).

„у“, падуб; в фамилии хитроумного дипломата д'Ормесона,[278] вы отыщете стань любезный сердцу Вергилия ulmus, вяз, от которого происходит название города Ульм; в фамилии его коллеги де ла Буле[279] — „було“, березу; в д'Оне — „он“, ольху; в де Бюсьере — „бюи“, букс; в Альбаре — „обье“, заболонь (я решил рассказать об этом Селесте); в де Шоле — „шу“, капусту, и яблоню — в де ла Помре[280] — „пом“, — помните, Саньет, он читал лекции в то время, когда милейшего Пореля[281] услали на край света проконсулом в Одеонию?» — «Вы сказали, что фамилия Шоле происходит от „шу“, — обратился я к Бришо. — А название станции перед Донсьером, Сен-Фришу, тоже происходит от „шу“?» — «Нет, Сен-Фришу — это Sanctus Fructuosus[282] так же как от Sanctus

---

[278] Примечания: 278

Д'Ормесон, Владимир (1888–1973) — французский дипломат и литератор, происходивший из семьи дипломата.

[279] Примечания: 279

Де ла Буле, Антуан Поль Рене Лефевр (1833–1905) — французский дипломат, посол в России (1886–1891). Далее упоминаются французские дипломаты рубежа веков.

[280] Примечания: 280

Де ла Помре, Анри Бердаль (1839–1891) — французский историк и литературовед, профессор Консерватории, блестящий лектор.

[281] Примечания: 281

Порель — имеется в виду Дезире Поль Парфурю (1842–1917), французский актер и театральный деятель, директор театра «Одеон» (1884–1892), впоследствии — театра «Водевиль». Пруст был хорошо

знаком с его сыном Жаком, стихи которого неоднократно упоминаются в его переписке.

[282] Примечания: 282

Святой плод (лат.)

Ferreolus,[283] ведет свое происхождение Сен-Фаржо, но это слово отнюдь не нормандское». «Он чересчур образован, нам с ним скучно», — тихонько прокудахтала княгиня. «Меня интересует много других названий, но обо всех сразу не спросишь, — сказал я и, обернувшись к Котару, спросил: — А баронесса Пютбю здесь?» — «Слава богу, нет, — услышав мой вопрос, ответила г-жа Вердюрен. — Я отправила ее на отдых поближе к Венеции, в этом году мы от нее избавлены». «Я тоже предъявляю права на целых два дерева, — заговорил де Шарлю, — ведь я почти снял дачку между Сен-Мартен-дю-Шен и Сен-Пьер-дез-Иф». — «Так это совсем близко отсюда; надеюсь, вы часто будете к нам приезжать вместе с Чарли Морелем. Вам нужно только сговориться с нашим кружком относительно поездов, вы же в двух шагах от Донсьера», — сказала г-жа Вердюрен; она выходила из себя, когда гости приезжали с разными поездами и не в те часы, когда она высылала экипажи. Зная, как труден подъем к Ла-Распельер, даже если дать крюка и поехать в объезд, не через Фетерн, — а это занимало лишних полчаса — она боялась, что те, кто поедет порознь, не найдут

---

[283] Примечания: 283
Святой Крепкий, как железо (лат.)

экипажей в Дувиль-Фетерне или же, оставшись на самом деле дома, воспользуются этим как отговоркой, якобы в Дувиль-Фетерне они не нашли экипажей, а подняться так высоко пешком — им не под силу. Вместо ответа на приглашение де Шарлю молча поклонился. «В повседневной жизни с ним, должно быть, нелегко, уж больно он высокомерен, — прошептал Скому доктор; под тонким слоем кичливости Котар сумел сохранить в себе человека очень простого, и он не пытался скрыть от Ского, что Шарлю раздражает его своим снобизмом. — Откуда ж ему знать, что на всех курортах и даже в парижских клиниках врачи, которые, разумеется, смотрят на меня как на „высшее начальство“, за честь считают знакомить меня со всеми важными господами, которые там находятся и которые носа передо мной не задирают. А мне от этого еще приятнее жить на морских купаньях, — с небрежным видом проговорил Котар. — Даже в Донсьере военный врач, у которого лечится полковник, пригласил меня позавтракать и сказал, что я не ударил бы в грязь лицом, даже если б обедал с генералом. А генерал — из самой что ни на есть титулованной знати. Еще неизвестно, чей род древнее — барона или его». — «Да не кипятитесь вы! Род барона более

чем захудалый», — вполголоса ответил Ский и добавил нечто нечленораздельное, употребив существительное, в котором я уловил только его окончание: «ложство»; да я и не вслушивался в их разговор, так как всецело был поглощен тем, о чем Бришо толковал де Шарлю: «Нет, вероятно, я вас огорчу: у вас только одно дерево, так как совершенно очевидно, что Сен-Мар-тен-дю-Шен — это Sanctus Martinus juxta quercum[284] но слово „иф“ может означать вовсе не „тис“, а представлять собой корень слов ave, eve, что значит „сырой“, как, например, в Авейроне, Лодеве, в имени Иветта, и продолжать жить в нашем кухонном обиходе, во всяких там лоханках — „эвье“. Это — „ло“, вода, которая по-бретонски произносится Стер, Стермарья, Стерлаер, Стербуэст, Стер-эн-Дрейхен…» Конца фразы я не расслышал, так как, хотя мне было очень приятно опять услышать имя Стермарья, но, сидя рядом с Котаром, я волей-неволей слушал его, а он тихо говорил Скому: «Ах да, я и не знал! Стало быть, этот господин — на два фронта. Так, значит, он из их братии! А глаза у него еще не свинячьи. Подожму-ка я под себя ноги, а то как бы он не стал щипать. Впрочем, меня это не очень

[284] Примечания: 284
Святой Мартин подле дуба (лат.)

удивляет. Навидался я важных господ, когда они в костюме Адама принимают душ, — все они в большей или меньшей степени дегенераты. Я с ними не заговариваю, потому что я, собственно, должностное лицо и это могло бы мне повредить. Но они отлично знают, что я им не товарищ». Бришо напугал Саньета тем, что обратился к нему, но теперь ему уже дышалось легче, как легче дышится человеку, боящемуся грозы и убеждающемуся, что за молнией громового удара не последовало, и вдруг Вердюрен задал ему вопрос, и, пока он его спрашивал, он все время смотрел на него в упор, чтобы привести его в замешательство и не дать опомниться: «Что же вы, Саньет, скрывали от нас, что ходите на утренние спектакли в „Одеон“?» Дрожа, как новобранец перед сержантом-мучителем, Саньет постарался ответить как можно короче, чтобы не подставлять свой ответ под удары: «Один раз на „Искательницу“,[285]». — «Что он сказал? — нахмурив брови в знак того, что он напрягает внимание, чтобы понять нечто совершенно невнятное, с отвращением и со злостью завопил Вердюрен. — Во-первых, у вас ничего не разберешь, у вас каша во рту!» — намекая на

[285] Примечания: 285

«Искательница ума» (1741) — комическая опера французского комедиографа Шарля-Симона Фавара (1710–1792).

косноязычие Саньета, все больше распалялся Вердюрен. «Бедный Саньет! Не приставайте к нему!» — с той целью, чтобы всем было ясно, что ее муж издевается над Саньетом, и вместе с тем делая вид, что ей жалко его, сказала г-жа Вердюрен. «Я был на „Иск…“, „Иск“». — «Иск, иск! Выражайтесь членораздельнее, я ничего у вас понять не могу», — сказал Вердюрен. Почти все «верные» прыскали, и сейчас они напоминали толпу людоедов, у которых рана, нанесенная белому, вызывает жажду крови. Обществами, как и толпами, управляют инстинкт подражания и трусость. Видя, что кто-то поднимает человека на смех, все над ним потешаются, а десять лет спустя в кругу его почитателей те же самые насмешники будут перед ним преклоняться. Вот так же и народы то свергают королей, то встречают их приветственными кликами. «Да ну, перестань, он же не виноват!» — сказала г-жа Вердюрен. «Да ведь я тоже не виноват; если ты разучился говорить, так не ужинай в гостях». — «Я был на „Искательнице ума“ Фа-вара». — «Что? Так это вы „Искательницу ума“ называете „Искательницей“? Прекрасно! Я бы за сто лет не догадался!» — воскликнул Вердюрен, а между тем он мгновенно решил бы, что такой-то — человек

необразованный, к литературе и искусству не причастный, что он в этих областях — «ни бе ни ме», если бы заглавия некоторых произведений тот произнес полностью. Следовало, например, говорить: «Больной», «Мещанин», а кто прибавил бы: «Мнимый» или «во дворянстве», те доказали бы, что они — «не нашего круга», подобно тому, как где-нибудь в гостиной всем стало бы ясно, что этот человек не принадлежит к светскому обществу, если бы вместо «Де Монтескью» он сказал бы: «Де Монтескью-Фезансак». «Да тут ничего странного нет», — с трудом дыша от волнения, но все же улыбаясь, хотя и насильственно, возразил Саньет. Г-жа Вердюрен расхохоталась. «Ну уж нет! — воскликнула она с издевочкой. — Уверяю вас: никто на свете не догадался бы, что вы имеете в виду „Искательницу ума“». Обращаясь и к Саньету и к Бришо, Вердюрен заговорил уже мягче: «А ведь „Искательница ума“ — премилая пьеса». Произнесенная серьезно, эта простая фраза, в которой уже не улавливалось ни малейшей злобы, подействовала на Саньета успокаивающе и вызвала в нем такой прилив благодарного чувства, как будто его обласкали. Он не мог выговорить ни слова и хранил блаженное молчание. Бришо был более словоохотлив. «Вы правы, — обратился

он к Вердюрену. — Скажите, что „Искательница ума“ — пьеса какого-нибудь сарматского или скандинавского драматурга, все равно она займет вакантное место шедевра. Но — мир праху очаровательного Фавара — темперамент у него не ибсеновский. — Внезапно он покраснел до ушей, вспомнив, что здесь присутствует норвежский философ, у которого сейчас был несчастный вид, потому что он не знал, какое растение называется по-французски „бюи“ (букс), которое Бришо упомянул в связи с Бюсьером. — Впрочем, раз сатрапия Пореля теперь в руках чиновника, ярого толстовца, то вполне можно ожидать, что под сводами „Одеона“ мы увидим „Анну Каренину“ и „Воскресение“[286]». — «Вот вы заговорили о Фаваре[287] — сказал де Шарлю, — мне известен один его портрет. Я видел прекрасный гравюрный его оттиск у графини Моле». Фамилия графини Моле произвела на г-жу Вердюрен сильное впечатление. «Ах, вы бываете у графини де Моле?» — вос-

[286] Примечания: 286

…под сводами «Одеона» мы увидим «Анну Каренину» и «Воскресение». — Премьера инсценировки романа Льва Толстого «Воскресения», принадлежавшей перу известного французского драматурга А. Батая (1872–1922), состоялась 14 ноября 1902 г. на сцене театра «Одеон». В 1907 г. в театре «Антуан» поставили «Анну Каренину».

[287] Примечания: 287

Вот вы заговорили о Фаваре… — Имеется в виду его портрет кисти французского художника Жана-Этьена Лиотара (1702–1789).

кликнула она. Она думала, что «графиня Моле» без частицы «де» говорят просто для краткости, так же, как говорят: «Роаны», или из презрения, так же, как она сама говорила: «Ла Тремуй». Она нисколько не сомневалась, что графиня Моле, которая была знакома с греческой королевой и с принцессой де Капрарола, больше, чем кто-либо, имеет право на частицу «де», и она раз навсегда решила именно так величать эту замечательную женщину, которая была с ней весьма любезна. Вот почему, желая показать, что она сознательно так назвала графиню и что для графини она не пожалеет частицы «де», она добавила: «А я и не подозревала, что вы знакомы с графиней де Моле!» — как будто для нее было вдвойне удивительно, что де Шарлю знаком с этой дамой и что она, г-жа Вердюрен, об этом не догадывалась. Свет — или по крайней мере то, что под этим подразумевал де Шарлю, — представляет собой единое целое, в общем однородное и замкнутое. Коли же принять во внимание разношерстную множественность буржуазии, то вполне естествен вопрос какого-нибудь адвоката человеку, знающему его школьного товарища: «Да откуда же вы, черт побери, его знаете?» — но и в случайности, связавшей де Шарлю с графиней Моле, столько

же необыкновенного, сколько в том, что француз понимает, что такое храм и что такое лес. Более того: даже если бы это знакомство состоялось наперекор светским законам, даже если бы оно было неожиданным, что же удивительного в том, что г-жа Вердюрен о нем не знала, раз де Шарлю она видела сегодня впервые и раз его отношения с графиней Моле были далеко не единственным в его жизни, чего она не знала, а ведь, по правде сказать, она ровно ничего о нем не знала? «Кто же играл „Искательницу ума“, мой милый Саньет?» — спросил Вердюрен. Бывший архивариус хотя и чувствовал, что гроза прошла, а все-таки медлил с ответом. «Да ты же его запугал, — сказала г-жа Вердюрен, — ты смеешься над каждым его словом и хочешь, чтобы он тебе отвечал! Ну, скажите, кто же ее играл, а мы за это дадим вам в дорогу студня». Это был ядовитый намек г-жи Вердюрен на то, что Саньет, пытаясь спасти от разорения своих друзей, обнищал. «Я помню только, что Зербину,[288] играла Самари[289]», — ответил Саньет. «Зербину? Это еще что такое?» — заорал Вердю-

[288] Примечания: 288

Зербина — частый персонаж комической драматургии XVIII века, тип плутоватой горничной, наперсницы госпожи.

[289] Примечания: 289

Самари, Жанна (1857–1890) — французская актриса.

рен так, словно начался пожар. «Это амплуа из старинного репертуара, как, например, „Капитан Фракас“[290] вроде Транш-Монтаня, Педанта». — «Сами вы педант! Зербина! Нет, он совсем с ума спятил!» — вскричал Вердюрен. Г-жа Вердюрен со смехом обвела глазами гостей, как бы прося извинить Саньета. «Зербина! Он воображает, что все сразу догадаются, кого он имеет в виду. Вы — ни дать ни взять Лонжпьер, самый глупый человек, какого я только знаю, — на днях он у нас выпалил: „Банат“. Никто его не понял. Оказалось, что это одна из сербских провинций». Чтобы прекратить пытку Саньета, от которой я страдал сильнее, чем он, я спросил Бришо, не знает ли он, что такое Бальбек. «Бальбек — это, вероятно, испорченное Дальбек, — ответил он. — Надо бы поглядеть грамоты английских королей, нормандских сюзеренов, — ведь Бальбек относился к Дуврскому баронству, вот почему часто говорили: Бальбек Заморский, Бальбек Береговой. Но само Дуврское баронство входило в епархию Байё, и,

[290] Примечания: 290

«Капитан Фракас» (1863) — исторический роман Теофиля Готье, рассказывающий о приключениях двух влюбленных из знатных родов, скрывающихся под личиной комедиантов.

хотя после Луи д'Аркура,[291] патриарха Иерусалимского и епископа Байё, тамплиеры;[292] одно время имели права на аббатство, тем не менее приходами в Бальбеке распоряжались епископы этой епархии. Это мне разъяснил довильский священник, лысый, речистый, фантазер, чревоугодник, поклонник Брилья-Саварена[293] он развивал мне в слегка туманных выражениях свою сомнительную теорию и при этом угощал превкусной жареной картошкой». Бришо отвечал мне с улыбкой, желая подчеркнуть, как это остроумно — объединять самые разные вещи и говорить о вещах обыкновенных иронически-возвышенным слогом, а Саньет старался вставить какое-нибудь остроумное замечание, которое дало бы ему возможность взять реванш. Делать

---

[291] Примечания: 291

Луи д'Аркур (1401–1459) — французский церковный деятель, двадцать девятый епископ Байё, получивший от папы титул патриарха Иерусалимского.

[292] Примечания: 292

Тамплиеры (храмовники) — духовно-рыцарский орден, основанный в 1119 г. для защиты паломников, направляющихся в Иерусалим. Вскоре орден превратился в крупнейшего ростовщика в Европе, но его богатства были конфискованы в 1307 г. французским королем Филиппом IV Красивым. В 1312 г. папа Климент V упразднил орден, а часть имущества перешла к госпитальерам.

[293] Примечания: 293

Брилья-Саварен, Антельм (1775–1826) — французский гастроном и литератор, автор знаменитой книги «Психология вкуса» (1825).

«остроумные замечания» значило прибегать к недомолвкам, но и недомолвки меняются, шуточки эволюционируют, как литературные жанры, как эпидемии, которые утихают и сменяются другими, и т. д. Когда-то одной из таких недомолвок было слово «верх». Но оно устарело, никто его больше не употреблял, и только доктор Котар иногда говорил за пикетом: «Вы знаете, что такое верх рассеянности? Это когда Нантский эдикт[294] принимают за англичанку». «Верхи» сменились прозвищами. В сущности, это были те же добрые старые недомолвки, но в моде были теперь прозвища, а потому сходство не бросалось в глаза. К несчастью для Саньета, если эти недомолвки придумал не он, а «ядрышку» они были чаще всего неизвестны, он пользовался ими так неуверенно, что, хотя он и смеялся, стараясь обратить внимание на то, что они носят юмористический характер, никто их не понимал. Если же словечко придумал он, то, поскольку обычно оно приходило ему в голову, когда он разговаривал кем-либо из «верных», а «верный», повторяя это словечко,

[294] Примечания: 294

Нантский эдикт — законодательное постановление французского короля Генриха IV, утвержденное в 1598 г. парламентом, признававшее за гугенотами право свободы вероисповедания и даровавшее им некоторые льготы.

выдавал его за свое, оно становилось известным, но не как словечко Саньета. Вот почему, когда он вставлял одно из таких словечек, то словцо воспринималось всеми как знакомое, но именно потому, что его пустил В обиход Саньет, Саньета обвиняли в плагиате. «Так вот, — продолжал Бришо, — „бек“ — по-нормандски „ручей“; есть Бекское аббатство, а Мобек — „проточное болото“, „марэ“ („мор“ и „мер“ в таких названиях, как Морвиль, Брикмар, Альвимар, означало „болото“). „Брикбек“, „ручей, падающий с высоты“, происходит от „брига“ — а „брига“ значит „укрепленное место“, и встречается оно в таких названиях, как Бриквиль, Брикбоз, Ле-Брик, Бриан, — или же от „брик“, от „моста“, и в таких случаях оно близко к немецкому „брук“ (Инсбрук) и к английскому „бридж“, которым заканчивается столько географических названий (Кембридж и так далее). В Нормандии вы найдете еще множество всяких „беков“: Кодбек, Больбек, Робек, Ле-Бек-Эльуэн, Беккерель. Это нормандская форма немецкого „бах“: Оффенбах, Анспах. Варагбек происходит от старинного слова „варэнь“ — синонима „гарэн“, и означает оно „заповедный лес“, „заповедный пруд“. Что касается „даль“, — продолжал Бришо, — то это одна из форм слова „таль“, долины:

Дарнеталь, Розендаль и даже — это совсем близко от Лувье — Бекдаль. Кстати, река, от которой произошел Дальбек, чудо как хороша. Если смотреть на нее с прибрежных утесов, с фалез (по-немецки — Фельс; недалеко отсюда на высоком месте стоит прелестный городок Фалез), то кажется, будто она совсем близко от церковного шпиля, а на самом деле она протекает на большом от него расстоянии и, по-видимому, отражает его» — «Я это ясно себе представляю, — сказал я, этот эффект очень любил Эльстир. Я видел у него много таких эскизов». — «Эльстир! Вы знакомы с Тишем? — воскликнула г-жа Вердюрен. — Вы знаете, мы были с ним очень близки. Слава Богу, я с ним больше не вижусь. Нет, да вы спросите у Котара, у Бришо: для него у меня иногда ставился прибор, он бывал у нас каждый день. Вот уж кому разрыв с нашим „ядрышком“ послужил во вред! Я сейчас покажу вам цветы, которые он писал для меня; вы увидите, какая раз-лица между ними и тем, что он делает теперь, а вот теперешний Эльстир мне не нравится, совсем не нравится! Да ведь, помимо того, сколько раз он писал меня, я ему заказала портрет Котара». — «И он написал профессора с лиловыми волосами, — подхватила г-жа Котар, забыв о том, что тогда ее муж еще не

начинал преподавать. — Ну разве у моего мужа лиловые волосы?» — обратилась она ко мне. «Это не важно, — вскинув голову из презрения к г-же Котар и от восторга перед тем, о ком шла речь, возразила г-жа Вердюрен, — он обещал быть первоклассным колористом, отличным художником. А вот как, по-вашему, — снова обратилась она ко мне, — можно назвать живописью эти его композиции черт знает каких размеров, все эти громадины, которые он начал выставлять с тех пор, как перестал бывать у меня? Я называю это мазней, все это так шаблонно, ничего яркого, оригинального. Всего понемногу». — «Он воскрешает изящество восемнадцатого века, но приспосабливает это искусство к современности, — поспешил высказать свое суждение Саньет, которого ободряла и которому возвращала душевное равновесие моя любезность. — Хотя я лично предпочитаю Элё[295]». — «Что у Эльстира общего с Элё?» — выразила недоумение г-жа Вердюрен. «Нет, нет, это восемнадцатый век, но только взвихренный. Это — Ватто в век пара». И

[295] Примечания: 295

Элё, Поль (1859–1927) — французский художник, автор портретов парижской и лондонской знати, написанных в стиле XVIII века. Выражение «Это — Ватто в век пара» принадлежит Дега. Граф Робер де Монтескью, написавший этюд «Поль Элё, художник и гравер», познакомил Пруста с ним в конце XIX века.

Саньет засмеялся. «Старо, старо-расстаро, меня этим угощают уже несколько лет», — сказал Вердюрен; он действительно слыхал это сравнение от Ского, но Ский утверждал, что придумал его он. «Вам не везет, — подхватила г-жа Вердюрен, — когда вам наконец удается сказать членораздельно что-нибудь более или менее остроумное, то выясняется, что вы это у кого-нибудь позаимствовали. Мне жаль Эльстира, — продолжала она, — он человек талантливый, но он даром растратил свой большой живописный темперамент. Ах, если бы он не порывал с нами! Из пего вышел бы лучший современный пейзажист. И ведь он так низко пал из-за женщины! Впрочем, меня это не удивляет, он человек приятный, но пошлый. В сущности, он зауряден. По правде сказать, я это сразу почувствовала. Откровенно говоря, он никогда меня не интересовал. Он мне нравился, вот и все. Начнем с того, что он грязнуля. Вам нравятся люди, которые никогда не моются?» — «Что это мы такое красивое едим?» — спросил Ский. «Это земляничный мусс», — ответила г-жа Вердюрен. «Но это же изу-ми-тель-но! Хорошо бы откупорить шато-марго, шато-лафит, портвейн». — «Не смешите меня — ведь вы пьете только воду», — сказала г-жа Вердюрен; притворившись, будто эта прихоть

гостя ей доставляет удовольствие, в глубине души она ужаснулась такой расточительности. «Да не для того, чтобы пить, — возразил Ский, — мы наполним наши бокалы, а потом принесут дивные персики, громадные апельсины и поставят здесь — так, чтобы на них падал луч заката; это будет многокрасочно, как лучший Веронезе». — «Обойдется это почти во столько же», — проворчал Вердюрен. «Вот только уберите этот сыр, он такого противного цвета!» — сказал Ский и попытался отобрать у хозяина дома тарелку, но тот принатужился и отстоял свой грюйер. «Понимаете, без Эльстира я не скучаю, — сказала мне г-жа Вердюрен. — Вот он — художник совсем иного склада. Эльстир — труженик, человек, который не отойдет от мольберта, даже если ему мольберт осточертеет. Это прилежный ученик, это рабочая лошадь на поводу конкурсов. А Ский позволяет себе все, что хочет. Вот увидите: за ужином он возьмет да и закурит». — «Сказать по совести, мне непонятно, почему вы не стали принимать Эльстира вместе с женой, — заметил Котар, — он бывал бы у вас по-прежнему». — «Прошу вас, господин профессор, держать себя в границах приличия. Я потаскушек в дом к себе не зову», — отрезала г-жа Вердюрен. В свое время она делала

все для того, чтобы вернуть Эльстира, и даже с женой. А до его женитьбы старалась рассорить их, говорила Эльстиру о его любимой женщине, что она глупа, нечистоплотна, распущенна, что она воровка. На сей раз г-жа Вердюрен своего не добилась. Эльстир порвал не с женой, а с салоном Вердюренов; и он был рад этому так, как радуются обретшие веру, благословляющие свою болезнь или превратность судьбы, благодаря которым они отошли от зла и которые направили их на путь спасения. «Профессор бесподобен, — продолжала г-жа Вердюрен. — Уж тогда скажите прямо, что мой салон — это дом свиданий. Можно подумать, что вы не знаете госпожу Эльстир. Да я бы предпочла принимать у себя гулящую девку! Нет уж, увольте, это кушанье не для меня. Да и потом, вот что я вам скажу: терпеть его жену — это было бы просто глупо, раз ее муж перестал меня интересовать: он устарел, это уже не искусство». — «Но ведь такой умный человек — как это могло с ним случиться?» — сказал Котар. «О нет! — возразила г-жа Вердюрен. — Даже в те времена, когда у него был талант, — а талант у этого негодяя был, да еще какой! — ума ему явно не хватало, и этим он раздражал». Г-жа Вердюрен вынесла об Эльстире такое суждение еще до разрыва с ним и до того,

как она разлюбила его живопись. Дело в том, что, даже когда Эльстир еще входил в ее кружок, он иной раз проводил целые дни с какой-нибудь женщиной, которую г-жа Вердюрен почему-то считала «дурехой», а это, с ее точки зрения, умному человеку не пристало. «Нет! — придав своему лицу беспристрастное выражение, повторила она. — По-моему, он и его жена — отличная пара. Более скучной женщины я не встречала, клянусь вам; если б мне пришлось провести в ее обществе не более двух часов, я бы не выдержала, я бы озверела. А говорят, что ему она кажется очень умной. Давайте же, наконец, сознаемся, что наш Тиш всегда был непроходимо глуп. Вы не можете себе представить, какие женщины кружили ему голову: это были форменные идиотки, которые в нашем кланчике ни за что бы не прижились.

А он писал им письма, вступал с ними в споры — это он-то, Эльстир! У него были и чудесные свойства, я этого не отрицаю, чудесные, ну просто чудесные, но, конечно, очаровательные в своей нелепости». Дело в том, что, по мнению г-жи Вердюрен, люди действительно замечательные на каждом шагу делают глупости. Мысль сама по себе неверная, но доля истины в ней есть. Конечно, «сумасбродства» нестерпимы. Но

неуравновешенность, которая обнаруживается лишь по прошествии долгого времени, является следствием проникновения в человеческий мозг чего-то мельчайшего, к чему он не приспособлен. Таким образом, странности людей очаровательных раздражают, но людей очаровательных без странностей не бывает. «Сейчас я покажу вам цветы Эльстира», — увидев знак мужа, который давал ей понять, что можно вставать из-за стола, сказала мне г-жа Вердюрен. И опять подала руку маркизу де Говожо. Как только де Шарлю отошел от маркизы де Говожо, Вердюрен решил извиниться перед де Шарлю и представить ему объяснения, главным образом ради удовольствия поговорить о тонкостях этикета с титулованным лицом, в данный момент оказавшимся ниже тех, кто отводил ему место, на которое, как им представлялось, он имел право. Но прежде всего ему хотелось, чтобы де Шарлю почувствовал, что он, Вердюрен, преклоняется перед душевным его благородством и не допускает мысли, чтобы де Шарлю обращал внимание на такие мелочи. «Простите, что я заговариваю с вами о таких пустяках, — начал он, — я уверен, что вы на это смотрите просто. С этим считаются мещане, но другим натурам — натурам художественным,

людям действительно особого склада — на это наплевать. Ведь я с первых же слов, которыми мы с вами обменялись, догадался, что вы — особого склада!» Де Шарлю, превратно истолковавший слова Вердюрена, мгновенно от него отпрянул. Доктор — тот хоть только подмигивал, а Вердюрен оскорбительно откровенен — это привело де Шарлю в бешенство. «Не спорьте, господни барон, вы — особого склада, это ясно как день, — продолжал Вердюрен. — Имейте в виду, я не осведомлен, занимаетесь ли вы каким-нибудь искусством, но это не обязательно. Одно с другим не всегда связано. Только что умерший Дешамбр играл прекрасно, техника была у него блестящая, но он не был человеком особого склада, сразу было видно, что он ничем не примечателен. Бришо — пустое место А вот Морель — особого склада человек, моя жена тоже, я чувствую, что и вы…» — «Что вы хотите этим сказать?» — перебил его де Шарлю; он уже начинал соображать, что имеет в виду Вердюрен, но ему было неприятно, что тот так громко выкрикивает двусмысленные слова. «Да ведь посадили-то мы вас слева!» — ответил Вердюрен, но де Шарлю, понимающе, добродушно и нахально улыбаясь, его отбрил: «Помилуйте! Какое же это имеет значение здесь!» И тут он засмеялся

характерным для него смешком — смешком, который он, вероятно, унаследовал от какой-нибудь баварской или лотарингской бабушки, в свою очередь получившей его в наследство, в целости и сохранности, от какой-нибудь своей прабабушки, так что он, не меняясь, звучал при маленьких старых европейских дворах уже несколько столетий, и его мелодичностью наслаждались, как наслаждаются игрой на редкостнейших старинных инструментах. Чтобы достичь полноты в обрисовке какого-нибудь действующего лица, в определенный момент необходимо дополнить описание его внешности воспроизведением его речевых особенностей, а в обрисовке де Шарлю останется пробел за невозможностью передать его ласкающий слух быстролетный смешок — так исполнение иных произведений Баха никогда не бывает совершенным, потому что в оркестрах нет «маленьких труб» с их единственным в своем роде звучанием, труб, которые, по замыслу композитора, должны вступать там-то и там-то. «Но это же было сделано умышленно, — пояснил уязвленный Вердюрен. — Я не придаю никакого значения титулам, продолжал он с презрительной улыбкой, которую ? видел на лицах многих наших знакомых и которой эти люди, в отличие

от моей бабушки и матери, защищались, когда речь заходила о том, чего у них не было, чтобы те, у кого это было, не почувствовали своего превосходства над ними. — Но в конце концов, если уж у нас в гостях де Говожо, а он — маркиз, вы же — всего-навсего барон...» — «Позвольте, — надменным взглядом окинув изумленного Вердюрена, прервал его де Шарлю, — я еще и герцог Брабантский, дамуазо[296] Монтаржи, принц Олеронский, Карансийский, Виареджойский и Дюнский. Впрочем, это все чепуха. Не огорчайтесь, — добавил он, и при последних его словах на лице его вновь засветилась прежняя хитрая улыбка. — Я сразу понял, что вы в этих вещах не разбираетесь».

Госпожа Вердюрен подошла ко мне с тем, чтобы показать цветы Эльстира. Званый ужин давно уже стал для меня привычным, но сегодняшней поездке придали ощущение чего-то совершенно небывалого, езда по берегу и подъем в экипаже на высоту в двести метров над уровнем моря, путешествие меня опьянило, и это опьянение не прошло и в Ла-Распельер. «Вот, вот, посмотрите, — сказала Покровительница, показывая

---

[296] Примечания: 296

Дамуазо — молодой дворянин, еще не посвященный в рыцари.

стоявшие на жардиньерке пышные розы Эльстира, великолепные в своей бархатистой пунцовости и вспененной белизне, но, быть может, написанные слишком густыми красками. — Да разве у него прежняя рука, чтобы достичь такого размаха? Силища-то какая! И как они сделаны — их хочется потрогать. Не могу вам передать, до чего интересно было следить за тем, как он их пишет. Чувствовалось, что он увлечен поисками эффекта». Задумчивый взор г-жи Вердюрен покоился на этом даре художника — даре, в котором запечатлелся не только его большой талант, но и долгая их дружба, жившая теперь только в этих оставленных им воспоминаниях; за розами, некогда сорванными им для нее, ей виделась красивая рука, однажды утром воссоздавшая эти цветы во всей их свежести, в то утро, когда в столовой одни цветы стояли у нее на столе, а другие были потом прислонены к креслу и когда завтрак Покровительницы оживляла безмолвная беседа еще не увядших роз с их отчасти похожим портретом. Да, только отчасти, так как Эльстир начинал видеть цветок лишь после того, как ему удавалось пересадить его в духовный сад, в тот сад, где мы обречены жить вечно. В своей акварели Эльстир дал свое видение роз, о существовании которых,

если бы не он, так бы никто и не узнал; можно сказать, что художник, подобно хитроумному садоводу, обогатил семейство роз новым сортом. «В тот день, когда он покинул „ядрышко“, это был уже конченый человек. Мои ужины, видите ли, отнимали у него время, я, видите ли, препятствовала развитию его гения, — насмешливо произнесла г-жа Вердюрен. — Да разве общение с такой женщиной, как я, не оказывает благотворного влияния на художника?» — воскликнула она в приливе гордости. Совсем близко от нас уже успевший сесть на стул маркиз де Говожо сделал такое движение, как будто хотел встать и уступить место де Шарлю. Для маркиза это был, вероятно, всего лишь неопределенно учтивый жест. Но де Шарлю, расценивший это как одну из почестей, которые простой дворянин обязан воздавать принцу, решил, что наилучший способ закрепить за собой свое право на первенство — это отказаться от почести. Вот почему он воскликнул: «Да что вы! Нет, пожалуйста! Очень вас прошу!» В искусственной возбужденности, с какой де Шарлю отклонял любезное предложение маркиза, было уже что-то очень «Германтское», но еще отчетливее оно проступило в повелительном, фамильярном и излишнем жесте, каким

он, словно желая усадить маркиза на место, хотя тот и не думал вставать, положил ему руки на плечи. «Полноте, дорогой мой! — убеждал его барон. — Еще чего не хватало! Да нет же никаких оснований! В наше время этим правом пользуются только принцы крови». Чета Говожо и г-жа Вердюрен восторгались в этом доме не тем, чем восторгался я. К красотам, на которые они мне указывали, я остался холоден, меня воодушевляли какие-то смутные воспоминания; несколько раз я даже выражал разочарование, когда находил что-либо не соответствовавшее моему представлению об этом именье. Я привел маркизу де Говожо в негодование, сказав ей, что моему воображению оно рисовалось более деревенским. Зато я с упоением вдыхал благоухание ветра, дувшего в непритворенную дверь. «Вы, должно быть, любите сквозняки», — сказали мне. Мое восхищение зеленым люстрином, которым было завешено разбитое окно, тоже не доставило удовольствия. «Фу, какая гадость!» — воскликнула маркиза. К довершению всего, я признался: «Наиболее сильное впечатление на меня произвел самый момент приезда. Когда я услышал, как мои шаги раздаются в галерее, словно в какой-нибудь сельской мэрии, где висит карта округа, я

понял, что я вошел». Маркиза де Говожо резким движением от меня отвернулась. «Как по-вашему, не очень плохо все у них устроено? — спросил маркизу ее муж с такой соболезнующей озабоченностью, словно ему хотелось узнать, как на его жену подействовал какой-нибудь печальный обряд. — Тут есть красивые вещи». Если твердые правила безукоризненного вкуса не вводят недоброжелательство в строгие рамки, то оно все подвергает критике в самих людях, которые поселились в вашем доме, а равно и в том, как они его обставили. «Да, но они не на месте. И так ли уж они хороши — это еще вопрос». — «Вы обратили внимание, — силясь побороть горькое чувство, спросил маркиз де Говожо, — что ситцы Жуй протерлись и что вообще все в гостиной обветшало?» — «А вот эта ткань с большущими розами — ну точь-в-точь мужицкое одеяло! — подхватила маркиза де Говожо; ее лжекультура не шла дальше идеалистической философии, импрессионистической живописи и музыки Дебюсси. Но ей хотелось показать, что роскошь не имеет для нее большого значения, что она прежде всего ценит вкус. — И вдобавок понавешали занавесочек! Полное отсутствие ощущения стиля! А впрочем, что вы от них хотите? Разве

они что-нибудь знают, где им было чему-нибудь научиться? По всей вероятности, это богатые торговцы, теперь уже не ворочающие делами. С них спрос невелик». — «Мне показалось, что подсвечники недурны», — заметил маркиз; почему именно он делал исключение для подсвечников — это оставалось неясным; точно так же, когда речь заходила о храме, будь то Шартрскнй, Реймскнн, Амьенский собор или церковь в Бальбеке, он считал долгом избрать предметом своего восхищения органный корпус, кафедру и отделку сидений. «А уж про сад и говорить нечего, — сказала маркиза де Говожо. — Там разгром. Аллеи все — „накривь вбок“».

Воспользовавшись тем, что г-жа Вердюрен велела подавать кофе, я вышел, чтобы пробежать глазами письмо, которое передал мне маркиз де Говожо от своей матери, приглашавшей меня на ужин. При помощи ничтожного количества чернил ее почерк отражал личность, которую отныне я узнал бы из тысячи, причем дело тут было не в каких-то особых перьях — ведь для того, чтобы выразить свое видение мира, художнику не требуются редкостные, таинственным способом приготовляемые краски. Паралитик, после удара заболевший аграфией, вынужденный смот-

реть на сочетание букв только как на рисунок и разучившийся читать их, и тот понял бы, что маркиза де Говожо принадлежит к старинному роду, в котором аристократические традиции все-таки берут верх над обожанием литературы и искусства. Он даже угадал бы, в какие годы маркиза научилась писать и — одновременно — стала играть Шопена. То было время, когда люди благовоспитанные соблюдали правила вежливости и так называемое правило «трехступенчатой учтивости». Маркиза де Говожо придерживалась всех этих правил. Однако эмоционального слова или же словосочетания ей было мало, после него (через маленькое тире) она употребляла другое, потом (через второе тире) третье. Отличительную особенность стиля маркизы де Говожо составляло то, что, писала ли она записку делового характера или же такую, в которой ей хотелось блеснуть красотой эпистолярного слога, троекратные изъявления чувства шли у нее не по восходящей линии, а диминуэндо. Маркиза де Говожо в этом своем первом письме ко мне писала, что виделась с Сен-Лу и больше, чем когда бы то ни было, оценила его достоинства, «исключительные, редкостные, подлинные», что он должен еще раз к ним приехать с одним из своих друзей (с тем,

который был влюблен в ее невестку) и что если у меня будет желание вместе с ними или самостоятельно приехать в Фетерн на ужин, то это ее «осчастливит — обрадует — доставит удовольствие». Может быть, оттого, что стремление быть любезной не было поддержано у нее живостью воображения и богатством словаря, оттого, что второе и третье выражение являлись всего лишь приглушенным эхом первого, она восполняла эти изъяны тремя восклицательными знаками. Подыщи она четвертое выражение — и от первоначальной формы изъявления учтивости у нее не осталось бы и следа. Вдобавок, вследствие свойственного ей утонченного простосердечия, которое не могло не производить впечатления и в кругу ее семьи, и в кругу знакомых, маркиза де Говожо всегда заменяла слово «искренний», в котором в конце концов могла бы почувствоваться фальшь, словом «истинный». Чтобы не оставалось сомнений, что она действительно искренна, она нарушала обычный порядок слов, при котором слово «истинный» должно стоять перед существительным, и отважно ставила его после. Свои письма она заканчивала так: «Верьте моей симпатии истинной». К сожалению, это превратилось у нее в привычный оборот, и потому такая

подчеркнутая правдивость производила как раз обратное впечатление — впечатление большей неискренности, чем старинные словесные формулы, в смысл которых просто не вникают. Читать мне мешал слитный шум голосов, покрывавшийся, однако, высоким голосом де Шарлю, который все еще говорил на ту же тему с маркизом де Говожо: «Когда вы изъявили желание уступить мне место, вы напомнили мне одного господина — утром я получил от него письмо, адресованное „Его высочеству барону де Шарлю“ и начинавшееся с обращения: „Монсеньор!“» — «Да, ваш корреспондент несколько преувеличил», — хохотнув, заметил маркиз де Говожо. Де Шарлю даже не улыбнулся. «А ведь, в сущности, дорогой мой, — продолжал он, — согласитесь, что в геральдическом отношении он прав. Вы, конечно, понимаете, что мне это безразлично. Я говорю вообще. Ничего не поделаешь, история есть история, тут мы бессильны, переиначивать ее мы не вправе. В данном случае кайзер Вильгельм примером служить не может — в Киле он тоже все время величал меня „монсеньером“. Я слышал, что так он называет всех французских герцогов, но это неправильно, — может быть, с его стороны это просто-напросто знак особого благоволения

— но не к нам лично, а к Франции». «Особого и в известной мере искреннего», — вставил маркиз де Говожо. «Ну нет, тут я с вами не согласен. Гогенцоллерн, самый что ни на есть худородный государь, вдобавок протестант, отнявший владения у моего родственника, ганноверского короля, как человек не может быть мне приятен, — продолжал де Шарлю; слушая его, можно было подумать, что Ганновер он принимает ближе к сердцу, чем Эльзас-Лотарингию.[297] — Но, по-моему, в своей благорасположенности к Франции он вполне искренен. Какой-нибудь болван скажет вам, что это лицедей, играющий роль государя. А он как раз на редкость интеллигентен. Он ничего не понимает в живописи, он заставил Чуди,[298] убрать из национальных музеев всего Эльстира. Но ведь и Людовик Четырнадцатый не жаловал

---

[297] Примечания: 297

…Ганновер он принимает ближе к сердцу, чем Эльзас-Лотарингию. — Ганновер был самостоятельным королевством до 1866 г., когда в ходе австро-прусского конфликта он был занят прусскими войсками и присоединен к Пруссии. Эльзас и Лотарингия отошли к Германии в результате франко-прусской войны 1870 г.

[298] Примечания: 298

Чуди, Гуго фон (1851–1911) — немецкий историк искусства, директор Национальной галереи в Берлине (1896–1907), автор книги о Эдуаре Мане (1902). Несмотря на художественные вкусы Вильгельма II, не любившего французских импрессионистов, Чуди, благодаря частным пожертвованиям, приобретал для галереи полотна Мане, Ренуара и Дега.

голландцев, любил пышность, что не мешало ему быть великим властодержцем. Помимо всего прочего, Вильгельм Второй укрепил свою армию и флот, а Людовику Четырнадцатому это не удалось — вот почему я надеюсь, что Вильгельм не испытает ударов судьбы, омрачивших конец царствования того, кого принято именовать Королем-Солнцем. По-моему, наша республика допускает большую ошибку, отклоняя любезные предложения Гогенцоллерна и при расплате с ним высчитывая каждый грош. Он прекрасно знает, чего он хочет, и говорит с присущей ему точностью в выборе слов: „Мне нужно не расшаркиванье, а рукопожатие“ Человек он низкий: лучших своих друзей бросил, предал, отрекся от них в таких обстоятельствах, когда его молчание было в такой же мере подло, в какой их молчание было благородно, — продолжал де Шарлю; он уже сел на своего конька и, рассуждая о деле Эйленбурга[299] вспомнил, что ему сказал один из наиболее высокопоставленных обвиняемых:

[299] Примечания: 299

Эйленбург, Филипп, принц (1847–1911) — немецкий аристократ, один из ближайших друзей Вильгельма II, посол Германии в Вене. В 1906 г. в ряде немецких изданий, представлявших политические силы, недовольные пацифистской и франкофильской политикой кайзера, появились статьи, изобличающие Эйленбурга в гомосексуализме. Этот скандал, продолжавшийся в течение нескольких лет, сыграл решающую роль в формировании замысла «Содома и Гоморры».

„Не подлежит сомнению, что кайзер верил в нашу порядочность, иначе он не осмелился бы допустить такой процесс. И он не просчитался, уповая на нашу стойкость. Мы и на эшафоте не проронили бы ни слова“. — Но я отвлекся: я хотел сказать, что в Германии нас, медиатизированных принцев, называют Durchlauch,[300] а во Франции мы официально признаны высочествами. Сен-Симон утверждает, что мы присвоили себе это звание незаконно, но он глубоко ошибается. В доказательство он ссылается на то, что Людовик Четырнадцатый запретил, нам называть его христианнейшим королем и повелел называть его просто королем — мы ему подчинились, но это вовсе не значит, что у нас не было прав на титул принца. Иначе этого титула пришлось бы лишить герцога Лотарингского и многих других. Кстати сказать, некоторые из нас получили титул принца, будучи связаны с Лотарингским домом через мою прабабку Терезу д'Эпинуа, дочь дамуазо Коммерси». Заметив, что его слушает Морель, де Шарлю продолжал обосновывать свои притязания: «Я сказал моему брату, что сведения о нашем роде следовало поместить если не в пер-

[300] Примечания: 300
Ваша светлость (нем.)

вой части Готского альманаха,[301] то, во всяком случае, во второй, но уж никак не в третьей, — не сообразив, что Морель понятия не имеет о Готском альманахе, рассуждал он. — Но это имеет отношение прежде всего к нему, он — старший, и раз он считает, что так тому делу и быть, раз он этому не противится, то мне остается только закрывать на это глаза». «Господин Бришо очень меня заинтересовал», — положив в карман письмо маркизы де Говожо, сказал я направлявшейся ко мне г-же Вердюрен. «Он человек образованный, славный, — холодно отозвалась она. — Но ему явно недостает оригинальности и вкуса, и у него чудовищная память. О предках наших нынешних гостей, об эмигрантах, было сказано, что они ничего не забыли. Но у них было хоть то оправдание, — выдала она мысль Свана за свою, — что они ничему и не научились. А Бришо все знает и во время ужина швыряет вам в голову один словарь за другим. Я убеждена, что теперь вам известно значение названий решительно всех сел и городов». Слушая г-жу Вердюрен, я думал, что мне нужно ее о чем-то спросить, но

[301] Примечания: 301

Готский альманах — генеалогический и дипломатический ежегодник, выходивший в немецком городе Гота с 1763 г. и содержавший сведения о членах аристократических семейств Европы и видных дипломатах.

о чем — это у меня вылетело из головы. «Я был уверен, что вы говорите о Бришо. Каков? Тут вам и Трусий Щебет, и Фресине — все перебрал. Я смотрел на вас, не отрываясь, дорогая Покровительница. Ничто в вас не ускользнуло от моего взгляда, и я чуть было не фыркнул». Теперь я не мог бы ответить на вопрос, как в тот вечер была одета г-жа Вердюрен. Может быть, я и тогда не сумел бы описать ее наряд — наблюдательностью я не отличался. Я только чувствовал, что одета она не без претензий, и потому счел нужным сказать ей комплимент и даже выразить восхищение. Как почти все женщины, она воображала, что комплимент точно выражает впечатление человека и что это беспристрастное суждение непреодолимо, неудержимо рвется из души, как будто речь идет только о произведении искусства — независимо от того, кто его обладатель. Вот почему она совершенно серьезно — именно эта ее серьезность и заставила меня устыдиться своей неискренности — задала мне горделивый и наивный вопрос, который всегда задают в таких случаях: «Вам нравится?» «Бьюсь об заклад, что вы говорите о Трусьем Щебете», — подойдя к нам, сказал Вердюрен. Во всем этом сборище только я, думавший о зеленом люстрине да о запахе дере-

ва, не заметил, что Бришо своими этимологиями стал здесь всеобщим посмешищем.

Я был здесь одинок в своем отношении к людям, представлявшим для меня определенный интерес, тогда как на других эти люди не производили никакого впечатления, взор большинства скользил по ним безучастно, как по тому, на что не стоит обращать внимание; следовательно, я ни с кем не мог здесь поделиться своими впечатлениями, все равно никто бы меня не понял или даже отнесся бы ко мне с презрением, мои впечатления не возвышали меня во мнении общества, напротив: г-жа Вердюрен, например, вероятно, сочла меня за дурачка, потому что я «заобожал» Бришо, хотя, впрочем, это было мне не впервой: как на дурачка, смотрела на меня и герцогиня Германтская, оттого что я любил бывать у виконтессы д'Арпажон. Что же касается Бришо, то тут была особая причина. Я не входил в кланчик. А между тем в каждом клане, будь то светский клан, политический, литературный, создается тлетворная привычка подмечать в разговоре, в публичной речи, в новелле, в сонете то, на что человек неиспорченный никогда бы не обратил внимания. Сколько раз, под впечатлением от рассказа, мастерски написанного каким-ни-

будь старомодным академиком, отличавшимся пышностью слога, в разговоре с Блоком или с герцогиней Германтской у меня уже готово было сорваться с языка: «Что за прелесть!» — но они, не дав мне раскрыть рот, каждый на своем особенном языке, уже восклицали: «Если вы хотите посмеяться, прочтите рассказ такого-то. Глупее не придумаешь». Пренебрежительное отношение Блока вызывали главным образом некоторые особенности стиля этого писателя, вообще говоря, приятные, но устаревшие, а пренебрежение герцогини Германтской — то, что из рассказа можно было сделать вывод, прямо противоположный тому, что как будто бы хотел доказать автор, — мне это противоречие никогда не бросилось бы в глаза, а она, с ее искусством во всем доходить до тонкости, его обнаружила. Ирония, таившаяся под внешней любезностью, которую Вердюрены проявляли к Бришо, удивила меня не меньше, чем — несколько дней спустя, в Фетерне, — слова супругов Говожо, которым я признался, в каком я восторге от Ла-Распельер: «Позвольте вам не поверить — ведь они там такого натворили!» Впрочем, посуду они все-таки одобрили. Но ее-то я и не заметил, как не заметил неприличные занавески. «Словом, теперь, когда

вы вернетесь в Бальбек, вы уже будете знать, что значит „Бальбек“», — с насмешкой сказал Вердюрен. А меня интересовало как раз то, что я узнавал от Бришо. У него был именно такой склад ума, какой особенно высоко ценили когда-то в кланчике. Он говорил все с той же зажигательной живостью, но теперь его слова не достигали цели, им приходилось вступать в борьбу с враждебным молчанием или с неприязненными отголосками; изменились не его темы — изменились акустика салона и настроение публики. «Тише!» — указывая на Бришо, вполголоса произнесла г-жа Вердюрен. Слух у Бришо был острее зрения, а потому он бросил на Покровительницу близорукий взгляд философа, но сейчас же отвел его. Физическое зрение Бришо оставляло желать лучшего, зато духовным своим взором он обнимал широкие пространства. Убедившись, чего стоит дружба с людьми, он смирился. Конечно, он от этого страдал. Бывают такие случаи, когда человек, привыкший к тому, что он — душа общества, вдруг однажды вечером чувствует, что все упрекают его в легкомыслии, педантичности, бестактности, бесцеремонности и т. д., и, вернувшись домой, он впадает в уныние. В большинстве случаев это происходит оттого, что его убеж-

дения, его взгляды показались вздорными или отсталыми. В большинстве случаев он отлично знает, что эти люди в подметки ему не годятся. Он без малейшего труда мог бы разбить софизмы, с помощью которых ему вынесли безмолвный обвинительный приговор; ему не терпится поехать в гости, написать письмо; человек более благоразумный ничего не предпринимает — он ждет, что его пригласят на следующей неделе. Иногда опала, вместо того чтобы тут же, в один вечер, кончиться, длится несколько месяцев. Возникающая на почве неустойчивости мнений света, опала содействует тому, что они становятся еще менее устойчивыми. Кто знает, что г-жа Икс презирает его, и в то же время чувствует, что у г-жи Игрек относятся к нему с уважением, тот в своих отзывах отдает предпочтение г-же Игрек и спешит переметнуться в ее салон. Впрочем, здесь не место описывать этих людей, стоящих выше света, но не сумевших проявить себя за его пределами, радующихся приглашениям, злобствующих, если их не признают, каждый год находящих новые пороки в одной хозяйке дома, которой они прежде курили фимиам, и открывающих таланты в другой, которую они до сих пор не оценили по достоинству, готовых вернуться к

своей первой любви, когда новая любовь начнет им досаждать и когда обиды, причиненные им первой любовью, будут уже не так часто о себе напоминать. Эти кратковременные опалы могут дать представление о том, как тяжело переживал Бришо ту, которая была воздвигнута на него и которую, как он полагал, с него уже не снимут. Для него не являлось тайной, что г-жа Вердюрен смеется над ним, иногда — при всех, смеется даже над его физическими недостатками, но и убедившись, чего стоит дружба с людьми, и примирившись с этим, он все-таки считал г-жу Вердюрен лучшим своим другом. По краске, заливше лицо профессора, г-жа Вердюрен поняла, что он слышал, и дала себе слово быть с ним весь вечер любезной. Я не удержался и высказал ей, что она могла бы быть полюбезнее с Саньетом. «Да разве я с ним холодна? Он же нас обожает, вы не представляете себе, что мы для него значим. Правда, моего мужа он слегка раздражает своей глупостью, да, сказать по совести, он способен вывести из себя, но почему же он не только не дает сдачи, а еще и рассыпается мелким бесом? Это неблагородно. Я этого не люблю. И все-таки я всегда стараюсь успокоить мужа, а то, если б он хватил через край, Саньет перестал бы к нам

ездить, а мне бы этого не хотелось: откровенно говоря, он совсем без денег, у нас он хоть по крайней мере ужинает. А впрочем, если даже он и обидится, если он больше не приедет, я плакать не стану: если ты в ком-нибудь нуждаешься, то потрудись не быть таким идиотом». «Герцогство Омальское.[302] долгое время принадлежало нашему роду, а потом уж перешло к французским королям, — объяснял де Шарлю маркизу де Говожо в присутствии озадаченного Мореля, к которому эта лекция не была прямо обращена, но для которого она была предназначена. — С нами считались гораздо больше, чем со всеми иностранными принцами; примеров я мог бы привести сколько угодно. Когда принцесса де Круа[303] на похоронах старшего брата короля хотела было стать на колени позади моей прапрабабушки, та сделала ей резкое замечание, что она не имеет на это права, при помощи дежурного офицера выставила ее и обратилась с жалобой

---

[302] Примечания: 302

Герцогство Омалъское — принадлежало дому Гизов-Лотарингских и перешло по наследству к дому Савойских-Немурских. Людовик XIV приобрел его для своего внебрачного сына герцога дю Мена.

[303] Примечания: 303

Принцесса де Круа. — Род де Круа восходит к древним венгерским королям; его представители вступали в брачные союзы со многими королевскими домами Европы.

к королю, а король велел принцессе де Круа поехать к герцогине Германтской и извиниться. Когда герцог Бургундский[304] явился к нам в сопровождении судебных приставов, с поднятым жезлом, мы добились от короля, что жезл был опущен. Восхвалять свою родню некрасиво, это я понимаю. Но ведь всем и каждому известно, что в минуту опасности наши предки были всегда впереди. Мы избрали себе другой боевой клич, не такой, как у герцогов Брабантских, а именно — „Вперед!“. Так что, в общем, право быть всюду первыми, которое мы на протяжении столетий отвоевывали в боях, мы на законном основании получили впоследствии и при дворе. И признавалось оно за нами всегда, смею вас уверить. В доказательство сошлюсь еще на случай с принцессой Баденской. Когда она забылась до такой степени, что чуть было не стала впереди той самой герцогини Германтской, которую я сейчас упомянул, и, воспользовавшись минутным замешательством, в которое, возможно, пришла моя родственница (хотя, казалось бы, с чего бы ей приходить в замешательство?), совсем уж было собралась первой войти к королю, король громко

[304] Примечания: 304

Герцог Бургундский (1682–1712) — дофин Франции, внук Людовика XIV, отец Людовика XV.

воскликнул: „Входите, входите, кузина! Герцогиня Баденская отлично знает, как ей должно вести себя с вами“. А занимала она такое же положение, как герцогиня Германтская, но и сама была достаточно благородного происхождения: по матери она приходилась племянницей польской королеве, венгерской королеве, курфюрсту Пфальцскому, принцу Савойскому-Кариньянскому и принцу Ганноверскому, впоследствии английскому королю». — «Maecenas atavis edite regibus![305]» — сказал Бришо, обращаясь к де Шарлю, — тот ответил на эту любезность легким наклоном головы. «О чем это вы говорите?» — спросила Бришо г-жа Вердюрен — ей хотелось загладить допущенную ею неловкость. «Я, да простит меня Бог, привел цитату об одном денди, принадлежавшем к цвету общества (г-жа Вердюрен нахмурилась) приблизительно в век Августа (г-жу Вердюрен успокоило то, что речь идет о цвете стародавнем, и лицо ее прояснилось), о друге Вергилия и Горация, которые наперерыв кадили ему и уверяли, что он не просто аристократ, что он царского рода, — словом, я говорил о Меценате, этом книжном черве, который был

[305] Примечания: 305

Меценат, славный потомок царственных праотцов! (лат.). Гораций, «Оды», I, 1.

другом Горация, Вергилия, Августа. Я убежден, что барон де Шарлю имеет о нем полное представление». Барон слышал, что г-жа Вердюрен сговаривалась с Морелем о встрече на послезавтра, и, боясь, что его не пригласят, он, искоса посмотрев на г-жу Вердюрен обвораживающим взглядом, проговорил: — «По-моему, Меценат — это как бы Вердюрен древности». Г-же Вердюрен не удалось смахнуть с лица польщенную улыбку. Она подошла к Морелю. «Друг ваших родителей производит приятное впечатление, — сказала она. — Видно, что он образован, воспитан. В нашем „ядрышке“ он станет своим человеком. А где он живет в Париже?» Морель не удостоил ее ответом и попросил составить партию в карты. Г-жа Вердюрен потребовала, чтобы он сперва поиграл на скрипке. Ко всеобщему изумлению, де Шарлю, замалчивавший свои большие способности, обнаружив необыкновенную чистоту фразировки, проаккомпанировал последнюю часть (тревожную, вихревую, шумановскую и тем не менее явно дофранковскую) сонаты для фортепьяно

и скрипки Форе[306] У меня невольно явилась мысль, что Морелю, на редкость чуткому к звуку и редкостному виртуозу, он мог бы привить то, чего ему недоставало: культуру и ощущение стиля. И тут же я пришел в недоумение, подумав о том, как может совмещаться в человеке физический порок и духовный дар. Де Шарлю мало чем отличался от своего брата, герцога Германтского. Сейчас он даже (это с ним бывало редко) заговорил так же неправильно, как герцог. Когда в ответ на его упрек (вероятно, имевший целью побудить меня наилучшим образом отозваться при г-же Вердюрен о Мореле), что я его не навещаю, я сказал, что боюсь быть навязчивым, он возразил: «Но поскольку я вас зову, значит, *пенять я должен был бы на себя самого*». Так мог бы выразиться герцог Германтский. В сущности, де Шарлю был всего лишь Германтом. Но природа нарушила равновесие его нервной системы, и вот, в отличие от своего брата-герцога, он предпочел женщине Вергилиевого пастуха или ученика Платона и благодаря качествам, несвойственным герцогу

[306] Примечания: 306

Форе, Габриэль (1845–1924) — французский композитор, директор Консерватории (1905–1920). Речь идет о его «Первой сонате для скрипки и фортепьяно» (1875), настоящем шедевре французской камерной музыки. Она сравнивается с написанной десятью годами позже сонатой Цезаря Франка.

Германтскому и часто сочетающимся с подобной неуравновешенностью, стал превосходным пианистом, не лишенным вкуса художником-дилетантом, интересным собеседником. Кто бы мог уловить, что то стремительное, предгрозовое, пленительное, что было в исполнении де Шарлю шумановского отрывка из сонаты Форе, находилось в соответствии — боюсь сказать: коренилось — с чисто физическими свойствами, с неправильностями нервной системы де Шарлю? Дальше мы объясним, что мы разумеем под «неправильностями нервной системы», а равно и то, в силу каких причин грек времен Сократа или римлянин времен Августа могли быть тем, чем они были, оставаясь вполне нормальными мужчинами, а не мужчинами-женщинами, каких мы видим теперь. В силу тех же причин, под воздействием подлинно артистических наклонностей, не нашедших себе должного применения, де Шарлю гораздо больше, чем герцог, любил свою мать, любил свою жену, и даже несколько лет спустя, когда с ним заговаривали о ней, на глазах у него показывались слезы, но только слезы дешевые, похожие на испарину толстяка, у которого то и дело на лбу выступает пот. Разница та, что толстяку говорят: «Вам, наверно, жарко»,

тогда как принято делать вид, что чужих слез не замечаешь. То есть принято в светском обществе — народ волнуется при виде слез сильнее, чем при виде кровотечения. Де Шарлю горевал об умершей жене, но двоедушие пустило в нем такие глубокие корни, что он считал для себя возможным вести образ жизни, который никак не вязался с его скорбью. Он дошел до такого бесстыдства, что после кончины жены распространял слух, будто во время печального обряда он улучил минутку и спросил певчего, как его зовут и где он живет. И это похоже на правду.

Когда отрывок из сонаты был сыгран, я набрался храбрости и попросил сыграть Франка, но маркизе де Говожо моя просьба была, видимо, до того неприятна, что я не настаивал. «Вам это не может нравиться», — сказала она мне. Вместо Франка она попросила сыграть «Празднества» Дебюсси.[307] и, как только прозвучала первая нота, воскликнула: «Дивно!» Морель признался, что знает только первые такты, и, не желая никого дурачить, а просто из мальчишеского

[307] Примечания: 307

…*«Празднества» Дебюсси…* — Имеется в виду второй из трех «Ноктюрнов» для оркестра Клода Дебюсси (1899).

озорства, заиграл марш Мейербера[308] На беду, заиграл он его почти без перерыва и без объявления, поэтому все решили, что он продолжает играть Дебюсси, и с прежним упоением восклицали: «Дивно!» Когда же Морель пояснил, что это создатель не «Пелеаса», а «Роберта-Дьявола», общество почувствовало себя неловко. Одна лишь маркиза де Говожо не ощутила этой неловкости — она обнаружила тетрадку Скарлатти,[309] и с лихорадочной поспешностью набросилась на нее. «О, возьмите и сыграйте, это божественно!» — восклицала она. А между тем схватила она с такой жадностью произведение композитора, которого долго не признавали и которого только недавно превознесли до небес, и представляло оно собой одну из тех несносных вещей, что не дают нам спать, так как безжалостная ученица без конца разучивает ее у вас над головой. Но Морелю надоела музыка, его привлекали карты — вот почему де Шарлю, чтобы принять участие в карточной игре, составить партию в вист. «Он

[308] Примечания: 308

Мейербер, Джакомо Якоб Либман Беер, (1791–1864) — немецкий композитор, творческая жизнь которого прошла в Париже. Здесь упоминается марш из его музыкальной драмы «Роберт-Дьявол» (1831).

[309] Примечания: 309

Скарлатти, Доменико (1685–1757) — итальянский композитор, прославившийся благодаря своим сочинениям для клавесина.

сказал вашему что он принц, — обратился к г-же Вердюрен Ский, — но это ложь, он из простой буржуазной семьи, из семьи самых заурядных архитекторов». «Меня интересует, что вы говорили о Меценате. Меня разбирает любопытство, понимаете, сударь?» — обратившись к Бришо, повторила г-жа Вердюрен только из любезности, но Бришо возликовал. Чтобы блеснуть своим остроумием перед Покровительницей, а заодно, быть может, и передо мной, он ответил так: «По правде говоря, сударыня, Меценат занимает меня главным образом потому, что он — первый достославный апостол того китайского бога, который насчитывает сейчас во Франции больше последователен, чем Брама, даже больше, чем Христос, он — апостол всемогущего бога Чхай-на-все». Г-жа Вердюрен не довольствовалась в таких случаях тем, что закрывала лицо руками. Она внезапно, точно насекомое, именуемое подёнкой, вонзалась в княгиню Щербатову; если княгиня находилась поблизости, Покровительница вцеплялась в нее, впивалась в нее ногтями и, как играющий в прятки ребенок, прятала голову у нее под мышкой. Когда она укрывалась за этой ширмой, у всех создавалось впечатление, что она смеется до слез, а она могла ни о чем не думать — так люди,

читающие про себя длинную молитву, прибегают к мудрой мере предосторожности; обнимают руками голову. Г-жа Вердюрен подражала им, слушая квартеты Бетховена: ей хотелось, чтобы все видели, что для нее это — богослужение, и вместе с тем ей хотелось, чтобы никто не заметил, что она спит. «Я говорю совершенно серьезно, сударыня, — продолжал Бришо. — По-моему, в наше время развелось слишком много людей, которые только и делают, что созерцают свой пуп как некий центр вселенной. Теоретически мне нечего возразить против какой-то там нирваны, которая стремится растворить пас во Всем (причем это Все, как Мюнхен или Оксфорд, гораздо ближе к Парижу, чем Аньер или Ла-Буа-Коломб), по ни настоящему французу, ни настоящему европейцу не делает чести то обстоятельство, что, когда японцы, быть может, уже стоят под стенами нашей Византии, социалистические антимилитаристы с важным видом продолжают спорить об основных достоинствах свободного стиха». Г-жа Вердюрен сочла возможным оставить в покое наболевшее плечо княгини и отвела от лица руки, но потом все-таки сделала вид, что вытирает слезы и старается отдышаться. Бришо, однако, попытался и меня втянуть в разговор: придя к

выводу на защите диссертаций — на которой он, как никто, умел председательствовать, — что молодежи бывает особенно лестно, когда ее жучат, когда ей придают особый вес, стараясь представить ей оппонента как реакционера, он сказал, украдкой бросая на меня взгляд, каким оратор незаметно для других скользит по лицу слушателя, имя которого он только что назвал: «Мне бы не хотелось хулить богов, которым поклоняется молодежь. Мне бы не хотелось, чтобы обо мне судили как о еретике и богоотступнике в церкви маллармистов[310] где наш новый друг, как все его сверстники, наверно, принимал участие в эзотерических мессах, хотя бы в качестве певчего, мне бы не хотелось, чтобы меня считали чужаком или розенкрейцером.[311] Но, сказать по правде, нам поднадоели интеллигенты, которые влюблены в Искусство с большой буквы и которые, когда от Золя они уже не пьянеют, впрыскивают себе

[310] Примечания: 310

…в *церкви маллармистов*… — Иронический намек на школу французских символистов, главой которой считался Стефан Малларме. Против темных, неясных символов современной поэзии Пруст выступил в 1896 г. со статьей «Против неясности».

[311] Примечания: 311

…*или розенкрейцером.* — Здесь имеется в виду не одно из известных масонских объединений, а художественно-эстетическое движение в Париже конца XIX века, в котором участвовали близкие Прусту писатели и художники.

Верлена. Благоговея перед Бодлером, они превратились в эфироманов, они уже не способны на подвиг, которого рано или поздно потребует от них родина, они все стали наркоманами под влиянием сильнейшего литературного невроза, в удушливой, возбуждающей, тяжелой атмосфере вредных испарений, под влиянием символизма курильщиков опиума». Я не мог заставить себя изобразить на своем лице хотя бы слабый восторг перед тем бессмысленным набором слов, который представляла собой рацея Бришо, и, повернувшись к Скому, попытался убедить его, что он глубоко ошибается относительно того, из какой семьи де Шарлю; Ский, ответив, что у него нет никаких сомнений, прибавил, что сам же я говорил ему, что настоящая фамилия де Шарлю — Ганден, Ле Ганден. «Я вам сказал, — возразил я, — что маркиза де Говожо — сестра инженера Леграндена. О де Шарлю у нас с вами никогда не было разговора. Де Шарлю и маркиза де Говожо такие же родственники, как Великий Конде и Расин». — «Ах вот что!» — небрежно бросил Ский, даже не подумав извиниться за свою ошибку, как не извинился он за несколько часов перед этим, когда его спутники из-за него чуть было не опоздали к встрече поезда. «Как долго вы

собираетесь пробыть у моря?» — спросила де Шарлю г-жа Вердюрен — она уже почувствовала в нем «верного» и теперь дрожала при мысли, что он скоро уедет в Париж. «Ах, боже мой, да разве можно загадывать? — растягивая слова и произнося их в нос, проговорил де Шарлю. — Моя мечта — прожить здесь до конца сентября». — «Вот и отлично. Сентябрь — это время таких бурь, что ими можно залюбоваться». — «Откровенно говоря, удерживает меня здесь не это. Последнее время я забывал моего покровителя — Михаила Архангела, а в нынешнем году мне бы хотелось замолить свой грех и пробыть здесь до двадцать девятого сентября, до его праздника в горном аббатстве». — «А разве вы всего этого придерживаетесь?» — спросила г-жа Вердюрен; может быть, ей и удалось бы заглушить в себе голос возмущенного антиклерикализма, но она боялась, как бы из-за долгой поездки скрипач с бароном на двое суток не «дернули» от нее. «По-видимому, у вас временами закладывает уши, — сдерзил де Шарлю. — Я же вам сказал, что Михаил Архангел — один из моих почитаемых покровителей». Затем, придя в состояние блаженного экстаза, глядя вдаль, он улыбнулся и голосом, которому придавал силу, как мне показалось, не столько

эстетический, сколько религиозный восторг, заговорил: «Это так прекрасно, когда во время возношения святых даров Михаил стоит подле алтаря, в белых одеждах, и взмахивает золотым кадилом, а вокруг него курится множество ароматов, и благоухание их возносится к Богу!» — «Не съездить ли туда всей компанией?» — подавляя отвращение к «поповщине», предложила г-жа Вердюрен. «Как было бы чудесно, если б при возношении даров, — продолжал де Шарлю, который по другим причинам, чем прославленные парламентские ораторы, но совершенно так же, как они, никогда не отвечал на реплики, притворяясь, что не слышит их, — наш юный друг сыграл что-нибудь из Палестрины[312] или даже исполнил арию Баха! Досточтимый аббат с ума сошел бы от радости. Это самая большая почесть, во всяком случае, самая большая почесть, какую я мог бы при всем народе воздать моему святому покровителю. Вот это, я понимаю, поучительный пример для верующих! Мы сейчас поговорим об

[312] Примечания: 312

Палестрина, Джованни (1524–1594) — итальянский духовный композитор, оказавший огромное влияние на развитие церковной музыки.

этом с молодым Анджелико[313] в музыке, тоже воином, как и Михаил Архангел».

Саньету предложили участвовать в игре в качестве «болвана», но он сказал, что не умеет играть в вист. Котар, удостоверившись, что времени до отхода поезда остается немного, сейчас же начал играть с Морелем в экарте. Разъяренный Вердюрен с грозным видом наступал на Саньета. «Так вы, значит, не умеете играть?» — кричал он в бешенстве оттого, что разладилась партия в вист, и в восторге оттого, что ему представился повод лишний раз отругать бывшего архивариуса. Архивариус от ужаса решил сострить: «Я умею играть на рояле». Котар и Морель сели друг против друга. «Вам сдавать», — сказал Котар. «Не подойти ли нам поближе к ломберному столу? — предложил маркизу де Говожо барон; ему не хотелось оставлять скрипача одного в обществе Котара. — Это так же любопытно, как правила этикета, хотя в наше время они не имеют большого значения. Единственные короли которые у нас еще остались, — по крайней мере во Фран-

[313] Примечания: 313

Анджелико, Фра Беато (1387–1455) — итальянский художник и монах-доминиканец, один из признанных мастеров христианской иконографии. Долгое время жил в доминиканском монастыре в городе Фьезоле близ Флоренции.

ции, — это короли карточные, и, по-моему, все они на руках у молодого виртуоза», — поспешил добавить он в восхищении от Мореля, даже от того, как он играет в карты, и желая ему польстить, а кроме того, наблюдение за игрой — это был благовидный предлог для того, чтобы наклониться над его плечом. «Бей его, мерзавца!» — подражая лихости матерых шулеров, вскричал Котар, и его дети покатились со смеху, как хохотали его ученики и главный врач клиники, когда профессор, даже у постели тяжелобольного, придав своему лицу эпилептически-безучастное выражение, отпускал одну из своих обычных шуточек. «Я не знаю, с чего мне ходить», — обратился за советом к маркизу де Говожо Морель. «Вы будете биты, с чего бы вы ни пошли, — это совершенно все равно»-. «Гуно? Чудесный композитор! Один его „Фауст“ чего стоит! Вот только фамилия у него неблагозвучная». Маркиз встал с тем презрительно резким выражением лица, какое бывает у людей благородного происхождения, которые не могут взять в толк, чем они оскорбляют хозяина дома, когда делают вид, будто они не уверены, можно ли водить знакомство с их гостями, и которые, говоря о них с пренебрежением, ссылаются на английский обычай: «Кто этот господин,

который играет в карты, чем он занимается, чем он торгует? Я хочу знать, в чьем обществе я нахожусь, а то еще свяжешься Бог знает с кем. Когда вы были так любезны, что представили меня ему, я не расслышал его фамилии». Если бы Вердюрен действительно представил своим гостям маркиза де Говожо, маркиз был бы недоволен. Но Вердюрен ни с кем его не знакомил — вот почему маркиз решил держаться благожелательно и скромно: так, мол, будет приятно другим и безопасно для него. Вердюрен и прежде гордился своей дружбой с Котаром, но с тех пор, как Котар стал знаменитым профессором, дружба эта еще больше льстила его самолюбию. Только теперь Вердюрен выражал свою гордость не так наивно. В былое время, когда Котар почти не пользовался известностью, Вердюрен, если с ним заговаривали о воспалении лицевого нерва у его жены, отвечал с наивной хвастливостью человека, который полагает, что известное ему славится на весь мир и что все обязаны знать, как фамилия учителя пения, дающего уроки его детям: «Тут уж ничего не поделаешь. Если бы за ней наблюдала какая-нибудь посредственность, ну, тогда можно было бы попробовать другое лечение, но ее врач — Котар (Вердюрен произносил

эту фамилию с таким благоговением, как будто это был не Котар, а Бушар[314] или Шарко), и на его команду можно отвечать только: „Слушаюсь!“» Уверенный в том, что маркиз де Говожо не мог не слышать о знаменитом профессоре Котаре, Вердюрен воспользовался противоположным приемом и надел на себя личину простачка: «Это наш домашний врач, славный малый, мы его обожаем, а он ради нас дал бы разрезать себя на куски; это не врач — это друг; вы его, наверно, не знаете, его имя вам, наверно, ничего не говорит, а для нас Котар — это имя прекрасного человека, нашего дорогого друга». Вердюрен пробормотал имя Котара с таким скромным видом, что это ввело в заблуждение маркиза де Говожо: он решил, что тот имеет в виду кого-то другого. «Котар? Вы говорите о профессоре Котаре?» Тут как раз послышался голос вышеназванного профессора: ход партнера поставил его в тупик, и, держа карты в руках, он проговорил: «Вот тут-то Зевс и зевнул». «Ну да, он самый, профессор», — подтвердил Вердюрен. «Да что вы? Профессор Котар? А вы не ошибаетесь? Вы уверены, что это тот самый, который живет на Паромной улице?» — «Да, он

[314] Примечания: 314

Бушар, Шарль (1837–1915) — французский врач, член Медицинской академии.

живет на Паромной улице, дом сорок три. Вы его знаете?» — «Кто же не знает профессора Котара? Это светило! Это все равно, что спросить меня, знаю ли я Буф де Сен-Блеза[315] или Куртуа-Сюфи. Когда я его слушал, я сразу понял, что это человек незаурядный, вот почему я и позволил себе спросить вас о нем». «Что ж теперь, разве козырнуть?» — спросил сам себя Котар. И, тут же решившись пойти с козыря, напустил на себя бесшабашность, вид «отчаянной головы», вид человека, который рискует всем, ставит на карту жизнь, и грубым голосом, который произвел бы неприятное впечатление, даже если бы кто-то вознамерился совершить героический поступок, даже если бы солдат захотел в обычных для него выражениях высказать презрение к смерти, но который прозвучал особенно, до нелепости грубо во время такого безопасного времяпрепровождения, как игра в карты, крикнул: «А, да наплевать, в конце концов!» Он сделал неудачный ход, но быстро утешился. Г-жа Котар облюбовала себе посреди гостиной широкое кресло и, впав в состояние, какое она неизменно испытывала после ужина, не в силах сопротивляться ему,

[315] Примечания: 315

Буф де Сен-Блез, Габриэль, *Куртуа-Сюфи,* Морис — известные в то время парижские врачи.

отдалась во власть долгого и чуткого сна. Временами она тщетно выпрямлялась, и на лице у нее появлялась улыбка: то ли она в глубине души посмеивалась над собой, то ли боялась не ответить на любезность, которую кто-нибудь ей говорил, но затем безвольно, поддавшись неумолимому и сладостному недугу, снова откидывалась на спинку кресла. Будил ее лишь на мгновение не столько шум, сколько взгляд (этот взгляд она, будучи натурой чувствительной, видела даже закрытыми глазами и предугадывала его, так как одна и та же сцена повторялась из вечера в вечер и тревожила ее сон, как тревожил его утренний час, когда пора было вставать), — взгляд, которым профессор показывал присутствующим на спящую жену. Сперва он только смотрел на нее и улыбался (как врач он считал сон после еды вредным, — по крайней мере, он приводил этот научный довод, когда под конец начинал возмущаться, однако никто бы не мог поручиться за то, что он решительный противник такого сна, — столь часто менялась его точка зрения), но потом как муж — повелитель и насмешник — устраивал себе потеху, сначала только слегка нарушал ее сон, чтобы она сейчас же опять заснула, а потом с особым удовольствием будил ее снова.

Наконец г-жа Котар заснула крепко. «Эй, Леонтина, ты дрыхнешь!» — крикнул ей профессор. «Я, друг мой, слушаю, что говорит госпожа Сван», — слабым голосом отозвалась г-жа Котар, снова погрузившаяся в летаргию. «Да ведь это же просто глупо! — вскричал Котар. — Теперь она будет доказывать нам, что не спала. Она вроде тех пациентов, которые являются на прием и уверяют, что совсем не спят». — «Может быть, это им кажется», — смеясь, сказал маркиз де Говожо. Доктор любил возражать не меньше, чем дразнить, а главное, не допускал, чтобы профан смел рассуждать о медицине. «Человеку не может казаться, что он не спит», — безапелляционным топом заявил он. «Ах вот оно что!» — сказал маркиз, почтительно склонив голову, как в прежние времена склонил бы перед ним голову Котар. «Сразу видно, — продолжал Котар, — что вам не приходилось, как приходилось мне, закатывать до двух граммов трионала, причем даже от такой дозы больные не засыпают». — «Да, это верно, — самоуверенно похохатывая, согласился маркиз, — я никогда в жизни не принимал трионала и всех прочих такого рода снадобий, которые скоро перестают действовать, а желудок расстраивают. Провели бы, как я, всю ночь на

охоте в Трусьем Щебете — смею вас уверить, заснули бы без всякого трионала». — «Это могут утверждать люди невежественные, — возразил профессор. — В иных случаях трионал отлично поднимает нервный тонус. Вот вы говорите о трионале, а вы знаете, что это такое?» — «Я... я слышал, что это снотворное». — «Вы не отвечаете на мой вопрос, — тоном экзаменатора сказал профессор. — Я вас не спрашиваю, спят от него или не спят, — я спрашиваю, что это такое. Вы можете мне сказать, какой процент в нем амила, а какой — этила?» — «Нет, — смущенно ответил маркиз де Говожо. — Я предпочитаю рюмку выдержанного коньяку или, на худой конец, портвейна номер триста сорок пять». — «Это в десять раз вреднее», — перебил его профессор. «О трионале, — осмелился подать совет профессору маркиз де Говожо, — вы бы лучше поговорили с моей женой — она принимает всякие такие вещи». -«И знает о них приблизительно столько же, сколько вы. Одним словом, ваша жена принимает трионал, чтобы заснуть, а моя жена, как видите, в нем не нуждается.

Да ну же, Леонтина, встряхнись, этак у тебя образуется анкилоз. Ты когда-нибудь видела, чтобы я спал после ужина? Что ты будешь делать

в шестьдесят лет, если ты уже сейчас спишь, как старуха? Тебя разнесет, у тебя нарушается кровообращение… Ничего не слышит!» — «Дремать после ужина — ведь это вредно, правда, доктор? — чтобы реабилитировать себя в глазах Котара, спросил маркиз де Говожо. — После того, как плотно поешь, нужен моцион». — «Вздор! — отрезал профессор. — Одинаковое количество пищи было взято на анализ из желудка собаки не двигавшейся и из желудка собаки бегавшей, и оказалось, что у первой пищеварение происходило быстрее». — «Так, значит, пищеварению препятствует сон?» — «Это зависит от того, что вы имеете в виду: пищевод, желудок или кишечник, но раз вы не изучали медицину, объясняй вам, не объясняй — вы все равно ничего не поймете. Ну, Леонтина, шагом арш, пора домой!» Доктор слукавил — он и не собирался уезжать, ему хотелось доиграть партию, но он надеялся решительно прервать сон этой немой, к которой он, не получая ответа, обращался с увещаниями, подкрепляя их научными доводами. Оттого ли, что даже в сонном состоянии г-жа Котар все еще продолжала бороться со сном, оттого ли, что ее голове не на что было опереться, но только голова г-жи Котар как заведенная раскачивалась

слева направо и снизу вверх, точно предмет, движущийся по инерции в пустом пространстве, и, глядя на нее, казалось, что сейчас она как будто слушает музыку, а сейчас находится при последнем издыхании. Уговорами доктор ничего не достиг — на нее подействовало глупое положение, в каком она очутилась. «Ванна достаточно теплая, — пробормотала г-жа Котар, — но вот перья из словаря!.. — воскликнула она и выпрямилась. — Ах, Боже мой, какая же я глупая! Что это я горожу? Я думала о моей шляпе и, наверно, замолола чепуху; еще немного — и я бы задремала, а все этот проклятый огонь». Присутствующие засмеялись, потому что никакого огня не было.

— Вы из меня дурочку строите, — смеясь над самой собой, сказала г-жа Котар и с легкостью магнетизера и с ловкостью женщины поправила прическу и смахнула со лба последние тени сна, — приношу глубокие извинения дорогой госпоже Вердюрен и прошу ее сказать мне правду. — Но ее улыбка тотчас стала грустной, потому что профессор, знавший, что его жена хочет нравиться ему и безумно боится, что он ее разлюбит, крикнул ей: «Посмотри на себя в зеркало, ты вся красная, как будто у тебя сыпь высыпала, вид у тебя как у деревенской старухи». «Вы знаете, он

просто очарователен, — заговорила г-жа Вердюрен, — в нем есть милая, беззлобная шутливость. И потом, он вырвал моего мужа из лап смерти, когда весь медицинский факультет приговорил его. Он провел у его постели три бессонные ночи. Вот почему да будет вам известно, что для меня Котар, — дотронувшись до своих изящно очерченных висков, на которые падали седые пряди, произнесла она торжественно и почти угрожающе, как будто мы хотели обидеть доктора, — это нечто священное! Я ни в чем не могла бы ему отказать. Я называю его не „доктор Котар“, а „доктор бог“. Но и этим названием я его принижаю, потому что этот бог по мере возможности выручает нас в бедах, за которые несет ответственность другой». «Ходите с козыря», — со счастливым видом сказал Морелю де Шарлю. «Попробуем с козыря», — сказал скрипач. «Сначала надо было с короля, — заметил де Шарлю, — вы рассеянны, но вообще как вы хорошо играете!». _ «Вот он, мой король», — сказал Морель. «Красавец мужчина», — подхватил профессор. «Что это за штука — вот эти палочки? — спросила г-жа Вердюрен, показывая маркизу де Говожо на великолепный лепной герб над камином. — Это ваш герб?» — с презрительной насмешкой в голосе добавила

она. «Нет, это не наш герб, — ответил маркиз де Говожо. — У нас на золотом поле три полосы со сходящимися и расходящимися зубцами, по пяти на каждой, а над ними золотые трилистники. Нет, это герб де Кольявон — они не ветвь нашего рода, но от них мы получили в наследство этот дом, и никто из нас ничего здесь не менял. У Кольявон (когда-то они, кажется, звались Кольгнилье) на золотом поле было пять кольев с тупыми концами. Когда они породнились с нами, владельцами Фетерна, их щит изменился, но все-таки в него между двадцатью перекрещивающимися крестиками вколочен малюсенький золотой колышек, а справа от колышка — прыжок горностая»: — «Так ее!» — шепнула маркиза де Говожо. «Моя прабабушка была урожденная де Кольявон или д'Этикольявон — ее можно называть и так и этак, в древних грамотах встречаются обе фамилии, — продолжал маркиз де Говожо; он покраснел как рак, оттого что только сейчас вспомнил о том, что жена оказала ему честь, поделившись с ним своими впечатлениями, и теперь ему стало не по себе при мысли, как бы г-жа Вердюрен не приняла на свой счет его слова, не имевшие к ней никакого отношения. — Согласно истории, в одиннадцатом веке первый Кольявон, Масе, так

называемый Кольгнилье, во время осад необычайно ловко вырывал из земли колья. Вот за что он получил прозвище де Кольявон, а вместе с прозвищем выслужил дворянство, и, как видите, колья на протяжении столетий сохраняются в его гербе. Это колья, которые, чтобы сделать крепость неприступной, вбивали, втыкали — извините за выражение — перед ней в землю и скрепляли. Эти самые колья вы и назвали так остроумно палочками, но только они ничего не имеют общего с прутиками нашего знаменитого Лафонтена.[316] Считалось, что это самая падежная ограда крепости. Попятно, теперь, когда у нас такая могучая артиллерия, это может вызвать только улыбку. Но ведь мы говорим об одиннадцатом веке». — «Это несовременно, — заметила г-жа Вердюрен, — а вот колоколенка оригинальна». «Вам идет такая карта, что просто… тюрлютю-тю, — сказал Котар, как обычно, употребляя свое любимое присловье вместо мольеровского. — Знаете, почему бубновый король освобожден от воинской повинности?» — «Как бы я хотел быть на его месте!» — сказал Морель, тяготившийся военной службой. «Какой же вы плохой патри-

[316] Примечания: 316

…с *прутиками нашего знаменитого Лафонтена.* — Намек на басню Лафонтена «Верблюд и летающие палочки» (IV, 10).

от!» — воскликнул де Шарлю и не удержался, чтобы не ущипнуть скрипача за ухо. «Нет, вы не знаете, почему бубновый король освобожден от воинской повинности, — продолжал ценивший свои шутки Котар, — потому, что у него только один глаз». — «Вы имеете дело с сильным противником, доктор», — сказал маркиз де Говожо; ему хотелось дать Котару попять, что он знает, кто Котар по профессии. «Этот молодой человек — просто чудо, — вырвалось у де Шарлю. — Он играет как бог». Это восклицание не пришлось по душе доктору, и он возразил: «Цыплят по осени считают. Посмотрим еще, кто кого». «Дама, туз», — торжествуя, объявил Морель — ему решительно везло. Доктор наклонил голову, как бы в знак того, что он считает себя побежденным, и, словно зачарованный, произнес: «Красота!» «Мы были очень рады, что с нами ужинал барон де Шарлю», — сказала г-же Вердюрен маркиза де Говожо. «Вы раньше не были с ним знакомы? Человек он, в общем, приятный, оригинальный, в нем чувствуется эпоха (она бы затруднилась определить, какая именно)», — ответила г-жа Вердюрен с удовлетворенной улыбкой любительницы изящного, судьи и хозяйки дома. Маркиза де Говожо предложила мне приехать с Сен-Лу в

Фетерн. Я не мог удержать восторженный вскрик при виде луны, повисшей, словно оранжевый фонарь, над дубовым шатром, начинавшимся у самого замка. «Это еще что! Вскоре, когда луна поднимется выше и всю долину озарит ее свет, будет в тысячу раз красивее. Вот чего нет у вас в Фетерне!» — пренебрежительно бросила она маркизе де Говожо, а та растерялась: ей не хотелось умалять достоинства своего имения, особенно в глазах дачницы. «Вы еще здесь поживете?» — спросил г-жу Котар маркиз де Говожо; в его вопросе можно было различить неопределенное желание пригласить ее, но только без намерения тут же условиться о дне встречи. «Ну конечно! Ради детей я считаю необходимым ежегодно предпринимать это путешествие. Что там ни говори, а им хорошо пожить на вольном воздухе. Факультет посылал меня в Виши, но там уж очень душно, а своим желудком я займусь, когда эти здоровенные малые еще подрастут. Да и потом, у профессора всегда бывает столько возни с этими экзаменами, от жары он очень устает. Я считаю, что мой муж, который целый год работает как вол, нуждается в длительном отдыхе. Месяц-то мы уж, во всяком случае, здесь пробудем». — «А, ну тогда, значит, мы с вами еще увидимся!» — «Я

вот еще почему должна здесь задержаться: муж хочет съездить в Савойю, а вернется он не раньше, чем через две недели и потом уже будет тут отдыхать безвыездно». — «Вид на долину мне нравится больше, чем на море, — продолжала г-жа Вердюрен. — Когда вы поедете обратно, погода будет чудесная». — «Не мешает все-таки посмотреть, как там с лошадьми, — конечно, если вам уж так нужно сегодня же вернуться в Бальбек, — сказал мне Вердюрен, — хотя я лично никакой необходимости в этом не вижу. Завтра утром вас бы и отвезли. Погода наверняка будет прекрасная. Дорога отличная». Я сказал, что остаться на ночь никак не могу. «Во всяком случае, еще не пора, — объявила Покровительница. — Оставь ты их в покое, времени у них еще много. Что ж хорошего, если они приедут на станцию за час до отхода поезда? Здесь-то ведь им лучше. Ну, а вы, мой юный Моцарт, — не решаясь обратиться непосредственно к де Шарлю, спросила она у Мореля, — вам бы не хотелось остаться? У нас есть чудные комнаты окнами на море». — «Да ему нельзя задерживаться, — ответил де Шарлю за не расслышавшего страстного игрока. — Его отпустили только до полуночи. Он должен вернуться и лечь спать, как умный, послушный

мальчик», — проговорил барон покровительственно, жеманно, делая упор на словах, точно он испытывал мучительное блаженство, употребляя это целомудренное сравнение, попутно выделяя голосом все, что относилось к Морелю, прикасаясь к нему, как бы ощупывая его вместо руки словами.

Из нравоучения, с коим ко мне обратился Бришо, маркиз де Говожо сделал вывод, что я дрейфусар. Так как сам он был крайним антидрейфусаром, то из вежливости к противнику он стал расхваливать какого-то полковника-еврея, который был всегда очень справедлив к одному из Шевриньи и добился для него заслуженного повышения. «А ведь у моего двоюродного брата совсем другой образ мыслей», — прибавил маркиз де Говожо; он не пояснил, что это за образ мыслей, но я догадался, что он такой же старый и так же грубо сколоченный, как лицо маркиза, образ мыслей, которого с давних пор придерживаются иные семьи в провинциальных городишках. «Так вот, знаете ли, по-моему, с его стороны это очень красиво!» — заключил маркиз де Говожо. Употреблял он это определение, однако, не в эстетическом смысле — в отличие от его матери и жены, которые применяли его только

к произведениям искусства, хотя бы принадлежащим к разным его видам. Маркиз де Говожо пользовался этим определением чаще всего в тех случаях, когда, например, приветствовал изящную, но слегка располневшую женщину: «Как, вы за два месяца прибавили три кило? Вы знаете, это очень красиво!» На стол поставили прохладительные напитки. Г-жа Вердюрен предложила, чтобы каждый мужчина сам выбрал напиток, который он больше всего любит. Де Шарлю выпил стакан, поспешил вернуться к ломберному столу, сел и больше ни разу не встал с места. Г-жа Вердюрен обратилась к нему с вопросом: «Вы попробовали мой оранжад?» Де Шарлю, подойдя к креслу, очаровательно улыбнулся, поиграл губами и, покачивая бедрами, ответил звонким голосом, каким говорил редко: «Нет, я предпочел его соседку; по-моему, это земляничная; какая прелесть!» Странное дело: некоторые внутренние переживания выявляются в манере говорить или в жестикуляции. Если какой-нибудь мужчина верит или не верит в непорочное зачатие, или в невинность Дрейфуса, или в множественность миров, но хочет об этом умолчать, то ни его голос, ни его телодвижения не выдадут его мыслей. Но вот, послушав, как де Шарлю с улыбочкой,

жестикулируя, произнес тонким голосом: «Нет, я предпочел его соседку, земляничную», — можно было предположить: «Эге, да он любит сильный пол!» — предположить с такой же уверенностью, с какой судья, не колеблясь, выносит обвинительный приговор ни в чем не сознавшемуся подсудимому, с какой врач приговаривает к смерти паралитика, который, может быть, даже и не подозревает, что он болен, но который допускает ошибку в произношении, дающую возможность определить, что он умрет через три года. Быть может, людям, угадывающим по тому, как мужчина говорит: «Нет, я предпочел его соседку, земляничную», что тут скрывается так называемая ненормальная любовь, не требуется углубленных познаний. Тут есть более непосредственная связь между внешним признаком и тайной. Не отдавая себе ясного отчета, мужчины чувствуют, что им отвечает милая улыбающаяся дама и что она как будто кокетничает, а производит она такое впечатление оттого, что готова отдаться мужчине, и оттого, что кокетничающий мужчина — явление необычное. Если б мы захотели облагородить подобного рода мужчин, то могли бы, пожалуй, нарисовать себе такую картину: будто во времена незапамятные некое число

ангелоподобных женщин по ошибке было отнесено к мужскому полу, пребывая же в изгнании, вотще простирая крылья к мужчинам, которым они внушают физическое отвращение, они постигают искусство устраивать салоны, создают «домашний уют». Де Шарлю не стесняло то, что г-жа Вердюрен разговаривает с ним стоя, — он продолжал сидеть в кресле, чтобы быть ближе к Морелю. «Как по-вашему, — задала вопрос барону г-жа Вердюрен, — разве это не преступление: человек, который мог бы очаровывать нас своей игрой на скрипке, сражается в экарте? Ведь он такой дивный скрипач!» — «Он хорошо играет и в карты, он все хорошо умеет делать, он умница», — следя за игрой, чтобы давать советы Морелю, сказал де Шарлю. Надо заметить, что это была не единственная причина, вынуждавшая барона разговаривать с г-жой Вердюрен, сидя в кресле. Его общественное сознание представляло собой своеобразную амальгаму: общественное сознание важного господина сочеталось в нем с общественным сознанием любителя искусств, в силу чего он, вместо того чтобы быть таким же учтивым, как всякий человек его круга, создавал себе нечто вроде живых картин в духе Сен-Симона, а сейчас он изображал из себя маршала

д'Юкселя,[317] который, впрочем, занимал его и другими своими чертами и о котором рассказывают, будто его чванство доходило до того, что он, корча из себя неженку, не считал нужным вставать даже перед высшими придворными чинами. «А скажите, Шарлю, — спросила г-жа Вердюрен, уже начинавшая чувствовать себя с ним проще, — не знаете ли вы в вашем Сен-Жерменском предместье какого-нибудь старого разорившегося аристократа, который пошел бы ко мне в швейцары?» — «Как же, как же, знаю, — добродушно улыбаясь, ответил де Шарлю, — но рекомендовать я вам его не рекомендую». — «Почему?» — «Боюсь, что самые элегантные из ваших гостей дальше швейцарской не пойдут». Это была первая пикировка между ними. У г-жи Вердюрен она не вызвала особой настороженности. К сожалению, в Париже за первой пикировкой последовали другие. Де Шарлю по-прежнему не вставал с кресла. По его лицу промелькнула еле заметная улыбка, так как он убедился, сколь верны его мысли, которые он любил повторять: о влиятельности аристократии и о раболепстве буржуазии, — убедился на примере г-жи Вер-

[317] Примечания: 317

Д'Юксель, Никола де Ле дю Бле, маркиз (1652–1730) — французский военачальник, маршал.

дюрен, которую он так легко себе подчинил. Казалось, Покровительницу нисколько не удивляла поза барона — она отошла от пего, только когда увидела, что маркиз оставил меня одного. Но до этого г-жа Вердюрен решила выяснить, в каких отношениях де Шарлю с графиней Моле. «Вы мне сказали, что знакомы с графиней де Моле. Вы у нее бываете?» — спросила она, вкладывая в слова «Вы у нее бываете?» такой смысл, что графиня принимает его у себя, что она его до себя допускает. Де Шарлю ответил нараспев, с презрительной ноткой в голосе, нарочито отчетливо: «Иногда бываю». Это «иногда» заронило сомнение в душу г-жи Вердюрен, и она обратилась к барону с вопросом: «Вы там встречались с герцогом Германтским?» — «Что-то не помню». — «Разве вы не знаете герцога Германтского?» — удивилась г-жа Вердюрен. «Как же мне его не знать!» — ответил де Шарлю, и его губы искривила улыбка. Это была насмешливая улыбка, но так как барону не хотелось показывать свой золотой зуб, то он выпятил губы, и сейчас их выгиб долженствовал выражать благожелательность. «Почему как же вам его не знать?» — «Да потому, что он мой брат», — небрежным тоном сказал де Шарлю, повергнув г-жу Вердюрен в изумление и

в состояние растерянности: она никак не могла уразуметь, издевается над ней ее гость, или он незаконный сын, а может быть, от другого брака. Мысль, что брат герцога Германтского может называться бароном де Шарлю, не приходила ей в голову. Она подошла ко мне: «Маркиз де Говожо вас только что приглашал на ужин. Вы, конечно, понимаете, что мне до этого никакого дела нет. Но не поехать к ним — это в ваших же интересах, уверяю вас. Прежде всего, там тоска зеленая. Если вы любитель ужинов с провинциальными графами и маркизами, о которых никто никогда не слышал, — ну, тогда, конечно, вы будете там блаженствовать». — «Должно быть, мне все-таки придется съездить к ним разок-другой. Но я особенно не располагаю своим временем — со мной здесь молоденькая девушка, моя родственница, я не могу оставлять ее одну (мне казалось, что благодаря мнимому родству мне легче будет выезжать с Альбертиной). Но вот насчет Говожо… я ведь уже ее познакомил с ними…» — «Ну, как знаете. Но только я вас предупреждаю: там на редкость нездоровый воздух; если вы схватите воспаление легких или у вас разыграется хороший наследственный ревматизмик — как, весело вам будет?» — «Но ведь там, говорят очень краси-

вые места?» — «М-м-м… Да, пожалуй. По по правде сказать, я в тысячу раз больше люблю вид отсюда на долину. А главное, я бы там не стала жить, даже если б нам за это заплатили, потому что для господина Вердюрена морской воздух — это пагуба. Если только ваша родственница нервная… Да ведь вы сами, по-моему, нервный… у вас бывают приступы удушья. Вот увидите: съездите один раз — потом целую неделю спать не будете, но уж тогда пеняйте на себя. — Не подумав о том, что она противоречит самой себе, г-жа Вердюрен продолжала: — Если у вас есть желание посмотреть на дом, — а дом недурен; сказать, что он красив, это было бы преувеличением, но он интересен, и этот старый ров, и старый подъемный мост, — приезжайте в тот день, когда и я буду там ужинать: один раз уж как-нибудь придется потерпеть, — приезжайте, а я постараюсь затащить туда весь мой кружок: вот тогда все будет очень мило. Послезавтра мы поедем на лошадях в Аранбувиль. Дорога чудная, там превкусный сидр. Поедемте с нами! Вы, Бришо, тоже поедете. И вы, Ский, тоже. Это будет пикник — мой муж все уже для него подготовил. Вот только я точно не знаю, кого он пригласил. Барон! Вы ведь тоже?» Барон не слышал нашего разговора, не понял, что речь

идет о поездке в Аранбувиль, и так и подпрыгнул на месте. «Странный вопрос!» — насмешливо пробормотал он, покоробив г-жу Вердюрен. «Вот что, — обратилась она ко мне, — почему бы вам еще до ужина у Говожо не привезти к нам вашу родственницу? Она любит поговорить? Любит интеллигентных людей? Она симпатичная? Ну вот и отлично, превосходно. Приезжайте с ней. Ведь не одни Говожо существуют на свете. Я знаю, что они будут счастливы пригласить ее к себе, им никого не удается зазвать. Здесь она всегда может подышать свежим воздухом, встретиться с интеллигентными людьми. Во всяком случае, я надеюсь, что в следующую среду вы меня не подведете. Я слышала, что вы с вашей родственницей, с бароном и с кем-то еще собираетесь попить чайку в Ривбеле. Приезжайте оттуда к нам; как бы это было мило, если б вы приехали целой компанией! Сообщение — удобнее не придумаешь, дорога прекрасная; если хотите, я вышлю за вами экипаж. Не понимаю, что вас тянет в Ривбель. Там тучи комаров. Быть может, вам нарассказали, что Ривбель славится галетами? Мой повар делает их гораздо лучше. Я вас угощу нормандскими галетами, настоящими, и песочным печеньем, можете не сомневаться.

Вам нравится эта гадость, которой потчуют в Ривбеле? Вольному воля, но у меня вы этого не получите, я моих гостей не отравляю, а если б и захотела отравить, мой повар не стал бы готовить эту неописуемую пакость и нашел бы себе другое место. Непонятно, из чего делаются тамошние галеты. Одна несчастная девушка, моя знакомая, наелась их, у нее началось воспаление брюшины, и через три дня она умерла. Ей было только семнадцать лет. Жаль ее бедную мать, — наморщив чело, с видом многоопытной и много пережившей женщины, печально проговорила г-жа Вердюрен. — Ну, Бог с вами: поезжайте в Ривбель, если уж вам так хочется расцарапать себе горло и выбросить деньги на ветер. Но только уж я на вас надеюсь: ровно в шесть часов соберите всех и везите сюда, только смотрите, чтобы не разбрелись. Привозите кого угодно. Это я не всякому позволю. Но я уверена, что у вас друзья славные, я вижу, что мы друг друга понимаем. Не говоря уже о нашем „ядрышке“, именно в среду у нас должны быть очень приятные люди. Вы не знакомы с этой малышкой, госпожой Лонпон? Она обворожительна, остроумна, в ней совсем нет снобизма, она вам понравится, вот увидите. Она должна привезти с собой целую ватагу друзей, —

сочла нужным сообщить мне г-жа Вердюрен, чтобы я убедился на примере, что это хороший тон. — Посмотрим, кто из вас пользуется большим влиянием и кто привезет больше народу: Барб де Лонпон или вы. Если не ошибаюсь, к нам должны привезти еще и Бергота, — сказала она неопределенно, так как после заметки в утренних газетах о том, что здоровье этого большого писателя внушает самые серьезные опасения, приезд его к Вердюренам представлялся весьма сомнительным. — Словом, вы увидите, что это будет одна из самых блестящих моих сред; скучных дам я к себе не пущу. Но только не судите по сегодняшнему вечеру — он решительно не удался. Не спорьте; мне было еще скучнее, чем вам, я просто изнывала от скуки. Но ведь раз на раз не приходится! Я говорю не о Говожо — эти просто невыносимы, но некоторые светские люди производят на многих приятное впечатление — и что же? Мое „ядрышко“ их совершенно затмило. Я слышала, что вы отзывались о Сване как о человеке интеллигентном. Прежде всего, на мой взгляд, вы сильно преувеличиваете, но я имею в виду даже не его характер, хотя я всегда считала, что он крайне антипатичен, замкнут, угрюм, — ведь он часто ужинал у меня по средам. Спросите кого

угодно: даже рядом с Бришо — а Бришо далеко не орел, он хороший учитель в старших классах, которого я протолкнула в Академию, только и всего, — Сван казался ничтожеством. Он был до того бесцветен!» На мою попытку возразить г-жа Вердюрен ответила так: «Нет, тут я права. Я не хочу сказать о нем ничего дурного, раз он был вашим другом; он действительно очень вас любил, отзывался о вас прекрасно, но спросите у моего „ядрышка“, сказал ли он хоть что-нибудь интересное на наших ужинах. А это все-таки пробный камень. Ну так вот, не знаю, почему, но только со Сваном у меня ничего не выходило, ничего не получалось. Да и то, чем он мог бы похвалиться, он почерпнул у нас». Я начал доказывать, что он был очень умен. «Нет, вы это утверждаете только потому, что узнали его гораздо позднее меня. В сущности, он очень скоро приелся. На меня он наводил тоску. (Это означало: „Он бывал у Ла Тремуй и у Германтов, хотя знал, что я туда не вхожа“.) Я могу вытерпеть все, кроме скуки. Что — что, а скуку я не выношу!» Считая нужным объяснить, кого она допускает в свой кружок, г-жа Вердюрен давала понять, что ею руководит страх скуки. Она все еще не принимала у себя герцогинь, потому что ей было не по силам скучать, — вот

так же она, боясь морской болезни, не ездила по морю. Я подумал что в словах г-жи Вердюрен есть доля истины; Германты, например, заявили бы, что такого дурака, как Бришо, они еще никогда не видели, а мне приходила в голову мысль, не выше ли он если не Свана, то уж, во всяком случае, тех, кто был пропитан духом Германтов, кто считал, что хороший вкус сказывается, между прочим, в том, чтобы не слушать его педантических побасенок, и кто получил достаточно нежное воспитание, чтобы они вогнали его в краску, и я задавал себе этот вопрос, решавшийся мною так же глубокомысленно, как христианин, находящийся под влиянием Пор-Рояля[318] и старающийся постигнуть, что есть благодать, как будто ответ, который мне предстояло дать себе на свой вопрос, мог в известной мере прояснить мне свойство интеллигентности. «Вот вы увидите, — продолжала г-жа Вердюрен, — когда светские люди попадают в общество настоящих интеллигентов, людей нашего круга, тут-то они и саморазоблачаются: светский человек, самый

[318] Примечания: 318

Пор-Роялъ — женский монастырь близ Парижа, основанный в 1204 г. и сыгравший значительную роль в распространении янсенизма, главным догматом которого было отрицание свободной воли у человека и вера в предопределение. Был славен своим училищем, давшим Франции многих ученых и писателей.

умный в царстве слепых, здесь становится одноглазым. А люди из другого мира в его присутствии испытывают чувство скованности. И вот мне невольно приходит на ум: а что, если вместо того, чтобы собирать у себя разношерстное общество, от которого ничего хорошего не жди, устроить несколько вечеров подряд только для скучных, чтобы я могла вполне оценить мое „ядрышко“? Итак, вы приедете с вашей родственницей. С этим покончено. Отлично. Здесь, по крайней мере, вас обоих накормят. А в Фетерне — голод и жажда. Вот если вы любите крыс, тогда поезжайте туда немедленно: получите полное удовольствие. Вы можете там пожить сколько вашей душе угодно. Но только как бы вам не умереть с голоду. Во всяком случае, когда я туда выберусь, то перед отъездом поужинаю. А чтобы нам было веселее, заезжайте-ка за мной. Мы как следует закусим, а когда вернемся — еще раз поужинаем. Вы любите яблочный пирог? Да? Ну так вот, никто в мире не делает его как мой повар. Видите, я же говорила, что вам необходимо пожить здесь. Ну так приезжайте и погостите. Знаете, у нас тут гораздо больше места, чем кажется на первый взгляд. Я об этом не распространяюсь, чтобы не налетали скучные люди. Вы могли бы пожить здесь с вашей

родственницей. Здесь она подышит не таким воздухом, как в Бальбеке. Я утверждаю, что этим воздухом мне удавалось вылечивать безнадежно больных. Честное слово, я их вылечивала, и не последнее время. Ведь мне раньше приходилось жить совсем близко отсюда, то место я сама же и открыла, и платила я за него сущие гроши, а виды там необыкновенные, не то что в этой их Распельер. Я вам его покажу на прогулке. Но я признаю, что и здесь воздух в самом деле живителен. Но я не хочу об этом раззванивать, а то как бы парижане не полюбили мой уголок. Я уж на это не раз нарывалась. Одним словом, передайте вашей родственнице. Вам предоставят две прелестные комнаты окнами на долину, по утрам вам будет видно, как из полумглы выплывает солнце! А кто такой этот ваш Робер де Сен-Лу? — спросила г-жа Вердюрен с беспокойством: она слышала, что я собираюсь к нему в Донсьер, и боялась, как бы из-за этого я ее не „надул“. — Лучше привезите его сюда, если только он не скучный. Я слышала, как о нем говорит Морель; должно быть, это один из его ближайших друзей, — сказала г-жа Вердюрен, но это была чистейшая ложь: Сен-Лу и Морель понятия не имели друг о друге. Услышав, что Сен-Лу знаком с де Шарлю, она вообразила, что их позна-

комил скрипач, и ей хотелось показать, что она обо всем осведомлена. — Может быть, он занимается медициной или литературой? Знаете, если вам нужна протекция на экзаменах, то Котар всемогущ, а для меня он сделает все. Что же касается Академии, если это понадобится потом, — сейчас, я полагаю, он еще не подходит по возрасту — то имейте в виду, что там я располагаю несколькими голосами. Ваш друг оказался бы здесь среди людей, родственных ему по духу; может быть, ему было бы интересно осмотреть самый дом. В Донсьере ничего любопытного нет. Словом, как хотите, как вам удобнее, — заключила она и больше уже не настаивала, чтобы я не вынес впечатление, будто она ищет великосветских знакомств, а еще потому, что образ правления, который она установила для „верных“, то есть тирания, должен был по ее требованию именоваться свободой. — Что с тобой? — спросила она Вердюрена — тот, жестами выражая возмущение, направлялся к бревенчатой террасе, которая примыкала к гостиной и откуда открывался вид на долину, и при взгляде на Вердюрена можно было подумать, что он задыхается от гнева и ему хочется подышать свежим воздухом. — Тебя опять обозлил Саньет? Но ведь ты же знаешь, что

он идиот, так не надо кипятиться и доводить себя до такого состояния. Я этого боюсь, — обратилась она ко мне, — ему это вредно, у него это вызывает приливы крови. Но я понимаю, что в иных случаях с Саньетом нужно ангельское терпение; надо всегда помнить, что мы принимаем его из милости. Меня, признаться, его восхитительная глупость приводит в веселое настроение. Вы, наверно, слышали, что он изрек после ужина: „Я не умею играть в вист, но зато умею играть на рояле“? Очаровательно! Это верх остроумия, и потом, это ложь: он не умеет играть ни в карты, ни на рояле. Но мой муж, при всей его видимой суровости, человек душевно ранимый, добрый, и этот эгоизм Саньета, который только и думает, какое он произведет впечатление, выводит его из себя. Ну, полно, голубчик, успокойся, ведь тебе же говорил Котар, что это вредно для печени. И все это потом мне же придется расхлебывать, — опять обратилась ко мне г-жа Вердюрен. — Завтра Саньет приедет и будет нервничать хныкать. Бедняга! Он очень болен. Но все-таки нельзя же из-за этого вгонять в гроб других. И даже когда он очень страдает, когда хочется его пожалеть, он отталкивает от себя своей глупостью. Ах, какой он болван! Ты ему скажи

самым милым тоном, что после подобных сцен вы оба заболеваете, — так вот, пусть он больше не приезжает, он этого боится как огня, и твои слова подействуют на него успокоительно», — навинчивала своего мужа г-жа Вердюрен.

С правой стороны в окна почти уже не было видно море. А в окна слева смотрела долина, покрытая снегом лунного света. Время от времени слышались голоса Мореля и Котара: «Козыри у вас есть?» — «Yes». — «Неважнец, у вас дела», — ответил на вопрос Мореля маркиз де Говожо — он видел, что у доктора полны руки козырей. «Вот бубновая дама, — сказал доктор. — Вам известно, что она козырная? Хлоп, цоп! А псов тут нет». Маркиз де Говожо признался, что не может взять в толк, почему доктор ни с того ни с сего заговорил о собаках. Мне послышалось, вы сказали: «Это не выжлец». — «Я сказал: „неважнец“!» Доктор подмигнул в знак того, как остроумно он скаламбурил. «Погодите, — показывая на своего противника, сказал он, — вот я сейчас разобью его, как под Трафальгаром...[319]». Должно быть,

[319] Примечания: 319

Трафальгар — мыс на юго-западном побережье Испании, между Гибралтаром и Кадисом, возле которого в 1805 г. адмирал Нельсон одержал знаменитую победу над соединенным франко-испанским флотом.

доктор действительно сделал удачный ход, потому что от радости он, смеясь, начал томно поводить плечами, а это в семье — в «роду» — Котаров являлось признаком почти животного наслаждения. У предшествовавшего поколения этот жест сопровождался другим: потирать руки, как будто их моя. Котар одно время делал и то, и другое движение, но в один прекрасный день потирать руки перестал, причем так и осталось неизвестным, под чьим воздействием — супруги или же начальства. Даже играя в домино, доктор, когда он заставлял партнера «пошевелить мозгами» и воспользоваться двойной шестеркой, — а от этого он получал величайшее удовольствие — только поводил плечами. Когда же — что бывало с ним чрезвычайно редко — он на несколько дней уезжал к себе на родину и встречался с кем-нибудь из своих двоюродных братьев, который все еще потирал руки, то по возвращении рассказывал г-же Котар: «Бедняга Рене очень уж провинциален». «У вас эта штуковинка есть? — спросил он Мореля. — Нет? Тогда я хожу старым Давидом». — «Стало быть, у вас пять, вы выиграли!» — «Si, signor[320]» — «Блестящая победа, доктор», — ска-

[320] Примечания: 320
Да, синьор (итал.)

зал маркиз. «Пиррова победа, — сказал Котар и, повернувшись к маркизу, посмотрел на него поверх пенсне: ему хотелось удостовериться, какое впечатление произвела его острота. — Если у пас есть еще время, вы можете отыграться, — сказал он Морелю. — Тасовать мне… Ах пет! Вон экипажи, придется отложить до пятницы, и тогда я покажу вам фокус, который не так-то легко раскумекать». Вердюрены вышли проводить нас. Чтобы быть уверенной, что Саньет завтра приедет, Покровительница старалась быть с ним особенно ласковой. «Вы, мой милый мальчик, должно быть, без пальто, — сказал мне Вердюрен: его преклонный возраст давал ему право на отеческое обращение со мной. — А погода, видимо, изменилась». Слова Вердюрена так меня обрадовали, словно тайная жизнь, возникновение в природе тех или иных изменений предвозвещали другие перемены — перемены в моей жизни — и открывали для меня новые возможности. Стоило отъезжавшим отворить калитку в парк — и уже чувствовалось, что «на сцене» теперь иная погода; в ельнике (где когда-то маркиза де Говожо бредила Шопеном) поднимался свежий ветерок — одна из летних отрад — и чуть внятно, ласкающими слух переливами, прихотливыми

струйками начинал наигрывать быстрые свои ноктюрны. Я не взял верхней одежды, но потом, когда я бывал здесь с Альбертиной, я от нее не отказывался — не столько для защиты от холода, сколько для охраны тайны нашего блаженства. Стали искать норвежского философа но так и не нашли. Может быть, у него схватило живот? Или он боялся опоздать на поезд? Уж не прилетел ли за ним аэроплан? Уж не вознесся ли он на небо? Как бы то ни было, он исчез, словно некий дух, так, что никто и оглянуться не успел. «Напрасно вы так легко оделись, — сказал мне маркиз де Говожо, — холод собачий». — «Почему собачий?» — спросил доктор. «Берегитесь приступов удушья, — продолжал маркиз. — Моя сестра по вечерам не выходит. Кстати сказать, сейчас она чувствует себя неважно. Во всяком случае, не идите с непокрытой головой, сейчас же наденьте шляпу». — «Это удушье не от холода», — наставительно заметил Котар. «Ах вот как, вот как? — спросил маркиз де Говожо и склонил голову. — Значит, вы придерживаетесь мнения...» — «Без сомнения!» — подхватил доктор и, чтобы маркизу была видна его улыбка, взглянул на него поверх пенсне. Маркиз де Говожо засмеялся, но, убежденный в своей право-

те, продолжал настаивать. «Однако, — заметил он, — после того как моя сестра выйдет вечером, у нее каждый раз бывает приступ». — «Мне с вами спорить бессмысленно, — не понимая, что это невежливо, сказал доктор. — Притом на море я медициной не занимаюсь, разве что пригласят к больному. Сейчас у меня отдых». Отдых здесь у него получился даже более полный, чем, может быть, ему хотелось. Когда маркиз де Говожо, садясь с ним в один экипаж, сказал: «Нам повезло: близко от нас (не на вашем берегу залива, а на другом, но залив в этом месте очень узкий) живет еще одна знаменитость: доктор дю Буль-бон», — Котар, из «деонтологических,[321]» соображений избегавший критиковать своих коллег, не мог удержаться от восклицания, как в тот роковой для меня день, когда мы с ним зашли в казино: «Какой же это врач! Он врач от литературы, его терапия — фантастическая терапия, чистейшее шарлатанство. Но это не мешает нам быть в хороших отношениях. Если б я не собирался отсюда уехать, я бы на пароходе разочек к нему съездил». Однако, увидев, какое выражение лица появилось у Котара, как

[321] Примечания: 321

Деонтологический — относящийся к понятию профессиональной этики.

только он заговорил с маркизом де Говожо о дю Бульбоне, я подумал, что пароход, на котором он рад был бы к нему съездить, очень напоминал бы тот корабль, который снарядили салернские лекари, вознамерившиеся уничтожить целебные воды[322] открытые другим врачом-литератором, Вергилием (тоже отбившим у других врачей всех пациентов), но который во время плаванья потонул вместе с лекарями. «До свиданья, мой милый Саньет, непременно приезжайте завтра, вы же знаете, как вас любит мой муж. Он ценит ваше остроумие, вашу интеллигентность; ну да, вы это за ним знаете: он любит напускать на себя грубость, но он просто не может без вас жить. Первый его вопрос: „А что, Саньет приедет? Я так люблю, когда он к нам приезжает!“» — «Я никогда ничего подобного не говорил», — сказал Саньету Вердюрен с наигранной прямотой, которая должна была служить доказательством правдивости слов Покровительницы об его отношении к Саньету. Затем, посмотрев на ча-

[322] Примечания: 322

…салернские лекари, вознамерившиеся уничтожить целебные воды… — Намек на известную средневековую легенду из жизни Вергилия, который якобы открыл чудесную целебную силу морских ванн Поццуоле (порт в Неаполитанском заливе), чем вызвал неудовольствие врачей из г. Салерно, лишившихся своих пациентов. Салернские лекари снарядили корабль, чтобы уничтожить новый центр врачевания, но на обратном пути, попав в шторм, погибли в морской пучине.

сы, — без всякого сомнения, для того, чтобы не затягивать прощанье, так как в вечернем воздухе уже чувствовалась сырость, — он сказал кучерам, чтобы они не тащились, но были осторожнее при спусках, а нас уверил, что к поезду мы не опоздаем. Каждого из «верных» поезд должен был довезти до его станции, кончая мной, так как никто больше не ехал до Бальбека, и начиная с Говожо. Говожо, боясь ночью ехать по горе, вместе с нами сели в вагон в Дувиль-Фетерне. На самом деле ближе всего до них было не от этой станции, которая находилась на значительном расстоянии от села и на еще более значительном от замка, а от Ла-Сонь. Когда маркиз де Говожо приехал в Дувиль-Фетерн, он, по выражению Франсуазы, решил «сунуть монету» кучеру Вердюренов (тому, кто грустил и у кого была чуткая душа): маркиз де Говожо отличался щедростью и в этом отношении был скорее «в маму». Но то ли в нем сейчас пересилил «папа», только он, давая на чай, вдруг заколебался, точно тут была допущена какая-то ошибка: то ли им самим, в темноте давшим, например, су вместо франка, то ли вознаграждаемым, не заметившим, как много ему дали. Поэтому он счел нужным обратить на это обстоятельство внимание кучера. «Я вам

даю целый франк, видите? — повертев блеснувшей на свету монетой, сказал он кучеру, чтобы „верные“ могли потом рассказать об этом г-же Вердюрен. — Видите? Это целых двадцать су,[323] а ведь тут недалеко». Он и его жена распрощались с нами в Ла-Сонь. «Я скажу моей сестре, — еще раз пообещал он мне, — что у вас бывают приступы удушья. Я уверен, что это будет ей интересно». Я понял его слова так: «...что это доставит ей удовольствие». Его жена, прощаясь со мной, произнесла два слова так, что в этой транскрипции они тогда коробили меня даже в письмах, и хотя потом мы к этому привыкли, но в устной речи им и теперь, на мой слух, нарочитая их небрежность, выработанная их фамильярность придает какую-то нестерпимую педантичность. «Я очень рада, что посидела с вами вечерок, — сказала она мне. — Когда увидите Сен-Лу, передайте ему от меня привет». Маркиза де Говожо произнесла: «Сен-Луп». Мне не удалось дознаться, кто так произнес при ней эту фамилию или что могло подсказать ей, что эту фамилию следует произносить именно так. Как бы то ни было, она еще долго потом произносила: «Сен-Луп», а один

[323] Примечания: 323

Су — французская монета в 5 сантимов, составлявшая, соответственно, *1/20*франка.

человек, плененный ею, ею одной дышавший, в этом ей подражал. Когда другие говорили: «Сен-Лу», оба упорно, отчеканивая каждую буковку, говорили: «Сен-Луп» — то ли для того, чтобы дать другим в завуалированной форме урок, то ли для того, чтобы чем-то выделиться. Однако, по всей вероятности, дамы более знатные, чем маркиза де Говожо, сказали ей прямо или намекнули, что она неправильно произносит эту фамилию и что принимаемое ею за оригинальность есть на самом деле ошибка, из-за которой она может показаться недостаточно вышколенной; как бы то ни было, немного погодя маркиза де Говожо стала говорить: «Сен-Лу», а вслед за ней прекратил сопротивление и ее поклонник: то ли она сделала ему замечание, то ли он сам обратил внимание, что она опускает конечную согласную, и сказал себе, что если такая замечательная женщина, такая волевая и такая самовлюбленная наконец сдалась, то сделала это сознательно.

Самым неприятным из поклонников маркизы был ее муж. Маркиза любила поднять кого-нибудь на смех, при этом часто хватала через край. Как только она начинала подпускать шпильки мне или кому-нибудь еще, маркиз де Говожо со смехом посматривал на жертву. Он был косоглаз

— а благодаря косине даже дураки, развеселившись, сходят за умников, — и когда он смеялся, то на фоне белка, который в другое время только один и был виден, показывался краешек зрачка. Так в затянутом облаками небе вдруг проглядывает голубизна. Впрочем, этот ловкий маневр происходил под прикрытием монокля, исполнявшего ту же обязанность, какую исполняет стекло, которое защищает редкостную картину. Трудно было угадать, добродушно ли смеялся маркиз: «Что ж, негодник, вы можете гордиться: к вам благоволит чертовски умная женщина». Или же зло: «Ну как, милостивый государь? Приятно? Наглотались пилюль?» Или услужливо: «Помните: я около вас, я смеюсь только потому, что это милая шутка, но в обиду я вас не дам». Или жестоким смехом сообщника: «Подсыпать вам нет смысла, но вы же видите: я хохочу до упаду над градом оскорблений, которыми она вас осыпает. Я сейчас лопну от смеха, — значит, я это одобряю, а я ее муж. Но вот если вы вздумаете отбиваться, то уж тогда, мой милый мальчик, пеняйте на себя. Для начала я влеплю вам парочку оплеух, с пылу, с жару, а потом мы с вами отправимся скрестить шпаги в Трусий Щебет».

Веселое настроение маркиза можно было ис-

толковывать по-разному, выходки же его супруги прекращались скоро. Тогда и маркиз де Говожо больше уже не смеялся, и его расторопный зрачок исчезал, а так как мы на несколько минут отвыкали от его совершенно белого глаза, то теперь этот глаз придавал краснощекому нормандцу нечто безжизненное, потустороннее, как будто маркизу только что сделали операцию или словно его глаз там, за моноклем, молит Бога о даровании мученического венца.

Глава третья

Я еле держался на ногах — так мне хотелось спать. На мой этаж меня поднял не лифтер, а косоглазый посыльный, заговоривший со мной, чтобы рассказать, что его сестра живет с очень богатым господином и что от великого ума она как-то раз вздумала вернуться домой, но что сожитель отправился к матери косоглазого посыльного и других более удачливых ее отпрысков и мать немедленно привела эту полоумную к ее дружку. «Вы знаете, сударь, моя сестра — важная барыня. Играет на рояле, говорит по-испански. Вам в голову не придет, что это сестра простого служащего, который поднимает вас на лифте; она ни в чем себе не отказывает; у мадам своя горничная; меня ничуть не удивит, если в один прекрасный день она заведет себе экипаж. Если б вы ее видели! Красавица! Она гордячка, это правда, ну, да на ее месте всякая бы загордилась! А до чего ж смешная! Перед отъездом из гостиницы непременно наделает в шкаф или в комод — это она оставляет сувенирчик горничной, а той приходится за ней убирать. Иной раз и в экипаже наложит; заплатит извозчику, а потом где-нибудь

притаится и подсматривает, а извозчик моет экипаж и ругается последними словами. Моему отцу тоже посчастливилось: он когда-то был знаком с индийским принцем, и опять его с ним судьба свела, но только на этого принца он льстился для моего младшего брата. Ну, конечно, это дело совсем другого рода. Но жизнь у моего брата райская. Если бы не путешествия, лучшего не надо было бы и желать. Один я пока на мели. Впрочем, будущее покажет. Моя семья счастливая; может, я и президентом республики когда-нибудь стану. Ну, вы тут со мной заболтались. (Между тем я не вымолвил ни единого слова и чуть было не заснул под его болтовню.)

До свиданья, сударь! Ах, благодарю вас, сударь! Если бы все были такие щедрые, как вы, на свете не было бы бедняков. Хотя моя сестра говорит: „Бедняки все-таки нужны. Вот теперь я разбогатела, и мне есть кого, извините за выражение, „обкакать“. Спокойной ночи, сударь!“

Засыпая, мы, быть может, каждый вечер обрекаем себя на страдания, но мы склонны думать, что не страдали, что страданий не было, так как страдали мы во сне, а сон — это для нас область бессознательного.

В те вечера, когда я поздно возвращался из

Ла-Распельер, сон смаривал меня мгновенно. Но как только похолодало, я засыпал не сразу: огонь в камине пылал так ярко, словно у меня в номере горела лампа. Это была всего только вспышка, и, как свет лампы, как дневной свет при наступлении вечера, жаркое пламя в камине скоро гасло; и я входил в сон, как мы вошли бы в наш второй дом, куда мы, уйдя из того дома, где проводим весь день, отправляемся спать. Там свои особые звонки, там нас иногда будит резкий звук колокольчика, и мы явственно его различаем, хотя никто не звонил. Там свои слуги, там нас навещают люди, которые приходят и уходят так, что когда мы уже собираемся встать, то убеждаемся, при нашем почти мгновенном перелете в другое наше помещение, дневное, что в комнате пусто, что никто не приходил. Племя, там обитающее, подобно первым людям, двуполое. Мужчина мгновенье спустя предстает там в облике женщины. Предметы наделены там способностью превращаться в людей, люди — в друзей и врагов. Время, в течение которого спящий видит сны, резко отличается от времени, в течение которого проходит жизнь бодрствующего. Порой оно течет гораздо быстрее: день пролетает, как четверть часа, иногда гораздо медленнее: кажется, только

слегка вздремнул, а на самом-то деле проспал целый день. На колеснице сна спускаешься в такие глубины, в которые бессильна проникнуть память и подойдя к которым сознание вынуждено вернуться обратно.

Кони сна, подобно коням солнца, идут мерным шагом в такой атмосфере, где они не встречают ни малейшего сопротивления, и только осколок инородного нам аэролита (брошенный с неба кем-то Неизвестным) способен долететь до ровного нашего сна (а иначе у него не было бы причин прерваться, и он во веки веков не прекратил бы своего хода) и заставить его сделать резкий поворот назад, к действительности, миновать все этапы, перелететь через граничащие с жизнью области, так, чтобы спящий причалил к пробуждению, вдруг услышав ее еще смутные, но уже различимые, хотя и неверно воспринимаемые шумы. И вот после такого глубокого сна мы просыпаемся на рассвете, не понимая, кто мы такие, ничего собой не представляя, обновленные, готовые ко всему, с сознанием, освобожденным от прошлого, которым мы до сих пор жили. И быть может, лучше, если мы причаливаем к пробуждению внезапно, так что пришедшие к нам во сне мысли, юркнув в щелочку, оставленную забвени-

ем, не успевают вернуться одна вслед за другой, пока еще не кончился сон. И вот, выйдя из черной грозовой тучи, сквозь которую мы как будто пролетели (однако мы все еще не осмеливаемся сказать о себе: мы), мы лежим, распростертые на своем ложе, без единой мысли в голове, мы, лишенные внутреннего содержания. Какой страшный удар молота оглушает наше существо или наше тело до такой степени, чтобы оно обо всем позабыло, чтобы оно цепенело вплоть до того мгновенья, когда примчавшаяся память вернет ему сознание и личность! Но и ради этих двух видов пробуждения нельзя было засыпать, даже глубоким сном, по закону привычки. Привычка следит за всем, что она оплетает своими сетями; необходимо освободиться от нее, поймать сон в тот миг, когда нам кажется, что мы и не думаем спать, — словом, поймать сон, который не состоит под опекой предусмотрительности и который не находится даже в тайном сообществе с размышлениями. Во всяком случае, в описанных мною пробуждениях, которые наставали для меня чаще всего после ужинов в Ла-Распельер, все происходило именно так, и я об этом свидетельствую — я, странное существо, живущее в ожидании, что смерть освободит его, за закрытыми ставнями,

не знающее, что делается на свете, неподвижное, как сова, и, как сова, начинающее хоть что-то видеть только во мраке. Все совершается именно так, и только нечто, напоминающее паклю, может помешать спящему расслышать внутренний диалог воспоминаний и непрерывную болтовню сна. В тот миг такое явление можно уловить и при первом виде пробуждения (хотя этот вид захватывает более широкое пространство, хотя он таинственнее и мистичнее), когда спящий просыпается, он слышит внутренний голос: „Милый друг! Приходите к нам сегодня ужинать, мы будем вам очень рады!“ — и думает: „Да, я тоже буду очень рад, приду непременно“; затем, когда сон проходит, он вдруг вспоминает: „А доктор сказал, что бабушке осталось жить месяц с небольшим“. Он звонит, он плачет при мысли, что на его зов придет не бабушка, не его умирающая бабушка, а равнодушный слуга. И пока сон водил его так далеко от мира, в котором живут воспоминание и мысль, по эфиру, где он был одинок, более чем одинок, ибо с ним не было даже спутника, в котором он видит свое отражение, видит самого себя, он находился вне времени и его измерений. И вот входит слуга, а он боится спросить у него, который час: он же не знает, спал ли он, не знает,

сколько часов он проспал (он задает себе вопрос: может быть, не часов, а дней? Ведь у пего сейчас разбитое тело, спокойная душа, а в сердце — тоска по родине, точно он вернулся из очень дальнего и, однако, непродолжительного путешествия).

Конечно, мы вправе утверждать, что есть только одно время, — утверждать на том шатком основании, что, посмотрев на часы, мы убеждаемся, что прошло всего только четверть часа, а нам показалось, что минул целый день. Но когда мы в этом убеждаемся, мы уже бодрствуем, мы погружаемся в поток времени бодрствующих людей, мы ушли от иного времени. А может быть, даже не только от иного времени: от иной жизни. Наслаждения, испытываемые во сне, нельзя ставить в один ряд с наслаждениями действительности. В качестве примера можно привести самое простое из чувственных наслаждений: кто из нас, просыпаясь, не ощущал легкой досады оттого, что во сне мы испытали наслаждение, а пробудившись, из боязни переутомиться уже не можем возобновлять его до бесконечности в течение дня? Это как бы потерянное имущество. Наслаждение мы получили в другой жизни, нам не принадлежащей. Хотя мы и заносим в наш общий бюджет горести и радости сна (обычно

мгновенно улетучивающиеся, как только мы просыпаемся), все же они не входят в бюджет нашей обыденной жизни.

Я говорил о двух временах; может быть, существует только одно — не потому, что время бодрствующего человека одинаково приемлемо и для спящего, а потому, что иная жизнь, жизнь сна, не подчиняется — в своей самой глубокой области — категории времени. Все это представлялось мне, пока я спал крепким сном после ужинов в Ла-Распельер. Вот как все это происходило. Я был близок к отчаянию, когда, проснувшись, убеждался, что звонил десять раз, а слуга все не приходил. После одиннадцатого звонка он появлялся. Но на самом деле это был первый звонок. Предшествовавшие ему десять звонков были всего лишь моими попытками позвонить во сне, который все еще длился. Мои затекшие руки даже не пошевелились. Значит, в такие утра (вот почему я и говорю, что, быть может, сон не признает закона времени) мое усилие проснуться представляло собой главным образом усилие вдвинуть темную, бесформенную глыбу сна, который только что от меня отлетел, в рамки времени. Это была задача нелегкая: сну не известно, спали мы два часа или же двое суток,

и он не может служить нам ориентиром. И если мы не находим его вовне, то, не вернувшись в область времени, засыпаем снова — засыпаем на пять минут, которые кажутся нам тремя часами.

Я всегда утверждал — и проверил это на опыте, — что лучшим снотворным средством является сон. После того, как мы проспим два часа непробудным сном, после того, как мы сражались с тьмой великанов, после того, как мы поклялись в вечной дружбе множеству лиц, гораздо труднее проснуться, чем после того, как мы примем веронал. Меня очень удивил рассуждавший со мной о разных вещах норвежский профессор,[324] признавшийся в том, что он разделяет мнение Бергсона,[325] которое он слышал в передаче „своего знаменитого коллеги — виноват! — собрата

---

[324] Примечания: 324

…норвежский профессор… — Прототипом этого вымышленного персонажа мог быть шведский философ Алго Руэ, страстный франкофил, переводчик Бергсона на шведский язык, опубликовавший в 1917 г. рецензию на роман «По направлению к Свану».

[325] Примечания: 325

Бергсон, Анри (1859–1941) — французский философ, создатель одного из самых оригинальных философских учений XX века, многие положения которого были положены в основу замысла Пруста. По свидетельству французского литератора Эдмона Жалу («С Марселем Прустом», 1953), в сентябре 1920 г. Пруст беседовал с Бергсоном как раз по поводу сна, бессонницы и действия на человеческое сознание наркотических средств. Рассуждения писателя о сне, согласно текстологическим исследованиям, являются поздней вставкой в роман и представляют собой критический отклик на теорию сознания Бергсона, в частности на его

лекцию «Сновидения», вошедшую в книгу «Духовная энергия» (1919).

Бутру“, — мнение об особых нарушениях памяти, вызываемых снотворными средствами. „Конечно, — если верить норвежскому профессору, будто бы сказал Бергсон Бутру, — если изредка принимать умеренные дозы снотворных, то они перестают действовать на крепкую память нашей повседневной жизни. Но существуют другие виды памяти, более возвышенные, но зато менее стойкие. Мой коллега читает курс древней истории. Он мне рассказывал, что если накануне он принимает порошок от бессонницы, на лекции ему трудно бывает вспомнить цитаты из греческих авторов. Доктор, прописавший ему эти порошки, потом уверял, что они не действуют на память. „На вашу память они не действуют, может быть, потому, что вам не нужно цитировать греческих авторов“, — не без чванливой насмешливости ответил ему историк“.

Не знаю, насколько соответствует действительности этот разговор Бергсона с Бутру. Норвежский философ, отличавшийся глубоким и ясным умом и жадным слухом, мог, однако, не так их понять. Мой личный опыт приводил меня к выводам противоположным.

У мгновений, во время которых на другой день после приема наркотиков нам изменяет память,

есть небольшое, хотя и волнующее сходство с тем забвением, которое царит в течение целой ночи естественного глубокого сна. Но и в том, и в другом случае я забываю не стих Бодлера,[326] который изрядно надоедает мне, надоедает, „как тимпан“, не мысль кого-нибудь из философов, а реальность самых обыкновенных вещей, которые меня окружают, и вследствие того, что я перестаю воспринимать их, когда сплю, я ничем в это время не отличаюсь от умалишенного; если же я только что пробудился после сна искусственного, я забываю не систему Порфирия[327] или Плотина[328] — о них я могу рассуждать так же здраво, как в любой другой день — я забываю дать обещанный ответ на приглашение на месте воспоминания о котором образуется пустота. Высокая мысль осталась на прежнем месте, а снотворное лишило меня действенной способно-

---

[326] Примечания: 326

…стих Бодлера… — Имеется в виду сонет Ш. Бодлера «Тебе мои стихи!..» из сборника «Цветы зла».

[327] Примечания: 327

Порфирий (233–303) — античный философ, неоплатоник, учение которого отличалось упорным интересом к народной мистике и теургии (превращению в божество).

[328] Примечания: 328

Плотин (205–270) — античный философ, основоположник неоплатонизма, диалектического учения о едином, уме и космической душе. Плотин упоминался в лекции Бергсона «Сновидение».

сти разбираться в мелочах, лишило способности вовремя спохватиться, поймать на лету какое-нибудь воспоминание о повседневной жизни. Что бы ни говорили о продолжении жизни после разрушения мозга, я стою на том, что каждое нарушение мозговой деятельности влечет за собой частичное омертвение всего организма. Мы сохраняем все наши воспоминания, а может быть, только способность вызывать в памяти — так передает мысль Бергсона выдающийся норвежский философ (боясь затянуть и без того пространное отступление, я не воспроизвожу здесь речевых особенностей норвежца). Только способность что-то вызывать в памяти. А можно ли считать воспоминанием то, что нельзя восстановить в памяти? Допустим, мы не можем вызвать в памяти события за последние тридцать лет, по ведь они все равно омывают пас со всех сторон; зачем же тогда останавливаться на тридцати годах, почему не продлить минувшую жизнь до того времени, когда нас еще не было на свете? Раз от меня скрыто множество воспоминаний о том, что было до меня, раз я их не вижу, раз я не могу к ним воззвать, то кто мне докажет, что в этой „тьме тем“, остающейся для меня загадкой, нет таких воспоминаний, кото-

рые находятся далеко за пределами моей жизни в образе человека? Если внутри и вокруг меня есть столько воспоминаний, которых я уже не помню, то это забвение (забвение, уж во всяком случае, вполне естественное, поскольку я лишен дара прозрения) может относиться и к жизни, которую я прожил в теле другого человека, даже на другой планете. Забвение стирает все. Но что же тогда значит бессмертие души, реальность которого доказывал норвежский философ? У существа, которым я стану после смерти, больше не будет повода вспоминать о том человеке, какого я представляю собой со дня моего рождения, так же, как этот человек не помнит, каким я был до своего рождения.

Вошел слуга. Я не сказал ему, что звонил несколько раз: я понимал, что до сих пор мне только снилось, что я звонил. Тем не менее мне было страшно, что мой сон обладает ясностью сознания. Но, в таком случае, не свойственна ли сознанию нереальность сна?

Я задал слуге другой вопрос: кто это столько раз ночью звонил? Слуга ответил: „Никто“, и он смело мог это утверждать, потому что звонки обозначались на „доске“. Но ведь я же слышал звонок за звонком, повторявшиеся почти с бешеной

силой, и они продолжая» звучать у меня в ушах и, наверно, будут мне слышаться еще несколько дней. Впрочем, редко бывает так, чтобы сон перебрасывал воспоминания в нашу бодрствующую жизнь, — обыкновенно они улетучиваются вместе с ним. Эти аэролиты можно пересчитать. Если это мысль, порожденная сном, то она очень быстро распадается на крохотные, почти неразличимые частицы. Но в данном случае сон изготовил звуки. Более материальные, наименее сложные, они в силу этого и длились дольше.

По словам слуги, было еще довольно рано, и это меня удивило. Тем не менее я чувствовал себя отдохнувшим. Только легкая дремота отличается большой продолжительностью, так как, представляя собой связующее звено между бодрствованием и сном, сохраняя о бодрствовании довольно тусклое, по непрерывающееся впечатление, она требует гораздо больше времени, чтобы дать нам отдохнуть, чем глубокий сон, который может быть и коротким. Я чувствовал себя хорошо по другой причине. Если для того, чтобы ощутить, как тяжело бремя усталости, достаточно вспомнить, что ты устал, то, чтобы создать состояние покоя, достаточно сказать себе: «Я отдохнул». А снилось мне, будто де Шарлю

сто десять лет и будто он влепил две пощечины родной матери; еще снилось мне, будто г-жа Вердюрен купила букет фиалок за пять миллиардов; так как мне приснились в искаженном виде мои впечатления от вчерашнего дня и многоразличные возможности, скрытые в текущей жизни, то я был убежден, что спал крепким сном; этого было достаточно, чтобы я почувствовал себя вполне отдохнувшим.

Я бы очень удивил мою мать, которая никак не могла взять в толк, с какой стати де Шарлю зачастил к Вердюренам, если б сообщил ей (это произошло как раз в тот день, когда для Альбертины была заказана шляпка, но она ничего об этом не знала, так что для нее это должно было явиться сюрпризом), с кем де Шарлю ужинал в Бальбеке, в ресторане Гранд-отеля. Как бы вы думали, с кем? С выездным лакеем родственницы де Говожо. Одет лакей был весьма элегантно, и когда он с бароном шествовал по холлу, то в глазах туристов он, как сказал бы Сен-Лу, «сходил бы за светского человека». Даже молодые посыльные, «левиты», целой толпой спускавшиеся по ступеням храма, потому что это было для них время смены, не обратили внимания на двух вошедших, один из которых, де Шарлю, шел опустив глаза и старался показать,

что они его очень мало интересуют. Со стороны можно было подумать, что он только пробивает себе среди них дорогу. «Благословен оплот избранного народа», — произнес он, вспомнив стих Расина,[329] который совсем сюда не подходил. «Что вы сказали?» — переспросил выездной лакей — в классической литературе он был не силен. Де Шарлю не ответил — его самолюбию льстило, что он может не отвечать на вопросы и идти, глядя прямо перед собой, как будто в отеле нет других постояльцев, кроме него, как будто в целом мире существует только он, барон де Шарлю. Но, продолжив монолог Иосаветы,[330] где говорится: «О дочери мои! Придите! О, придите!» — он внезапно почувствовал отвращение и не прибавил, как она, что необходимо позвать их, — не прибавил, потому что эти подростки еще не достигли того возраста, когда окончательно созревает пол, который нравился де Шарлю.

Выездному лакею г-жи де Козаньяк он написал, не сомневаясь в его послушности и надеясь, что

---

[329] Примечания: 329

…стих Расина… — Здесь и далее цитируется «Эсфирь» Ж. Расина (I, 2; I, 1).

[330] Примечания: 330

Иосавета — персонаж «Гофолии» Ж. Расина. Приведенные слова, однако, звучат в «Эсфири».

он уже возмужал. Но теперь при взгляде на него де Шарлю нашел, что все-таки лакей слишком женственен. Он сказал лакею, что рассчитывал иметь дело с другим, — он и правда видел на экипаже другого лакея г-жи де Козаньяк. Тот был самая настоящая деревенщина — полная противоположность этому; этот, напротив, считал свое жеманство достоинством, он не сомневался, что именно его манеры светского человека прельстили де Шарлю, и потому сразу не понял, о ком барон говорит. «У меня есть только один товарищ, но на него вы польститься не могли: уж больно он противный, это грубый мужик». Одна мысль, что барон, может быть, имеет в виду этого мужлана, задела его самолюбие. Барон это заметил и продолжал расспрашивать его. «Но ведь я же не давал обета знакомиться только со слугами госпожи де Козаньяк, — сказал он. — У вас много товарищей в разных домах, так вот, не могли бы вы здесь или в Париже, раз вы скоро уезжаете, с кем-нибудь меня познакомить?» — «Нет, что вы! — ответил лакей. — Я ни с кем из моего сословия не знаюсь. Я с такими людьми говорю только по делу. Но я мог бы вас познакомить с очень большим человеком». — «С кем это?» — спросил барон. «С принцем Германт-

ским». Де Шарлю обозлился на лакея за то, что он предложил мужчину в таком возрасте, а кроме того, в данном случае барон не нуждался в рекомендации выездного лакея. Он сухо отклонил его предложение и, поставив на место этого холуя с его светскими замашками, опять начал объяснять, что ему нужно, в каком роде, какого типа, пусть даже это будет жокей… Боясь, как бы его не подслушал проходивший мимо нотариус, он счел за благо быстро переменить разговор и произнес настойчиво, во всеуслышание, но как бы продолжая начатый разговор: «Да, несмотря на мои годы, я сохранил страсть к собиранию безделушек, страсть к красивым безделушкам, я трачу бешеные деньги на старинную бронзу, на старые люстры. Я поклоняюсь Красоте».

Но, желая, чтобы лакей понял, почему он с такой быстротой перескочил с одной темы на другую, он так напирал на слова, а чтобы нотариус услышал его, так громко выкрикивал их, что всей этой игры было бы достаточно, чтобы в его тайны проник более обостренный слух, чем слух министерского чиновника. Чиновник же ничего не заподозрил, как и все жившие в отеле, принявшие прекрасно одетого выездного лакея за элегантного иностранца. Но если светские люди

ошиблись и подумали, что это шикарный американец, то, как только его заметили служащие, они тотчас разгадали его — так каторжник распознает каторжника, — они на расстоянии почуяли, кто это, скорее, чем иные животные учуивают подобных себе. Старшие официанты подняли на него глаза. Эме окинул его подозрительным взглядом. Смотритель винного погреба пожал плечами и отозвался о нем в нелестных выражениях, прикрыв рот рукой, — он полагал, что так будет вежливее, — однако все их расслышали.

И даже наша старая Франсуаза, у которой глаза уже не так хорошо видели и которая в это время шла мимо лестницы ужинать к «курьерам», распознала слугу в том, кого проживавшие в отеле, не задумываясь, приняли за важного господина, — так старая кормилица Эвриклея[331] узнает Одиссея гораздо раньше пирующих женихов — и, видя, что он идет с де Шарлю, держась с ним запанибрата, сразу насупилась, из чего можно было заключить, что все те гадости, которые она слышала о де Шарлю и которым до сей поры не верила, вдруг приобрели в ее глазах удручающее

[331] Примечания: 331

Эвриклея — в «Одиссее» старая рабыня, которой Пенелопа поручает вымыть ноги пришедшему в дом страннику и которая первой узнает Одиссея по шраму на ноге.

правдоподобие. Франсуаза так ничего и не сказала об этой встрече ни мне, ни кому-либо еще, и тем не менее после этой встречи в сознании Франсуазы произошел резкий сдвиг, потому что впоследствии, в Париже, всякий раз, когда она видела «Жульена», которого раньше она так любила, она была с ним вежлива, но холодна и чрезвычайно сдержанна. Зато после этой же встречи другой человек разоткровенничался со мной: это был Эме. Когда я столкнулся с де Шарлю, барон, не ожидавший встретить меня здесь, крикнул: «Добрый вечер!» — и с бесцеремонным видом важного господина, который считает, что ему все позволено и что ему гораздо выгоднее не таиться, помахал в знак приветствия рукой. Эме, сверливший его глазами и не упустивший из виду, что я поздоровался с его спутником, которого он принял за слугу, вечером спросил меня, кто это.

Дело в том, что с некоторых пор Эме доставляло удовольствие поболтать со мной или, как он выражался, — без сомнения, желая подчеркнуть философский, с его точки зрения, характер наших бесед, — «порассуждать». Я часто говорил ему, что меня стесняет то, что он стоит около меня, когда я ужинаю, а не сядет и не разделит со мной

трапезу, а он говорил, что никогда еще не видел постояльца, который бы «так здраво рассуждал». Сейчас он был занят разговором с двумя слугами. Они поклонились мне, а я недоумевал, почему же я не узнал их, хотя в их манере говорить мне слышалось что-то знакомое. Эме не нравились их невесты, и он костил обоих слуг за помолвки. Он воззвал ко мне, но я отговорился тем, что я здесь не судья, так как эти люди мне не знакомы. Они назвали свои имена и напомнили, что часто подавали мне в Ривбеле. Но один из них отрастил усы, а другой сбрил и остригся наголо — вот почему, хотя головы у них на плечах были все те же (а не другие, как после неудачной реставрации собора Парижской Богоматери[332]), мой взгляд на них не задерживался: так разные мелочи ускользают от производящих самый тщательный обыск, валяются у всех на виду, на камине, и никто их не замечает. Стоило же слугам сказать, как их зовут, — и до меня тотчас донеслась едва различимая музыка их голосов, а все дело в том, что я представил себе их прежние облики, которые ее предопределяли. «Хотят жениться, а сами даже

[332] Примечания: 332

...после неудачной реставрации собора Парижской Богоматери... — Реставрацией собора, продолжавшейся около двадцати лет, руководил Виолле-ле-Дюк.

по-английски говорить не умеют!» — сказал Эме, не приняв во внимание, что я мало осведомлен, каковы обязанности гостиничной прислуги, и что я не знаю, что человек, не владеющий иностранными языками, не может рассчитывать на получение хорошего места.

Решив, что Эме сразу узнает во вновь пришедшем ужинать де Шарлю, тем более что он должен был бы о нем вспомнить, так как подавал ему в ресторане, когда барон во время моего первого приезда в Бальбек навещал маркизу де Вильпаризи, я сказал Эме, кто это. Эме, как ни странно, не помнил барона де Шарлю, и тем не менее это имя произвело на него, видимо, глубокое впечатление. Он сказал, что завтра пороется у себя и постарается найти письмо, смысл которого я, быть может, ему разъясню. Меня это удивило: когда я первый раз приехал в Бальбек, де Шарлю надо было передать мне книгу Бергота, и он послал не за кем-нибудь, а за Эме и потом опять встретился с ним в парижском ресторане, где я завтракал с Сен-Лу и с его любовницей и куда де Шарлю приезжал нас выслеживать. Правда, Эме не мог выполнить эти поручения: в первый раз он спал, а во второй — подавал в ресторане. И все-таки, когда он говорил, что не знает, кто та-

кой де Шарлю, я сильно сомневался в том, что он не лжет. Отчасти он мог бы прийтись барону по нраву. Как все коридорные в бальбекском отеле, как кое-кто из лакеев принца Германтского, Эме принадлежал к более древней, а следовательно, и к более благородной расе, чем сам принц. Когда вы приходили заказывать отдельный кабинет, вам сначала казалось, что в зале пусто. Но немного погодя в буфетной перед вами обозначался монументальный метрдотель из породы рыжеволосых этрусков, типичный ее представитель, который рано постарел из-за пристрастия к шампанскому и вскоре должен будет лечиться водами Контрексевиля. Все посетители требовали, чтобы подавал им он. Посыльные, молодые, щепетильные, вечно спешившие улизнуть, потому что в городе их ждала любовница, старались поскорей удрать. Эме упрекал их в том, что они народ не положительный. Он имел на это право. Сам он был положителен. У него были жена и дети, ради них он поддерживал свое реноме. Если ему делали авансы иностранка или иностранец, он не отвергал их предложений, хотя бы ему пришлось остаться на ночь в отеле. Дело у него было на первом месте.

Он был до такой степени во вкусе де Шарлю,

что, когда он заявил, что не знаком с ним, я заподозрил его во лжи. Я ошибся. Грум сказал барону чистейшую правду, что Эме (тот на другой день намылил ему за зто шею) уже лег спать (или ушел), а в другой раз — что он подает в ресторане. Но воображение всегда предполагает не то, что есть на самом деле. Замешательство грума, несмотря на всю искренность его извинений, вероятно, навело де Шарлю на подозрения и вызвало в нем такие чувства, о которых Эме не подозревал. Мы помним, что Сен-Лу не дал Эме спуститься к экипажу, где де Шарлю, неизвестно каким образом раздобывший новый адрес метрдотеля, испытал еще одно разочарование. Легко себе представить, как поражен был ничего не знавший о переживаниях барона Эме, когда в тот день, когда я завтракал с Сен-Лу и с его любовницей, он получил вечером с печатью, на которой был оттиснут герб Германтов, письмо, откуда я приведу отдельные места в качестве примера того, как на чем-то помешанный умный человек способен писать здравомыслящему дураку. «Сударь! Мне так и не удалось, несмотря на затраченные мною усилия, которые привели бы в изумление многих, напрасно добивающихся, чтобы я их принял и чтобы я им поклонился,

достичь того, чтобы вы выслушали мои объяснения, — вы этих объяснений от меня не ждете, но они не уронили бы ни моего, ни вашего достоинства. Мне удобнее было бы все высказать вам на словах, но в силу необходимости я принужден изложить вам это на бумаге. Не скрою, что когда я впервые увидел вас в Бальбеке, ваше лицо произвело на меня отталкивающее впечатление». За этим следовало рассуждение о сходстве Эме, которое де Шарлю обнаружил только на другой день, с одним его покойным горячо любимым другом. «Я тогда же подумал, что вы могли бы, не в ущерб вашим обязанностям, прийти ко мне, поиграть со мной в карты — а он играл так весело, что у меня сразу улучшалось настроение, — и создать иллюзию, что он жив. Вы, вероятно, строили нелепые догадки соответствующие уровню развития слуги (хотя, впрочем вас даже и слугой-то назвать нельзя, раз вы не пожелали оказать услуги), возвышенное чувство вам непонятно, вам хотелось придать себе важности, вы, вероятно, не были осведомлены, кто я такой и что я собой представлял прежде, раз вы велели передать мне в ответ на мою просьбу отнести книгу, что вы уже легли спать; по вы заблуждаетесь, если воображаете, что дурной поступок придает

человеку обаяние, — кстати сказать, обаяния у вас нет никакого. Я бы на этом и кончил письмо, если бы на другое утро случайно не заговорил с вами. Ваше сходство с моим милым другом до такой степени усилилось, что даже ваш безобразный, выдающийся вперед подбородок уже не останавливал на себе внимания, и мне стало понятно: в это мгновение покойный передал вам доброе выражение своего лица, предоставил вам возможность снова привлечь меня к вам и не упустить случая, какой выпадает человеку раз в жизни. Теперь у меня нет ни малейшего желания — раз это уже бессмысленно, да и вряд ли мне суждено в этом мире еще когда-нибудь встретиться с вами, — примешивать к этому низменные корыстные интересы, и все-такн я был бы счастлив исполнить просьбу умершего (ведь я верю в общение со святыми и в их попытки принимать участие в судьбе живых) и относиться к вам, как к нему, а ведь у него был свой экипаж и свои слуги: он находил вполне естественным, что я трачу на него большую часть моих доходов, раз я люблю его, как родного сына. Вы не пошли мне навстречу. В ответ на мою просьбу принести книгу вы передали мне, что куда-то спешите. А сегодня утром, когда я попросил вас спуститься

к моему экипажу, вы отреклись от меня — если только это не звучит кощунственно — в третий раз. Простите, что я не вкладываю в конверт крупные чаевые, которые я намеревался дать вам в Бальбеке и которыми мне было бы очень тяжело ограничиться но отношению к тому, с кем я, повинуясь мимолетному желанию, едва не разделил все. Единственное, что вы еще могли бы для меня сделать, — это предупредить четвертый бесполезный шаг вам навстречу у вас в ресторане: боюсь, что я не сумею сдержать себя. (Тут де Шарлю давал свой адрес, назначал время, когда его можно застать, и т. д.) Прощайте, сударь! Я держусь того мнения, что при таком сходстве с моим покойным другом вы не можете быть набитым дураком, — иначе физиономистика оказалась бы лженаукой, — а потому я убежден, что если вы когда-нибудь вспомните об этом случае, то — кто знает? — может быть, и пожалеете, и раскаетесь. Со своей стороны, прошу вас верить моей полной искренности: никакой обиды я на вас не таю. Мне бы хотелось, чтобы мы сохранили друг о друге более приятное воспоминание, чем то, которое связано с моей третьей тщетной попыткой. Впрочем, она скоро забудется. Мы с вами похожи на корабли, минутную встречу

которых вам, по всей вероятности, приходилось наблюдать в Бальбеке; для обоих кораблей было бы лучше, если бы они застопорили; но один из них не хочет; немного погодя они не увидят друг друга даже вдали, и встречи как не бывало; но до этой вечной разлуки они шлют друг другу прощальный привет, как, сударь, приветствует вас и желает вам всего доброго барон де Шарлю».

Эме даже не дочитал этого письма: он ничего в нем не понял и испугался, что его мистифицируют. Когда же я объяснил ему, кто такой барон де Шарлю, он призадумался и, как это ему предсказывал де Шарлю, пожалел о случившемся. Я даже склонен думать, что он тогда же написал письмо с извинениями человеку, дарившему друзьям экипажи. Но тут де Шарлю познакомился с Морелем. При тех отношениях, которые возникли у него с Морелем, быть может, платонических, самое большее, на что барон был способен, это изредка провести вечер среди людей, окружавших его, когда мы с ним встретились в холле. Но де Шарлю был уже не в состоянии перенести на другого страсть, какую теперь вызывал в нем Морель, какая несколько лет назад, не находя себе применения, требовала одного: сосредоточиться на Эме — и какая продиктовала ему письмо, которое по-

казал мне метрдотель и при чтении которого мне было стыдно за де Шарлю. Оно представляло собой по причине социального неравенства между бароном и метрдотелем разительнейший пример нерассуждающей, необоримой силы приливов этой страсти, во время которых влюбленного, как пловца, незаметно уносит течением и он мгновенно теряет из виду сушу. Разумеется, и любовь нормального человека тоже может, если влюбленный с помощью последовательно разыгрывающегося воображения строит из желаний, сожалений, разочарований, намерений целый роман с незнакомой женщиной, раздвинуть на довольно значительное расстояние стрелки компаса. Но в данном случае это расхождение сильно увеличивалось как из-за характера влечения, которое не все способны разделить, так и вследствие разницы в общественном положении де Шарлю и Эме.

Я ежедневно совершал прогулки с Альбертиной. Альбертина решила снова заняться живописью и сначала вздумала писать с натуры церковь Иоанна Крестителя-на-Эзе, церковь, мало кому известную, куда никто уже не ходил, церковь, которую без провожатого найти было невозможно, которая стояла в глуши, куда надо было идти

больше получаса от станции Эпревиль, оставив далеко позади последние дома в селе Кетхольм. Между прочим, сведения Бришо об Эпревиле не совпадали со сведениями, которые сообщал в своей книге священник. Бришо утверждал, что прежде Эпревиль назывался Спревила; священник указывал, что этимологически он восходит к Апривиле. Первый раз мы отправились туда по узкоколейке, по направлению, противоположному Фетерну, то есть по направлению к Гратвасту. Стояла палящая жара, а мы выехали сразу после завтрака, и это было ужасно. Мне не хотелось уезжать так рано; слепящий, раскаленный воздух будил мечты о прохладе и неге. Он вливался в расположенные по-разному комнаты, в мамину и в мою, с неодинаковой температурой, вроде ванных. Мамина туалетная, сверкающей белизны, в мавританском стиле, разузоренная солнечными зайчиками, была словно погружена на дно колодца — такой она казалась из-за четырех оштукатуренных стен смежной комнаты, а вверху, в пустом четырехугольнике, видно было небо, по которому накатывались одна на другую мягкие волны, и оно напоминало (оттого, что при виде его возникало такое желание), если стоять на террасе (или смотреть на отражение

неба в зеркале, прибитом у окна), бассейн, наполненный для мытья голубою водою. Несмотря на удушливый зной, мы выехали с часовым поездом. Альбертине было очень жарко в вагоне, еще жарче — во время долгой ходьбы пешком, и я боялся, как бы она потом не простудилась, когда будет сидеть неподвижно в сырой ложбине, куда солнце не проникало. В ту пору, когда мы с ней начали ходить к Эльстиру, я понял, что она умеет ценить не только роскошь, но даже известный комфорт, на который у нее не было денег, и теперь я сговорился с одним бальбекцем, отдававшим кареты напрокат, что нам будут ежедневно подавать экипаж. Чтобы нам было не так жарко, мы ехали через Трусий Щебет. Незримость бесчисленных птиц, в частности — полуморских, перекликавшихся в ветвях, создавала ощущение покоя, которое испытываешь, стоит только закрыть глаза. Сидя рядом с Альбертиной, заключенный в ее объятия в глубине экипажа, я слушал пение этих океанид.[333] И когда мне случайно попадался на глаза один из перепархивавших с ветки на ветку певцов,

[333] Примечания: 333

...я слушал пение этих океанид. — В трагедии Эсхила «Прикованный Прометей» Океаниды, дочери Океана и Тифии, составляют хор, выражающий сочувствие страданиям героя.

связь между ним и его пением обрывалась, и мне не верилось, что источник звуков находится в этом маленьком порхающем тельце, таком тщедушном, сжавшемся в комочек, с ничего не выражающими глазками. Экипаж не мог довезти нас до церкви. Я останавливал его при выезде из Кетхольма и прощался с Альбертиной. Дело в том, что она напугала меня, сказав, как это она говорила о памятниках архитектуры и об иных картинах: «Как бы мне было приятно смотреть на церковь вместе с вами!» Я чувствовал, что не смогу доставить ей такое удовольствие. Я получал наслаждение, только когда смотрел на что-нибудь прекрасное в полном одиночестве или же когда весь погружался в созерцание и молчал. Но так как ей представлялось, что впечатления от искусства она получает благодаря мне, хотя впечатления так не передаются, то я считал за благо объявить, что сейчас на время с ней расстанусь и заеду в конце дня, а теперь мне надо съездить к г-же Вердюрен, к Говожо или даже в Бальбек побыть часок с мамой — но не дальше. По крайней мере, так я поступал первое время. Как-то раз Альбертина, надувшись, сказала: «Досадно, что природа так устроила: Иоанн Креститель-на-Эзе — в одной стороне, Ла-Распельер — в другой: сиди

целый день узницей в одном месте», и тогда я, после того как мне принесли шляпку и шарф, на свое несчастье, сговорился в Сен-Фаржо (в книге священника встречается другое название: Sanctus Ferreolus) насчет того, чтобы брать напрокат автомобиль. Альбертину я держал в полном неведении; и когда она зашла за мной, то сперва, услышав, что около отеля гудит мотор, удивилась, а потом узнав, что автомобиль ждет нас, пришла в восторг. Я сказал, чтобы она на минутку поднялась ко мне в номер. Она прыгала от радости: «Мы поедем к Вердюренам!» — «Да, но раз вы поедете в автомобиле, то вам хорошо бы приодеться. Посмотрите: ведь так же лучше?» Тут я вытащил шляпку и шарф. «Это мне? Ах, какой вы милый!» — воскликнула Альбертина и бросилась мне на шею. Эме, встретивший нас на лестнице, гордясь элегантностью Альбертины и нашим способом передвижения, так как в Бальбеке автомобили были тогда еще редкостью, не мог отказать себе в удовольствии спуститься вместе с нами. Альбертине хотелось показаться в новой шляпке, и она попросила меня опустить верх, а потом снова поднять, чтобы свободнее чувствовать себя вдвоем. «Ну? — обратился Эме к шоферу, которого он, кстати сказать, не знал

и который даже не пошевелился. — Ты что, не слышишь, что тебе велели поднять верх?» Эме, плававший, как рыба в воде, в отеле, где он был на хорошем счету, не робел, как извозчик, для которого Франсуаза была «дамой»; хотя бы даже он не был знаком с кем-нибудь из простолюдинов и никогда раньше его не видел, он все-таки говорил ему «ты», причем оставалось неясным, что под этим кроется: аристократическое высокомерие или плебейское панибратство. «Я занят, — ответил не знавший меня шофер. — Меня вызвали к мадемуазель Симоне. Этого господина я везти не могу». Эме покатился со смеху. «Ах ты, дубина стоеросовая! — вскричал Эме, и шофер сразу проникся его доводами. — Ведь это же и есть мадемуазель Симоне, а господин, который велел тебе опустить верх, — он-то и заказывал автомобиль». Эме не был особенно расположен к Альбертине, и ее шляпкой он гордился только потому, что ее заказал я, и все же он сказал шоферу на ухо: «Небось ты бы рад был каждый день катать таких принцесс!» Сегодня мы первый раз поехали в автомобиле, и я уже не мог отправиться в Ла-Распельер один, как ездил туда прежде, пока Альбертина корпела над своими этюдами. Она допускала возможность частых остановок по

пути, но чтобы мы поехали сперва к Иоанну Крестителю-на-Эзе, то есть в обратном направлении, а потом совершить прогулку, которой предполагалось посвятить весь следующий день, — этого она себе не представляла. И вдруг она узнаёт от шофера, что нет ничего проще, чем съездить к Иоанну Крестителю, что он, шофер, слетает туда за двадцать минут и что мы можем пробыть там, если пожелаем, несколько часов или проехать еще дальше, так как дорога из Кетхольма в Ла-Распельер займет не более тридцати пяти минут. Мы в этом убедились, когда автомобиль,[334] рванув, мигом покрыл такое расстояние, для которого отличнейшей лошади потребовалось бы, чтобы пробежать его, двадцать шагов. Расстояние есть лишь взаимозависимость пространства и времени, и изменяется оно вместе с нею. Мы выражаем трудность поездки туда-то и туда-то в милях, в километрах, но эта система мер становится неправильной, как только трудность уменьшается. Живопись тоже изменяется оттого, что

[334] Примечания: 334

Мы в этом убедились, когда автомобиль… — Пруст сразу же оценил такое новшество наступающего века, как автомобиль. Совершив в 1907 г. длительное автомобильное путешествие по Нормандии, он напечатал в «Фигаро» статью под названием «Дорожные впечатления в автомобиле», где обратил внимание на то, как новая скорость побеждает пространство и время.

село, которое будто бы находится совсем не в том мире, в каком расположено другое, оказывается соседним, так как изменились размеры пейзажа. Во всяком случае, сообщение о том, что, быть может, есть такой свет, где дважды два — пять и где прямая линия не есть кратчайшее расстояние между двумя точками, привело бы Альбертину в гораздо меньшее изумление, чем утверждение шофера, что ничего не стоит в один и тот же день съездить к Иоанну Крестителю и в Ла-Распельер, в Дувиль и в Кетхольм, в Старый Сен-Мар и в Сен-Мар-Одетый, в Гурвиль и в Старый Бальбек, в Турвиль и в Фетерн, а ведь до сих пор то были пленники, так же наглухо запертые в клетках разных дней, как некогда Мезеглиз и Германт, пленники, которых одни и те же глаза не могли увидеть в одну и ту же вторую половину дня, но которые были теперь освобождены великаном в сапогах-скороходах и которые окружили нас в полдень всеми этими колокольнями, башнями, старыми садами, что открывал нашему взору спешивший посторониться ближний лес.

Подъехав к дороге в Корниш, автомобиль с непрерывным скрежетом, как будто точили нож, взлетел на гору, и под нами расстелилось опустившееся море. Навстречу нам бежали старые

деревенские домики села Монсюрван, прижимая к себе виноградники или розовые кусты; ели Ла-Распельер, заколыхавшиеся сильнее, чем от вечернего ветра, бросились при виде нас в разные стороны, новый слуга, которого я еще не видел, отворил нам парадную дверь, а сын садовника, обнаруживая рано проявившуюся в нем склонность, пожирал глазами автомобиль. Так как сегодня был не понедельник, мы не знали, застанем ли мы г-жу Вердюрен дома, — за исключением этого ее приемного дня, приезжать к ней наудачу было рискованно. Разумеется, она иногда сидела дома, сидела «из принципа», но это выражение, которое г-жа Сван употребляла в то время, когда и она старалась образовать кланчик и завлечь к себе гостей, не двигаясь с места и зачастую не входя в расходы, для чего она подыскала бессмысленный оборот речи: «из принципа», означало всего лишь: «как правило», то есть — со многими исключениями. Ведь г-жа Вердюрен не только любила выезжать — у нее было очень широкое представление о том, какой должна быть хозяйка дома: когда у нее завтракали, после кофе, ликеров и сигарет (несмотря на легкую осовелость от жары и от пищеварения, в то время когда приятнее было бы смотреть

сквозь листья растений, обвивавших террасу, на пароход, идущий из Джерси по голубому морю) в программу дня входил ряд прогулок, и гости, силком усаженные в коляски, перевозились вопреки их желанию от одного красивого вида к другому, которыми так богаты были окрестности Дувиля. Впрочем, эта вторая часть увеселительной программы (самое трудное было встать из-за стола и сесть в экипаж) все-таки доставляла удовольствие гостям, которых после сочных блюд, тонких вин и пенистого сидра быстро опьяняли свежесть ветра с моря и красота вокруг. Г-жа Вердюрен возила приезжих смотреть эти картины природы (ближние и дальние), как будто они входили в черту ее владений, как будто, завтракая у нее, их нельзя было не посмотреть, и наоборот: как будто они были недоступны для обозрения, если вас не пригласила к себе Покровительница. Стремление добиться исключительного права на эти прогулки, так же как на игру Мореля, а еще раньше — Дешамбра, превратить картины природы в часть кланчика вовсе не было таким нелепым, каким оно казалось на первый взгляд. Г-жа Вердюрен издевалась над Говожо за безвкусицу, которую они, по ее мнению, выказали в меблировке Ла-Распельер и в том, как они разбили парк,

но еще злее — над безынициативностью, какую они проявляли, когда речь заходила о прогулках по окрестностям — прогулках, которые совершали сами и на которые тащили с собой других. Г-жа Вердюрен считала, во-первых, что Ла-Распельер стала тем, чем ей надлежало быть, только после того, как она превратилась в приют для кланчика, а во-вторых, что Говожо вечно ездят в одном направлении — мимо железной дороги, по берегу моря, по самым некрасивым местам, какие только можно было здесь встретить, что, хотя они живут здесь с незапамятных времен, они совсем не знают окрестностей. Доля правды в этом ее утверждении была. Из-за косности, из-за отсутствия выдумки, из-за отсутствия интереса к местности, которую, как им казалось, они исколесили вдоль и поперек, — казалось только потому, что до нее рукой подать, Говожо ездили всегда в одни и те же места одной и той же дорогой. Конечно, они потешались над желанием Вердюренов ознакомить их с родным краем. Но если бы припереть к стене всех троих и даже их кучера, то они не смогли бы показать нам чудесные укромные места, которые открывал Вердюрен, то перелезавший через забор какого-нибудь заброшенного имения, куда никому другому не пришло бы в

голову проникнуть, то выходивший из экипажа и шагавший по непроезжей дороге, всякий раз преисполненный уверенности, что его усилия будут вознаграждены каким-нибудь дивным пейзажем. Да ведь и парк в Ла-Распельер являл собой средоточие всего, что можно было увидеть во время далеких прогулок. Эта его особенность зависела, во-первых, от того, что расположен он был на высоком месте и одна его сторона смотрела на долину, другая — на море, а во-вторых, от того, что по обеим его сторонам, например, в той его части, что смотрела на море, были сделаны просеки с таким расчетом, что отсюда было видно одно, а оттуда — другое. На каждой видовой площадке стояла скамейка; сидя на ней, вы сразу окидывали взглядом и Бальбек, и Парвиль, и Дувиль. Даже там, откуда было видно что-нибудь одно, тоже стояли скамейки — то почти у самого обрыва, то чуть подальше. Когда вы сидели на одной скамейке, то вблизи перед вами была зелень, а даль уже и тут казалась необозримой, но когда вы шли по тропинке к другой скамейке, откуда можно было обнять взором полукружие взморья, простор ширился до бесконечности. Здесь отчетливо доходил до слуха шум волн, а в глубину сада он уже не долетал — там прибой был еще виден,

но уже не слышен. Хозяева Ла-Распельер назвали эти места отдыха «видами». И в самом деле: они собрали вокруг своего замка самые красивые «виды» местностей около моря и около леса, но только очень уменьшенные расстоянием, — так Адриан[335] собрал на своей вилле уменьшенные копии наиболее знаменитых памятников из разных стран. Название «видам» давалось не непременно по названию местности на этом берегу бухты; часто оно давалось по названию местности на том берегу, вырисовывавшейся неопределенно из-за широты панорамы. Иной раз кто-нибудь брал в библиотеке Вердюрена книжку и шел почитать часок к Бальбекскому виду; в ясный день все шли пить ликер к виду Ривбельскому, но только при умеренном ветре, потому что там и без того, хотя вокруг и росли деревья, всегда было холодновато… Но вернемся к прогулкам, которые г-жа Вердюрен устраивала во второй половине дня. Если Покровительница, вернувшись домой, находила у себя визитную карточку кого-нибудь из светских людей, «быв-

[335] Примечания: 335

Адриан (76—138) — римский император, много сделавший для внутреннего благоустройства империи. На его вилле возле Тибура (Тиволи), монументальном ансамбле с дворцами, библиотеками, театрами, термами и палестрой, находились копии его любимых архитектурных сооружений.

шего проездом в этих краях», то притворялась, что она в восторге, а на самом деле приходила в отчаяние оттого, что гость ее не застал, и (хотя визитеры приезжали главным образом для того, чтобы осмотреть дом и завязать однодневное знакомство с женщиной, чей парижский салон хотя и пользовался известностью, но мало кого привлекал) в ту же секунду отправляла мужа приглашать гостя ужинать в следующую среду. Но так как туристам в большинстве случаев надо было уезжать раньше, а некоторые боялись поздно возвращаться, то г-жа Вердюрен давала знать, что, если угодно, гость может приехать и в понедельник попить чайку. Эти чаепития были не особенно многолюдны — в Париже мне случалось бывать на более блестящих сборищах: у принцессы Германтской, у г-жи де Галифе или у виконтессы д'Арпажон. Но здесь это уже был не Париж, и от прелести обрамления выигрывали самые сборища, а их посетители вырастали в моих глазах. Встреча со светским человеком, не доставлявшая мне ни малейшего удовольствия в Париже, в Ла-Распельер, куда он приезжал издалека, через Фетерн или через Трусий Щебет, приобретала иной характер, иное значение, превращалась в радостное событие. Иной раз

это был человек, которого я прекрасно знал, но ради которого я ни за что не пошел бы к Сванам. А здесь, на этом скалистом берегу моря, его имя звучало иначе — так звучит часто произносящееся в театре имя актера, если оно напечатано на афише особого цвета, которая приглашает на необычное, торжественное представление, отчего, в неожиданном контексте, его известность внезапно возрастает. На даче церемоний не соблюдают, а потому многие светские люди брали на себя смелость привозить с собою друзей, у которых они останавливались, и, прибыв с ними, шептали г-же Вердюрен извинения: я, мол, у них живу, и мне неудобно было от них уехать; платя любезностью за любезность, они предлагали своим хозяевам развеять скуку жизни у моря в культурном обществе, посетить чудное именье и попасть на необыкновенно вкусное чаепитие. Немедленно образовывалось сборище людей второго сорта; но ведь два-три деревца на клочке земли кажутся жалкими в деревне, а на авеню Габриэль или на улице Монсо это уже сад необыкновенной красоты — такую роскошь могут себе позволить мультимиллионеры, — вот так и господа, тушевавшиеся на вечере в Париже, приобретали вес в понедельник днем в Ла-Распе-

льер. Как только они садились за стол, накрытый скатертью с красным узором, под резными трюмо, им подавали галеты, нормандские слойки, торты в виде лодок с вишнями, напоминавшими кораллы, «дипломаты», и в тот же миг с гостями от близости глубокой лазурной чаши, на которую были обращены окна и которую видели и вновь прибывшие, и все остальные, происходила необычайная перемена, необычайное превращение, сообщавшее им особую значительность. Этого мало: еще до встречи с новыми гостями, когда у г-жи Вердюрен по понедельникам собирались приглашенные, чьи взгляды в Париже привычно скользили по элегантным экипажам, стоявшим у роскошных особняков, у них начиналось сердцебиение при виде двух — трех плохоньких колымаг, останавливавшихся под большими елями в Ла-Распельер. Наверно, это объяснялось тем, что деревенская обстановка была совсем другой, и благодаря этому перемещению светские впечатления освежались. Еще это объяснялось тем, что дрянной экипаж, нанятый, чтобы съездить к г-же Вердюрен, вызывал в воображении чудесное путешествие и дорогостоящую сделку, заключенную с кучером, который запрашивал «столько-то» за день. А еще

это слегка возбужденное любопытство к приезжающим, которых пока нельзя было разглядеть, возникало потому, что все задавали себе вопрос: «Кто же это приехал?» — вопрос, на который трудно было ответить, если не знать, кто мог приехать на неделю к Говожо или к кому-нибудь другому и который всегда приятно задавать себе в деревенской глуши, где встреча с человеком, давно не появлявшимся на вашем горизонте, или новое знакомство, перестав быть, как в Париже, надоевшей обязанностью, наполняет отрадой пустое пространство уединения, где даже приход почтальона становится праздником. И в тот день, когда мы приехали на автомобиле в Ла-Распельер, — а приехали мы не в понедельник, — г-н и г-жа Вердюрен, по всей вероятности, испытывали ту жажду общения с людьми, какая мучает и мужчин, и женщин и манит больного, разлученного с родными для лечения одиночеством, выброситься в окно. Новый слуга, более расторопный и уже усвоивший ставшие здесь ходовыми выражения, сказал нам, что «если мадам дома, то она должна быть у Дувилъского вида» и что он «сейчас все разузнает», потом мигом куда-то слетал и объявил, что мадам нас примет. Прическа у г-жи Вердюрен была не в порядке, так как г-жа

Вердюрен предварительно побывала в саду, в птичнике и на огороде, кормила павлинов и кур, собирала яйца, собирала фрукты, срезала цветы, «чтобы изобразить на столе аллейку», которая напоминала бы аллейку в саду; столовая аллейка отличалась от садовой тем, что её образовывали только вещи полезные и съедобные, а за дарами сада и птичника, то есть за грушами, за снежками, вытягивали свои длинные стебли синяки, гвоздики, розы и кореопсис, между которыми, будто между цветущими вехами, проглядывали в окнах бороздившие открытое море корабли. По удивлению, изобразившемуся на лицах у г-на и у г-жи Вердюрен, которая, как только ей доложили, что прибыли гости, прекратила расстановку цветов на столе, — удивлению, вызванному тем, что это всего-навсего мы с Альбертиной, — я сразу понял, что новый слуга, разбитной, но еще не знавший моей фамилии, перепутал ее, а г-жа Вердюрен, когда ей сообщили, что приехали какие-то незнакомые гости, позволила все-таки ввести нас, потому что ей хотелось видеть кого бы то ни было. Новый слуга смотрел на эту сцену стоя за дверью и силился понять, какую роль играем мы в этом доме. Потом вдруг опрометью бросился вон из комнаты — ведь он поступил к

Вердюренам только вчера. После того как Альбертина предоставила Вердюренам возможность насмотреться на свою шляпку и шарф, она бросила на меня взгляд, напоминавший мне, что у нас не так много времени впереди для того, что было нами задумано. Г-жа Вердюрен уговаривала нас остаться на чашку чаю, мы отказались наотрез, но тут вдруг она выразила желание, которое могло бы отравить мне всю радость прогулки с Альбертиной: Покровительнице то ли жаль было с нами расставаться, то ли, быть может, она боялась упустить новое развлечение, но только она вознамерилась ехать с нами. Издавна привыкнув к тому, что ее предложения подобного рода встречали неудовольствие, и, вероятно, не будучи уверена, что она обрадует таким предложением нас, она, говоря с нами, пыталась прикрыть робость наигранной решительностью и давала понять, что ни секунды не сомневается в нашем согласии, а затем, даже не спрашивая его, объявила мужу таким тоном, как будто она осчастливила нас с Альбертиной: «Я их провожу». В то же мгновение она вызвала на лицо не свою улыбку, а ту, которую я замечал у иных, когда они с хитрым видом говорили Берготу: «Я уже купил вашу книгу, можете быть уверены», — улыбку

собирательную, общую для всех, какую по мере надобности — так пользуются железной дорогой или фургоном для перевозки мебели — изображают на своем лице совершенно разные люди, кроме натур очень утонченных, вроде Свана или де Шарлю, чьи губы при мне ни разу не сложились в подобного рода улыбку. Наш приезд был испорчен. Я притворился, что не понял г-жу Вердюрен. Тут же выяснилось, что и г-н Вердюрен поедет развлечься. «Для господина Вердюрена это будет очень утомительно», — заметил я. «Да нет, что вы, — благосклонно глядя на нас, возразила сразу оживившаяся г-жа Вердюрен, — он говорит, что ему будет очень приятно прокатиться с молодежью по этой так хорошо знакомой ему дороге; он может сесть и рядом с шофером — это его не пугает, а вернемся мы самым скромным образом: по железной дороге, как полагается благоразумным супругам. Посмотрите на него: он сияет!» Г-жа Вердюрен говорила о своем муже, как о знаменитом старом художнике, добряке, у которого душа моложе, чем у иных юнцов, и которому доставляет истинное удовольствие что-нибудь намалевать, чтобы позабавить детвору. Меня особенно огорчало то, что Альбертина, по-видимому, была не огорчена, что она, каза-

лось, готова была исколесить с Вердюренами всю округу. А во мне так сильна была жажда наслаждения, какого я ждал от прогулки с ней, что я не мог позволить Покровительнице испортить эту прогулку; в ответ на ее угрозы я поневоле изворачивался и так и этак, но — увы! — Альбертина выводила меня на чистую воду. «Да ведь нам нужно заехать еще в одно место», — выдумал я. «Куда заехать?» — спросила Альбертина. «Я вам объясню потом, это необходимо». — «Ну что ж, мы вас подождем», — сказала г-жа Вердюрен — она была согласна на все. В конце концов от страха, что у меня отнимут долгожданную радость я нашел в себе смелость быть невежливым. Я решительно отверг предложение г-жи Вердюрен, шепнув ей, что у Альбертины горе, что Альбертине нужно со мной посоветоваться и что поэтому я непременно должен остаться с ней наедине. Лицо Покровительницы приняло злобное выражение. «Хорошо, мы не поедем», — проговорила г-жа Вердюрен дрожащим от гнева голосом. Она была до того взбешена, что я решил сделать вид, будто иду на уступки: «Но все-таки, может быть…» — «Нет, — придя уже в полную ярость, перебила меня она. — Раз я сказала „нет“, значит, нет». Я было подумал, что мы с ней рассо-

рились, но, прежде чем Альбертина и я успели шагнуть за порог, г-жа Вердюрен окликнула нас и сказала, чтобы мы не «надули» завтра, что ведь завтра среда и чтобы мы ехали сюда не на этом драндулете, так как ночью ехать на нем опасно, а на поезде, вместе со всей тесной компанией, и потом еще остановила уже съезжавший вниз по парку автомобиль, потому что слуга забыл положить в авто кусок торта и песочное печенье, которое она завернула для нас в дорогу. И вот мы опять некоторое время ехали по дороге, эскортируемые домиками, прибежавшими сюда вместе с цветами в палисадниках. Нам показалось, что облик этой местности изменился до неузнаваемости: ведь в топографическом представлении, какое мы составляем о любой местности, пространство решающего значения не имеет. Я уже говорил о том, что в большей степени обособляет местности время. Но и время не всегда тут бывает полновластно. Иные места, которые отграничены для нас навсегда, в нашем представлении не соизмеримы со всеми прочими, они находятся как бы за пределами дольнего мира, подобно людям, с которыми мы общались в особые, ни с какими другими не связанные периоды нашей жизни, как, например, военная служба или дет-

ство. Во время первого моего приезда в Бальбек маркиза де Вильпаризи любила возить нас в Бомон, потому что оттуда, с горы, были видны только лес и вода. Маркиза выбирала эту дорогу, считая, что она красивей всех остальных, так как пролегала среди старых деревьев, и поднималась она все выше и выше, отчего лошади вынуждены были тащиться медленным шагом. На горе мы выходили из экипажа, недолго гуляли, потом опять садились в экипаж и возвращались той же дорогой, не встречая по пути ни селения, ни замка. Я помнил, что Бомон — это нечто весьма любопытное, что это очень далеко, что это очень высоко, но мы никогда не ездили бомонской дорогой в другие места, я помнил только, что до нее нужно очень долго ехать в коляске. Очевидно, Бомон находился в том же самом округе (или в той же провинции), что и Бальбек, но, по моим понятиям, это было уже в каком-то ином плане, в моем понятии Бомон пользовался привилегией экстерриториальности. Но для автомобиля никаких тайн не существует; проехав Энкарвиль, дома которого еще стояли перед моими глазами, мы начали спускаться по холмистому проселку, приводившему к Парвилю (Paterni villa), и, увидев море, открывшееся нам с грунтовой дороги,

я спросил, как называется эта местность, но, прежде чем шофер мне ответил, я узнал Бомон, мимо которого, сам того не подозревая, я столько раз проезжал в пригородном поезде, так как от него было две минуты езды до Парвиля. Представим себе, что я смотрел бы на одного офицера, одного из моих однополчан, как на человека особенного, такого доброжелательного и простого, каких среди знатных людей не найдешь, такого не похожего на других и такого таинственного, каких среди просто-напросто знатных людей не найдешь, и вдруг бы я узнал, что это какой-то родственник тех, у кого я ужинаю в городе, — так и Бомон, неожиданно обретший связь с местами, находившимися, как я полагал, далеко-далеко отсюда, утратил свою таинственность и занял место, принадлежавшее ему в этом краю, наведя меня на страшную мысль, что, встреться я с г-жой Бовари и с Сансевериной не в замкнутом мире романа, а где-нибудь еще, мне бы, чего доброго, показалось, будто они ничем не отличаются от других женщин. Читатель имеет основания предполагать, что из-за моей любви к феерическим путешествиям по железной дороге я не разделял восторга Альбертины перед автомобилем, который даже больного везет куда угодно, и

что я уже не смотрел на самое местоположение как на индивидуальную черту, как на подлинную сущность неизменных красот природы. Для автомобиля местоположение, как в былое время для железной дороги, когда я приехал из Парижа в Бальбек, конечно, не являлось самоцелью, оторванной от повседневных нужд, тогда местоположение при отъезде казалось почти невещественным, и таким оно оставалось и по прибытии в большое, необитаемое, только называвшееся по имени города помещение вокзала и лишь потом, как бы материализуясь, давало надежду, что я получу доступ в город. Нет, автомобиль подвозил нас к городу не таким волшебным путем: сначала город открывался нашим глазам тем единым целым, какое вмещалось в его название, и создавал о себе то же обманчивое представление, какое создается у зрителя, который ждет начала спектакля. Шофер вводил нас в кулисы улиц, останавливался и спрашивал у встречных, как проехать дальше. Вознаграждали нас за столь обычную поездку неуверенность шофера, не знавшего дорогу и поворачивавшего назад, шутки, какие, когда мы неуклонно приближались к городу, хотя он и старался спрятаться за листвой своих вековых деревьев, с нами шутила

перспектива, заставлявшая играть в догонялки замок с холмом, церковь — с морем; нас вознаграждали всё суживавшиеся круги, которые автомобиль описывал вокруг города, меж тем как город врассыпную бежал от погони, но в конце концов автомобиль все-таки свергался на него, раскинувшегося по дну долины; таким образом, местоположение оказывалось единственной точкой, где автомобиль срывал таинственный покров, который набрасывали на город скорые поезда, и где у нас складывалось впечатление, будто это мы сами открыли его, определили при помощи компаса, где у нас пробуждалось радостное чувство разведчика, впервые познавшего настоящую геометрию — эту чудесную науку, созданную для измерения земли.

К несчастью, я тогда не знал — об этом мне стало известно лишь два года спустя, — что одним из клиентов шофера был де Шарлю и что Морель, которому было поручено расплачиваться с шофером и который часть денег прикарманивал (заставляя шофера при расплате утраивать и удесятерять количество километров), очень с ним подружился (делая, однако, из этого знакомства тайну) и пользовался его автомобилем для далеких поездок. Если бы мне тогда обо всем

этом было известно, а также о том, что источник доверия, каким вскорости прониклись к шоферу Вердюрены, находился здесь, хотя они об этом и не подозревали, то, быть может, многих страданий, выпавших мне на следующий год в Париже, многих тяжелых переживаний, связанных с Альбертиной, удалось бы избежать, но тогда я ни о чем не догадывался. Поездки де Шарлю с Морелем в авто не представляли для меня особого интереса. И впрямь: что могло быть для меня интересного в их завтраках и ужинах на берегу моря, являвшихся по большей части целью их поездок, в том, что де Шарлю играл роль старого обнищавшего слуги, а Морель, в обязанности которого входило расплачиваться по счетам, — роль весьма щедрого господина? Я сейчас расскажу об одной такой трапезе — она даст представление о всех прочих. Это было в длинной зале ресторана в Сен-Маре-Одетом. «Нельзя ли это убрать?» — не желая вести переговоры с официантами, обратился де Шарлю к Морелю как к своему посреднику. Под словом «это» он подразумевал три увядшие розы, которыми услужливый метрдотель счел нужным украсить стол. «Можно… — смущенно ответил Морель. — Ведь вы не любите розы». — «Если уж мы об этом

заговорили, я мог бы привести доказательства того, что я их люблю, потому что в этом краю их нет (Морелю, должно быть, эта мысль была не ясна), по вообще я их не очень люблю. Я придаю большое значение именам; так вот, если роза довольно красивая, то оказывается, что ее назвали по имени баронессы Ротшильд или жены маршала Ниэля, и это расхолаживает. Вы любите названия? Вы подобрали красивые названия для ваших концертных номеров?» — «Одну вещь я назвал „Поэмой грусти“». — «Ужасно! — пронзительным, звонким, как пощечина, голосом вскричал де Шарлю. — Я же заказывал шампанского!» — сказал он метрдотелю, который думал, что принес шампанского, а на самом деле поставил перед посетителями два бокала с пенистым вином. «Но, сударь…» — «Унесите эту гадость — самое плохое шампанское лучше вашего вина. Это рвотное, именуемое „кю-пом“, смесь уксуса с сельтерской, в которой плавают три гнилые земляники. Да, — повернувшись к Морелю, продолжал он, — по-видимому, вы не понимаете, что значит название. И даже при интерпретации тех вещей, которые вы особенно хорошо исполняете, вы, по-видимому, не чувствуете их медиумичности». — «Простите, вы сказали…»

— переспросил Морель; он решительно ничего не понял из того, что говорил барон, да и не старался понять, — он боялся одного: пропустить мимо ушей какое-нибудь приятное для него предложение, например приглашение на завтрак. Де Шарлю не соблаговолил принять это «Простите, вы сказали...» за вопрос, и, не получив ответа, Морель решил переменить разговор, сведя его на взаимоотношения полов. «Посмотрите на блондиночку, которая продает ваши нелюбимые цветы; или вот на эту — у нее наверняка есть подружка. Или на ту старуху — вон она ужинает в глубине зала». — «Откуда тебе все известно?» — спросил де Шарлю, восхищенный даром ясновидения, которым обладал Морель. «Я их мигом распознаю. Если бы мы с вами потолкались в толпе, вы убедились бы, что я два раза подряд маху не даю». Кто наблюдал бы сейчас Мореля, с его мужественной красотой и девичьим выражением лица, тот понял бы, почему женщин безотчетно влечет к нему и почему его влечет к ним. Ему хотелось вытеснить Жюпьена, он питал смуглую надежду прибавить к своему «фиксу» те деньги, которые, как ему представлялось, жилетник тянул с барона. «Ну, а в голубеньких я еще лучше разбираюсь — со мной вы бы впросак не

попали. В Бальбеке скоро будет ярмарка — мы бы там кое-что подыскали. И в Париже вы бы повеселились». Но тут наследственная осторожность челядинца заставила его придать другой смысл этой фразе. Де Шарлю даже решил, что тот все еще имеет в виду девушек. «Понимаете, — продолжал Морель (ему хотелось распалить барона другим, в меньшей степени компрометирующим его самого способом, хотя на самом деле этот способ был гораздо более безнравственный), — моя мечта — встретить чистую девушку, влюбить ее в себя и лишить невинности». Де Шарлю, не удержавшись, ласково ущипнул Мореля за ухо, а потом, наивно глядя на него, спросил: «А зачем тебе это? Если ты отнимешь у нее девичество, то тебе придется жениться на ней». — «Жениться? — вскричал Морель: видимо, он решил, что барон на взводе, а может быть, просто не подумал о том, что человек, с которым он ведет беседу, в сущности, честнее, чем он предполагает. — Жениться? Черта с два! Я ей пообещаю, но, благополучно произведя эту операцийку, в тот же вечер от нее драла». Де Шарлю имел обыкновение одобрять чей-либо замысел, если он доставлял ему мимолетное чувственное наслаждение, но как только он переставал испытывать его, так сейчас же

брал свои слова обратно. «И ты правда так бы поступил?» — спросил он, смеясь и теснее прижимаясь к Морелю. «За милую душу!» — видя, что барон не без удовольствия слушает, как он откровенничает с ним и высказывает заветное свое желание, подтвердил Морель. «Это опасно», — сказал де Шарлю. «Я соберусь заранее и, не оставив своего адреса, дам тягу». — «А как же я?» — спросил де Шарлю. «Само собой разумеется, я увезу вас с собой, — поспешил ответить Морель, хотя он меньше всего думал о бароне, который был отнюдь не главным предметом его забот. — Знаете, одна малютка очень бы мне для этого дела подошла: это простенькая портниха, ее мастерская — в доме его светлости». — «Дочь Жюпьена? — вскричал барон в ту самую минуту, когда в зал вошел бочар. — Ни за что! — счел нужным заявить он, быть может, потому, что его охладило присутствие третьего лица, а может быть, еще и потому, что на те черные мессы, где он находил удовольствие в осквернении всего самого святого, он все же не решался допускать людей, к которым относился с симпатией. — Жюпьен — человек хороший, а малютка — прелестная девушка, обижать их бессовестно». Поняв, что зашел слишком далеко, Морель умолк, но его

отсутствующий взгляд все еще был устремлен к девушке, которую ему захотелось взять в тот день, когда он заказал ей сшить себе жилет и когда я назвал его бесценным, великим артистом. Работящая девушка трудилась без отдыха, а впоследствии я узнал, что, пока скрипач Морель жил в окрестностях Бальбека, она все время думала о том, какое у него красивое лицо, чертам которого в ее глазах придавало благородство то, что Морель явился вместе со мной, — вот почему она приняла его за «господина».

«Я никогда не слышал, как играет Шопен, — сказал де Шарлю, — а ведь мог бы, но я брал уроки у Стамати,[336] и он не пустил меня к моей тетке Шиме послушать мастера ноктюрнов». — «Как это глупо!» — вскричал Морель. «Ничего подобного! — визгливым голосом живо ответил ему де Шарлю. — В этом сказался его ум. Он понял, что я еще „щенок“ и могу подпасть под влияние Шопена. Впрочем, особого значения это бы не имело — я ведь забросил музыку совсем молодым, как и другие искусства. Да и потом, ведь это можно себе вообразить, — медленно, монотонно, произнося

[336] Примечания: 336

Стамати, Камиль (1811–1870) — французский пианист и композитор греческого происхождения, виртуозный исполнитель и блестящий педагог. Одним из его учеников был Камиль Сен-Санс.

слова в нос, продолжал он, — вам непременно встретятся люди, которые слышали его и дадут о нем представление. Впрочем, Шопен был для меня только предлогом, чтобы вернуться к медиумичности, которой вы пренебрегаете».

Надо заметить, что тут де Шарлю сделал резкий переход от просторечия к вычурному языку, который был ему свойствен, и заговорил своим обычным презрительным тоном. Объяснялось это вот чем: мысль, что Морель без малейших угрызений совести «даст тягу» от только что перед этим обесчещенной им девушки, неожиданно доставила ему высшее наслаждение. После этого пыл в де Шарлю на некоторое время угас, и садист (подлинно медиумический), на несколько мгновений взявший в нем верх, удалился, передав слово настоящему де Шарлю с его утонченностью, с его чувством изящного, с его добротой. «Вы недавно играли Пятнадцатый квартет в переложении для фортепьяно; переложение — это уже само по себе нелепо; в самом деле, трудно представить себе что-нибудь менее фортепьянное. Это предназначено для тех, у кого болят уши от слишком туго натянутых струн Великого Глухого. А ведь именно эта почти ранящая мистика у него божественна. Во всяком случае, вы его очень

плохо сыграли, вы взяли не тот темп. Эту вещь надо играть так, как будто вы сами ее сочинили: юный Морель, сраженный внезапной глухотой и несуществующей гениальностью, замирает; затем, охваченный священным безумием, начинает играть, сочиняет первые такты; усилия, которые он употребляет при вступлении, доводят его до изнеможения, он опускает голову, и на его лоб падает красивая прядь: это ему нужно для того, чтобы пленить госпожу Вердюрен, и вместе с тем для того, чтобы сделать передышку и восстановить основательное количество серого вещества, затраченного им при ясновидческой объективации; собравшись с силами, вновь охваченный сильнейшим порывом вдохновения, он устремляется к дивной, неисчерпаемой мелодии, которой берлинский виртуоз (по-видимому, де Шарлю так называл Мендельсона) столько раз подражал впоследствии. Лишь так, лишь трансцендентно и возвышающе, я заставлю играть вас в Париже». Подобного рода советов, которые расточал де Шарлю, Морель пугался сильнее, чем когда метрдотель уносил не понравившиеся барону розы и кюп, вызывая у Мореля волновавший его вопрос: как бы это было воспринято в его «классе»? Однако мысль Мореля на этом не

задерживалась, так как де Шарлю приказывал ему: «Спросите метрдотеля, нет ли у них „Доброго христианина“». — «Я вас не понимаю. Какого „Доброго христианина?“» — «Вы же знаете, что сейчас пора подать нам что-нибудь на десерт, а это название груш. Можете быть уверены, что у маркизы де Говожо подают эти груши, потому что их подавали у графини д'Эскарбанья,[337] а маркиза де Говожо — это графиня д'Эскарбанья. Графине прислал их господин Тибодье, а она сказала: „Этот сорт груш называется „Добрый христианин“ — отменные груши“». — «А я и не знал». — «Я вижу, что вы вообще ничего не знаете. Если вы даже Мольера не читали… Ну хорошо, раз вы не умеете распоряжаться, да и во всем остальном вы человек неумелый, попросите просто-напросто подать те груши, которых так много поблизости отсюда, то есть „Луиз-Бон д'Авранш“». — «Вот эти?» — «Погодите, раз вы такой непонятливый, то я сам закажу другие, мои любимые. Метрдотель! У вас есть „Дояне де Комис“? Чарли! Вам бы следовало прочитать прелестные страницы, которые посвятила этой груше герцогиня Эмилия

[337] Примечания: 337

Графиня д'Эскарбанья — персонаж одноименной комедии Мольера (1671).

де Клермон-Тоннер[338]». — «Нет, сударь, таких у нас нет». — «А „Победа Жодуаня“?» — «Нет, сударь». -«А „Виржини Дале“? „Де ла Пас-Кольнар“? Нет? Ну хорошо, раз у вас ничего нет, то мы уйдем. „Герцогиня Ангулемская“ еще не поспела — идемте же, Чарли!» К несчастью для де Шарлю, то ли оттого, что ему изменял здравый смысл, а может быть, по причине невинности отношений, какие у него, вероятно, были с Морелем, но только в эту пору он беспрестанно осыпал скрипача необыкновенными милостями, а скрипач не мог понять, что это значит, и по своей неблагодарной и мелочной натуре, тоже со странностями, отвечал на них не иначе как сухостью или же все усиливавшейся грубостью, доводившими де Шарлю — прежде такого горделивого, а теперь пришибленного — до полного отчаяния. Далее мы увидим, что Морель, решивший, что он вырос на тысячу голов выше какого-то там де Шарлю, понимал в буквальном смысле и толковал вкривь и вкось, вплоть до мелочей, касавшиеся аристократии кичливые поучения барона. Пока

---

[338] Примечания: 338

Герцогиня Эмилия де Клермон-Тоннер. — Среди близких знакомых Пруста была маркиза Елизавета де Клермон-Тоннер (1875–1954); писатель заимствует названия груш из ее книги «Альманах французских деликатесов».

отметим только, что, в то время как Альбертина ждала меня у Иоанна Крестителя-па-Эзе, Морель утверждал, что выше знатности (и это было, в сущности, благородно, особенно со стороны человека, который наивысшее удовольствие видел в том, чтобы гоняться за девчонками, да так, чтобы все было «шито-крыто», при пособничестве шофера) его слава артиста и мнение о нем его товарищей по классу скрипки. Без сомнения, он вел себя нахально, так как чувствовал, что де Шарлю весь в его власти; он притворялся, что хочет порвать с бароном, издевался над ним, смотрел на него свысока, точно так же, как начал смотреть на меня, взяв предварительно слово никому не говорить, какие обязанности исполнял его отец в доме моего деда. Но при всем том его имя, имя Мореля, дипломированного музыканта, действительно представлялось ему выше просто имени. И когда де Шарлю, преисполненный платонической нежности, мечтал присвоить ему один из титулов своей семьи, Морель решительно отказывался.

Когда Альбертина решала, что благоразумнее остаться подле Иоанна Крестителя-на-Эзе и писать, я садился в автомобиль и, успев побывать в Гурвиле, в Фетерне, в Сеп-Маре-Одетом и даже в

Крикто, заезжал за ней. Притворяясь, будто у меня на уме не только она, будто я оставляю ее ради каких-то развлечений, на самом деле я все время думал о ней. Чаще всего я не заезжал дальше широкой равнины над Гурвилем, чем-то напоминавшей мне поле, начинавшееся у Комбре и поднимавшееся к Мезеглизу, и даже на довольно большом расстоянии от Альбертины мне было отрадно думать, что, хотя мой взгляд до нее не достигает, зато сильный и ласковый морской ветер, обгоняя его, должен беспрепятственно долететь до Кетхольма, всколыхнуть ветви деревьев, укрывающие своею листвой Иоанна Крестителя-па-Эзе, овеять лицо моей подружки и таким образом установить двойную связь между мной и ею в этом укромном уголке, расширившемся до бесконечности, хотя это расширение не представляло для пас ничего опасного, как нет ничего опасного для двух детей, которые, играя, заходят порой так далеко что перестают слышать и видеть друг друга, но которые все-таки, несмотря на то что они разъединены продолжают быть вместе. Я возвращался тропами, откуда видно было море и где прежде — еще до того, как оно начинало сквозить между ветвями, — я закрывал глаза, чтобы приготовиться к тому, что сейчас я

увижу ропщущего прародителя земли, все еще, как и в те времена, когда не было на свете живых существ, не усмирившего своего беспричинного предвечного волнения. Теперь тропы были мне нужны только для того, чтобы добраться до Альбертины, — ведь я же знал, что они похожи одна на другую, знал, докуда они бегут прямо, а где свернут, вспоминал, что шел по ним, думая о мадемуазель де Стермарья и о том, что с таким же нетерпением шел на свидание с Альбертиной по улицам Парижа, где проезжала герцогиня Германтская; я видел полнейшее единообразие, видел в них символ развития моего характера. Все в этих тропах было естественно и в то же время не безразлично для меня; они напоминали мне о том, что моя судьба — гоняться за призраками, за существами, большинство которых существует только в моем воображении; в самом деле, я смолоду принадлежал к числу людей, которые всё, имеющее незыблемую ценность, по мнению всех прочих — неоспоримую: богатство, успех, блестящее положение — не ставят ни во что; им нужны призраки. Эти люди жертвуют ради них всем остальным, пускают в ход все, прибегают ко всяким средствам для того, чтобы встретиться с призраком. Но призрак скоро исчезает; тогда они

начинают гоняться за другими, но в конце концов возвращаются к первому. Вот так и я не раз возвращался к Альбертине — к девушке, которую в первый мой приезд я встретил у моря. Правда, между Альбертиной, которую я полюбил впервые, и той, с которой не мог расстаться теперь, вклинивались другие женщины, в частности — герцогиня Германтская. Меня могут спросить: что же я так терзался из-за Жильберты, так страдал из-за герцогини Германтской, раз я дружил с ними, ставя перед собой единственную цель — думать об Альбертине, а вовсе не о них? На это мог бы ответить перед смертью Сван, потому что он любил призраки. На бальбекских тропах было полно таких призраков, преследуемых, позабытых, иной раз вновь найденных ради одной-единственной встречи, ради того, чтобы прикоснуться к несуществующей жизни, которая тотчас же ускользала. Я думал о том, что все эти деревья, среди которых пролегали тропы, — яблони, груши, тамариск — переживут меня, и мне чудилось, будто они уговаривают меня скорей приниматься за дело, пока еще для меня не пробил час вечного упокоения.

Я выходил из экипажа в Кетхольме, сбегал по крутой горе, проходил через ручей по доске и под-

ходил к Альбертине, а она писала, сидя против церкви, увенчанной колоколенками, колючей, красной, цветущей, как розовый куст. Гладким был только тимпан; приросшие к радовавшей взор поверхности камня ангелы со свечами в руках перед глазами юной четы XX века продолжали совершать обряд XIII-го. Их-то Альбертина и пыталась написать на своем заготовленном холсте, в подражание Эльстиру, пытаясь передать широкими мазками тот благородный ритм, которым, по словам великого учителя, они отличались от всех виденных им. Потом Альбертина складывала вещи. Держась друг за друга, мы поднимались на гору, а церковка стояла все так же спокойно, как будто и не видела нас, и слушала неутихавшее журчанье ручья. Автомобиль мчался обратно, но уже другой дорогой. Мы проезжали мимо Маркувиля-Горделивого. Его церковь, наполовину новую, наполовину реставрированную, заходящее солнце покрывало налетом таким же прекрасным, как налет времени. Большие барельефы выглядывали словно из-под текучего, наполовину бесцветного, наполовину пламеневшего слоя. Пресвятая Дева, Елисавета, Иоаким, омываемые неосязаемой зыбью, выступали как бы из воды и из солнечного света. Множество

современных изваяний, возникавшее из горячей пыли, возвышалось на колоннах, касаясь края золотистой пелены заката. Высокий кипарис стоял около церкви как бы за некой священной оградой. Мы выходили из экипажа и осматривали церковь. Для Альбертины шляпка из итальянской соломки и шелковый шарф составляли как бы продолжение ее тела (это ощущение значительно улучшало ее самочувствие), и, обходя церковь, она уже находилась в другом настроении, выражавшемся в бездумном внутреннем удовлетворении, в котором для меня была особая прелесть; шарф и шляпка представляли собой еще совсем недавнюю, случайную частицу моей подруги, однако мне уже дорогую, и я следил за их мельканием в вечернем воздухе вокруг кипариса. Альбертина хотя сама и не видела, но, должно быть, чувствовала, что элегантный шарф и элегантная шляпка ей к лицу, потому что, приноравливая движения головы к прическе, увенчанной головным убором, она улыбалась мне. «Неважно она реставрирована», — заметила Альбертина, показывая на церковь, и припоминала слова Эльстира о дивной, неповторимой красоте древнего камня, из которого она была сложена. Альбертина мгновенно угадывала, что

обновлено. Она плохо разбиралась в музыке, зато удивительно верно судила об архитектуре. Как и Эльстиру, мне эта церковь не особенно нравилась; ее залитый солнечным светом фасад не порадовал моего взгляда, и осматривать ее я стал только в угоду Альбертине. И все-таки, по-моему, великий импрессионист вступал в противоречие с самим собой; правомерно ли судить о красоте созданного зодчим, не принимая во внимание то, как оно преображается при свете заходящего солнца? «Нет, она мне решительно не нравится, — сказала Альбертина, — мне нравится только ее название — название „Горделивая“. Кстати, надо бы спросить у Бришо, почему Сен-Мар называется Одетым. В следующий раз мы поедем туда, вы согласны?» Разговаривая со мной, она смотрела своими черными глазами из-под шляпки, надвинутой на лоб, как прежде из-под шапочки. На ветру развевался ее шарф. Я опять садился рядом с ней в автомобиль, и мне было отрадно мечтать о том, что завтра мы поедем к Сен-Мару, две старинные бледно-розовые колокольни которого, с их ромбовидными, чуть-чуть загнутыми и словно трепещущими черепицами, в самое жаркое время дня, когда не думается ни о чем, кроме как о купанье, напоминали допотопных острого-

ловых рыб с поросшей мхом чешуей кирпичного цвета, неподвижно высившихся в прозрачной голубизне воды. Чтобы сократить путь, мы, выехав из Маркувиля, сворачивали к развилке, где была ферма. Иногда Альбертина останавливала здесь машину, но так как ей не хотелось вылезать, то она просила меня сходить за кальвадосом или за сидром, и, хотя нас уверяли, что он не пенится, все-таки мы им обливались. Мы жались друг к другу. Жители фермы с трудом могли рассмотреть Альбертину в глубине закрытого автомобиля; я отдавал бутылки; мы уезжали — словно для того, чтобы продолжать жить вдвоем, жить жизнью любовников, за каковых они могли нас принять, жизнью, в потоке которой эта остановка ради того, чтобы утолить жажду, была лишь незначащим мгновеньем; фермеры утвердились бы в своем предположении, если б увидели нас после того, как Альбертина выпивала целую бутылку сидра; тогда она и в самом деле как будто не могла примириться с тем, чтобы нас разделяло хоть какое-то расстояние, обычно ее не раздражавшее; ее ноги под полотняной юбкой прижимались к моим, она касалась моих щек своими горячими, внезапно бледневшими щеками — отчего еще ярче рдели красные пятна на скулах, — и были в

ее щеках и пылкость, и блеклость, как у девиц из пригорода. В такие мгновенья почти так же быстро, как менялось ее лицо, менялся и ее обычный голос, и тогда она говорила другим — хриплым, нахальным, почти развратным. Вечерело. Как приятно было ощущать близость Альбертины, близость ее шарфа и шляпки, и думать о том, что вот так всегда льнут друг к другу влюбленные! Может быть, я и любил Альбертину, но не осмеливался высказать ей свою любовь, хотя если даже я испытывал это чувство, то до проверки его на опыте я не мог познать настоящую его ценность; мне казалось, что оно останется безответным и что оно находится где-то за пределами моего бытия. А вот ревность заставляла меня как можно реже оставлять Альбертину одну, хотя я и сознавал, что исцелиться от ревности я могу, только разлучившись с Альбертиной навеки. Иногда у меня бывали вспышки ревности в ее присутствии, но в таких случаях я раз навсегда старался устранить то, что пробуждало во мне ревность. Так именно и произошло, когда мы с ней поехали завтракать в Ривбель. Широкие стеклянные двери залы, имевшей вид коридора и предназначенной для чаепития, находились на одном уровне с позлащенными солнцем лужайками, и

от этого казалось, будто огромный светлый ресторан является их продолжением. Румяный лакей с черными волосами, развевавшимися, как пламя на ветру, не носился с прежней быстротой по этому бесконечному пространству, потому что он был теперь не младшим, а старшим официантом, но, проворный от природы, он тем не менее мелькал всюду: то вдалеке, в общей зале, то совсем близко и даже на воздухе, подавая посетителям, завтракавшим в саду, и являя собою как бы ряд скульптур, изображающих юного бегущего бога, причем одни из них находились в ярко освещенном помещении, за которым сразу начинались зеленые луговинки, а другие — в тени деревьев, при естественном свете, на свежем воздухе. Неожиданно он очутился около нас. Альбертина ответила на мой вопрос невпопад. Она смотрела на него во все глаза. В течение нескольких минут я убедился, что вы можете быть с любимой, чувствуя в то же время, что ее с вами нет. Глядя на нее и на официанта, можно было подумать, будто они ведут между собой таинственный разговор, безмолвный из-за моего присутствия, быть может, являющийся продолжением того, что завязался у них еще при первых встречах, о которых я ничего не знал, или же возникшей от

одного-единственного взгляда, брошенного им на нее, я же был сейчас третьим лишним, тем, от кого в таких случаях прячутся. Даже после того, как на лакея прикрикнул метрдотель и он удалился, Альбертине, продолжавшей завтракать, и ресторан и сад все еще казались ярко освещенной сценой, где беспрестанно менялись декорации и где то здесь, то там появлялся бегущий черноволосый бог. Был момент, когда я спросил себя: не вскочит ли она из-за стола и, оставив меня одного, не побежит ли за ним? Но потом это тяжелое впечатление стерлось в моей памяти, оттого что я решил никогда больше не ездить в Ривбель и взял слово с Альбертины, уверявшей меня, что в Ривбеле она была впервые, больше в этот ресторан не заглядывать. А чтобы ей не пришло в голову, будто я лишаю ее развлечения, я добавил, что быстроногий лакей и не думал пялить на нее глаза. Я же еще несколько раз ездил в Ривбель, но всегда один, и много пил, как это уже случалось со мной прежде. Допивая последний бокал, я рассматривал розетку, нарисованную на белой стене, и мне казалось, что она-то и есть единственный источник испытываемого мной наслаждения. Сейчас во всем мире для меня существовала только она; я бежал за ней, дотра-

гивался до нее, но по временам она ускользала от моего блуждавшего взгляда; я не думал о будущем — мне довольно было розетки: так мотылек кружится над бабочкой, с которой он вместе погибнет в тот миг, когда они вкусят наивысшее сладострастие. Пожалуй, тогда-то я и должен был бы порвать с женщиной, не успевшей причинить мне острую боль, — ведь я же не ждал от нее исцеления, секретом которого обладают те, что делают нам больно. Меня успокаивали уже самые наши прогулки, однако в данное время я смотрел на них только как на предвестие грядущего, и это грядущее манило меня, хотя я и отдавал себе отчет, что вряд ли оно будет чем-либо отличаться от прошедшего: просто я рад был ездить не по тем местам, где Альбертина бывала без меня — с теткой, с подругами. В этой радости не заключалось ничего самоценного — то была радость успокоения, но радость большая. Несколько дней спустя, как только и моей памяти всплыла ферма, где мы пили сидр, всплыл Сен-Мар Одетый, по которому мы и прошли-то всего несколько шагов, как только я вспомнил, что рядом со мной шла Альбертина в соломенной шляпке, ощущение близости этой девушки вдруг придало особый смысл силуэту обновленной церкви, не произ-

ведшей на меня сперва никакого впечатления, и вот этот миг, когда освещенный солнцем фасад церкви сам собой возник перед моим мысленным взором, был для меня широким болеутоляющим компрессом, положенным на сердце. Я завозил Альбертину в Парвиль, а вечером заезжал за ней, и мы ехали к морю — полежать на берегу в темноте. Конечно, я встречался с Альбертиной не каждый день и все-таки с уверенностью говорил себе: «Если она кому-нибудь расскажет о своем времяпрепровождении, о своей жизни у моря, то самое большое место займу в этом рассказе я». Мы проводили вместе по нескольку часов кряду, и это были такие упоительные часы, что, даже когда в Парвиле Альбертина выпрыгивала из автомобиля, который я присылал за ней через час, я чувствовал себя не одиноким, как будто она, выходя, оставляла в автомобиле цветы. Я мог обойтись без каждодневного общения с ней; я уходил от нее счастливым, я чувствовал, что успокоительное действие счастья может длиться несколько дней. Но тут вдруг я слышал, что Альбертина, простившись со мной, говорит тетке или подруге: «Значит, завтра, в половине девятого. Только не запаздывайте — в четверть девятого они будут готовы». Речь любимой женщины

похожа на почву, под которой текут губительные воды; за ее словами все время ощущается пронизывающий холод незримой их пелены; эта пелена не выступает на поверхность вся целиком — она коварна: она просачивается местами. Когда я слышал эти слова Альбертины, мое спокойствие тотчас же нарушалось. С целью помешать таинственной встрече в половине девятого, о которой при мне говорилось намеками, я готов был упросить ее назначить мне свидание на завтрашнее утро. Первое время она, конечно, исполняла бы мое желание, хотя ей было бы жаль, что ее планы расстроились, но в конце концов она догадалась бы, что заставлять ее отказываться от своих планов вошло у меня в привычку; от меня стали бы скрывать все. Да и потом, по всей вероятности, эти увеселения, от которых я был отстранен, были не бог весть что, и не приглашали меня, наверно, из боязни, что какая-нибудь гостья покажется мне вульгарной или скучной. К несчастью, мой образ жизни, столь тесно связанный с образом жизни Альбертины, оказывал влияние не только на меня: меня он успокаивал, а мою мать тревожил, и эта ее тревога, которую она от меня не скрывала, нарушала мой покой. Когда я как-то вернулся домой в хорошем настроении, решив в

ближайшее время начать новую жизнь, — а что разрыв с прошлым зависит всецело от моей воли — в этом я был убежден, — моя мать, услыхав, что я отдаю распоряжение шоферу съездить за Альбертиной, сказала: «Как много ты тратишь денег! (Франсуаза на своем простом, сочном языке выразилась бы сильнее: „Деньги на ветер“.) Не уподобляйся, — продолжала мама, — Шарлю де Севинье — о нем его родная мать отзывалась так: „Его рука — это горнило, в котором плавится серебро“. И потом, ты, по-моему, действительно слишком часто разъезжаешь с Альбертиной. Поверь мне, что это уж чересчур, ты ставишь ее в неловкое положение. Я была очень рада, что ты развлекаешься; я и теперь не запрещаю тебе встречаться с ней, по что вас всюду видят вместе — право же, это нехорошо». Наш с Альбертиной образ жизни, который не доставлял мне полноты наслаждений, во всяком случае — полноты наслаждений острых, — образ жизни, который я каждый день намеревался изменить, выбрав для этого такую минуту, когда я был спокоен, — этот образ жизни, как только я почувствовал в словах матери грозившую ему опасность, вдруг стал мне на какое-то время необходим.

Я сказал маме, что ее слова отдалили решение

которого она от меня требовала, отдалили, пожалуй что, месяца на два, а если б она ничего мне не говорила, я принял бы решение в конце этой недели. Мама, не ожидавшая, что ее советы так на меня подействуют, рассмеялась (чтобы не огорчать меня) и обещала больше со мной об этом не говорить, а то как бы я опять не изменил своего благого намерения. Но со дня смерти моей бабушки каждый раз, как мама начинала смеяться, смех ее вдруг обрывался и от сильной душевной боли переходил в рыдание, то ли выражавшее раскаяние в том, что мама на минуту забыла о своем горе, то ли обострявшее боль из-за неожиданного отвлечения от неотступной ее скорби. Как бы то ни было, я почувствовал, что к тоске по бабушке, поселившейся в ней, как навязчивая идея, присоединилось беспокойство за меня, потому что она опасалась последствий моей близости с Альбертиной — близости, которой она, однако, не решалась воспрепятствовать из-за того, что она встретила мое сопротивление. Но, по-видимому, я не убедил ее в том, что не обманываю самого себя. Она вспомнила, сколько лет ни бабушка, ни она не заговаривали со мной о работе, об ином, более здоровом образе жизни, который, как я уверял их, я не мог начать только

из-за того, что их увещевания меня волнуют, и который я так и не стал вести, несмотря на их покорное молчание.

После обеда Альбертина приезжала ко мне на авто; было еще светло; жара спадала, но после знойного дня мы оба продолжали мечтать о какой-то неизведанной прохладе; вдруг перед нашими воспаленными глазами вырисовывался лунный серп (как в тот вечер, когда я был у принцессы Германтской, куда Альбертина позвонила мне по телефону) — сначала в виде тонкой, прозрачной кожуры, потом в виде четвертинки спелого плода, разрезанного в небе незримым ножом. Иногда я сам заезжал за своей подружкой, но заезжал позднее, и тогда она должна была ждать меня под крышей рынка в Менвиле. В первую секунду я не видел ее; я уже начинал беспокоиться: она не придет, она не так меня поняла. Но тут она в белой блузке в синий горошек легко, точно молодой зверек, вспрыгивала в автомобиль и садилась рядом со мной. И, как щенок, долго-долго потом ласкалась ко мне. Когда наступала ночь и, как выражался директор отеля, «небо было утыкано звездами», мы с бутылкой шампанского отправлялись гулять в лес или, не обращая внимания на гуляющих, еще расхажи-

вавших по слабо освещенной набережной и не способных что-либо разглядеть в двух шагах на темном песке, ложились у подножия дюн; у самого моря, рассеченного надвое дрожащим лучом, я прижимал к себе под одеялом тело Альбертины, в гибкости которого сосредоточивалась женская грация, которой она была обязана морю и спорту, — грация девушек, впервые явившихся моему взору, когда за ними, приближавшимися ко мне, виднелась морская даль; и мы жадно, с неуменьшавшимся наслаждением, вслушивались в то, как море затаивает дыхание, задерживая его надолго, так что можно было подумать, будто прилив кончился, и в то, как оно вновь рассыпало у наших ног свой долгожданный, запоздалый шорох. В конце концов я отвозил Альбертину в Парвиль. Подъехав к ее дому, мы из боязни, как бы нас не увидели, переставали целоваться; спать ей не хотелось, и она ехала со мной в Бальбек, а уже оттуда я в последний раз отвозил ее в Парвиль; когда автомобиль только еще появился, шоферы ложились спать бог знает как поздно. И я возвращался в Бальбек по предутреннему холодку, на этот раз — один, но весь еще полный ощущения близости моей подружки, с таким неиссякаемым источником воспоминаний о

поцелуях, что мне потом долго еще было откуда черпать. У себя на столе я находил телеграмму или открытку. Это была опять Альбертина! Когда я один уезжал в авто, она писала их в Кетхольме, чтобы я знал, что она обо мне помнит. Я ложился в постель и перечитывал их. Я смотрел на полосу дневного света над занавесками и говорил себе, что, значит, мы действительно любим друг друга, если целовались всю ночь напролет. Утром, встретившись с Альбертиной на набережной, я от страха, что она откажет мне в моей просьбе прокатиться вдвоем, так как сегодня она занята, долго не решался обратиться к ней с этой просьбой. Особенно волновало меня выражение ее лица — отчужденное, озабоченное; мимо нас проходили ее знакомые; скорее всего, она уже составила себе план на сегодня и поездка со мной в этот план не входила. Я смотрел на Альбертину, смотрел на ее красивое тело, на ее румяное лицо: передо мной стояла тайна ее намерений, ее неведомое мне решение, от которого зависело, счастливый у меня нынче будет день или нет. Это было совершенно особенное душевное состояние: все мое будущее представало передо мной в аллегорическом и роковом обличье девушки. И когда наконец я набирался храбрости, когда,

напустив на себя как можно больше равнодушия, я спрашивал ее: «Мы с вами поедем кататься сейчас и вечером?» — а она отвечала: «С большим удовольствием», в тот же миг, благодаря волшебному превращению на этом румяном лице долгого моего беспокойства в упоительное спокойствие, этот облик, которому я ежедневно бывал обязан хорошим самочувствием, успокоением после грозы, становился мне еще дороже. Я повторял про себя: «Как она мила! Какое это прелестное существо!» — повторял с восторгом не столь бурным, как при опьянении, чуть-чуть более глубоким, чем тот, каким мы бываем обязаны дружбе, и гораздо более одухотворенным, чем тот, в какой приводят светские развлечения. Мы не брали автомобиля только по тем дням, когда нас звали к себе ужинать Вердюрены или когда Альбертина бывала занята и не могла ехать со мной на прогулку: тогда я заранее уведомлял тех, кто хотел со мной повидаться, что в такой-то день я — в Бальбеке. Я приглашал к себе и Сен-Лу, но только в эти дни. Когда он как-то приехал без предупреждения, я предпочел отменить свидание с Альбертиной, только бы они не встретились, потому что их встреча нарушила бы состояние блаженного покоя, в котором я с некоторых пор

находился, и во мне вспыхнула бы ревность. Я успокоился только после отъезда Сен-Лу. Вот почему он, хотя и не без грустного чувства, строго придерживался правила: без приглашения ко мне в Бальбек не приезжать. В былое время я с завистью думал о тех часах, которые с ним проводила герцогиня Германтская; мне были так дороги встречи с Робером! Люди беспрестанно меняются по отношению к нам. Мир неощутимо, но вечно движется, а нам представляется, что в момент своего появления они неподвижны, ибо этот момент слишком краток и мы не успеваем почувствовать, что общее движение увлекает их за собой. Однако стоит нам оживить в памяти два образа человека, запечатлевшихся в разные моменты, но все-таки сохранивших черты сходства, потому что в их внутреннем мире еще не успела произойти перемена, во всяком случае — ощутимая, — и по различию между двумя образами мы сможем судить о том, как этот человек изменился по отношению к нам. Сен-Лу страшно меня расстроил, заговорив о Вердюренах: я боялся, что он попросит познакомить его с ними, а этого было бы достаточно, чтобы испортить мне удовольствие моих поездок к ним вдвоем с Альбертиной, так как это всколыхнуло бы мою ревность. К

счастью, Робер признался мне, что он меньше всего стремится к знакомству с Вердюренами. «Нет, — сказал он, — по-моему, эти клерикалы несносны». Сперва я не понял, почему Сен-Лу называет Вердюренов клерикалами, — я не принял во внимание уступок моде в языке, которыми нередко поражают люди интеллигентные, — его мысль стала мне ясна из дальнейшего. «Это особая каста, — сказал он, — свой монастырь со своим уставом. Ведь ты же не станешь отрицать, что это малюсенькая секта; они ходят на задних лапках перед теми, кто принадлежит к их кругу, и обдают холодом презрения тех, кто к нему не принадлежит. По отношению к ним гамлетовский вопрос надо ставить иначе: не „быть или не быть“, а быть с ними или не быть с ними. Ты — с ними, мой дядя Шарлю — с ними. Это выше моих сил я эту публику всегда недолюбливал, ничего не могу с собой поделать».

Само собой разумеется, правило, которое я предписал Сен-Лу, — без зова ко мне не являться — я твердо установил для всех, с кем я постепенно сдружился в Ла-Распельер, в Фетерне, в Монсюрване и в других местах; если из окна отеля я видел дым над трехчасовым поездом, клубы которого надолго застревали в расселинах парвильских

прибрежных скал и зацеплялись за их лесистые склоны, то у меня не оставалось сомнений, что ко мне на чашку чая едет гость, но что пока его, как Бога, скрывает от меня облако. Должен сознаться, что в число гостей, приезжавших ко мне с моего разрешения, не входил Саньет, и впоследствии я очень часто осуждал себя за это. Но Саньет сам понимал, что нагоняет скуку (конечно, в еще большей степени самим фактом своего приезда, чем своими рассказами), и из-за этого, хотя он и был образованнее, умнее и добрее многих других, вы уже заранее настраивались на то, что не только не получите никакого удовольствия от его приезда, но что проскучаете с ним целый день и вам под конец станет тошно. Вероятно, если бы Саньет откровенно признался, что боится нагнать скуку, знакомые перестали бы бояться его приездов. Скука — это одно из наименьших зол, скука, которую наводил он, существовала, быть может, лишь в воображении других, или, зная его милую скромность, кто-то сумел ему это внушить. Но он тщательно скрывал, что его никуда не зовут, и никому не навязывался. Конечно, нежелание уподобляться человеку, которому доставляет большое удовольствие направо и налево раскланиваться в общественных

местах и, после длительного промежутка времени снова встретившись с вами и увидев вас в ложе, в блестящем окружении, ему не известном, второпях, но во всеуслышание поздороваться с вами и тут же извиниться за то, как он рад вас видеть, за то, что это его так взволновало, за то, что ему так приятно снова встретиться с вами в театре и удостовериться, что вы хорошо выглядите и т. д., — это была хорошая черта Саньета. Но, в противоположность людям такого сорта, Саньет был уж чересчур робок. У г-жи Вердюрен или в дачном поезде он вполне мог бы сказать, что был бы очень рад заглянуть ко мне в Бальбек, да боится мне помешать. Это его намерение нисколько бы меня не напугало. Но он не высказывал намерения — с искаженным лицом, уставив на меня непроницаемые, словно эмалевые глаза, в которых, однако, угадывались обычно мечта о встрече со мной — если только ему не представлялось ничего более интересного — и стремление никак эту мечту не проявить, он, напустив на себя равнодушие, говорил мне: «Я, наверно, буду поблизости от Бальбека, но ведь вы же не знаете, как у вас сложатся ближайшие дни. Впрочем, это не важно, я совершенно случайно об этом заговорил». Своим видом он никого не

обманывал — внешние признаки, выражающие нечто диаметрально противоположное тому, что творится у нас в душе, разгадываются легко, так что даешься диву, зачем до сих пор люди, чтобы скрыть, что их никуда не зовут, прибегают к таким изворотам, как, например: «Я — нарасхват, прямо хоть на части разрывайся». Это напускное равнодушие — вероятно, сотому, что в нем соединяются разные чувства, — вы принимаете отнюдь не за страх наскучить вам или за откровенное признание в том, что с вами хотят увидеться, а за чувство некоторой отчужденности, за желание держаться на расстоянии: такого рода обычной учтивости соответствует в сердечных делах завуалированное предложение увидеться на другой день, с которым обращается к даме не вызывающий у нее никаких чувств воздыхатель, тут же добавляя, что он нисколько на этом не настаивает, или даже не предложение, а наигранная его холодность. Что-то было в Саньете такое, отчего у вас возникала потребность ответить ему с самым ласковым видом: «Нет, я вам сейчас объясню: к сожаления), на этой неделе…» Вместо Саньета я принимал у себя людей гораздо менее достойных, чем он, но зато таких, у кого выражение лица было не грустное, как у Саньета, у кого губы не

были искривлены горечью, накопившейся после всех отказов, которые он получал — а ведь ему так хотелось побывать то у того, го у другого! — и которые он и от того, и от другого скрывал. Как назло, Саньет постоянно встречался в вагоне пригородного поезда с кем-нибудь из тех, кто ехал ко мне, или визитер напоминал мне оря нем у Вердюренов: «Не забудьте, что я к вам приеду в четверг», а я как раз говорил Саньету, что четверг у меня занят. В конце концов Саньету начало казаться, что вся жизнь состоит из развлечений, устраиваемых без его ведома и даже с целью сделать ему неприятность. К этому следует добавить, что цельных натур не бывает, и Саньет не составлял в данном случае Исключения: этот чересчур скромный человек был болезненно нескромен. Когда он в первый и в последний разу случайно, без моего приглашения, ко мне зашел, у меня на столе валялось чье-то письмо. Очень скоро я заметил, что он слушает меня рассеянно. Я уже успел забыть, от кого это письмо, а Саньета оно приворожило; казалось, эмалевые его глаза вот-вот выскочат из орбит и устремятся навстречу этому совершенно неважному письму, которое, словно магнитом, притягивало его любопытство. Он напоминал птицу, которая не может не бро-

ситься на змею. В конце концов он не выдержал и, словно желая навести у меня в комнате порядок, переложил письмо на другое место. Но этого ему было мало: он взял его и как бы машинально стал поворачивать то одной стороной, то другой. Еще один вид его нескромности выражался в тон, что если он к вам прилип, то уж потом никакими силами не мог заставить себя уйти. Как-то мне нездоровилось, и я попросил его уйти через полчаса и уехать со следующим поездом. Он не сомневался в том, что я болен, а все-таки сказал: «Я пробуду у вас час с четвертью и тогда уйду». Потом я упрекал себя: почему я не звал его к себе, когда был свободен? Как знать? Быть может, я переломил бы этим несчастную его судьбу, его стали бы звать к себе другие, ради которых он сейчас же бросил бы меня, и таким образом мои приглашения пошли бы на пользу и Саньету, и мне: Саньету они вернули бы жизнерадостность, а меня избавили бы от него.

На другой день после моих приемных дней я, естественно, никого к себе не ждал, и автомобиль опять заезжал за нами — за Альбертиной и за мной. Когда мы возвращались, Эме, стоя у входа в отель на первой ступеньке, не мог удержаться, чтобы страстным, любопытным и жадным взгля-

дом не проследить за тем, сколько я дал шоферу на чай. Как я ни старался зажать в руке монету или бумажку, взор Эме раздвигал мои пальцы. Отворачивался он мгновенно: ведь он же был человек скромный, благовоспитанный и сам, обычно довольствовался сравнительно небольшими доходами. Но деньги, которые получал кто-то другой, возбуждали в нем непреодолимое любопытство, и у него текли слюнки. В такие краткие мгновенья он напоминал ребенка, поглощенного и увлеченного чтением романа Жюля Верна, или человека, ужинающего в ресторане рядом с вами, увидевшего, что для вас начали разрезать фазана, тогда как он не может или не хочет позволить себе это блюдо, и отвлекающегося от серьезных мыслей только для того, чтобы приковать к птице улыбчивый, нежный и завистливый взгляд.

Мы с Альбертиной катались в автомобиле по-прежнему ежедневно. Однажды, когда я поднимался на лифте, лифтер сказал мне: «К вам заходил этот господин и оставил записку». Лифтер выговорил эти слова хриплым голосом, кашляя и брызгая слюной мне в лицо. «Эк я распростудился! — заметил он, хотя это и так было видно. — Доктор говорит, что это коклюш». И тут

он опять раскашлялся и стал брызгать слюной. «Вам вредно разговаривать», — сказал я с наигранно заботливым видом. Я боялся заразиться коклюшем — с моим предрасположением к удушью я переносил бы его тяжело. Но лифтер, как заболевший музыкант, не позволяющий вынести себя на руках с эстрады, продолжал без умолку болтать и плеваться — он считал, что это внушает к нему уважение. «Нет, ничего, — сказал он. („Для вас-то, может быть, и ничего, но не для меня“.) — Я ведь собираюсь в Париж. („Отлично, лишь бы он не успел меня заразить“.) Говорят, — затараторил он, — Париж — восхитительный город. Должно быть, там еще лучше, чем здесь и чем в Монте-Карло, хотя и посыльные, и проживающие, и даже метрдотели, уезжавшие в Монте-Карло на летний сезон, уверяли меня, что Париж хуже Монте-Карло. Может, они чепуху мололи, хотя дурак в метрдотели не попадет; принимать все заказы, распределять столики — для этого нужно хорошую голову иметь на плечах! Мне говорили, что это куда трудней, чем писать пьесы и книги». Мы почти доехали до моего этажа, но тут лифтер опять спустил меня вниз: ему показалось, что плохо работает кнопка, и он в ту же секунду исправил ее. Я сказал, что мне хочется подняться по

лестнице, — это означало и вместе с тем утаивало от лифтера, что я боюсь подхватить коклюш. Но, раскашлявшись заразительным, надрывным кашлем, лифтер втолкнул меня обратно в кабинку. «Теперь нам нечего бояться — кнопку я исправил». Лифтер трещал, не умолкая, а мне было не до сравнения красот Бальбека, Парижа и Монте-Карло — мне не терпелось узнать, кто же ко мне приходил, какого содержания записка, и я сказал лифтеру (так говорят тенору, осточертевшему со своим Бенжаменом Годаром:[339] «Спойте лучше что-нибудь из Дебюсси»): «Кто же все-таки ко мне приходил?» — «Тот самый господин, с которым вы вчера уехали. Сейчас принесу записку — она у швейцара». Накануне, перед тем как заехать за Альбертиной, я отвез на станцию Донсьер Робера де Сен-Лу, и сейчас я подумал, что лифтер имеет в виду его, но записка была от шофера. Говоря мне: «Тот господин, с которым вы вчера уехали», лифтер давал мне понять, что рабочий — такой же господин, как и человек из высшего общества. Но этот урок был лишней тратой слов. В жизни я никогда не делал разницы между классами. Правда, я удивился, что шофера

[339] Примечания: 339

Годар, Бенжамен (1849–1895) — популярный французский композитор.

назвали господином, но эта мое удивление было сродни тому, какое выразил граф Икс, который получил графский титул всего неделю назад и который, когда я ему сказал: «У графини усталый вид», невольно оглянулся, чтобы понять, о ком я говорю; это было просто отсутствие привычки к такого рода словоупотреблению; я не делал различия между рабочими; буржуа и важными господами, я мог бы выбрать себе друга в любой среде. Предпочитал я все-таки скорее рабочих, а затем уже — важных господ, но не потому, чтобы господа нравились мне больше, чем буржуа, а потому, что с рабочими они вежливее, чем буржуа, — из-за того ли, что не презирают рабочих, как буржуа, или из-за того, что они вежливы со всеми: так хорошенькие женщины охотно расточают улыбки направо и налево — они знают, что их улыбка может осчастливить любого. Должен заметить, что мое одинаковое отношение к простонародью и к людям из общества — хотя люди из общества такое отношение как раз одобряли — не всегда находило сочувствие у моей матери. С гуманной точки зрения, все люди были для нее равны, к если у Франсуазы случалась беда или она заболевала, то мама всегда утешала ее к ухаживала за ней так же заботливо, так же само-

отверженно, как за лучшей своей подругой. Но социального неравенства мама, как родная дочь моего деда, не отвергала. Жители Комбре были добры, милосердны, проповедовали прекрасные идеи равенства, но, если лакей, однажды сказав мне «вы», потом уже набирался вольного духа и — так, чтобы это было незаметно, — избегал употреблять в разговоре со мной третье лицо, моя мать выражала такое же недовольство этим новшеством, какое изъявляет в своих мемуарах Сен-Симон в тех случаях, когда вельможа, не имея на то никаких прав, в официальных документах именует себя «светлостью», не воздает герцогам подобающих им почестей и берет это себе за правило. Особый «дух Комбре» был необычайно упорен, и вытравить его могло бы только многовековое царство идей равенства я доброты. Моя мать была добра бесконечно, но я не стану отрицать, что у нее было кое-что от «духа Комбре». Подать руку лакею ей было так же трудно, как легко было дать ему десять франков (впрочем, от этого он получал гораздо больше удовольствия). Сознавала она это или не сознавала, но для нее господа продолжали быть господами, а слугами — те люди, что обедали на кухне. Если она видела, что в столовой вместе

со мной ужинает шофер, то это вызывало у нее неудовольствие, и она выговаривала мне: «По-моему, ты мог бы выбрать себе друга получше, чем какой-то шофер», — так бы она могла сказать мне, если бы речь шла о моей женитьбе: «Ты мог бы подыскать себе партию получше». Шофер (к счастью, этого шофера мне никогда в голову не приходило позвать к себе) явился сообщить мне, что Автомобильная компания, пославшая его на летний сезон 8 Бальбек, срочно вытребовала его обратно в Париж, Мы поверили шоферу — он был славный малый, отличавшийся евангельской простотой языка. Но сообщал он не всю правду. В Бальбеке ему действительно больше нечего было делать. Во всяком случае, компания, не питавшая полного доверия к юному евангелисту, пригвожденному к священному колесу, настаивала на его немедленном возвращении в Париж. Дело в том, что юный апостол совершал чудеса: отчитываясь перед де Шарлю, он увеличивал число километров, а когда требовалось дать отчет компании, он вшестеро преуменьшал выручку. На основании этого компания, сделав вывод, что либо в Бальбеке никто не ездит в автомобиле — а в конце сезона это вполне могло быть, — либо ее обкрадывают, сочла, что и в том, и в другом случае

благоразумнее отозвать шофера, хотя и в Париже дела компании шли ни шатко ни валко. Шофер больше всего боялся мертвого сезона в Париже. Как я уже говорил, тогда я еще не подозревал — а если бы знал, то это помогло бы мне избежать множества огорчений, — что он очень подружился (хотя ври посторонних они ни разу не подали вида) с Морелем. С того дня, как его отозвали, мы с Альбертиной, еще не зная, что у шофера есть возможность остаться, начали пользоваться для прогулок экипажами, а иногда, чтобы доставить удовольствие Альбертине, любившей ездить верхом, я нанимал лошадей. Экипажи здесь были скверные. «Вот так колымага!» — говорила Альбертина. А мне часто хотелось побыть в нем одному. Я еще не ставил себе определенного срока, но жаждал покончить с таким образом жизни не столько потому, что он отрывал меня от занятий, сколько потому, что лишал развлечений. Со мной так уже бывало: если я внезапно изменял сдерживавшей меня привычке, то чаще всего мое прежнее я, томившееся желанием вырваться на свободу, на какое-то время вытесняло мое настоящее я. Именно это желание переменить образ жизни овладело мной однажды, когда, оставив Альбертину у ее тетки, я поехал верхом к

Вердюренам через лес, по глухой тропе, о красоте которой они мне столько наговорили. Послушная прихотливому строению прибрежных скал, тропа то поднималась, то, зажатая между частыми лесами, спускалась в дикие ущелья. И вдруг, точно осколки иного мира, предо мною вставали голые скалы, а между ними проглядывало море: в эти мгновенья я узнавал горы и море, служившие фоном для двух чудных акварелей Эльстира:[340] «Встреча юноши с Музой» и «Встреча юноши с кентавром», которые я видел у герцогини Германтской. Воспоминание о них выносило местность, по которой я проезжал, за пределы окружавшего мира, и я бы не удивился, если бы, подобно доисторическому юноше, изображенному Эльстиром, столкнулся с мифологическим существом. Неожиданно моя лошадь взвилась на дыбы: она услышала странный шум; я чуть было не вылетел из седла, затем, с трудом укротив лошадь, поднял мокрые от слез глаза ввысь, откуда доносился шум, и увидел в пятидесяти метрах над собой, в лучах солнца, два громадных блестящих стальных крыла, уносивших живое существо с

[340] Примечания: 340

...двух чудных акварелей Эльстира... — Судя по всему, моделями этих картин были акварели Гюстава Моро «Гесиод и Муза» и «Мертвый поэт на кентавре».

человеческим, как мне показалось, лицом, хотя разглядеть его было трудно. Я был потрясен не меньше, чем грек, впервые увидевший полубога. Я тоже плакал; я готов был расплакаться уже в первую минуту, как только определил, что у меня над головой что-то гудит, — при одной мысли, что впервые увидел аэроплан: аэропланы были тогда еще редкостью. Подобно тому как, еще не развернув газету, уже с бьющимся сердцем ждешь потрясающего известия, так мне достаточна было увидеть аэроплан, чтобы из глаз моих брызнули слезы. Мне показалось; что авиатор сбился с пути; я чувствовал, как перед ним — передо мной, если б я не был скован привычкой, — открываются все дороги пространства, все дороги жизни; авиатор пролетел вперед, некоторое время парил над морем, потом, внезапно решившись, как бы поддавшись силе притяжения, противоположной силе земного тяготения, словно возвращаясь на родину, легко взмахнул золотыми своими крылами и устремился прямо к небу.

Но возвратимся к шоферу: он потребовал от Мореля, чтобы Вердюрены не только сменили свой брек на авто (Вердюрены проявляли к «верным» щедрость, и добиться этого от них было сравнительно просто), но и сменили — а это уже

было гораздо сложнее — главного кучера, впечатлительного юношу, в конце концов доведенного Морелем до отчаяния. Осуществлено это было в течение нескольких дней следующим образом. Морель начал с того, что постепенно утаскивал у кучера все, что тому было необходимо для запряжки. Сегодня кучер не мог найти удила, завтра — уздечку. Потом исчезла подушка с козел, кнут, плетка, губка, замша. Соседи его выручали, но подавал он с опозданием, и это вооружало против него Вердюрена, а он горевал и впадал в отчаяние. Шоферу хотелось как можно скорее поступить на место, и он объявил Морелю, что возвращается в Париж. Дольше мешкать было нельзя. Уверив слуг Вердюрена, что молодой кучер будто бы хвалился, что, устроив им засаду, справится со всеми шестерыми, Морель прибавил, что он бы на их месте хорошенько его взгрел. Сам он не может в это встревать, но предупреждает их, чтобы они, не дожидаясь, пока на них нападет он, напали на него. Уговорились, что, когда Вердюрены пойдут с гостями гулять, они накинутся на парня в конюшне. Считаю нужным сообщить следующее, хотя это и не послужило причиной того, что произошло, а потому что эти люди заинтересовали меня впоследствии: в этот

день к Вердюренам приехал на дачу их приятель, с которым они собирались пройтись перед его отъездом, а уезжал он в тот же вечер.

Я был очень удивлен тем, что, когда мы собрались на прогулку, Морель, который должен был поиграть нам на скрипке в лесу, сказал мне: «Вы знаете, у меня болит рука, я не хочу говорить об этом госпоже Вердюрен, а вы попросите ее взять с собой кого-нибудь из лакеев, ну хоть Хауслера: он понесет мою скрипку». — «По-моему, лучше было бы взять с собой кого-нибудь другого, — возразил я. — Он понадобится за ужином». Морель посмотрел на меня с нескрываемой злобой. «Да нет же, разве я могу доверить мою скрипку кому попало?» Я только потом уяснил себе, отчего Морель остановил свой выбор именно на этом слуге. Хауслер был брат молодого кучера, и кучер его очень любил; если бы Хауслер остался дома, он бы пришел ему на помощь. Во время прогулки Морель так тихо, чтобы Хауслер-старший не услышал его, сказал: «Славный малый! Брат его тоже славный малый. Если б только он не зашибал...» — «То есть как не зашибал?» — спросила г-жа Вердюрен, бледнея от одной мысли, что кучер у нее пьяница. «Вы за ним не замечали. Это еще чудо, что не случилось несчастья, когда

он возил вас!» — «Да ведь он же и других возит?» — «И сколько раз он их опрокидывал! Сегодня у него все лицо в синяках. Оглобли сломаны, как он сам-то еще не убился». — «Сегодня я его не видела, — дрожа при мысли, что кучер мог бы опрокинуть и ее, сказала г-жа Вердюрен, — я просто в ужасе». Она заспешила домой, но Морель, нарочно для того, чтобы прогулка затянулась, выбрал вещь Баха с бесчисленным множеством вариаций. Вернувшись домой, г-жа Вердюрен сейчас же направилась в сарай и увидела новые оглобли и Хауслера, лицо которого было все в крови. Она хотела, не распекая, просто сказать ему, что кучер ей больше не нужен, и рассчитаться, но он сам, не желая ничего говорить про товарищей, в чьей неприязни к себе он был теперь уверен, как и в том, что это они каждый день крали у него что-нибудь из сбруи, убедившись, что если он будет все от них терпеть, то в конце концов они его пристукнут, попросил у хозяйки расчета, а это всем было на руку. На другой же день к Вердюренам поступил шофер, и г-жа Вердюрен была так им довольна, что впоследствии, когда ей пришлось нанять другого, она очень рекомендовала его мне и уверяла, что на этого человека можно положиться во всем. Я о нем ничего не знал и в

Париже нанял его с условием, что буду рассчитываться с ним поденно. Но я забежал вперед — все это еще найдет себе место в истории Альбертины. А пока что мы с моей подружкой впервые ужинаем в Ла-Распельер, а де Шарлю впервые ужинает здесь с Морелем, мнимым сыном «управляющего», который получал тридцать тысяч франков в год, у которого был свой выезд и в подчинении у которого было множество дворецких, помощников, садовников, заведующих тем-то и тем-то и фермеров. Но раз уж я так забежал вперед, то мне бы не хотелось, чтобы у читателя составилось мнение о Мореле как о законченном негодяе. Он был соткан из противоречий и временами производил очаровательное впечатление.

Понятно, меня очень удивило сообщение, что кучера выгнали, а еще больше — то, что его заменил возивший меня с Альбертиной шофер. Но шофер сочинил целую запутанную историю, будто бы его отозвали в Париж, а оттуда послали к Вердюренам, я же ни на секунду не усомнился в его правдивости. Увольнение кучера явилось поводом к тому, что со мной завел минутный разговор Морель: он выразил сожаление, что этого хорошего парня выставили. Впрочем, даже не считая тех минут, когда Морель, застав

меня одного, буквально накидывался на меня, бурно выражая свою радость, он, видя, что в Ла-Распельер со мной носятся, понимая, что он сознательно отталкивает от себя человека, не представляющего для него ни малейшей опасности, поскольку он, Морель, отрезал мне все пути к отступлению и дал понять, что я ни в коем случае не должен держать себя с ним покровительственно (хотя у меня таких поползновений не было), теперь уже не сторонился меня. Я объяснял этот поворот влиянием де Шарлю, а благодаря этому влиянию Морель и в самом деле становился не таким ограниченным, более артистичным, но зато в иных случаях, когда он понимал красноречивые, лживые, одно другому противоречившие поучения своего наставника в буквальном смысле, то они его окончательно сбивали с толку. Его перемену в отношении ко мне я не мог объяснить ничем иным, как воздействием де Шарлю. Как мог я догадаться тогда о том, на что мне раскрыли глаза впоследствии (и в чем я и после не был твердо уверен, так как рассказы Андре об Альбертине, особенно — более поздние, я неизменно подвергал сомнению вследствие того, что Андре не была ей верной подругой и ревновала ее), — о том, что, если даже это и

правда, они оба необычайно ловко скрывали ее от меня, — о близости Альбертины с Морелем? Перемена Мореля ко мне, происшедшая после увольнения кучера, невольно заставила меня взглянуть на него по-иному. Я был по-прежнему дурного мнения об его душевных качествах, я не мог забыть, как он передо мной расстилался, когда я был ему нужен, и как он, когда я оказал ему услугу, сейчас же начал смотреть на меня свысока, а потом и вовсе перестал замечать меня. К этому надо прибавить его явную материальную заинтересованность в де Шарлю и его безрассудные животные потребности, которые, если он не имел возможности удовлетворить их, — а также связанные с ними сложности — повергали его в уныние; и все же его натуру нельзя было назвать безнадежно испорченной — это была натура противоречивая. Он напоминал старинный средневековый фолиант, в котором полно ошибок, суеверий, непристойностей; он был сшит из разных кусков. Первое время мне казалось, что искусство, в котором он действительно достиг совершенства, придало ему достоинства гораздо более высокие, чем мастерство исполнения. Как-то раз, когда я ему сказал, что мне хочется приняться за работу, он мне ответил: «Трудитесь

— будете знаменитым». — «Откуда это?» — спросил я. «Это Фонтан.[341] сказал Шатобриану». Еще ему были известны любовные письма Наполеона. «Он начитан, — подумал я, — ну что ж, это хорошо». Но из всей старой и новой литературы он, без сомнения, только и знал, что эту вычитанную где-то фразу — он каждый вечер повторял мне ее. Другая фраза, которую он повторял мне еще чаще, чтобы я никому о нем не рассказывал, по его мнению — литературного происхождения, на самом деле вряд ли даже была французской, во всяком случае до ее смысла мог бы добраться разве лишь слуга, которому есть что скрывать: «Не доверяйте недоверчивым». Это глупейшее изречение было отделено от фразы, которую Фонтан сказал Шатобриану, огромным расстоянием, разнообразным, но свободным от множества противоречий, проступавших в характере Мореля. Этот малый, ради денег готовый на все, причем его никогда не мучила совесть — ведь нельзя же назвать угрызениями совести какое-то странное раздражение, переходившее у него в нервную взвинченность, — способный, если это было ему выгодно, причинить горе, даже облечь

[341] Примечания: 341

Фонтан, Луи де, маркиз (1757–1821) — французский поэт и политический деятель, друг Шатобриана.

в траур целые семьи; этот малый, для которого не было ничего выше денег; малый, лишенный не только чувства добра, но даже самой простой гуманности, — этот малый выше денег ставил только свой диплом первой степени, который он получил по окончании консерватории, а также то, что он этим дипломом был огражден от нелестных замечаний в классе флейты и контрапункта. Самые сильные вспышки злобы, самые дикие и ничем не оправданные порывы гнева порождало у него то, что он называл (без сомнения, обобщая частные случаи недоброжелательства, с которыми он сталкивался) всемирным мошенничеством. Он гордился тем, что не попадает в западни благодаря тому, что ни с кем ни о ком не говорит, не раскрывает карт, никому не доверяет. (На мое несчастье, — если вспомнить, что меня ожидало в Париже, — его недоверчивость «дала осечку» в его отношениях с бальбекским шофером, в котором он, без сомнения, узнал себе подобного, то есть, вступив в противоречие со своим любимым изречением, вошел в союз с человеком недоверчивым в том положительном смысле, который он вкладывал в это понятие, с человеком, который упорно молчит в присутствии людей порядочных и тут же стакнется с

подлецом.) Ему казалось — и тут он был не совсем не прав, — что недоверчивость всегда поможет ему выйти сухим из воды, выкрутиться, даже когда то или иное похождение представляло для него большую опасность, и что благодаря недоверчивости его не только не изобличат, но даже не бросят ему обвинения в учреждении на улице Бержер[342] Он будет трудиться, быть может, станет когда-нибудь знаменитостью с незапятнанной репутацией, станет председателем жюри по классу скрипки на конкурсных экзаменах в прославленной консерватории.

Но, быть может, мы преувеличиваем логичность мышления Мореля, полагая, что у него одни противоречия вытекали из других. На самом деле его натура напоминала до того измятую бумагу, что написанное на ней уже не поддавалось прочтению. О нем можно было подумать, что он придерживается более или менее благородных принципов. Почерк у него был превосходный, вот только он то и дело сажал грубейшие орфографические ошибки; целыми часами писал он письма то брату, упрекая его в том, что он дурно поступил с сестрами, а ведь он — де старший в семье и

[342] Примечания: 342

...в учреждении на улице Бержер. — Т. е. в Консерватории.

должен быть их опорой, то сестрам, упрекая их в том, что они плохо относятся к нему.

Некоторое время спустя, в конце лета, мы однажды выходили в Дувиле из вагона, когда задернутое туманом солнце на однотонном сиреневом небе уже превратилось в багровый шар. По вечерам великий покой нисходит на эти колючие солончаковые поля и манит многих парижан, главным образом — художников, пожить в Дувиле на даче, но так как по вечерам тут сыро, то они спозаранку забираются в свои домики. Кое-кто из дачников уже зажег лампу. Только две-три коровы, мыча, смотрели на море, а других больше интересовали люди, их внимание было направлено на наши экипажи. Только один-единственный художник, поставив мольберт на пригорке, еще работал, силясь запечатлеть полную тишину и мягкий свет. Может быть, в то время как люди разошлись по домам, бессознательной и добровольной натурой служили ему коровы, своим созерцательным видом и своей безнадзорностью усиливавшие глубокое впечатление покоя, исходившего от заката. Эта особая тональность не утратила своего очарования и некоторое время спустя, осенью, когда дни стали совсем короткими и мы ехали в потемках. Если

я еще гулял во второй половине дня, то, чтобы успеть переодеться, возвращался с прогулки не позднее пяти часов, когда круглое и красное солнце уже закатывалось, как закатывалось оно в столь ненавистном мне когда-то кривом зеркале, и, подобно греческому огню, зажигало море во всех стеклах моих книжных шкафов. Надевая смокинг, я заклинательным движением вызывал в себе мое былое я, бодрое и легкомысленное, вызывал того человека, который ездил с Сен-Лу ужинать в Ривбель, а в один из вечеров надеялся повезти мадемуазель де Стермарья ужинать в лес, и машинально напевал тот же самый мотив, что и тогда; и только по песенке я узнавал того певца, который других песен и не знал и время от времени затягивал ее. Первый раз я запел ее, когда влюбился в Альбертину и мне казалось, что мы так и не познакомимся. Потом — в Париже, когда разлюбил ее, несколько дней спустя после того, как она впервые отдалась мне. А теперь — снова полюбив ее, собираясь ехать с ней ужинать, к великому сожалению директора отеля, боявшегося, что в конце концов я съеду от него и переселюсь в Ла-Распельер, и уверявшего, что, по слухам, там болеют лихорадкой «благодаря» Бекским болотам. Меня радовало это многообразие

моей жизни, три периода которой проходили перед моим мысленным взором; когда на какое-то время становишься прежним человеком, то есть не похожим на того, каким ты давно уже стал, восприимчивость, не притупленная привычкой, испытывает от малейшего соприкосновения с внешним миром столь сильные ощущения, что все бывшее до них бледнеет, и мы из-за их остроты цепляемся за них со скоропреходящей привязчивостью пьяного. Мы уже в темноте садились в омнибус или в экипаж и ехали на пригородный вокзал. На вокзале председатель суда говорил нам: «Как, вы едете в Ла-Распельер? Дьявольщина! Ну и нахалка же эта госпожа Вердюрен: заставляет вас впотьмах ехать целый час поездом только ради того, чтобы поужинать! А потом тащись от нее в десять вечера, когда дует чертов ветрище! Делать вам нечего, как я погляжу», — потирая руки, добавлял он. Все это, вне всякого сомнения, он выпаливал нам потому, что его не пригласили и он был обижен, а еще потому, что в нем говорило чувство удовлетворения, какое испытывают люди, «занятые» хотя бы и глупейшим делом, люди, у которых «нет времени» для того, чем занимаетесь вы.

Нет ничего удивительного, что человек, состав-

ляющий отчеты, выводящий баланс, отвечающий на деловые письма, следящий за курсом на бирже, говоря вам с насмешкой: «Это вы можете себе позволить, вам делать нечего», испытывает приятное чувство своего превосходства. Но это чувство приобрело бы у него такой же и даже еще более пренебрежительный оттенок (ведь и занятые люди иногда обедают в гостях), если бы вы развлекали себя тем, что писали «Гамлета» или хотя бы только читали его. И тут занятые люди проявляют свою недальновидность. Им следовало бы принять во внимание, что бескорыстные культурные запросы, которые кто-нибудь у них на глазах стремится удовлетворить и которые представляются им смешной причудой бездельника, в их же области выдвигают на первое место людей, едва ли лучше, чем они, исполняющих обязанности администратора или же судьи и, однако, делающих такую головокружительную карьеру, что «занятые» с почтительным изумлением говорят про таких: «Как видно, это человек очень образованный, выдающаяся личность». А уж председатель суда никак не мог взять в толк, что для меня притягательность ужинов в Ла-Распельер состояла в том, что, как он сам верно заметил, ради них я совершал «целые путеше-

ствия», прелесть которых я ощущал тем живее, что они не являлись для меня самоцелью, что путешествия как таковые отнюдь не доставляли мне удовольствия — удовольствие было связано с предстоявшим сборищем, но под влиянием обстановки оно могло так или иначе меняться. Теперь было уже совсем темно, когда я из теплого отеля — из отеля, заменявшего мне родной дом, — попадал вместе с Альбертиной в вагон, где отсвет фонаря на оконном стекле означал на остановках страдавшего одышкой дачного поезда, что мы подъезжаем к станции. Не расслышав ее названия, которое выкрикнул кондуктор, я, боясь упустить Котара, распахивал дверцу, но вместо «верных» в вагон врывались ветер, холод и дождь. Я различал во мраке поля, слышал море, мы стояли в открытом месте. Прежде чем присоединиться к «ядрышку», Альбертина вынимала из золотого несессера зеркальце и смотрелась в него. В первый же раз, когда г-жа Вердюрен провела Альбертину наверх в свою туалетную, чтобы та перед ужином привела себя в порядок, я почувствовал, как внутри того глубокого покоя, который последнее время был у меня в душе, вдруг шевельнулась тревога и ревность оттого, что я должен расстаться с Альбертиной

на лестнице, и, ожидая ее в гостиной, где собирался кланчик, и недоумевая, что может так долго делать наверху моя подружка, я страшно волновался, а на другой день, узнав у де Шарлю, какие несессеры считаются самыми элегантными, заказал у Картье по телеграфу несессер, который теперь доставлял и Альбертине, и мне величайшее удовольствие. Для меня он был залогом спокойствия и поводом для проявления внимательного отношения ко мне со стороны Альбертины. Она, конечно, догадалась, что меня волнуют ее уходы к г-же Вердюрен, и, получив подарок, стала приводить себя в порядок в вагоне.

В течение последних месяцев самым верным завсегдатаем г-жи Вердюрен считался де Шарлю. Непременно три раза в неделю пассажиры, теснившиеся в залах ожидания или на западной платформе Донсьера, видели, как проходил плотный мужчина, седой, с черными усами, с подкрашенными губами, причем в конце сезона слой губной помады был у него не так заметен, как летом, когда при ярком освещении она казалась кровавой и таяла от жары. Направляясь к дачному поезду, он не мог удержаться (теперь только по привычке, потому, что под влиянием вспыхнувшего в нем чувства он стал целомуд-

ренным, или чаще всего потому, что, во всяком случае, хотел оставаться ему верным), чтобы не окинуть чернорабочих, военных и молодых людей в теннисных костюмах беглым взглядом, пытливым и вместе с тем робким, а затем тотчас же почти совсем закрывал глаза с елейным видом перебирающего четки монаха, со скромностью жены, влюбленной в своего мужа, или благовоспитанной девицы. «Верные» были убеждены, что он их не видит, так как садился в другой вагон (как когда-то в большинстве случаев княгиня Щербатова), — так поступает человек, не знающий, будете ли вы довольны, если кто-нибудь увидит, что вы едете вместе с ним, и предоставляющий вам возможность присоединиться к нему, если только вы этого захотите. Первое время доктор совсем этого не хотел и требовал, чтобы и мы не переходили в купе к де Шарлю. Приобретя горделивую осанку с тех пор, как занял видное положение в медицинском мире, но в глубине души оставшись все таким же нерешительным, лукаво усмехаясь, откидываясь на спинку сиденья, глядя в лорнет на Ского, Котар, видимо, старался выпытать, что думают на сей предмет его приятели. «Сами понимаете, если б я был один, если б я был холостяк, но ведь я с женой, и, после того, что я

от вас узнал, я начинаю сомневаться, можем ли мы пустить его в свою компанию», — шептал доктор. «Что ты сказал?» — спрашивала г-жа Котар. «Ничего, тебя это не касается, это у нас мужской разговор», — отвечал доктор, подмигивая с величественным самодовольством, причем в этом подмигиванье было что-то и от скрытой насмешливости, чувствовавшейся теперь в его тоне, когда он разговаривал с больными и со своими учениками, и от того беспокойного выражения, какое прежде у Вердюренов принимало умное его лицо, и опять начинал шептаться. Г-жа Котар могла разобрать только два слова: «сообщничество» и «брехун», а так как под первым словом доктор разумел евреев, а под вторым — людей, за словом в карман не лезущих, то она решила, что де Шарлю — болтливый иудей. Г-же Котар было непонятно, как можно из-за этого избегать общества барона, и она сочла своим долгом — долгом старшей в клане — потребовать, чтобы мы перестали держаться от него в стороне, и мы все во главе с по-прежнему озадаченным, что-то недопонимавшим Котаром двинулись к купе де Шарлю. Из угла, где де Шарлю читал Бальзака, он заметил нашу нерешительность, но глаз все-таки не поднял. Подобно тому как

глухонемой по неуловимому для других колебанию воздуха догадывается, что кто-то подходит к нему сзади, так и он благодаря особому чутью угадывал, кто относится к нему с холодком. Из-за такого обостренного чутья, обычно распространяющегося на все области, он страдал мнимыми болезнями. Как невропаты, почувствовав легкое дуновение воздуха и решив, что в верхнем этаже открыто окно, свирепеют и начинают чихать, так де Шарлю, если у кого-то был озабоченный вид, делал вывод, что этого человека настроили против него. Впрочем, даже если у вас и не было ни рассеянного, ни мрачного, ни веселого вида, де Шарлю что-нибудь да выдумывал. Зато, если вы проявляли к нему доброжелательность, в его душу ни на миг не закрадывалось подозрение, что о нем ходят темные слухи. Угадав, что Котар вначале заколебался, — хотя де Шарлю крайне удивил этим «верных», которые не представляли себе, что мог заметить уткнувшийся в книгу человек, — барон, как только «верные» подошли к нему на близкое расстояние, протянул им руку, а с Котаром поступил иначе: он только наклонил в его сторону корпус и сейчас же выпрямился, но даже не дотронулся рукой, затянутой в перчатку из шведской кожи, до протянутой ему руки док-

тора. «Мы решили непременно ехать с вами и не оставлять вас одного в уголке. Для нас это большое удовольствие», — мило улыбаясь, сказала барону г-жа Котар. «Я очень польщен», — поклонившись, сухо ответил барон. «Я обрадовалась, когда узнала, что вы окончательно решили перенести в наши края вашу скин...» Она хотела сказать: «скинию», но, вообразив, что это еврейское слово и что оно обидно для иудея, который может принять его за намек, осеклась. Она попыталась подыскать другое, привычное для нее, иначе говоря, велеречивое выражение: «Я хотела сказать: „ваши пенаты“. (Надо заметить, что эти божества тоже не христианские, но они имеют отношение к религии, которая давным-давно умерла, и у нее не осталось последователей, которых было бы опасно оскорбить.) А вот мы, к сожалению, из-за учебного года, из-за того, что доктор связан со службой в больнице, — мы лишены возможности надолго где-нибудь обосноваться. — Она показала на картонку. — Насколько же мы, женщины, несчастнее сильного пола — даже на такое близкое расстояние, на каком живут от нас наши друзья Вердюрены, мы вынуждены везти за собой целый обоз!» Я в это время рассматривал том сочинений Баль-

зака, который держал в руках барон. Это была не бесперeплетная, купленная по случаю книга вроде книги Бергота, которую барон давал мне почитать, когда я впервые приехал в Бальбек. Это была книга из его личной библиотеки, и поэтому на ней было написано: «Я принадлежу барону де Шарлю», а на некоторых его книгах были написаны изречения, свидетельствовавшие о том, что отличительная черта Германтов — прилежание: In proeliis non semper или Non sine labore.[343] Далее мы увидим, что в угоду Морелю они были заменены другими. Минуту спустя г-жа Котар заговорила на тему, которую она считала более близкой барону: «Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но у меня широкий взгляд на вещи: по-моему, все религии хороши, только надо быть по-настоящему религиозным. Я не из тех, кто при одном виде… протестанта приходит в бешенство». — «Меня учили, что только моя вера — единственно истинная», — возразил де Шарлю. «Он фанатик, — подумала г-жа Котар. — Сван

[343] Примечания: 343

…Inproeliis non semper или Nonsinelabore. — Не всегда в битвах или Ничего, кроме труда (лат.). Надписи для книг барона де Шарлю Пруст позаимствовал в библиографическом труде Жоанни Гигара «Новый гербовник для библиофила» (1890). Первая перефразирует девиз семьи Люберзак, в дом которой был вхож Пруст: «Всегда в битвах»; вторая повторяет девиз знаменитого кардинала де Реца.

— только не перед смертью — был более веротерпим, ну да ведь он был крещеный еврей». А барон был, как известно, не только христианского вероисповедания — он был по-средневековому набожен. Для него, как для ваятелей XIII века, христианская церковь была в буквальном смысле населена бесчисленным множеством существ, которых он представлял себе вполне реально: пророками, апостолами, ангелами, всеми святыми, окружавшими Слово, ставшее плотью, его Матерью с обручником, Богом-Отцом, мучениками и прозорливцами, — все они, как и верующие в них живые люди, толпились у входа в храм и заполняли приделы соборов. Де Шарлю избрал своими покровителями архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила; он часто просил их вознести его молитвы к престолу Бога-Отца. Вот почему заблуждение г-жи Котар насмешило меня.

Но оставим религиозные темы и скажем еще несколько слов о докторе: приехав в Париж с небольшим багажом напутствий матери-крестьянки, он, в ущерб общему развитию, углубился в изучение почти исключительно материалистических наук, которым посвящают долгие годы те, кто хочет сделать себе карьеру в области медицины, он завоевал авторитет, но не приобрел

житейского опыта — вот почему, поняв слово «польщен» в буквальном смысле, он, будучи тщеславным, возгордился, но, будучи добряком, опечалился. «Бедный де Шарлю! — сказал он вечером жене. — Когда мы к нему подсели и он сказал, что он этим очень польщен, мне стало его жаль. Чувствуется, что бедняга живет одиноко, — вот он и унижается, чтобы завязать знакомство».

Вскоре, однако, «верные» перестали ощущать потребность в том, чтобы ими руководила г-жа Котар, и переборoли чувство неловкости, которое они все, очутившись в обществе де Шарлю, в той или иной мере испытывали на первых порах. Конечно, при нем они все время вспоминали, что им нарассказал про их спутника Ский, и думали об его сексуальной особенности. Но эта его странность представляла для них некоторый интерес. Она придавала всему, что говорил барон — собеседник сам по себе действительно замечательный, но только избиравший такие темы, которые «верным» были недоступны, вследствие чего они не могли должным образом его оценить, — острый привкус, поэтому рядом с ним наиболее любопытные собеседники, даже Бришо, казались им чуть-чуть пресными. Уже в самом начале знакомства с бароном «верные» не

могли не признать, что он умен. «Гениальность граничит с безумием», — заявил доктор, но, когда княгиня, усиленно занимавшаяся самообразованием, попросила у него разъяснений, он не счел нужным об этом распространяться: кроме этой аксиомы, он ничего не мог бы сказать на тему о гении, ибо что такое гений — это было для него совсем не так ясно, как тиф или подагра. Он был теперь высокомерен, но по-прежнему невоспитан. «Не приставайте ко мне с вопросами, княгиня, — оборвал он ее, — я приехал к морю отдыхать. Да вы меня все равно не поймете — вы же ничего не смыслите в медицине». Княгиня извинилась и тут же умолкла — она считала, что Котар — милейший человек, но что к знаменитостям иной раз не подступишься. Итак, в самом начале знакомства с де Шарлю «верные» нашли, что он умен, несмотря на его порок (или на то, что принято именовать пороком). Сейчас они, не отдавая себе в этом отчета, думали, что он умнее других именно благодаря своему пороку. Самые простые мысли де Шарлю о любви, о ревности, о красоте, которые тот высказывал, будучи ловким образом наведен на эти темы профессором или скульптором, — мысли, почерпнутые им из его необычного, потаенного, богатого и омерзи-

тельного опыта, — привлекали «верных» своею чуждостью, той чуждостью, какая неожиданно проглядывает в хорошо знакомой нам по нашей драматургии любого века психологии действующих лиц русской или японской пьесы, которую играют тамошние актеры. Иногда, если он не слышал, кто-нибудь зло шутил над ним. «Если барон начнет строить глазки кондуктору, то мы никогда не доедем до места, ведь поезд-то пойдет назад, — шепотом говорил скульптор, увидев молодого кондуктора с длинными ресницами баядерки, на которого, не в силах себя сдержать, воззрился барон. — Обратите внимание, как он на него смотрит. Мы едем уже не в дачном поезде, а в фуникулере». И все же, не встретившись с де Шарлю, «верные» испытывали некоторое разочарование, оттого что ехали с самыми обыкновенными людьми и рядом с ними не сидел этот таинственный накрашенный человек с брюшком, похожий на какую-то подозрительную экзотическую шкатулку, странно пахнущую плодами, позывающими на тошноту при одной мысли, что вы их станете есть. «Верным» мужского пола общество де Шарлю доставляло особое удовольствие на коротком перегоне от Сен-Мартена-Дубового, где он садился в вагон,

до Донсьера, где к ним присоединялся Морель. Пока с ними не было скрипача (если только дамы и Альбертина, чтобы не мешать их разговору, сидели, образовав отдельный кружок, поодаль), де Шарлю, не стесняясь, рассуждал о том, что принято называть «безнравственностью», — он как бы подчеркивал, что не взбегает подобных тем. Присутствие Альбертины не останавливало его, потому что она не покидала дамского общества из тех соображений, что скромная девушка не должна мешать мужчинам разговаривать между собой. Я не нервничал из-за того, что она находилась в другом купе, — мне было важно, что она едет в одном со мной вагоне. Уже не любя и не ревнуя Альбертину, я не думал о том, чем она занималась в те дни, когда мы с ней не виделись; а вот если мы сначала ехали вместе, то потом мне становилась ненавистна любая перегородка, которая в случае чего могла скрыть от меня ее измену, и, когда она переходила с дамами в другое купе, я, не в силах усидеть на месте, не думая о том, что могу обидеть собеседника, например Бришо, Котара или Шарлю, которым я не мог бы объяснить, почему я от них убегаю, мгновенье спустя вскакивал, бросал их и, чтобы убедиться, что в другом купе ничего предосудительного

не происходит, перебегал туда. Де Шарлю, не боясь кого-либо шокировать, говорил до самого Донсьера — временами весьма откровенно — о наклонностях, которые он лично не считал ни хорошими, ни дурными. Говорил он так из хитрости, стараясь продемонстрировать широту своих взглядов, уверенный в том, что относительно его поведения у «верных» не закрадывается никаких подозрений. Он был убежден, что во всей вселенной только несколько человек, как он обычно выражался впоследствии, «осведомлены на его счет». Но он воображал, что проникших в его тайну найдется человека два-три, не больше, и что никого из них на нормандском побережье нет. Удивительно, что такой проницательный и такой подозрительный человек тешил себя этим самообманом. Он льстил себя надеждой, что даже люди, которые, по его предположению, обладали более или менее достоверными сведениями, имели, однако, обо всем этом смутное представление, и рассчитывал, что, в зависимости от того, что он скажет своим собеседникам, они могут изменить свое мнение о ком-либо, а между тем собеседники поддакивали ему только из вежливости. Догадываясь, что я кое-что о нем знаю или же что-то предполагаю, он воображал, что впечатление от

него, сложившееся у меня, как ему казалось, гораздо раньше, чем на самом деле, — впечатление общее и что ему достаточно опровергнуть какую-нибудь подробность, чтобы ему поверили, тогда как в действительности познание целого всегда предшествует узнаванию подробностей, благодаря этому безмерно облегчая их исследование, и так как оно уничтожает власть невидимости, то человек уже бессилен продолжать утаивать то, что ему так хочется скрыть. Когда барона приглашал на ужин кто-либо из «верных» или из их друзей и барон избирал самый хитроумный путь для того, чтобы в десяток имен, которые он называл, непременно вставить имя Мореля, то он и не подозревал, что какими бы, всегда разными, причинами он ни объяснял, почему он получит удовольствие, если их сегодня вечером пригласят обоих, или почему это для него существенно, хозяева, делая вид, что нисколько не сомневаются в его правдивости, отлично понимали, что тут скрывается одна-единственная причина, всегда одна и та же, — хотя барон думал, что никто о ней не догадывается, — а именно: его любовь к Морелю. Так же точно и г-же Вердюрен как будто были вполне ясны основания отчасти эстетического, отчасти гуманного порядка, какие де Шарлю в

беседе с ней подводил под свою склонность к Морелю, и она даже горячо благодарила барона за его, как она выражалась, трогательное отношение к скрипачу. Как был бы, однако, огорошен барон, если б он слышал, что в тот день, когда они с Морелем опоздали и не приехали с поездом, Покровительница сказала: «Мы ждем только этих девиц!» Де Шарлю был бы особенно ошеломлен потому, что, днюя и ночуя в Ла-Распельер, он играл там роль капеллана, домашнего аббата. Иной раз (когда Мореля отпускали на двое суток) он ночевал там две ночи подряд. Г-жа Вердюрен отводила им смежные комнаты и, чтобы они чувствовали себя свободно, говорила: «Если вам захочется помузицировать, то не стесняйтесь: здесь стены крепостные, в вашем этаже больше никого нет, а у моего мужа сон крепкий». В такие дни де Шарлю ездил вместо княгини на вокзал встречать приезжающих и извинялся перед ними за г-жу Вердюрен, которая не смогла приехать по состоянию здоровья, причем о ее недомоганье он говорил так убедительно, что гости, входившие к ней с подобающим выражением лица, громко выражали удивление, увидев, что Покровительница на ногах, бодра, в платье с маленьким декольте.

Дело в том, что барон очень скоро стал для г-жи Вердюрен «вернейшим» из «верных», второй княгиней Щербатовой. Его положение в высшем обществе было для нее более туманно, чем положение княгини, о которой она думала, что та нигде не бывает, кроме «ядрышка», потому что презирает все остальные салоны и отдает предпочтение ему. Для Вердюренов был характерен особый вид лицемерия, проявлявшегося в том, что они называли скучными всех, кто не пускал их к себе, — вот почему казалось непостижимым, как Покровительница могла объяснить поведение княгини ее железной волей и ее ненавистью к светскому блеску. Тем не менее г-жа Вердюрен стояла на своем и была убеждена, что великосветская дама не бывает у скучных, потому что ей действительно больше нравится интеллигентное общество. Впрочем, среди тех, кто посещал Вердюренов, число интеллигентных людей убавилось. Жизнь на приморском курорте не приводила к тем опасным последствиям, какие могли иметь новые знакомства в Париже. Аристократы, приезжавшие в Бальбек без жен, — обстоятельство, сильно упрощавшее для хозяев Ла-Распельер налаживанье отношений с ними, — делали первый шаг и превращались из скучных

в очаровательных. Так случилось с принцем Германтским, которого отсутствие принцессы вряд ли, однако, побудило бы съездить в Ла-Распельер «на холостяцком положении», если бы магнит дрейфусарства не оказался столь могущественным, что принц, как на крыльях, взлетел на гору, где стоял замок, но только, к несчастью для него, в тот день, когда Покровительницы не оказалось дома. Между прочим, г-жа Вердюрен была не уверена, что он и де Шарлю принадлежат к одному кругу. От де Шарлю она слышала не раз, что герцог Германтский — его брат, но это могло быть хвастовство авантюриста. Как ни был де Шарлю элегантен, любезен, «верен» по отношению к Вердюренам, Покровительница все еще не решалась приглашать его в один день с принцем Германтским. Она посоветовалась со Ским и с Бришо: «Барон и принц Германтский — это совместимо?» — «О, за одного из них я смело могу поручиться!» — «За одного из них — это мне мало, — с ноткой раздражения в голосе сказала г-жа Вердюрен. — Я вас спрашиваю: совместимы ли они?» — «Ну, это трудно сказать». Г-жа Вердюрен спросила Ского и Бришо без всякой задней мысли. Она была наслышана о наклонностях барона, но, задавая вопрос в такой форме, она о них и не по-

мышляла — ей просто хотелось знать: можно ли пригласить принца вместе с де Шарлю, подходят ли они друг к другу. Употребляя шаблонное выражение, часто употреблявшееся в артистических «кланчиках», во всем любивших гармонию, она не имела в виду ничего дурного. Желая блеснуть своим знакомством с принцем Германтским, она сперва решила повезти его во вторую половину дня на благотворительное увеселение, которое должно было состоять в том, что местные моряки собирались разыграть сцену отплытия. Но потом ее отвлекли разные дела, и она возложила обязанность сопровождать принца на «вернейшего» из «верных», то есть барона. «Понимаете, они не должны стоять истуканами, надо, чтобы они ходили туда-сюда, чтобы видна была разборка коек — не знаю, как это называется у них там поморскому. Но вы-то — вы ведь так часто ездите в порт Бальбек-пляж, вы могли бы, не переутомляясь, устроить репетицию. Вы, барон, лучше меня умеете обращаться с морячками. А впрочем, уж очень мы носимся с принцем Германтским. Может быть, он просто дурак из Джокей-клоба. Ах, боже мой, я ругаю Джокей-клоб, а ведь, насколько я помню, вы тоже член этого клуба? Барон! Что же вы мне не отвечаете: вы член Джокей-клоба? Вы

не хотите погулять с нами? Вот книга, которую я только что получила, — по-моему, она должна вас заинтересовать. Это Ружон.[344] Заглавие прелестное: „Среди мужчин“».

Я был очень рад, что де Шарлю часто исполняет обязанности княгини Щербатовой, — мы с ней были в очень натянутых отношениях по причине пустячной и вместе с тем серьезной. Однажды, когда я ехал в дачном поезде, по обыкновению оказывая княгине Щербатовой все знаки внимания, я увидел, что в вагон вошла маркиза де Вильпаризи. Она приехала погостить к принцессе Люксембургской, но я, скованный ежедневной потребностью видеться с Альбертиной, ни разу не ответил на неоднократные приглашения маркизы и ее хозяйки — особы королевского рода. Почувствовав при виде приятельницы моей бабушки угрызения совести, я только из чувства долга (не отходя от княгини Щербатовой) повел с ней довольно продолжительную беседу. Ведь мне же не было известно, что маркиза де Вильпаризи прекрасно знает мою соседку, но не желает с ней

[344] Примечания: 344

Ружон, Анри (1853–1914) — французский писатель и литературный критик, директор Высшей школы изящных искусств, член Французской академии. Речь идет о сборнике критических статей «Среди мужчин» (1906).

разговаривать. На следующей станции маркиза де Вильпаризи вышла из вагона, и я потом упрекал себя, что не помог ей сойти с поезда; я вернулся и сел рядом с княгиней. И тут — частный случай переворота в душе людей, занимающих неустойчивое положение в обществе, боящихся, что им перемывают косточки, что к ним относятся с презрением, — у меня на глазах в отношении ко мне княгини Щербатовой произошла резкая перемена. Погруженная в чтение «Ревю де Де Монд», княгиня отвечала на мои вопросы сквозь зубы и в конце концов объявила, что из-за меня у нее началась мигрень. Мне было непонятно, в чем же я провинился. Когда я прощался с княгиней, привычная улыбка не озарила ее лица, она едва поклонилась мне, даже не протянула руки — и с тех пор ни разу не заговорила со мной. Но, должно быть, она говорила обо мне — вот только я не знаю, что она могла сказать, — с Вердюренами: стоило мне потом спросить у них, не могу ли я быть чем-нибудь полезен княгине Щербатовой, как они дуэтом восклицали: «Нет, нет, нет! Ни в коем случае! Она терпеть не может, когда ей делают одолжения!» Они вовсе не желали меня с ней ссорить, но ей удалось внушить им, что знаки внимания ей не нужны, что ее душа далека

от светской суеты. Надо знать государственного деятеля, который, придя к власти, завоевывает себе репутацию человека непреклонного, прямолинейного, недоступного, надо видеть, как он, слетев с места, робко и заискивающе улыбается во все лицо какому-нибудь журналисту, едва кивающему ему в ответ; надо было видеть важную осанку Котара (о котором новые его пациенты говорили, что это скала); надо было знать, какая несчастная любовь княгини Щербатовой и какой крах ее снобизма выработали ее высокомерие и ее всем известный антиснобизм, чтобы постичь один из законов человеческого общества — разумеется, допускающий исключения, — который заключается в том, что люди стойкие — это люди слабые, в свое время потерпевшие крушение, и что только сильные люди, не обращающие внимания на то, любезны с ними или от них отворачиваются, отличаются кротостью, которую обыватели принимают за слабохарактерность.

Кстати сказать, я не осуждаю княгиню Щербатову. Такие, как она, встречаются на каждом шагу. Однажды на похоронах одного из Германтов некая знаменитость, стоявшая рядом со мной, показала мне на красивого, статного мужчину. «Это самый чудаковатый, самый странный из всех

Германтов, — сказал он мне. — Это брат герцога». Я имел бестактность возразить ему, что он ошибается, что этот господин совсем не родственник Германтов и что его фамилия — Фурнье-Сарловез. Знаменитость повернулась ко мне спиной и с тех пор перестала со мной здороваться.

Очень известный композитор, член Института, видное должностное лицо и знакомый Ского, проездом через Арамбувиль, где жила его племянница, посетил одну из сред Вердюренов. Де Шарлю был с ним исключительно любезен по просьбе Мореля, а главное — надеясь, что в Париже академик будет приглашать его на разные закрытые собрания, на репетиции и т. д. с участием скрипача. Польщенный академик, милейший к тому же человек, дал и сдержал свое слово. Барон был тронут одолжениями, которые ему сделал академик (между прочим, академик любил — и любил глубокой любовью — только женщин), предоставленными ему академиком возможностями видеться с Морелем в учреждениях, куда посторонним вход воспрещен, возможностями, предоставленными знаменитым артистом юному виртуозу, выступить, прославиться, причем академик, рекомендуя его в качестве участника концерта, который обещал стать событием, ока-

зывал ему предпочтение перед другими не менее одаренными скрипачами. Де Шарлю не подозревал, что он должен быть особенно благодарен мэтру, так как мэтр, вдвойне эту благодарность заслуживший или, если угодно, вдвойне виноватый, отлично знал об отношениях между скрипачом и его знатным покровителем. Он шел им навстречу, разумеется, не одобряя их отношений, поскольку сам не признавал иной любви, кроме любви к женщине, которая служила источником вдохновения для всей его музыки, — он шел им навстречу из-за своего безразличия к вопросам нравственности, из профессиональной любезности и услужливости, в силу светской учтивости, в силу снобизма. Между тем характер их дружбы был ему до того ясен, что за первым же ужином в Ла-Распельер он спросил Ского о де Шарлю и Мореле как о мужчине и его любовнице: «Они давно сожительствуют?» Но так как он был человек в высшей степени светский, то, чтобы не подчеркивать своего отношения к этой дружбе в глазах тех, кто проявлял к ней особое любопытство, готовый, в случае, если бы среди товарищей Мореля пошли слухи, рассеять их и успокоить Мореля, отеческим тоном сказав ему: «Теперь так про всех говорят», он продолжал оказывать баро-

ну всевозможные услуги, а тот находил, что это очень мило с его стороны, но вполне естественно; он не считал великого композитора ни олицетворением порока, ни олицетворением добродетели. Дело в том, что среди их общих знакомых не нашлось такого подлеца, который передал бы де Шарлю то, что говорилось о нем в его отсутствие, равно как и «тон-юсе намеки» на поведение Мореля. Ситуация как будто бы простая, и, однако, то, что всеми осуждается, то, что вряд ли найдет себе где-нибудь защитника, — «сплетня», — затрагивает ли она вас лично и потому должна быть особенно вам неприятна, доводит ли она до вашего сведения о ком-нибудь другом то, что вы о нем до сих пор не знали, имеет психологическое значение. Она не дает вашему уму успокоиться на ложном понятии о вещах, в силу которого вы принимаете оболочку явления за его сущность. Сплетня переворачивает явление с волшебным проворством философа-идеалиста и мгновенно открывает вашему взору краешек изнанки. Разве мог де Шарлю представить себе, что одна из любивших его родственниц воскликнула: «Как тебе пришло в голову, что Меме влюблен в меня? Ты забыла, что я женщина?» А ведь она питала к де Шарлю настоящую глубокую привязанность. Че-

го же тогда удивляться Вердюренам, на хорошее отношение и благожелательность которых он не имел никакого права рассчитывать, чего же удивляться тому, что они говорили у него за спиной (и не только говорили, как это будет видно в дальнейшем) и что он никак не мог себе представить, судя по тем слабым отголоскам, какие доходили до него в его присутствии? Одни лишь Вердюрены украшали нежными надписями тот воображаемый павильончик, куда де Шарлю иногда заходил, чтобы помечтать наедине и попытаться проникнуть воображением в понятие, какое должно было сложиться о нем у Вердюренов. Там царили такое благорасположение, такое радушие, отдых там был до того животворен, что де Шарлю, зайдя туда перед сном, чтобы на короткое время сбросить с себя бремя забот, неизменно выходил оттуда с улыбкой. Но ведь у каждого из нас два таких павильона: напротив того, о котором мы думаем, что это единственный наш павильон, стоит другой, обычно нам не видный, павильон настоящий, симметричный, хорошо нам известный, но совершенно на него не похожий, и его орнаментация, где все для нас неожиданно, ужаснет нас, потому что она состоит из отвратительных знаков такой враж-

дебности, о какой мы до сих пор не подозревали. Де Шарлю остолбенел бы, если б прошел в противоположный павильон по сплетне, как проходят по черной лестнице, где на входной двери нет свободного места от непристойных надписей и рисунков углем, оставленных недовольными поставщиками или уволенной прислугой. Так же, как нам не хватает чувства ориентировки, которым наделены некоторые птицы, мы лишены и чувства видимости, и чувства пространства: мы воображаем, что обок с нами находятся люди, чье внимание сосредоточено на нас, а между тем они о нас и не думают, и вместе с тем не подозреваем, что другие интересуются только нами. Так жил де Шарлю — жил, как рыба, у которой создается обманчивое представление, будто вода, в которой она плавает, простирается за пределы отражающих ее стеклянных стенок аквариума, и не замечает, что около нее в темноте стоит человек и смотрит на то, как она плещется, или всемогущий рыбовод, который в неожиданный и роковой миг, пока еще не наставший для барона (для него таким рыбоводом окажется в Париже г-жа Вердюрен), безжалостно вытащит ее из среды, где ей так хорошо жилось, и перебросит куда-нибудь еще. Да что там: у целых народов,

поскольку они являют собой всего лишь собрание индивидуумов, мы можем найти примеры более широкого масштаба, но сходственные в любой области — примеры полной, упорной, потрясающей слепоты. У де Шарлю эта слепота до поры до времени проявлялась в том, что он занимал кланчик излишне хитроумными и слишком смелыми рассуждениями, заставлявшими слушателей отворачиваться, чтобы он не видел их усмешки, но в Бальбеке она еще не доставляла ему — и не могла доставить — крупных неприятностей. Белок и сахар в небольших количествах, сердечная аритмия не мешают человеку вести нормальный образ жизни, он всего этого не замечает, и только для врача это признаки надвигающейся катастрофы. В настоящее время любовь — любовь платоническая, а может быть, и не платоническая — де Шарлю к Морелю действовала на барона так, что он при каждом удобном случае заговаривал в отсутствие Мореля об его удивительной красоте: полагая, что этому не придадут нежелательного для него смысла, он поступал, как продувная бестия, которая не побоится в своих показаниях на суде сообщить такие подробности, которые на поверхностный взгляд представляются невыгодными для него,

но которые именно благодаря этой невыгодности создают впечатление, что его показания правдивы и не заученны — в отличие от показаний обвиняемого, который, бия себя в грудь, произносит целый монолог, уверяющий судей в его невиновности. С одинаковой откровенностью, все на том же перегоне от Донсьера-Западного до Сен-Мартена-Дубового или на обратном пути, де Шарлю охотно толковал о людях с — насколько ему известно — весьма странными наклонностями и еще добавлял: «Вот я говорю: „странные“, а, собственно, сам не знаю — почему: ведь ничего же странного в этом нет», стараясь этим добавлением убедить самого себя, как ему легко с этой аудиторией. Да барону и впрямь было с ней легко, поскольку он знал, что нить разговора в его руках и что слушатели у него безмолвные, улыбающиеся, обезоруженные доверчивостью или же благовоспитанностью.

Когда де Шарлю не выражал своего восхищения красотой Мореля (точно оно не было связано с его пристрастием, иначе говоря, с его пороком!), он разглагольствовал об этом пороке так, как будто у него-то этого порока нет. Иной раз он даже называл вещи своими именами. Взглянув на красивый переплет его Бальзака, я спросил,

что ему больше всего нравится в «Человеческой комедии», и он, все еще не расставаясь со своей навязчивой идеей, ответил мне так: Да все: и такие миниатюры, как «Турский священник» и «Покинутая женщина», и громадные фрески «Утраченных иллюзий». Что? Вы не читали «Утраченные иллюзии»? Как это прекрасно! Например, тот момент, когда Карлос Эррера проезжает в экипаже мимо замка и спрашивает, как он называется, а ему отвечают, что это — Растиньяк, именье молодого человека, которого он когда-то любил. И аббат впадает в задумчивость, которую Сван не без остроумия называл «Педерастической печалью Олимпио». А смерть Люсьена! Кто-то, отличавшийся большим вкусом,[345] — не помню, кто именно, — на вопрос, какое событие в его жизни причинило ему самое сильное горе, ответил: «Смерть Люсьена де Рюбампре в „Блеске и нищете“». — «В этом году, насколько мне известно, на Бальзака такая же мода, как в прошлом году на пессимизм, — вмешался Бришо. — Но, рискуя огорчить обожателей Бальзака,

[345] Примечания: 345

Кто-то, отличавшийся большим вкусом... — Речь идет об Оскаре Уайльде, который высказал эту мысль в своем эссе «Закат лжи». Пруст неоднократно возвращался к этому высказыванию Уайльда, положив его в основу своего определения эстетизма в незавершенной книге «Против Сент-Бёва» (см.: *Пруст М.* Против Сент-Бёва. М., 1999. С. 92–93).

а с другой стороны, отнюдь не претендуя — Боже упаси — на роль полицейского в литературе или на роль учителя, ищущего в тетрадях учеников грамматические ошибки, я должен сознаться, что этого многословного импровизатора, сногсшибательные вещания которого вы, как мне кажется, напрасно превозносите до небес, я всегда считал неряшливым писцом — и только. Я читал эти ваши „Утраченные иллюзии“, барон, я себя насиловал, искусственно возбуждал в себе восхищение, чтобы примкнуть к числу поклонников, и должен вам признаться чистосердечно, что эти романы-фельетоны, написанные с таким пафосом, — галиматья в квадрате, в кубе: „Счастливая Эсфирь“, „Куда ведут опасные пути“, „Во что старикам обходится любовь“ — это на меня всегда производило впечатление тайн Рокамболя[346] поднятых необъяснимой благосклонностью читателей на шаткую высоту шедевра». — «Вы говорите так потому, что не знаете жизни», — заметил барон, раздосадованный вдвойне, так как чувствовал, что Бришо не поймет ни его эстетических, ни прочих доводов. «Я вас понял, — сказал

[346] Примечания: 346

Рокамболь — главный герой романов французского писателя Пьера Понсона дю Террайля (1829–1871). Невероятные приключения Рокамболя получили признание у невзыскательной читательской аудитории.

Бришо, — выражаясь языком мэтра Франсуа Рабле, вы относите меня к числу сорбоннщиков, сорбонников, сорбонняев. Но, так же как и мои друзья, я требую от писателя, чтобы он был искренен и правдив в своих книгах, я не из тех ученых мужей…» — «Четверть часа Рабле»,[347] — перебил его доктор Котар с видом уже не растерянным, а с видом знатока, которые дают писательский обет по уставу аббатства О'Буа, под началом у виконта де Шатобриана, великого кривляки, следуя строгому правилу гуманистов. — Виконт де Шатобриан… — «Шатобриан с яблоками?» — перебил доктор Котар. «Это глава целого братства», — продолжал Бришо, не подхватив шутки доктора, а доктора привели в смущение слова профессора, и он с беспокойством посмотрел на де Шарлю. Котар в душе осудил Бришо за бестактность, каламбур же его вызвал тонкую улыбку на уста княгини Щербатовой. «Профессор доказал нам, что колкая ирония законченного скептика всегда будет иметь успех», — сказала она из любезности, а также для того, чтобы показать, что

[347] Примечания: 347

«Четверть часа Рабле» — выражение, обозначающее затруднительное положение в денежных расчетах, в основе которого лежит легендарный эпизод из жизни Франсуа Рабле (1494–1553), которому якобы однажды не хватило денег, чтобы расплатиться на одном из постоялых дворов в Лионе; упоминается также в романе «По направлению к Свану».

«словцо» доктора не прошло для нее незамеченным. «Мудрец — поневоле скептик, — заметил доктор. — Что я знаю?[348] gnvbi seauton,[349] — учил Сократ. Это очень верно. В любой области излишество — порок. Но я бледнею от злости, когда подумаю, что этого оказалось достаточно, чтобы имя Сократа пользовалось известностью и в наши дни. В сущности, что такое все его учение? Да ничего в нем особенного нет. Подумать только: Шарко и другие оставили после себя труды в тысячу раз ценнее; по крайней мере, они на что-то опираются, хотя бы на то, что ослабление зрачковой реакции есть симптом общего паралича, Я о них почти никто уже не помнит. По существу, в Сократе ничего потрясающего нет. Таким, как он, делать было нечего, и они целыми днями гуляли и препирались. Это как у Иисуса Христа: „Любите друг друга“ — прекрасно сказано». — «Друг мой!» — взмолилась г-жа Котар. «Ну конечно, жена протестует! Они все — невра-

---

[348] Примечания: 348

Что я знаю? — Крылатая фраза французского философа Мишеля Монтеня (1533–1592), резюмирующая его позицию скептика.

[349] Примечания: 349

…?????????????, — *учил Сократ.* — По преданию, сообщаемому Платоном в диалоге «Протагор», семь мудрецов Древней Греции, сойдясь вместе в храме Аполлона в Дельфах, написали: «Познай самого себя». Мысль о познании себя разъяснял и распространял Сократ.

стенички». — «Милый мой доктор! Я совсем не неврастеничка», — возмутилась г-жа Котар. «То есть как же она не неврастеничка, когда болезнь сына сейчас же вызывает у нее бессонницу? Да ведь я не отрицаю, что Сократ и прочие — все это необходимо в интересах высшей культуры, чтобы у нас на виду красовались таланты. Я всегда привожу первокурсникам эти слова: yvoipi стеаитоу. Дядя Бушар, когда про это узнал, весьма одобрил меня». — «Я не принадлежу к сторонникам формы ради формы, я бы не стал нанизывать в стихах рифму на рифму, — продолжал Бришо. — И все-таки „Человеческую комедию“, в которой очень мало человечного, никак нельзя отнести к произведениям, где искусство возвышается над содержанием, как выразился этот злюка Овидий.[350] И да будет мне позволено остановиться там, где расходятся две дороги, одна из которых ведет к Медонскому приходу,[351] а другая — в

[350] Примечания: 350

…где искусство возвышается над содержанием, как выразился этот злюка Овидий. — Вольная цитата из «Метаморфоз» («Materiam superbat opus», II, 5).

[351] Примечания: 351

…ведет к Медонскому приходу… — Французского писателя Ф. Рабле, получившего к концу жизни этот приход, называли «медонский кюре».

Фернейский приют,[352] находящийся на одинаковом расстоянии от Волчьей Долины,[353] где Рене великолепно, управляя твердой рукой, исполнял обязанности первосвященника, и от Жарди,[354] где ревностный проповедник абракадабры Оноре де Бальзак, измученный понятыми, без устали марал бумагу ради своей польки[355]».

— Что бы вы там ни говорили, Шатобриан все-таки до сих пор жив, а Бальзак — все-таки великий писатель, — возразил де Шарлю; он был еще весь во власти тех взглядов на искусство, каких придерживался Сван, и Бришо раздражал его. — Бальзак познал даже такие страсти, которые чужды другим: если и стараются их понять, то лишь для того, чтобы заклеймить. Не буду больше указывать на бессмертные «Утраченные иллюзии», но и «Сарацин», и «Златоокая

---

[352] Примечания: 352

Фернейский приют. — Имеется в виду замок Ферней, расположенный на границе Франции и Швейцарии, где с 1758 по 1778 г. жил Вольтер.

[353] Примечания: 353

Волчья Долина — дом, находящийся неподалеку от Со, который приобрел в 1811 г. Шатобриан и прожил там много лет.

[354] Примечания: 354

Жарди — название дома Бальзака в Виль-д'Авре, где он жил с 1837 по 1840 г.

[355] Примечания: 355

...ради своей польки. — Имеется в виду Эвелина Ганская, на которой Бальзак женился в 1850 г.

девушка», и «Страсть в пустыне», даже несколько загадочная «Мнимая любовница» — все эти произведения подтверждают мою правоту. Когда я говорил о «противоестественных» чертах Бальзака со Сваном, он мне сказал: «Вы с Тэном[356] единомышленники». Я не имею чести быть знаком с господином Тэном, — продолжал де Шарлю, у которого была несносная привычка прибавлять к фамилии большого писателя совершенно лишнее слово «господин», как и у других светских людей, по всей вероятности считавших, что этим они делают ему честь, а может быть, желавших соблюсти дистанцию, подчеркнув, что они с ним не знакомы, — я не знаком с господином Тэном, но был очень польщен, узнав, что мы с ним единомышленники. — Де Шарлю опутывали глупейшие светские предрассудки, но он был человек очень умный, так что ничего невероятного не было бы, если б он, получив сведения, что благодаря какому-нибудь давнему браку его семья состоит в родстве с семьей Бальзака, обрадовался бы (как обрадовался бы и Бальзак), но эту свою

[356] Примечания: 356

Тэн, Ипполит (1828–1893) — французский философ, искусствовед и критик, создатель теории зависимости художника от расы, среды и исторического момента. В своей знаменитой статье 1858 г. о «Человеческой комедии» Тэн настаивал на болезненном, противоестественном характере бальзаковских персонажей.

радость он выражал бы так, что ее можно было бы принять за восхитительную снисходительность.

Иногда на следующей станции после Сен-Мартена-Дубового в вагон садились молодые люди. Де Шарлю не мог удержаться, чтобы не взглянуть на них, но так как он смотрел вскользь и украдкой, то в его внимании к ним как будто скрывалось нечто необычное, чего на самом деле не было; можно было подумать, что он с ними знаком и хотя шел на жертву, а все-таки, прежде чем снова повернуться лицом к нам, невольно выдавал себя: так дети, которым из-за того, что их родители, поссорившись с родителями их товарищей, не позволяют друг с другом здороваться, при встрече не могут не поднять головы, хотя знают, что по ней их ударит линейка гувернера.

Когда де Шарлю, сопоставляя «Печаль Олимпио» с «Блеском и нищетой», употребил греческое слово, Ский, Бришо и Котар переглянулись с улыбкой, пожалуй, не столько насмешливой, сколько выражавшей удовольствие, какое получили бы люди, если бы им удалось заставить ужинающего с ними Дрейфуса рассказать о своем процессе или принцессу — о своем царствовании. Им хотелось продолжить разговор на эту тему, но мы уже подъезжали к Донсьеру, а в Донсьере

к нам присоединился Морель. При нем де Шарлю внимательно следил за собой, и, когда Ский заговорил было с ним о любви Карлоса Эрреры к Люсьену де Рюбампре, лицо барона приняло недовольное, загадочное и в конце концов (когда он убедился, что его не слушают) строгое, осуждающее выражение, как у отца, когда при его дочери говорят о неприличных вещах. Ский все не унимался, тогда де Шарлю выпучил глаза, возвысил голос и, показав на Альбертину, хотя она, занятая беседой с г-жой Котар и с княгиней Щербатовой, не могла слышать нас, многозначительно, вкладывая в свои слова скрытый смысл, как вкладывают его те, кто хочет проучить невоспитанного человека, сказал: «Я думаю, что нам пора поговорить о чем-нибудь более интересном для молодой девушки». Но я-то отлично понял, что для него молодой девушкой была не Альбертина, а Морель; впоследствии, когда он без обиняков попросил не вести таких разговоров при Мореле, я убедился, что был тогда прав. «Знаете, — заговорив о нем, сказал он мне, — Морель — совсем не то, что вы о нем думаете, — это юноша вполне порядочный, не испорченный, строгих правил». Из слов де Шарлю вытекало, что он считает извращенность столь же грозной опасно-

стью для молодых людей, как проституцию — для женщин, и что, говоря о Мореле, он употребляет выражение «строгих правил», как употребил бы его, характеризуя молоденькую мастерицу. Бришо, переменив разговор, обратился ко мне с вопросом, как долго я рассчитываю пробыть в Энкарвиле. Сколько я ни втолковывал ему, что живу не в Энкарвиле, а в Бальбеке, он всякий раз ошибался, так как для него что Энкарвиль, что Бальбек — все это было приморье. Люди часто имеют в виду одно, а называют совсем другое. Дама из Сен-Жерменского предместья, желая что-нибудь узнать о герцогине Германтской, неизменно задавала мне вопрос, давно ли я видел Зинаиду или Зинаиду-Ориану, чем сперва повергала меня в недоумение. Так как у герцогини Германтской была родственница Ориана, то, вероятно, во избежание недоразумений герцогиню называли Ориана-Зинаида. Может быть, прежде и вокзал был только в Энкарвиле, а из Энкарвиля в Бальбек ездили в экипаже. «О чем это вы говорили?» — спросила Альбертина, удивленная важностью, как у главы семьи, — важностью, которую напустил на себя де Шарлю. «О Бальзаке, — поспешил ответить барон, — вы сегодня как

раз в платье принцессы де Кадиньян,[357] — не в том, в котором она была за ужином, а в другом». Это сходство объяснялось тем, что, выбирая для Альбертины платья, я руководствовался тем вкусом, что привил ей Эльстир, высоко ценивший строгость, которую можно было бы назвать английской, если бы она не умерялась французской мягкостью и нежностью. Эльстир в большинстве случаев предпочитал платья, представлявшие собой гармоническое сочетание серых тонов, как у Дианы де Кадиньян. Только де Шарлю мог оценить истинные достоинства платьев Альбертины; его глаз сейчас же отыскивал то, что было в них редкостного, ценного; он никогда бы не перепутал названия материй и безошибочно узнавал портного. Он только находил, что в женских туалетах должно быть больше яркости и красочности, чем допускал Эльстир. Вот почему в этот вечер Альбертина бросила на меня не то радостный, не то беспокойный взгляд и тут же затем опустила свой кошачий розовый носик. Так как поверх платья из серого крепдешина на ней была наглухо застегнутая серая шевиотовая жакетка, то создавалось впечатление, будто она вся

[357] Примечания: 357

«*Принцесса де Кадиньян*» («Тайны принцессы де Кадиньян») — роман Бальзака, входящий в «Человеческую комедию».

в сером, в платье серого цвета. Сделав мне знак помочь ей снять и опять надеть жакетку, потому что ей надо было не то расправить, не то приподнять сборчатые рукава, она сняла ее, а так как рукава были из очень мягкой розовой, бледно-голубой, зеленоватой, сизой шотландки, то можно было принять ее за радугу, просиявшую в сером небе. Альбертина не знала, понравится ли это барону. «О, да это луч, спектральная призма! — воскликнул в восторге де Шарлю. — Поздравляю вас». — «Этим я вот кому обязана», — с милой улыбкой указывая на меня, проговорила Альбертина: ей было приятно обращать всеобщее внимание на мои подарки. «Только женщины, не умеющие одеваться, боятся ярких цветов, — продолжал де Шарлю. — Можно надеть на себя кричащее платье и не быть вульгарной, можно надеть на себя платье мягких тонов и все-таки выделяться. Да ведь у вас и нет причин напускать на себя разочарованность, какие были у принцессы де Кадиньян, — ее серое платье как раз и должно было производить на д'Артеза впечатление, что она разочарована в жизни». Заинтересовавшись безмолвным языком платьев, Альбертина начала расспрашивать де Шарлю о «Принцессе де Кадиньян». «О, это чудесная вещь! — с мечтательным

видом сказал барон. — Я знаю садик, где Диана де Кадиньян гуляла с г-жой д'Эспар[358] — это сад моей родственницы». — «Сад родственницы, так же как и его генеалогия, может занять нашего прелестнейшего барона, — проворчал Котару Бришо. — Но нам-то какое до всего этого дело? Мы не имеем права гулять в саду его родственницы, мы с ней не знакомы, и мы не титулованная знать». Бришо не представлял себе, что можно заинтересоваться платьем или садом как художественным произведением и что де Шарлю видел сейчас перед собой точно такие же, как у Бальзака, аллейки принцессы де Кадиньян. «Да ведь вы же ее знаете, — имея в виду свою родственницу и желая польстить мне, обратился ко мне барон как к человеку, не входящему в кланчик и принадлежащему к тому же кругу, что и он, де Шарлю, или, по крайней мере, бывающему в этом кругу. — Во всяком случае, вы, наверно, видели ее у маркизы де Вильпаризи». — «У маркизы де Вильпаризи, которой принадлежит замок в Бокрё?» — насторожившись, спросил Бришо. «Да, а разве вы с ней знакомы?» — сухо спросил де Шарлю. «Нет, — ответил Бришо, — но наш коллега

[358] Примечания: 358

Г-жа д'Эспар — персонаж романа Бальзака «Тайны принцессы де Кадиньян».

Норпуа ежегодно проводит в Бокрё часть своего летнего отпуска. Я иногда писал ему туда». Думая, что это будет интересно Морелю, я сказал ему, что де Норпуа был другом моего отца. Но Морель ничем не показал, что расслышал меня, — он считал, что мои родители — люди ничтожные, неизмеримо ниже моего деда, у которого его отец служил камердинером и который, в отличие от всех своих родных, хотя и любил «устраивать тарарам» своим слугам, но о котором они все-таки хранили благоговейную память. «Говорят, маркиза де Вильпаризи — изумительная женщина, но я сужу о ней только по рассказам — видеть ее ни мне, ни моим коллегам так и не привелось. Норпуа со всеми в Институте чрезвычайно любезен и мил, но маркизе он никого из нас не представил. Мне известно, что она принимала у себя только нашего друга Тюро-Данжена,[359] но их семьи давно породнились, и еще Гастона Буасье[360] — с ним она выразила желание познакомиться,

---

[359] Примечания: 359

Тюро-Данжен, Поль (1873–1913) — французский публицист и историк католического и консервативного направления, автор семитомной «Истории Июльской монархии» (1884–1892), член Французской академии.

[360] Примечания: 360

Буасье, Гастон (1823–1898) — французский филолог-классик, профессор латинского ораторского искусства в Коллеж де Франс, академик.

но в связи с одной его работой, к которой она проявила особый интерес. Он как-то ужинал у нее и вернулся очарованный. Но госпожу Буасье она не пригласила». Услышав эти имена, Морель растроганно улыбнулся. «Ах, Тюро-Данжен! — обратился он ко мне, разыгрывая повышенный интерес, как только что разыгрывал равнодушие при упоминании о маркизе де Норпуа и о моем отце. — Тюро-Данжен и ваш дедушка были такими закадычными друзьями! Когда какая-нибудь дама изъявляла желание сидеть в центре на торжественном заседании по случаю приема в академики, ваш дедушка говорил: „Я напишу Тюро-Данжену“. И конечно, ей сейчас же присылали приглашение: вы же отлично понимаете, что Тюро-Данжен не осмелился бы в чем-либо отказать вашему дедушке — ведь тот мог бы при случае ему и насолить. Забавное воспоминание связано у меня и с именем Буасье: у них ваш дедушка закупал подарки для дам перед Новым годом. Я это знаю точно, мне даже известно, кому это поручалось». Как же ему было не знать, когда это поручалось его отцу! Морель с таким чувством говорил о моем деде, потому что мы не собирались оставаться у Германтов, у которых мы поселились из-за бабушки. Мы поговаривали

о переезде. Чтобы понять советы, какие мне давал по этому поводу Шарль Морель, надо иметь в виду, что прежде мой двоюродный дед жил на бульваре Малерба, в доме 40-а. Так как мы часто бывали у дедушки Адольфа вплоть до того рокового дня, когда я поссорил с ним моих родителей, рассказав им историю дамы в розовом, то наши знакомые говорили не «у вашего дедушки», а просто: «в номере сорок — а». Мамины родственницы говорили, как будто так и следовало: «Ах да! В воскресенье вас не застанешь — вы ужинаете в сороковом — а». Если я собирался навестить кого-нибудь из родственниц, то мне советовали зайти сперва «в сорок — а», чтобы дедушка не обиделся, что я не его первого навестил. Дом этот принадлежал ему, и надо заметить, что он был очень разборчив в выборе жильцов: он сдавал квартиры только своим друзьям или тем, что впоследствии становились его друзьями. Полковник барон де Ватри каждый день заходил к нему выкурить сигару — так легче было уговорить деда произвести у него ремонт. Ворота дед всегда держал на запоре. Если он замечал, что у кого-нибудь на окне развешано белье или ковер, то приходил в ярость и заставлял убрать белье и ковер быстрее, чем этого теперь добива-

ются блюстители порядка. Но все-таки он сдавал часть дома, а себе оставил два этажа и конюшни. Невзирая на это, люди, зная, что деду бывает приятно, когда ему говорят, в каком образцовом порядке содержится его дом, восхищались комфортабельностью «особнячка» так, как будто дед занимал все этажи, и он выслушивал похвалы без возражений. «Особнячок» действительно был комфортабелен (дед вводил все тогдашние технические усовершенствования). И однако, ничего особенного в «особнячке» не было. Но дед был убежден — во всяком случае, внушил это своему камердинеру, его жене, кучеру, кухарке, — что по комфортабельности, роскоши и удобству во всем Париже нет ничего равного его «особнячку», хотя с показной скромностью и называл его своей «берложкой». Шарль Морель рос с этой мыслью. Он и потом не изменил мнения. Даже если он и не вел беседы со мной, все равно, стоило мне в вагоне сказать кому-нибудь, что мы, возможно, переедем, как он уже начинал улыбаться мне и, с заговорщицким видом подмигивая, говорил: «Вот бы вам что-нибудь вроде сорок — а! Там-то уж вам было бы хорошо! Насчет этого ваш дедушка был знаток, ничего не скажешь. Я уверен, что во всем Париже нет ничего лучше сорок — а».

По тому грустному виду, с каким де Шарлю говорил о «Принцессе де Кадиньян», я понял ясно, что эта вещь навеяла на него воспоминания не только об его родственнице, к которой он был вполне равнодушен. Он впал в глубокую задумчивость, а затем, как бы обращаясь к самому себе, воскликнул: «„Тайны принцессы де Кадиньян“! Это шедевр! Как глубоко нужно знать сердце человека, чтобы так верно описать мучительный страх Дианы, что дурная слава о ней дойдет до любимого человека! Это свойственно людям искони, это вовсе не индивидуальная особенность, хотя так и может показаться поверхностному взгляду, и какой широкий круг людей охватывает это чувство!» В тоне де Шарлю слышалась печаль, и все же чувствовалось, что в этой печали было для него что-то чарующее. Конечно, де Шарлю не представлял себе отчетливо, многим ли известны его наклонности, но с некоторых пор он трепетал при одной мысли, что в Париже, как только его увидят вместе с Морелем, семья Мореля восстанет и его счастью придет конец. Такая возможность рисовалась ему, по всей вероятности, как нечто крайне для него неприятное и гнетущее. Но барон представлял собой натуру художественную. И теперь, когда

он сопоставлял свое положение с положением, описанным у Бальзака, он как бы укрывался под сенью его романа и находил утоление своей душевной боли в том, что Сван и Сен-Лу назвали бы «чем-то в высшей степени бальзаковским». Самоотождествление с принцессой де Кадиньян давалось барону легко благодаря вошедшей у него в привычку способности мысленно заменять одно другим, и эту свою способность он проявлял неоднократно. Он заменял любимую женщину молодым человеком, и отношения с людьми У молодого человека тотчас же начинали усложняться, как усложнялись они между мужчиной и женщиной, едва они вступали в любовную связь. Если по какой-нибудь причине раз навсегда введут изменение в календарь или в расписание, если передвинут начало года на несколько недель назад, а часы переставят на четверть часа вперед, то, коль скоро в сутках все равно будет двадцать четыре часа, а в месяце — тридцать дней, все обусловленное мерой времени никаких изменений не претерпит. Всякие перемены могут происходить без малейшей путаницы при условии, что соотношения чисел остаются прежними. Так обстоит и с теми, кто принял «час Центральной Европы», и с теми, кто

принял восточный календарь. Пожалуй, в том, что де Шарлю сблизился с Морелем, известную роль сыграло тщеславие, которое говорит в человеке, берущем на содержание актрису. В первый же день, когда де Шарлю предпринял попытку разведать, кто такой Морель, он, конечно, узнал, что тот из простых, но ведь и дама полусвета, которую мы любим, не утрачивает для нас своего обаяния только потому, что она из бедной семьи. Зато известные музыканты, которых барон просил написать, отвечали ему не из корыстных побуждений, как друзья, знакомившие Свана с Одеттой и изображавшие ее утонченной недотрогой, какой на самом деле она не была, а просто по привычке людей, занимающих видное положение, расхваливать начинающего: «О, это большой талант, у него блестящее будущее, он еще так молод, а уже в чести у знатоков, он себе дорогу пробьет». И с настойчивостью, какую проявляют люди, не понимающие, что восторг мужчины перед мужской красотой есть признак извращенности, продолжали: «А потом, он так красив, когда играет! На концертах никто не производит такого выгодного впечатления: у него красивые волосы, изящные движения; у него прелестное лицо — ну прямо скрипач,

сошедший с портрета». Вот почему де Шарлю, которого Морель, кстати сказать, держал в состоянии крайней напряженности, не скрывая от него тех многочисленных предложений, какие ему делали, радовался тому, что мог увозить его с собой, устроить для него уголок, где Морель часто бывал. В остальное время де Шарлю предоставлял Морелю свободу, которая нужна была скрипачу для карьеры, а его карьере де Шарлю, не считаясь с расходами, всячески содействовал — либо как все Германты, руководствуясь убеждением, что мужчина непременно должен заниматься делом, что чего-нибудь стоит только человек талантливый, а знатность и деньги — всего-навсего нули, повышающие его ценность, либо из боязни, что от безделья и оттого, что, кроме де Шарлю, он ни с кем не видится, скрипач заскучает. Наконец, ему не хотелось отказывать себе в удовольствии думать по окончании больших концертов: «Тот, кому сейчас так рукоплещут, ночью будет у меня». Тщеславие людей из высшего общества, так или иначе влюбившихся, подбивает их на то, чтобы жертвовать тем, что тешило их тщеславие прежде. Морель, поняв, что я никаких дурных чувств к нему не питаю, что я искренне привязан к де Шарлю, а с другой стороны — что я не

испытываю физического влечения ни к тому, ни к другому, в конце концов стал проявлять ко мне живейшую симпатию, в чем он обнаруживал сходство с кокоткой, убедившейся, что на нее не посягают, что вы верный друг ее любовника и что вы не собираетесь их рассорить. Он говорил со мной совершенно так же, как когда-то говорила со мной Рахиль, любовница Сен-Лу; этого мало: как мне передавал де Шарлю, он говорил ему обо мне то же, что говорила обо мне Роберу Рахиль. Да и сам де Шарлю говорил мне: «Он вас очень любит» — точно так же, как Робер говорил о Рахили: «Она так тебя любит!» И как племянник от имени своей любовницы, так его дядя от имени Мореля часто приглашал меня отужинать с ними. И сцеплялись они не реже, чем Робер и Рахиль. Конечно, когда Чарли (Морель) уезжал, де Шарлю осыпал его похвалами и непременно прибавлял, что скрипач прекрасно к нему относится: как видно, это ему льстило. Тем не менее все замечали, что даже в присутствии «верных» Чарли часто раздражался и далеко не всегда был счастлив и послушен, о чем мечтал барон. Впоследствии из-за слабохарактерности де Шарлю, спускавшего Морелю его безобразные выходки, дело доходило до того, что скрипач даже и не пытался скры-

вать свое раздражение, — напротив: нарочно к чему-нибудь привязывался. Я несколько раз замечал, что, когда де Шарлю входил в вагон, где Чарли сидел со своими приятелями-военными, музыкант пожимал плечами и подмигивал им. Иногда он притворялся спящим, как притворяются люди при появлении того, кто наводит на них невыносимую скуку. Иногда начинал кашлять, а другие смеялись, передразнивали сюсюканье таких людей, как де Шарлю, отводили Чарли в уголок, а Чарли в конце концов нехотя возвращался к де Шарлю, сердце которого пронзали эти насмешки. Непонятно было, как он их терпел. И эти всякий раз новые мучения заставляли де Шарлю по-иному решать проблему счастья: не только проявлять большую требовательность, но и желать другого, так как предшествовавшую форму отменяло отвратительное воспоминание. Потом эти сцены стали мучительны, но вначале живший в Мореле дух французского простонародья заставлял его надевать на себя обвораживающую личину простоты, показной искренности, даже гордой независимости, будто бы внушенной бескорыстием. Все это было со стороны Мореля сплошное притворство, но для него выгодное: кто любит, тот все время должен

что-то изобретать, набивать себе цену, а кто не любит, тому легче — ему надо идти по прямой, никуда не сворачивающей, красиво прочерченной прямой линии. Эта линия, как некая расовая особенность, была видна на открытом лице Мореля, человека с закрытой душой, на лице, ласкавшем взор тем новогреческим изяществом, что украшает базилики в Шампани. Несмотря на свою наигранную надменность, при неожиданном появлении барона Морелю часто становилось стыдно перед кланчиком, он краснел, опускал глаза, а барон приходил в восторг: для него это был настоящий роман. На самом же деле Морель так выражал свое раздражение и чувство стыда. Иной раз ой не скрывал раздражения; он изо всех сил старался держать себя спокойно и чинно, но спокойствие нередко изменяло ему. Иной раз на какую-нибудь фразу барона он отвечал дерзостью, отвечал грубым тоном, и это коробило все общество. Де Шарлю молча, грустно поникал головой, а затем, как отец, боготворящий своих детей и надеющийся, что никто не замечает их холодности и грубости, снова начинал восхвалять скрипача. Де Шарлю, однако, не всегда был таким кротким, но его бунты обычно не достигали цели, главным образом потому, что,

стремясь вызвать определенную реакцию, он, выросший в высшем обществе, рассчитывал на душевную низость, если не врожденную, то, во всяком случае, развившуюся вследствие определенного воспитания. Но Морель отвечал на его вспышки слабыми, мимолетными проявлениями какого-то плебейского безразличия. К несчастью для себя, де Шарлю не понимал, что в сознании Мореля все отступало на задний план перед консерваторией (и перед его хорошей репутацией в консерватории, но этот вопрос, который станет очень важным впоследствии, в данное время еще не имел существенного значения). Буржуа с легкостью меняют свою фамилию из тщеславных побуждений, важные господа — из выгоды. Для молодого скрипача фамилия Мореля была неразрывно связана с дипломом первой степени по классу скрипки, — значит, в противоположность господам, ему ни под каким видом нельзя было менять ее. Барону хотелось, чтобы Морель был всем обязан ему, даже фамилией. Узнав, что имя Мореля — Шарль, звучащее почти так же, как Шарлю, и что имение, где они встречались, называется Шарм, он попытался убедить Мореля, что красивая, удобная для произношения фамилия — это уже половина славы артиста, а потому вир-

туозу надлежит без колебаний переменить свою фамилию на Шармель, в которой таится намек на место их свиданий. Морель пожал плечами. Барону пришла в голову злосчастная мысль: как последний аргумент, сообщить, что у него был камердинер с такой же фамилией. Этим он только взбесил молодого человека. «В былое время мои предки считали за честь быть камердинером или метрдотелем у короля». — «А мои предки в былое время рубили головы вашим», — гордо ответил Морель. Де Шарлю пришел бы в изумление от одной мысли, что, раз уж ничего не вышло с «Шармелем», он согласился бы усыновить Мореля и наградить его одним из титулов рода Германтов, на какой он имел права, — хотя, как это мы увидим в дальнейшем, обстоятельства не позволили ему обратиться с таким предложением к скрипачу, а скрипач отказался бы ради своей славы музыканта, связанной с фамилией Мореля и во избежание толков об этом в «классе». Настолько выше Сен-Жерменского предместья была в его глазах улица Бержер! Пока что де Шарлю довольствовался тем, что заказывал для Мореля перстни с символической инкрустацией, содержавшей в себе древний призыв: Plus vetra

Karol's.[361] Разумеется, имея дело с противником, принадлежавшим к неведомой для него породе, барон должен был бы изменить тактику. Но многие ли оказались бы на это способны? Впрочем, допускал промахи не только де Шарлю, но и Морель. В еще большей степени, чем то обстоятельство, которое привело их к разрыву, Мореля — по крайней мере время от времени (хотя потом это «время от времени» стало окончательным) — роняла в глазах де Шарлю душевная низость, вследствие которой Морель унижался, если с ним бывали грубы, и отвечал дерзостью на ласку. Врожденная низость сосуществовала в Мореле с неврастеничностью и невоспитанностью, и эти свойства, пробуждавшиеся в нем во всех случаях, когда он был виноват или становился в тягость, являлись причиной того, что, когда от него требовались особая приветливость, особая ласковость, особая веселость, которые могли бы обезоружить барона, он делался мрачным, задиристым, нарывался на споры, зная заведомо, что с ним не согласятся, упорно стоял на своем,

[361] Примечания: 361

PlusvetraKarol's — Вперед, за Карлом (старофр.). Переиначенный девиз Карла V, заимствованный Прустом в уже упоминавшемся «Новом гербовнике для библиофила» Гигара; в оригинале: «Plus Ultra Carol' Quint» (I, 67).

приводя слабые доводы, но приводя их с такой оскорбительной грубостью, которая только подчеркивала их слабость. Доводы у него очень быстро иссякали, а он придумывал все новые и новые, и в них развертывались во всю ширину его невежество и глупость. Они чуть просвечивали, когда он бывал любезен и старался очаровать. Напротив, они заслоняли все остальное, когда он мрачнел, — в такие минуты они становились уже не безобидными, но отталкивающими. Де Шарлю чувствовал себя тогда пришибленным и возлагал надежды на лучшее будущее, а Морель, забывая о том, что вести роскошную жизнь он мог только благодаря барону, распускал по лицу улыбку, в которой насмешка была смешана со снисходительной жалостью, и говорил: «Я никому ничем не обязан. Нет такого человека, которому мне было бы за что сказать спасибо».

А пока, стараясь обходиться с Морелем, как со светским человеком, де Шарлю продолжал воздействовать на него порывами гнева, иногда непритворными, иногда деланными, но уже бесполезными. Впрочем, вскипал барон не всегда. Однажды (вскоре после первого периода их отношений), когда он вместе с Чарли и со мной возвращался из Ла-Распельер после завтрака у

Вердюренов, мечтая провести этот день и вечер со скрипачом в Донсьере, Морель сказал ему на прощанье при выходе из вагона: «Нет, я занят», чем так расстроил де Шарлю, что хотя тот и силился не показать вида, а все-таки на его подкрашенных ресницах повисли слезы, и он как вкопанный простоял некоторое время около вагона. Он так страдал, что, хотя мы с Альбертиной собирались побыть до вечера вместе в Донсьере, я шепнул ей, что мне жаль оставлять де Шарлю одного, так как что-то, по-видимому, его огорчило. Добрая девушка охотно пошла мне навстречу. Я спросил де Шарлю, нельзя ли мне немножко проводить его. Он согласился, но ему не хотелось утомлять мою приятельницу. Я испытал приятное чувство (тогда мне казалось — напоследок, так как я решил порвать с ней), оттого что мог ласково приказать ей, как жене: «Иди домой, я зайду к тебе вечером», и услышать в ответ, что она, как супруга, разрешает мне исполнить мое желание и одобряет мое намерение остаться с де Шарлю — а она его очень любила, — если он нуждается в моем обществе. Мы с бароном направились — он — впереди, покачивая свое грузное тело, с опущенными по-иезуитски глазами, а я — следом за ним — к пивной, и в пивной нам подали пиво.

Я видел, что в глазах де Шарлю мелькает какая-то беспокойная мысль. Вдруг он попросил бумаги и чернил и начал удивительно быстро писать. Пока он исписывал страницу за страницей, в его глазах сверкали искры гневного раздумья. Исписав восемь страниц, он обратился ко мне: «Можно попросить вас о большом одолжении? Простите, что я запечатываю письмо. Но так надо. Для скорости наймите экипаж или, если можно, автомобиль. Наверно, вы еще застанете Мореля у него в комнате — он там переодевается. Бедняга! Он хорохорился при прощании с нами, но можете быть уверены, что ему еще тяжелее, чем мне. Передайте ему письмо, а если он спросит, где вы меня видели, то скажите, что остановились в Донсьере (кстати сказать, это истинная правда), чтобы увидеться с Робером (такого намерения у вас, по-видимому, не было), что вы встретили меня с каким-то неизвестным, что у меня был очень свирепый вид и что до вас донеслось слово „секунданты“. (Я действительно завтра дерусь на дуэли.) Главное, не говорите ему, что я его зову, не пытайтесь привезти его, но если он сам захочет приехать с вами, то не препятствуйте ему. Поезжайте, дитя мое, это для его же блага, вы можете предотвратить большое несчастье. В

ваше отсутствие я напишу моим секундантам. Я помешал вашей прогулке с приятельницей. Надеюсь, что она на меня не сердится, я даже в этом уверен. Она — благородная девушка, она не дрогнет перед лицом грозных событий. Поблагодарите ее от моего имени. Я признателен ей лично, и мне приятно быть ей признательным». Я очень жалел де Шарлю; мне казалось, что у Чарли есть возможность предотвратить дуэль, тем более что виновник дуэли, скорей всего, он, а если он действительно ее виновник — думал я о нем с возмущением, — то как он мог так равнодушно бросить своего покровителя, вместо того чтобы остаться с ним? Мое негодование еще усилилось, когда, подъезжая к дому, где жил Морель, я узнал голос скрипача, — ему, должно быть, хотелось излить переполнявшую его радость жизни, и он весело напевал: «В субботу вечером, обстряпав дельце…» Если бы бедный де Шарлю его слышал — он, желавший, чтобы ему поверили другие, и веривший, конечно, сам, что Морелю сейчас тяжело! При виде меня Чарли начал приплясывать от удовольствия. «А, старина! (Простите, что я вас так называю, — скверная солдатская привычка.) Вот молодец, что приехали! А я не знал, как убить вечер. Давайте проведем его вместе! Если вам

угодно, можно остаться здесь, можно покататься на лодке, если вам это больше улыбается, а хотите, я вам сыграю — мне все равно». Я сказал, что ужинаю в Бальбеке; Морелю очень хотелось, чтобы я его пригласил, однако я воздержался. «Но если вы так торопитесь, зачем же вы приехали?» — «Я привез вам письмо от барона де Шарлю». Всю веселость Мореля как сдунуло; лицо у него перекосилось. «Да что же это, он и тут не дает мне покоя? Выходит, я его раб? Старина, будьте так любезны! Я не распечатаю письма. Скажите, что вы меня не застали». — «А не лучше ли распечатать? По-моему, там что-то важное». — «Да ничего там важного нет! Что, вы не знаете, как умеет лгать, как дьявольски хитер этот старый греховодник? Это он, чтобы меня залучить. А я вот возьму да и не поеду — сегодня мне хочется отдохнуть». — «А разве завтра не будет дуэли?» — спросил я: я предполагал, что Морелю тоже все известно. «Дуэли? — остолбенев, переспросил он. — Я ничего не знаю. А, в конце концов, мне наплевать, пусть этот отвратный старикашка ухлопает себя, если ему так нравится. Однако вы меня заинтриговали — я все-таки вскрою письмо. А ему скажите, что кому-то оставили его для передачи мне». Пока Морель вел со

мной беседу, я окидывал изумленным взглядом валявшиеся в комнате замечательные книги, которые подарил ему де Шарлю. Когда скрипач отказался от книг, на которых было оттиснуто: «Я принадлежу барону...» и т. д., — он считал, что этот девиз, как знак чужой собственности, для него оскорбителен, — барон с сентиментальной изобретательностью, в которой его несчастная любовь искала себе удовлетворения, стал заменять этот девиз другими, тоже восходившими к его предкам, и заказывал переплетчику оттиснуть их в зависимости от того, как протекала его печальная дружба с Морелем. Иные были кратки и доверчивы, как, например: Spes mea.[362] или Exspectata non eludet[363] Иные выражали только смирение: «Я буду ждать».[364] Иные были любов-

[362] Примечания: 362

Spesmea — Моя надежда (лат.). Неполная цитата из девиза Генриха III: «Spes mea Deus» («Бог — моя надежда»).

[363] Примечания: 363

Expectata non eludet — Не обманет ожиданий (лат.) Девиз Маргариты де Валуа, первой жены Генриха IV.

[364] Примечания: 364

«Я буду ждать» — девиз герцога Омальского. *Mesmesplaisirdumestre* — девиз вымышлен Прустом, так как в использованной им книге он не значится.

ного содержания: Mesmes plaisir du mestre.[365] или проповедовали целомудрие, как, например, заимствованный у Симианов, но только переосмысленный девиз, украшенный голубыми башнями и лилиями: Sustentant lilia turres[366] Наконец, были и полные отчаяния, назначавшие свидание в небесах тому, кто отверг его на земле: Manet ultima caelo,[367] а еще де Шарлю, считавший, что если он не в силах дотянуться до винограда, то, значит, он незрелый, и притворявшийся, что он и не стремился к тому, чего не мог достичь, выбрал такой: Non mortale quod opto.[368] Все девизы я не успел рассмотреть. Когда барон писал это письмо, то казалось, что некий демон заставлял его перо скользить по бумаге, но и Морель, едва успев разломать печать Atavis

---

[365] Примечания: 365

Mesmesplaisirdumestre — И господин находит в этом утеху (старофр.) Девиз вымышлен Прустом, так как в использованной им книге он не значится.

[366] Примечания: 366

Sustentantliliaturres — Башни, увенчанные лилиями (лат.) Девиз де Симьянов; Полин де Симьян — внучка г-жи де Севинье, автор «Писем», опубликованных в 1773 г. Впоследствии ее «Письма» входили в большинство изданий «Писем» ее бабушки.

[367] Примечания: 367

Manet ultima caelo — Конец ожидает нас на небе (лат.). Девиз Генриха III.

[368] Примечания: 368

Nonmortalequodopto — То, чего я желаю, не смертно (лат.). Девиз Карла

Лотарингского.

et armis:[369] с леопардом и двумя алыми розами, принялся читать письмо с такой же горячностью, с какой писал его де Шарлю, и его глаза бегали по исписанным вкривь и вкось страницам так же быстро, как перо барона. «Господи! — воскликнул Морель. — Этого только не хватало! Где же его найти? Бог его знает, где он теперь». Я ввернул, что если не мешкать, то, пожалуй, можно еще застать его в пивной, где он, чтобы прийти в себя, велел принести ему пива. «Я не знаю, когда вернусь, — сказал прислуге Морель и добавил in petto[370] — Все будет зависеть от обстоятельств». Несколько минут спустя мы подъехали к пивной. Я обратил внимание на то, каким взглядом посмотрел на меня де Шарлю. Убедившись, что я приехал не один, он стал свободно дышать, он ожил — это я почувствовал сразу. В этот вечер он не мог жить без Мореля — вот почему он придумал, будто бы до него дошло, что два офицера сплетничали о нем и о скрипаче и будто бы он решил направить к ним секундантов. Морель, вообразив, какой будет скандал, вообразив, что

[369] Примечания: 369

Atavisetarmis — Предкам и оружию (лат.). Девиз маркиза д'Анжвилье и Даниэля де Монтескью, одного из предков Робера де Монтескью.

[370] Примечания: 370

Обращаясь к самлму себе (лат.).

после этого ему нельзя будет оставаться в полку, примчался. И, в общем, он поступил правильно! Де Шарлю для большего правдоподобия уже успел написать двум своим знакомым (один из которых был Котар) и обратился к ним с просьбой быть его секундантами. И если бы скрипач не приехал, то такой безумец, как де Шарлю (сам себя распалив), возможно, послал бы вызов наугад первому попавшемуся офицеру, с кем ему удобнее было драться. Однако, вспомнив, что он принадлежит к более древнему роду, чем французские короли, он начал убеждать себя, что не стоит портить кровь из-за сына метрдотеля, а ведь хозяина этого метрдотеля он вряд ли удостоил бы своим посещением. Правда, ему нравилось водить компанию со всяким сбродом, но укоренившаяся привычка сброда не отвечать на письма, не являться на свидания, предварительно не предупредив, а потом даже не извиниться приводила его, когда дело касалось любовных похождений, в такое волнение, а во всех других случаях причиняла ему столько неприятностей, хлопот, так бесила его, что иногда он начинал жалеть об уйме писем по всякому поводу от послов и принцев и об их необыкновенной пунктуальности, — к несчастью для себя, он оставался к ним безразличен, но они все же до

известной степени успокаивали его. Привыкнув к замашкам Мореля, сознавая, что он не имеет над ним почти никакой власти, сознавая, что он не способен врасти в жизнь, какую вели люди, связанные давними узами дружбы с такими же пошляками, как они сами, отнимавшей у них слишком много времени и места, так что они не могли уделить и часа остававшемуся за бортом гордому вельможе, который тщетно их об этом просил, де Шарлю проникся уверенностью, что музыкант не приедет, боялся, что слишком далеко зашел и что теперь ему придется порвать с ним всякие отношения, так что, увидев его, он чуть было не вскрикнул. Чувствуя себя победителем, он решил продиктовать условия, на каких он был намерен заключить выгодный для него мир. «Зачем вы сюда явились? — спросил он Мореля. — А вы? — обратился он ко мне. — Я же вас просил не привозить его ни в коем случае». — «Да он и не хотел брать меня с собой, — сказал Морель, уверенный в своей неотразимости, с наивным кокетством устремив на барона наигранно-грустный и старомодно-томный взгляд, выражавший желание обнять барона и поплакать у него на груди. — Я приехал по доброй воле, против его желания. Я приехал для того, чтобы во имя нашей

дружбы коленопреклоненно умолять вас не совершать этот безрассудный поступок». Де Шарлю ликовал. Нервы его могли не выдержать, и все-таки он не утратил самообладания. «Наша дружба, к которой вы совсем некстати сейчас воззвали, — сухо начал он, — должна была бы, наоборот, подсказать вам, что вы обязаны поддержать меня сейчас, когда я твердо решил не спускать болвану, распространяющему обо мне всякие пакости. Впрочем, если бы даже я и счел нужным внять мольбам человека, когда-то, помнится, питавшего ко мне более сильную привязанность, отступить я уже не могу: письма к секундантам я отправил, в их согласии я не сомневаюсь. Вы всегда вели себя со мной по-дурацки: вместо того чтобы с полным основанием гордиться тем предпочтением, какое я вам оказывал, вместо того чтобы втолковать всей этой ораве фельдфебелей и денщиков, среди которых вас вынуждает жить военная служба, что дружба со мной — это для вас ни с чем не сравнимое счастье, вы пытаетесь передо мной оправдываться, вы чуть что не ставите себе в какую-то идиотскую заслугу то, что не испытываете ко мне особой благодарности. Я знаю, — продолжал барон, не желавший подчеркивать, как оскорбляли его некоторые сце-

ны, — тут ваша вина состоит лишь вот в чем: вы подпали под влияние завистников. Но как вам не стыдно в вашем возрасте быть таким несмышленышем (и вдобавок дурно воспитанным), чтобы не догадаться сразу же, что мой выбор, павший на вас, и те преимущества, которые с этим связаны, должны были неминуемо вызвать зависть, что ваши товарищи, стараясь нас с вами рассорить, действовали в этом направлении, чтобы занять ваше место? Я не считал нужным ставить вас в известность о письмах, которые я получал в связи с этим от тех, кому вы больше всего доверяли. Я презираю заискиванье этой челяди, равно как презираю и ее не попадающие в цель насмешечки. Единственно, о ком я заботился, были вы, потому что я вас очень люблю, но всякая привязанность имеет свои пределы, и вам это должно было быть известно». Как ни тяжело было Морелю услышать слово «челядь», но именно потому, что его отец был челядинцем, объяснению всех проявлений классовой вражды «завистью», объяснению упрощенному и нелепому, но все еще не утратившему своей силы, объяснению, по-прежнему являющемуся ловкой приманкой, на которую «клюют» в определенной социальной среде, так же как «клюют» зрители на старые

трючки актеров, как «клюют» на малейшую угрозу клерикальной опасности во всяких собраниях, Морель верил не менее слепо, чем Франсуаза или прислуга Германтов, которые видели в зависти причину всех бедствий, постигающих человечество. Морель ни на секунду не усомнился, что товарищи хотят его спихнуть, и чувствовал себя вдвойне несчастным при мысли об этой выдуманной, но в его представлении злополучной дуэли. «Вот беда-то! — воскликнул Чарли. — Я этого не переживу. А разве секунданты не увидят вас до встречи с офицером?» — «Не знаю, думаю, что да. Одному из них я просил передать, что пробуду здесь весь вечер и что я должен дать ему необходимые указания». — «Я уверен, что разговор с ним вас образумит; только позвольте мне остаться с вами», — умоляюще проговорил Морель. Барону только это и было нужно. Но он сдался не сразу. «Вы бы ошиблись, если бы подумали, что сюда подходит пословица: „Кого люблю, того и бью“, — я вас очень люблю, но и после нашей ссоры я собираюсь наказать не вас, а тех, кто хотел предательски всадить вам нож в спину. До сих пор на их недоуменные, каверзные, наглые вопросы, как это такой человек, как я, может дружить с таким фруктом, с таким выскочкой,

как вы, я отвечал девизом моих родственников Ларошфуко: „В этом моя отрада“. Я столько раз вам говорил, что эта отрада может стать для меня наивысшей отрадой и что ваше невольное возвышение унизить меня не должно!» Дойдя в своей гордыне почти до исступления, он, воздев руки, воскликнул: «Tantus ab uno splendor![371] Снисходить еще не значит нисходить, — продолжал он, несколько остыв после овладевшего им порыва горделивой радости. — Я надеюсь, что в жилах у обоих моих противников, хотя я им и не ровня, все же течет такая кровь, которую мне не стыдно будет пролить. Я тайком собрал уже о них сведения, и они меня успокоили. Если бы у вас еще оставалось ко мне хоть какое-то чувство признательности, вы должны были бы гордиться, что благодаря вам во мне оживает воинственный дух моих предков и что я, поняв, какой вы глупыш, повторяю, как и они, на случай рокового исхода: „Смерть для меня есть жизнь“[372]». Де Шарлю говорил это вполне искренне, и не

[371] Примечания: 371

Tantusabunosplendor! — Такой блеск от одного! (лат). Девиз Луизы Лотарингской.

[372] Примечания: 372

«Смерть для меня есть жизнь» — переиначенное восклицание Франциска I: «Другому смерть, мне жизнь».

только из любви к Морелю, но еще и оттого, что воинственность, которую он, как ему в душевной его простоте казалось, унаследовал от предков, переполняла его ликованием при мысли, что ему предстоит драться, и теперь он пожалел бы, что не состоится дуэль, которую он сперва придумал только для того, чтобы приманить Мореля. Перед каждым поединком он вдруг ощущал в себе доблесть, он находил в себе сходство со знаменитым коннетаблем Германтом, а между тем, если бросал перчатку кто-нибудь другой, это не вызывало в нем ни малейшего сочувствия. «По-моему, это прекрасно! — растягивая слова, с непритворным восхищением говорил он. — Сара Бернар в „Орленке“[373] — дерьмо. Муне-Сюлли[374] в „Эдипе“ — дерьмо. Пожалуй, только когда он играет „На аренах Нима“, в его игре заметна слабая попытка перевоплощения. Но что все это в сравнении с невиданным зрелищем — с единоборством настоящего потомка коннетабля!» И тут де Шарлю, обезумев от восторга, начал делать такие выпады

[373] Примечания: 373

«Орленок» (1900) — драма Эдмона Ростана, главную (мужскую) роль в которой с огромным успехом сыграла Сара Бернар.

[374] Примечания: 374

Муне-Сюлли, Жан (1841–1916) — французский актер, член труппы «Театр-Франсе», исполнитель главных ролей в пьесах классического репертуара (Гамлет, Орест, Эдип).

— точь-в-точь как у Мольера, — что мы с Морелем из осторожности придвинули к себе пивные кружки и начали опасаться, как бы, едва лишь скрестятся шпаги, не были ранены не только противники, но и врач и секунданты. «Какой сюжет для художника! Вы знакомы с господином Эльстиром, — обратился он ко мне, — вот бы вам пригласить его!» Я ответил, что он сейчас не живет у моря. Де Шарлю подал мысль, что его можно вызвать телеграммой. «Я ведь это ради него, — заметив, что я отмалчиваюсь, пояснил он. — Для мастера не может не представлять интереса — а на мой взгляд, он настоящий мастер — запечатлеть на полотне пример этнического возрождения. Ведь это случается раз в сто лет».

Де Шарлю упивался мыслью о поединке, который поначалу был только плодом его воображения, но Морель с ужасом думал о том, что сплетня, порожденная шумом вокруг дуэли, из полкового оркестра доползет до храма на улице Бержер. Живо представив себе, как об этом заговорят в «классе», он заюлил вокруг де Шарлю, а тот, войдя в азарт, продолжал размахивать руками. Морель умолял барона позволить ему остаться с ним до послезавтра, до предполагаемого дня дуэли, — ему хотелось не терять его из

виду и попытаться урезонить. Такое заботливое предложение в конце концов сломило де Шарлю. Он сказал, что попробует найти какую-нибудь отговорку, что он отложит окончательное решение до послезавтра. Таким образом, не рубя сплеча, де Шарлю мог держать Чарли при себе по крайней мере два дня и воспользоваться этим, чтобы добиться от него обещаний на будущее время взамен на свой отказ от дуэли — от подвига, который, по словам барона, сам по себе доставлял ему наслаждение и отказаться от которого ему было бы жаль. И тут он был, надо сознаться, искренен — он действительно любил выходить на поединок, скрещивать свою шпагу со шпагой противника или обмениваться с ним пулями. Наконец прибыл Котар, хотя и с большим опозданием: дело в том, что, придя в восхищение оттого, что он будет секундантом, и в еще более сильное волнение, он вынужден был останавливаться по дороге около каждого кафе и около каждой фермы и справляться, где тут 00, или «известное место». Как только он явился, барон увел его в отдельный кабинет: по его словам, правила дуэли требовали, чтобы мы с Чарли не присутствовали при их встрече, а насчет того, чтобы временно придать любой комнате значение тронного зала

или зала заседаний, де Шарлю был мастак. Оставшись наедине с Котаром, он горячо поблагодарил его, но сказал, что, по-видимому, сплетня не была пущена и, ввиду этого, он очень, мол, просит доктора известить второго секунданта, что, если не произойдет каких-либо непредвиденных осложнений, инцидент считается исчерпанным. Узнав, что опасность миновала, Котар испытал минутное разочарование. Он чуть было не выразил своего возмущения, однако тут же вспомнил, что один из его учителей, сделавший в свое время блестящую карьеру в области медицины, в первый раз, недобрав всего лишь двух голосов, провалился на выборах в академики, но не показал виду, что расстроен, и подошел пожать руку избранному конкуренту. Вот почему доктор решил не выражать неудовольствия, тем более что его протест все равно ничего не изменил бы, но, хотя он и был первейшим трусом, все-таки проворчал, что есть вещи, которые нельзя спускать, однако добавил, что все к лучшему, что такое решение его радует. Де Шарлю, желая выразить доктору свою признательность, так же как выразил бы признательность моему отцу его брат, герцог, поправил бы воротник на его пальто, или, скорее, как герцогиня, в знак благодарности об-

нявшая бы простолюдинку за талию, придвинул свой стул вплотную к стулу доктора, пересиливая отвращение, которое тот ему внушал. И, не только не испытывая физического наслаждения, но, подобно Германту, преодолевая гадливое чувство, а не как человек извращенный, он, закончив разговор с доктором, ласково провел ладонью по его руке, будто добрый хозяин, который дает лошади сахар и похлопывает ее по морде. А Котар, ни разу не дав понять барону, что до него дошли темные слухи об его дурных наклонностях, в глубине души все-таки считая, что барон принадлежит к разряду людей «анормальных» (Котар вообще– выражался неточно, он самым серьезным тоном спрашивал о лакее Вердюрена: «А он не любовница барона?»), людей, которых он знал плохо, вообразил, что эта ласка — прелюдия к решительным действием, ради чего барон под предлогом дуэли и заманил его в сети, уведя в отдельный кабинет, где барон мог применить силу. Не смея встать со стула, к которому его пригвоздил страх, он в ужасе таращил глаза, словно попал в руки дикаря и — кто его знает? — может быть, людоеда. Наконец де Шарлю отпустил его руку и, желая быть любезным до конца, спросил: «Вы не откажетесь выпить с нами, как говорится,

чего-нибудь этакого? Раньше это называлось мазагран или глорией, а теперь эти напитки, как некая археологическая редкость, встречаются только в пьесах Лабиша и в донсьерских кафе. Глория подходит к обстановке, не правда ли? Да и к обстоятельствам, как по-вашему?» — «Я председатель общества по борьбе с алкоголизмом, — возразил Котар. — Если нас увидит любой провинциальный коновал, то все потом станут говорить, что я подаю дурной пример. Os homini sublime dedit coelumque tueri[375]», — добавил он без всякой видимой связи, только потому, что у него был довольно скудный запас латинских изречений, вполне достаточный, однако, чтобы ошарашивать учеников. Пожав плечами, де Шарлю привел Котара к нам, предварительно взяв с него слово сохранить все это в тайне, что было для него особенно важно, так как повод для несостоявшейся дуэли был им от начала до конца придуман — этот повод не должен был дойти до ни в чем не повинного офицера, на которого пал выбор де Шарлю. Когда мы вчетвером выпивали, вошла поджидавшая мужа у входа г-жа Котар, которую де Шарлю прекрасно видел, но не поду-

[375] Примечания: 375

Oshominisublime... — Речь позволила человеку устремлять взор в небо (лат.). Цитата из «Метаморфоз» Овидия (I, 85).

мал пригласить, и поздоровалась с бароном, а тот протянул ей руку, как горничной, не вставая со стула и изображая из себя не то короля, которому оказывают почести, не то сноба, не желающего, чтобы за его столик села не очень элегантная женщина, не то эгоиста, которому хочется побыть в тесной дружеской компании и который боится, что малознакомый человек испортит ему настроение. Итак, г-жа Котар стоя разговаривала с де Шарлю и со своим мужем. Но то ли оттого, что учтивость и «обходительность» не являются исключительным правом Германтов, оттого, что они способны озарять и направлять самые нерешительные умы, то ли оттого, что Котар, часто изменяя жене, порой испытывал потребность, в виде «отступного», защитить ее от тех, кто был с ней невежлив, но только доктор впервые при мне вдруг сдвинул брови и, не спрашивая позволения у де Шарлю, сказал ей, как хозяин: «Что ж ты стоишь, Леонтина? Садись!» — «А я вам не помешаю?» — робко спросила г-жа Котар де Шарлю, но тот, изумленный тоном доктора, ничего не ответил. А Котар, не дав ему опомниться, еще раз повелительно проговорил: «Я же тебе сказал: „Садись“!»

Немного погодя г-н и г-жа Котар ушли, и тогда

де Шарлю обратился к Морелю: «Из всей этой истории, закончившейся лучше, чем вы того заслуживаете, я сделал вывод, что вы не умеете себя вести, и по окончании вашей военной службы я сам доставлю вас к вашему отцу, как поступил архангел Рафаил, посланный Богом к юному Товии[376]». И тут барон покровительственно и радостно улыбнулся, однако у Мореля вид был далеко не радостный, так как мысль, что домой отвезет его де Шарлю, была ему не по душе. Придя в восторг от сравнения себя с архангелом, а Мореля — с сыном Товита, де Шарлю забыл, что сказал эту фразу для того, чтобы прозондировать почву: согласится ли Морель уехать с ним в Париж, о чем он мечтал. Упоенный любовью, а может быть, самолюбием, барон не заметил — или притворился, что не заметил, — гримасы скрипача; оставив его одного в пивной, он сказал мне с горделивой улыбкой: «Вы обратили внимание, как он возликовал, когда я сравнил его с сыном Товита? Он очень умен и сразу смекнул, что отец, с которым он теперь будет жить, не

---

[376] Примечания: 376

…как поступил архангел Рафаил, посланный Богом к юному Товии. — Согласно библейскому преданию, архангел Рафаил вызвался сопровождать Товию, сына ослепшего и обнищавшего Товита, в Раги Мидийские, и, вернувшись вместе с юношей домой, излечил слепоту его отца (Тов. 11,1-12).

его родной отец, — наверно, противный усатый лакей, а его духовный отец, то есть я. Как он этим гордится! Как надменно откинул он голову! Как он обрадовался, когда понял, что его ждет! Я уверен, что теперь он каждый день будет говорить себе: „Господи! Тебе угодно было, чтобы блаженный архангел Рафаил охранял раба твоего Товию на всем его долгом пути, даруй же и нам, рабам твоим, великую милость — всегда быть под его покровом и прибегать к его помощи“. Мне не нужно было объяснять ему, — добавил барон, глубоко убежденный, что придет день, когда и он предстанет перед престолом Всевышнего, — что посланник небес — это я, он это и так понял и онемел от счастья!»

И, простившись со мной, де Шарлю (у которого счастье не отняло дара речи), не обращая внимания на редких прохожих, оглядывавшихся на него и думавших, что это сумасшедший, воздел руки к небу и крикнул во всю силу легких: «Аллилуйя!»

Это примирение утишило душевную муку де Шарлю ненадолго. Уехав на маневры так далеко, что де Шарлю был лишен возможности видеться с ним или пользоваться моим посредничеством, скрипач часто писал барону отчаянные и ласко-

вые письма, в которых уверял, что ему остается только покончить с собой, потому что нуждается для одного ужасного дела в двадцати пяти тысячах франков. Он не объяснял, что это за ужасное дело, потому что ему тогда пришлось бы что-нибудь придумать. Но дело было не в деньгах: де Шарлю охотно выслал бы их Морелю, если бы не сознавал, что с деньгами Чарли отлично может обойтись и без него и снискать благоволение кого-нибудь другого. Вот почему де Шарлю отказывал, и его телеграммы были сухи и резки, как его голос. Когда он не сомневался в том, как они подействуют на Мореля, ему хотелось порвать с ним: уверенный, что как раз, напротив, разрыва не произойдет, он ясно представлял себе все неприятности, какими грозила ему эта связь, от которой он не в силах был отделаться. А вот если Морель не отвечал, на него нападала бессонница, он не находил себе места от беспокойства — много есть на свете такого, чем мы живем, хотя и не имеем об этом понятия, и сколько существует подспудных, глубоко залегающих явлений, скрытых от нашего взора! Де Шарлю терялся в догадках, ломая себе голову над тем, какое невероятное событие потребовало от Мореля двадцати пяти тысяч франков; он рисовал

его себе по-разному, давал то то, то другое собственное имя. Я думаю, что в такие минуты (хотя снобизм тогда у него ослабевал, а его возраставший интерес к простонародью, во всяком случае, достигал такой же силы, а то и перевешивал) барон, по всей вероятности, с тоскливым чувством вспоминал разноцветные быстрокрылые вихри светских увеселений, где прелестные женщины и очаровательные мужчины искали его общества ради бескорыстного удовольствия, которое он им доставлял, где никто и не помышлял о том, чтобы «подставить ему ножку» или выдумать «ужасное дело», из-за которого, если сейчас же не достать двадцати пяти тысяч франков, придется покончить жизнь самоубийством. Я думаю, что тогда — пожалуй, потому, что он все-таки был большим комбрейцем, чем я, потому, что он привил своей немецкой напыщенности феодальную гордость, — он должен был прийти к заключению, что нельзя безнаказанно для себя покорить сердце слуги, что простонародье — совсем не то, что светское общество, и что, в общем, в противоположность мне, всегда доверявшему народу, он к народу «доверия не питает».

Следующая остановка дачного поезда — Менвиль — напомнила мне случай с Морелем и де

Шарлю. Прежде чем рассказать об этом случае, я должен заметить, что остановка в Менвиле (когда отвозили в Бальбек приехавшего издалека важного гостя, который, чтобы никого не стеснять, предпочитал не оставаться в Ла-Распельер) обычно была связана с менее тяжелыми сценами, чем та, о которой я скоро поведу речь. Приезжий, хотя у него был с собой только ручной багаж, все-таки обычно находил, что Гранд-отель — это далековато, но так как, не доезжая до Бальбека, можно было подыскать дачу неблагоустроенную, то он уже мирился с большим расстоянием ради роскоши и уюта, как вдруг перед ним, когда поезд останавливался в Менвиле, неожиданно вырастал Палас, о котором он никак не мог подумать, что это дом терпимости. «Ну, дальше ехать нет смысла, — неизменно говорил приезжий г-же Котар, славившейся своим практическим умом и полезными советами. — Это как раз то, что мне нужно. Зачем же ехать в Бальбек? Там, конечно, ничего более подходящего не подвернется. По одному только внешнему виду я уже могу судить, что найду здесь полный комфорт; сюда я вполне могу пригласить госпожу Вердюрен — я ведь в ответ на ее любезность собираюсь устроить в ее честь несколько вечеринок. Ей же сюда ближе,

чем в Бальбек. Я полагаю, что ей здесь понравится, так же как и вашей жене, дорогой профессор. Тут, наверно, есть салоны, куда можно будет приглашать наших дам. Между нами говоря, я не понимаю, почему госпожа Вердюрен поселилась не здесь, а сняла Ла-Распельер. Здесь гораздо здоровее, чем в старых домах вроде Ла-Распельер, непременно сырых, запущенных; там нет даже горячей воды, нельзя как следует вымыться. На мой взгляд, Менвиль несравненно приятнее. Госпожа Вердюрен отлично играла бы здесь роль Покровительницы. Ну да у всякого свой вкус, я остановлюсь здесь. Госпожа Котар! Поезд сейчас тронется, давайте поскорей выйдем. Поводите меня по этому дому — он скоро станет и вашим домом, а кроме того, вы, наверно, там часто бывали. Его как будто для вас строили». Величайших усилий стоило заставить несчастного приезжего замолчать, а главное — удержать его, так как он с тем упорством, с каким человек обычно держится за свои оплошности, стоял на своем, брал чемоданы и ничего не желал слушать, пока его не убеждали, что ни г-жа Вердюрен, ни г-жа Котар ни за что к нему сюда не приедут. «Во всяком случае, поселиться я хочу здесь. Госпожа Вердюрен может мне сюда писать».

С Морелем произошел случай из ряда вон выходящий. Бывали и другие, но я ограничусь, пока пригородный поезд останавливается, а кондуктор выкрикивает: «Донсьер», «Гратваст», «Менвиль» и т. д., записью того, что приводят мне на память взморье или гарнизон. Я уже упоминал о Менвиле (Media villa) и о том значении, какое он приобрел благодаря роскошному публичному дому, недавно здесь выстроенному, невзирая на безрезультатные протесты матерей семейств. Но, прежде чем пояснить, почему Менвиль связывается в моей памяти с Морелем и де Шарлю, я должен отметить несоответствие (дальше я буду говорить об этом подробнее) между той важностью, с какой Морель толковал о том, может ли он располагать собой в известные часы, и ничтожными занятиями, которым он будто бы посвящал это время; это же несоответствие наблюдалось и в объяснениях другого рода, какие он давал де Шарлю. В разговорах с бароном он строил из себя человека бескорыстного (строил без всякого риска, ибо щедрость его покровителя была ему хорошо известна), но, когда ему хотелось провести вечер на стороне под предлогом, что он должен дать кому-то урок, он, улыбаясь алчной улыбкой, неизменно прибавлял к этому предлогу

такие слова: «При всем при том я заработаю сорок франков. Это на полу не валяется. Позвольте мне уйти — вы же видите, что это в моих интересах. У вас есть рента, а у меня нет, мне нужно создавать себе положение, пора деньгу зашибать». На самом деле Морель жаждал давать уроки. Неверно, что все деньги одинаковы. Новый способ их зарабатывать придает блеск стертым от частого употребления монетам. Когда Морель действительно давал урок, то возможно, что два луидора, которые после урока протягивала ему ученица, производили на него другое впечатление, чем два луидора, которые он получал из рук де Шарлю. Первейший богач из-за двух луидоров готов отшагать несколько километров, но километры превращаются в целые мили, если это сын лакея. Однако у де Шарлю часто возникали сомнения в том, что Морель действительно дает уроки игры на скрипке, — сомнения тем более сильные, что музыкант часто придумывал иные предлоги, вполне бескорыстные с точки зрения материальной и притом нелепые. Морель не в силах был удержаться от того, чтобы, отчасти сознательно, отчасти бессознательно, напустить такого тумана, что в этом тумане можно было разглядеть только какие-то отдельные черты его жизни. Це-

лый месяц он предоставлял себя в распоряжение де Шарлю, но при условии, что по вечерам он будет совершенно свободен, так как намерен прослушать полный курс алгебры. Приезжать к де Шарлю после занятий? Это немыслимо — лекции кончаются иногда очень поздно. «Даже позднее двух часов ночи?» — спрашивал барон.

«Случается». — «Но алгебру можно усвоить по учебнику». — «Это даже еще легче, на лекциях я почти ничего не понимаю». — «А тогда в чем же дело? Да ведь и сама алгебра тебе не нужна». — «Мне это нравится. На лекциях мне становится веселей на душе». «Чтобы из-за алгебры отлучаться на ночь? Не может этого быть, — говорил себе де Шарлю. — Уж не связан ли он с полицией?» Как бы то ни было, Морель оставлял позднее время для себя — то будто бы ради алгебры, то будто бы ради уроков игры на скрипке. Но однажды он воспользовался своей свободой ни для того, ни для другого, а для принца Германтского — тот, приехав к морю на несколько дней погостить к герцогине Люксембургской, встретил незнакомого музыканта, который тоже его не знал, и предложил ему пятьдесят франков за то, чтобы провести вместе ночь в менвильском веселом доме; для Мореля в этом заключалось двойное

удовольствие поживиться на счет принца Германтского и потешить свое сладострастие среди женщин, без стеснения обнажавших смуглые груди. Я не знаю, каким образом де Шарлю узнал о происшедшем и о месте действия, вот только соблазнитель остался ему неизвестен. Обезумев от ревности, сгорая от нетерпения узнать, кто это, он телеграфировал Жюпьену — тот приехал через два дня, и, когда в начале следующей недели Морель заявил, что ему необходима отлучиться, барон обратился к Жюпьену с просьбой подкупить хозяйку заведения, чтобы она спрятала их с Жюпьеном, — это дало бы им возможность подсмотреть, как все будет происходить. «Ладно, я все устрою, симпомпончик», — сказал барону Жюпьен. Трудно себе представить, как это происшествие взволновало и на какое-то время обогатило внутренний мир де Шарлю. В иных случаях любовь производит в области мышления целые геологические сдвиги. В уме де Шарлю, еще так недавно похожем на столь однообразную равнину, что на ней, насколько хватало глаз, не означалось ни одной мысли, внезапно вырос гранитной прочности горный хребет, в котором каждая гора была изваяна таким образом, как будто ваятель, вместо того, чтобы унести мрамор

к себе в мастерскую, прямо здесь, на месте, высекал сплетения исполинов, титанов, имя которым — Ярость, Ревность, Любопытство, Зависть, Ненависть, Страдание, Гордость, Ужас, Любовь. Но вот настал вечер, когда Морель должен был отлучиться. Жюпьен выполнил свою миссию. Ему и де Шарлю было назначено прийти к одиннадцати часам вечера, их обещали спрятать. До этого великолепного дома терпимости (куда съезжались со всех ближайших дорогих курортов) оставалось пройти еще три улицы, а де Шарлю уже шел на цыпочках, изменил голос, умолял Жюпьена говорить тише — так он боялся, что Морель услышит их из окна публичного дома. Прокравшись в вестибюль, де Шарлю, для которого подобного рода заведения были в диковинку, к своему изумлению и ужасу удостоверился, что попал в более шумное место, чем биржа или аукцион. Напрасно убеждал он столпившихся вокруг него горничных говорить тише, их голоса и так заглушались выкриками и возгласами старой «экономки» в слишком черном парике, на лице у которой в каждой складке морщин залегала важность нотариуса или испанского священника и которая поминутно громовым голосом, как бы управляя уличным движением, приказывала то

затворить, то отворить дверь. «Проводите этого господина в двадцать восьмой, в испанскую комнату». — «Сейчас туда нельзя». — «Отворите дверь, эти господа спрашивают мадемуазель Ноэми. Она ожидает их в персидском салоне». Де Шарлю струсил, как провинциал, переходящий улицу; а если воспользоваться сравнением гораздо менее кощунственным, чем с изображениями на капителях у входа в старинную церковь в, Куливиле, то можно уподобить голоса горничных, все время, но только тише повторявших распоряжения экономки, голосам учеников, в гулкой сельской церкви монотонно долбящих катехизис. Де Шарлю сперва до того оробел, что даже на улице опасался, как бы его не услыхал Морель, стоявший у окна, в чем барон был совершенно уверен, а здесь, среди воя на этих бесконечных лестницах, в котором находившиеся в комнатах ничего не могли различить, ему было уже не так страшно. И вот его мучениям пришел конец: он встретился с мадемуазель Ноэми, и та обещала спрятать его и Жюпьена, но сначала заперла их в роскошнейшем персидском салоне, откуда ничего не было видно. Она сказала, что Морель спросил оранжаду и что, как только ему подадут, обоих пришельцев проведут в салон с

прозрачными стенками. Ее уже потребовали, и она, как в сказке, пообещала им, что пришлет «умную дамочку» и что та ими займется. А ее уже вызвали. На «умной дамочке» был персидский халат, и она хотела было сбросить его. Де Шарлю попросил ее не беспокоиться, тогда она распорядилась подать сюда шампанского — сорок франков бутылка. В это время Морель был уже с принцем Германтским, но притворился, что по ошибке попал не в ту комнату — туда, где находились две женщины, и эти две женщины поспешили оставить двух мужчин наедине. Де Шарлю ничего об этом не знал, но он бранился, порывался настежь растворить все двери, послал за мадемуазель Ноэми, а та, услышав, что «умная дамочка» дает барону сведения о Мореле, не совпадающие с теми, какие она давала Жюпьену, выставила ее и вскоре прислала вместо «умной дамочки» «милую дамочку» — та ничего не могла сообщить о Мореле, но зато рассказала, на какую широкую ногу поставлен этот дом, и тоже велела принести шампанского. Барон с пеной у рта опять вызвал мадемуазель Ноэми, но та сказала: «Да, дело немножко затягивается, дамы принимают соответствующие позы, но он как будто ничего с ними не собирается делать». Наконец посулы

и угрозы барона подействовали на мадемуазель Ноэми, и она пообещала, что им остается ждать не больше пяти минут, а затем с сердитым видом ушла. Эти пять минут длились целый час, и только потом Ноэми украдкой подвела разъяренного барона и доведенного до отчаяния Жюпьена к полуприкрытой двери. «Здесь вам будет очень хорошо видно, — сказала она. — Впрочем, сейчас пока ничего особенно интересного нет, он с тремя дамами, рассказывает о своей жизни в полку». Наконец-то барон мог что-то разглядеть сквозь дверной проем и в зеркалах. И тут он невольно прислонился к стене — так силен был объявший его дикий ужас. Перед ним действительно был Морель, но, словно на него оказывали действие языческие чары и волхвования, то была скорее тень Мореля, мумия Мореля, не Морель, воскресший, как Лазарь, а некое подобие Мореля, призрак Мореля, Морель-привидение, дух Мореля, вызванный в эту комнату (где на стенах и на диванах — всюду видны были волшебные знаки), — таким Морель сидел в нескольких метрах от де Шарлю, повернувшись к нему в профиль. Как у покойника, у Мореля не было кровинки в лице; среди этих женщин, с которыми он должен был бы веселиться напропалую,

мертвенно-бледный, с окаменевшим лицом, он как-то странно-неподвижно сидел; чтобы выпить бокал шампанского, стоявший перед ним, он пытался до него дотянуться, но его рука бессильно повисала. В этом зрелище было что-то противоречивое, как в религии, утверждающей, что бессмертие есть, и в то же время не исключающей возможности небытия. Женщины засыпали его вопросами. «Ну вот видите, — шепотом сказала барону Ноэми, — они расспрашивают о его жизни в полку — забавно, не правда ли? — Ноэми засмеялась. — Вы удовлетворены? Он спокоен, не правда ли?» — спросила она так, как будто речь шла о мертвом. Женщины продолжали засыпать Мореля вопросами, но у безжизненного Мореля не было сил отвечать. Чудо обретения дара речи не совершалось. Де Шарлю уже не сомневался, он понял все: то ли Жюпьен допустил при переговорах оплошность, то ли тут действовала неудержимая сила, которая заключена в поверяемых тайнах и которая приводит к тому, что тайны никогда не сохраняются, то ли тут сыграла свою роль женская болтливость или страх перед полицией, но только Мореля, конечно, поставили в известность, что какие-то два господина очень дорого заплатили за то, чтобы

увидеть его, принца Германтского удалили, и он преобразился в трех женщин, а несчастного Мореля, обомлевшего от ужаса, посадили таким образом, что барону он был виден плохо, а ему, устрашенному, онемевшему, не решавшемуся взять бокал из боязни уронить его на пол, барон был виден весь до последней черточки.

Эта история кончилась плохо и для принца Германтского. Принца попросили уйти, чтобы его не увидел де Шарлю, и эта неудача привела его в бешенство, тем более что он никак не мог понять, кто ему напортил, и он умолил Мореля, так и не назвавшись, прийти к нему на свидание в маленькую виллу, которую он снял и в которой, несмотря на то что собирался пробыть там совсем недолго, одержимый манией, которую мы уже наблюдали у маркизы де Вильпаризи, всюду расставил для создания домашнего уюта разные семейные реликвии. И вот на другой день, поминутно оглядываясь, Морель, трепеща от одной мысли, что де Шарлю следует за ним по пятам, но так и не заметив ничего подозрительного, вошел в виллу. Слуга провел его в гостиную и сказал, что сейчас доложит своему господину (хозяин, из боязни вызвать подозрение, велел слуге не говорить гостю, что он принц Германтский).

Оставшись один, Морель хотел было посмотреть на себя в зеркало, хорошо ли взбит у него кок, и тут ему показалось, что он дошел до галлюцинации. Стоявшие на каминной полочке знакомые скрипачу фотографии принцессы Германтской, маркизы де Вильпаризи, герцогини Люксембургской, которые он видел у де Шарлю, превратили его в соляной столп. Поодаль стояла карточка самого де Шарлю. Барон, казалось, сосредоточил на Мореле пристальный, странный взгляд. Выйдя из оцепенения, обезумевший от страха Морель, уже не сомневаясь, что это западня, куда де Шарлю заманил его, чтобы испытать его верность, сполз на четвереньках с лестнички виллы и опрометью пустился бежать по дороге, так что, когда принц Германтский (заставивший прождать своего случайного знакомого, сколько полагалось, время от времени спрашивавший себя, соблюдены ли все предосторожности и достаточно ли надежен этот субъект) вошел в гостиную, там никого не было. Напрасно он, захватив револьвер, вдвоем со слугой, боясь грабежа, излазил весь маленький домик, все дальние углы сада, погреб — гость, в присутствии которого он был уверен, как в воду канул. В течение следующей недели он встречал его не раз. И всякий раз Морель, этот опасный

тип, улепетывал, словно для него принц был еще опаснее. Упорный в своих подозрениях, Морель так и не смог от них отделаться; он и в Париже при одном виде принца Германтского пускался наутек. Так от де Шарлю была отведена угроза измены, приводившая его в отчаяние, так судьба за него отомстила, хотя он на это не рассчитывал, а главное, не знал, каким образом.

Но вот воспоминания о том, что мне об этом рассказали, сменяются другими, потому что поезд ползет, как черепаха, все дальше и на следующих станциях выгружает одних пассажиров и забирает других.

В Гратвасте иногда входил Пьер де Виногре, граф де Креси (его называли только граф де Креси), потому что в Гратвасте жила его сестра и у нее проводил вторую половину дня этот хотя и оскудевший, но отличавшийся редкостным душевным благородством дворянин, с которым я познакомился у Говожо, хотя он был с ними не очень дружен. Он влачил такое жалкое, почти нищенское существование, с такой радостью отзывался на предложение выкурить сигару или «выпить рюмочку», что у меня вошло в привычку, когда я не мог встречаться с Альбертиной, приглашать его в Бальбек. Очень остроумный,

наделенный блестящим даром речи, совершенно седой, с прелестными голубыми глазами, он неохотно и крайне сдержанно говорил о роскоши барской жизни, какую он, по всей вероятности, когда-то вел, а равно и о родословных. Когда я спросил его, что выгравировано на его перстне, он ответил со скромной улыбкой: «Гроздь еще не созревшего винограда». И добавил с дегустаторским смаком: «Наш герб — гроздь несозревшего винограда — имеет символическое значение: ведь моя фамилия — Виногре; стебель и листья — зеленые». Но все же я думаю, что, если б я угостил его в Бальбеке только кислым вином, он бы огорчился. Он любил самые дорогие вина, — безусловно, оттого, что он терпел лишения, оттого, что он ясно сознавал всю свою обездоленность, оттого, что такой у него был вкус, а быть может, из-за своего пристрастия к вину. И когда я приглашал его поужинать в Бальбек, он выбирал меню со знанием дела, ел слишком много, а главное — слишком много пил, приказывая подавать одни вина, а другие — подержать во льду. Перед ужином и после ужина он называл год и номер портвейна или коньяка так же, как он назвал бы год учреждения маркизата, кроме него, мало кому известного.

Любимец Эме, я приводил его в восторг, когда устраивал изысканные эти ужины, и он кричал официантам: «Скорей накрывайте двадцать пятый столик!» — но только он говорил не «накрывайте», а «накройте мне», как будто заказывал столик для себя. Метрдотель изъясняется не совсем так, как изъясняются старшие официанты, просто официанты, посыльные и т. д., а потому после того, как я спрашивал счет, он говорил подававшему нам официанту, усмиряюще помахивая рукой, точно укрощая лошадь, которая вот-вот закусит удила: «Не лезьте нахально (со счетом), легче, как можно легче». Когда же официант направлялся с бумажкой в руке к нашему столику, Эме, боясь, что тот слишком точно выполнит его распоряжение, кричал вдогонку: «Погодите! Я сам подсчитаю». Когда же я просил его не беспокоиться, он возражал: «У меня такой принцип, — грубо выражаясь, не обжуливать посетителей». А директор, обратив внимание, что на моем госте всегда один и тот же скромный поношенный костюм (хотя только он один и мог бы, если бы это было ему по средствам, одеваться с таким шиком, как бальзаковский щеголь), ограничивался тем, что только ради меня издали осматривал, все ли в порядке и не надо ли что-

нибудь подложить под ножку столика, чтобы он не шатался. Ограничивался он этим не потому, чтобы не мог сам приняться за дело, — ведь начал он с того, что мыл в ресторанах посуду. Только исключительные обстоятельства вынудили его однажды разрезать индеек. Меня тогда не было в ресторане, по мне рассказывали, что проделывал он это с величием жреца, в окружении находившихся на почтительном расстоянии от стойки официантов, которым хотелось не столько поучиться у него, сколько быть у него на виду, и лица которых расплывались в восторженной, счастливой улыбке. Как ни старались они, чтобы на них обратил внимание жрец (медленно вонзавший нож в жертвы и не отрывавший взгляда от своего священнодействия, словно оно должно было что-то открыть ему в будущем), но он их не видел. Жрец не заметил даже, что меня в ресторане нет. Узнав об этом после, он пришел в отчаяние. «Вы в самом деле не видели, как я разрезал индеек?» Я ответил, что так как я еще не видел Рим, Венецию, Сиену, Прадо, Дрезденскую галерею, Индию, Сару в «Федре», то мне остается только покориться судьбе, и теперь я прибавлю к этому списку его искусство разрезания индеек. До него, видимо, дошло только сравнение с дра-

матическим искусством (с игрой Сары в «Федре»), так как он слышал от меня, что в торжественных спектаклях Коклен-старший,[377] всегда соглашался сыграть маленькую роль, кого-нибудь, кто произносит всего одно слово, а то и вовсе лицо «без речей». «Все равно мне за вас обидно. Когда-то еще мне придется разрезать! Надо ждать какого-нибудь события, ну, например, войны». (В самом деле, для этого пришлось ждать перемирия.) С этого дня календарь изменился, счет теперь велся так: «Это было на другой день после того, как я сам разрезал индеек», «Это было как раз через неделю после того, как директор сам разрезал индеек». Таким образом, это анатомирование послужило, подобно Рождеству Христову или Хиджре[378] отправной точкой для календаря, разнившегося от всех остальных, но не получившего такого широкого распространения и так долго не просуществовавшего.

Самым большим горем графа де Креси было то,

---

[377] Примечания: 377

Коклен-старший, Бенуа Констан (1841–1909) — знаменитый актер-комик, непревзойденный исполнитель главной роли в «Мизантропе» и создатель образа Сирано де Бержерака.

[378] Примечания: 378

Хиджра — переселение Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину в 622 г.; год хиджры принят за начало мусульманского летосчисления.

что он уже не мог завести лошадей, не мог позволить себе дорогих яств и вынужден был знаться с людьми, которые полагали, что Говожо и Германты — это одно и то же. Когда он убедился, что мне известно, что Легранден, который требовал теперь, чтобы его величали Легран де Мезеглиз, не имел на такой титул никакого права, то это ему, возбужденному еще и от вина, доставило бурную радость. Его сестра говорила мне с видом человека, отвечающего за свои слова: «Для моего брата это такое счастье — побеседовать с вами!» Он и в самом деле ожил после того, как ему удалось найти человека, отличавшего заурядность Говожо от величия Германтов, человека, для которого существовал мир общественных отношений. Так, после того как на земном шаре были бы сожжены все книгохранилища и установилось бы господство совершенно невежественной расы, какой-нибудь старый латинист вновь ощутил бы под ногами почву и ему захотелось бы жить, если б он услышал, что кто-то приводит стих Горация. И когда он при выходе из вагона спрашивал меня: «А когда же мы с вами отведем душу?». — то в эту минуту в нем говорила не только алчность паразита, не только гурманство эрудита, но и то, что бальбекские пирушки являлись для него

поводом для того, чтобы поговорить на близкие ему темы, на такие темы, на которые ему было не с кем больше побеседовать, — эти пирушки были для него тем же, чем для библиофилов являются необыкновенно вкусные ужины, на которые по определенным числам собирается в клубе их общество.[379] Никогда не хваставшийся своей родовитостью, граф де Креси утаил от меня, что он очень знатного рода, который представляет собой прижившуюся во Франции подлинную ветвь английского рода, носящего титул де Креси. Узнав, что он настоящий Креси, я сообщил ему, что племянница герцогини Германтской вышла замуж за американца Чарльза Креси, но добавил, что, насколько я понимаю, он не имеет к нему никакого отношения. «Никакого, — подтвердил он. — Не более — хотя мой род не так уж славен, — чем тьма американцев: все эти Монгомери, Берри, Чаудосы или Капелы — к роду Пемброка, Букингема, Эссекса или герцога Берийского». Мне иногда хотелось позабавить его рассказом о моем знакомстве с г-жой Сван, кото-

[379] Примечания: 379

…чем для библиофилов… собирается в клубе их общество. — Основанное в 1820 г., Общество французских библиофилов представляло собой своего рода закрытый аристократический клуб, состоявший поначалу из двадцати четырех членов. К концу XIX века количество членов общества выросло до двадцати девяти.

рая когда-то была известна как кокотка Одетта де Креси; но, хотя герцога Алансонского ничуть не коробило, когда с ним заговаривали об Эмильене д'Алансон, я чувствовал, что еще недостаточно близок с графом де Креси и пока еще не могу позволить себе с ним такого рода шутку. «Он очень знатного рода, — однажды сказал мне о нем де Монсюрван. — Он ведет свое происхождение от Сэйлоров». К этому де Монсюрван прибавил, что на его старинном замке под Энкарвилем, замке, ныне полуразрушенном, потому что хотя де Креси — из очень богатой семьи, но до такой степени обнищал, что уже не в состоянии восстановить его, до сих пор можно разобрать древний девиз его рода. Я нашел, что этот девиз прекрасен, к какому бы времени его ни отнести: ко временам ненасытных хищников, свивших себе там гнездо и вылетавших оттуда за добычей, или же к сегодняшнему дню, ко временам упадка, к ожиданию близкой смерти в этом высокогорном одичалом убежище. В имени Сэйлор заключена, таким образом, игра слов.[380]

В Эрменонвиле иногда вводил де Козо, фамилия которого, как пояснил нам Бришо, происходила,

---

[380] Примечания: 380

По-французски Ne sait l'heure (ему не ведом час) созвучно имени Сейлор.

так же как фамилия монсеньора де Козаньяк, от слова «коза». Он был в родстве с Говожо, и на этом основании, вследствие того, что у них было неверное представление о породистости, они часто приглашали его в Фетерн, но только когда у них не собиралось блестящее общество. Де Козо круглый год жил в Босолее, и оттого в нем сразу чувствовался провинциал. Когда он на некоторое время приезжал в Париж, то старался не потерять ни одного дня, чтобы как можно больше «успеть посмотреть», «успевал» же он так много, что в голове у него все перепутывалось, и он не всегда мог ответить, видел он какую-нибудь пьесу или не видел. Но это с ним случалось не часто — как все люди, редко приезжавшие в Париж, он знал события столичной жизни во всех подробностях. Он советовал мне сходить на ту или иную новинку («Это стоит посмотреть»), сам же шел на новинку только ради того, чтобы приятно провести вечер, а что она могла оказаться действительно новостью в истории театра, это ему было невдомек, так как в области эстетики он был полным невеждой. Смешивая все в одну кучу, он говорил нам: «Мы были в Комической опере, но попали неудачно. Пьеса называется „Пелеас и

Мелисанда“. Неинтересно. Перье[381] везде хорош, но лучше смотреть его в чем-нибудь другом. Зато в „Жимназ“[382] ставят „Владелицу замка“[383] Мы ходили на нее два раза; непременно пойдите, вот это стоит посмотреть. А как играют! В ней заняты и Фреваль,[384] и Мари Манье,[385] и Барон-сын[386]». И он перечислил имена актеров, о которых я никогда не слышал, но не прибавил к их именам «господин», «госпожа» или «мадемуазель», как сделал бы герцог Германтский, говоривший одним и тем же пренебрежительно-жеманным тоном о «песенках мадемуазель Иветты Гильбер[387]» и об «опытах господина Шарко». Де Козо произносил имена по-другому: он говорил «Корнальи[388]» и «Догеми[389]», как сказал бы: «Вольтер» или «Монтескье». Дело в

[381] Примечания: 381

Перье, Жан-Алексис (1869–1924) — французский оперный певец, исполнитель партии Пелеаса в опере Дебюсси.

[382] Примечания: 382

«Жимназ» — парижский театр, с момента своего открытия в 1820 г. специализировавшийся на постановке комедий.

[383] Примечания: 383

«Владелица замка» — комедия Альфреда Капю (1858–1922), французского публициста и драматурга, члена Французской академии и главного редактора «Фигаро». Премьера пьесы состоялась 25 октября 1902 г., не в театре «Жимназ», а на сцене театра «Ренессанс».

[384] Примечания: 384

Фреваль — речь идет либо о Симоне Фреваль, французской актрисе, игравшей в театре «Порт-Сен-Мартен», или об Эжене Феликсе Констане

Ланглуа, по прозвищу Фревиль (1826–1890), французском актере и драматурге.

[385] Примечания: 385

Манье, Мари (1848–1913) — французская актриса, дебютировавшая в театре «Жимназ» в 1868 г.

[386] Примечания: 386

Барон-сын — собственно Луи Барон (1870–1939), французский актер-комик, игравший на сцене многих французских театров.

[387] Примечания: 387

Гильбер, Иветта (1867–1944) — известная французская кафешантанная певица.

[388] Примечания: 388

Корналъя, Эрнест (1834–1912) — французский драматический актер, игравший в театре «Одеон» с 1880 г.

[389] Примечания: 389

Догеми, Эмиль (1871–1969) — французский актер-комик.

том, что над аристократическим обыкновением смотреть свысока на актеров, как на все парижское, брало в нем верх желание провинциала показать, что он здесь у себя дома.

После первого ужина в Ла-Распельер вместе с «юной четой», как все еще называли в Фетерне маркиза и маркизу де Говожо, хотя и тот, и другая были далеко уже не первой молодости, я получил письмо и сразу узнал по почерку, который отличишь от тысячи других, что это от старой маркизы. Она писала: «Привезите к нам вашу приятельницу, очаровательную — прелестную — милую. Это будет для нас праздник — удовольствие»; нерассуждающая уверенность, с какой она подменяла восходящую линию, которую мог бы ожидать получивший письмо, нисходящей, в конце концов заставила меня изменить свое мнение об этих диминуэндо: я находил в них нарочитость и тот же дурной вкус, но только проявлявшийся в области светских отношений, который заставлял Сент-Бёва разрушать все привычные словосочетания, искажать всякое мало-мальски обиходное выражение. В эпистолярном стиле маркизы де Говожо, по-видимому, сталкивались манеры двух разных писателей, причем вторая требовала, чтобы маркиза воз-

мещала банальность многочисленных эпитетов нисходящей гаммой и избегала законченности финальных аккордов. У вдовствующей маркизы я все же склонен был видеть в обратном порядке расстановки слов изысканность, тогда как у ее сына или у ее родственниц — просто-напросто неуклюжесть. У них в роду было в большой чести — во-первых, потому, что восходило к далеким предкам, а во-вторых, из благоговейного подражания тете Зелии — правило трех эпитетов, равно как и обыкновение от переполняющего душу восторга останавливаться на середине фразы и переводить дыхание. Это подражание вошло у них в плоть и кровь, и когда девочка в раннем детстве прерывала фразу, чтобы проглотить слюну, то о ней говорили: «Это у нее от тети Зелии»; все были уверены, что у нее на губке вскоре появятся усики, и давали себе слово развивать ее музыкальные способности.

Отношения Говожо с г-жой Вердюрен скоро по разным причинам стали хуже, чем со мной. Говожо собирались пригласить ее. «Молодая» маркиза говорила мне презрительным тоном: «Я не вижу причин, почему бы нам не пригласить эту женщину, на даче можно видеться с кем угодно, это ни к чему не обязывает». Но хотя

она их отчасти заинтересовала, они все-таки продолжали со мной советоваться, как им отдать ей долг вежливости. Подумав, что раз они позвали нас с Альбертиной, друзей Сен-Лу, местных аристократов, владельцев Гурвильского замка, людей почище «сливок» нормандского общества, к которым г-жу Вердюрен, хотя они и старались этого не показывать, неудержимо тянуло, я посоветовал Говожо пригласить и Покровительницу. Но владельцы замка в Фетерне, то ли боясь (они были очень робки) не угодить своим знатным друзьям, то ли опасаясь (они были очень наивны), что Вердюрены соскучатся с людьми, не принадлежащими к интеллигентному обществу, то ли, наконец, оттого, что они (погрязшие в рутине и обогащенные опытом) не решались смешивать разные жанры, а то как бы не «опростоволоситься», но только они возразили мне, что это несовместимо, что соберется слишком «разношерстная» публика и что лучше приберечь г-жу Вердюрен (которую можно будет пригласить вместе со всей ее группочкой) на другой раз. А на ближайшее великосветское сборище с друзьями Сен-Лу они из всего «ядрышка» пригласили только Мореля, с тем чтобы Морель довел до сведения барона, каких блестящих людей они у себя

принимают, а еще в расчете на то, что музыкант, которого они хотели попросить взять с собой скрипку, развлечет гостей. Позвали еще и Котара, так как маркиз де Говожо сказал, что Котар всегда бывает в ударе и на ужинах «блещет остроумием», а кроме того, важно, мол, поддерживать хорошие отношения с доктором на тот случай, если кто-нибудь заболеет. Но Котара позвали одного, — мол, «баб нам не надо». Г-жа Вердюрен пришла в ярость, когда узнала, что ее не позвали на ужин в Фетерн, «в тесном кругу», и что из всей ее группочки позвали только двоих. Первым движением доктора было принять приглашение, но г-жа Вердюрен продиктовала ему гордый отказ: «Мы ужинаем сегодня у госпожи Вердюрен» — множественное число долженствовало проучить Говожо и дать им понять, что Котар и его супруга — это единое целое. А Мореля г-же Вердюрен не пришлось просить поступить неучтиво, так как он сам избрал этот образ действий, и вот почему. Что касается развлечений, то тут он отстаивал свою независимость, и это огорчало барона, но мы уже видели, что в других областях де Шарлю имел на него большое влияние, что он расширил его познания в музыке и добился большей виртуозности от его игры. Однако это еще только

влияние. Но была такая область, в которой, что бы ни сказал де Шарлю, Морель беспрекословно принимал его суждения на веру и исполнял. Беспрекословно и безрассудно, так как поучения де Шарлю были не только ложны в своей основе: если бы даже они пригодились важному барину, то, когда им буквально следовал Морель, они становились просто смешными. Областью, где Морель проявлял такую доверчивость и такую покорность своему наставнику, являлась область светских отношений. Не имевший ни малейшего представления о свете до знакомства с де Шарлю, скрипач поверил той самомнительной схеме, которую набросал для него барон. «Существует всего лишь несколько наиславнейших родов, — сказал ему де Шарлю, — это прежде всего Германты, насчитывающие четырнадцать браков с французским королевским домом, и это делает королевскому дому большую честь, так как именно Альдонс Германтский, а не Людовик Толстый,[390] его хотя и единокровный, но младший брат, должен был занять французский престол. При Людовике Четырнадцатом мы носили траур по старшему брату короля, потому

[390] Примечания: 390
Людовик Толстый (1081-1 1.37) — французский король Людовик VI.

что его бабушка была и нашей бабушкой. Значительно ниже Германтов стоит род Ла Тремуй, потомков королей неаполитанских и графов де Пуатье; д'Юзе — род не очень древний, но из него вышли самые первые пэры; Люины — совсем недавнего происхождения, но зато они сделали блестящие партии; затем идут Шуазели, Аркуры, Ларошфуко. Прибавьте к ним еще Ноайлей; граф Тулузский, Монтескью, Кастеланы — не в счет; ну вот и все, — кажется, я никого не забыл. Что же касается всей этой мелкоты вроде Говожо или Втришей, то между ними и самым последним служивым из вашего полка никакой разницы нет. Что писать у графини Кака, что какать у баронессы Пипи — это совершенно одно и то же; вы себя уроните, вы примете вымазанную в дерьме тряпку за клозетную бумагу. Фу, гадость какая!» С благоговением выслушав этот урок истории, быть может, несколько схематичный, Морель судил теперь обо всем, как будто сам был Германтом, и только ждал случая встретиться с мнимыми Ла Тур д'Овернь, чтобы дать им почувствовать в кичливом рукопожатии, что они для него ничто. А что касается Говожо, то тут как раз подоспел случай, когда он мог наконец показать им, что они — «самые распоследние из служивых

в его полку». Он не ответил на их приглашение и только за час до ужина, в восторге, что поступает как принц крови, прислал извинительную телеграмму. Трудно себе представить, насколько де Шарлю был, в общем, нестерпим, мелочен и даже, при всем его остроумии, глуп, когда проявлялись отрицательные черты его характера. В сущности, он был болен неизлечимой душевной болезнью. Впрочем, встречается это на каждом шагу: если очень умные, но нервные мужчины и женщины счастливы, спокойны, если окружающая обстановка их не раздражает, то их душевными качествами нельзя не залюбоваться, их устами воистину глаголет истина. Но вот мигрень, слегка задетое самолюбие — и картина меняется. Их светлый ум становится желчным, вспыльчивым, ограниченным; они держатся как будто нарочно, чтобы произвести неприятное впечатление, и в голосе у них появляются злобные, недоверчивые, неискренние нотки.

Говожо возмутились, а тут еще другие происшествия подпортили их отношения с кланчиком. Как-то мы — Котары, Шарлю, Бришо, Морель и я — возвращались после ужина из Ла-Распельер, а Говожо, обедавшие у своих арамбувильских друзей, оказались на время нашими попутчиками.

«Вы так любите Бальзака, так легко различаете черты его героев в современных людях, — обратился я к де Шарлю, — вы не находите, что Говожо сошла со страниц „Сцен провинциальной жизни“?» Но де Шарлю, как будто был их близким другом и я задел его своим суждением, оборвал меня: «У вас только одно основание для такого сравнения: и там, и там жена выше своего мужа», — сухо проговорил он. «Да я вовсе не хотел сказать, что она — Провинциальная муза,[391] или госпожа де Баржетон[392] хотя…» Де Шарлю снова прервал меня: «Вы лучше сравните ее с госпожой де Морсоф[393]». На ближайшей остановке сошел Бришо. «Мы же вам все время делали знаки, несносный вы человек!» — «А зачем?» — «Вы что, до сих пор не заметили, что Бришо безумно влюблен в маркизу де Говожо?» По лицу Котаров и Чарли я понял, что в «ядрышке» не оставалось на этот счет ни тени сомнения. Я было подумал, что они злословят. «Ну да, разве вы не обратили

---

[391] Примечания: 391

Провинциальная муза — одно из произведений Бальзака, входящих в «Сцены провинциальной жизни».

[392] Примечания: 392

Госпожа де Баржетон — персонаж из романа Бальзака «Утраченные иллюзии».

[393] Примечания: 393

Госпожа де Морсоф — героиня романа Бальзака «Лилия долины».

внимание, как он смутился, когда вы заговорили о ней?» — продолжал де Шарлю. Он любил дать понять, какой у него большой опыт по части женского пола, и говорил о чувстве, которое возбуждают женщины, как ни в чем не бывало, как будто он сам испытывал его много раз. Но тон двусмысленной отеческой нежности, каким он говорил со всеми молодыми людьми, — несмотря на его особое влечение к Морелю — выдавал его, когда он прикидывался мужчиной, поклонником женщин. «Ох уж эти дети! — произнес он писклявым, слащавым голосом, растягивая слова. — Все-то им надо втолковывать, они невинны, как новорожденные, они не видят, что мужчина влюблен в женщину. В вашем возрасте я был куда большим пройдой», — прибавил он: он любил употреблять жаргонные словечки, может быть, потому, что они ему нравились, а может быть, чтобы не подумали — если он станет избегать их, — что он водит компанию с теми, для кого это обиходный язык. Несколько дней спустя я понял, что нельзя идти против очевидности, и признал, что Бришо действительно влюблен в маркизу. На свое несчастье, он бывал на ее завтраках. Г-жа Вердюрен сочла своевременным поставить ему палки в колеса. Она полагала, что ее вмешатель-

ство принесет пользу политике «ядрышка», а кроме того, за последнее время она начала обожать всевозможные объяснения и вызываемые ими драмы, как от безделья обожают их многие и в аристократическом, и в буржуазном кругу. В Ла-Распельер все пришло в волнение, когда там заметили, что г-жа Вердюрен на целый час уединилась с Бришо, а она, как это выяснилось потом, внушала ему в это время, что маркиза де Говожо над ним издевается, что он посмешище в ее салоне, что он позорит свои седины и подрывает свое положение в педагогическом мире. Она даже в трогательных выражениях заговорила о прачке, с которой он жил в Париже, и об их маленькой дочке. Она победила; Бришо перестал ездить в Фетерн, но он так горевал, что два дня после этого разговора за него боялись, как бы он не потерял зрение окончательно; во всяком случае, его состояние резко ухудшилось и потом он так уже и не оправился. Между тем Говожо, озлившиеся на Мореля, нарочно позвали де Шарлю без него. Не получая ответа от барона, они со страхом начали подумывать: уж не совершили ли они бестактность, и, считая, что злопамятность — дурной советчик, в конце концов послали запоздалое приглашение Морелю — эта их глупость

вызвала у де Шарлю, как лишнее доказательство его веса в обществе, самодовольную усмешку. «Ответьте от нашего имени, что я принимаю приглашение», — сказал Морелю барон. В Фетерне все собрались перед ужином в большой гостиной. На самом деле Говожо устраивали этот ужин для цвета высшего общества в лице супругов Фере. Но они так боялись чем-нибудь не угодить де Шарлю, что, хотя познакомил их с Фере де Козо, маркизу де Говожо бросило в жар, когда в день званого ужина в Фетерн явился де Козо. Говожо стали придумывать всевозможные предлоги, чтобы как можно скорее спровадить его в Босолей, и все-таки, уже выйдя во двор, он столкнулся с Фере, и они были в такой же мере поражены его изгнанием, в какой он был сконфужен. Но Говожо стремились любой ценой добиться того, чтобы встреча де Шарлю с де Козо не состоялась: они судили о нем как о провинциале по тем оттенкам, на которые в семейном кругу не обращают внимания, но за которые перед посторонними стыдно, хотя единственно, кто не замечает их, так это как раз посторонние. Неприятно показывать родственников, которые остались все такими же, в то время как вы проделали над собой большую работу. О г-не и г-же Фере можно было сказать,

что это люди «высшей марки». В глазах людей, которые так их определяли, разумеется, и Германты, и Роаны, и многие другие тоже были людьми «высшей марки», но их имена говорили сами за себя. И так как не все были осведомлены о знатном роде матери г-жи Фере и о том, что г-н и г-жа Фере вращаются в чрезвычайно тесном кругу, то, когда чету Фере кому-нибудь представляли, потом считали нужным пояснить, что «лучше их никого нельзя себе представить». Не безвестность ли имени порождала в Фере высокомерную отчужденность? Как бы то ни было, Фере не бывали даже у тех, с кем поддерживали бы отношения Ла Тремуй. Надо было завоевать себе положение королевы взморья, которое занимала старая маркиза де Говожо в Ла-Манше, чтобы Фере каждый год посещали ее утренние приемы. Говожо позвали их на ужин и очень рассчитывали, что де Шарлю произведет на них сильное впечатление. В разговоре с ними они ввернули, что он — в числе приглашенных. Оказалось, что г-жа Фере почем-то не была с ним знакома. Маркиза де Говожо очень обрадовалась, и по ее лицу скользнула улыбка химика, впервые пытающегося соединить два необычайно важных элемента. Дверь отворилась, и маркиза де Говожо чуть не

упала в обморок: она увидела одного Мореля. Подобно чиновнику особых поручений, которому велено принести извинения министра, или морганатической супруге, выражающей сожаление от имени заболевшего принца (так обыкновенно поступала г-жа де Кленшан, извещавшая о недомогании герцога Омальского), Морель самым небрежным тоном проговорил: «Барон не приедет. Ему нездоровится — я, по крайней мере, думаю, что дело в этом; мы с ним несколько дней не виделись», — прибавил он, этими своими последними словами добив маркизу де Говожо, оттого что она как раз только что сказала г-ну и г-же Фере, что Морель с де Шарлю не расстается. Говожо сделали вид, что от отсутствия барона их званый вечер только выиграет, и потихоньку от Мореля говорили гостям: «Обойдемся и без него, так еще веселее, ведь правда?» Но они были в бешенстве, подозревали козни г-жи Вердюрен и в конце концов ответили ей ударом на удар: когда г-жа Вердюрен пригласила их в Ла-Распельер, маркиз де Говожо, не в силах отказать себе в удовольствии снова увидеть свой дом и очутиться в группочке, приехал, но один, и сказал, что маркиза в отчаянии: доктор не пускает ее на воздух. Этим своим полуотсутствием Говожо хотелось

проучить де Шарлю и в то же время показать Вердюренам, что с ними они вежливы до известных пределов: так в былые времена принцессы крови провожали герцогинь, но только до середины соседней комнаты. Некоторое время спустя дело дошло почти до разрыва. Маркиз де Говожо пытался объяснить мне, в чем дело: «Должен вам сказать, что у нас с бароном де Шарлю все не так просто. Он — отъявленный дрейфусар». — «Да ну что вы!» — «Уверяю вас… Во всяком случае, его родственник, принц Германтский, — дрейфусар несомненный, их все за это клеймят. Мои родственники смотрят за ними в оба. Я у таких людей бывать не могу, иначе я перессорюсь со всей своей родней». — «Но если принц Германтский — дрейфусар, то все складывается как нельзя лучше, — вмешалась маркиза де Говожо, — говорят, что Сен-Лу женится на его племяннице, а ведь он тоже дрейфусар. Может быть, даже они потому и женятся». — «Дорогая моя! Ну как у вас поворачивается язык говорить о Сен-Лу, которого мы так любим, что и он дрейфусар? Нельзя так легкомысленно бросаться подобными обвинениями, — сказал маркиз де Говожо. — Как на него из-за вас будут смотреть в армии?» — «Когда-то он был дрейфусаром, а теперь — нет, — сказал я мар-

кизе де Говожо. — Что же касается его женитьбы на мадемуазель де Германт-Брасак, то разве это дело решенное?» — «Все об этом только и говорят, но вам лучше знать». — «Да он же сам сознался мне, что он дрейфусар! — воскликнула маркиза де Говожо. — Впрочем, ему это простительно: Германты — наполовину немцы». — «Вы бы вполне могли так сказать про Германтов с улицы Варен, — возразил Гого. — Но Сен-Лу — это статья особая. Мало ли что у него вся родня — немцы! Его отец отстаивал свои права на французский дворянский титул, в семьдесят первом году опять поступил на военную службу и погиб смертью храбрых на войне. Вот за это я голову отдам на отсечение, но не следует перегибать палку ни в ту, ни в другую сторону. In media… virtus…[394] Забыл! Это изречение часто приводит доктор Котар. Вот уж кто за словом в карман не лезет! Вам бы следовало всегда иметь под рукой „Малого Ларусса“[395]». Чтобы дольше не задерживаться на латинской цитате и прекратить разговор о

[394] Примечания: 394

В середине… добродетель… (лат.).

[395] Примечания: 395

«Малый Ларусс» — однотомный энциклопедический словарь, первое издание которого подготовил известный французский лексикограф Пьер Ларусс (1817–1875).

Сен-Лу, по отношению к которому она, как полагал ее муж, допустила бестактность, маркиза де Говожо опять набросилась на Покровительницу — она считала, что ссора с Вердюренами требует еще более обстоятельных пояснений. «Мы с удовольствием сдали госпоже Вердюрен Ла-Распельер, — сказала маркиза. — Но она почему-то вообразила, что вместе с домом и со всем, чем она сумела завладеть, как, например, луг, старинные обивки и все, что отнюдь не входит в арендный договор, к ней перейдут и права на более тесную дружбу с нами. Но ведь это же совершенно разные вещи. Наша ошибка была в том, что мы вели переговоры не через управляющего и не через контору. В Фетерне у нас без церемоний. Но я представляю себе выражение лица моей тетки де Ш'нувиль, если бы в мой приемный день к нам притащилась маменька Вердюрен с ее патлами. У де Шарлю, конечно, есть блестящие знакомства, но есть и низкопробные. Я все выяснила досконально». Маркизу де Говожо засыпали вопросами, и в конце концов она ответила: «Уверяют, что он содержал какого-то господина Моро, Мориля, Морю — точно не помню. Само собой разумеется, я не имею в виду скрипача Мореля, — добавила она, покраснев. — Как только мне

стало ясно, что госпожа Вердюрен вообразила, будто она, сняв у нас дачу в Ла-Манше, вправе являться ко мне с визитами в Париже, я решила, что пора поставить ее на место». Несмотря на ссору с Покровительницей, Говожо сохраняли добрые отношения с «верными», на станциях они охотно садились в наш вагон. Подъезжая к Дувилю, Альбертина в последний раз вынимала зеркальце, иногда меняла перчатки или снимала шляпку и черепаховым гребнем, который я ей подарил и который она втыкала себе в волосы, приглаживала завитки, взбивала локоны, а если было нужно, то повыше закалывала шиньон над прядями, падавшими на затылок ровными волнами. Как только мы садились в экипажи, так сейчас же теряли представление о том, где мы находимся; на дорогах было темно; когда колеса стучали сильнее, мы догадывались, что едем по селу, и думали, что вот-вот подкатим, но вдруг оказывалось, что мы в открытом поле, мы слышали звон колокола, доносившийся издалека, мы забывали, что мы в смокингах, и почти засыпали, и вдруг пространство мрака, которое из-за происшествий, неизбежных во время поездки по железной дороге, и из-за дальности расстояния словно переносило нас далеко за полночь, почти

к полпути до Парижа, внезапно кончалось, экипаж скользил по мелкому гравию — а это был знак, что мы въехали в парк, — горели огнями, снова маня в круг светской жизни, гостиная, столовая, и здесь мы невольно отшатывались, услышав, что часы бьют восемь — а нам казалось, что уже гораздо позднее, — и потом заглядывались на то, как мужчинам во фраках и дамам в вечерних туалетах подают одно блюдо за другим, подливают тонких вин, и на весь этот блестящий ужин, во всем похожий на столичный, с той только разницей, что, придавая особый колорит дачному, его опоясывала двойная лента темноты и таинственности, сотканная вечерними часами, лишенными присущей им праздничности, так как время уходило на одни и те же поездки туда и обратно — меж полей и у моря. В самом деле, возвращение уводило нас от сверкающего великолепия пылавшей гостиной, заставляло тут же забывать о нем и менять гостиную на экипажи, причем я старался уехать в одном экипаже с Альбертиной, во-первых, потому, что не хотел, чтобы моя подружка оказалась вместе с кем-нибудь из других гостей, а во-вторых, в большинстве случаев потому, что в темном экипаже мы могли многое себе позволить, а толчки при спуске

оправдывали бы наше тесное объятие, если б на нас неожиданно упал луч света. Когда маркиз де Говожо еще не рассорился с Вердюренами, он время от времени обращался ко мне с вопросом: «Вы не думаете, что туманы опять вызовут у вас удушья? У моей сестры утром был тяжелый приступ. Ах, и у вас тоже? — с чувством удовлетворения переспрашивал он. — Я сегодня же ей об этом скажу. Я знаю, что, когда вернусь домой, она непременно спросит, давно ли у вас были удушья». Заговаривал он о моих удушьях только для того, чтобы потом перейти к болезни сестры, и заставлял меня подробно описывать особенности моего недуга с целью установить различие между моим и ее заболеванием. Тем не менее, несмотря на различия, так как удушья сестры пользовались у него большим авторитетом, то он не мог примириться с тем, что средства, «действовавшие благотворно» на нее, не прописывались мне, и сердился на меня за то, что я отказываюсь испробовать их, а ведь гораздо труднее придерживаться какого-нибудь режима, чем требовать его соблюдения от другого. «А впрочем, что же это я? Я — профан, а тут перед вами целый ареопаг в одном лице, кладезь премудрости. Что думает на этот счет профессор Котар?»

Мне пришлось еще раз встретиться с маркизой: до меня дошло ее мнение о моей родственнице, будто у нее некрасивая манера держать себя, и я решил добиться от маркизы, что она имеет в виду. Сперва она отреклась от своих слов, но в конце концов придумала, что говорила это про другую, которую она, кажется, видела с моей родственницей. Фамилии ее она не знает, но, если не ошибается, это жена банкира Лина, Линета, Лизета, Лия, в общем, что-то в этом роде. Я подумал, что «жену банкира» она сочинила, чтобы заморочить мне голову. Я решил проверить у Альбертины. Но я предпочел сделать вид, что мне все известно, чем расспрашивать ее. Ведь Альбертина ничего мне не скажет или так произнесет «нет», что звука «н» совсем почти не будет слышно, или она растянет один звук «е». Альбертина никогда не рассказывала о фактах, которые могли повредить ей, а приводила совсем другие, которые, однако, находили объяснение только во вредных для нее фактах, ибо истина — вернее всего перехватываемый нами ток, невидимо исходящий от того, о чем нам говорят, а не самые слова. Так, когда я начал уверять Альбертину, что женщина, с которой она познакомилась в Виши, — дурного тона, она поклялась мне, что эта женщина — совсем не

то, что я о ней думаю, и никогда никаких дурных мыслей она ей не внушала. В следующий раз, когда я сказал, что такие женщины меня интересуют, Альбертина добавила, что у дамы из Виши есть подруга, но она ее не знает, и дама из Виши «обещала их познакомить». Значит, Альбертина выразила желание с ней познакомиться, если дама ей это обещала, или дама сама предложила их познакомить, заведомо зная, что доставит этим Альбертине удовольствие. Однако, рискни я высказать это Альбертине, я бы доказал, что разоблачения исходят от самой Альбертины, она бы их прекратила, больше ничего я бы не узнал, и она перестала бы меня бояться. Впрочем, мы жили в Бальбеке, а дама из Виши и ее подруга — в Ментоне; дальность расстояния, безопасность вскоре рассеяли мои подозрения. Часто, когда маркиз де Говожо окликал меня на вокзале, мы с Альбертиной только что пользовались полной темнотой, и мне приходилось вступать с ней в борьбу, так как она, боясь, что недостаточно темно, слабо отбивалась. «Знаете, я уверена, что Котар видел нас, а если даже и не видел, то слышал ваш приглушенный голос, как раз когда шел разговор о ваших удушьях, но только другого рода», — говорила мне Альбертина,

приехав на Дувильский вокзал, где мы опять садились на дачный поезд, чтобы ехать обратно. Возвращение, как и поездка туда, настраивало меня на поэтический лад, пробуждало во мне стремление к путешествиям, жажду какой-то новой жизни, вызывало желание выбросить из головы всякую мысль о женитьбе на Альбертине, желание порвать с ней всякие отношения и в силу их сложности облегчало разрыв. На обратном пути, так же как и на пути туда, к нам подсаживались знакомые или здоровались с нами, стоя на платформе; непрерывное удовольствие общения с людьми, его успокаивающее, усыпляющее действие брало верх над тайными радостями воображения. Раньше самих станций потускнели их названия (которые погрузили меня в мечтательное забытье уже в первый вечер, когда мы приехали сюда с бабушкой); они утратили свою необычайность уже в тот вечер, когда Бришо по просьбе Альбертины подробно объяснил нам их этимологию. Я восхищался тем, что некоторые из них оканчиваются на «фиоль», как, например, Фикфиоль, Онфиоль, Фиоль, Барфиоль, Арфиоль, смеялся над окончанием «свин» в «Бриксвине». Но цветок исчез Вместе со «свином», как только Бришо (он сказал об этом в первый же раз в поезде)

пояснил мне, что «фиоль» восходит к «фиорду», а «свин» не к свинье, а к свинцу. Он приводил ряд примеров, и то, что сначала казалось мне своеобычным, оказывалось обыкновенным. За Бриксвином потянулся Эльсвин, и даже в названии, таком же особенном, как самая местность, то есть в Пендепи, в котором, как мне казалось, еще в незапамятные времена самые причудливые, недоступные человеческому разуму наслоения в конце концов сплавились в одно грубое слово, вкусное и твердое, как сорт нормандского сыра, я, к своему отчаянию, обнаружил галльское «пен», обозначающее гору, встречающееся и в Пенмарке, и в Апеннинах. Зная, что на каждой станции нам предстоит обмениваться рукопожатиями с друзьями или предлагать им сесть с нами, я говорил Альбертине: «Спрашивайте скорей у Бришо об интересующих вас названиях. Вы упоминали Маркувиль-Горделивый». — «Да, мне очень понравилась гордыня, всевластность этого селения», — подтвердила Альбертина. «Оно показалось бы вам еще более всевластным, — подхватил Бришо, — если бы французскому или испорченному латинскому произношению, какое вы найдете в картуларии у епископа из Байё, — Marconvilla superba, — вы предпочли

более древнее, приближающееся к нормандскому, — Mercalphinvilla superba, то есть селение, поместье Меркульфа. Почти во всех названиях, оканчивающихся на „виль“, перед вами на этом побережье еще могли бы вырасти призраки жестоких завоевателей — норманнов. В Арамбувиле у вагонной дверцы стоял наш милейший доктор, явно не имеющий ничего общего с норманнским военачальником. Но если б вы закрыли глаза, то могли бы увидеть прославленного Эримунда (Herimundivilla). Я не понимаю, почему здесь ездят по дороге между Луаньи и Бальбек-пляжем, а не по необыкновенно живописной дороге между Луаньи и старым Бальбеком, и все-таки, может быть, госпожа Вердюрен катала вас по ней в экипаже. Тогда вы должны были видеть Энкарвиль, селения Вискар и Турвиль, а поблизости от дачи госпожи Вердюрен — селение Турольд. Впрочем, здесь были не только норманны. Кажется, досюда доходили и германцы (Оменанкур, Alemanicurtis), но об этом мы умолчим, иначе вон тот молодой офицер перестанет ездить к своим родственникам. Побывали здесь и саксонцы — об этом свидетельствует источник Сисон (к нему очень любит ездить госпожа Вердюрен, и я ее вполне понимаю) так же, как в Англии — Миддлсекс,

Эссекс. Это непостижимо, но как будто сюда приходили и готы — гёзы, как их называли, — и даже мавры — ведь Мортань происходит от Мавритании. Их след остался в Гурвиле — Gothorunvilla. Есть кое-какие признаки пребывания латинян — Ланьи (Latiniacum)». — «А мне хотелось бы знать происхождение названия Торпеом, — сказал де Шарлю. — Я знаю, что по-латыни „гомо“ значит „мужчина“ (при этих его словах скульптор и Котар многозначительно переглянулись). А вот что такое Тори?» — «Здесь „ом“ отнюдь не означает того, что вам, барон, естественно, хотелось бы вычитать в этом названии, — бросив лукавый взгляд на скульптора и Котара, возразил Бришо. — „Ом“ в данном случае ничего общего не имеет с полом, к которому я не мог бы отнести мою мать. „Ом“ — это Ольм, что значит „островок“ или что-то в этом роде. А вот Торп, или селение, встретится в сотне названий, но я не хочу больше докучать их перечислением нашему юному другу. Короче говоря, имя норманнского вождя не входит в название Торпом, хотя оно и состоит из норманнских слов. Теперь вы видите, как весь этот край германизирован». — «По-моему, он преувеличивает, — заметил де Шарлю. — Вчера я был в Оржвиле…» — «А вот сейчас, барон,

я вам верну мужчину, которого я у вас отнял в Торпоме. Отбросим всякий педантизм; хартия Роберта Первого[396] дает нам вместо Оржвиля — Otgervilla, то есть владение Отгера. Это все имена сеньоров былых времен. Вместо л'Авенеля — Октевиль-ла-Венель. Род Авенелей был известен в Средние века. Бургноль, куда нас как-то возила госпожа Вердюрен, писалось раньше Бурде-Моль, потому что это селение принадлежало в одиннадцатом веке Бодуэну де Моль, так же как и Шез-Бодуэн… Но вот мы уже и в Донсьере». «Боже, неужели все эти лейтенанты сейчас сюда ворвутся? — притворившись испуганным, сказал де Шарлю. — Я ведь за вас беспокоюсь, мне-то все равно — я выхожу». — «Вы слышите, доктор? — сказал Бришо. — Барон боится, как бы офицеры его не смяли. А между тем они имеют полное право здесь толпиться, потому что Донсьер — это в буквальном смысле слова Сен-Сир, Dominus Cyriacus. Есть много названий городов, в которых Sanctus и Sancta заменены Dominus и Domina. И вот этот тихий военный городок время от времени принимает обманчивый облик Сен-Сира, Версаля и даже Фонтенбло».

---

[396] Примечания: 396
Роберт Первый (866–923) — король Франции (922–923).

Перед отъездом из Ла-Распельер (и перед поездкой туда) я просил Альбертину одеться потеплее, так как прекрасно знал, что в Аменонкуре, в Донсьере, в Эпревиле, в Сен-Васте нам предстоят мимолетные встречи с друзьями. В Эрменонвиле (во владениях Эримунда) мне бывало приятно увидеться с де Козо, — воспользовавшись тем, что ему надо было выйти на станцию встречать гостей, он приглашал меня позавтракать на другой день в Монсюрване, а в Донсьере мне доставляло удовольствие внезапное вторжение кого-нибудь из милейших друзей Сен-Лу: Сен-Лу посылал его (в те дни, когда был занят) передать мне приглашение капитана Бородинского на пирушку офицеров в «Храбром петухе» или унтер-офицеров в «Золотом фазане». Часто приходил сам Сен-Лу, и тогда я, пока он был с нами, незаметно для других брал Альбертину на прицел своего взгляда, хотя это была излишняя предосторожность. Впрочем, однажды мне пришлось временно снять свою охрану. Во время продолжительной остановки с нами поздоровался Блок и, поздоровавшись, немного погодя понесся догонять отца — тот, получив наследство от какого-то дядюшки, снял в аренду замок Командорское и теперь корчил из себя барина, разъезжая в почтовой карете с

форейторами в ливреях. Блок попросил меня сопровождать его. «Но только не медли, ибо эти четвероногие нетерпеливы; беги же, любимец богов, ты обрадуешь моего отца». А мне было невыносимо тяжело оставлять Альбертину с Сен-Лу в поезде, где они могли, как только я оставлю их с глазу на глаз, говорить между собой, перейти в другой вагон, улыбаться друг другу, прикасаться друг к другу, — словом, раз Сен-Лу все еще не уходил, я не в силах был прекратить слежку. Но мне было ясно, что Блок, просивший меня об одолжении, которое состояло всего-навсего в том, чтобы я поздоровался с его родителем, сначала воспринял мой отказ как невежливость, к тому же ничем не оправданную, — ведь кондуктора предупредили же нас, что поезд задержится по крайней мере на четверть часа и что почти все пассажиры, без которых он не отойдет, вышли на платформу; а затем Блок проникся уверенностью — мое поведение в данном случае не оставляло у него никаких сомнений, — что я законченный сноб. Дело в том, что он знал тех, среди кого я находился. Незадолго перед этим де Шарлю, которому хотелось познакомиться с Блоком поближе, забыв или просто не подумав, что это уже было сделано раньше, сказал мне: «Если вы не пред-

ставите мне вашего друга, я буду это расценивать как неуважение ко мне» — и тут же заговорил с Блоком, Блок очаровал его, и барон польстил ему обычным: «Надеюсь, что это наша не последняя встреча». «Итак, решено и подписано: ты не хочешь пробежать несколько шагов и поздороваться с моим отцом, которого ты бы так этим обрадовал!» — сказал мне Блок. Я был огорчен тем, что поступил с Блоком, на первый взгляд, не по-дружески, и в еще большей степени — тем, как это, наверно, объяснял себе Блок: по всей вероятности, он вообразил, что в присутствии «благородных» я с моими друзьями буржуазного происхождения веду себя по-иному. С этого дня он со мной раздружился и — что было мне еще больнее — перестал меня уважать. Однако объяснить Блоку, почему я остался в вагоне, значило открыть ему, что я ревную Альбертину, а это было для меня еще мучительнее, чем оставить его при убеждении в моей светской глупости. Мы не раз это на себе испытали: теоретически мы считаем, что непременно должны объясниться начистоту, разрешить недоразумения. А в жизни они зачастую накапливаются, и в тех редких случаях, когда представляется возможность рассеять их, у нас не оказывается другого выхода — к

данному случаю это не относится, — как предъявить в доказательство нашей правоты нечто такое, что еще больше обидит нашего друга, чем наша мнимая вина, или поведать тайну — так именно надлежало поступить мне, — а это для нас тяжелее самого недоразумения. Впрочем, если б я, даже не объясняя Блоку, почему я отказываюсь, — раз я все равно не мог исполнить его желание, — если б я стал просить его не обижаться на меня, то, показав, что понимаю, что он на меня в обиде, я только усилил бы в нем это чувство.

Оставалось лишь склониться перед волей рока, который судил так, что Альбертина помешала мне сопутствовать Блоку, а в него вселил мысль, что всему виной мое блестящее светское окружение, тогда как, будь оно даже в сто раз более блестящим, оно могло вызвать во мне обратный эффект, то есть я был бы с Блоком особенно любезен и все свое внимание сосредоточил бы на нем. Итак, непреднамеренное, бессмысленное стечение обстоятельств (в данном случае — встреча Альбертины с Сен-Лу), вклинивающееся между человеческими судьбами, линии которых почти сходились, способно разъединить их, и они отходят одна от другой все дальше и дальше и

уже никогда не сблизятся. Даже более ценные дружеские чувства, чем чувства Блока ко мне, все-таки угасают, если неумышленный виновник ссоры не имеет возможности так все объяснить обиженному, что эти объяснения, безусловно, залечили бы рану, нанесенную его самолюбию, и вернули бы его расположение обидчику.

Я употребил выражение: «чувства более ценные, чем чувства Блока ко мне», но это еще мягко сказано. У Блока были все самые мне неприятные недостатки. Любовь к Альбертине случайно превратила их в нечто совершенно для меня нестерпимое. Так, в разговоре со мной, когда я не сводил глаз с Робера, Блок сообщил мне, что на днях завтракал у г-жи Бонтан и что там восхваляли меня так, что «Гелиос.[397] потух». «Отлично, — подумал я, — госпожа Бонтан считает Блока гением, и его восторги принесут мне больше пользы, чем все лестные мнения обо мне, вместе взятые, — ведь это непременно дойдет до Альбертины. Надо ожидать со дня на день, что она об этом услышит; дивлюсь, как это еще ее тетка до сих пор не внушает ей, что я „человек выдающийся“». «Да, — продолжал Блок, — все

[397] Примечания: 397
Гелиос — в греческой мифологии бог солнца.

тебя превозносили. Только я хранил такое глубокое молчание, как будто вместо завтрака, кстати сказать — неважного, я наглотался мака, который так возлюбил блаженнейший брат Танатоса и Леты, божественный Гипнос, налагающий сладостные узы на наше тело и на наш язык[398] И это не потому, чтобы я восхищался тобой меньше, чем свора жадных собак, в общество которых я попал. Но я восхищаюсь тобой, потому что ты для меня ясен, они же восхищаются тобой, потому что ты для них не ясен. Точнее говоря, я так тобой восхищен, что трубить об этом на всех перекрестках — это выше моих сил, восхвалять всенародно то, что хранится у меня в тайниках души, это, с моей точки зрения, профанация. Как они все ни старались расспросить меня о тебе, священная Стыдливость, дочь Крониона,[399] сковала мои уста безмолвием». У меня хватило такта не выказать своего неудовольствия, и все-таки я пришел к заключению, что эта Стыдливость находится в родстве — гораздо более близком, чем с Крони-

[398] Примечания: 398

…божественный Гипнос, налагающий сладостные узы на паше тело и на наш язык. — Здесь Пруст вновь обращается к «Орфическим гимнам» в переводе Леконта де Лиля (гимн 82, посвященный Гипносу — божеству сна, брату Танатоса — Смерти и Леты — Забвения).

[399] Примечания: 399

Кронион — одно из имен Зевса (сын Кроноса).

оном, — со стыдливостью, мешающей критику, который преклоняется перед вами, выражать свое восхищение вслух, потому что он боится, как бы потаенный храм, где вы царите, не наводнила орава невежественных читателей и журналистов; со стыдливостью государственного деятеля, который не представляет вас к ордену, чтобы вас не смешивали с людьми, которые в сравнении с вами ничего не стоят; со стыдливостью академика, который не голосует за вас, чтобы вы были избавлены от унижения числиться коллегой бездарного Х., и, наконец, с более почтенной, но в то же время преступной стыдливостью сыновей, умоляющих вас не писать об их умершем отце, в высшей степени достойном человеке, ибо они хотят, чтобы имя его было предано забвению, чтобы никто не беспокоил его праха, чтобы память и слава о нем заглохли, а между тем их несчастный отец при жизни мечтал о том, чтобы люди, которые с благоговением возложат на его могилу венки, говорили о нем во всеуслышание.

Блок огорчил меня непониманием того, почему я не мог поздороваться с его отцом, и возмутил, признавшись, как он уронил меня в глазах общества у г-жи Бонтан (теперь мне стало понятно, почему Альбертина никогда не упоминала об

этом завтраке и молчала, когда я заговаривал о дружеской привязанности Блока ко мне), зато на барона де Шарлю еврейский юноша произвел отнюдь не отталкивающее впечатление.

Блок, конечно, думал теперь, что я не в силах ни на секунду оторваться от людей из высшего общества, что я завидую расположению, какое они оказывают ему (например, де Шарлю), и что я вбиваю клин между ним и светскими людьми, а барон жалел, что ему так мало пришлось побыть с моим приятелем. По своему обыкновению, он старался это утаить. Он стал расспрашивать меня о Блоке, но с таким безучастным видом и таким небрежным тоном, с таким наигранным любопытством, что казалось, он и не ждал ответа, с видом скучающим, и в его распеве слышались даже не безразличие, а рассеянность и простая учтивость по отношению ко мне. «Он производит впечатление человека неглупого; признался, что пишет, — у него есть талант?» Я заметил, что со стороны де Шарлю было очень любезно выразить желание повидаться с ним. Барон сделал вид, что не расслышал моих слов; повторив эту фразу несколько раз подряд и так и не получив ответа, я начал думать, что стал жертвой слухового обмана, что мне просто послышалось то, что де Шарлю

сказал Блоку. «Он живет в Бальбеке?» — пропел барон, и вопросительная интонация прозвучала в его голосе так слабо, что мне стало досадно, что во французском языке нет никакого другого знака, кроме вопросительного, чтобы заканчивать фразы, в которых слух еле улавливает какой-то намек на вопрос. Впрочем, барону не помог бы и этот знак. «Нет, они сняли поблизости Командорское». Получив нужную ему справку, де Шарлю притворился, что Блок внушает ему чувство омерзения. «Какой ужас! — воскликнул он, придав своему голосу всю его певучую силу. — Все эти селения, носящие название „Командорское“, были выстроены рыцарями Мальтийского ордена (к которому принадлежу и я) и перешли к ним во владение, подобно тому, как местами, получившими название „Храм“ и „Рыцарское“, владеют храмовники. Вот если бы в Командорском поселился я, это было бы вполне естественно. Но еврей! Впрочем, меня это не удивляет: это объясняется особой склонностью к святотатству, свойственной еврейской нации. Если еврей накопил столько денег, что может позволить себе приобрести замок, он непременно выберет такой, который носит название „Обитель“, „Аббатство“, „Монастырь“, „Дом Божий“. Я знал одного ев-

рея-чиновника. Догадайтесь, где он проживал? У храма Благовещенья. Как только дела его стали плохи, он поселился в Бретани, у храма Успения. Когда на Страстной устраиваются непристойные зрелища, именуемые „Страстями“,[400] половину зрительного зала заполняют евреи, злорадствующие при одной мысли, что они сейчас вторично распнут Христа, хотя бы на театральных подмостках. Однажды на концерте Ламурё я сидел рядом с богатым евреем-банкиром. Исполняли „Детство Христа“.[401] Берлиоза — банкир был в ужасном состоянии. Но его лицо сейчас же приняло свойственное ему благодушное выражение, как только зазвучало „Очарование Великой пятницы“. Ваш друг живет в Командорском. Негодяй! Ведь это же садизм! Покажите мне дорогу, — с притворным равнодушием продолжал он, — я как-нибудь пойду туда, посмотрю, как наши

[400] Примечания: 400

«Страсти» — духовные представления, изображающие страдания Христа; уже в Средние века были широко распространены в Европе, став самостоятельным театральным жанром.

[401] Примечания: 401

«Детство Христа» — оратория Гектора Берлиоза, опус 25 (1850–1854), входившая в программу Концертов Колона в Страстную пятницу 28 марта 1902 г. вместе с «Пасхальной Кантатой» Баха и «Очарованием Великой пятницы» из оперы-мистерии Рихарда Вагнера «Парсифаль» (акт III) — одним из любимых пассажей Пруста, взятым им за основу сонаты Вентейля.

старинные поместья терпят такую профанацию. Ваш приятель хорошо воспитан, человек он, по-видимому, тонкий, но у него низкая душонка — в этом все дело. Не хватало еще, чтобы он жил в Париже на Храмовой улице!» Де Шарлю произнес эти слова таким тоном, как будто он хотел только подкрепить свою теорию; на самом деле это был обращенный ко мне завуалированный вопрос: где живет Блок? «Когда-то, — вмешался Бришо, — Храмовая улица называлась улицей Рыцарей Храма. Вы мне позволите, барон, сделать пояснение?» — обратился он к де Шарлю. «Какое? Относительно чего?» — сухо спросил де Шарлю: пояснения мешали барону получить нужные ему сведения. «Да нет, так, пустяки, — оробев, ответил Бришо. — Это по поводу этимологии Бальбека, меня о ней спрашивали. Храмовая улица прежде называлась Подворной, потому что у одного из нормандских аббатств было в Париже свое подворье». Де Шарлю ничего не ответил и сделал вид, что не слышал того, что сказал Бришо, — это была форма, в которой он проявлял неучтивость. «Где живет ваш приятель в Париже? Так как названия трех четвертей парижских улиц происходят от названий церквей или аббатств, то можно предположить, что святотатство продолжается и там.

Ведь нельзя же запретить евреям проживать на бульваре Магдалины, в предместье Георгия Победоносца или на площади Блаженного Августина. Пока их коварство еще не дошло до того, чтобы избрать своим местожительством площадь Собора Богоматери, Архиепископскую набережную, Настоятельницкую улицу или улицу Ave Maria, надо им указать на неудобства проживания в этих местах». Мы не могли утолить любопытство де Шарлю — теперешнего адреса Блока никто не знал. Но мне было известно, что контора его отца находилась на улице Белых Мантий. «Верх извращенности! — воскликнул де Шарлю, видимо, находя в этом вопле насмешливого негодования глубокое удовлетворение. — Улица Белых Мантий! — отчеканивая каждый слог, повторил он со смехом. — Какое святотатство! Вы только подумайте: Белые Мантии, осквернённые господином Блоком, были когда-то мантиями нищенствующих братьев, то есть рабов Пресвятой Девы, обитель которых была там учреждена Людовиком Святым[402] Да и вся улица была улицей монашеских орденов. В этой профанации мы увидим нечто поистине сатанинское, если

[402] Примечания: 402

Людовик Святой — французский король Людовик IX (1215–1270), правивший Францией с 1226 г.

вспомним, что в двух шагах от улицы Белых Мантий находится улица, название которой я забыл и которая вся целиком отдана во власть евреям: тут вам и иудейские вывески на лавчонках, и продажа мацы, и еврейские мясные, — словом, это еврейское местечко в Париже. Вот где надо бы жить господину Блоку! Разумеется, — продолжал барон высокопарным тоном, которому помимо его желания соответствовала, когда он рассуждал об искусстве, доставшаяся ему в наследство от предков горделивая посадка его откинутой головы — головы старого мушкетера времен Людовика XIII, — меня это занимает только с точки зрения эстетической. Политика не входит в круг моих интересов; не могу же я только потому, что к этой нации принадлежит Блок, презирать ее всю и забывать о том, что один из величайших ее представителей — Спиноза. Я обожаю Рембрандта и потому не могу не знать, сколько красоты в синагоге.[403] И чем гетто однороднее, чем оно населеннее, тем лучше. Вообще имейте в виду: у этого народа практичность и корыстолюбие

[403] Примечания: 403

Я обожаю Рембрандта и потому не могу не знать, сколько красоты в синагоге. — Рембрандт жил в еврейском квартале Амстердама, и его соседями и друзьями были ортодоксальные евреи, противники Спинозы. В качестве моделей своих картин Рембрандт часто использовал жителей своего квартала и оставил множество рисунков синагоги.

сращены с садизмом — вот почему ради близости еврейской улицы, о которой я вам рассказывал, ради удобства, заключающегося в том, что израильские мясные под рукой, ваш друг выбрал улицу Белых Мантий. До чего занятно! Этим же объясняется то, что один чудной еврей варил облатки, пока его самого, по всей вероятности, не сварили, а это уж было бы совсем чудно, так как это значило бы, что тело еврея имеет такую же ценность, как тело Господа Бога. Нельзя ли уговорить вашего друга показать нам церковь Белых Мантий? Вспомните, что там похоронен Людовик Орлеанский, убитый Жаном Бесстрашным,[404] который, к несчастью, не освободил нас от Орлеанов. Я лично нахожусь в прекрасных отношениях с моим родственником герцогом Шартрским, но вообще это шайка разбойников, убивших Людовика Шестнадцатого,[405] ограбив-

[404] Примечания: 404

...Людовик Орлеанский, убитый Жаном Бесстрашным... — Герцог Людовик Орлеанский (1372–1407) был убит людьми герцога Бургундского Жана (Иоанном) Бесстрашного 23 ноября 1407 г., когда выходил от своей любовницы Изабеллы Баварской.

[405] Примечания: 405

Людовик Шестнадцатый — французский король (1754–1793), казнен 21 января по решению Национального конвента, депутатом которого был голосовавший за смерть короля герцог Филипп Орлеанский по прозвищу Филипп Эгалите.

ших Карла Десятого.[406] и Генриха Пятого[407] У них это, правда, в роду: среди их предков мы находим Мсье, которую назвали так, вернее всего, потому, что эта старуха была решительно ни на кого не похожа, регента[408] и прочих. Ну и семейка!» Эта антиеврейская и проиудейская речь — все зависело от того, чему придавать больше значения: словам или интонациям, — прервалась мне на потеху из-за того, что в это время, разозлив де Шарлю, со мной стал шушукаться Морель. От Мореля не укрылось впечатление, какое Блок произвел на де Шарлю, и он, тихонько поблагодарив меня за то, что я его «спровадил», цинично заметил: «Ему хотелось остаться, это все ревность, он не прочь занять мое место. У, жидюга!» «Можно было бы воспользоваться

---

[406] Примечания: 406

Карл Десятый — французский король Карл X Филипп (1757–1836), вступил на престол Франции в 1824 г., но своими репрессивными мерами, особенно ордонансами 26 июля 1830 г., грубо нарушавшими конституцию, возбудил неудовольствие народа и после трехдневной (Июльской) революции 1830 г. лишился престола; после него воцарился Людовик-Филипп Орлеанский.

[407] Примечания: 407

Генрих Пятый — Генрих-Карл-Фердинанд де Бурбон, герцог Бордоский, впоследствии граф Шамбор (1820–1883), последний представитель старшей ветви Бурбонов, которого роялисты называли Генрихом V.

[408] Примечания: 408

Регент — имеется в виду Филипп Орлеанский (1674–1723), племянник короля Людовика XIV, регент при малолетнем короле Людовике XV.

этой длительной остановкой, чтобы расспросить вашего друга о еврейских обрядах. Вы не могли бы его догнать?» — спросил меня де Шарлю, и в голосе его прозвучали беспокойство и сомнение. «Нет, это немыслимо: он уехал в экипаже, а кроме того, он на меня обиделся». «Спасибо, спасибо!» — шепнул мне Морель. «Это ерунда, всегда можно взять другой экипаж и догнать; наконец, кто вам мешает поехать в авто?» — сказал де Шарлю, привыкший к тому, что все ему повинуются. Я промолчал — тогда он спросил резко и все еще не теряя надежды: «А что это за таинственный экипаж?» — «Это открытая почтовая карета — теперь она уже, наверное, в Командорском». Де Шарлю подчинился необходимости и попробовал обратить все в шутку: «Вы шею намылили ему, а теперь их лошади, наверно, все в мыле». Наконец нас предупредили, что поезд трогается, и Сен-Лу простился с нами. Это был единственный раз, когда, войдя в наш вагон, он неумышленно причинил мне боль — при мысли, что мне придется оставить его вдвоем с Альбертиной и уйти с Блоком. В других случаях его присутствие не причиняло мне страданий. По своей доброй воле Альбертина, чтобы я не волновался, под любым предлогом выбирала себе такое место, где она да-

же нечаянно не могла коснуться Робера, не могла дотянуться, чтобы пожать ему руку, она подчеркнуто отворачивалась, как только он входил, до неестественности возбужденно начинала болтать с кем-нибудь из пассажиров, и продолжалась такая игра до тех пор, пока Сен-Лу не выходил из вагона. Поэтому его приходы к нашему поезду в Донсьере не причиняли мне боли, даже не стесняли меня, — его приходы ничем не отличались от приходов других людей, а они были мне только приятны, потому что я воспринимал их как дань почтительного гостеприимства. В конце лета, когда мы ехали из Бальбека в Дувиль и вдали виднелся Сен-Пьер-Тисовый, где по вечерам искрились гребни прибрежных скал, розовые-розовые, как вечные снега на горных вершинах, мне уже не сжимала сердце грусть, как в самый первый вечер, когда передо мной внезапно выросла причудливая высь Сен-Пьера-Тисового, — грусть, которая вызвала во мне страстное желание не ехать дальше в Бальбек, а пересесть в парижский поезд и уже не рисовала мне предутреннего часа, когда перед восходом солнца преломляются все цвета радуги, — и где Эльстир, рассказывавший мне об этом зрелище, несколько лет назад столько раз спозаранку бу-

дил мальчугана, чтобы тот голышом позировал ему среди песков. Теперь название Сен-Пьер-Тисовый напоминало мне только о том, что сейчас здесь появится странный человек лет пятидесяти, с нафабренными усами и бородой, человек, безусловно, неглупый, с которым можно поговорить о Шатобриане и о Бальзаке. И в вечернем тумане за энкарвильскими скалами, которые прежде так часто настраивали меня на мечтательный лад, теперь мне виделся лишь — как будто древний песчаник стал прозрачным — красивый дом дядюшки маркиза де Говожо, и я не сомневался, что, если я не захочу ужинать в Ла-Распельер или возвращаться в Бальбек, мне всегда будут там рады. Словом, не только названия, но и самые местности утратили для меня первоначальную свою таинственность. Названия, уже наполовину лишенные таинственности, которую этимология развеяла своею рассудочностью, опустились на одну ступень ниже. Проезжая по дороге обратно через Эрменонвиль, Сен-Васт, Арамбувиль, мы на каждой станции различали только тени, сперва мы не узнавали, кто это, а Бришо, ничего не видевший у себя под носом, в темноте, вероятно, принимал их за призраки Эримунда, Гвиска-

ра[409] или Эрембальда. Тени приближались к вагону. Это был маркиз де Говожо и его гости, которых он провожал; окончательно рассорившись с Вердюренами, он от имени своей матери и жены спрашивал моего позволения, нельзя ли меня «похитить» и на несколько дней задержать в Фетерне, где прекрасная певица, которая пропела бы мне всего Глюка, должна была сменить известного шахматиста, с которым я сыграл бы несколько изумительных партий, причем все это должно было совмещаться с рыбной ловлей, с катаньем на яхте по заливу, даже с ужинами у Вердюренов — маркиз давал мне честное слово, что будет меня туда «отпускать», говорил, что сам будет меня отвозить и привозить: так, мол, будет и мне удобнее, и ему спокойнее. «Я уверен, что вам вредно к ним подниматься. По крайней мере, на мою сестру это подействовало бы ужасно. Она верну лась бы в таком состоянии! Кстати, ей сейчас не по себе. Ах, и у вас был сильный приступ? Значит, завтра вы не сможете держаться на ногах!» Он говорил об этом, корчась от смеха, — но не потому, что он был злой человек, а потому же,

[409] Примечания: 409

Гвискар, Робер (ок. 1015–1085) — норманнский герцог, положивший конец византийскому владычеству в Италии и основавший Неаполитанское королевство.

почему он не мог не рассмеяться при виде растянувшегося хромого или разговаривая с глухим. «А за последнее время? Как, у вас две недели не было приступа? Ну, знаете, вы молодец. Вам непременно надо съездить в Фетерн и поговорить об удушьях с моей сестрой». В Энкарвиле появлялся маркиз де Монпейру — он все время проводил на охоте и потому не мог попасть в Фетерн; выходил он «к поезду» в охотничьих сапогах, в шляпе с фазаньим пером пожать руку приезжавшим туда, а заодно и мне, и сообщить при этом, что на этой неделе в любой удобный для меня день ко мне приедет его сын, заранее поблагодарить меня и сказать, что он был бы счастлив, если б мне как-нибудь удалось приохотить сына к чтению; приходил и граф де Креси, совершая прогулку, как он выражался, «для пищеварения» и чтобы выкурить трубку, однако он не отказывался от одной и даже от нескольких сигар. «Ну так что же? — говорил он мне. — Когда вы мне назначите день следующего вашего лукуллова пиршества? Разве нам не о чем поговорить? Позвольте вам напомнить, что мы так и не выяснили происхождение двух ветвей рода Монгомери. Надо с этим вопросом покончить. Я на вас надеюсь». Другие приходили только за газетами. Многие болтали с

нами, и я подозревал, что они выползали из своих домиков на ближайшую платформу, на станцию, потому что у них было только одно дело: встретиться на минутку со своими знакомыми. Ведь, по существу, эти остановки дачного поезда ничем не отличались от светского салона. Да и поезд, казалось, входил в роль и приобретал почти человеческую благожелательность: он терпеливо, покорно, долго, сколько требовалось, ждал запоздавших и, даже отойдя, останавливался, подбирая махавших ему рукой; люди бежали за ним пыхтя, и в этом обнаруживалось их сходство с ним, а различие — в том, что они мчались за ним со всех ног, а он выказывал благоразумную медлительность. Теперь ни Эрменонвиль, ни Арамбувиль, ни Энкарвиль уже не рисовали в моем воображении исполненных грозного величия картин нашествия норманнов, и города не радовались тому, что с них снят покров неизъяснимой грусти, некогда окутывавший их в сырой вечер. Донсьер! Долго-долго после того, как я уже изучил город и мои мечты разлетелись, в его названии сохранялись приятная свежесть воздуха на улицах, залитые светом витрины, выставленная на них аппетитная дичь. Донсьер! Теперь это была только станция, где в поезд садился

Морель; Эглевиль (Aquilaevilld) — станция, где нас обычно поджидала княгиня Щербатова. Менвиль — станция, где в погожие вечера сходила с поезда Альбертина, если она не очень устала и ей хотелось еще немного побыть со мной, а отсюда до дому ей надо было пройти всего лишь на одну тропинку дальше, чем от Парвиля (Paterni villa). Я не только не испытывал теперь мучительного страха одиночества, как в первый вечер, но уже и не боялся, что он меня охватит, не боялся, что затоскую по родине, что я почувствую себя одиноким на этой земле, обладавшей способностью взращивать не только каштаны и тамариск, но и дружеские отношения, которые на пути следования образовывали длинную цепь, порой обрывая ее, как гряду голубоватых холмов, порой скрывая за утесом или за пристанционной липой, но непременно на каждой станции посылая ко мне приветливого дворянина, который прерывал мой путь сердечным рукопожатием, разгонял мою скуку и выражал готовность в случае надобности поехать дальше вдвоем. На следующей станции меня поджидал еще кто-нибудь, так что свисток игрушечного поезда возвещал о том, что, расставшись с одним знакомым, я тут же встречусь с другим. Между отстоявшими особенно далеко

один от другого домиками и проходившей мимо них железной дорогой, по которой поезда двигались не быстрее, чем быстро идущий человек, расстояние было так невелико, что в тот момент, когда, стоя на платформе, нас вызывали из зала ожидания их владельцы, мы могли подумать, что они зовут нас, стоя на пороге своих домов или из окна своей комнаты, как будто пригородная железнодорожная ветка была всего лишь улочкой провинциального городишка, а стоявшая на отлете дворянская усадьба — одним из городских домов; и даже на тех редких станциях, где никто не говорил мне «Добрый вечер!», в тишине была для меня особая целебная умиротворяющая полнота, так как я знал, что она соткана из снов моих друзей, рано легших спать в ближайших поместьях, где мне будут рады, если я разбужу их и попрошу меня приютить. Привычка так заполняет наше время, что несколько месяцев спустя по приезде в город у нас не остается ни одной свободной минуты, а ведь вначале город предоставлял в мое распоряжение все двенадцать часов дня, теперь же, если мне случайно и выпадал незанятый час, мне и в голову не приходило употребить его на осмотр церкви, ради которой я когда-то поехал в Бальбек, или мысленно срав-

нить ту местность, какую писал Эльстир, с его эскизом, который я у него видел, — нет, я лучше пошел бы к Фере сыграть партию в шахматы. В самом деле, развращающее влияние Бальбека — и его очарование тоже — заключалось в том, что он превратился для меня в страну знакомых; его необычное местоположение, засеянные поля, пестревшие вдоль берега, неизбежно превращали мои поездки к самым разным друзьям в путешествия, но они же и сводили эти путешествия к веренице светских развлечений. В былое время названия, которые я, перелистывая главу о Ла-Манше, находил в самом обыкновенном «Дворцовом ежегоднике», волновали меня так же, как названия железных дорог в справочнике, а теперь названия железных дорог стали для меня до того привычными, что я раскрывал справочник на странице Бальбек — Дувиль через Донсьер с таким же невозмутимым спокойствием, с каким раскрыл бы адрес-календарь. В этой долине, поверхность которой была для меня вся исчерчена линиями отношений с людьми, населена многочисленными видимыми или невидимыми друзьями, я уже не различал в поэзии вечерних звуков крик совы или кваканье лягушки — их заменяли приветствия Крикто или Бришо. В

бальбекском воздухе смирялись все тревоги, в нем, перенасыщенном запахами человеческого уюта, легко, даже слишком вольно дышалось. Здесь я, по крайней мере, научился смотреть на вещи с практической точки зрения. Женитьба на Альбертине представлялась мне теперь самым настоящим безумием.

Глава четвертая

Я только и ждал повода для окончательного разрыва. И однажды вечером, накануне того дня, когда мама, чтобы ухаживать за умирающей теткой, собиралась уехать в Комбре, оставив меня в Бальбеке подышать морским воздухом, на чем так настаивала в свое время бабушка, я объявил маме, что бесповоротно решил не жениться на Альбертине и в ближайшее время перестать с ней встречаться. Я был доволен, что могу обрадовать маму накануне ее отъезда. Она не скрыла от меня, что это для нее в самом деле большая радость. Мне надо было объясниться и с Альбертиной. Возвращаясь вместе с ней из Ла-Распельер, чувствуя себя по-особому счастливым, отдалившимся от нее, я, когда «верные» вышли, кто — в Сен-Марсе-Одетом, кто — в Сен-Пьере-Тисовом, кто — в Донсьере, и когда в вагоне остались только мы двое, решил начать разговор. Дело состояло, однако, вот в чем: девушки, которую я теперь любил, в Бальбеке не было, так же как и ее приятельниц, но они собирались вернуться (мне было хорошо с ними со всеми, потому что в каждой из них я, как и в первый день, ощущал частицу их общей

сущности, — это было как бы одно племя); я полюбил Андре. Раз она через несколько дней опять приедет в Бальбек, то, конечно, сейчас же придет ко мне, а я, чтобы сохранить свою свободу, чтобы не жениться на ней, если я этого не захочу, чтобы иметь возможность поехать в Венецию, а пока что держать ее в полном подчинении, не подам ей вида, что я о ней тосковал и что безумно рад ее приезду, — когда она ко мне придет, я начну разговор вот с чего: «Как жаль, что мы не встретились раньше! Я бы в вас влюбился, а теперь мое сердце занято. Но это ничего не значит, мы будем видеться часто; та любовь причиняет мне одни страдания, а вы меня утешите». Представляя себе это объяснение, я мысленно улыбался: так я мог бы внушить Андре, что в самом деле не люблю ее; она не устанет от меня, и я радостно и спокойно буду наслаждаться ее любовью. Но все это настоятельно требовало серьезного разговора с Альбертиной, чтобы не нанести ей жестокого удара: раз я решил отдать свое сердце ее подруге, Альбертина должна знать, что я ее разлюбил. Сказать ей об этом я должен не мешкая, так как Андре можно ждать со дня на день. Но когда мы подъезжали к Парвилю, я подумал, что нынче вечером у нас не хватит времени и что лучше

объявить ей о моем бесповоротном решении завтра. И я заговорил об ужине у Вердюренов, на котором мы только что были. Когда поезд отошел от Энкарвиля, от последней станции перед Парвилем, Альбертина, надевая пальто, сказала: «Значит, до завтра, до „Вердюренов“, — не забудьте, что вы должны за мной заехать». Я ответил ей нарочито сухо: «Да, если только я на сей раз не „спасую“, потому что я все больше и больше убеждаюсь, что так жить, как живем мы с вами, просто глупо. Во всяком случае, если мы и поедем, то, чтобы моя поездка в Ла-Распельер не оказалась пустой тратой времени, мне надо будет попросить госпожу Вердюрен об одной вещи, которая может меня очень заинтересовать, стать предметом для изучения, доставить наслаждение, а то ведь моя жизнь в Бальбеке в этом году почти безрадостна». — «Это не слишком любезно с вашей стороны, но я на вас не сержусь — я вижу, что вы нервничаете. А что это за наслаждение?» — «Пусть госпожа Вердюрен даст мне возможность послушать вещи одного композитора, она прекрасно знает его произведения. Я знаю одно, а говорят, что у него есть и другие, и вот мне хочется выяснить, изданы ли они и чем они отличаются от того». — «Кто этот ком-

позитор?» — «Девчушка! Если я тебе назову его фамилию — Вентейль, много ли это тебе скажет?» Мы вольны говорить о чем угодно, но правды внутри наших слов все нет как нет, а когда мы меньше всего этого ожидаем, тут-то она и вводит в нас извне свое страшное жало, и рана остается навсегда. «Вот потеха! — сказала Альбертина, вставая, так как поезд уже замедлил ход. — Это мне не только сказало больше, чем вы думаете, но я и без госпожи Вердюрен могу дать вам на все точный ответ. Помните, я рассказывала вам об одной своей приятельнице, старше меня, которая заменила мне мать и сестру, с которой я провела в Триесте мои лучшие годы и с которой я, кстати сказать, снова должна встретиться в Шербуре, откуда мы вместе отправимся путешествовать (это может показаться причудой, но вы же знаете, как я люблю море)? Ну так вот, эта моя приятельница (только вы, пожалуйста, не вообразите, что она из таких!) — подумайте, какое удивительное стечение обстоятельств! — самая близкая подруга дочери Вентейля, и с дочерью Вентейля я почти так же дружна. Я их обеих называю моими старшими сестрами. Я рада доказать вам, что ваша глупенькая Альбертина может быть вам полезна по части музыки, в которой я, впрочем, как вы

совершенно верно заметили, ничего не смыслю». При этих словах, которые Альбертина произнесла, когда мы подъезжали к Парвилю, когда мы были так далеко от Комбре и от Монжувена, так много лет спустя после смерти Вентейля, в моей душе зашевелился образ — образ, так долго хранившийся в ней, образ, вредоносное действие которого я предугадывал, пряча его на дне души и не теряя, однако, надежды, что с течением времени оно сойдет на нет, продолжавший жить во мне, подобно Оресту, чью гибель боги предотвратили, дабы в предуказанный день он вернулся на родину и отомстил за убийство Агамемнона, продолжавший жить, чтобы терзать меня, мне в наказание — кто знает? — может быть, за то, что я не спас бабушку; быть может, возникший внезапно из мрака, где, казалось, он был похоронен, и поразивший меня, как Мститель, дабы ознаменовать для меня начало страшной жизни — жизни новой и мною заслуженной, а может быть, еще и для того, чтобы бросить сноп яркого света на беспрестанно возникающие роковые последствия дурных поступков — не только для тех, кто их совершил, но и для тех, кто думает, что он только видел любопытное и занятное зрелище, как это — увы! — произошло со мной в тот дале-

кий вечер в Монжувене, когда, спрятавшись за куст (так же, как когда я, затаив дыхание, слушал рассказ о любви Свана), я неосторожно открыл Познанию широкий, роковой, суливший мне горе путь внутрь себя. И в это же время страшное горе породило во мне чувство, похожее на гордость, чувство, похожее на радость, — чувство, какое испытывает человек, который от удара одним прыжком взлетает на вершину, которой иначе ему бы ни за что не достичь. Альбертина, подруга мадемуазель Вентейль и ее приятельницы, поддавшаяся на соблазн лесбийской любви, — это, по сравнению с тем, что я воображал, когда меня обуревали самые мучительные сомнения, было тем же, чем в сравнении с акустическим приборчиком на выставке 1889 года, от которого ждали только, что он соединит два конца здания, являются телеграфные провода, реющие над улицами, городами, морями, соединяющие государства. Я причалил к страшной terra incognita, передо мной открывалась пора негаданных страданий. И все же обрушивающийся на нас осязаемый потоп, как бы ни был он безмерен рядом с нашими робкими и жалкими предположениями, уже предчувствуется в них. Наверно, такой потоп хлынул и на меня, когда я узнал нечто для

себя новое, наверно, таким потопом было для дружбы Альбертины и мадемуазель Вентейль то, что было недоступно моему уму, но то, что внушало мне неясные опасения еще тогда, когда я тревожным взглядом смотрел на Альбертину, находившуюся в обществе Андре. Часто только слабость творческого воображения мешает нам идти дальше по пути страдания. Но и самая страшная действительность сообща со страданием радуют нас удивительным открытием — она придает новую, явственную форму тому, что мы, сами того не подозревая, пережевывали с давних пор. Поезд остановился в Парвиле, а так как мы были единственными пассажирами, то кондуктор прокричал «Парвиль!» голосом, ослабевшим от сознания ненужности своей обязанности, от привычки, которая все-таки заставляла его исполнять ее, которая приучила его к точности, но которая вместе с тем воспитала в нем безразличие, а главное — оттого, что ему хотелось спать. Альбертина сидела напротив меня; увидев, что она приехала, она пошла к дверце и отворила ее. Но те движения, которые она делала для того, чтобы выйти из вагона, раздирали мне сердце, как будто — хотя, казалось бы, тело Альбертины не было связано с моим телом — разделявшее

нас пространство, которое правдивый художник должен был бы запечатлеть, представляло собой всего лишь видимость, так что тот, кто задался бы целью, в согласии с истинной действительностью, все перерисовать наново, должен был бы поместить Альбертину не на некотором расстоянии от меня, а внутри меня. Когда она удалялась, мне стало так больно, что я бросился вслед за ней и в отчаянии потянул ее за руку. «У вас нет никаких веских причин, которые мешали бы вам переночевать в Бальбеке?» — «Никаких. Но я умираю, как хочу спать». — «Вы оказали бы мне бесценную услугу…» — «Ну что ж, хорошо, только я не понимаю, почему вы не сказали раньше. Одним словом, я буду ночевать в Бальбеке». Моя мать уже спала, когда, распорядившись, чтобы Альбертине отвели номер на другом этаже, я прошел к себе. Сидя у окна, я делал над собой усилие, чтобы не разрыдаться и не разбудить маму, которую отделяла от меня тонкая переборка. Я забыл закрыть ставни и, подняв глаза, увидел багровый отблеск заходящего солнца, который бросился мне в глаза в ривбельском ресторане и который уловил Эльстир на одном из своих этюдов. Я вспомнил, как я был взволнован, когда увидел его из окна вагона, в первый раз подъезжая к Бальбе-

ку, увидел этот образ вечера — предвестника не ночи, а нового дня. Но теперь уже ни один день не будет для меня новым, не оживит во мне стремления к неведомому счастью — это будет еще один день моих мучений, которые не прекратятся до тех пор, пока у меня хватит сил их выносить. Теперь я уже был уверен в том, что Котар, когда мы с ним сидели в парвильском казино, не лгал. То, чего я опасался, то, что давно уже смутно подозревал в Альбертине, то, что инстинктом угадывал во всем ее существе, но от чего мой разум, потому что мне так хотелось, все время отмахивался, — это была правда! За Альбертиной я видел уже не голубые горы морских волн, а комнату в Монжувене, где она падала в объятия мадемуазель Вентейль — падала со смехом, в котором словно звучало не изведанное ею до сих пор наслаждение. Да иначе и быть не могло: отказалась ли бы мадемуазель Вентейль с ее-то наклонностями от попытки прельстить такую красавицу, как Альбертина? Доказательством того, что Альбертина не была оскорблена ее предложением и согласилась, служит то, что они не поссорились и что близость их крепнет. А изящное движение Альбертины, каким она опускала подбородок на плечо Розамунды, с улыбкой глядя

на нее и целуя ее в шею, движение, напомнившее мне мадемуазель Вентейль, движение, которое заставляло меня задумываться, но которое до сих пор не приводило меня к решительному выводу, что один и тот же наклон головы есть неизбежное следствие одного и того же порока, — как знать, быть может, Альбертина просто-напросто переняла его у мадемуазель Вентейль? Погасшее небо мало-помалу разгоралось. Прежде, просыпаясь, я всегда встречал улыбкой любую вещь, любое явление — чашку кофе с молоком, шум дождя, рев ветра, а теперь я почувствовал, что день, который вот-вот настанет, и те дни, которые придут ему на смену, уже не принесут мне надежды на неведомое счастье — они будут только растягивать мои мученья. Я все еще дорожил жизнью, хотя и сознавал, что ничего, кроме жестокости, мне от нее ждать нечего. Я побежал к лифту и, несмотря на неурочное время, вызвал дежурившего ночью лифтера и попросил его дойти до номера Альбертины и сказать ей, что я прошу ее принять меня, так как мне надо сообщить ей важную вещь. «Мадемуазель сейчас сама к вам зайдет, — передал он мне ее ответ. — Подождите минуточку». В самом деле, вскоре появилась Альбертина в капоте. «Альбертина! — начал я

очень тихо, попросив и ее говорить чуть слышно, чтобы не разбудить мою мать, отделенную от нас переборкой, тонкость которой была теперь нам неудобна, потому что заставляла нас понижать голос до шепота, но которая прежде, в силу своей особой музыкальной прозрачности, так верно служила моей бабушке. — Мне стыдно, что я вас побеспокоил. Вот в чем дело. Чтобы вы меня поняли, я должен сказать вам одну вещь, которой вы не знаете. Уезжая сюда, я оставил женщину, на которой должен был жениться, которая готова была все бросить ради меня. Сегодня утром она должна отправиться в путешествие, и вот уже целую неделю я каждый день задаю себе вопрос, хватит ли у меня мужества не телеграфировать ей, что я возвращаюсь. Мужества у меня хватило, но я чувствовал себя таким несчастным, что едва не покончил с собой. Потому-то я и попросил вас вчера вечером переночевать в Бальбеке. Если б я твердо решил умереть, мне было бы отрадно с вами попрощаться». Тут я дал волю слезам, и благодаря моей выдумке это не могло не показаться естественным. «Бедненький мой! Если б я знала, я бы всю ночь провела с вами! — воскликнула Альбертина; она ни на секунду не задумалась над тем, что я, может быть, все-таки женюсь на той

и от нее ускользнет „прекрасная партия“, — так близко к сердцу принимала она мои страдания, я же мог скрыть от нее их причину, но не сами страдания и не их тяжесть. — То-то я вчера всю дорогу от Ла-Распельер чувствовала, что вы нервничаете, что вам грустно, и боялась за вас, — продолжала Альбертина. На самом деле я загрустил только в Парвиле, а мое нервное состояние, которое Альбертина, к счастью, связывала с моей грустью, было вызвано совсем другой причиной: досадой при мысли о том, что мне придется еще некоторое время провести с ней. — Я вас не покину, я все время буду здесь». Она предлагала мне — и только она могла мне его предложить — единственное средство против яда, от которого у меня все внутри жгло, но, несмотря на однородность сладостного снадобья и жестокого яда, исходили они от Альбертины, от нее одной. В это мгновенье Альбертина — моя боль — перестала мучить меня, а другая Альбертина — моя целительница — умиляла меня, как умиляют выздоравливающего. Но тут я подумал о том, что скоро она из Бальбека уедет в Шербур, а оттуда — в Триест. Ее прошлое возродится. Помешать Альбертине сесть на пароход, постараться увезти ее в Париж — это было мое

основное желание. Разумеется, если б она захотела, ей было бы еще проще, чем из Бальбека, уехать в Триест из Парижа, но там было бы видно; может быть, мне удалось бы упросить герцогиню Германтскую косвенным путем воздействовать на подругу мадемуазель Вентейль, чтобы она не оставалась в Триесте, чтобы она куда-нибудь переехала, — может быть, к принцу де..., с которым я встречался у маркизы де Вильпаризи и у самой герцогини Германтской. А тот, даже если бы Альбертина изъявила желание приходить к нему, чтобы видеться со своей подругой, мог бы, получив наказ от герцогини Германтской, расстраивать их свидания. Конечно, я мог бы возразить себе, что если у Альбертины такая наклонность, то в Париже найдется много других женщин, которые дадут ей удовлетворение. Но всякая вспышка ревности не похожа на другую: в ней отражается тот или та — в данном случае подруга мадемуазель Вентейль, — которая ее вызвала. Подруга мадемуазель Вентейль особенно меня тревожила. Моя непонятная для других любовь к Австрии, которую я любил потому, что оттуда привезли Альбертину (ее дядя был там советником посольства), потому что ее географические особенности, памятники ее старины,

ее пейзажи я мог видеть, точно в атласе, точно в альбоме, в улыбке, в манерах Альбертины, это мое непонятное для других пристрастие все еще жило во мне, но теперь к любви примешалось омерзение. Да, Альбертина приехала оттуда. Там она в каждом доме непременно встретила бы подругу мадемуазель Вентейль или ей подобных. Привычки, приобретенные в детстве, могут возродиться; через три месяца подруги соберутся на Рождество, потом на Новый год — в дни, для меня по-особому печальные, потому что они, неведомо для меня, напоминали мне о том, как я тосковал, когда меня разлучали с Жильбертой на все время новогодних каникул. После долгого ужина, после встречи Нового года, когда все будут веселы и возбуждены, Альбертина и ее тамошние приятельницы примут те самые позы, какие на моих глазах принимали она и Андре, хотя дружба их была невинна, — кто знает? быть может, те позы, которые в Монжувене в нескольких шагах от меня принимала мадемуазель Вентейль, когда за ней гонялась ее подруга. Мне мерещилось, что у мадемуазель Вентейль, которую, прежде чем накрыть ее своим телом, ласкала ее подруга, разгоряченное лицо Альбертины — Альбертины, которая сначала

бросилась бежать, потом, явственно для моего слуха, засмеялась странным, загадочным смехом и наконец сдалась. Что значила в сравнении с этой мукой ревность, которая закралась ко мне в тот день, когда Сен-Лу встретился в Донсьере с Альбертиной и со мной и когда она начала с ним заигрывать, или ревность, которая мной овладевала, когда я вспоминал о незнакомце, которому я был обязан первыми ее поцелуями в Париже в тот день, когда я ждал письма от мадемуазель де Стермарья! Та, иная ревность, ревность к Сен-Лу или к какому-нибудь другому молодому человеку, — это была не ревность. В таких случаях я — самое большее — мог бояться соперника и мог рассчитывать на победу. Но в данном случае соперник не был подобен мне, у него было другое оружие, я не мог сразиться с ним на одном поле, Альбертина не получила бы от меня тех наслаждений, о которых я не имел понятия. Во многих случаях мы готовы променять нашу будущность на что-нибудь ничтожное. Когда-то я готов был отказаться от всех жизненных благ, только бы познакомиться с г-жой Блатен, потому что она была приятельницей г-жи Сван. Теперь, только чтобы Альбертина не уехала в Триест, я претерпел бы жесточайшие муки, а если б этого было мало,

то заставил бы вынести их ее, я бы отгородил ее от всего мира, заточил бы ее, отнял бы у нее те небольшие деньги, без которых она не могла бы отправиться в путешествие. Если прежде, когда я стремился в Бальбек, я сгорал от нетерпения увидеть персидскую церковь, бурю на рассвете, то теперь сердце мое разрывалось, когда я думал, что Альбертина поедет в Триест, мне отравляло жизнь одно сознание, что рождественскую ночь она может провести с подругой мадемуазель Вентейль: ведь когда наше воображение меняет свою природу и превращается в чувство, число образов, которыми оно располагает в данное время, не увеличивается. Если б мне сказали, что ее сейчас нет ни в Шербуре, ни в Триесте, что она не увидится с Альбертиной, как бы облегченно и радостно я заплакал! Как изменились бы и моя жизнь, и ее будущее! И ведь я же знал, что сосредоточивать ревность на одном каком-то лице неправомерно, что если у Альбертины такая наклонность, то ей могут дать удовлетворение другие. Быть может, те же самые девушки, если б она встречалась с ними где-нибудь еще, не так терзали бы мне сердце. Именно из Триеста, из этого неведомого мира, где, как я чувствовал, Альбертине хорошо жилось, с которым у нее

были связаны воспоминания детства, дружеские отношения, детские увлечения, на меня веяло враждебным, непонятным воздухом вроде того, который когда-то в Комбре поднимался в мою комнату из столовой, откуда ко мне вместе со звоном вилок долетали голос и смех мамы, разговаривавшей с посторонними людьми, — мамы, которая может не прийти со мною проститься; вроде того воздуха, которым полнились для Свана дома, куда Одетта ездила вечерами в поисках непостижимых наслаждений. О Триесте я уже не думал теперь как о чудном крае, где жители задумчивы, закаты золотисты, звон колоколов печален, а как о проклятом городе, который я немедленно предал бы огню, который я стер бы с лица земли. Этот город вонзился в мое сердце неизвлекаемым острием. Отпустить Альбертину в Шербур и в Триест — нет, это ужасно! Но и оставить ее в Бальбеке — тоже. Ведь теперь, когда близость моей подружки с мадемуазель Вентейль стала для меня почти несомненной, мне казалось, что время, которое Альбертина посвящает не мне (а мы иногда не виделись по целым дням из-за ее тетки), она проводит с родственницами Блока, а может быть — с другими женщинами. От одной мысли, что вечером она

увидится с родственницами Блока, я сходил с ума. Вот почему, когда она мне объявила, что несколько дней проведет со мной, я ответил ей так: «Дело в том, что я собираюсь в Париж. Поедемте со мной? Вы бы не согласились некоторое время пожить в Париже у нас?» Надо было во что бы то ни стало, по крайней мере — несколько дней, не оставлять ее одну, держать ее при себе, чтобы быть уверенным, что она не увидится с подругой мадемуазель Вентейль. Это значило бы, что она жила бы у меня, так как мама решила, воспользовавшись поездкой моего отца по делам службы, исполнить свой долг, исполнить волю бабушки, которой хотелось, чтобы моя мать иногда приезжала на несколько дней в Комбре к одной из ее сестер. Мама не питала к ней нежных чувств за то, что она, любимица бабушки, была с ней холодна. Люди обыкновенно не добром поминают тех, кого они невзлюбили в детстве. Но мама, заменившая мне бабушку, была не злопамятна; жизнь ее матери — это было для нее как бы чистое, невинное детство, источник воспоминаний, сладость или горечь которых определяла ее поступки. Моя двоюродная бабушка могла бы сообщить маме некоторые драгоценные подробности, но теперь их трудно было узнать у

нее, так как она была тяжело больна (говорили, что у нее рак), и мама упрекала себя за то, что до сих пор к ней не собралась, а не собралась она, чтобы не оставлять отца одного; вдохновляло ее на поездку еще и то, что так поступила бы ее мать, и то, что в день рождения бабушкина отца, который был очень плохим отцом, ей хотелось отнести на кладбище цветы, которыми обычно украшала его могилу бабушка, а близость могилы, которая вот-вот должна была разверзнуться, мама постаралась бы скрасить лаской, в которой отказывала бабушке ее сестра. В Комбре моя мать собиралась заняться хозяйственными делами — по желанию бабушки эти работы должны были вестись под наблюдением ее дочери. Потому-то они еще и не начинались. Маме не хотелось уезжать из Парижа раньше отца, чтобы ему не так тяжело было без нее, — хотя смерть тетки моей матери не могла особенно его огорчить, но сочувствовал он маме всей душой. «Нет, теперь это немыслимо, — ответила мне Альбертина. — А зачем вам так скоро возвращаться в Париж, раз эта дама уехала?» — «Мне будет спокойнее там, где мы с ней познакомились, чем в Бальбеке, которого она никогда не видела и к которому я теперь испытываю отвращение». Поняла ли

впоследствии Альбертина, что той, другой, не существовало и что если я в ту ночь в самом деле хотел умереть, то лишь потому, что она по своему легкомыслию призналась мне, что близка с подругой мадемуазель Вентейль? Возможно. Временами мне кажется, что поняла. Во всяком случае, в то утро она поверила, что эта женщина существует на самом деле. «Вам, мой мальчик, надо бы жениться на этой даме, — сказала она, — вы были бы счастливы, и она, наверное, тоже». Я ответил, что мысль о возможности сделать эту женщину счастливой действительно чуть-чуть не заставила меня решиться на этот шаг; недавно, когда я получил большое наследство, благодаря которому я окружил бы мою жену роскошью и доставлял бы ей всякого рода развлечения, я готов был принять жертву от той, кого я любил. Упоенный благодарностью, которую я испытывал к Альбертине за то, что она со мной ласкова, и одновременно терзаемый невыносимой душевной пыткой, которую я терпел из-за нее, я, подобно тем, кто готов обещать целое состояние лакею в кафе за то, что тот наливает ему шестую рюмку водки, — я сказал, что у моей жены был бы автомобиль, яхта и что раз Альбертине так нравятся прогулки на авто и на яхте, то жаль, что

я люблю не ее, что для нее я был бы идеальным мужем, но что мы еще посмотрим, что у нас еще, надо надеяться, будут приятные встречи. Подобно тому, как пьяные из боязни, что их поколотят, остерегаются окликать прохожих, я все же не допустил той неосторожности (если только это можно назвать не осторожностью), какую допустил бы во времена Жильберты, и не сказал ей, что люблю ее, Альбертину. «Вот видите, я чуть было на ней не женился. И все-таки я на это не отважился, я был против того, чтобы молодая женщина связала свою жизнь с таким больным и с таким скучным человеком, как я». — «Да вы с ума сошли! Все хотели бы связать свою жизнь с вами, посмотрите, как за вами гоняются. У Вердюренов только о вас и говорят, и в самом высшем свете тоже — это мне известно. Значит, дама была с вами недостаточно мила, раз вы так в себе засомневались. Теперь я вижу, что это за птица, она злая, я ее терпеть не могу, ах, если б я была на ее месте!» — «Да нет же, она очень милая, на редкость милая! А на Вердюренов и на прочих мне наплевать. Если не считать той, кого я люблю и с кем я все-таки прекратил отношения, я дорожу только моей славной Альбертиной; только она, если мы с ней будем часто видеться, по крайней

мере первое время, — вставил я, чтобы не испугать ее и иметь возможность о многом просить ее в первые дни, — может меня хоть немного утешить». Я только намекнул на возможность брака, но тут же добавил, что это неосуществимо, потому что мы не сойдемся характерами. Моя ревность питалась воспоминаниями о связи Сен-Лу и «Рахиль, ты мне дана», Свана и Одетты и порождала навязчивую мысль о том, что раз я люблю, то не могу быть любимым, и что женщина может ко мне привязаться только из выгоды. Конечно, мерить Альбертину меркой Одетты и Рахили было глупо. Но дело было не в ней, дело было во мне, дело было в чувствах, какие я мог в ней вызвать и какие я из ревности недооценивал. Множество несчастий, которые впоследствии постигнут нас, по всей вероятности, родилось из этого убеждения, быть может, необоснованного. «Значит, вы не хотите ехать со мной в Париж?» — «Сейчас меня не пустит тетя. Но даже если я потом и приеду, то не покажется ли странным, что я остановлюсь у вас? Ведь в Париже всем известно, что мы с вами не в родстве». — «Ну так мы скажем, что у нас состоялось что-то вроде помолвки. Тут ничего такого нет, раз мы сами будем знать, что это неправда». У Альбертины

из-под рубашки выступала шея, упругая, золотистая, в крупных веснушках. Я поцеловал ее с таким же чистым чувством, с каким целовал мою мать, пытаясь хоть как-то утишить мое детское горе, которое тогда казалось мне неизбывным. Альбертина пошла одеваться. Ее самоотверженность уже начинала давать трещину — ведь она же только что уверяла, что не покинет меня ни на миг. (Я чувствовал, что ее решимости хватит ненадолго, — я боялся, что, если мы останемся в Бальбеке, она нынче же вечером уйдет от меня и встретится с родственницами Блока.) И вот она пришла ко мне и заявляет, что едет в Менвиль, а вернется во второй половине дня. Она ночевала не дома, на ее имя могли прийти письма, да и тетя, наверно, беспокоится. «Если дело только в этом, — возразил я, — то можно послать к тете лифтера, и он скажет ей, что вы здесь, и возьмет ваши письма». Желая показать, какая она добрая, хотя и не любит быть послушной, она сначала насупилась, но тут же самым милым тоном сказала: «Идет!» — и послала лифтера к тетке. Она от меня не отходила; вдруг в мою дверь тихонько постучался лифтер. Для меня явилось неожиданностью, что, пока мы разговаривали с Альбертиной, он успел съездить в Менвиль и

обратно. Он пришел мне сказать, что Альбертина послала тетке записку и что она может, если мне угодно, сегодня же уехать в Париж. Давая ему это устное поручение, Альбертина поступила опрометчиво, так как, несмотря на ранний час, директор, уже обо всем осведомленный и взволнованный, прибежал ко мне спросить, чем я недоволен, правда ли, что я уезжаю, и не могу ли я остаться на несколько дней, потому что ветер сегодня довольно опасливый (опасный). Я не стал объяснять ему, что у меня одно желание: чтобы в тот час, когда родственницы Блока выходят на прогулку, Альбертины в Бальбеке уже не было, тем более что Андре, единственной, кто мог бы защитить ее от них, здесь нет и что Бальбек превратился для меня в одно из тех мест, где больному нечем дышать и откуда он выезжает срочно, не желая остаться здесь ни на одну ночь и предпочитая умереть в дороге. Мне еще пришлось побороться — сперва в отеле, куда Мари Жинест и Селеста Альбаре явились ко мне с красными глазами (рыдания Мари напоминали шум потока); Селеста, менее бурная в проявлениях своих чувств, успокаивала ее; но когда Мари пролепетала ей единственный стих, который она знала: «Под луной вся сирень отцветает»,

Селеста тоже не могла удержаться, и пелена слез накрыла ее сиреневого цвета лицо; впрочем, я уверен, что они в тот же вечер и думать обо мне забыли. Потом в пригородном поезде, несмотря на все меры предосторожности, какие я принял, чтобы меня никто не заметил, я встретился с маркизом де Говожо; при виде моих чемоданов он побледнел: он надеялся, что послезавтра я буду у него; он мне надоел своими рассуждениями, что мои приступы объясняются переменой погоды и что пожить здесь в октябре — это было бы чудесно для моего здоровья; он попросил отложить мой отъезд по крайней мере «на через неделю» — неправильность этого выражения не привела меня в бешенство, быть может, только потому, что от его просьб мне стало тяжело на душе. Он занимал меня разговором в вагоне, а я на каждой станции боялся, что вот сейчас войдет кто-нибудь пострашнее Эрембальда или Вискара, например, граф де Креси, который начнет умолять меня, чтобы я его пригласил, или еще более грозная госпожа Вердюрен, которая станет звать меня к себе. Но все это было еще впереди. Я еще не ехал в поезде. Пока мне приходилось выслушивать отчаянные мольбы директора. Он говорил шепотом, но, боясь, что он разбудит маму, я все-таки

его выпроводил. Я остался один в комнате — в той самой комнате с высоким потолком, где я чувствовал себя таким несчастным в день первого моего приезда, где я с такой нежностью думал о мадемуазель де Стермарья, где я подстерегал Альбертину и ее подружек, которые, будто перелетные птицы, отдыхали на пляже, где я так равнодушно овладел Альбертиной в тот раз, когда посылал за ней лифтера, где я познал доброту бабушки и где я был потрясен ее кончиной; потом эти ставни, под которыми пробивался утренний свет, я открыл в первый раз для того, чтобы увидеть первые гребни моря (Альбертина заставляла меня прикрывать ставни, чтобы не было видно, как мы целуемся). Я осознавал перемены, происшедшие во мне, сопоставляя их с неизменностью предметов. Мы привыкаем к вещам, как к людям, и когда мы вдруг вспоминаем, какое значение они имели для нас, а потом утратили всякое значение, то обрамленные ими события, ничего общего не имеющие с нынешними, многообразие происшествий, случившихся под тем же самым потолком, среди тех же застекленных шкафов, перемены в сердце и в жизни, составляющие часть этого многообразия, благодаря несменяемости декорации, в силу единства места растут

в наших глазах.

Несколько раз за короткое время мне приходила в голову мысль, что мир, где находится эта комната и застекленные шкафы и где Альбертина так мало значит, есть, быть может, мир духовный, единственно реальный, а моя тоска — это что-то вроде тоски, которую навевает чтение романа и которую только безумец способен превратить в непрерывное, неотвязное горькое чувство, которое остается у него на всю жизнь; что, быть может, небольшим усилием воли я возвращусь в этот реальный мир, войду в него, перешагнув через мою боль, как бы разорвав бумажное серсо, и стану страдать из-за Альбертины не больше, чем из-за героини романа, который мы дочли. Вообще самые дорогие моему сердцу избранницы не соответствовали силе моего чувства к ним. С моей стороны это бывала настоящая любовь, потому что я жертвовал всем ради того, чтобы увидеться с ними, ради того, чтобы остаться с ними наедине, потому что я рыдал, заслышав однажды вечером их голос. Они обладали способностью будить во мне страсть, доводить меня до сумасшествия, но ни одна из них не являла собою образа любви. Когда я их видел, когда я их слышал, я не находил в них ничего похожего на

мое чувство к ним, и ничто в них не могло бы объяснить, за что я их люблю. И все же единственной моей радостью было видеть их, единственной моей тревогой была тревога их ожидания. Можно было подумать, что природа наделила их каким-то особым побочным свойством, не имеющим к ним никакого отношения, и что это свойство, это нечто, напоминающее электричество, возбуждает во мне любовь, то есть только оно одно управляет моими поступками и причиняет мне боль. Но красота, ум, доброта этих женщин были отъединены от этого свойства. Мои увлечения, точно электрический ток, от которого мы вздрагиваем, сотрясали меня, я жил ими, ощущал их, но мне ни разу не удалось увидеть их или осмыслить. Я даже думаю, что, увлекаясь (я не имею в виду физическое наслаждение, которое обычно связано с увлечением, но которое не порождает его), мы обращаемся как к неведомому божеству не к самой женщине, а к принявшим ее облик невидимым силам. Нам необходима не чья-нибудь, а именно их благосклонность, мы добиваемся соприкосновения именно с ними, но не получаем от него истинного наслаждения. Во время свидания женщина знакомит нас с этими богинями, но и только. Мы обещаем принести

им в дар драгоценности, путешествия, находим слова, означающие, что мы их боготворим, и слова, означающие, что мы к ним равнодушны. Мы, хотя и не назойливо, делаем все, чтобы добиться нового свидания. И все же, не будь этих таинственных сил, разве мы стали бы выворачиваться наизнанку ради самой женщины, если стоит ей уйти —. и мы затрудняемся сказать, как она была одета, и припоминаем, что ни разу на нее не взглянули?

Так как зрение обманчиво, то нам представляется, что тело женщины, даже любимое, как тело Альбертины, удалено от нас, хотя бы нас разделяло всего лишь несколько метров, несколько сантиметров. И с другой женщиной происходит то же самое. Только если что-нибудь заставляет ее душу резко изменить положение и мы видим, что женщина любит не нас, а кого-то другого, только тогда учащенное биение нашего сердца подсказывает нам, что любимое существо находится не в нескольких шагах от нас, а в нас самих. В нас самих, более или менее глубоко. Слова «Это подруга мадемуазель Вентейль» явились тем Сезамом, который я сам ни за что бы не нашел и который помог Альбертине проникнуть в тайники истерзанного моего сердца. А я мог бы сто лет

пытаться отворить захлопнувшуюся за ней дверь и все-таки не узнать, как она отворяется.

Пока Альбертина была со мной, я некоторое время не слышал ее слов. Целуя ее, как в Комбре целовал мою мать — целовал, чтобы успокоиться, — я почти верил в невинность Альбертины, во всяком случае, не возвращался мыслью к открытию в ней порока. Но теперь, когда я остался один, слова эти вновь зазвучали — так шумит в ушах, когда с нами перестают разговаривать. Теперь я уже не сомневался в ее пороке. При свете утренней зари, от которого вокруг преображались предметы, я по-новому ощутил свою боль, ставшую еще более жгучей, точно я изменил положение. В моей жизни никогда еще не было такого прекрасного, но и такого мучительного раннего утра. Представив себе всю эту безучастную природу, которая вот сейчас вспыхнет и которая еще накануне только поманила бы меня полюбоваться ею, я разрыдался, но тут вдруг, словно совершая некое безумное дароприношение, символизировавшее, как мне представлялось, ту кровавую жертву, которую мне предстоит теперь ежеутренне приносить, отказавшись от всех радостей жизни, приносить до конца моих дней, символизировавшее торжественное празднество

в честь вернувшегося ко мне моего горя которое весь день пребудет со мной, и в честь разбережи-вания моей кровоточащей раны, золотое яйцо солнца, как бы выталкиваемое в силу нарушен-ности равновесия, которое в момент коагуляции могло быть вызвано изменением плотности, все в пламенеющих зубцах, точно на картине, мгновенно прорвало занавес, за которым оно, как это чувствовалось, уже трепетало в ожида-нии выхода на сцену и взлета ввысь, прорвало и растворило в волнах света свой таинственный густой пурпур. Я услышал свои рыдания. Но в это мгновенье дверь неожиданно отворилась, и мне, чувствовавшему, как бьется мое сердце, почудилось, будто вошла бабушка, приходив-шая ко мне уже несколько раз, но только во сне. Может быть, и это тоже был только сон? Увы, я не спал. «Тебе кажется, что я похожа на твою милую бабушку», — ласково сказала мама — это была она, — своею ласковостью стараясь меня успокоить и в то же время усиливая свое сход-ство с бабушкой чудной улыбкой, выражавшей скромное сознание своего достоинства и чуждой кокетства. Ее рассыпавшиеся по плечам волосы, седые пряди которых она не прятала, так что они змеились около ее встревоженных глаз, около ее

поблекших щек, бабушкин капот, который она теперь носила, — вот из-за чего я сразу не узнал ее и подумал: уж не сплю ли я и не воскресла ли бабушка? Моя мать уже давно гораздо больше напоминала бабушку, чем мою молодую, веселую маму, какой я знал ее в детстве. Но сейчас я об этом не думал. Если мы увлечены книгой, то мы не замечаем, что время идет, и вдруг убеждаемся, что солнце, так же сиявшее вчера в этот самый час, создает вокруг себя те же самые гармонические цветовые сочетания, те же соответствия тонов, которые приуготовляют закат. На мою ошибку мама указала мне, улыбаясь, — ей было приятно, что она похожа на свою мать. «Я пришла, потому что во сне мне послышалось, что кто-то плачет, — сказала мать. — От этого я и проснулась. Но почему же ты не ложился? И глаза у тебя полны слез. Что с тобой?» Я обхватил руками ее голову: «Мама! Я боюсь, как бы ты не подумала, что я крайне непостоянен. Но вчера я наговорил тебе не очень хороших вещей про Альбертину; я был не прав». — «Ну что тут особенного?» — возразила мать и при виде восходящего солнца грустно улыбнулась, подумав о матери, а чтобы я не пропустил зрелища, которое — о чем очень сокрушалась бабушка — мне никогда

не приходилось видеть, показала на окно. Но за бальбекским пляжем, за морем, за восходом солнца, на который мне показала мама, я, в отчаянии, которое она не могла не заметить, видел комнату в Монжувене, где Альбертина, розовая, со вздернутым носиком, свернулась клубочком, точно большая кошка, на том месте, где когда-то лежала подруга мадемуазель Вентейль и закатывалась сладострастным смехом: «Ну что ж из этого? Если даже и увидят, так тем лучше. У меня не хватит смелости плюнуть на эту старую обезьяну?» Эту сцену я наблюдал сквозь вид, который раскинулся передо мной в окне и который являл собой как бы темную вуаль, лежавшую на ней, как лежит на чем-либо отсвет. Сама сцена была почти нереальна, словно нарисована. Напротив нас рядом с парвильскими скалами, нависшими над морем, отлого спускался к воде лесок, где мы играли в хорька, лесок, который отражал свою зелень в чистом золоте воды, как это часто бывало в вечерний час, когда мы с Альбертиной, посидев в лесу, на закате уходили домой. Среди розовых и голубых клочьев ночного тумана, еще клубившихся над водой, усеянной перламутровыми осколками зари, скользили лодки, улыбаясь косым лучам солнца, окрашивавшим в желтый цвет парус и

кончик бушприта, точь-в-точь как вечером, когда лодки возвращались: то была картина воображаемая, леденящая, безлюдная, возникшая только благодаря воспоминанию о закате, в отличие от вечера не являвшаяся продолжением дневных часов, предшествовавших ему в моем представлении, оторванная от них, обособленная, еще менее устойчивая, чем страшный образ Монжувена, который она не в силах была уничтожить, спрятать, прикрыть, — сотканный из грез ненужный образ, порожденный памятью и сном. «Да ну что ты, — возразила мать, — ты ничего плохого мне о ней не говорил, ты просто сказал, что она тебе поднадоела и ты рад, что решил не жениться на ней. О чем же тут плакать? Подумай, что твоя мама сегодня уезжает и что ей будет невыносимо тяжело оставлять в таком состоянии своего волчонка. Да и некогда мне тебя утешать, бедный мой мальчугашка. Правда, вещи мои уложены, а все-таки в день отъезда всегда бывает некогда». — «Да я не о том!» И вот тут, взвесив будущее, мысленно подвергнув испытанию силу моей воли, поняв, что такая пламенная любовь Альбертины к подруге мадемуазель Вентейль, вспыхнувшая уже давно, не может быть невинной, что Альбертина во все посвящена и, как показывала ее манера

держаться, родилась с предрасположением к этому пороку, который моя тревога столько раз уже предугадывала, которому она, должно быть, предавалась всегда (которому она, быть может, предавалась сейчас, воспользовавшись тем, что меня с ней нет), я и сказал матери, зная, как я ее этим огорчаю, хотя она скрыла это от меня, выдав себя лишь выражением хмурой озабоченности, какое появлялось на ее лице, когда она боялась чем-нибудь опечалить меня, чем-нибудь мне повредить, выражением, какое впервые выступило на ее лице в Комбре, когда она согласилась просидеть ночь у моей постели, выражением, которое сейчас придавало ей необыкновенное сходство с бабушкой, разрешавшей мне выпить коньяку, — я и сказал матери: «Я знаю, как я тебя огорчу. Прежде всего, вместо того чтобы остаться здесь, как ты хотела, я уезжаю одновременно с тобой. Но это бы еще ничего: я плохо себя чувствую, мне лучше уехать. Но ты выслушай меня до конца и не горюй. Вот в чем дело. Вчера я ошибся, я неумышленно ввел тебя в заблуждение, я думал всю ночь. Мне непременно нужно — и давай на этом и порешим, потому что теперь я во всем отдаю себе полный отчет, потому что теперь я уже не отступлюсь, потому что иначе мне незачем

жить, — мне непременно нужно жениться на Альбертине».

ПРИМЕЧАНИЯ

О.Е. Волчек, С.Л. Фокин.

Роман «Содом и Гоморра» вышел в свет в двух частях соответственно в мае 1921 года и апреле 1922-го. Тема гомосексуализма, заявленная в названии, прорывалась и в предыдущих томах «Поисков», но начиная с этого романа действительно становится одной из ведущих тем всего цикла, что объясняется как окончательным утверждением писателя в собственном призвании, так и известным ослаблением моральных запретов, вызванным военным временем, предоставившим Прусту возможность открыть то, о чем у него уже давно болело сердце.

Идея «Содома и Гоморры» находится в самом средоточии прустовского замысла, о чем свидетельствует знаменитое письмо к Луи д'Альбюфера, написанное Прустом в мае 1908 года и представляющее собой сжатый план всех «Поисков». Делясь с другом творческими планами, писатель сообщает, что наряду с этюдами об аристократии, Сент-Бёве, Флобере, парижском романе, женщинах, он занят «опытом о педера-

стии (который будет нелегко опубликовать)». Как чисто моральные, так и собственно цензурные трудности опубликования романа, который, как признавал сам писатель, отличался бесстыдным, непристойным, дерзким характером, вынуждали Пруста к своего рода тактике выжидания, откладывания волнующей его темы на лучшие времена, наступившие для романа в безвременье войны.

Затянувшееся созревание темы предопределило исключительное положение «Содома и Гоморры» среди других романов эпопеи — это самый романный из всех романов Пруста, поскольку он по существу своего замысла не принадлежит ни предыдущему «циклу Свана», тому направлению «Поисков», которое обозначилось в 1913 году, ни последующему «роману об Альбертине», связанному во многом с личными и общественными трагедиями 1914 года. Роман по-настоящему свободен как от автобиографии, элементы которой дают о себе знать и в «По направлению к Свану» и в «У Германтов», так и от философии, которая обременяет «Поиски» «Обретенным временем». Частная тема полового извращения превращается в главную тему романа, теряя романтический, героический ореол, налет исключительности.

Роман «Содом и Гоморра» полностью соответствует структурным характеристикам всего прустовского творения. Внутренние оппозиции и параллелизм заданы уже в заглавии, эпиграф лишь усиливает тему противоположности, чуждости друг другу мужского и женского. Вместе с тем он перекликается с концовкой «Германтов», которая звучит как прелюдия к главной теме, выведенной в начале романа в рассуждениях Рассказчика о «проклятом племени» содомитов. Роман завершается введением в темы «Пленницы» и «Беглянки», когда Рассказчик узнает о принадлежности Альбертины к граду Гоморры.

Ролан Барт, размышляя о цикле «В поисках утраченного времени», заметил, что главное открытие Пруста заключается в том, что он нашел новый способ говорить «я». Когда персонаж Пруста говорит «я», это «я» соотносится сразу с тремя, по меньшей мере, инстанциями. Первая (самая простая, самая очевидная) инстанция — это инстанция персонажа, с которым все происходит (он ест пирожное «мадлен», томится в ожидании поцелуя матери, теряет голову от «девушек в цвету», знакомится с другими персонажами и т. д.); вторая инстанция — это инстанция повествователя, Рассказчика, который рассказывает, что с

ним происходило (как он ел пирожное, томился в ожидании поцелуя матери и т. д.), первую и вторую инстанции разделяет «утраченное время», вплоть до последнего тома инстанции не совпадают: о том, кто ел пирожное и т. д., рассказывает другой человек, другое «я»; наконец, третья инстанция — это инстанция автора, самая неочевидная, самая сокровенная, иногда намеренно скрываемая самим автором. Все эти инстанции находятся в сложных отношениях, постоянно взаимодействуют, что особенно заметно, когда повествование выходит на опасные тематические рубежи.

Во всех скандальных сценах романа, представляющих отношения однополой любви, Рассказчик находится в такой позиции, что он видит все, тогда как его никто не видит. Он подглядывает, шпионит. Вопрос не в том, почему Рассказчик подглядывает, вопрос в том, почему автору понадобилось, чтобы его персонаж подглядывал. Этот вопрос можно поставить иначе: почему в трактовке темы гомосексуализма необходимо повествование от первого лица? Ответ в общем-то очевиден: третье лицо здесь не может быть использовано, поскольку повествование от третьего лица предполагает определенное зна-

ние материи повествования, другими словами, повествование от третьего лица бросало бы тень подозрения на автора. У читателя мог бы возникнуть законный вопрос откуда он знает все эти подробности чувственной жизни приверженцев однополой любви? Пруст не мог себе позволить такого к себе отношения, известно, что он дрался на дуэли с одним критиком, осмелившимся намекнуть на необычную наклонность его интимной жизни. Такая тень подозрения падала бы на повествователя, которому, чтобы со знанием дела рассказать о Содоме и Гоморре, необходимо было бы быть содомитом, да к тому же еще лесбиянкой. Пруст показывает, насколько закрыты сообщества однополой любви, случайному человеку там нет места. Это своего рода тайные общества, в которые принимают исключительно своих. Пруст должен был отводить подозрения — теперь уже не от себя, а от своего персонажа. Ему практически не оставалось ничего другого, кроме того, чтобы сделать Рассказчика Шпионом, Соглядатаем. Чтобы сделать гомосексуализм зримым для гетеросексуального персонажа, Прусту необходимо было все устроить так, чтобы его персонаж подглядывал из-за кулис.

При составлении комментариев использова-

лись критические издания романа, подготовленные французскими литературоведами А. Компаньоном, Ж.-И. Тадье, П.-Э. Робером, А. А. Морелло, Б. Раффали, М. Берман.